

АСКАД  
МУХТАР

---

УЗКИ УЛОЧКИ  
БУХАРЫ

РОМАН  
ПОВЕСТИ



ПЕРЕВОД  
С УЗБЕКСКОГО  
А. НАУМОВА

МОСКВА  
СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ.  
1988

ББК 84Уз.7  
М92

*Художник Давид Шимилс*

М  $\frac{4702620201-031}{083(02)-88}$  348—88

ISBN 5—265—00238—3

*Состав и оформление.  
Издательство «Советский писатель», 1988*



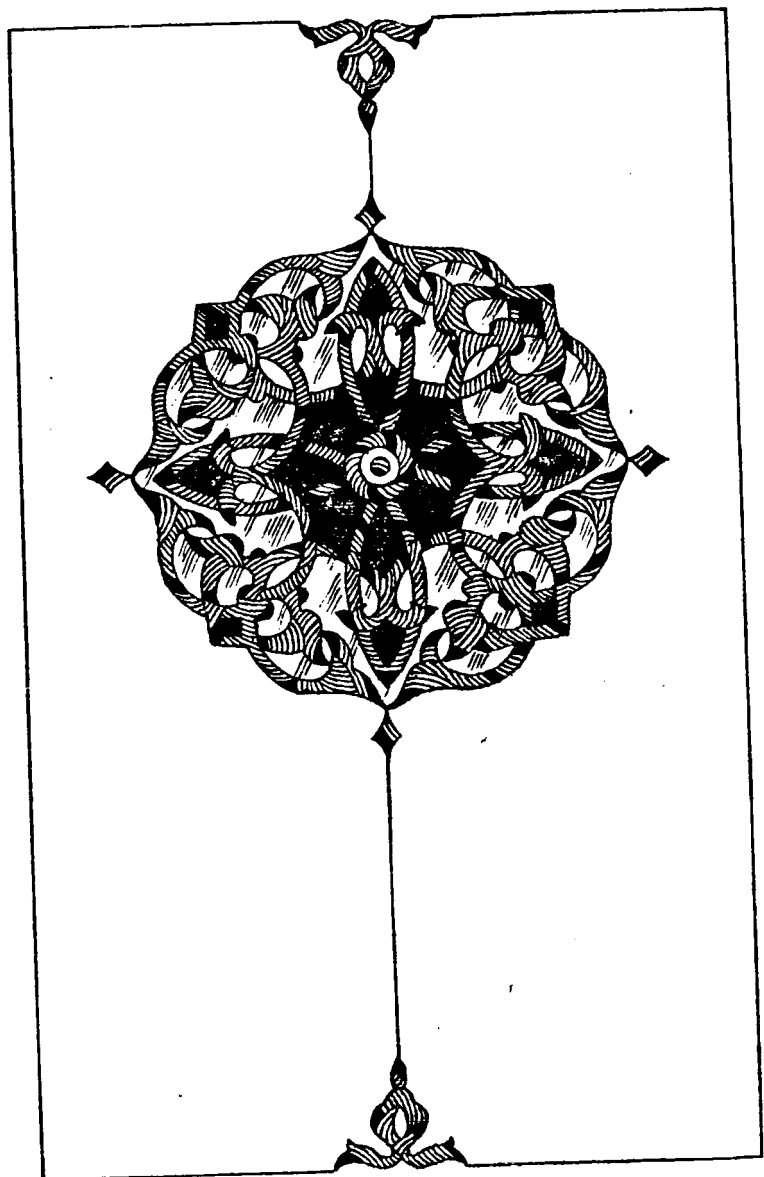
АСКАД  
МУХТАР

АМУ

РОМАН

ПЕРЕВОД  
С УЗБЕКСКОГО  
А. НАУМОВА







Капнет слеза в Аму — ночь,  
Капнет ли кровь в Аму — заря,  
Луч упадет на Аму — день!  
Но солнце без зари не взойдет...<sup>1</sup>

Обращенные к северу склоны Гиндукуша заливают лунное сиянье. Здесь, наверху, этот молочный свет царит чуть не ночи напролет, потому что облака стелются двумя тысячами метров ниже, а луна, едва, кажется, закатившись, уже выплывает с другой стороны, красная, как медное блюдо. Днем солнечные лучи, отражаясь от вечных ледников и сине-белых льдистых пиков, так же беспредельно холодны — и не в силах высветить открывающиеся в облачных разрывах громадные ущелья и бездонные пропасти; напротив, при этом бес- сильном дневном свете черные глубины кажутся еще мрачней и бездонней.

По ту сторону ущелий — вечный караван Памира, карабкающийся в небо. И все эти безжизненные просторы под иссиня-зеленым куполом похожи на океан, мгновенно закаменевший во время чудовищного шторма. В незапамятные времена неистовые силы природы привели в движение земную кору, дико вспучили ее, и в вечности возникли эти ни с чем не сравнимые тектонические чудеса: эти громоздящиеся друг на друга мертвые громады, не знающие ноги человека, и обволакивающее их безмолвие.

Великое безмолвие. Кажется, проснись снова земные недра, содрогнись горы, обрушь они лавины ледников — это безмолвие поглотит весь грохот прежде, чем о нем узнает мир.

<sup>1</sup> Перевод стихов здесь и далее А. Наумова.

И этот безжизненный свет. Он крошечней мрака! Может, потому и нет здесь ни единой живой души...

Дух ваш смущается, вам хочется смотреть только на запад. Ведь сзади, на востоке, нет земли, нет почвы — лишь смыкающиеся с небом мертвенно-синие льды. Недаром древние географы помещали здесь границу мира. А на западе — скат туманных низин, край зеленого мира, куда вы как бы летите: небо справа — ваше правое крыло, небо слева — левое...

Если вам хватит воображения устремиться с этих высот за три тысячи верст — вам предстанет древний полноводный Джейхун, пересекающий долины и пустыни. Отец истории Геродот и Страбон, первый землеописатель, называли эту могучую реку Оксусом. Всё по ходу ее течения как бы сотворено ею самой или ради нее — все прекрасные и роковые пейзажи, вырытые или выбитые ею ущелья, мрачные пропасти и глыбы скал, гигантская лестница водопадов — и радующие душу населенные долины... И все это питается снежными полями наверху, могучими ледниками — и среди них величайшим ледяным морем мира, получившим имя Федченко.

Впрочем, наверху, у истоков, мать-река еще не носит своего прославленного имени — вернее, прославленных своих имен. Это пока безымянный ручей, хотя справа и слева уже спешат к ней ее озорные сестрицы, так же как и она, родившиеся в горах. И лишь вобрав их в себя, она вспенится о скалы, накопит силы и взбесится от избытка их, вздымая меж скал и камней облака мельчайшей водяной пыли...

Эти водяные пылинки напоминают историю песчинок в далеких Каракумах. Все началось с легкого ветерка, что тронул пустынное безмолвие и пошевелил песчинку. Она задела другие — и бархан начал оседать. Песчинки, как искорки, метнулись в воздух, запрыгали, песок потек вместе с ветром; вихрь закрутился волчком — а когда поднял голову, десятки его собратьев вокруг уже выростали в столбы смерча, обращаясь в безумных черных бродяг, застилающих лицо дня...

Так и река — она начинается в этом мире кристальной капелькой, сорвавшейся вниз в укромном уголке вечных льдистых скал, по ту сторону горных пиков Сарыкуля, где рождается солнце. Все вещи на свете — должники своих истоков; но, увы, долги они платят другим и по-другому, там, в низовьях, подвигаясь

к устью. И все же та кристальная капелька уже заключает в себе судьбу будущей реки — недаром вскоре, когда первые ручьи, слившись, образуют начало речки, она получает имя «Воханг». Воханг значит «знамение судьбы».

Первой к ней на подмогу приходит река Памир, рожденная в недрах глубокого, как глаза серны, горного озера Заркуль. Потом, одна за другой, присоединяются самые шумные из рек Крыши мира — пенные, волокущие камни, прокладывающие свои узкие русла в красном базальте — Гунт и Бартанг; вобрав их, она получает имя Пяндж и образует дальше каскад соединяющихся друг с другом мощных водопадов. Она уже устремилась вниз, как могучий лайнер, но отнюдь не выключила моторов. Напротив: вскоре, снова справа, ее мощь усилят потоки Сурхоба, Езгуля, Ванга, резко повернувших к ней в неожиданном месте из-за скалистых гор. Еще чуть позже она встретится с самой прекрасной и строптивой сестрой своей, Кукчэй, подошедшей слева и как бы несущей таинственную печаль глухих долин и боль утекших столетий. И она, Главная река, словно радуется встрече, умиряет на время яростный свой, деспотический нрав — ее грохот и вопли обращаются в шепот, и течет она, широко раскинувшись. А впереди радостные неожиданности снова и снова ждут ее — справа гонит холодные светлые волны Вахш; слева, расправляя богатырские плечи, вырывается из тисков Бомиеновых скал древний Кундуз... Они вливаются неподалеку друг от друга — и здесь-то мать-река обретает наконец славное имя свое — Аму.

Если не принимать в расчет Кафарнихон<sup>1</sup> — кровеносный сосуд одной из прекрасных наших южных долин, и прозрачный Сурхан, прогрызший русло сквозь недра горных каменных пластов и холмов и, уже влившись, долго еще не смешивающий поток свой с мутными водами Аму, — то мать-река на протяжении полутора тысяч верст уже не примет в себя ни единого, самого малого притока, ни единой капли воды, а будет только тратить, тратить и тратить, щедро раздавая сладкую влагу бескрайним полям, садам, небу, пустыням, наполняя каналы и хаузы<sup>2</sup>. Ибо десятки древних ее притоков, берущих начало на вершинах Зерафшана и Бо-

---

<sup>1</sup> Кафарнихон — река в Таджикистане.

<sup>2</sup> Хауз — искусственный водоем, непроточный пруд.

ботага, Кухи Сафеда и Банди Туркестана, ныне уже не в силах достичь ее — они выпитываются пастбищами и полями по обоим берегам.

Два берега. Древний, легендарно богатый мир, именующийся оазисом Аму. В этом очаге цивилизаций жизнь извечно была связана со щедротами великой реки: Аму приносила сюда ежегодно не только семьдесят миллиардов кубометров воды и миллионы тонн плодородного жидкого ила, но и богатый минеральными солями тучный солончаковый глинозем; вымывая золотой песок из таинственных ущелий, где не ступала нога человека, несла свидетельства бесценных сокровищ Памира и Гиндукуша, вести о рубинах и яхонтах Бадахшана. Античные историки рассказывают, что вахшские тохары, завербованные термезским худатом<sup>1</sup>, вылавливали овчинами золотой песок из илистой воды Джейхуна и продавали арабским торговцам на базарах Балха. Впрочем, громадная история этих мест напоминает отдаленные горные гряды, задернутые туманом: наверху, как небесные острова, видны вершины, отрезанные от самой гряды туманной пеленой, где-то проблескивают заснеженные склоны, но целого увидеть уже невозможно — этот туман вряд ли когда-нибудь рассеется; разве что внедриться в него самому, рискуя, что сорвется на тебя камень или лавина в ущелье...

Кстати, жили в этих ущельях, на этих гористых, каменистых берегах народы, говорившие в основном на языке «дари»: таджики, афганцы, бадахшанцы, сотни племен и родов древней Арианы. Говорят, «дари» значит «дворцовый»; вряд ли. Скорее, это слово происходит от «дара» — «ущелье» — и означает «язык горцев»...

Но вот, под напором воображения, туман, кажется, редет, в голубовато-молочном свете луны становится виден кишлак, прилепившийся к огромному утесу. Чуть качнулся под ветром шиповник, вскарабкавшийся на камень — это донеслось дыхание Аму, что вышла на равнины и замедлила свое течение. Ниже камня с шиповником серебряно поблескивают островерхие, как копыя, пирамидальные тополя, плоские крыши сгрудившихся домов; можно разглядеть крошечные поляны на откосах, миниатюрные наделы садов и бахчей. А над

---

<sup>1</sup> Худаты — домусульманские правители различных областей Средней Азии.



этим горбятся голые базальтовые скалы, изрезанные черными тенями... Воображение рисует верблюжьих караваны, плывущие в предрассветной дымке... Когда морские пути в Китай и Индию еще не были открыты, торговля между Востоком и Западом пользовалась этими маршрутами — этими тропами и переправами через Аму. Их проложили по иссохшим степям и мертвящим пустыням, страшным горным ущельям и ухуженным долинам, через шумные города и пестрые базары Средней Азии. Но Великий шелковый путь никогда не был «шелковым»: при всем уважении к торговым гостям, совершавшим беспримерные переходы, в сердцах людей копилась здесь также вековая ненависть к насильникам и мародерам. Темными ночами с обоих берегов Аму пристально высматривали друг друга враждебно нацеленные глаза, ружья и клинки, с берега на берег неслись пушечные ядра, чистые горные воды окрашивались кровью. Никто и не мечтал, что когда-нибудь воды Джейхуна понесут покачивающиеся цветочные венки или что соединит его берега многосаженный мост дружбы, яркий, как апрельская радуга...

Да, придется-таки потревожить сон истории. Это слово «мост» виновато. Рассказывают, что Искандер Двурогий<sup>1</sup>, собираясь покорить согдийцев, велел якобы на переправе Невтак положить на плечи своих выстроившихся цепью воинов плетеные циновки. — и прогарцевал по ним. Как повествует великий историк Наршахи<sup>2</sup>, переход арабов через Аму в Мавераннахр<sup>3</sup> растянулся на четырнадцать месяцев. Сперва реку перешли воины Убайдуллах ибн Зийяда, потом Сайид Усмана — и трижды возвращались обратно. Позже переправился в Мавераннахр грозный полководец Сулм ибн Зийяд — его войско уничтожили всадники Сурхана. Даже сам коварный Кутайба Муслим, слывший завоевателем Мавераннахра и заливший берега Аму кровью, вынужден был двенадцать раз отступать к Хорасану!

---

<sup>1</sup> Александр Македонский.

<sup>2</sup> Абу Бакр Мухаммед ибн Джафар Наршахи (899—959) — среднеазиатский историк.

<sup>3</sup> Мавераннахр (араб. «Междуречье») — так арабы называли область между течениями Амударьи и Сырдарьи.

Головы Караханидов<sup>1</sup> плыли по этим водам, тонули здесь слоны Махмудовы<sup>2</sup>, груженные отравленными стрелами. Когда Чингиз вступил в Термез, вместе с шумом волн уносились вдаль и вопли тысяч матерей, что бросились в воду вслед за своими утопленными младенцами. Тимур сломал ногу на этих берегах, в боях против храбрых сарбадоров<sup>3</sup>, и на всю жизнь получил прозвище «ленг»—«хромой». «Джейхун»— арабское имя Аму — означает «бесноватый». Но, может быть, стоит прочесть его по-иному? «Джой»— место, «хун»— кровь, месть... Стало быть, «место мести», «кровавое место»?..

Нет, не так. Не всегда на этих берегах текла кровь, ибо Аму — преграда лишь для захватчиков. Река-труженица, она даровала свои воды и как дорогу общения, сделала переправы свои перекрестками культур и была не только роковой границей меж Ираном и Тураном, но и великой дверью их родства и соседства. Здесь соприкасались религии и государства, искусства и науки, боги и философы: Кушаны, Рим, Китай, Индия, Будда, Гелиос, Шива; по этим прибрежным тростникам бродил Сина<sup>4</sup>, мудрейший из мудрых, над ними звучали скорбные мисры слепого Рудаки<sup>5</sup>, здесь Беруни<sup>6</sup> задумывался над своим «Нравом Джейхуна», а молодой Алишер готовил к переправе караван своих книг... Аму никогда не была, подобно Гангу, святой водой, уносящей прах человека; но жизни без нее здесь не было, нет и не будет.

Эта бурая лента исторического водного пути, доставлявшего через Каспий в Булгарские княжества восточные шелка, мускус и амбру, китайскую серебряную и фарфоровую посуду, козью шерсть Термеза и Мазари-Шерифа, рыбий клей и кунжутное масло, эта

---

<sup>1</sup> Караханиды — среднеазиатская династия, правившая в 927—1212 гг.

<sup>2</sup> Махмуд Газневи (970—1030) — основатель государства Газневидов.

<sup>3</sup> Сарбадоры — участники народного антифеодального движения в XIV веке против монгольских завоевателей. Решительная битва их с Тимуром произошла при Усть-Чилене в 1365 г.

<sup>4</sup> Абу Али ибн Сина (Авиценна, 980—1037) — великий среднеазиатский ученый-энциклопедист.

<sup>5</sup> Рудаки (860—941) — прославленный таджикско-персидский поэт.

<sup>6</sup> Беруни (973 — ок. 1050) — великий среднеазиатский ученый.

славная водная артерия, некогда обозначившая границы исторической мечты Петра Великого, в наши дни, увы, едва доносит свои воды — нет, не до моря, даже не до славного своего Арала, высыхающего и понемногу превращающегося в чудовищную и грозную кладовую солей... а только до бескрайних камышовых зарослей на границе двух великих пустынь. Огромный мост, превращенный в дамбу, на месте былого двухкилометрового разлива обозначает, как погребальное сооружение, конец Аму; за ним тянется лишь редкая цепочка высыхающих луж. Это безгласное зрелище — как вопль для каждого, кто видел, помнит недавнюю бурную славу Амударьи: вопль о помощи!..

...Воображение, однако, далеко увлекло нас — и во времени и в пространстве. Вернемся назад — на десятилетия и сотни верст, в горы, к началу нашего повествования...

Здесь, побледнев, заходит луна; солнце еще и краешком не одолело девятикилометровой зубчатой стены гор, и небо пока, хоть почти прозрачно, еще кажется иссиня-черным; валуны на покрытом ельником склоне выглядят мрачными чудищами. Но темнота явно редет, в кустарнике просыпаются птицы. Вот-вот в мире водворится серый рассвет, и туман клубами уже поднимается из ущелий с текущими внизу реками. Наконец стада яков медленными, распластанными по склону махинами двинулись по каменистым тропам. На спинах яков копошатся стаи пичуг. Сереет; за поворотом скалы, внизу, открывается иногда убогий кишлак горного племени; он едва зацепился за склоны и почти сливается с горой. Еще холодно, редущая полутьма таинственна и чутка — страшно издать лишний звук: сорвись где-то камешек — и начнется, пойдет расти по осыпям каменная беда обвала...

На мостике-доске, переброшенном через пропасть, появляется человек. Широкополая шляпа, ноги по колено в обмотках, крепкие ботинки с шипами, за плечами грубо сшитый хурджун. Длинные усы. Странно, он без ружья: горцы не ходят без оружия, особенно в эту пору. Но он идет вниз, не оглядываясь, как положено. А может, просто спешит. Все-таки он явно неместный: ни чекменя на плечах, ни посоха в руках. Да и то, что он один... Здесь только крайность может заставить отправиться в путь в одиночку, горы этого не любят. А может, он и есть в крайности?..

Тропа ведет его все дальше вниз, то под нависшей скалой, то по самому краешку бездны, то наполовину спускаясь в пропасть, откуда надо потом выкарабкиваться чуть не на четвереньках. Спешит путник. Худо-щав, жилист, но вида интеллигентного, городского, не горец, нет. Торопится, словно спасаясь от эха собственных шагов. Будто отстающий мир горной ночи вот-вот поднатужится и его нагонит...

\* \* \*

...Я познакомился с ними в Мазари-Шерифе, в невзрачной одной кофейне. Там, впрочем, было уже то хорошо, что кофе варили не в жестяном чайнике, а в английской джезве из латуни. С тех пор как развелся с женой, я завтракал там каждый день. Я и теперь еще ломаю голову, как они меня там обнаружили, как они меня вообще нашли — полунищего интеллигента, потерявшего свое место в жизни. Во дворцовых кругах усилились смута и брожение, кому было дело до археолога и его камней? Нынешние «новые», впрочем, тоже не возымели ко мне особенного сочувствия — они весьма сомневаются в моем патриотизме: как-никак учился в Лондоне. Время от времени в лицо мне впиваются, словно камешки из-под ног, осколки общей ненависти к англичанам. Но в принципе никому до меня дела нет. Да у меня и у самого нет дела, одни несбывшиеся надежды. Двадцать лет я мечтал открыть миру сокровища нашей древней истории, славу родной моей земли, и ради этого в полном смысле слова землю носом рыл. Профессия моя казалась для этого лучшим в мире средством. Господи, как жизнь все меняет в человеке! Теперь мне трудно и вообразить себя прежнего. Но тем, что разыскали тогда меня, до этих прежних надежд опять-таки дела не было. И до профессии моей — тоже.

Заказав ежедневный кофе, я присел за столик в сторонке и даже не оглянулся на привычный звоночек стеклянной входной двери. Но шаги вошедших направились явно в мою сторону, и тогда я посмотрел. Их было двое. Одеты по-европейски, оба средних лет, спортивной выправки, лица огрубели от ветра и солнца. Тот, что повыше, на редкость некрасив: на носу две большие бородавки, и даже тщательно подстриженные пышные бакенбарды не скрашивают по-обезьяньи выступающей нижней челюсти. Второй, маленького

роста, — с широким лбом и настороженными умными глазами. Борода у него была не по росту велика; кожаная заплатка на колене новеньких джинсов и молодежная фуфайка из козьей шерсти только подчеркивали плотность его фигуры.

— Доктор Сухайль?..

Они меня знали! И знали, где меня найти!..

— К вашим услугам! Но...

Оба протянули руки.

— Сайёд Нихон, почвовед, — сказал высокий.

— Надим Сарбаланд, гидрогеолог, — сказал низенький.

— Очень рад... очень рад... — Мы обменялись рукопожатиями, и я показал на стулья. — Присаживайтесь, пожалуйста... Кофе?.. Ялло! Еще два кофе!..

Когда подбежал мальчик, они заказали и ликер — для меня тоже, но я отказался.

— Не знаю, чем обязан...

Низенький с извиняющейся улыбкой развел руками; мальчик принес ликер. Они тут же разлили и выпили; похоже, до этого им не хотелось начинать разговор. Но беседа пошла легко — хотя я человек не слишком разговорчивый. Несколько минут спустя я уже чувствовал себя с ними как со старыми знакомыми. Надим происходил из горных исазаев — я, впрочем, почти сразу догадался об этом по произношению: в свое время я в горах специально изучал это племя. Что до Сайёда — он был из рода дуррий, которые сами себя величают «дурри-дуррон» (то есть «жемчужные») и очень этим гордятся. Впрочем, свойственной им обычно заносчивости я в Сайёде не уловил. Именно он — и с большой простотой — перешел к цели их визита:

— Мы пришли как представители проектно-строительного треста по ирригации и мелиорации, который основан компанией «Джеймс Моррисон». На севере Афганистана создается проектно-изыскательская группа — она должна выяснить условия использования вод Амударьи. В эту группу мы и хотим пригласить вас...

Я улыбнулся. Я понял, что они меня с кем-то спутали.

— Простите, господин Сайёд, но я не имею решительно никакого отношения к ирригации... Я всего-навсего старый археолог!

— Знаем, доктор Сухайль, знаем. Мы обо всем осведомлены — обо всем!.. И взяли на себя смелость

порекомендовать вас руководству компании. Мы поручились за вас...

— Весьма польщен, но я не понимаю...

Сайёд как бы пропустил мою реплику мимо ушей и продолжил фразу:

— ...И господин Лал Махдий, наш шеф, ознакомься с вашими книгами и досье, сказал: «Это именно тот, кто нам нужен, и я должен с ним незамедлительно познакомиться!»

— Господин Махдий...— начал было я, но не успел закончить вопроса — вмешался Надим Сарбаланд, чуть покрасневший от ликера:

— Это доверенное лицо компании, наш главный геолог!— Голос у него был густой, но слащавый.— Если вы откажетесь, доктор,— уверяю вас, это будет ошибка. Собирается прекрасная группа, контракты компания предлагает весьма щедрые, ради нужных специалистов не жалеет ничего... Да и для правительства важно проведение этих изыскательских работ в Чорвиллойте! Если вы действительно любите свою страну...

Я несколько растерялся от такого напора. Подвыпившие собеседники продолжали наперебой говорить, но их слова уже как-то затрудненно доходили до меня; я только сознавал, что, захмелев, оба господина стали многословнее и велеречивей. О компании «Джеймс Моррисон» я уже слышал, ее главная резиденция находилась, кажется, в Пешаваре. Но я-то что могу там делать? Решительно непонятно. Впрочем, наверное, есть какая-то работа, не ради же моих прекрасных глаз меня так настойчиво приглашают... «Если вы любите свою страну...» Я-то люблю, черт возьми,— меня не любят!.. Но, даже против воли, слова эти задели во мне какую-то струну. К тому же вынужденное ничегонеделание угнетало меня, сколько я себе ни говорил, что ничего больше не хочу. И деньги... С деньгами обстояло хуже некуда: кончались. В сущности, я уже решил. И снова включил приглушенный было моим сознанием разговор, вернул ему громкость. Надим все еще говорил о щедрых контрактах и приводил цифры. Они звучали весьма убедительно.

— Право,— сказал я,— не знаю, что и ответить... Предложение лестное, господа, но... но я должен подумать...

— Нет,— сказал Сайёд,— думать будете потом, прежде вам следует встретиться с господином Махдий,

мы ему это обещали. А потом — пожалуйста, принимайте свое решение!

— И где я могу его увидеть?

— Он будет ждать в отеле «Бомиён» от шести вечера!..

Они откланялись.

В «Бомиён» я пришел часов в пять и для начала решил посидеть в прохладном холле первого этажа — остыть и подумать. Какой я представляю для них интерес? Я терялся в догадках — и чем дальше, тем больше. Примерно полчаса спустя в холл поспешно вошел с улицы худощавый человек средних лет с вьющимися, начавшими сесть волосами. Он вытер пот, огляделся — и я почему-то сразу решил: это и есть господин Лал Махдий. Так и оказалось. Мы поднялись в его номер на втором этаже. В простенькой прохладной комнате гудел кондиционер, с ковра настороженно глядел умными глазами рыжий лохматый сеттер.

— Садитесь, прошу вас, — сказал хозяин и подвинул мне кресло; их было всего два в номере, лишних предметов там вообще не было. — Кофе, сигару? — Голос у господина Лала Махдий был мягкий, обволакивающий какой-то, манеры изысканные.

— Спасибо, — сказал я. — Если можно, чашечку кофе...

Он заказал по телефону два кофе и заговорил — о себе. Мягко, доверительно. Он родился в Индии, в английской семье, но в жилах его течет и кровь воинственных сикхов. Его настоящее имя — Рональд Байр-сби...

— О сэр, — сказал я по-английски, — я не думал... Вы говорите на таком великолепном дари...

Он рассмеялся и тоже перешел на английский:

— Я и пушту владею не хуже... Надеюсь, по крайней мере... Ведь я геолог и давно в этих местах.

— Ну, а я...

— О вас я все знаю! — перебил он с мягкой улыбкой.

Я на мгновение растерялся и сказал запинаясь:

— Но в таком случае... В таком случае я не понимаю... Я ведь мало смыслю даже в топографии, а гидрогеологии и мелиорации не знаю вовсе... Я старик... — Тут он сделал протестующий жест. — Старик, сэр, старик! К тому же вы — представители современного прогресса, а я занимался глубокой древностью... Зачем

я нужен вашей группе? Боюсь, это просто недоразумение...

— О нет!— сказал он и устроился в кресле поудобнее, словно надолго.— Видите ли, доктор Сухайль... Вы наверняка помните картину приручения диких лошадей, которую рисует «Авеста». Для тех времен приручение лошадей было куда более важным делом, чем для нас сейчас — вся научно-техническая революция... Когда влачащийся за стадом пастух вдруг садится на коня, ему открываются горизонты. Расширяются пастбища — растет поголовье. Возникают новые тропы, новые дороги... новая география!.. Археологов весьма интересуют пути! Разве по неолитическим стоянкам вы не определяете древние русла рек? Древние охотничьи тропы, которые приводили к водооямам?.. Именно этот ваш опыт для нас и бесценен, доктор! А вы говорите, современный прогресс — и глубокая древность!— И он рассмеялся, мягко и в то же время победительно.

Принесли кофе. Байрсби разлил его по чашечкам, кофейный аромат, заполнивший прохладную комнату, взбодрил меня, и все вдруг стало казаться проще и понятней.

Серебряные щипчики с кусочком сахара повисли над моей чашечкой:

— Вам два кусочка?

— Да, сэр, спасибо...

Мы сделали по глотку. Кофе был прекрасный.

— Кажется,— сказал я,— мне действительно становится понятным свое место в вашей группе...

Он пожал плечами, давая понять, что для него это само собою разумеется, и сразу заговорил о деловой стороне:

— Наша штаб-квартира в Пешаваре, вы, наверное, знаете... Научно-исследовательский институт расположен на древнем кургане раджи (тут рыжий сеттер почему-то беспокойно пошевелился) и ведет работу на пятистах акрах опытных плантаций. И в лабораториях тоже... Мы осваиваем пустынные участки, восстанавливаем пастбища, ликвидируем эрозию, строим оросительную сеть, гидросооружения. Может быть, вам неизвестно — в Индии мы оживили иссушенную безводьем степь Тар. И вообще: наш диапазон — от геологии до социологии! Ныне мы изучаем условия жизни даже в самых отдаленных кочевьях. Индия, Пакистан, Иран, Афганистан... Развивающиеся страны принимают наши



проекты и рекомендации, не побоюсь сказать, с воодушевлением!

— Это понятно... Благороднейшее дело...

— Да, да,— сказал он как бы мимоходом, словно опять-таки не сомневался заранее в моей реакции.— Ну, я не хочу говорить высоких слов, которыми некоторые так любят щеголять... об интернациональном долге и так далее... все это верно, но наше дело прежде всего — бизнес... доходный бизнес, иначе оно не могло бы не только процветать, но даже и существовать! К тому же мы обеспечиваем работой местных специалистов, да и заключить с нами контракт — достаточно престижно...— Он вроде как запнулся.— Ради бога, доктор, не подумайте только, что я вас, так сказать, агитирую, к вам это не относится, ваш престиж и так...— Он снова как бы приостановился, потом продолжил:— Главное, наш «Проект Большой Аму» в Северном Афганистане привлекает внимание всех патриотических сил! Мы это учитываем, это и в самом деле важнейшее для страны дело, и правительство заинтересовано в нем отнюдь не случайно...

Господи, думал я, да это же и впрямь дело невиданное в истории моей бедной страны! Мне представилась долгая цепь пустых дней, проведенных в здешней пустынной кофейне. Неужели возможно, что я найду себе применение? Себе, своим силам, своим знаниям?.. Это ведь такая удача, о которой два дня назад я и мечтать не посмел бы. Сама судьба послала мне этого стройного загорелого человека с мягким голосом и строгим, твердым умом!.. Не могу я сказать «нет», ни в коем случае.

— Ну что ж, сэр,— сказал я,— искренне благодарен вам за доверие... Оно возвращает мне бодрость и... и веру в себя...

— Я был уверен, что вы согласитесь,— ответил Байрсби со своей мягкой и в то же время самоуверенной улыбкой.

Все решилось как бы само собой.

Так, неожиданно для себя, я и сделался на старости лет членом изыскательской группы. Мы встретились с Сайёдом и Надимом, они уже знали о моем решении, и мы отправились в ту самую невзрачную кофейню, где долго беседовали о будущем процветании нашей страны, об открывающихся перспективах. Они оба — о, в приватном порядке!— просветили меня насчет неко-

торых тонкостей контракта, который мне предстояло заключить, дали советы по поводу подготовки к экспедиции. Как раз это-то я, казалось бы, знал — ведь большую часть жизни провел в степях, пустынях, горных ущельях! — но кое-что действительно выветрилось из памяти; иные их советы оказались весьма кстати. Парни знали свое дело! Знали как профессионалы — должно быть, закалились во всяческих неизбежных передрягах.

Первая наша экспедиция должна была пройти вдоль древнего русла реки, что поднималось от оазиса к горным ущельям. На приобретение лошадей, мулов, яков, наем носильщиков и проводников, закупки палаток, специальной одежды, провианта, корма для животных, инструментария ушло более полутора месяцев. Оба моих спутника где-то в середине этого срока отравились по домам — побыть с семьями; мне прощаться было не с кем. Мой единственный сын, Аурангзеб, отправился в Кабул и поступил там в военный лицей. У нас с ним всегда сохранялись хорошие отношения, если кто и мог его урезонить, так только я, но тут и я оказался бессилён. Зачем ему, в его возрасте, понадобилась солдатчина? Бог весть. Он рос без должного присмотра, с детства был необузданным в помыслах и поступках, безжалостным, что, впрочем, нередко у детей. Меня пугало, как он мог хладнокровно расстреливать собак и кошек; для него же это было отчасти проявлением смелости, а отчасти, может быть, мстостью за собственную заброшенность. Я был тогда в вечных разъездах, мать им не занималась, а потом ее и вовсе не стало рядом (недавно я узнал: она вышла замуж за какого-то муэдзина и уехала). Эта детская лихость до жестокости, эта страстная жажда верховодить среди сверстников, вероятно, были всего лишь осуществлением лозунга «стать настоящим мужчиной»: мужчиной, которому ничто не страшно и ничто не нужно. Отсюда, наверное, и решение идти в военный лицей. Я пробовал отговаривать, но видел, что аргументы мои разбиваются вдребезги о его упорство. Сам я ничего дать ему не мог: ни денег, ни даже моральной поддержки. Пусть едет, сказал я себе; может, хоть так выйдет в люди.

...Когда мы наконец отправились — на рассвете, — горы поклажи на мулах и яках растянулись длинным караваном. В этих местах испытываешь ощущение веч-

ной, неотцветающей весны; и впрямь — тут всегда что-нибудь да цветет, из кустов то и дело — фьють-фьють! — вылетают стайки птиц, гудят, как фабрики, пчелы в зарослях дикого абрикоса. Там и сям, на зеленеющих, вперемешку с желтизной, выпасах раздается конское ржанье, двигаются табуны, а без усталости скачущие и брыкающиеся жеребята-сосунки разом останавливаются, услышав голоса кобылиц, вглядываются, раздувая ноздри, упиваясь сырым, сказочно дивным воздухом долин... и снова скачут. На полегшие от ветра прошлогодние камыши с гоготаньем опускаются дикие гуси... Я давно соскучился по этим дорогим сердцу предгорьям, по осторожно петляющим и прячущимся тропам. По звукам, цвету, следам на песке, камнях или траве я легко читаю потаенную жизнь природы, узнаю в лицо травы, кусты, деревья, птиц, мелкую живность, попадающуюся на глаза... И невольно улыбаюсь.

— У доктора, вижу, отличное настроение! А? — спрашивает, не наклоняясь в седле, Сайёд Нихон — длинный, прямой, как трость, с почти достающими до земли ногами.

— Да, — говорю я, оборачиваясь к нему и продолжая улыбаться, — истинно так... Да сопутствует нам удача и дальше!

И губы Сайёда тоже трогает подобие улыбки. Дыханье весны скрасило даже его активную некрасивость.

— Удача наша в первую очередь зависит от вас, доктор! — Это говорит шеф; он едет немного сбоку, слившись с лошадей, словно какой-нибудь знаменитый ковбой. — После перевала оставим караван в лагере и пойдем по древним тропам одни... А вы будете проводником.

— Слушаю, сэр!

«Сэр» говорю ему только я, хотя при остальных по-английски мы не разговариваем: неудобно. Другие называют его за глаза «боссом», а к нему обращаются «господин Лал» и говорят каждый на своем языке; Надим Сарбаланд, расчетливо оседлавший мула, объясняется с ним на исазайском диалекте. Наш всезнающий главный геолог понимает и его! Право, он достоин восхищения, и все им восхищаются, даже носильщики. Он на породистом тонконогом коне, который не отягощен никакой ношей, кроме самого седока, а в руках господина Лала только ружье, да его верный рыжий сеттер Раджа трусит позади, поднимая ногу едва ли не на

каждый торчащий камень. Вся деликатная поклажа, все, что нельзя было доверить мулам и носильщикам — инструменты в чехлах и ящиках, — приторочены к нашим седлам, и больше всего груза у коротышки Сарбаланда. А шеф едет налегке и смотрится прекрасно: его сухощавая статная фигура, блистательная посадка в седле, легкая, отлично пригнанная одежда — «сафари», естественность и неутомимость движений, простота обращения, одинаковая со всеми, не исключая самого младшего носильщика... Разумеется, слова его — закон, и подчиняются ему с искренней охотой. А что до Надима и Сайёда, они готовы для него на все, и эта преданность нравится мне. Одно странно: такой культурный, образованный, сравнительно молодой еще человек — и явно равнодушен к природе... Словно не замечает всех чудес ранней весны, не трогают его ни благоуханные свежие долины, ни склоны, сплошь покрытые алыми маками, точно накинувшие на себя банорас<sup>1</sup>, — так и ахаешь, когда они открываются за поворотом! Словно не существуют эти маленькие вихри из белых цветов шиповника, сорвавшиеся с остроконечных скал, голубая синица, пьющая воду из горного ручья... Может, это у меня поверхностное впечатление? Или он так занят своими мыслями, что не видит ничего вокруг?..

На третий день к вечеру мы одолели перевал. Взмыленные лошади и мулы остановились, и шеф приказал чуть впереди, на склоне горы, в благоуханном ельнике, ставить палатки первого лагеря. Высоко над нами, словно зацепившись за утесы, висел маленький кишлячок; над ним чернела роща, стояло легкое облако тумана. Сверху, может, из той рощи, донеслось уханье сыча, как бы понукая медлившую ночь; и в самом деле, зарево на западе стало меркнуть. Лагерь впал в оцепенение; впрочем, я уверен, волшебство ночи мало кому давало уснуть, разве что «Санчо Пансе», как прозвали мы с шефом плотнянского нашего гидрогеолога на муле: он уже храпел, положив голову на седло.

Мы с шефом лежали рядом; я заговорил об огнях, мерцающих вдаль, у подножий низких гор; о доисторических ореховых пнях, которые превратились в камень и тлеют подобно углю, когда в них повышается содержание железного оксида. Искоса глянул на шефа — не спит ли? — но нет, он слушал, и, казалось, с интересом.

---

<sup>1</sup> Банорас — цветастая шелковая ткань.

Что в Средней Азии, продолжал я, жизнь зародилась в горных ущельях — это очевидно; огнепоклонничество согдийских и чогаиёнских племен, зороастризм — родом отсюда, и огонь для храмов добывался в этих огнедышащих горах. И вместе с тем древние природные очаги были источниками жизнедеятельности: люди умели добывать из горящих камней и серу, и нашатырь, и другие вещества, необходимые для выделки шкур. Сколько они горят уже, первобытные костры природы, огни Согдианы?.. Шеф пошевелился. «И сколько же?» — спросил он. Добрых три миллиона лет, сказал я. «Да-а...» Во мне самом словно огонь разгорался. И сейчас глядишь на эти сгустки пламени с суеверным чувством, а чем они должны были казаться три, четыре тысячи лет назад? Какими чудищами, какими дэвами с огненной пастью?

— Недаром, — сказал я тихо, — эти места так богаты легендами... Именно в тех вон горах есть озеро Рашкуль. Прозрачное, как небо! А зыбь у берегов — зеленой весенней травы... Говорят, на берегу этого озера пасся огненикокрылый конь Рустама Рахш, упоминаемый в «Шахнаме»... Случалось, что охотники, забравшиеся туда, в прибрежный ельник, бежали прочь, побросав ружья... Что они там видели?.. Сыновья богачей и сейчас еще нет-нет да и нагрянут туда в поисках куропаток...

Я снова покосился на шефа: что-то он об этом думает?.. Шеф спал, неслышно дыша, а бодрствующий неподалеку Сайёд сделал мне знак рукой: тише, мол, спит.

Я на себя разозлился: трепач чертов, проклятый старый восторженный болтун! Кто тебя за язык-то тянул? Кому дело до твоих соображений, пристрастий, фантазий?.. Люди не за тем сюда приехали, и тебе деньги не за то платят; и устали все донельзя... Неужто до смерти так и не поумнеешь?..

Впервые за все последнее время нервы у меня расходились, я понял, что не засну; полез в рюкзак, вытащил взятые с собой старые записи, стал их проглядывать при свете фонарика; потом достал карту и принялся наносить по давним своим чертежам древние пути миграции горных племен, тропы кочевников-скотоводов, высохшие русла рек; за этим занятием я и провел большую часть ночи — пока фонарик не сел. Задремал я ненадолго перед самым рассветом.

На другой день, отпустив почти всех нанятых рабочих и оставив на базе только охранников, мы пешком отправились в дальнейший путь: топограф, почвовед, гидрогеолог, шеф со своим любимым Раджой и два носильщика с яком. Теперь группу возглавлял я.

Древние тропы завалены камнями, смыты оползнями и селями, заросли кустарником, рассечены оврагами. Идти очень трудно, и поначалу поиск кажется безнадежным и бессмысленным. Но уже два дня спустя, когда мы прошли одну из троп и точно нанесли ее на карту, миссия наша вполне обрела для меня смысл, я почувствовал удовлетворение и от работы, и от своего положения в группе. Показанные мной старинные ветви миграции близки на всем протяжении к источникам жизни — водным путям. Вода же прокладывает себе путь вниз, выбирая твердые пласты, — это новость для всех специалистов нашей группы! И факты сами шли к нам в руки, за считанные дни их набралось столько, сколько не набрать и за месяцы слепого лазанья по горам. На привалах шеф собирает всю информацию у себя, что-то, должно быть, классифицирует, обдумывает — а потом принимается играть с рыжим Раджой; Сайёд и Надим наблюдают за этой игрой с явным удовлетворением, ибо, судя по его поведению, шеф результатами доволен, значит, и для них все прекрасно...

Собранные геологические образцы были тяжелы, як и носильщики несколько поотстали, и мы, чтобы отдышаться, остановились на зеленой поляне. Сняли рюкзаки, кто-то принялся перематывать портянки, затягивать шнурки ботинок... Трава была по колено, а сидящим — и по грудь; тянуло легким ароматным ветерком, напестранным цветами и травами; мелкие птахи щебетали, пошвыстывали, вспархивали... Когда мы, так и не дождавшись носильщиков, снова тронулись было в путь, из-под буйно разросшегося куста гармалы, громко хлопая крыльями, вылетела худенькая фазанья курочка. Лохматый Раджа с лаем бросился к ней, а мы остановились как вкопанные. К нашему удивлению, курочка, вместо того чтоб лететь прочь, вдруг села на землю, и Раджа прямо-таки взмыл в неистовом охотничьем азарте, увидев добычу такой близкой и доступной. Но фазаниха вспорхнула у него из-под самого носа, пролетела немало — и снова села. Сайёд и Надим закричали наперебой:

— Она ранена!

— Крыло сломано!..

Господином Лалом тоже овладела ярая страсть охотника, он во весь голос науськивал Раджу, но фазанья курочка не давалась, успевая взлетать в последний миг и понемногу удаляясь от пышного куста гармалы. Можно было и впрямь подумать, что крыло у нее повреждено, но я уже понял, в чем дело: старая уловка, где-то здесь находилось ее гнездо с птенцами, может, под той самой гармалой, и она отводила от него собаку. Какая сила материнского инстинкта!

— Удивительное создание, удивительное!— сказал я с искренним восторгом.

— А?.. Что?.. Вы о чем?..— Господин Лал не мог оторваться от захватывающего зрелища, хотя Раджа и фазаниха были уже довольно далеко.

— Я о фазанихе!.. Думаете, у нее и вправду крыло сломано?.. Нич-чего подобного! От гнезда отводит! У нее гнездо здесь!..

Ах, проклятый мой язык! До сих пор клянусь себя за эту невольную подлость — до сих пор!

Господин Лал обернулся и внимательно на меня посмотрел.

— А-ах, так...— сказал он и повернулся к злополучному кусту — но я успел увидеть стремительную перемену в его лице: охотничий азарт разом потух, словно перед ним прямо на сцене обнажилась примитивная суть паразитического с виду фокуса; зато ясно обозначилась в глазах мстительная жажда освистать незадачливого артиста. Я сразу понял, что будет дальше, но не посмел себе поверить.

— Господин Лал...— сказал я вдруг охрипшим голосом. Он меня не услышал: стал отзывать собаку. Доведенного до истерики Раджу едва отозвали. И тогда господин Лал двинулся к гармале. Под кустом в самом деле оказалось гнездо фазанихи: четыре неуклюжих пушистых птенца, увидев тень, вытянули полуголые шеи, разинули голодные желтые клювы и запищали. Рональд Байрсби засмеялся. «Не тронет!»— сказал я себе с лихорадочной надеждой. Байрсби наклонился, поймал одного из птенцов за красномясое крыло, поднял вверх — и кинул собаке. Раджа сидел в двух шагах, запыхавшийся, с высунутым языком. Сперва он словно нехотя понюхал немощное существо, затем перевернул лапой, прижал — и только потом вцепился зубами. Из комочка красного мяса капнула капля кро-

ви — и все. Раджа проглотил птенца не жуя и уставился на хозяина, а Байрсби стоял над ним, осклабясь, держа в вытянутой руке второго фазаненка.

— Сэр! — кричал я.

Байрсби засмеялся.

— Ну, Раджа, если она хитра, то ведь мы все равно хитрее, а, пес? — И он кинул второго птенца.

Я уже было бросился к нему, но услышал разногласный смех за спиной. Смеялись не надо мной, нет. «Господин, он наслаждался!» — вскричал сквозь смех Надим своим густым голосом, а Сайёд вторил ему, хихикая тоненько: «Наслаждался он, господин!» Во мне что-то разом ослабло, надломилось. Не буду описывать эту ужасную сцену до конца, все и дальше пошло тем же порядком. Чтобы не слышать легкого хруста косточек, я отошел в сторону, отвернулся. Меня тошнило. К счастью, мои коллеги были так увлечены зрелищем, что не обращали на меня внимания. Не то наверняка до конца экспедиции дразнили бы меня «бабой», а деться от них ведь было бы некуда...

С того дня протянувшиеся было между нами нити оборвались, я почувствовал себя чужим в группе; обаятельные манеры сэра Байрсби напоминали мне об ужасной сцене, о моей невольной вине, грубоватые любезности Нихона и Сарбаланда приводили на память их отвратительный смех — хотя понемногу острота, конечно, стерлась. Мы ведь исходили еще несчетно километров по узким тропам, по каменным склонам, где не росла даже трава, по краю лавиноопасных, «живых» пластов, много работали, спорили, размышляли. Ну, и усталость свое брала. Пару раз господин Лал с фазанятами снился мне во сне, потом перестал.

Я продолжал вести группу. Во время привалов и ночевок мы общались по-прежнему деловито и спокойно, никакой неприязни... Впрочем, я забываю: неприязнь была только во мне, они о ней, возможно, и не подозревали! Порой я говорил себе: ведь не все же фазаны на земле исчезли, да и стреляют их каждый год сотнями тысяч, и скольких лисы уничтожают, и что тебе, больше всех надо, что ты за тип такой?.. Но сердцу не прикажешь.

Двигаясь очередным маршрутом, мы дошли до пещеры Чакра. Правда, она была несколько в стороне, но все изъявили желание ее посмотреть. Я-то видел ее еще в молодости и всегда вспоминал потом как прекрасный



сон. Чудо Чакры еще не учтено государством, не обследовано, даже не замечено наукой, тем больший резон и мне увидеть ее еще раз. Остальные ее вообще никогда не видели, а она стоит любой усталости. Яма у входа в пещеру заросла кизильником, сам вход увила поднимавшаяся из расщелин рыжеватая лоза дикого винограда. Едва мы ступили внутрь, из холодного, крошечно темного чрева огромными стаями, как черный ветер, полетели над нашей головой летучие мыши. Мы зажгли свои карбидные фонари, подняли их... И навстречу нам вспыхнул, засиял, засверкал тысячами отблесков огромный, немыслимо прекрасный, сказочно белый дворец. Мы шли вперед, и перед нами выстраивались в ряд диковинных форм колонны, казалось, высеченные из белого мрамора; стреловидные прозрачные обелиски, словно вырастающие из земли, а сверху, с потолка, к ним тянулись другие, такие же или похожие, только перевернутые острием вниз; лучи фонарей высвечивали наверху каменные выступы с тысячами дивных мелких деталей; букеты причудливых каменных цветов, словно незажженные люстры, свисали со стен, на полу стояли тысячи удивительных сосудов. И среди всего этого в мечущемся фонарном свете мелькали черные тени чудищ, демонов, невозможных уродов...

Ошеломленные, мы не заметили, сколько уже прошли. Я помнил, что пещера уходит в гору прямо и примерно через километр становится шире; пройдя еще немного, она слегка поворачивала. Должно быть, именно в этом месте шеф и оторвал взгляд от компаса:

— Сколько еще идти этой преисподней, доктор?

— Общая длина по прямой, насколько я помню, километра три с половиной... Но в этом месте сходятся несколько ответвлений, они известны не все, сэр, ведь нога спелеолога еще не ступала в Чакру...

— Ответвления?.. Ответвления меня не интересуют. Три с половиной километра, говорите?.. Хм...

Тут я сообразил, что он вообще не видел Чакры — смотрел только на компас. Господи, что за человек!.. А он между тем остановился и поглядывал то в черное, не пробиваемое нашими фонарями жерло пещеры впереди, то снова на свой компас — явно что-то прикидывал. Сайёд и Надим тоже потеряли интерес к чудесам подземного дворца — теперь они смотрели только на шефа, сильно обеспокоенные.

— Что-то не в порядке, господин Махдий? — спросил наконец коротышка.

— Нет!.. Нет, напротив... Вот что, Надим, надо определить угол уклона... так... направление я знаю... расстояние — тут мы поверим доктору... так... Значит, только уклон. Сможете?

— Будет сделано, господин Махдий!

— Прекрасно. А вы, Сайёд, возьмете несколько разных образцов пород...

Я заволновался:

— Сэр, тут ничего нельзя трогать!

— Пустяки, доктор! Ничего нет в мире такого, что нельзя было бы тронуть, если потребуется.

— Но, сэр, это ведь бесценный памятник природы, когда-нибудь он станет Меккой путешественников!

— Вот когда-нибудь и нельзя будет трогать. А пока... Что вы, доктор, ей-богу, — посмотрите, сколько здесь всего, что изменят полдюжины отбитых кусочков?.. А вы что стоите, Сайёд? Приступайте!

Мне кажется, у Сайёда тоже не сразу поднялась рука на такое кощунство. Но шеф прикрикнул... И минуту спустя в гулком пространстве раздались удары геологического молотка.

Когда, час спустя, мы выбрались из пещеры на свет — в промокших насквозь комбинезонах, засыпанные известковой пылью, покрытые брызгами красноватой грязи, — у всех на лицах, кроме господина Махдий, было написано уныние. Впрочем, что до моего настроения — «уныние» тут было явно неподходящим словом. Подавленность... отвращение... отчаянье!.. Словно я решил впервые показать тайную святыню моей жизни, а зрители, вместо ожидаемых восторгов, забросали ее грязью!.. Ах, но я ведь еще ничего не понимал... не знал, что нас ожидает!

Мы вернулись на свой маршрут, но дальше не двинулись. Ни завтра, ни послезавтра. Господин Махдий снова отправил своих специалистов в пещеру: уточнить все ее параметры, направление, состав горных пород. Они возились два дня — уже без меня, и только на третий мы перевалили гору: ту самую, в которую уходила пещера. Перевалили — и вышли в долину Аму!

Открывшийся ландшафт несколько улучшил мое настроение. В этом месте течение Аму, все еще стремительное, словно расплывается по долине; ее мутные воды, раздвинув берега, вбирают в себя прозрачные

горные потоки, но смешиваются с ними не сразу: саи с гор врезаются в желтую реку чистыми голубыми или светло-зелеными клиньями, и вся она похожа здесь на размотанный рулон пестрой ткани! А темная зелень елей и арчи покрывает склоны, местами на сочном зеленом бархате лугов вспыхивают алые пятна тюльпанов, пестреют многоцветные рассыпанные точки пасущегося скота... Какая отрада глазу! Привал мы устроили на пологом склоне и сидели молча, наслаждаясь отдыхом, панорамой долины, прохладным током воздуха, что омывал усталые наши тела. Заговорил господин Махдий:

— Ну, что, господа, дошло до вас, какие мы везунчики?— Он оглядел всех чуть прищуренными улыбающимися глазами.— Похоже, что нет... Я поздравляю вас с первым большим успехом, господа! Не зря мы трудились, не зря мучились: наши материалы — сокровище для проектировщиков!

Что греха таить, приятно было это услышать. Мы все на него уставились.

— Главная наша задача,— продолжал шеф,— это что проект, я теперь уверен, обойдется много дешевле, чем предполагалось! И прежде всего потому, что мы предложим использовать пещеру Чакра в качестве естественного тоннеля для трассы...

— Сэр, это невозможно!— вскрикнул я, вскочив на ноги.

— Это возможно,— сказал шеф, даже не пошевелившись и не глянув на меня.— Это более чем возможно: это выгодно. Это приблизительно три с половиной километра готового тоннеля, проложенного в твердых породах, и его дарит нам сам господь бог! Вы что-то еще хотели сказать, доктор Сухайль?

— Сэр, я категорически против этого и буду сопротивляться, пока хватит сил!

Сайёд и Надим застыли в испуге, но выражение лица господина Махдий не изменилось.

— Та-ак?— сказал он не то вопросительно, не то выжидательно.

— Я против этой рекомендации и как специалист и как гражданин! Гражданин этой страны!..

— Но мы тоже специалисты... и тоже граждане...— Говоря «мы», он посмотрел на Нихона и Сарбаланда, и те испуганно кивнули. Мне было все равно, на них я и не рассчитывал.

— Сэр, Чакра — это уникальное природное чудо мирового значения! Это гордость нашей земли!

— Кто это сказал? И где это написано?

— Да, спелеологи еще до нее не добрались. И у государства пока не хватало средств, чтобы сделать ее доступной туристам... объявить культурным достоянием! Эти красоты...

— Эти вечные оды... — сказал господин Лал, иронически улыбаясь и разводя руками. — О Восток, Восток! Каждый второй тут — поэт! Но, доктор Сухайль, — тон его сделался назидательным, — если все здесь по-прежнему будут заниматься такой лирикой, у вашего государства никогда и не появится средств... ни для чего.

— Национальная гордость не продается за деньги, сэр!

В лице его впервые мелькнуло раздражение.

— Вашу национальную гордость никто и не собирается покупать.... Мы заняты «Проектом Большой Аму», как вы знаете. Вот это — ваша национальная гордость!

— Вы просто не хотите меня понять! Только подумайте, много ли в мире таких чудес? Это же дикость — пустить туда воду и смыть веками, капля по капле, создававшуюся красоту...

— Да не волнуйтесь вы так, доктор! Садитесь-ка лучше...

— Нет, — сказал я и не сел, а повернулся к Сайёду и Надиму. — Ну, а вы-то... вы что ж, толченых сухарей в рот набрали? Черт возьми, вы же видели Чакру, у вас же самих челюсти отвисли от удивления! Что ж вы молчите? Афганцы вы или нет?..

Но они только испуганно тарасились то на меня, то на шефа и продолжали молчать. Я почувствовал себя очень усталым. И шеф, видно, это понял.

— Послушайте, доктор... — начал он примирительным тоном.

— Нет, сэр... нечего мне слушать... И хочу вас предупредить: мнение свое я везде выскажу... везде! Если ваш проект станут серьезно обсуждать, я буду протестовать публично, буду выступать, писать... обращаться к общественному мнению... ко всему народу!

— Ко всему народу... — Он хмыкнул.

Это меня окончательно взорвало.

— Да!— закричал я.— Ко всему народу! Вы тут пришелец и не имеете никаких прав попирать наши национальные чувства!

Этого говорить не следовало. Зря я не сдержался.

Господин Лал Махдий, он же Рональд Байрсби, поднялся на ноги, окинул меня презрительным взглядом, тонкие ноздри его раздулись.

— Отныне, господин Сухайль,— сказал он, чеканя слова,— мы будем с вами говорить исключительно на служебные темы... пока не истечет срок вашего контракта.

Хотя основной маршрут наш был завершен, делу изыскательской группы еще хватало, продолжалась трудоемкая работа по разметке зон водозабора. Прибыли носильщики с яками и поставили свои палатки на берегу Аму. Теперь экспедиция собралась в полном составе, и главный геолог то и дело рассылал специалистов с помощниками из числа носильщиков в однодневные походы — делать топографические съемки, уточнять геологическую карту. Они возвращались усталые, с тяжелым грузом... Один я, в сущности, отстранен от дел. По правде говоря, моя миссия действительно исчерпана — но меня, конечно, можно было использовать и на других заданиях, я был бы только рад... Мне, однако, ничего не поручают, и я бесцельно слоняюсь по лагерю и его окрестностям. Впрочем, не я один. Господин Лал Махдий тоже теперь не утруждает себя работой: отдает приказы, принимает материалы... Может, это результат теперешнего моего к нему отношения — но поражавшая меня поначалу его осведомленность во всем стала теперь казаться сомнительной: да, знает языки и диалекты, умеет рассортировать получаемые сведения и материалы... и только. Да геолог ли он вообще?.. Преувеличиваю, конечно, но уж очень он мне теперь противен. А Надим и Сайёд по-прежнему заглядывают ему в глаза и каждый раз, возвращаясь с очередного маршрута, торопятся устроить небольшое празднество. Я в этом не участвую, лежу обычно в палатке, делая вид, что давно сплю, и слушаю, как разглагольствует шеф, а они ему поддакивают или угодливо смеются.

Так было и на этот раз. Стояла прозрачная ночь, долина Аму внизу наполнилась лунным светом и, подобно невестушке, только что ставшей матерью, покоилась в объятиях белого безмолвия. Зато тени и все, что

оставалось в тени, казались синими. Сверху видно было, как блестят воды Аму, и на правом берегу, в другой части оазиса, переливались электрическим сиянием многочисленные отдаленные поселки. Что там светилось? Может быть, заводы, фабрики, электростанции?..

Метрах в тридцати от меня шло очередное празднество у костра; они, конечно, полагали, что «старик» давно спит, и чувствовали себя вполне свободно, но я и не прислушивался к ним: о чем интересном могут они говорить? К этому чудесному пейзажу они, разумеется, равнодушны... И вдруг по долетевшим до меня более громким фразам понял: и они говорят о ночной красоте долины... Или показалось? Я прислушался: говорил шеф.

— Вам, дорогие мои невежды, и невдомек, наверное, что Сумбуль Садриева намерена ровно половину амударьинских вод повернуть в Каршинскую степь?.. Да, представьте себе! Есть у них такой академик, не женщина, а сущая ведьма, и недавно она говорила об этом на Лоя Джирге Советов... Между прочим, это она угомонила каракумские смерчи, она провела воду в Бухару и Ашхабад, а теперь, как проклятый див, хлебает прямо из Аму... Ишь как освещен правый берег! А?.. А на левом — только четыре тусклых пятнышка...

— Одно — Ак-Мечеть, а другое — вот то — Кзыл-Калаз... — Это Сайёд.

— И ничего подобного! Там Тунгузгузер или Зайратон! — Это голос пьяного Надима.

Короткую паузу заполняет треск веток в костре, потом голос Лала Махдий произносит задумчиво:

— Прискорбно... да... весьма прискорбно для здешних дехкан глядеть на тот берег...

— Как? Что вы сказали?! — Этот удивленный возглас принадлежит Сайёду.

— То, что слышали!

Поникший голос Сайёда бормочет что-то не очень разборчивое — о друзьях, о дружбе.

Лал Махдий смеется пьяным смехом.

— Вот-вот, друзья! Мой покойный отец говаривал: учишься обделывать свои дела без друзей, ибо в каждом твоём друге таится твой враг!..

Я слышу их голоса, а жесты и движения могу только воображать, но готов поклясться: при этих своих словах шеф кивнул в мою сторону. Его сотрапезники захо-

хотали. Меня разобрало болезненное любопытство, я отбросил в сторону одеяло и стал прислушиваться.

Они, должно быть, разливали вино или еду накладывали — пауза была длинная. Потом шеф сказал:

— Вы, невежды, не задумываетесь, откуда Аму берет свои воды, а? Ведь нет же?.. А между прочим, из вашей любимой, вашей родной земли, да-а... И почему эта вода должна доставаться чужим? Почему? Можете мне объяснить, вы, специа-листы? Жалкий вы народ, вот почему! Н-ну, ничего... Мы ухватим эту Аму за по-водя... и п-повернем куда надо!

— Слава нашему ш-шефу!..

— С-слава...

Было слышно, как они изо всей силы чокнулись алюминиевыми кружками. Потом шеф снова заговорил:

— Я лишу воды эти хваленые южные вилояты! Л-лишу! Это вонючее болото... которое называется Ара-лом... высохнет — и станет соляной пустыней!.. У них там... будут гулять смерчи из соленой пыли! М-м, ребята, у меня есть личные счета с той ведьмой... и я... я забочусь о вашей стране... я...

Тут он увидел, что я стою над ним, яростный, едва владея собой. Он отпрянул, как от привидения, и про-бормотал растерянно:

— Вы... вы не спите, доктор... Сухайль?..

— Я понял,— сказал я сквозь зубы,— что вы не имеете никакого отношения к науке... Кто вы? Отвечайте, кто вы?!

Он удивительно быстро взял себя в руки, хотя набрался более чем достаточно. Глядя не на меня, а на сотрапезников, он сказал медленно:

— Самое интересное ведь что? Мы — пили, а он — пьян... Хе-хе...

Они захохотали, как шакалы, со взвизгиваньями. Может, им и вправду показалось очень смешно спьяну, а может, испугались моего неожиданного появления и в смехе этом обрел разрядку их испуг. Но это было уже неважно. Я опять, как всегда, свалял дурака! Опять выдал себя, выложил то, о чем надо было помолчать до поры. Изобличать его? В чем? В пьяном бреде? И перед кем? Перед этими шакалами?.. Он выставил меня в смешном свете, но ведь я и в самом деле смешон!.. Я побрел обратно к палатке, и вслед мне летел хохот обоих подпевал. Шеф не смеялся. Нет, ему не до сме-ха — он ведь тоже дурака свалял. И я понял: теперь он

будет стараться любым способом меня дискредитировать. Или вообще уничтожить. А чего мне бояться! Что мне терять — мою жалкую жизнь?.. Мне уже ничего не страшно.

В последующие дни, несмотря на явную мою отчужденность, шеф вел себя спокойно, даже исподволь пытался восстановить наши отношения, словно ничего и не произошло. Никто на меня не косился, никто вроде бы за мной не следил. Но я сознавал: все это — до поры до времени. Что-то необходимо предпринять, но что?.. Я терялся в догадках.

И вдруг, ночью, лежа в палатке без сна, я понял: надо уйти из лагеря, как можно скорей и незаметнее, спуститься вниз, опередив экспедицию, и разгласить их планы! Разгласить раньше, чем они втихомолку добьются их одобрения... Это единственная возможность!

И на следующую ночь, когда лагерь уснул, я стал собираться в путь и вышел на тропу перед рассветом, в самую темную, самую сонную пору. Вниз, говорил я себе, скорее...

\* \* \*

...Видно, что путник устал. Он идет медленнее, чем раньше, и первый луч рассвета застаёт его на каменной узкой, как змеиный след, тропинке, что ведет вверх, к перевалу, к последней высоте, которую предстоит одолеть. Оттуда, с перевала, путник увидит уже зеленеющие выпасы и стоябища кочевников, недалеко будет до места, где люди окажут помощь. Хорошо, что уже рассвет: он устал от ночи. Сейчас тропка еще раз свернет, а потом ровно потянется на перевал...

Но что это? Какой-то далекий звук привлек его внимание. Камешек где-то сорвался, что ли?.. Он прижался к стене, колени у него дрожали. Звук уже был явственно слышен, множился, нарастал. Камнепад!.. Странное совпадение! Сейчас, когда он у самого трудного поворота! Надо скорей миновать его! За ним каменный навес — скорей! Кто раньше — он или камни?.. А страшный грохот уже здесь, уже мимо летят глыбы, огромные, безжалостные... И страшная, мгновенная, невыносимая боль обрушивается на этот серый рассвет...

Когда камнепад, разбудивший горы и долину, иссякает, тишина воцаряется такая страшная, что леденит сердце самого бывалого горца. На этот раз она воца-



ряется надолго, и лишь потом, когда рассеивается пыль, снова становятся слышны птичьи трели, а с сохшего дерева на краю пропасти одиноко ухает сыч.

\* \* \*

Зубчатые деревянные ворота Чилстунского дворца открыты с утра; в них въезжают старый «форд» и новый «фиат», многочисленные фаэтоны с бахромчатыми висюльками; все они останавливаются у двухэтажного, своеобразной архитектуры, здания Министерства национальной экономики. У дверного порога со ступенями прибывающих специалистов и бизнесменов встречает огромного роста сарбаз; на нем высоченная каракулевая шапка, пол-лица занимают саблевидные усы. Подол своего чекменя с красным подбоем он заткнул за серебряный пояс и, почтительно сложив руки на груди, показывает дорогу внутрь.

Одними из последних прибыли Сабир Тохтабаев и Гуломали Коргар. Ночь они провели в седлах, одолевая горные перевалы; но, несмотря на усталость, легко спешили, привязали лошадей, дружно стряхнули пыль с одежды и сапог, поздоровались со знакомым сарбазом и присоединились к собравшимся.

В небольшом зале, устланном красным ковром, стоял приглушенный гул разговоров; тут были министр финансов, представитель министерства общественных работ, авторы «Проекта Большой Аму», авторитетные специалисты, деятели компании «Джеймс Моррисон»; люди здоровались, знакомились или уже вели разговоры, некоторые еще только занимали места в мягких креслах вокруг старинного продолговатого стола с резными ореховыми ножками. Разговоры, впрочем, разом стихли, едва из зеленой двери в задней стене появился министр национальной экономики. Все к нему повернулись выжидающе, и министр, пожилой человек с интеллигентным светлым лицом и несколько раздавшимся станом, каким-то заученным движением тронул бархатную феску на голове и сказал неожиданно простым, мягким голосом:

— Господа, я рад, что все приглашенные собрались!.. По поручению его величества господина Раиса Жумхур<sup>1</sup> мы начинаем первое обсуждение «Проекта

---

<sup>1</sup> Раис Жумхур — президент республики.

Большой Аму». Мы долго ждали этого дня, господи! Вы знаете, что технико-экономическое обоснование проекта потребовало почти двух лет... Но мы результатом довольны — как бы там ни было, а проект уже у нас в руках, даже более того, он стал знаменит! Я думаю, вы читали в «Кабул таймс», «Иктисод», «Анис», что о нем говорят повсюду в народе, общество проявляет чрезвычайный интерес... Теперь ясно — недаром мы назвали его «Проектом Большой Аму», ведь это сооружение обещает стать предметом нашей национальной гордости, поднять авторитет нашей страны в мире!.. И господин Раис Жумхур поручил нам ускорить его осуществление...

Слово дали руководителю группы проектировщиков, молодому смуглому инженеру из Калькутты; он плохо, мучаясь, говорил на дари обо всех аспектах проектно-изыскательских работ, о порядке и сроках строительства, рассказывал нестерпимо долго, путал схемы на столе, то и дело забывал какой-нибудь важный термин и по-английски обращался за помощью к высокому жилистому человеку, сидевшему рядом. В зале стал подниматься гомон; но как ни странно, скорее не от нетерпения, а от восхищения вырисовывающейся величественностью проекта. Специалисты вставали с мест, склонялись над столом; кто-то, как бы не веря ушам и глазам своим, вопросительно взглядывал на окружающих. У иных был просто радостно-растерянный, счастливо-изумленный вид. Доклад еще не был окончен, как посыпались вопросы.

— Могу и я спросить?— сказал Гуломали Коргар, поднимаясь. Вид его — загорелый, морщинистый лоб, плохо выбритые щеки, пристальный ястребиный взгляд из-под густых бровей, а главное — серая пылезащитная косоворотка, перехваченная ремнем, да грубые сапоги,— не слишком-то гармонировал с тем, как выглядели остальные.

— Пожалуйста, господин Коргар,— сказал министр.— Прошу прощения, господи, что не представил сразу: инженер Гуломали Коргар и рядом с ним советский специалист Сабир Тохтабаев из Дангарской изыскательской группы. Они только что с берега Аму, приехали из Чорвилюята, герои строек Сурхдувала и Дашти-Маргхо! Так прошу вас, господин Коргар, что вы хотели?..

— Я...— Коргар запнулся, словно долго ворочал вопрос во рту и теперь повернул не той стороной,— я... вот что... почему это называется «Большой проект»? В каком смысле?..

Все смолкли, глянув друг на друга; стало слышно, как гудит кондиционер. Министр посмотрел на руководителя проектировщиков и пожал плечами, не то и сам задавшись этим вопросом, не то недоумевая, почему он задан. У инженера из Калькутты вид был беспомощный. Жилистый стройный человек, сидевший рядом с ним, поднялся, оглядел всех и улыбнулся. В улыбке была откровенная снисходительность к наивности и ненужности вопроса.

— Во-первых, господин Коргар,— сказал он, продолжая улыбаться,— не «Большой проект», а «Проект Большой Аму»... Но не в этом суть, конечно... Почему так назван? А вы спросите у журналистов... Это, скорее всего, они придумали! И понятно почему: выражая чувство национальной гордости и патриотизма!

Видно было, как Коргар напрягся.

— А я думаю...— сказал он,— выражая профессиональное невежество... вот что!— Он почувствовал, что перехватил в резкости слов и тона, и попытался смягчить:— Конечно, журналисты не профессионалы в нашем деле... Но мы-то специалисты! Так в каком же смысле «Проект Большой Аму»? Или «Большой проект»?.. Величина проекта измеряется пользой, которую он принесет. Вот наша, Дангарская группа тоже ведет изыскательские работы... и тоже на предмет использования вод Аму! Мы прежде всего задаемся вопросом: что дадим народу?

— Превосходно!— сказал стройный мужчина, по-прежнему победительно улыбаясь.— Так ведь ответ известен: воду дадим, воду, коллега!

— Господин Махдий,— мягко сказал министр,— не прерывайте инженера, пожалуйста, пусть договорит...

Стройный сосед докладчика поклонился и сел, все с той же улыбкой.

— Конечно, известно,— воду!— сказал Коргар.— Но, предположим, вода пришла — готовы ее принять? Патриархальные бедные хозяйства, да им лишний арык негде провести, и не нужна им лишняя вода, куда они ее денут?

— Но, господин Коргар!— вступился докладчик на своем мучительном дари.— Ведь мы приведем... приве-

дем жизнь на сухие земли северных вилояйтов... будут пить воду... как это... бескрайние пастбища...

— И стоит тратить столько сил и средств, чтобы засолить и превратить в болота пустыни Девбада? Чтобы бесценная вода впиталась в пески Каракумов?

Коргар обратил эти слова к министру финансов. Тот молчал, слушал.

— Господа, о чем, собственно, спор?— Это сказал Лал Махдий, он снова поднялся или, верней, вознесся над своим стулом, в нем словно пружина сработала.— Какое засоление, какие болота? Ведь мы собираемся дать этому району всего лишь двести кубометров воды!

— Пра-авильно!— сказал Коргар.— Только для того, чтобы доставить сюда двести кубов, из реки надо взять шестьсот. Ведь ваш проект составлен так, что пока вода пройдет свои пятьсот километров пути, ее станет втрое меньше. Да, да, за счет фильтрации. Это нам знакомо!.. А куда, спрашивается, уйдут остальные четыреста?.. В песок, куда ж еще! Такое позволяет себе не замечать только тот, кто готов иссушить реку ради своих проектов...

— Желающие иссушить реку...— Лал Махдий сделал кратчайшую паузу, от его улыбки на губах оставался лишь намек; и в голосе прозвучал металл, когда он закончил фразу:— Желающие иссушить реку находятся на том берегу!— Он смотрел на Коргара, уже открыто бросая вызов ему и, конечно, его советскому спутнику; этот парень в такой неуместной здесь походной одежде, с вызывающей тонкой щеточкой усов, прямо-таки сует наждак в механизм, который он, Лал Махдий, так долго отлаживал...

— Это как же понимать?— сухо спросил Коргар.

— Так прямо и понимать, господин Коргар. Аму иссушает госпожа Сумбуль Садриева; это ведь она сказала об Аму, пусть-де течет под уклон, не так ли? И половину реки повернули в пустыню, где вода уже действительно уходит в пески. А теперь еще и Каршинские степи...

— Послушайте, господа, в самом деле...— зашевелился представитель министерства общественных работ. Это был толстый, лысый, потеющий человек, с беспоконным и неуверенным взглядом.— Афганский декканин не взял еще из Аму ни единого ведра воды. Граница проходит по самой середине реки. Значит, господин Коргар, мы имеем право на ее половину! Да афга-

нец ли вы?!.. Будь вы афганцем хотя бы настолько, насколько господин Махдий...— И он затрясся от смеха всем своим толстым телом, довольный неожиданной шуткой. Но никто вокруг даже не улыбнулся, и толстяк, оглянувшись в поисках сочувствия, с виноватым видом погасил тряску.

— Я афганец, господа!— сказал Коргар.— Афганец, можете не сомневаться... Но именно как афганец и спрашиваю: можем ли мы проявить неблагодарность по отношению к северному соседу, который по собственному почину изменил демаркационную линию?.. Ведь раньше, мы знаем, она проходила по левому берегу... И я не могу позволить клеветать в моем присутствии на всемирно известное имя академика Садриевой. Ее гидрогеологические карты повсюду считаются уникальной разработкой. Каждому известно, что она — самый авторитетный защитник Аму и всю жизнь посвятила реке. Мне хорошо известны все проекты, которые она создала за тридцать лет. В основе их лежат не только гидротехнические, но и нравственные принципы, да! Мы имеем право только на необходимое, только лишнюю воду забирать — лишнюю, ту, без которой река может существовать! Таково мудрое правило этой замечательной женщины... И я прошу не касаться ее неуважительным словом! И не надо... не знаю вашего имени, господин... не надо спекулировать национальными чувствами! Как бы сильны они ни были, мы не хотим утверждать их за счет соседей...

Председательствующий давно уже поднялся и нетерпеливо стучал по столу.

— Господа! Господа... Братья!.. Не будем отдаляться от темы! Ваши слова — не к месту, инженер Коргар... Никто здесь и не посягает на интересы наших соседей... Успокойтесь, господа... Ведь среди нас — и представитель наших советских друзей... Может быть, и он соблаговолит высказаться?— И министр, мягко улыбнувшись, посмотрел на Тохтабаева.

Сабир Тохтабаев, невысокий, но крепко сбитый юноша в чустской тюбетейке — на лице его замечались прежде всего густые сросшиеся брови и мощный подбородок с двумя-тремя оспинками,— по-видимому, не ожидал предложения выступить и на мгновение замешкался, но потом встал, поправил выгоревший воротник и галстук и сказал хрипловато:

— Господин министр... уважаемые коллеги... — Он откашлялся и дальше говорил уже не спеша, уверенно, произношение у него было очень естественное, на таком дари говорят кашкадарьинские таджики. — Я не уполномочен высказываться здесь о том, кто сколько берет воды, кому сколько положено. Могу только напомнить, что наша Конституция предусматривает защиту природы и, конечно, рек, как ее важнейшей части... и просто не позволит нам иссушить Аму!.. К тому же у наших гидрогеологов и ирригаторов накоплен немалый опыт. В нашей республике, например, построены десятки искусственных водоемов, и некоторые вы, наверное, знаете — хотя бы Таллимаржон, Пачкамар, Туямуийн на Аму... В них собирают и з л и ш к и, — он подчеркнул это голосом, — воды в период паводка. Потом в течение лета эта вода и питает долины... Вода, как бы добровольно отданная рекой! Кроме того, мы во многих местах автоматизируем подачу воды, стараясь увеличить полезную отдачу, прогнозируем возможности водопользования — и разрабатываем научно обоснованные нормы... Ну и, конечно, мягкие шланги, бетонные лотки, повторное использование дренажных вод — да целая система мер! Она включает, между прочим, разработку юридических и финансовых законов... И мы были бы рады поделиться нашим опытом с соседями... с другими государствами. Мой учитель академик Сумбуль Садриева и этим, в частности, занята, возможно, вам известен ее доклад, прочитанный в Париже на сессии ЮНЕСКО... Право, ее недаром называли покровительницей Аму... несмотря на почтенный возраст, она не перестает заниматься всеми проблемами реки...

Лал Махдий нервно листал лежащие перед ним бумаги. Почувяв в речи Сабира интонацию, как бы предшествующую паузе, он поспешил вклиниться:

— С точки зрения пропаганды все это прекрасно, господин ирригатор... Но мы здесь обсуждаем другое — конкретный проект доставки воды к засушливым землям Афганистана...

— Подождите, господин Лал, — сказал басом министр финансов, осторожно кладя на стол широкую, как лопата, ладонь. Это был длинношей, высокий, по-видимому, человек; что-то в его внешности казалось неуклюжим, несоразмерным; с начала совещания до сих пор он не промолвил ни слова — сидел, слушая, уставясь на огромные кисти своих рук, сложенные на

коленях; только по желвакам, ходящим на его щеках, можно было догадаться, что он вовсе не равнодушен к тому, что вокруг говорится.— Не следует высказываться столь категорично... Учти мы тот опыт, о котором говорит господин Тохтабаев, в сорок шестом году в Гильмендском оазисе наши дорогие миллионы не сгорели бы, как куча прошлогодних листьев!

— Какие миллионы?— тотчас вставил Лал Махдий тоном искреннего недоумения.

Но министр не обратил внимания на его вопрос.

— О том, что те земли мертвы и в случае обводнения превратятся лишь в соленые топи, еще в тридцатом году писал русский ученый Букиннич. Но когда составлялся проект, этого во внимание не приняли. Позволю себе заметить, господин Махдий,— тот проект тоже был представлен вашей компанией... Вы заключили договор с нашим правительством, на сооружение ушли все наши долларовые запасы в американских банках,— чтобы осушить созданные в итоге болота, нам пришлось снова залезать в долги! Осуществление проекта стоило семнадцать миллионов... Избавление от его печальных последствий — семьдесят! Если позволить разгуляться фантазии, можно подумать, что это была тщательно спланированная кем-то экономическая ловушка...— Господин Махдий возмущенно вскочил, раскрыл было рот, но министр финансов не дал ему ворваться в паузу:— Ну, ну, я только фантазирую, господин Махдий, в этом мире многое фантастично! Но боюсь, сэр, наш нынешний проект может оказаться на деле ловушкой еще более ужасной...

Зал затих, даже замер. У господина Махдий, который так и не сел, был вид боксера, который неожиданно получил удар в солнечное сплетение и теперь, лихорадочно втягивая легкими воздух, пытается собрать силы для контратаки. Его опередил представитель министерства общественных работ.

— Господа...— сказал, немилосердно натирая платком влажную, блестящую лысину,— господа... Ну, что это за обсуждение, в самом деле... Стоит ли, забывая об уважении друг к другу, ворошить дела тридцатилетней давности...

Министр финансов чуть сощурился:

— Я понимаю, господин бывший министр, вас это задевает за живое... Ведь после проверки всей той истории как раз вашу канцелярию обвинило Народное

собрание, не так ли?.. Это вы купили проекты компании «Джеймс Моррисон», с их непомерными расходами и нулевой полезностью... Да что там нулевой! Болота, образовавшиеся тогда в Гильмендском оазисе,— это ведь и долговые болота тоже, словно рассчитанные на то, чтобы превратить нашу страну в вечного должника... Вечного!.. По правде говоря, мне кажется, сегодня вокруг господина премьер-министра снова собирается группа лиц, похожих на вас...

— Я протестую!— вскочив, громко сказал председательствующий.

— Которая приведет нас к катастрофе...

— Господин министр, я не могу позволить здесь таких речей!— В тоне председательствующего послышалась истерическая нотка.оборот, который приняло дело, был явно неожиданным не только для господина Лала Махдий...

Вечер принес едва заметно прибавлявшуюся прохладу. Сабир Тохтабаев и Гуломали Коргар какое-то время отдыхали во дворе гостиницы, выпили чаю, сидя на сури<sup>1</sup> под туркаваком<sup>2</sup>, пожевали свежих лепешек... И отправились в путь в полной уже темноте. Часа в три пополуночи, на дороге к Салангу, они сели в открытый, без верха, пестро изукрашенный автобус с надписью на боку «Басий милий» («Национальные автобусные линии»). Первые лучи зари зажигали уже окна кварталов, взбирающихся на гору, зубцы кушанских стен на Осмоийской горе<sup>3</sup> краснели, как медь. Кабул провожал их доносившимися отовсюду заунывными призывами на утреннюю молитву.

О вчерашнем они еще не перемолвились ни словом.

В прохладной рассветной тишине звук мотора бурбихай (так называют афганцы свои разукрашенные автобусы) разносился особенно гулко, горные склоны возвращали эхо. Только одолев Саланг и ощутив на плечах первое тепло солнца, оба почувствовали себя свободными от сковывающих вчерашних воспоминаний, словно горький осадок обсуждения, оставшийся внутри,

---

<sup>1</sup> Сури — деревянное или глинобитное возвышение для отдыха и сна.

<sup>2</sup> Туркавак — клетка для перепелки, обычно с дном из тыквянки.

<sup>3</sup> Осмоийская гора — гора близ Кабула.



и тревожащая суматоха большого города остались там, за горным перевалом.

Переночевали в Самангане, оседлали наутро свежих лошадей из караван-сарая. Лошади, словно почуяв привычное дыхание простора, поспешили вниз легкой рысью. Пообочь каменных дорог солнце весело освещало лоскутные, клонящиеся к северу, мазанные глиной, поросшие маками плоские крыши крошечных кишлачков, бахчи, прилегающие к глинобитным дувалам, заросшие травой приусадебные клочки земли, густозеленые луга, напоенные благодатной водой весенних потоков-пятидневок.

Этот бедный пестроцветный край был для Гуломали родным, прекрасным, успокаивающим миром. Ему стало легко, но казалось, что его спутник, проронивший лишь несколько скупых слов, все еще думает о вчерашнем; надо заговорить с ним на другие, более приятные темы, повернуть его обращенный внутрь себя взгляд к окружающему могучему и в то же время ласковому пейзажу.

— Сабирджан, почему вы не женаты до сих пор?..

Сабир улыбнулся. Очень уж неожиданным был этот вопрос после их долгого молчания. Но удивительно: броня молчания как бы разом раскололась. Раскололась — и свалилась с него, как тяжелый панцирь! Он почувствовал себя легко и, опершись ногами о стремяна, несколько раз приподнялся в седле. Гуломали вообще парень с распахнутым сердцем. Да, он ведь и раньше охотно заговаривал о семье, семейном очаге, детях, родственниках. Хотя самому ему трагически не повезло с семьей и детьми. Он больше не женился после того, как его молодая жена вместе с ребенком умерла при родах. Как-то неделикатно вдаваться в причины того, почему сильный, здоровый, такой привлекательный юноша ходит в холостяках; Сабир знает, что это проблема не простая. Во-первых, судя по рассказам Гуломали, он все еще не забыл и, похоже, не скоро забудет свою удивительную первую любовь. Во-вторых... «...Понимаешь, в наших краях жениться не такое уж ерундовое дело...» Правда — Сабир знает это по себе. «И я ведь кто? Всего-навсего небогатый геолог, скитающийся по горам и пустыням...» Так говорит Гуломали, сам же явно скучает по прелестям домашней жизни, недаром то и дело заговаривает о ней.

— Сказать по правде, Гуломали, есть у меня любимая девушка...

— Да-а?..— Гуломали оживляется.— И... красивая?

— Прелесть девушка... только... отношения у нас не простые.

— Ну, отношения! Отношения можно наладить. Ты... ты расскажи о ней...

— Ну, как расскажешь! Хорошая... красивая... очень... Мы вместе учились. Она тоже геолог. Одна из любимых учениц Сумбуль-ая...

— Э, не тяни, скажи откровенно, в чем там дело!

— Да ни в чем. Любит ее... еще один парень.

— Ну и что?.. Тьфу ты, господи! И пусть себе любит — его дело! А ты не отступай! Главное — сама девушка, она-то — на чьей стороне?..

— Манзура-то... на моей...— сказал Сабир, и сердце у него сладко екнуло оттого, что он вслух произнес ее имя. Он каким-то детским движением коснулся и погладил кожаную кисточку на выступе седла.

— Эге-е! В чем же загвоздка? Да ты выше голову! В следующую поездку домой женись и привози ее сюда!.. Манзура зовут?..

— Манзура...— повторил Сабир. И опять у него сладостно дрогнуло внутри. Он помолчал мгновение и добавил — осторожно, как бы сам не желая в этом признаваться, вынуждаемый только честностью:— У этого... у Деряева есть свое преимущество...

— Деряева?

— Ну, это фамилия того, другого парня... Он гидрогеолог, занимается гипотезами, теориями, сидит на одном месте... А мы, ирригаторы,— что? Сам же говоришь — всю жизнь в пустынях, домой приезжаем только на побывку... Какой женщине по вкусу муж-бродяга? И сейчас вот — они в Карши, а мы с тобой — здесь...

Последние грустные слова неожиданно сильно подействовали на обоих каким-то общим затаенным смыслом: парни замолчали. Мерный цокот копыт по каменистой дороге вдруг показался утомительным. А может, и вправду уже устали?.. Дорога все продолжала идти под уклон, ее уже сопровождали по сторонам знакомые оазисы, и засушливые низины, и белые курганы. Путники выбрали у деревни поляну, сплошь, как ков-

ром, покрытую маками, распрягли лошадей, положили в изголовье седла и растянулись на траве.

— Слушайте, дружище...— сказал Гуломали раздумчиво; исчерпав до поры ту, сугубо личную тему, он снова перешел на прежние, более церемонные интонации.

— Боюсь я, эти пройдохи все-таки всучат правительству свой проклятый проект! Надо нам ускорить работы, а?

— Надо,— сказал Сабир.

Тревога у них в душе, развеившаяся было, когда они миновали первый перевал от столицы, теперь, напротив, по мере отдаления стала сгущаться, как грозовая туча. Должно быть, оттого, что они больше не могли не только вмешаться, но даже и следить за развитием событий. А может быть, главное для них все-таки — делать свое дело? Конечно, это так, и все же...

— Они там многое наметили и подготовили,— снова сказал Сабир,— и, разумеется, не пожалеют никаких денег...

— Денег у них хватает! Особенно на такое... Чистая выгода!

— А нам приходится деньги считать и считать! Наша-то трасса пройдет по низинам, по районам оседлых племен, землепашцев... Не посчитаем наперед все как следует — народ нам не поверит, не поддержит, а без этого наш проект просто неосуществим!.. Вода должна подаваться только в пределах необходимости, только туда, где нужна. Сумеет все учесть, все правильно рассчитать — и наш проект будет очевидно предпочтительнее, чем их пресловутый «Проект Большой Аму»!

— Да,— сказал Гуломали.— Только мы должны представить его вовремя, раньше их... Не то пустят в ход свои подлые уловки, денежки свои — и тогда...— Он приподнялся на локте.— Вы даже не представляете, сколько у них в запасе этих подлых способов! Им служат и лицемерные ура-патриоты, и жадные невежественные бизнесмены, и просто продажные карьеристы... и торопливые политиканы, готовые за что угодно ухватиться, лишь бы подтащило их поближе к власти! И лживые обещания, каких мы себе никогда не позволим, и высокопарные лозунги, от которых нас тошнит... Им все равно...— Тут он вдруг остановился, что-то пришло ему в голову.— Вы согласны, что надо изо всех сил торопиться? Так почему вы, отказавшись

от трассы, которую мы изучаем уже полгода и почти отработали, вдруг накинудись на эти Хокбадские холмы?.. Разве мы так все не стопорим?..

Сабир покачал головой:

— Наоборот, Гуломжон... Я думаю, как бы ускорить...— Он тоже приподнялся, сел, стал рыться в своем рюкзаке.— Хокбадские холмы очень важны,— говорил он, продолжая рыться,— недаром... недаром меня всегда тянуло туда... тянуло, словно там сокровища зарыты... Ага! Вот!— Он вытащил и протянул Гуломали пожелтевшую брошюру.— Взгляните!— Он радостно засмеялся.— Ей-богу, мы наткнулись на открытие!

Гуломали укоризненно покачал головой.

— Смеетесь, а ведь дело серьезное... По сути, только мы, наш проект и может спасти правительство и страну от катастрофического решения...

— Да не смеюсь я, не смеюсь — радуюсь, что нам повезло!— Гуломали все еще глядел недоверчиво.

— Посмотрите сюда...— Сабирджан, слюнявя палец, листал желтые сухие страницы.— Вот! Видите, что написано? «Чорданахо». Речь идет о четырнадцати реках, стекавших с Хокбадских холмов!.. Эти реки превращали в цветник обширные вилояты — от северных границ до подножий Каракумов! В древности это были на редкость ухоженные оазисы... Где, где брали эти реки воду, почему высохли? Впрочем, не в том суть. Мы можем поднять к ним воду из Аму, но где они протекали? Вы же знаете преимущества старых русел! Если их найти, мы избавляемся от долгих изыскательских работ, от трудоемкой работы по изучению почвы, ландшафта, гидрогеологии пластов... Четырнадцать рек — это же четырнадцать каналов!..

— Но что это за книжка? Откуда взялась?..

— О том нам может поведать лишь ее автор!

Гуломали взял книжку — осторожно, как если б она спала летаргическим сном и теперь могла проснуться у него в руках,— и полистал.

— Слушайте, это же археология!

— Ну и что? Нам неважно — археология, зоология... Нам автор нужен!

— Автор — доктор Сухайль. Вот же...

— Да читать-то я умею, дорогой, мне не имя — мне сам автор нужен!

— Сам автор? Так я его знаю...

— Что-о?

— Ну да, он друг моего деда, много раз бывал у нас дома, но, кроме древних легенд, ничего интересного я от него не...

Сабир подскочил и с воплем восторга навалился на Гуломали, придавив его к земле; они стали кататься по траве. «Да тише вы! — хрипел Гуломали. — Да в чем дело?.. Тише, очки в кармане хрустнули!..» Наконец Сабир отпустил его, снова вскочил, отряхнулся и, разведя широко руки, словно собираясь обнять подернутый дымкой простор, завопил изо всей силы:

— Ого-го-о!.. Доктор Сухайль нашелся!.. Наше-е-елся! Ого-го-го-о!..

Гуломали стоял рядом и смеялся. Сабир толкнул его кулаком в плечо, потом схватил седло и побежал к лошади.

— Эй, Сабирджан, куда ж мы поедем?..

— Куда-а!.. Ясно: к вашему деду!

Вместо Дангара, где находилась база их изыскательской группы, они повернули лошадей к Мазари-Шерифу. Когда стемнело, им пришлось остановиться в большом кишлаке Пайки.

— Заночуем у моего дяди, — сказал Гуломали и направил коня к башенке мечети, что чернела на окраине темного кишлака. Лошади устали, крупы у них были влажные; почуяв привал и поочередно фыркая, они сами пошли по нужной дороге. Наконец замерцали тусклые огоньки. Усадьба дяди оказалась большой, да и людей в ней — полным-полно. «У него там родичи варятся в казане и танцуют на головешке», — сказал Гуломали, усмехаясь. Едва они въехали в распахнутые ворота, в глаза им бросились аккуратно сложенные кучи ровно нарезанного хвороста — их освещал огонь очага. На топот лошадей из глубины двора двинулись тени.

— Дядя встречает, — сказал Гуломали.

Они спешили, кто-то проворно ухватил лошадей за поводья и увел, а перед путниками возник крепкий, крестьянского вида человек с фонарем в руке; зеленая чалма, борода клинышком и тоже вроде как с прозеленью, длинный сложенный чекмень накинут на плечи... Человек явно разменял пятый десяток. Поставив фонарь наземь, он обнялся с племянником, затем со слова-

ми «ассалому-алейкум» повернулся ко второму гостю, сложил руки на груди и повел их в дом.

Пока они шли, на них поочередно взглядывали десять или пятнадцать широко открытых окон и дверей, зазывно выдвигались вперед пристроенные к низким оштукатуренным глиной стенам деревянные айваны с гостеприимными сури и супами. Наконец хозяин пригласил их в большую комнату, где поверх камышовых циновок был постелен ковер. Вокруг столика на низких ножках стремительно появились курпачи — подушки в форме валика; двор и гостиная оживали. Гости уселись.

— Ну,— сказал дядя, поглаживая бороду,— добро пожаловать, слава аллаху, аминь!— Он повернулся всем корпусом к Сабиру:— Как здоровье ваше, гость? Очень хорошо, что приехали, а то мы слышали — у Гуломали советский попутчик... Спокойно ли у вас дома?..

Вопросы его, в сущности, почти не требовали ответов — только вежливых поклонов, кивков, поддакиваний, так же, как и слуги дома не ждали приказаний: все делалось словно бы само, по извечно згведенному порядку. Вежливая беседа продолжалась, а кто-то, едва видимый в полутьме, приносил воду для мытья рук, полотенца; кто-то расстилал дастархан; кто-то ставил на него хлеб, чай, сладости. Речь зашла о строительстве канала, и дядя с деловитой дотошностью несколько раз уточнял: правда ли, что воды Аму доберутся и сюда? Правда ли? А когда? Много ли придет воды?

— До этого еще далеко, дядя...— сказал Гуломали.

Сабир чувствовал, что этот средних лет крестьянин с его наивно задаваемыми вопросами на деле вовсе не наивен, не прост; в свете чорака — большой копилки с фитилем, открыто уходившим в масло,— глаза дяди хитровато, остренько поблескивали; его не удивляет, что юноши взялись за огромное, смелое дело, для него даже не слишком существенно, что один из юношей — его племянник: ему важно, чтобы пришла вода. Впрочем, он понравился Сабиру; подражая Гуломали, Сабир тоже стал по-свойски называть его «дядей».

— Скажите, дядя, а если в один прекрасный день мы пригласим жителей близлежащих кишлаков на хашар — придут они? Помогут? Как вы думаете?

— Мы-то обязательно поможем, гость, обязательно! Я сам приду, со всеми домочадцами, слугами, только позовите!— Хозяин дома сказал это, кажется, с ис-

кренним энтузиазмом, даже лицо у него вроде чуть разгладилось, помолодело, и стало видно, что маленькая, с проседью, борода ему к лицу. — Однако, — добавил он веско, — такое дело надо решать на совете улуса! Чтобы и чины знали, и шейхи, и муллы... Нет, люди пойдут, но в наших местах много «вет», бездельников...

Сабир вопросительно взглянул на друга.

— Это пришельцы, которые получают землю по жеребьевке, — объяснил Гуломали. — Есть такой обычай, остался от кочевников...

— Да, да, — подхватил дядя, — эти соседи сплошь бедняки, землю не любят — и понятно: пот свой на ней не проливали... На хашар они не выйдут, нет! А о кочевниках и говорить нечего, им даже и не объяснишь, что такое хашар: вытопчут одно пастбище, соберут пожитки — и давай на другое!

— Мы же и пастбищам их дадим воду!

— Дадите — выпьют, используют... а потом все равно перекочуют.

— А может, — сказал Сабир, — если «этим соседям» дать землю, воду — они в конце концов преисполнятся любовью к земле, останутся?.. — Но, сказав это, прикусил, хоть и с запозданием, язык. Вот идиот, сказал он себе, забыл, где находишься, — кто ж это даст им землю и воду?..

Собеседники ответили ему продолжительным молчанием. Сабир не знал, как выбраться из неловкости, но тут хозяин сам нашелся.

— Гуломали, — сказал он, — не желаете ли поздороваться с тетушками?

Они поднялись и вышли из комнаты, а Сабир возблагодарил судьбу за избавление; впрочем, может, им впрямь нужно было о чем-то поговорить с глазу на глаз.

И тут в комнату вошла девушка. В руках у нее был чайник и несколько пиал. Когда она появилась в дверях, Сабир на мгновение даже зажмурился, словно к лицу приблизилось пламя: девушка была ошеломляюще, обжигающе красива! Ты не успеваешь это даже понять, а именно чувствовал, как чувствуют неожиданный жар...

Она сняла у порога кауши и, кажется, поздоровалась, но Сабир не ответил, не услышал — он был словно загипнотизирован этим небывалым виденьем. Девушке было лет шестнадцать-семнадцать, не больше, ее

цветастые штаны спускались до щиколоток; когда она нагнулась, чтобы взять касы, и наступила смуглыми босыми ножками на край скатерти, он словно увидел под коротким широким ситцевым платицем все нежные округлости ее тела. Но она тотчас выпрямилась, чудесным движением отбросила за плечо толстую черную косу — и от нее повеяло пламенной молодостью, тончайшим запахом сандалового дерева, ароматом каких-то потаенных желаний. На голову девушки был не очень ловко, но кокетливо намотан платок; слегка прикрыв им свое молочно-бледное, овальное, непередаваемо милое личико, улыбнувшись одними припухшими губками, она тихо сказала «откушайте» и вышла. Сабир теперь только понял, что не ответил на ее приветствие. Но ему не было стыдно, все в нем сместилось, как бывает во сне. И это виденье девушки было как сон — невыразимый словами, пронзительный, немислимый сон, который, пробуждаясь, пытаешься — не восстановить, нет — только сохранить в себе подольше, но он улечивается, меркнет, теряет яркость, а все еще долго-долго наполняет светом твое существо. Он огляделся затуманенными глазами, просторная комната теперь показалась ему тесной. Ему хотелось броситься в дверь, в которую вышла девушка; «что ж они оставили меня одного», пробормотал он сам себе, не очень отчетливо соображая в то мгновение, кто это — «они»; и тут вошли дядя и племянник — вошли со словами:

— Не скучаете ли, гость?— И понемногу вернули комнате ее прежнюю атмосферу.

Слуги внесли новые кушанья, беседа возобновилась. Но разговор, казалось Сабире, проходил теперь на фоне колеблющейся нежно-розовой или сиреневой кисеи и между репликами, своими и чужими, Сабир то и дело задавал себе вопросы: действительно она вошла? И зачем вошла? Ах да, принесла что-то... И кто она?

Когда им постелили на супе под старым тутовником, он все ворочался с боку на бок, не мог уснуть. Должно быть, неподалеку находился хлев: слышно было, как жует скотина, куры тревожно трепыхались, устраиваясь на насесте. Звенели цикады.

— Знаете, зачем дядя позвал меня выйти с ним?— вдруг спросил Гуломали. Он тоже не спал, думал о чем-то.

— Зачем?— тупо сказал Сабир, едва отрываясь от своих мыслей.



— Чтобы снова спросить, верно ли, что сюда придет вода Аму.

— А-а...— Сабир вяло собирался с мыслями, потом сказал:— Ну, естественно... он же дехканин.

— Да нет же, не так уж естественно!.. Если точно, что придет вода, так он скупит земли тех бедных соседей!..

— Что?..— Сабир вдруг отрезвел. Нежно-розовая кисея резко заколебалась под ветром — и растаяла.— И что, у вашего дяди хватит сил скупить все это?

— Ну конечно, это ведь дешевые, заложенные земли. И все эти соседи — должники дяди! Они просто отдадут землю за долги.

— А сами?

— А что сами? Даже если и останутся без ничего, все равно будут довольны, что от долгов избавились: в брюхе пусто, зато на душе спокойно...

— А земли большие? Если все вместе?..

— Большие.

Сабир рассердился; он не сразу сам разобрался на что — то ли на то, что предавался сладостной сиреновой грезе, пока тут замышляется такое; то ли на друга, то ли за друга на его дядю... Нет, не то, ерунда: суть в том, что вот, оказывается, к чему приведут их усилия во имя людского блага — к тому, что в итоге бедных людей ограбят дочиста!..

— Гуломали, простите меня, дядя-то ваш, оказывается, хищник...

Гуломали помолчал, не двигаясь.

— Хищник...— сказал он наконец негромко. Еще помолчал и прибавил:— Мелкий хищник. Есть и по-крупнее.

— Выходит, наши труды...

— Да, и я об этом думаю. Проведем сюда воду, а это послужит только к обогащению богатых и полному обнищанию бедняков... Правильно вы когда-то сказали: эти тысячи засушливых танапов ждут не только воды — они ждут социальных перемен!..

— Это не я сказал — это великий человек сказал.

— А когда приходит вода у вас, что делают дехкане?

— У нас... Ну, сперва строятся совхозные поселки, оросительная сеть; потом поля разравнивают, сады сажают. Приходит вода — и все оживает... Народ, переселяясь на новые земли, встречает воду как праздник!

— И мой дядя тоже готовится... к приходу воды! — Гуломали резко привстал, точно змеей укушенный, вытер кулаком глаза. Не плакал же он? Может, подумал Сабир, обиделся на мои слова?

— Гуломали...

— Я... Почему я такой бестолковый, беспомощный, а, Сабирджан?.. Работать могу, а повернуть что-то в жизни... И сделанное радости не приносит... Иной раз хочется все бросить, от всего отказаться!

— Ну да! И пускай является господин Лал Махдий и проталкивает свой предательский проект! — Сабир ухватил друга за руку, хотел поднять, приободрить; но рука была вялая, холодная, Сабир понял, что Гуломали сейчас нужно сочувствие, мягкость; он отпустил его руку и сказал, стараясь как можно больше смягчить тон: — Дружище, знаете, как это называется у нас, узбеков? Сжечь одеяло, чтобы блох извести... Почему, говорите, вы не рады? Ну, почему? Если мы предложим дешевый и разумный проект и заставим отступить этих мошенников, разве уже это само по себе — дело не стоящее? А ведь оно в наших руках! Чего ж отчаиваться...

Гуломали, не поворачивая к нему лица, одной рукой взял его за плечо, как бы говоря «простите», и легонько встряхнул.

Они улеглись, но так толком до утра и не заснули. А на рассвете со стороны ворот донесся шум, ишак заревел во всю мощь, как пароходная труба, со скрипом открылась дверь конюшни. Не успели они встать, как у супы появился низенький старик, борода лопатой, в крапчатой чалме; тяжело дыша, он усталился на гостей, потом, сняв кауши, полез на супу и подвинулся к Сабиру:

— Эй, хорошо ли добрались, дорогой, да паду я за вас жертвой? Милости просим! Пришла весть — тут гость из Сурхана, так я тут же, ночью, поднялся, сел на своего ишачка и стал погонять что было сил — слава богу, застал! Слава богу!

Полураздетый, не в силах освободиться из объятий мощного, пахнущего потом старика, Сабир чувствовал себя глупо. А старик все продолжал свое:

— Э, как хорошо, хорошо-то как, что приехали, родненький, — надеемся, здоровье ваше в порядке, а мы-то ждали, в четыре глаза глядели — не приедет ли кто с родной стороны! Здоровы ли родители ваши? И родственники, и соседи...

Наконец он выпустил Сабира, и, пока тот одевался, старик провел ладонью, которой касался плеча юноши, по бровям своим и губам, вытер слезы поясным платком, уселся на край супы и снова затянул благословения.

— Да пребудет родина наша в благоденствии, пусть у вас, родненький, будет хорошая свадьба, аминь!— заключил он, захватив пятерней свою лопату-бороду на шерботом подбородке.

— Откуда ж вы, бобо?— спросил Сабир.

— Из Денау приходим, родненький, называют нас Хайриддин-долговязый, зятем приходимся Ходжикулу-уряднику, может, слышали?

— Да-а...— сказал Сабир неопределенно. Смех. Кто теперь может помнить у р я д н и к а Ходжикула, которому этот старец приходится зятем? Но разочаровать старика не хотелось. Впрочем, тот в волнении и не заметил неопределенности ответа.— Мы из Карши, отец. Как вы сами, домашние, здоровы ли дети?..

— Э, пусть будет вам счастье в жизни, сынок, спасибо, все мы в руках божьих, вот здесь свой хлеб насущный нашли... А в Денау-то вы бывали?

— А как же! Если не раз в неделю, так уж в месяц раз обязательно бываем, работа такая!

— А?..— Старик подозрительно глянул на Сабира покрасневшими от слез глазами: не разыгрывает ли его молодой джигит? Ему, видно, не очень-то поверилось в возможность ежемесячных поездок из Карши в Денау и обратно. Но дорогие воспоминания справились с этим сомнением.— Да, а Дунганарык все так же шумно течет?

— Шумно, отец! Грохочет...— Сабир знал: нет сейчас в Денау такого арыка. Старик обрадовался и окончательно отбросил прочь сомнения:

— Вот-вот! Грохочет!.. А над Тимуровым мостом тутовое дерево было, одинокое, не срубили?

— Стоит, бобо! Цветет старое дерево...

Старик снова возбужденно бросился к Сабиру, повис у него на шее, заплакал, затрясся всем телом. Господи, как бы его успокоить, бедный старик, жизнь-то прошла, и тяжелый, черт, как бы шею мне не сломал, а все равно жалко, у самого в горле першит, может, и впрямь растет там старый тутовник, а я не видел, бедный старик...

— Нам пора, Хайридин-бобо, торопимся,— сказал Гуломали.

— Знаю, знаю, дети мои, роптать на судьбу — грех, что ни есть — все от бога... Но старик что дитя, уж не обижайтесь...— Он отпустил Сабира, отступил на шаг, встряхнул головой, точно отгонял волнение, — и вдруг, сверкнув глазами, повернулся к Гуломали:— Э, а куда это вы спешите, а? Я встал в полночь, вышел в путь, торопился, чтобы не присмотрели себе другое местечко погостевать... Не-ет, едем к нам, к нам едем, я ж за вами прибыл!

— Нет, бобо, спасибо вам, спасибо, но мы не можем к вам поехать,— сказал Сабир.

— Э, не обижайте меня, гость, не обижайте, сын мой, я даже не спросил имени вашего, вы для меня — не вы, а молодость моя, что на миг проглянула, вся моя жизнь печальная, родина моя, что мне каждый божий день снится...

— Хайридин-бобо, у нас дело очень важное, нельзя отложить,— вступил Гуломали,— но потом обязательно навестим вас, правда, Сабирджан?

— Конечно, конечно, обещаем!

— Видите?— сказал Гуломали.— Раз обещаем — приедем!

— Нет!— сказал старик и снова заплакал. Он попробовал было стать перед ними на колени, но Гуломали успел его перехватить и сказал:

— Мы едем к Садыку Сардору!

Старик замер, потом по очереди внимательно глянул на них мгновенно просохшими глазами.

— Да?— переспросил он.— Тогда другое дело. Если к Сардору — езжайте быстрее, не опоздайте! И Сардору от меня передайте поклон, непременно передайте поклон...

Когда после завтрака оседлали лошадей и тронулись в путь, в голове Сабира роилось множество вопросов. Едва взошло солнце, лесовые дороги Мазари-Шерифа раскисли, копыта лошадей уже не цокали и мягко почавкивали, но вокруг царила бескрайняя тишина, располагая к размышлениям. Мысли, впрочем, были не сосредоточенные, рассеянные, как отдельные белые облачка в огромном синем небе. Перегнувшись в седле, Сабир сорвал с обочины еще не расцветший побег джи-

ды, втягивал ноздрями его нежный, настойчивый аромат — и вдруг вспомнил, как тряслись плечи у плакавшего старика. Как сложна жизнь, и как в ней все немислимо перемешано: беда и радость, ликование и тоска, жадные расчеты и неисполнимые желанья... И как дальше-то все пойдет? Их-то планы, споры, усилия, надежды чем обернутся? Все это вдруг вообразилось Сабиру парами, подымающимися от земли, собирающимися в облака, тучи — несущимися бог весть куда... Где, когда выпадет все это дождем? И жданным ли, благодатным — или, напротив, надоевшим, проклинаемым?..

— Хайридин-бобо приехал сюда в двадцатых годах,— неожиданно заговорил Гуломали; видно, решил, что пора все объяснить.— Он приходится тестем моему дяде.

— Эх-ха...

— Да. Старшая жена моего дяди была дочкой старика Хайридина.

— Понятно... Он живет здесь, в Пайки?

— Да, в узбекской части.

— Зять-то старика не обижает?..

— По-моему, нет,— осторожно сказал Гуломали.

— Выглядит старик бедняком...

— Ну, в свое время он тоже был богат. Правда, самым большим его богатством была дочь. Ее красота стала легендой в этих местах. Так вот, пока красавица дочь была при нем, был он человеком имундим и авторитетным... Ушла дочь — ушло и везенье. У нас такие вещи судьбой зовут...

Сабир вдруг ощутил приближение уже знакомого неожиданного жара. Что это? Красавица дочь... та, вчерашняя девушка... какие-то две ниточки, точно провода, соединились у него в мозгу и осветили все ослепительно ярким светом.

— Слушайте, Гулом... Кто была вчерашняя девушка?

— Девушка? Вчерашняя?.. Какая девушка?

— Ну, та, что принесла чай в гостиную, когда вы вышли...

— Так я ж не видел... А, Зулейхо, наверно?

— Да, наверно,— сказал Сабир; ему почему-то вдруг показалось, что имя девушки и не могло быть другим.

— Так это ж дочка дяди!— сказал Гуломали и бросил на Сабира быстрый взгляд искоса.— И единственная внучка этого самого старика... А что?

— Нет, ничего...

Сабира даже пот прошиб. Наверное, лицо все красное...

Гуломали засмеялся:

— Эй, будьте осторожны! Не то Манзура догадается...

— Да о чем вы! Что ж, спросить нельзя?

— Спросить можно, сколько угодно... Просто хочу вас предупредить: ее покойная мать в молодости каких только парней с ума не сводила... Если она похожа на мать...

— Сказать по правде, и она может с ума свести...

Гуломали снова засмеялся:

— Даже та-ак?... С первого взгляда?

— А что, ее можно увидеть еще раз?

Гуломали натянул поводья.

— Ну-ну... Вы это серьезно?

— Не знаю...

— Послушайте, Сабирджан, у нас есть поверье: за чересчур красивыми девушками по пятам несчастье ходит. Я знаю Зулейхо, но остерегаюсь. Ведь это — как в азартной игре: или огромный выигрыш, или полное разоренье... или счастье великое, или горе на всю жизнь!

Сабир попробовал свести все к шутке:

— Да вы, оказывается, ходячее суеверие!

— Я — может быть... а вот вам, выходит, верить нельзя... Манзуре обещание давали?

— Это при чем?

— То есть как — при чем?

— Слушайте, Гулом, речь же идет о чуде, о необычайной красоте... Такому чуду и можно, и нужно поклоняться... Просто поклоняться... Оно так редко, что не могут на него распространяться обычные законы и правила... Красота не вмещается в бухгалтерские графы... Разве я не прав?

Гуломали только поглядел на него, покачал головой и ничего не сказал. Так они и поехали в молчании, и лошади, почуяв настроение всадников, замедлили ход и неторопливо шли бок о бок. Почувствовалась близость города — поднимая пыль, стремительно проскакал навстречу верховой, следом прошагал, погоняя бы-

ка хворостиной, дехканин, за ним, по обочине, шла, должно быть, жена его с ребенком; немного погодя Сабиру и Гуломали пришлось обогнать табор кочевников — гортанно переговаривались, перекрикивались люди, скрипели арбы, свистели плетки, пыль стояла столбом...

Обгоняя табор, они поехали быстрее и уже не сбавили скорости; встречный ветер освежил, приободрил их. И дорога пошла вниз.

— Слушайте, Гуломали,— сказал Сабир, вдруг вспомнив то, что его удивило утром,— а с чего это Хайридин-бобо так переменялся утром, едва услышав имя вашего деда? Прямо как по волшебству...

— В этих местах имя деда на всех оказывает такое воздействие. Это все его былая слава. В молодости он был близок к Амануллохану... Принадлежал к его свите...

— Но в свите Амануллохана было, наверное, много народу — они что, все до сих пор пользуются таким почетом?

— Нет, конечно. Да их и не осталось почти, я думаю... Видите ли, Садык Сардор завоевал особое доверие Амануллохана и был среди тех, с кем шах отправил до Ташкента свое письмо Ленину... К тому же дед был самым молодым среди посланных с письмом, а теперь он — единственный из них, кто еще жив...

— Понятно,— сказал Сабир. Он вдруг ощутил робость.— А теперь...— он выдержал кратчайшую паузу,— ...теперь чем он занимается?

Гуломали улыбнулся:

— Теперь он исповедует идеи Икбала!

— Икбала? Поэта Икбала?..

— Да. Он проповедует его учение, и весь улус смотрит ему в рот. Когда-то, защищая своего шаха от банд Бачасако, он был тяжело ранен в битве при Маймане, потом вышел в отставку в звании корноила<sup>1</sup>. Его возмутила заносчивость преемников Аманулло, он уехал в эти края, в отцовское поместье — да тут и остался.

— И что?

— Ничего. Так и живет с тех пор. Он здесь вроде неофициального вождя, что ли. Хотя его никто никуда не выбирал. Но, где бы ни появился, его встречают как святого. Если назвать имя «Садык Сардор», задумыва-

---

<sup>1</sup> Корноил — полковник.

ются вожди самых воинственных племен... Но и врагов у него хватает! Правда, когда мы ему говорим: «Будьте осторожны», — он неизменно отвечает: «Теперь меня только бог возьмет!» Словом, сами увидите. Дед мой — выдающаяся личность!.. Когда будете с ним беседовать, не забудьте спросить об Икбале... Сразу его к себе расположите. Икбал — это для него целый мир...

— А что его сын, ваш отец?..

— Отец мой был как все. Обыкновенным торговцем. Перевозил на лошадях тюки с шерстью через Читральский перевал. Когда Амануллохана изгнали в Рим, Садык Сардор послал с ним своего сына. Об отце долго не было вестей, только через десять лет он вернулся. Больной, бедный. И вскоре умер. Ну, в народе и стали говорить, что Сардор во имя своей дружбы к шаху пожертвовал сыном... И почтение к деду стало еще выше... •

— Послушайте, Гуломали, так запросто заехать, беспокоить такого человека...

— Ну что вы! Наоборот, он обидится, если не заедем! Дед очень интересуется всеми моими делами, я ведь у него воспитывался. Он мне вместо отца... — На губах Гуломали появилась мягкая, добрая улыбка. — Вечно меня наставлял: учись, учись! Наша жизнь прошла в битвах, а ты учись! Страна не вечно будет такой, как сейчас, еще свершатся великие события, и люди тут будут ох как нужны! Ты, говорит, должен быть моим продолжением... Отдал меня учиться в Кабульский университет... Замечательный он старик, сами увидите, Сабир. Знаю, конечно, он не великий мудрец и не пророк, но когда он говорит, я, как и прочие, готов верить любым его пророчествам... Что-то в нем есть... такое...

День кончался, небо за снежными пиками Гиндукуша потемнело, а слева пламенели в зареве низкие равнины. Шумели в прохладном ветерке качающиеся ряды тополей, абрикосовые сады, примыкающие к старым усадьбам на окраине города; легкие облачка пыли, взметаемые ветерком на дороге, переливались в последних лучах солнца, как обрывки шелкового занавеса. Едва на садовой улице показались два всадника, на глинобитные крыши, поросшие тюльпанами, высыпали дети — шумливые девчушки, одетые в красное: так они встречают и провожают каждого путника.



Двор Садыка Сардора существует, наверное, с незапамятных времен; старые нештукатуренные дома, легкие каркасные надстройки над первыми этажами; колодец на краю неухоженного цветника; большой запущенный сад за постройками... Только аккуратный новый дом на переднем плане радует свежей побелкой, поблескивают стекла широкой закрытой веранды.

К этой веранде путники и направились, как только привязали лошадей в хлеву, задали им овса и стряхнули пыль с сапог. Из мягкого кресла за низким полузаваленным столом им навстречу поднялся высокий сухощавый старик — с крошечными серебряными усиками, в зеленой феске на лысой голове, в наброшенном на плечи халате из адраса<sup>1</sup>. Сабир примерно таким и представлял себе старого Сардора, но все же не думал, что на девятом десятке лет человек может оставаться столь стройным и подвижным. Рослость и статность его фигуры еще более подчеркнул полувоенный камзол из серого сукна, со стоячим воротником и медными пуговицами, когда старик, встав при виде гостей, резким движением сбросил с плеч халат. Гуломали, подбежав к деду, положил ему голову на грудь, затем, нагнувшись, поцеловал полы его камзола и отошел в сторону, как бы уступая место другу.

— Это и есть ваш советский товарищ? — с улыбкой сказал Сардор. — Слышали, слышали...

Сабир, приветствуя старика, почти повторил ритуал, продемонстрированный Гуломали, но от волнения не мог ни слова вымолвить. Величавость старика его подавила. Стараясь овладеть собой, Сабир огляделся. Всюду вокруг были книги: на столе, на высоких полках за канделябрами, в нишах; даже просто на ковре они лежали стопками — древние фолианты в коже, рукописные и печатные, изящные современные книги на многих языках, изданные на Востоке и Западе, — многоцветье обложек, пестрое разнообразие шрифтов... Никогда прежде Сабир не видел пестрого и такого красивого книжного собрания!..

Старик заметил его восторженный взгляд и сказал просто, без нарочитой небрежности:

— Я вижу, вы заинтересовались книгами, дорогой гость, но не обольщайтесь — они собраны как попало,

---

<sup>1</sup> А д р а с — полушелковая узорчатая ткань кустарного производства.

откуда попало, я ведь не ученый, это просто забава моей старости...

— Но какие замечательные издания! Никогда не видел таких... Здесь, наверное, есть большие редкости?..

— Может быть, и есть,— сказал Сардор с той же легкой, ненарочитой простотой.— В редкостях я не очень разбираюсь, покупал в свое время что нравится... Но вы сможете посмотреть все, что захотите! Прошу вас, сядем...— Он двинулся к почетной, свободной стороне стола, и тут только Сабир увидел: левая нога хозяина почти не гнется. Старик уселся первый и снова пригласил Сабира жестом:— Прошу!.. А вы, Гуломали, распорядитесь приготовить все для плова. И пожалуйста, постарайтесь для такого гостя, сделайте плов своими руками, настоящий узбекский...

— Бобо,— сказал Гуломали,— не обижайтесь, но нам не до плова. У нас очень мало времени...

— Ну, ну, не разочаровывайте старика, я ведь ждал вас с большим нетерпением и кое-что знаю о ваших делах... Не до плова так не до плова, хотя, конечно, это нарушение приличий! Но рассказать-то обо всем у вас время найдется?..

Волнуясь, перебивая и дополняя друг друга, они стали рассказывать о своем проекте, о «Проекте Большой Аму», о том, как проходило обсуждение в министерстве... По репликам старика нетрудно было догадаться, что он и впрямь во многом осведомлен. За разговором они едва заметили, что принесли чай, сладости, лепешки; кажется, что-то пили, жевали что-то...

Старик наконец встал, постоял так с минуту, опустив голову, не то размышляя, не то припоминая; потом, прихрамывая, прошелся по ковру в своих мягких американских ботинках — взад-вперед...

— Да!— сказал он, вдруг остановившись.— Вам действительно надо спешить. Ясно: тот берег интересует их куда больше, чем Афганистан. Что ж, компания «Джеймс Моррисон» и в наше время была приютом разведчиков и диверсантов... Мой «приятель» полковник Лоуренс тоже в ней обретался. Он руководил своими людьми из города Точ... А этот — как вы сказали? Лал Махдий? Хм... Лоуренса звали Пири Карамшах!.. Эта проектная группа принадлежит, конечно, к новому поколению, и задания у них новые. Можно примерно догадаться какие...— Он посмотрел на Сабира.— В ваших, сынок, южных вилоятах делается многое, что

колет им глаза. Ваши планы в Каршинских и Шерабадских степях, в Каракумах... Они жаждут сорвать эти планы, хоть как-то нанести урон Аму... пустить на сторону ее воду... и вбить клин между вами и правительством Мухаммеда Дауда! Да, да, так оно и есть...

Сардор сел за стол, помолчал. Потом заговорил снова:

— Я думаю, вы избрали правильный путь... Их нужно остановить, не то будет беда и для того и для этого берега, и нет другой возможности, кроме как противопоставить ваш проект ихнему. Вы правильно сделали, сынок, что напомнили во время обсуждения о советском опыте. Этот опыт и будет основой вашего проекта, не так ли?

— Да, бобо,— сказал Гуломали,— но у нас...

— ...У нас есть и кое-что новое!— торопливо преврал его Сабир.— Кое-что еще!

— Новое?..

— Да!.. Видите ли, некоторые наши молодые ученые разрабатывают проблему сухих русел. Старых русел, по которым текли когда-то реки... И, вы понимаете, получается, что это, в сущности, готовые каналы!.. Как раз сейчас мне попала в руки старая книжка... В ней говорится о четырнадцати речках, что текли когда-то с Хокбадских холмов. Автор несомненно знал их русла!.. Но я, к сожалению, не знал автора,— и тут Гуломали говорит, что это ваш друг...

— Мой друг?— спросил старик настороженно.

Сабир торопливо вытащил брошюру и протянул ему. Но тот едва взгляделся в обложку — и с гневом, с возмущением швырнул книжку на стол.

— Это имя...— сказал он сквозь зубы,— ...я не желаю это имя даже слышать в моем доме!

Лицо у него померкло, посерело.

— Бобо...— тихим, встревоженным голосом спросил Гуломали,— вам плохо?

— Чего уж хорошего?!

Старик замолчал, и молодые люди молчали тоже, боясь вызвать новый приступ раздражения, так, казалось, не вязавшегося с обликом старого Сардора. Наконец Сабир не выдержал:

— Когда доктор... хм... изучал древние русла Чорднахра...

Но старик бросил на него холодный взгляд, и Сабир проглотил вторую половину фразы. Снова потянулось молчание, пока старый офицер сам не прервал его.

— Гуломали был прав: мы были друзьями...— Голос у него был подавленный и, казалось, через силу исходил из гортани.— Были... я ошибся... этот человек оказался не тем, чем... чем казался...— Старик поморщился, может быть, от случайной, неуместной игры слов, но поправлять себя не стал.— Сначала мы услышали, что он... присоединился к группе «Большой Аму». А потом... Вот!— Он обернулся к полке, взял несколько газетных вырезок и протянул Гуломали.

Вырезки были из газеты «Кабул Таймс»— на одной сохранилась часть названия газеты. Гуломали перебирал их, пока не увидел маленькое, обведенное красным карандашом сообщение: известный археолог доктор Абу Матлиб Сухайль, из личных и идейных соображений отрекшись от Родины, уехал в Америку... Гуломали молча показал это Сабиру.

— Ну?— сказал Сардор.— Видели? «Из личных и идейных соображений...» Трус, беженец! Как будто есть соображения, которые оправдывают отречение от Родины! И я был слеп... Сперва он все хныкал и жаловался, что не уважают ни его, ни его профессии... что нет сил переносить это все... а потом... И я, старый дурак, столько времени продолжал считать его другом!.. Предателя!

Казалось, он задохнулся от собственных слов — и замолк.

Молодые люди глядели в пол.

— И это,— сказал Сардор после долгой паузы,— еще не все...— Он передохнул, как будто ему все еще не хватало дыхания.— Он оставил здесь жену... оставил соломенной вдовой. Я знал, что она осталась с сыном-шалопаем и плачет кровью... Приказал разыскать этого мальчика, хотел взять на воспитание... Нет! Он пристегнул к поясу кинжал и примкнул к отвратительной толпе, которая называет себя «Бдительная молодежь». Есть такие недоделанные... полувоенная организация, руководят ею офицеры-шовинисты. Хотят воспитать «львят отчизны»!.. А пока что вытравливают из мальчиков любовь и вообще все человеческие чувства... Алчный, невежественный сброд... эти офицеры... играют молодыми жизнями... с огнем играют! И устроят пожар... в конце концов...— Он опять передохнул и за-

кончил:— Этот мальчик меня волнует куда больше, чем его отец. Об отце я и знать не хочу.

Интонацией он словно поставил окончательную точку под разговором. Сабир взглянул на него и поразился. Могущественный дед Гуломали, только что вызывавший восхищение своей выправкой, скрытой силой, барственной простотой и свободой речей и движений, в несколько минут превратился в слабого, едва ли не дрожащего старика... Бедняга, подумал Сабир, нелегко это ему далось... да и вся жизнь...

— Ну что ж,— сказал он, вздохнув.— Вы правы, конечно. Ничего не поделаешь, будем искать русла сами... Напишу Сумбуль-ая, может, ей что-нибудь известно...

— Да, да, напишите!— подхватил Гуломали.

Старик глянул на Сабир, в глазах его снова мелькнул интерес.

— Ну,— сказал Сабир,— нам нужно спешить... Простите нас, бобо, что доставили неприятности, и разрешите идти...

Было уже поздно, начинало смеркаться. Но — удивительно — остаться на ночь Сардор им не предложил. Он только поднялся — с трудом,— чтобы их проводить.

— Сынок,— сказал он вдруг Сабиру прежним ласковым тоном,— вы помянули имя... Сумбуль... и раньше уже, кажется, поминали... Кто это?

— А-а!.. Это академик Сумбуль Садриева, наш учитель... очень уважаемый, очень известный ученый!..

— Ага... ученый... Сумбу-уль...— Он протянул звук, как будто ему доставляло удовольствие слушать, как он длится.— А откуда она?.. Сколько лет?..

Сабир даже несколько растерялся. Он не помнил — а может, и не знал?— откуда она родом. Но потом воспоминание мелькнуло у него в памяти.

— Я точно не знаю...— сказал он.— Но, кажется... из Шерабада. А сколько ей лет... Как-то неприлично у женщины спрашивать... Юбилей она справлять не любит... Мы уже давно привыкли называть ее «аяя»! Уже лет десять —«ая», «ая»... Я думаю, под семьдесят...

Старик кивнул. Потом обнял внука, поклонился Сабире. И, сутулясь, прихрамывая больше обычного, проводил их до двери веранды.

...О романтика тех лет! Юность, светлые мечты, захватывающие идеалы... Мы — молодые офицеры, только что закончившие школу Хабибия и перешедшие в военный колледж; под носом у нас маленькие, как жучки, усики, под мышкой — газета Махмуда Тарзи «Сирадж ал-Ахбор»; мы смеемся над термином «джихад», который провозглашают Старые афганцы. Эти невежды, все еще не желая признать русскую революцию, продолжают считать мировую войну незаконченной! Но нам-то известна доподлинно суть всего, что происходит в мире! Мы же не кто-нибудь, мы — Молодые афганцы; мы изучили кучу всего, что и не нюхали старшие поколения. А главное — Икбала... Икбала я не просто читал — штудировал, знал наизусть, как и его учителя Джамолиддина Афгани; декламировал на площадях поэму «Пайёми Ашрик», посвященную любимому нашему вождю Амануллохану. Самостоятельный путь Афганистана был для нас очевиден. Когда в то майское утро у Кабульского дворца Амануллохан, обнажив саблю, клялся в этом перед нами, мы, надрывая горло, выкрикивали: «Да поможет бог эмиру Амануллохану!», «Смерть английским тиранам!», «Да здравствует независимость!», «Вперед, Молодые афганцы!»

Удивительная весна!.. Она была и в стране, и в душе. Молодой эмир — наш единомышленник и друг, время работает на нас, в государстве все кипит, вокруг масса дел — а мы переполнены энергией и отвагой...

В один из первых дней Амануллохан вызвал меня к себе. У каждой двери Арка — свои, молодые офицеры, да и сам эмир все тот же: гимнастерка со стоячим воротником, широкий пояс, блестящие сапоги... Я почувствовал себя так, словно вошел в родной дом. Но уже через мгновение понял: хотя Амануллохан и в прежней форме офицера, но он теперь уже эмир, меж нами появилась дистанция, которую надо сохранять! Он поздоровался с такой строгой серьезностью, что я поневоле вытянулся во фронт. Правильно, сказал я себе, на его месте и нельзя иначе; и ощутил к нему только еще большее уважение... что там — обожанье!

— Мой верный друг! — сказал он.

Тон его, приказной, не вполне соответствовал этому обращению, но я, в приступе искреннего обожанья, был уже к этому готов.

— Собирайтесь в большое путешествие!

— Какое?!..— поневоле вырвалось у меня, хотя следовало принять приказ без слов, с воинской готовностью повиноваться. Трудно сразу перестроиться на иные отношения, но, черт возьми, сказал я себе, надо следить за собой.

— Этого я пока сказать не могу... Но путешествие будет долгим, серьезным, трудным... и весьма ответственным!

На этот раз я молча, резко и четко отдал честь, как и подобает офицеру. Впрочем, я тут же понял, что и сам Амануллохан не вполне вошел в свое положение: он ходил передо мной взад-вперед по своей приемной с одним окном и высоким потолком, чуть излишне скрипя сапогами, то и дело выпячивая грудь и толкая назад деревянную кобуру револьвера на боку,— она мешала ему при ходьбе. Он молчал, но и без слов было ясно: исторический груз, который он только что взвалил себе на плечи, давит его, он еще не привык решать судьбу целого государства. Конечно, это легко, только пока воображаешь в уме; а когда она уже у тебя в руках... Впрочем, оборвал я себя, ты даже и мысленно не вправе рассуждать об этом: вспомни, сколько раз ты клялся не рассуждая служить Амануллохану!..

Пока я стоял перед ним, мое возбуждение не проходило. Но едва я вышел из Арка — оно куда-то улетучилось. Беспокойство молодого эмира, которое, казалось мне, я уловил, заразило и меня. И что это за тайное путешествие?.. Я уже понял, что оно носит секретный характер. Долгое, трудное... Трудное, впрочем, не беда, но надолго уехать отсюда именно сейчас, в такое горячее время... Амануллохан не задумываясь сделал рискованный шаг: объявил закон об обязательной воинской повинности. И тут же горные племена исазаев, ильясзаев, аназаев, крайне недовольные этим, стали готовиться выступить против; брат его Насрулло, еще не успокоившийся после вступления эмира на престол, снова, как тигр, присел перед прыжком — собрал свои черные силы и только выжидает подходящего момента. А Старые афганцы, у которых от любой новости волосы встают дыбом? А духовенство, которое в ярости точит зубы, потеряв свои вакуфные земли? Англичане, наконец, которые лишатся всех своих благ и привилегий? И в такое время он меня куда-то отсылает! Да понимает ли он весь размах грозящих опасностей? Если нет —

почему я ему ничего не сказал?.. Впрочем, я ведь и сам все это представил, только выйдя из дворца, и эмир — это эмир, даже если он недавно был твоим другом и единомышленником. А, будь проклят древний дух покорности! Получил приказ — и ушел, а теперь ни сна, ни покоя — ни днем, ни ночью...

Я метался по дому как по клетке, ни с кем не вправе поделиться своей тайной. Домашних это беспокоило, но подступиться ко мне никто не решился. Так прошло пять дней. На шестой, когда терпение мое, казалось, вот-вот лопнет, прибыл гонец из Арка. Я клялся себе, что на сей раз выскажу эмиру все; но принял меня не эмир, а генерал Мухаммад Валихан. Генерал — мы в то время говорили «жарноил» — был человеком преклонных лет, но сохранившим весь свой ум и энергию; его военные заслуги в двух войнах против англичан стали легендой, и потому для нас, молодых, имя его было особенно дорого; по-видимому, и эмир считал его своим самым доверенным советником. Генерал испытующе поглядел мне прямо в глаза. Не знаю уж, что он там прочел, но сказал без лишних предисловий:

— Мы поедем в Россию, молодой мой друг!

Я едва поверил своим ушам. У меня горло перехватило от волнения, я с трудом заставил себя проглотить комок.

— Жарноил, если не секрет...

— От вас не секрет. Вас вызвали по рекомендации эмира, поедете с нами в качестве телохранителя. Говорят, послу нет смерти, но положение... положение сейчас сложное. А главное, помните: наше путешествие — историческая миссия, и на вас, молодой друг, возлагается благое поручение, связанное с судьбой Родины...

Я вскочил, чтобы по-военному отдать честь, но он положил мне тяжелую руку на плечо и вернул на сиденье кресла. Тут я наконец и узнал, в чем состоит наша миссия: мы должны были доставить в Москву письмо эмира, адресованное Ленину. Образована посольская группа, возглавляемая генералом Валиханом. Хотя в письме всего лишь выражались дружеские чувства и надежды на дружбу и взаимопонимание между двумя странами, оно ни в коем случае не должно было попасть в посторонние руки — это грозило серьезными осложнениями и стране и эмиру.



— Благой миссия не бывает сама по себе, шигавул<sup>1</sup>, — сказал генерал, глядя на меня с отеческой улыбкой, — чтобы это подтвердить, часто приходится вступать в бой...

Тут уж я вскочил и отдал честь. Генерал кивнул, сказал:

— Ладно, ладно, садитесь, шигавул...

Теперь-то я понял, какая огромная ответственность свалилась на мою юную голову. В душе моей свились клубком радость, гордость, опасения... Набравшись храбрости, я сказал:

— Вы позволите мне спросить, жарноил? — Он кивнул. — Жарноил, нашего эмира, еще до восшествия на престол, неизменно пугали «коминтерновской опасностью», что если, мол, дать русским самую малую потачку, они установят в Афганистане власть своих Советов... Что же будет после этого письма? Если он вступит в переговоры с Лениным?.. Ведь англичане только и ждут повода... И остальные — тоже! Страна сейчас — как пороховой погреб! Вы такой мудрый и опытный человек, скажите... — только не подумайте, ради аллаха, что я лично чего-то опасаясь! — не опрометчивый ли это шаг? Да хранит аллах эмира, но не поступает ли так его величество... по молодости лет?..

Генерал глядел на меня серьезно, без улыбки. Он помолчал.

— Ну что ж, шигавул, — сказал он наконец, — за то, что мыслите серьезно и не боитесь это показать, вам простятся ваши дерзкие сомнения. Но поверьте, все обдуманно всерьез. Конечно, наши противники не преминут спровоцировать разные темные силы. Но ежели письмо дойдет — им придется еще задуматься, как быть дальше. Россия, хоть в ней все и перевернулось кверху дном, по-прежнему могучая страна, и ее нельзя не принимать в расчет. Затея англичане слишком серьезную возню — не исключено, что это обернется против них же! Кто знает, не перекинется ли кровавая междоусобица и в Индию? И не станет ли эта великая и угнетенная страна нашим соратником в борьбе? Вот так, молодой человек... — Он погладил свой голый череп. — Давайте-ка, шигавул, оставим эти великие дела самой истории и займемся нашими малыми обязанностями. Готовы ли вы духовно к путешеству?

---

<sup>1</sup> Ш и г а в у л — телохранитель.

— Душой и сердцем, жарноил!

— Я не зря спрашиваю, вы должны понимать, что наше посольство — это не увеселительная прогулка, а путь, полный опасностей. Туркестан осажден, окружен; в Красноводске — англичане; по берегам Аму — многочисленные банды... Едва мы тронемся в путь, они зашевелятся, ведь соглядатаи тотчас возьмут наш след!

— Я знаю, сардор<sup>1</sup>, и моя жизнь в вашем распоряжении!

Генерал встал и подошел ко мне. Я тоже вскочил, вытянулся. Он был заметно ниже меня, но тело крепко сбитое, тренированное.

— Нет, шигавул,— сказал он с улыбкой,— теперь все наоборот: это моя жизнь в вашем распоряжении!..

— Я щит для вашей груди, сардор!

— Щит — вот он! — сказал генерал, показывая на папку красного бархата, лежавшую на столе.— Это письмо послужит щитом для нашей многострадальной Родины! И благослови его бог...

Мы выехали дождливой апрельской ночью, когда никто, кроме нас, не решился, наверное, отправиться в дальнюю дорогу. Было нас пятеро, все в простой одежде, чтоб не привлечь ничьего внимания,— один под видом ремесленника, другой — торговца, третий — дехканина. В крытом фаятоне о двух лошадях, напялив грубое рубище и примостясь около своего секретаря, сидел посол, и никому бы в голову не пришло, что это знаменитый генерал Мухаммад Валихан. Впрочем, прохожие не могли и разглядеть его в темноте фаятона — будь то днем или ночью; если чей взор и натыкался на это щедро поливаемое водой небесной, негромко стучащее и кряхтящее на ходу сооружение — он видел прежде всего Хамди Салмана, сидевшего на месте кучера. Этот крупный толстощекий человек, на большом белом лице которого выделялись огромные подведенные сурьмой усы и совершенно терялись тонкие, да вдобавок еще выщипанные брови, и впрямь выглядел на облукке как заправский кучер. В действительности он был помощником посла, ответственным за хозяйственные дела: пристанища в пути, провиант, фураж, обмен лошадей на постоянных дворах — и за весь прочий транс-

---

<sup>1</sup> Сардор — предводитель, вождь.

порт, когда он понадобится. Секретарь генерала, или мирзо, был его сверстником; этот худощавый интеллигентный человек слыл во дворце лучшим толмачом — он свободно говорил по-английски и по-русски. Пожалуй, он один из всех мог показаться более или менее важной персоной, хотя одет был не лучше других.

Мы же с Мурадом Юсуфзаем ехали позади, верхами. Юсуфзай — старший офицер, корноил, но я подчиняюсь не ему, а самому послу, должен ловить каждый взгляд генерала, исполнять даже его безмолвные приказания...

Весенний дождь не холоден, но он моросил всю ночь, наши бурки, кажется, промокли насквозь, даже седла напитались водой. Старики-то полночи продремали под верхом фэтона, они вряд ли продрогли так, как мы, зато их наверняка измучили рытвины и ухабы; сель смыл насыпные горные дороги, и обнажились каменные колеи. Углубления на дорогах заполнены водой, никогда наперед не знаешь, сколь глубока лужа, в которую сейчас с размаху ступит нога лошади; грязь облепила нас до плеч, фэтон тоже до верха в комьях и кляксах глины. Дорога нелегка — зато спокойна, так что не зря мы пустились в дорогу ночью. Из-за некончающегося дождя мы даже зари не заметили — просто ночь понемногу превратилась в серый и такой же непроглядный день; путь был по-прежнему пуст, никаких встречных; к середине дня, поменяв лошадей и раз или два отдохнув, мы уже одолели перевал Саланг.

На второй день вместе с лошадьми мы меняли и повозку: дальше по дорогам легкий фэтон передвигаться не мог, его заменили крепкой четырехколесной арбой с плетеным кузовом. Нас с Юсуфзаем это, конечно, не коснулось: под нами были прежние седла.

Дождь наконец кончился, впереди засверкали бескрайние зеленые просторы. Я в первый раз увидел сверху, с высоты, север нашей страны, где я родился и вырос. Прозрачайший воздух, далекие летовки, сросшиеся с голубым небом, пышно вскипающие белым и розовым цветением сады — все это неожиданно взволновало меня. На шумных диспутах, на офицерских собраниях мы, Молодые афганцы, били себя в грудь, восклицая: «Родина!» Но что мы, черт возьми, понимали под «родиной», мы же всего этого и в глаза не видали, даже я, который подростком не раз ходил по этим дорогам, ездил из Мазари-Шерифа в Кабул... Вот

она, родина, огромная и невыразимо прекрасная, простиралась передо мной, и, странно, вместе с восхищением, восторгом — страх за все это вкрался в мою душу. Должно быть, я действительно становился взрослым. На мне лежала ответственность не только за старого генерала, дремлющего в арбе, красную бархатную папку с высочайшим письмом, но и за судьбу всей безграничной, священной земли, напоенной свежей весенней прохладой. Должно быть, я как-то весь подтянулся, собрался, потому что рыжий иноходец подо мной тоже что-то почувствовал, наострил уши, жилы на его блестящем крупе дрогнули. Нет, сказал я себе, ты больше не юный ветреный офицер, ты протрезвел, все видишь отныне ясно... Конечно, то была еще вовсе не трезвость, а новая стадия опьянения молодостью, но как понять, что ты пьян, пока ты пьян?..

Поначалу такие чувства очень сладки, однако на четвертый день дороги они уже представлялись мне несколько ребячливыми. Показалась Аму — широкая лента, отражающая синеву небес, легкий пар над ней подымался. Все-таки странно, подумал я, эта могучая вода родилась и росла на моей земле, в моих просторах она стала огромной рекой, но вот кто-то когда-то провел полосу, именуемую границей, и, едва миновав ее, наша вода уже становится не нашей, наша река — чужой рекой... Как это получается? Разве люди на том берегу устроены иначе? А вдруг они действительно в чем-то иные, подумал я, ведь вот же — взяли и повернули, изменили свою жизнь...

На границе нас ждали. Мы были рады, что прибыли без приключений, улыбались, несмотря на усталость, но наши улыбки, наша нехитрая маскировка под ремесленников и крестьян на фоне встречавших нас людей в военной форме, серьезных, немногословных, официально деловитых, казались, наверное, немножко смешны.

Оформив документы, мы с вещами погрузились на паром. Вблизи Аму вовсе не была голубой, текла мутно и беспокойно. И все-таки она казалась рукой матери, мягко передающей меня другому миру. Лишь посредине реки волны сделались огромными, провалы меж ними — глубокими и страшными, приближающийся берег пугал подстерегающими опасностями. С наступлением сумерек на нем там и сям зажглись огоньки, вытянулись цепочкой, обозначая, очевидно, какую-то при-

плюснутую городскую улицу. Но самые яркие огни высыпали на побережье, где раздавались пароходные гудки и куда из далеких, темных пустот чужого берега возвращалось разбуженное эхо.

Встречали нас люди со старой зеленой машиной, куда мы перегрузили свои вещи с парома. Встречавшие, хоть явно и не забывали, что перед ними гости, и не скупилась на улыбки, почему-то очень спешили и даже не слишком гостеприимно нас поторапливали. Позже мы поняли почему: чтобы не задерживаться здесь на несколько дней, нужно было успеть на отходящий поезд. Мы и успели — некоторые формальности выполнили уже в поезде.

В вагоне для нас оставили три открытых опрятных купе; остальные места занимали обычные пассажиры, с виду, впрочем, весьма похожие на нас; но военные, стоявшие на карауле у нашего прохода, позволили всем догадаться, что мы — публика не совсем обычная; поначалу кто-нибудь то и дело косился в нашу сторону, за этим следовали перешептыванья; но едва поезд тронулся, резко раскачивая фонари в купе, как на нас перестали обращать внимание.

Вечер заполнил почти все пространство вагона тряской, чернотой, исчезли все звуки, кроме перестука колес. Все задремали: генерал — сидя на корточках, мирзо — скорчившись у сундучка, дородный Хамди Салмон — возвышаясь, как гора, на своей полке. Бодрствовали только караульные — на ногах, да мы с Юсуфзаем — сидящие, но тоже начеку и готовые к любым неожиданностям; я, как всегда, рядом с сардором. Удивительно — мне сдается, я научился читать его мысли и ощущения. Его сон — это и не сон вовсе, а громадный, непрекращающийся поток размышлений, лишь изредка приостанавливающийся, чтоб отдохнуть. Сейчас ночь, под колесами уносится назад чужая земля, все больше отдаляя нас от родины, и сардор, я знаю, мучительно думает об этом, потому что в Термезе давешние торопливые люди успели сообщить ему злую новость: в дни после нашего отъезда через восточные рубежи к нам вторглись войска колонизаторов. Неужели это начинается их третья война с нашей разоренной страной?.. Сардор как-то сразу поник тогда, побледнел, у него даже, кажется, колени задрожали. Но гостеприимные хозяева стали его утешать — ваш-де многострадальный народ, открывший для себя гори-

зонты независимости, повсеместно поднялся, стар и млад, поливает захватчиков огнем гнева, проявляет беспримерный героизм — и так далее. И в Британской, мол, Индии тоже восстания — так что спокойно продолжайте путь... Легко сказать — спокойно. Уж кто-кто, а мой старый генерал хорошо знает, что такое эта война, изучил все ухищрения захватчиков; родная страна снюва в огне, а мы от нее отдаляемся...

«Нет, не отдаляемся — приближаемся!» Я прямо-таки слышу, как он это произносит своим чуть хриловатым низким голосом, слышу, хотя он молчит, прикрыв глаза. Он всегда в конце разговора так неожиданно выворачивает наизнанку подводимый кем-нибудь итог, и так это получается у него верно, мудро, что только дивишься — в самом деле, как просто, и почему это самому не пришло в голову? «Теперь, когда война и разруха растаптывают устои старого мира, когда весь мир пылает негодованием против империалистов-захватчиков, когда всякая искра возмущения превращается в мощное пламя революции, когда даже индийские мусульмане, загнанные и замученные чужеземным игом, поднимают восстание против своих поработителей, — теперь молчать нельзя. Не теряйте же времени и сбрасывайте с плеч вековых захватчиков ваших земель! Не отдавайте им больше на разграбление ваших родных пепелищ! Вы сами должны быть хозяевами вашей страны! Вы сами должны устроить свою жизнь по образу своему и подобию! Вы имеете на это право, ибо ваша судьба в собственных руках...»

Мы едем к великому человеку, сказавшему эти слова. Он даст совет, он найдет выход. Мы не отдаляемся — мы приближаемся. Сардор приводил мне эти слова еще в Кабуле. Сейчас, конечно, он тоже вспоминает их... мы как бы размышляем вместе...

Откуда-то доносится храп. Это там, внизу, среди пассажиров. Подумать только, кому-то удастся безмятежно дрыхнуть!.. Сквозь закоптелые окна тускло просвечивает проносящаяся красота туманного утра. Голос младенца. Запах хлеба... Сардор открыл глаза, смотрит на меня с усталой улыбкой, как бы говоря: «Еще один день прошел...» Я собираюсь что-то сказать, не то о завтраке, не то о протекшей ночи — и вдруг вагон яростно вздрагивает, тормозит с отвратительным скрежетом, что-то падает с верхних полок — чемоданы, мешки, поднимается гвалт, вопят люди, они расшиб-

лись, в последний момент срывается и падает, разбиваясь вдребезги, фонарь, что висел рядом со мной, и по вагону разливается керосинная вонь. И тут я замечаю, что поезд в итоге так и не остановился, а все еще волочится по рельсам, продолжая издавать ужасающий скрежет...

А в дверях поднимается какой-то новый шум: часовой, повредивший себе при толчке лоб, бросается в ту сторону; справа раздаются выстрелы; стекла окон разлетаются мелкими осколками. Корноил и я берем в руки оружие, смотрим на сардора, но никакого приказа не следует. Может, старик еще не оценил обстановки?.. В проходе показываются какие-то люди в халатах из бекасама<sup>1</sup>, теперь стреляют слева, в окна врываются снаружи крики и конский топот. Один из вошедших — чернобородый молодой джигит с красивым мужественным лицом, в каракулевой шапке, надрывно кричит:

— В чем дело!!! Прекратить стрельбу! В кого стреляют, головотяпы! Прекратить огонь!!! Скажите вы — прекратить огонь!

Приказ доносят наружу, стрельба стихает. Вооруженные люди в проходе, в том числе и чернобородый, устали на осанистого Хамди Салмона — он лежит на верхней полке, как огромный предгорный холм... И тут я ловлю взгляд сардора: «Оставьте оружие, их много — возьмите вот это...» И он незаметно — на него и не смотрят — подвигает в мою сторону маленький кожаный портфель, лежавший, я знаю, у него в изголовье. Я, почти не нагибаясь, хватаю портфель — и сую за пазуху. На меня тоже не смотрят, к счастью. Я знаю, что в портфеле, — еще бы! Там наше главное богатство — письмо эмира, адресованное Ленину; теперь его судьба, судьба всего посольства вручена мне. Но мне-то что делать?.. «Делай что хочешь, ты должен сохранить это хотя бы ценой твоей жизни!» — говорят глаза сардора. Вагон, проволочившись по рельсам, останавливается против безлюдного, раскаленного солнцем хвойного лесочка. Окна разбиты, в них горят осколки стекол; но что думать об окнах — попробовать не то что вылезти, а просто приблизиться к ним — уже значит навлечь все на себя. А до сих пор счастье мое заключалось в том, что на меня не обращали внимания.

---

<sup>1</sup> Б е к а с а м — кустарная шелковая ткань, идет главным образом на пошив верхних халатов.

Хотя нас, наверное, будут обыскивать по одному — но это потом, потом, потому что пока все внимание повязанных платками молодых во главе с чернобородым поглощено Салмоном; Салмон только что подкрасил усы хной, и басмачей это привело в восторг. Они плотоядно улыбаются, как кошка, придерживающая лапой мышонка. У них нет и тени сомнения, что Салмон и есть посол: можно ли сомневаться, что главную роль играет человек с самой внушительной фигурой?.. Они прекрасно знали, что мы едем в этом вагоне, и сейчас им нужно только отделить нас от обычных пассажиров: те им ни к чему. Может, смешаться с теми пассажирами и «потеряться»?.. Пожалуй, это единственный путь, и сардор, кажется, тоже так думает.

— Ну, кто ж ты такой?— спрашивает тем временем чернобородый у Салмона.

— Я?— спокойно переспрашивает Салмон.— Что, не видно? Я бухарский таджик, торгую хурмой...

Басмачи гогочут: их восхищает наглая невозмутимость посла, который продолжает играть, даже явно припертый к стенке.

И тут из толпы басмачей громко кричат, называя меня по имени:

— Садык! Эй, Садык!!..

У меня сердце проваливается куда-то в желудок. Все! Конец! Кто-то меня узнал... Но кто-о?.. А может, это не меня? Мало ли Садыков...

— Садык! Ты что, не узнаешь, пройдоха? Это же я, Джалил Гуфтадуст...

И я вижу, как, глядя на меня зелеными глазами, в которых прыгает искренняя радость, протискивается ко мне высокий человек в смушковой шапке, с пятизарядкой за плечами, с кучей патронташей на груди, со знакомыми черными усиками, будто наведенными карандашом... Искося ловлю отчаянный взгляд сардора: «Этого только не хватало!..» Но сам я, кажется, уже так не думаю. Может, тут что-то есть? Какой-то шанс?.. Ведь это действительно Гуфтадуст, мой бывший приятель и соученик по школе Хабибия. Во времена Хабибуллы-хана по просьбе эмира бухарского он в составе группы молодых офицеров был послан «защитить Святую Бухару от большевиков». После казни Хабибуллы они, в страхе перед новым эмиром, не посмели вернуться. Значит, этот долговзый, гори он огнем, пристал-таки к басмачам...



Делать нечего: я встаю ему навстречу, мы шумно здороваемся, обнимаемся, хлопаем друг друга по плечам, он со счастливым выражением лица повторяет: «Ну и встреча! Ну и встреча...» — и снова обнимает меня, потом отпускает, оглядывает, чуть ли не обнюхивает, приговаривая теперь: «Эх, друг... эх, друг», и лицо у него понемножку становится такое, будто он вот-вот заплачет. Ему и невдомек: только что он прижимал к своей груди тот самый маленький портфельчик, из-за которого его банда устроила такое большое побоище

— Так ты из Кабула? — говорит он.

— Из Кабула.

— Прямо из Кабула? — повторяет он таким восторженно-недоверчивым тоном, словно спрашивает: «Прямо из Эдема?»

— Ну, прямо из Кабула!..

— Э-эх...

И на глаза его действительно наворачиваются слезы.

— Слушай, пошли отсюда выйдем! — говорит он. Потом заботливо осведомляется: — У тебя ничего с собой нет?

— Не-ет! — говорю я беззаботно.

— Ну, пошли!..

Остальных басмачей невиданный эпизод нашей встречи отвлек ненадолго: они по-прежнему заняты спектаклем, который, как они полагают, разыгрывают с Салмоном, хотя на самом деле, конечно, Салмон разыгрывает их. Меня Салмон тоже восхищает — так он замечательно держится. Что-то с ним будет?.. Я успеваю еще поймать взгляд сардора — и вижу: одобряет. Только кого — Салмона? Меня? Или нас обоих?.. И мы идем с Гуфтадустом к другому выходу. На мгновение у меня к горлу подкатывает волна горечи: у самого выхода лежат два труп наших охранников. Но я сдерживаю себя и вслед за Гуфтадустом спокойно перешагиваю через трупы. Мы вылезаем из вагона на раскаленный песок, останавливаемся. Двое конных, топтавшихся неподалеку от выхода, нацеливаются было на меня, но, сразу уловив характер нашего с Гуфтадустом разговора, безразлично отворачиваются.

— Ну, потолкуем! — говорит Гуфтадуст. — Это ж сколько не виделись, а? Ты с нашими встречаешься?

— Конечно, еще бы.

— А моих видишь? Отца, брата... сестренку?

— Отца твоего как-то встретил — такой же, как всегда...

— И что он?..

— Ничего — сам понимаешь...

Насчет встречи с его отцом — наглое вранье. Но мне нужно время, чтоб осмотреться, придумать что-то, к тому же я боюсь, он начнет расспрашивать о моих делах — и придет же ему наконец в голову: не зря я, только что из Кабула, оказался в одном вагоне с посольством... И я говорю, рассказываю, отвечаю ему, но этим занят, кажется, только язык — глаза обшаривают все вокруг, а в голове стремительно сменяют друг друга варианты бегства — все, к сожалению, негодные. Попросить его отпустить меня?.. Нет, не пойдет он на это. Просто побоится, да и насторожится. Отпрыгнуть и кинуться бежать? Кругом песчаные холмы, степь, но далеко не убежишь — они на конях... Кроме двоих конных у нашего вагона я вижу еще нескольких, в другом конце состава; те охраняют табунок лошадей с пустыми седлами; я сперва решил, что хозяева этих лошадей — все у нас, но нет, некоторые «чистят» и остальной состав, может, на свой страх и риск. Вон, сталкивают со ступенек пассажиров — испуганно скорчившиеся полураздетые фигуры, которые остаются стоять тут же, со страхом поглядывая на свои окна... И вдруг мне подворачивается немыслимое везенье. Кто-то из басмачей высунулся из дверей в том конце вагона, вертит головой и, увидев Гуфтадуста, кричит:

— Эй, Джалил! Сюда! Скорей давай!.. — И скрывается в дверях.

— Зовут!.. — извиняющимся тоном говорит Гуфтадуст. — Но я сейчас, быстренько, ты погоди!.. — И он лезет по ступенькам.

Я успеваю подумать ему вслед: «Эх ты, офицер!.. И бандита толкового из тебя не вышло, растяпа!..» — но уже лихорадочно обмозговываю этот невероятный, единственный счастливый шанс. Искося, не поворачивая головы, гляжу на конных — те, держа, видно, в голове, что я не под охраной, а значит, свой, и не смотрят в мою сторону: разговаривают, наклонившись в седлах. Выходит — бежать. Не теряя ни секунды!.. И я ныряю под вагон, вылезая с той стороны, опасаясь и там увидеть конных караульных, но никого нет, зато рядом еще один путь, и на нем стоит какой-то разоренный, пустой, может быть тоже ограбленный, товарняк с распахну-

тыми дверьми. Что ж это — разъезд?.. Но гадать некогда. Спрятаться в одном из пустых товарных вагонов?.. Наверняка кто-нибудь увидит меня из окна нашего поезда. Значит — дальше!.. И я снова ныряю под вагон — и несколько секунд спустя оказываюсь на пустынной насыпи, которая круто обрывается вниз. Дальше вдоль пути виднеется завалившийся домик — должно быть, разрушенная сторожка стрелочника. И — больше ничего. Внизу, у насыпи, тоже начинается степь, поросшая верблюжьей колючкой, песчаные холмы... Может, за холмами есть что-то? И я скатываюсь с насыпи, бегу в ту сторону — ведь главное сейчас: скрыться, уйти отсюда подальше...

Ближайший холм был дальше, чем казалось с насыпи, и когда я пересек его склон, то увидел пустынную дорогу, глинобитные дома с неухоженными садами, помещения для скота с навозными кучами у распахнутых дверей... Похоже на окраину большого кишлака, но почему никого не видно? Ни души, ни скотины! Мне это, конечно, крайне кстати, но ведь надо знать, что за этим кроется... И где я?

Добредя до ближайшего полуразрушенного дувала, ограждающего крайний сад, я вдруг чувствую страшную усталость — от бессонных ли ночей, от пережитого ли только что напряжения; у меня прямо-таки ноги подгибаются. Я перелезаю через дувал, прячусь в его скудной тени, прислушиваюсь. Тишина. Ни шагов, ни голосов, ни намек на погоню. Грех жаловаться — пока мне везло, как по заказу. Но если на кого-нибудь наткнусть... «Кто ты?» Что отвечать? Конечно, у меня есть документы, и один из них — еще какой документ!.. Прочтут — удивит полмира... Но его-то не покажешь, напротив, нужно прятать, хранить пуще собственной жизни! А впрочем — одинаково: погибни я — конец и эмирскому письму. Ведь передать теперь некому, да и нельзя... Нет, надо немножко посидеть тут, отдышаться, отдохнуть, наметить какой-то план. Если этот кишлак — под властью давешних басмачей, положение мое не из лучших. К тому же у них в руках мои товарищи. В сущности, они заложники и надеются только на меня. Конечно, вряд ли их убьют — куда выгодней иметь их в руках и представить живыми; во всяком случае, их не тронут до тех пор, пока не найдут эмир-

ское послание; не такие уж они дураки, эти басмачи и те, что их послали, чтоб не понять: подобное посольство шлют с ч е м-н и б у д ь. В этом сумасшедшем мире никто уже не верит на слово... Но если догадуются, что я был в составе посольства... хотя как догадуются... товарищи мои не выдадут... Гуфтадуст тоже не выскажет такой догадки — ему тогда голову снимут, что упустил меня... О черт! Но ведь он может узнать Валихана! Еще как может! Одна надежда — что он его никогда не видел... Черт возьми, голова лопается от предположений! Отдохнешь тут... отдохнешь, как же... Мне казалось, я все еще размышляю, строю планы, на самом же деле усталость и жара сморили меня, и я впал в дремоту. Не знаю, сколько она длилась — минуту или десять; разбудил меня испуганный девчоночий голосок:

— Вай, кто это?!..

Я в страхе привскочил, но успел заметить, что солнце почти на том же месте, значит, времени немного прошло; шагах в пяти стояла бледная от испуга девочка и смотрела на меня. Она, должно быть, что-то собирала в саду, но теперь машинально опустила подол, под ним до щиколоток тянулись красные штанишки.

— Эй, ты откуда? — спросил я полусшепотом. Она все так же смотрела огромными от испуга черными глазами и молчала. — Слышишь, эй!.. Откуда ты, и почему людей вокруг не видать?..

Тут она вдруг шарахнулась, как горная козочка, и унеслась, только мелькнули среди колючек ее черные пятки и красные штанишки. Ну, это уж — хуже некуда; сейчас побежит в кишлак и скажет: там прячется странный человек!.. Нельзя здесь оставаться...

Я с усилием поднялся и пошел в глубину абрикосового сада. Деревья уже начали сохнуть, несмотря на весеннюю пору; в пожелтевших травах шуршали ящерицы. Ага, вот и причина: арычок — сухой; давно, видно, здесь не поливали... За садом был еще такой же сад, отгороженный низеньким заборчиком. Так, позади жилья сады тянулись, видно, еще далеко, и я побрел по ним, хоронясь меж деревьев, одолевая за дувалом дувал, пока не наткнулся на овражек в саду, который показался мне укромным и прохладным местом. Там я и пролежал, то задремывая, то встряхиваясь в испуге, покуда солнце не склонилось к закату. Тогда я встал и пошел дальше. В следующем саду было и впрямь прохладно, может, оттого, что вечер близился. Тут, ка-

жется, была жизнь: в кустах, ближе к дороге, мелькнула курица, корова замычала, потом я услышал самый сладкий звук: журчала вода! В тени старой шелковицы бежал чистый как слеза арычок...

Я долго пригоршнями пил воду, так что в моем свободном от пищи брюхе она колыхалась теперь как в ведре. Но дальше — дальше-то что делать? Где я, неизвестно, куда идти — тоже. Если уж днем отлеживался, так ночью... Искать людей, спрашивать дорогу? Но кто знает, на кого напорешься? От безвыходности положения я как-то расслабился. Надо подождать до утра, говорил я себе. А там что? — спрашивал во мне другой голос. А там... глядишь, что и подвернется. А если нет? — снова отзывался другой голос, но уже менее уверенно. Да успокойся ты, отвечал я себе, в любом случае — лучше пока отдохнуть, заснуть... Тем временем быстро темнело. Я лег на траву, на спину. Какая-то колдобинка мешала. Я перекатился, лег на живот. Теперь что-то на грудь давило, мешало снова. Что это?.. Господи, да ведь это портфель с письмом! Черт меня возьми совсем. Я же почти перестал о нем думать — о том, что лежит у меня за пазухой! А ведь, может, сотни тысяч, миллионы человеческих судеб зависят от судьбы этого листка бумаги... Я поднялся, сел, расслабленности как не бывало — напротив, меня точно лихорадка охватила. И тут из безлюдной темноты рядом со мной снова прозвучал негромкий девчоночий голосок:

— Эй... эй... человек!

Я даже подскочил от неожиданности.

— Это... это ты, девочка? — Надо же, как она неслышно подошла.

— Я-а... уходи отсюда, здесь не лежи...

— Куда?

— Не знаю куда... а отсюда уходи... Сам же спрашивал, почему пусто... Везде басмачи... все и заперлись по домам...

А ведь я и сам так подумал сначала. Ничего себе отдыхал — на горящих угольях!

— Эй... — снова сказала девочка. Она подошла ближе, села на корточки, и я опять увидел почти рядом ее огромные сияющие черные глаза. — Вы таджик?

— Нет. А ты таджичка?

— Не-а. Мы сурханцы. По-таджикски говорим.

— Слушай, ты, кажется, девочка умная... Я — афганец, понимаешь?..

— У, обманщик! Ауганец! Откуда здесь ауганцы?..— Она улыбнулась, и, кажется, улыбка у нее была на редкость милая. Слава богу, хорошая девочка.

— Да вот,— сказал я,— шел, шел куда глаза глядят, да и сюда забрел.

— Нет, правда?.. А ведь я... и то подумала, как-то странно они говорят...

— Ну, вот видишь? Ты мне поверь, я никогда не вру... Понимаешь, мне надо найти такое место, чтоб спрятаться... чтоб меня басмачи не нашли. Найдут — убьют, понимаешь?

— Не-е...— сказала девочка растерянно и чуть от меня отодвинулась.

— Ну, чего ты не понимаешь?.. Ты же умница...— Я вдруг понял, что надо ей сказать правду, была не была.— Скажи, ты про Ленина когда-нибудь слышала?

— Ну слышала.

— Так вот — я иду к Ленину!

— Враки!— сказала она резко и презрительно прищурилась: вот, мол, поверила человеку, а он самый обыкновенный лгун! Видно, плохой психолог — только все испортил. Не вышло б из меня ни разведчика, ни дипломата... Я сказал как можно мягче:

— Ну, почему же враки? Ведь ты поверила, что я афганец? Поверила?.. А ты знаешь, сколько я уже прошел и проехал, только чтоб сюда добраться? Тебе и не сосчитать! Но видишь ты у меня какой-нибудь груз? Товар? Зачем же я еду-то, сама подумай? Я только слово с собой везу! Слово, понимаешь? И это слово я должен передать Ленину...

Она опять на меня не отрываясь смотрела. Может, и уговорю, подумал я. Она сейчас мой единственный шанс.

— Пожалуйста, покажи мне место, где бы я мог спрятаться...

Но она, по-прежнему не отрывая от меня взгляда, отрицательно покачала головой.

— Не-е... Нет! Кишлак Мукри сожгли за то, что там кого-то прятали! Да, да! Отец привез оттуда сестру... обгорелую... мертвую... она недавно пошла туда невестой!— В последних словах ее прозвенели слезы. Она стремительно повернулась — и тут же растаяла в тем-

ноте. Действительно растаяла — двигалась она так неслышно, точно летела по воздуху.

Ну все, сказал я себе, от судьбы не уйдешь. Я огляделся, хотя в темноте мало что можно было увидеть. Днем я заметил — сад спускается куда-то не то в большой овраг, не то в низину. Уклон чувствовался под ногами, и я пошел вниз, больно натываясь на обрубленные тутовники. Снизу тянуло прохладой. Желудок у меня был пуст, но я все-таки отдохнул за день и вполне мог бы идти хоть всю ночь — знать бы куда! А то ведь попадешь прямо к ним в лапы... Недаром девочка твердила: «Уходи отсюда...»

Но далеко уйти я не успел. Откуда-то слева, из-за тутовников, снова прозвучал ее голос:

— Эй... эй, ауганец!

Что за напасть, по следам она ходит, что ли? Или вправду летает?.. Но от сердца у меня отлегло. Я обрадовался.

— Что скажешь? — отозвался я.

— Идите сюда!

Я взглянул во тьму — и увидел ее светлую ленточку, привязанную к косичке. Она свернула направо. Сам я раньше не решился пойти в ту сторону — оттуда пахло хлебом. Но девочка наверняка знала, куда идет. Я еле поспевал за ее мелькающей впереди ленточкой. Она вдруг остановилась и повернулась ко мне:

— Это правда... что вы мне сказали?

— Правда, клянусь хлебом!..

— Ладно... я верю. Пошли...

— Куда ты меня ведешь?

— Не бойтесь. Мы в дачном саду Чары-мингбаши, сюда басмачи не заглядывают.

— Да ты сама-то — чья?..

— Мой отец — конюх у мингбаши... Пройдете в зимний загон для табунов, там сейчас никого не бывает, — сказала она уже на ходу, деловито — и вдруг перепрыгнула через что-то. Перепрыгнула, остановилась и протянула мне смутно белеющую руку. Я тоже прыгнул — внизу был арык, если б не она, я наверняка бы вымок по пояс. А ручка у нее оказалась маленькая, теплая, но что-то от нее исходило и большее, чем просто тепло тела. Какая-то уверенность, что ли. Я почувствовал, что переживу эту ночь.

Мы остановились наконец у стены длинного темного строения.

— Конюшня,— сказала она.— Залезете по каркасу наверх, там хранят солому. Ложитесь и лежите спокойно. Хозяин в загоне — мой отец, так и он не придет... все на выпасах.

— А ты как дойдешь?

Она хмыкнула.

— А я чего... я дорогу знаю!..

И она опять исчезла — так же неслышно, как всегда.

Я сел, прислонившись к стене; сад шелестел; мне стало спокойно.

Но не прошло и десяти минут, как девочка вернулась — подошла так же неслышно и смутно обозначилась в темноте.

— Что случилось?— спросил я, вздрогнув. Не мог я привыкнуть к ее появлениям и исчезновениям, внутри у меня все вздрагивало.

— А ничего... Что ж вы наверх-то не залезли да не легли?

Она что-то стала вынимать из подола и класть около меня. Еда, конечно,— молодец девчонка!.. Рот у меня наполнился голодной слюной; девочка принесла четыре недозревших яблока, пупырчатый огурец, лепешку «чавати», испеченную в казане, и кленовую кашу, полную тутового толокна.

— Вот спасибо тебе!— сказал я.— И как ты догадалась!.. И вправду есть хочется!..

— Чего ж догадываться!..— Она звонко засмеялась, впервые за все время.— Чего ж догадываться — знаю, что вы день не ели!..

Я отломил кусок лепешки, взял огурец, захрустел им.

— И ты со мной поешь!..

— Я? Нет, я сытая.

Почему-то стало светлей — то ли облачка ушли со звездного неба, то ли просто глаза мои приспособились к темноте. Я разглядел девочку — она была старше, чем мне сначала показалось, лет пятнадцати уж наверняка, и совсем выросла из своего ситцевого платица.

— Что это шумит вдалеке? Ровно так...

— Камыш,— сказала она.— Камыш шумит.

— Камыш? Разве здесь река близко?

— Ой, помереть мне, вы что, не знаете? Аму внизу течет! Аму-у...



— Аму? Да ты что? Здесь?..

— Ой! Да вот же...

— Слушай!— Я начал фразу, еще не зная, чем кончу. Ну, волшебница девчонка! Еще бы одно такое известие! Усталости моей как не бывало, напротив, какая-то радостная волна во мне вздыбилась.— Слушай!— сказал я.— Давай пойдем на берег!

— Ой! А вы не боитесь? Я ж знаю, вы с того поезда, что грабили басмачи... Не боитесь?

— Так ты ж сама говорила — здесь безопасно...— Несмотря на весь подъем, есть мне хотелось по-прежнему, я наклонился отломить еще кусок лепешки, а, подняв голову, увидел: девочка смотрит на меня, забывшись, вся уйдя во взгляд, безотчетно раскрыв губы...

— Ну так что?— переспросил я.— Говорила ты, что здесь никого нет?..

Она спохватилась, что я видел ее такую, сжала губы, сказала почти сердито:

— Ну, говорила. Так то здесь, а не на берегу. Там дорога...

— А мы не дойдем до дороги... Поближе сядем. А?

Она пожала плечами с притворно равнодушным видом:

— Идемте...

Мы пересекли ровную песчаную площадку, на которой седлают жеребцов, и побежали через тополевую рощу. Шум камыша приближался. Тополя кончились — и моим глазам открылась ночная Аму, цвета бледного неба, ее прохладное влажное дыхание ударило в лицо.

— Дальше нельзя,— сказала девочка,— садитесь здесь и смотрите...

Я сел на траву, пробивавшуюся сквозь песок, девочка пристроилась рядом, с трудом натянула короткий подол на колени.

Я смотрел на реку, и меня охватывало странное чувство раздвоенности: будто я был и я, и еще кто-то, от меня отделившийся. Я впервые в жизни сидел на другом берегу, а моя родина была за рекой! А я был и там и здесь...

— А вы...— снова заговорила вдруг девочка,— ...знаете Ленина?

— Знаю... как и ты — ты ведь, сказала, тоже знаешь.

— Нет, я не то... ну, ладно... и что вы ему скажете?

— Скажете! Мне к нему сперва добраться надо, а не очень-то похоже, что получится!

— Ну, пусть... ну, ладно... а если получится — что скажете?

Похоже, она меня испытывала.

— Что скажу?.. Да многое хочу сказать... Видите, скажу, на том берегу находится моя родная деревня... сторона моя родная. Древняя это страна, и какие только пришельцы не пробовали ее захватить! А никому не удалось! Но чтобы просто жить по-своему на своей земле, сколько крови мы пролили, сколько отдали жизней за все-то времена, ничего не жалели, ни домов, ни скота, ничего нажитого, оттого и живем бедно, скудно, но не жалуемся, нет, ведь живем и хотим жить по-своему. А над нами смеются, презирают, и никто за все века не говорил о нас с уважением! Да еще с таким высоким уважением, как вы... Вы первый, от имени огромной России, признали раз и навсегда наше право на независимость, самостоятельность, достоинство, веру в себя! И мы, которые хоть в себя и верили, но чувствовали себя такими одинокими в мире, перед всеми вековыми захватчиками, теперь поняли: мы не одни. Вы и сами нам так сказали: вы не одни в этом мире... И теперь, когда англичане снова начали против нас войну, ничего нет нам дороже этих ваших слов... — Я помолчал и добавил будничным тоном: — Вот что я ему хочу сказать... если, конечно, доеду!

Я глядел прямо перед собой, боясь ее снова смутить. Она молчала. Потом сказала полушепотом:

— Доедете...

Я не выдержал и на нее покосился, едва заметно. Она снова на меня так глядела и была очень красивая. Просто ужас какая красивая. Я постарался сделать вид, что ничего не замечаю. Кажется, я ей и вправду понравился. Да и она мне тоже.

Дорога вниз была пустынна, а ветерок с Аму то усиливался, то слабел, и шум камыша тоже то нарастал, как далекий начинающийся где-то обвал в горах, то затихал, но не смолкал ни на мгновение. Мы уже сидели и молчали, и так хорошо было, тихо, прохладно. Сладко было так сидеть и ждать неизвестно чего. Девочка первая заговорила снова, голос был с легкой хрипотцой:

— А у вас там, в поезде... что-то осталось?

— Осталось... Только не что-то, а кто-то.

— Кто-то? — спросила она с явной тревогой.

— Товарищи остались...

— А-а...— Она выдержала паузу, потом спросила:— Они... с вами к Ленину ехали?

— Да.

Она снова помолчала, будто раздумывала, о чем еще спросить. Потом спросила:

— И много их?..

— Четверо...

— Что ж вы ушли, а они остались?

— Так вышло... Не могли они уйти, их басмачи схватили.

Досадно было, что она расспрашивает. Ведь ничем больше помочь не может... А блаженное, сладкое состояние мое порушилось, сменилось прежней тревогой, даже угрызением совести. «Что ж вы ушли, а они остались?..» Но нет, о письме я ей говорить не буду, никто о нем не должен знать.

И вдруг она сказала прежним, деловитым тоном:

— Я все разужаю. Все, все... А вы идите прячьтесь назад, лежите тихо и берегитесь чужих глаз!

— Но... как же ты...

— Все, все, скоро светать будет,— прервала она меня не допускающим возражений тоном. Она встала, я тоже.— Идите,— сказала она настойчиво.— А то проснется кто-нибудь, пойдет по дороге, не дай бог услышит...— Я стоял и глядел на нее.— Идите ж,— повторила она. Потом вдруг протянула руку и, коснувшись моего левого уса, сказала тихонько:— Только вот здесь помойте... в арыке...

И я повернулся и пошел обратно — через тополиную рошу, через песчаную площадку. Встретив арык, я смыл со своего поцарапанного лица следы крови вперемежку с грязью, не тронул только то место, какого она коснулась пальчиком. Кажется, я и сейчас чувствую это прикосновение.

Дойдя до конюшни, я взобрался по каркасу наверх, прилег в соломе. Со мной были остатки лепешки «чаваши», тутовое толлокно в кассе, но мне что-то в горло ничего не лезло. И заснуть я сперва никак не мог. Задремал я позже, когда уж солнце давно взошло и начало припекать. Новый день выдался жаркий и тянулся, казалось, дольше года. Я просыпался в поту, чихал от набившейся в нос и горло пыли, засыпал снова, опять просыпался, а день все длился, и конца ему не было. Я ждал вечера как избавления. Но от чего? От ожи-

данья?.. Умом я не слишком надеялся, что она принесет хорошие новости, но в сердце мое она вселила уверенность — и в себе, и в ней. В самом деле, не знаю, чего я ждал больше, ее вестей или ее самое...

Она появилась в сумерках: как всегда, словно выросла из-под земли и окликнула:

— Эй...

Все-то она разузнала, все увидела. Мои товарищи находились под замком в пустом амбаре русского торговца, в кишлаке. В стене амбара было зарешеченное окошко, она туда заглянула. Один, тот, что поменьше ростом, безмолвно сидит на ящике, другой, дородный, с крашеной бородой, ходит от стены к стене и время от времени выкрикивает: «Не имеете права!», руками размахивает; у третьего, похожего на солдата, окровавлена челюсть; четвертого она не разглядела, хотя он, кажется, тоже в амбаре. Видно, прикорнул в углу, в окошко не видать. По ее предположениям, басмачам допрашивать их надоело, хотя то, что от них надо было узнать, так и не узнали. Иначе б их прикончили, сказала она. Наш поезд с разъезда уже ушел, а товарный, конечно, стоит, он же без паровоза. На разъезде пусто, зато в кишлаке кроме басмачей есть и еще чужие, одетые, как «белые», в сукно. Похоже, они командуют басмачами, потому что она сама видела, как один из них ударил Мухитдина-курбаши камчой, а Мухитдин и его джигиты смолчали...

Я слушаю ее, рассказывающую без умолку, и думаю: ну и девочка! Ну и молодец! Могла бы заменить армейскую разведку!.. Она оживлена, но личико у нее усталое, чуть припухшее, она легонько поглаживает его пальцами, и в этих движениях — безотчетная прелесть.

— Тебя же домашние, наверно, обыскались — совсем пропала из дому!

— Нет, дома я была, показала, — говорит она, — никто меня не ищет... а вот вас — ищут!

— Ты откуда знаешь?

— Как откуда? Знаю... Кого ж еще, как не вас? Наверное, кто-нибудь заметил, что вы подались с поезда к кишлаку... Рыщут по улицам, по садам, даже меня один раз спросили, не встречала ли такого... высокого...

— Ну, а ты?

— Встречала, говорю, он в конюшне у мингбаши... — И она звонко, озорно рассмеялась, второй раз за время нашего знакомства. Но тотчас оборвала смех,

посерьезнела.— Вот, принесла вам...— И она сунула мне в руки сверток, который держала под мышкой. Это оказалась еще теплая кукурузная лепешка.

— Спасибо,— бормочу я. Она просто обескураживает, подавляет меня своей заботливостью, тем, что обо всем успевает подумать.

— Вот сейчас стемнеет,— говорит она,— и уйдете отсюда. Здесь теперь тоже опасно оставаться. Придется залечь в камышовых зарослях... Я вас проведу... там есть такое место на дороге, что можно незаметно... я проведу...

Она в самом деле благополучно перевела меня через дорогу; в темноте, в чудовищной путанице зарослей, где и днем-то мгновенно теряешь ориентировку и единственное, кажется, что можно определить, это в какой стороне река — по звуку и прохладе, она чувствовала себя как рыба в воде: легко отыскала прогалину, устроила меня там — и исчезла. А на рассвете появилась вновь — принесла кое-какие новости и еду...

В камышовых зарослях я пролежал два дня и две ночи. Промок с ног до головы, оброс бородой, на губах выступила сыпь, в зеркало я бы на себя теперь взглянуть не решился; но она всякий раз как приходит и приносит еду, садится и смотрит на меня неотрывно, пока я ем... На третий она с утра не пришла, так и пропала до вечера. Я уж себе места не находил, меня бил озноб, казалось, я потерялся в этих зарослях, как иголка в стоге сена, но главное, мне мерещились разгуливающие по кишлаку бандиты — мало ли что они могли с ней сделать... Едва стемнело, я уж приготовился выбираться из зарослей и идти на поиски — тут она и появилась. И с ходу сообщила:

— Я сказала о вас кузнецу из сгоревшего кишлака... Салиму-ака. А он уж сам знает, что делать...

Я еще не простил ей своих волнений.

— А он проверенный человек?— спросил я мрачно.

Она горделиво улыбнулась:

— Он о вас то же самое спросил!

— Ну и что?

— Я сказала «да».

Когда она улыбалась, сердиться на нее было решительно невозможно.

О кузнеце она больше ничего не сказала, рассказывала только, что творится и о чем говорят в кишлаке. А я ее слушал и думал, что, как странно, мы ведь до сих

пор не знаем имен друг друга! И не случайно: словно боимся обменяться ими, нарушить какую-то невидимую границу... Все-таки так глупо — я уже знаю, как зовут какого-то там кузнеца из погорелого кишлака, а ее имени не знаю! Я уж раскрыл было рот — задать этот вопрос, но она, словно почувствовав что-то, поднялась, заторопилась, исчезла, и у меня не хватило духу спросить. Когда она ушла, я стал думать, что надо было хоть о кузнеце расспросить, и тут же мне стало казаться: она назвала его имя каким-то особенным тоном... Пустяки, говорил я себе, она же еще ребенок... Птицы беспокоились на своих ночевках, крикала вдали какая-то заблудшая дикая утка, подо мной был сырой бугорок; вокруг, стоит не туда шагнуть, — трясина; дышала поблизости огромная река, камыш неумоимо шумел...

Бедная Аму, думал я, на твоих берегах, куда ни глянь — тут воюют, там дерутся, некогда людям и взглянуть на твою красу, некогда о себе подумать. Чем лежать, как загнанный волк, в сырых зарослях, не лучше ли в благовонном персиковом саду говорить о любви?

«Девушка, как же ваше имя?»

«...»

«А меня зовут Садык, да, Садык, я офицер...»

«И все молодые офицеры носят у вас такие красивые усы?..»

«Все, конечно! Но не всем выпало счастье встретить вас... Достаньте-ка из поясного платка еще одно яблоко...»

«Яблоко еще кислое, вот созреет — брошу его в реку, а вы поймите на том берегу...»

Раздается смех, река шумит... Нет, это камыш... Сон, только сон! Я задремал, что же меня разбудило?.. Далекий конский топот на дороге... он приближается... слышны голоса всадников... я тянусь к пистолету... Но что-то в близящихся голосах чудится мне знакомое...

— Юсуфзай! — кричу я во всю глотку, вскакивая, ломлюсь сквозь заросли, как медведь, с немислимым треском, едва не проваливаюсь в трясину, но удерживаюсь в последний миг, заросли навстречу мне тоже трещат, голова коня показывается, меня втаскивают в седло, и вот я уже на дороге, в окружении красноармейцев, что-то говорю, объясняю, спрашиваю, а глаза мои рыщут вокруг: нет, не видно нигде милой моей девочки...

Кто же их привел?

Снова появляется Юсуфзай, приносит бурдюк, поит меня водой и объясняет: эти вот джигиты ночью освободили от басмачей кишлак и разъезд, но понесли большие потери, в бою погиб их командир, сардор очень взволнован...

— Сардор тобою очень доволен, мы ведь знали о тебе почти все.

«От кого?» — хочу я спросить, но сдерживаюсь.

Мне приводят коня, красноармейцы верхами пускаются в путь, мы с Юсуфзаем — сзади.

Юсуфзай о чем-то мне говорит, кажется, его провало после долгого вынужденного молчания, я слушаю, а сам думаю безостановочно: неужели я так и уеду, не увидев ее? Неужели даже не попрощаюсь? Может, остановить Юсуфзая, объяснить ему — ведь постыдно не выразить хотя бы благодарности, когда тебе столько сделали!..

Мы проезжаем тополиную рощу, боковым зрением я замечаю в ней как бы тени двух всадников, но всадники меня не интересуют, мы едем мимо, а во мне крутится та же мучительная шарманка — как же так, не увидеть ее — это невысказано, попросить Юсуфзая — стыдно, это мне-то, мужественному, безжалостному шигавулу...

И вдруг я слышу такое знакомое, такое долгожданное, такое нежное:

— Эй...

Я спрыгиваю с седла; от тополиной рощи, простирая руки, спотыкаясь, падая, ко мне бежит девочка. Я устремляюсь к ней навстречу, она повисает у меня на шее, горит, задыхается, плачет, гладит мое лицо. Я притягиваю к себе ее худенькие плечи, и вдруг обжигающие губы на мгновение прикасаются к моим, весь мир кружится, она отталкивает меня обеими руками, вырывается, поворачивается, бежит.

— Подожди! — кричу я. — Подожди-и-и!..

Но она не поворачивается, отрицательно машет на бегу рукой.

— Постой! — кричу я снова. — Постой-ой!.. Как твое имя?!..

Она на мгновение останавливается, обращает ко мне отчаянное, залитое слезами лицо:

— Сумбу-уль! — кричит она. — Меня зовут Сумбу-уль!..

Из роши навстречу ей выдвигается всадник, который держит на поводу еще одного оседланного коня. Я успеваю горько, ревниво подумать, что это и есть тот самый кузнец Салим... Юсуфзай трогает меня за плечо, надо ехать, я взваливаюсь в седло, пыль, топот, через мгновение все это исчезает навсегда...

Я вспомнил ту историю из-за имени.

«Сумбуль Садриева...»

Продолжение истории знают все: мы с множеством трудностей добрались до Ташкента, но Туркестан был в блокаде, Оренбургская дорога перерезана, и мы передали содержание письма по радиотелеграфу: единственная возможность. Это, повторяю, всем известно. А вот стала ли та девочка Сумбуль Садриевой, известным ученым... вернее, была ли академик Садриева той беспокойной, горячей, незабываемой девчонкой по имени Сумбуль? Этого я не знаю. Поглаживаю свои серебряные как иней усы и думаю: приведет ли бог узнать? Да и зачем? Теперь — зачем?

Сумбуль Садриева...

Сумбу-уль...

На базе изыскательской партии в такое время мало кто бывает. В палатке главного гидролога есть, кажется, все, что может скрасить человеку жизнь: родниковая вода в бурдюке, овечий сыр в кувшине, закопанном в землю, на матрасе — двойная кошма, отличный полог для защиты от насекомых... Но Сабиру Тохтабаеву по-прежнему худо: голень все так же раздута, стала синюшной, рана гноится, суставы расслаблены. Мучит жажда, но смуглый до черноты лекарь, Гужсохта, сказал вчера перед уходом: пить как можно меньше. А Гуломали нет. Уже шесть дней его опустевшая палатка горела на солнце. Где ж его носит? Может, все-таки нашел что-то?

Из четырнадцати русел Чорданахра определены пока только шесть. Приблизительно определены. Если Гуломали найдет то, что обещал, — будет семь. Половина. Неплохо. Плохо, что время уходит. Просто улетает время. Опасность принятия правительством «Проекта Большой Аму» все реальней, все ближе. Вот что такое плоды предательства — подлости или слабости челове-



ческой: не сбеги доктор Сухайль с родины, можно было бы теперь выиграть по меньшей мере пять месяцев! А то и больше: уйма времени уйдет на то, чтоб изучить русла, и на то, чтоб договориться с племенами, заселяющими те места. Станный народ эти люди, не понимают собственной выгоды; странный народ — и разношерстный. А иные, когда говоришь: «к вам придет вода» — ведут себя так, словно у них начался пожар.

На прошлой неделе Сабир, изучая выявленную им самим вторую «нахр», познакомился с вождем кочевого племени, заселяющего земли в низовьях русла. Вождь — старый, но могучий, жилистый человек, с плотной волнистой бородой, подернутой проседью, с неизменно поблескивающими глазами, в пестрой чалме, с полотенцем на плечах — был одет в «пийрону тумбон»: национальную мужскую одежду, состоящую из рубашки свободного покроя, которую носят навыпуск, и кальсонообразных брюк с зауженными на щиколотках штанинами.

Он проворно соскочил со своей приземистой лошади, тепло поздоровался с гостем и велел стелить дастархан — на открытом месте, на самом солнцепеке. Звали его Хушрав-бобо; выглядел он, по правде говоря, хитровато и был постоянно в окружении четырех или пяти воинственного вида юношей.

— Значит, говорите, вода придет... — сказал он, выслушав Сабир, и к этому надолго свелась вся его реакция; он принялся о ком-то справляться у аксакалов, приказывал нести пищу: сушеный сыр из козьего молока, машевую кашу, суп с мясом, сваренный в чайнике, и еще множество других незнакомых Сабиру блюд, источавших дразнящие ароматы. Тем временем повеял ветерок из степи, стада зашевелились — на горизонте показались облака пыли.

— Сия благостная весть нами не одобряется, гость, — сказал наконец Хушрав-бобо, и Сабир в первое мгновение даже не понял, что это ответ на его сообщение. К тому же он был уверен, что услышит слова благодарности — ответ мало сказать что застал его врасплох: Сабир был просто обескуражен. Может, я не сумел им понятно объяснить, сказал он себе. Теперь, оглядев искоса аксакалов, он увидел, что они насупились, точно он принес им несчастье. Очень ему сделалось неуютно за этим дастарханом — словно незваному гостю.

— Почему же так, бобо?

Тон вождя племени, до сих пор очень сдержанный, осторожный, изменился, он стал не спеша объяснять:

— Наша жизнь здесь, дорогой гость, началась, когда из реки вода ушла и болота высохли... Вот и образовались эти пастбища, что вы видите! Мы по ним кочуем уже лет двести, а вы хотите снова принести нам болота...

Аксакалы после его слов стали тревожно переговариваться, но вождь одним движением руки прекратил это. Сабир, слушая вождя, кивал в знак того, что понимает объяснения. Ему и в самом деле стало все ясно: несколько столетий назад низовья реки, постоянно затопляемые, превратились в сплошные топи, у местных племен не было ни сообразительности, ни сил, чтоб использовать это обилие воды: они просто бросили земли и ушли. Когда же ушли и реки, болота постепенно высохли, поросли травой; ими-то и овладели пришлые кочевники. Что ж, их можно понять: иной жизни они себе представить не могут, эти бедные пастбища и есть их мать-земля! Но и им нужно попытаться объяснить, что беда заболачивания больше не повторится...

— Уважаемые аксакалы! — сказал Сабир. — Но ведь топей больше не будет, вода придет не сама по себе, ею будет управлять человек! Ведь не только на пастбища пойдет вода — сады будут сажать, оазис должен быть ухоженным, это в ваших же интересах. И вообще пришло время менять жизнь! Сколько можно кочевать, ведь сейчас в мире...

Еще не успев договорить, он понял — говорит совсем не то; он оборвал фразу, но на лица аксакалов уже легла тень отчуждения. Зато хитрый Хушрав сидел улыбаясь, как режиссер хорошо поставленной пьесы.

— Вы, может быть, не знаете, гость, — сказал он внушительно, проходясь ладонью по волнам своей обширной бороды, — но Афганистан кормят как раз эти кочевники! Не станет северных кочевий — не будет на базарах ни мяса, ни молока, ни шкур, ни шерсти... Между прочим, — добавил особо внятно и медленно, — правительство тоже знает, что значат кочевья для нашей страны...

В последних словах прозвучала уже прямая угроза. Сабир с ужасом видел свою ошибку, но еще не знал, каковы будут последствия. В этих местах новости распространяются не по радио, не газетами — из уст

в уста; и при каждой передаче обрастают преувеличениями и домыслами. Уже к вечеру среди людей племени началась чуть ли не паника! Но что было делать? Стихию не оставишь... И он отправился в другой оазис, расположенный у соседнего русла.

Туда был день пути, и весь этот день Сабир размышлял о кочевниках. Раньше при звуке этого слова он воображал полудиких людей, думающих лишь о сегодняшнем существовании: очистив догола одну территорию, они со всем скарбом перебираются на другую, готовя ей ту же участь. Здесь же были люди, вполне сознающие цену своей земли и, так сказать, все фазы своего круговорота на ней, свою роль в жизни страны, свою долговременную выгоду — и свое человеческое достоинство. Накануне, вечером, где бы ни появлялся — в юртах, у коновязей, у семейных очагов, Сабир всюду даже сквозь туман гостеприимства ощущал резкое недоброжелательство этих гордых тружеников, а кое-где ловил и открыто враждебные взгляды.

Но в соседнем оазисе его с первых минут встретили так радостно, что он сразу забыл вчерашнее. Здесь жили бедные трудолюбивые племена, которые ранней весной торопились напоить свои расположенные в низинах клеточки полей с бахчевыми и овощами, потом засевали подножья холмов ячменем, молили бога о дожде и ждали везенья. Каждый заботился о своем маленьком засушливом участке, обильно поливаемом только потом. И потому здесь в глаза бросались прежде всего не прополотые всходы, а межевые ограждения, меж камнями которых посеянные ростки поднимались заодно с колючками. У семей на счету были не только пара тощих волов да соха, но и каждая соломинка или коровья лепешка. И по обе стороны еле заметного древнего русла лежали уже желтые, иссохшие каменистые пространства.

Здесь осторожно сказанные Сабиром слова «вода придет» большинство поначалу даже не приняло всерьез, а кое-кто удивился, будто речь шла о несбыточном чуде. И все-таки благая весть полетела по хуторам, как прекрасная птица.

Угощение у вождя племени было не обильное, но людей собралось много, и беседа искупила некоторую скудость стола. Сабир оттаял душой. Он подробно рассказал о планах распределения вод Аму через древние русла Чорданахра. Конечно, это будет не скоро, заклю-

чил он, ведь план должна подкрепить наука, и правительство должно поддержать, и помощь улуса потребует... Это еще завтрашний день, но ведь во вновь освоенных районах Узбекистана, в их расцветших садах и зажиточных хозяйствах такой завтрашний день уже наступил! И Сабир стал рассказывать снова. Слушали его с открытыми ртами, со слезами на глазах, только один старик спросил под конец:

— Скажи, сынок, вот говоришь — завтра вода придет; а если придет, кто, к примеру, будет ею распоряжаться?..

Все молчали, и Сабир как бы очнулся. Не выронил ли он снова дыню, которую нес в подарок? Так они, выходит, слушали это просто как сказку! Неужели и эти, так жаждущие воды, не готовы ее принять и использовать? Ту самую воду, что придет сюда ценою стольких трудов, мучений, средств! Опять перед ним глухой стеною встает то, из-за чего уже не раз опускались руки и хотелось бросить все и уехать... Но вождь племени понял состояние Сабира. Это был высокий худощавый человек с обаятельным лицом, обрамленным длинными льняными волосами — их стягивала ременная повязка; далеко не старый, он, однако, звался уже Кулбобо — знак уважения соплеменников.

— Вода пусть приходит,— сказал он спокойно и уверенно,— а уж достойных людей ей в хозяева мы подберем, мы же дехкане, слава богу...

— Но, Кулбобо,— возразил кто-то,— вода нужна, у кого земля есть, а у кого нет — тем все равно...

Кулбобо это явно не понравилось.

— Вода — бесценна, вода святая, нельзя впадать в святотатство!— сказал он.— Давайте поблагодарим гостя за благую весть! Аминь, рабб-иль алямин<sup>1</sup>.

Все стали подниматься, и Сабир тоже. Но настроение после этого примирительного «аминь» отнюдь у него не улучшилось. Ему вспомнилась Зулейхо, ее чистые как родники глаза. Теперь всегда было так: стоило пасть духом — эти глаза вспыхивали в его сознании, как спасительная звезда, и тянуло тут же пуститься в путь к старинной усадьбе дяди Гуломали, Шокалона. Однако в одиночестве его не оставили. Явился сам Кулбобо и проводил в «обогревальню» — нечто вроде гостиницы, расположенной близ мечети. На кошке —

<sup>1</sup> Формула из Корана, буквально: «Слава хозяину миров».

толстый матрац, на супе расстелена легкая скатерть, чай, хлеб, над очагом пытит черный кумган; чудесная ночевка! Но кто-нибудь все время приходил, уходил, появлялись новые посетители — пожилые и молодежь, оборванцы, что работают на бахче, пахарь, вернувшийся с поля... Слух о нем разнесся, все торопились задать свои вопросы, и Сабиру казалось — он находил с ними общий язык. На душе у него полегчало.

Оставшись наконец один, он готовился лечь спать, как вдруг острый укол пронзил его правую ногу, и тотчас заняло все тело. Он вскочил было, но взвыл от боли в ноге и повалился на кошму, мечась и крича. На крики прибежали люди — и остановились в испуге, ничего не понимая, тараща глаза; пожилой дехканин подошел к Сабиру, спросил, что с ним, но Сабир и ответить не мог, только кричал и извивался, показывая на ногу. Принесли фонарь, кто-то навалился на Сабира, не давая метаться. Нога раздулась как бревно, два человека не могли стащить сапог. Явился Кулбобо, крайне взволнованный.

— Что-то укусило? — спросил он Сабира.

— Н-не знаю...

— Найдите Гужсохту! Гужсохту позовите! — крикнул Кулбобо. Он положил голову Сабира себе на колени и влажной ватой вытирал ему лоб, покрывавшийся обильным холодным потом. Старик дехканин взял нож и разрезал сапог. Чудовищно вздувшаяся голень была твердой и белой. Наконец пришел Гужсохта — худой как щепка, полуголый, черный, словно только из копильни. Это был врачеватель племени, гадальщик и заклинатель. Он, видимо, сразу оценил положение; для начала сорвал портянку с ноги, скомкал и бросил в пустое ведро, стоявшее в углу, потом взял у Кулбобо вату, сильно протер вздувшуюся голень, осмотрел — и кивнул самому себе: нашел точку укуса. Сев на корточки, он присосался губами к найденному месту и стал отсасывать жидкость, яростно массируя ногу вокруг и то и дело сплевывая. Сабир кричал от невыносимой боли, пытался вырваться, но его держали несколько человек. На шее Гужсохты вздулись жилы, он сплевывал уже не слюну, а кровь. Голень превратилась в сплошной синяк. Это мученье длилось минут двадцать, потом Гужсохта острием ножа проколол место укуса, так что пошла черная кровь, дымом какой-то подожженной травы окурил рану и приложил золу. Принесли виног-

радный сок, часть его Гужсохта вылил на рану, остальное выпил сам. Лишь после этого он бросил свое измученное тело на супу рядом с больным. Боль в ноге ослабла, Сабир лежал рядом с табибом, оба обливались потом.

Никто из собравшихся не уходил. Гужсохта, видно, отдышался, наконец он поднялся, подошел к ведру, вытащил двумя пальцами скомканную портянку и встряхнул. Поднесли фонарь: на земляном полу лежал раздавленный каракурт — огромный, отвратительный. Все ахнули, забормотали. Гужсохта, не промолвивший до сих пор ни слова, обернулся к Сабиру.

— Бале!— сказал он хриплым голосом. Сабир слабо улыбнулся, но толком не понял, к кому относится этот возглас одобрения — к нему или к самому Гужсохте. Все снова заговорили, голоса были радостные, но Гужсохта сделал им знак умолкнуть и разойтись, показав на больного. Все сразу повиновались; они выходили, оглядываясь, улыбаясь Сабиру, точно старались его ободрить или выразить сочувствие. Возле супы остались только Кулбобо и знахарь. На дервиша похож, думал Сабир. Или... или на угольщика. Воистину «сохта» («обгорелый»)!

— Уважаемый табиб...— заговорил Сабир, еле ворочая языком,— вы... рискуя жизнью... спасли меня... от смерти... я ваш должник до... до... светопреставленья...— Гужсохта смотрел на него, не проявляя никаких чувств.— Сейчас у меня... нет ничего, чтоб... чтоб отблагодарить... но позвольте... посвящу вам... мою оседланную лошадь!

Гужсохта молча поднял с земли разрезанный сапог Сабира, потер кожу, поднес к носу, понюхал, снова швырнул сапог наземь.

— Откуда приехали, чужестранец?— спросил он.

— От... от ваших соседей... кочевников... а что?

Знахарь многозначительно глянул на вождя, тот на мгновенье опустил веки в знак понимания. Гужсохта порекомендовал пить как можно меньше в ближайшие два дня, пожелал выздороветь — и ушел.

Сабир с трудом приподнялся ему вслед:

— Отвяжите же... лошадь... Он что... обиделся?

— Нет,— с улыбкой сказал Кулбобо,— он не обиделся, но и не возьмет ничего, взимать что-нибудь с больного — грех, так он считает... Не в этом дело. Вы видели, как он нюхал сапоги? Они у вас выделанной

кожи, к голенищу такого сапога каракурт и близко не подползет!

— Что вы... что вы хотите этим сказать?..

— Кто-то нарочно сунул его к вам в портянки!

— Не-ет... нет, не может быть!.. Что вы, уважаемый Кулбобо!..

— А все-таки вспомните... Кочевники вас хорошо встретили?

Сабир вспомнил свое пребывание у них, злые взгляды... Но нет, нельзя и виду подать. Эти племена, должно быть, и так в не слишком тесной дружбе.

— Встретили... прекрасно,— сказал Сабир как можно тверже.— Я... никого не могу подозревать... И потом...— он помедлил, обдумывая,— потом... если б мне его сунули... на рассвете... что ж он столько... не давал о себе знать?

— Ну, так бывает!— сказал Кулбобо. Видно, и ему какая-то мысль пришла, он помрачнел.— Бывает,— повторил он.

— Нет... ерунда... сам заполз... может, на привале...— сказал Сабир. Кулбобо покачал головой.— И потом...— продолжал Сабир,— я же... человек, работающий в поле... у нас все... все бывает... и змеи... и каракуты... Теперь вылечусь... спасибо табибу! Выбросьте все... из головы, сардор... И спасибо вам!..

На рассвете Сабир настоял на том, чтоб уехать на базу. Чувствовал он себя еще скверно, на ногу едва мог наступить, но валяться здесь дольше, решил он, не следует. Его усадили на коня, трое юношей их племени его проводили. С коллегами на базе он вдаваться в подробности не стал, прошел прямо в палатку Гуломали. Самого главного гидрогеолога не было.

Оставшись один, Сабир впервые сам обнажил голень — и испугался: она по колено стала синей, утратила чувствительность, рана стала гноиться. Одно утешение — яда в крови теперь не должно оставаться, ведь его и не тошнит. Замечательный человек этот черный табиб! Как он выложился вчера, рискуя жизнью, а ведь сам-то — кожа да кости. Кто ему Сабир? Чужой человек, пришелец... Но — человек! Если бы не бескорыстная помощь этого полуголого, в лохмотьях, бедняка — не лежать бы тебе теперь здесь живым...

Чем можно отплатить за такое добро? Только снова, в который раз, дать зарок творить такое же б е с к о р ы с т н о е добро этим простым, бедным, трудолюби-

вым людям... Ах, если б только от него зависело!.. Но ведь стоит поверить в возможность какого-нибудь б о л ь ш о г о доброго дела, как тут же обнаруживаются едва одолимые препятствия... А теперь вот и Гуломали запропал. Ну да, они нашли несколько русел, но чтоб увериться — это именно те, о которых пишет доктор Сухайль, надо отыскать в с е ч е т ы р ь а д ц а т ь! Хорошо еще, если он, Сабир, пытаюсь сократить сроки и облегчить путь, не впал в ошибку... А если поддался соблазну удачи? Если все — не то? Ведь сколько бесценного времени потрачено!.. И что тем временем делается в Кабуле? Ну конечно, люди из «Джеймс Моррисон» во главе с этим господином Лалом Махдий землю носом роют, чтоб навязать правительству свой проект. И это мое разлеживание им весьма кстати... О черт, как не везет! Сабир попробовал вернуться на другой бок — и застонал от боли в ноге. Как еще он добрался до базы с такой голенью...

В полночь его разбудил стремительно приближающийся конский топот, который разом смолк недалеко от палатки. Сабир с трудом приподнялся навстречу решительным шагам, поднял фитиль в фонаре.

— Гулом?.. — спросил он.

Откинув полог палатки и как бы вырываясь из прохладных голубоватых объятий ночи, Гуломали с шумом швырнул свой хурджун наземь. Сабир почувствовал — чем-то он доволен.

— Где ты запропал? — сказал он.

— Есть в термосе кофе?

— Кофе нет, я приехал вечером и заснул как убитый...

Гуломали, должно быть, сразу заметил болезненную слабость его голоса:

— Эй, постой-ка, глянь на меня... — Он направил фонарь на его лицо. — Что с тобой, дружище? Ты так спал с лица, точно месяц в тюрьме просидел!

— Что со мной может быть! — сердито сказал Сабир. Не стоило пока ничего говорить Гуломали, пусть сперва о своих делах расскажет... — Говорю же — просто устал как собака.

Еще раз недоверчиво глянув, Гуломали зажег примус, поставил на него медную посудину с водой, чтобы сварить кофе.

— Но, слушай, Гулом, имей совесть, скажи, наконец, хоть слово! Пропадал почти неделю, теперь кофе



варишь, рассуждаешь о моем лице... Нашел ты хоть намеки на русло?..

— Нет,— сказал Гуломали, стуча в полутьме банками; что-то уронил и, кажется, разбил. О черт! Его невозмутимость раздражала Сабира, да и нога болела — нашел время в кошки-мышки играть!

— Нет?.. Совсем ничего?..

— Не нашел, говорю же! Ну, не смог найти, что ты хочешь!.. Дай хоть чашку кофе выпить! Со вчерашнего дня маковой росинки во рту не имел...

— Извини,— сказал Сабир, осторожно подвигаясь к столу, сколоченному из досок.— Я, кстати, тоже голоден...— Он приподнялся, сел на складную табуретку.

Гуломали допил кофе, вытянул губами последнюю каплю.

— То русло, которое искал, я не нашел,— сказал он.

— Это я уже слышал...

— Но я нашел кое-что другое, так что ездил не зря...

— Что другое?.. Нам нужно это седьмое русло, черт возьми!

— Я нашел... самого доктора Сухайля...

— Что-о?..

— Что слышишь...— Гуломали наклонился и начал рыться в своем хурджуе.— Вот!— сказал он, наконец выпрямляясь. В руках у него был большой самодельный конверт, он вытащил из него толстую растрепанную тетрадь и положил на стол.

— Что это?..

— Это сохранили люди, которые похоронили доктора Сухайля...

— Похоронили?!.. Значит, он...

— Да, к сожалению, я нашел его не живого, а мертвого. Точнее — его могилу. Но нашел!.. Смотри... Читай!

— Но... где могила? И кто эти люди?..

— Могила — в горах. Горцы нашли среди камней исковерканное тело и похоронили. Эта тетрадь была у него за пазухой. Они сочли за благо ее сохранить. Получить ее от них было не так-то просто... Хотя они ведут полудикую, с нашей точки зрения, жизнь, это на редкость добродушные и честные люди! Однако чужих они боятся и подозревают во всевозможных злых умыслах... Но я им рассказывал о воде, они стали на-

зывать меня «мираб», и в конце концов я завоевал их доверие. Слово за слово, они и рассказали мне о погибшем человеке, тетрадь показали — они считали ее амулетом доктора, представляешь!.. Впрочем, до известной степени так оно и было... Прочтешь — поймешь. Я, как только проглядел несколько строк, сразу понял, кто был этот погибший! Ты читай, читай... Это не тетрадь — бомба! Настоящая бомба!

Сабир подвинул поближе фонарь, но хлеб отодвинул — все-таки тетрадь лежала на мертвом теле! — и принялся читать: «Я встретил их в Мазари-Шерифе, в невзрачной кофейне... учился в Лондоне... так неожиданно, на старости лет... в изыскательской группе... с того дня... нити между нами оборвались... я понял, что он не имеет никакого отношения к науке... теперь он будет стараться... меня дискредитировать... или вообще уничтожить... надо разгласить их планы...»

Сабир дочитал, задыхаясь. Нога болела, но он вроде этого и не чувствовал.

— Ну... дочитал?! — спросил Гуломали.

— Дочитал... Кошмар какой-то! А мы-то думали... Значит, он просто не уберется... А мы так-таки и поверили, что он предатель!

— Ясно... но мы-то... взяли грех на душу, да простит нас аллах...

— А господин Лал-то, а? Обыкновенный убийца! Гангстер с геологическим дипломом!..

— Кто знает, какие там у него дипломы...

— А я... ей-богу... я так и знал... так и чувствовал — он должен быть чем-то в этом роде!

— Что ж ты не поделился?

— Чем делиться? Доказательств-то никаких...

— Ну, а теперь что будем делать?

— А что теперь? Еду в Кабул. Можешь считать: провокация под названием «Проект Большой Аму» разоблачена. Господин Лал сам себя выдал...

— Ну, положим, еще не выдал. Не надо так спешить. Ты уверен, что одно это — достаточное доказательство?

— А как же! Это же документ! Собственноручный текст! Это даже для суда доказательство. И потом — написано для газеты, ты видел конверт?

Сабир глянул и только теперь заметил на конверте надпись тем же почерком — интеллигентным, изящным: адрес редакции «Кабул таймс».

— Да...— сказал он.— Боролся до последнего часа... в полном смысле...— Он помолчал, потом сказал решительно:— Все равно, надо как следует обдумать. Не забывай: мы с тобой — заинтересованная сторона... Если...

— Никаких «если»! Не было у нас доказательств. Я тебе говорю: это и суд бы учел! Теперь главное — времени не терять...— Гуломали бережно вложил тетрадь в конверт.— Будь уверен, когда правительство с этим ознакомится, компанию «Джеймс Моррисон» по головке не погладят... А как только устранится это главное препятствие — примемся всерьез за работу. Так что я еду в Кабул...

— Когда?

— Завтра! Вернее, сегодня... На рассвете!

— Да... Ты говоришь — главное препятствие... Главное — это верно... Препятствий хватает!

— А в чем дело?

— Да вот — эта моя поездка в племена...

— Что-нибудь случилось?

— И да и нет...— И Сабир рассказал и о кочевниках, и о землепашцах.

— Ты понимаешь,— закончил он возбужденно,— в сущности, они все против! Даже те, кто — за! Опять то же, что и у твоего дяди!..— Он совсем было забыл о ноге, встал машинально и, охнув, опустился на табуретку.

— Да что с тобой такое?!..

— Нога-а!.. О-ох..— Пришлось показать ногу и все рассказать.

Гуломали очень обеспокоился:

— Нужно везти тебя к врачу!

— Но...

— Что за «но»!

— Послушай, ты опять суетишься... Кто мне поможет больше, чем тот знахарь? Он сказал, чтоб я просто отлежался...

— Ну и что?

— Ну и то, что уже действительно легче...

— Не очень-то легче, как я вижу... Знаешь что — попробуем убить двух зайцев сразу: я поеду в Кабул, а тебя отправлю к деду. Тебя и врачу покажут, и ты деду расскажешь о Сухайле. Это во-первых — ведь если ему эту новость не сообщить, он потом смертельно оби-

дится... И, во-вторых, он нам поможет в переговорах с племенами.

— Но он такой старый человек... — Сабир вспомнил, как выглядел Сардор тогда, в кресле, перед тем, как они уехали.

— Все равно, лучше, чем он, никто этого не сделает... А может, кроме него, и вообще никто не сделает! Ты не знаешь моего деда...

Когда Сабир открыл глаза, его словно бы обдало тусклым жаром; воздух, казалось, был горячим и непрозрачным, тело пылало. Он не мог вспомнить, даже приблизительно, когда потерял сознание. Припоминалось только, как отчаянно разбалчивалась нога оттого, что терлась о конские ребра, пока он сидел в седле; ну, конечно, он выехал на рассвете и ехал почти целый день; дорога казалась ему на этот раз нестерпимо долгой: длинные горные долины по сторонам сделались похожи одна на другую, ему было не до их красоты; кишлаки, празднующие навруз, гузары, кишашие людьми, качели на площадях, украшенные степными цветами, женщины, отбивающие тесто о камни, чтобы испечь сангюн — «каменный хлеб», оружие босые ребятишки, надоедливые звуки камышовых свистулек, соревнования по стрельбе из лука на полянах — «Гуд-и-паррон», конный цирк на тюльпановом базаре, — все это слилось в одну громадную, бесконечно тянущуюся картину. Сперва, он помнит, у него голова стала кружиться — еще подумал: значит, в крови яд остался и воды утром слишком много выпил. Вцепился в луку седла, боялся ослабить хватку, чтоб не свалиться с лошади. Конь, бедняга, привычно шел дорогой, даже ход замедлил, видно, чувствуя состояние всадника. Да, еще несколько раз он, Сабир, полоскал рот водой из старой отцовской солдатской фляги, которую всегда возит с собой; кажется, уже смеркаться начало... вот, вот, видно, тогда, в сумерках, он и потерял сознание...

Но теперь, он чувствовал, лежит, удобно лежит, и рядом кто-то есть. Неподалеку конь фыркает, с хрустом жует сено... Тот, что рядом с ним, обрисовывается смутной тенью то справа, то слева, кладет ему на лоб мокрое... Потом пространство перед глазами Сабира понемногу проясняется, и он видит ветку абри-

коса, качающуюся над ним; от этого качанья голова у него снова кружится, он прикрывает веки.

— Гость... гость... как вы себя чувствуете? Где болит?

Какой странно, отдаленно знакомый женский голос... Сабир открывает глаза, но вокруг снова туман.

— Где я?..

— Не волнуйтесь, у друзей... Ночью вас привезла сюда ваша лошадь, вы скорчились в седле и были без сознания... Вам лучше?

Господи, какой сладкий голос. Но к горлу тут же подступает тошнота...

— Тошнит...

— Вот кислое молоко, глотните...

Сабир чувствует у себя на губах деревянную ложку, в рот проникает прохладная кислота катыка. Он приоткрывает глаза... Прямо перед ним какое-то черное облако... Нет, не облако — это густые черные волосы... Они перевязаны белым платком... И вот лицо появляется, всплывает, останавливается перед ним — овальное, бледное, невозможно прекрасное, как во сне... огромные, словно бы молящие глаза, чуть вспухшие губы...

— Зулейхо... — шепчет Сабир.

— Ну вот, узнали! Слава богу... Я вас тоже сразу узнала, когда увидела на лошади... Хотя вы были на себя не похожи. Но я вспомнила: это вы приезжали тогда с Гуломали-ака...

Сабир собирает все силы, чтобы прийти в себя, чтоб глаза не закрывались и смотрели на нее без помехи, чтобы, может быть, даже встать — стыдно лежать здесь перед ней такой развалиной, — но голова кружится, сил нет...

— Зулейхо... — шепчет он снова.

— Что? Я слушаю...

Что-то надо придумать, что-то спросить, нельзя произносить ее имя всуе.

— А дядя Шокалон... ваш отец... он здоров?

— Да, он здоров, здоров! Он уложил вас сюда и велел, чтоб я присматривала за вами. У вас был солнечный удар, отец привезет доктора.

— Нет, это не солнечный удар... это другое... раньше... — Ни за что нельзя ей рассказывать об укусе, о посиневшей ноге, рядом с ней эти отвратительные подробности невыносимы. — Мне уже лучше... я подни-

мусь и так... без доктора... тем более — табиб меня уже смотрел...

— Да? И что?

— Сказал — все в порядке!..

— Какое там в порядке — видели бы вы себя на лошади!

Он чуть не сказал: плохо, что вы меня такого видели!

— Но теперь я отлежался... скоро встану... а... дед ваш... Хайридин-бобо... он тоже здоров?.. Он приезжал тогда... мы с ним беседовали...

— И он здоров, спасибо...

— А домашние?..

— Они все на наврузе...

— Ох... значит, вы одна дома...

Она вспыхивает, чуть отворачивает голову:

— Да...

— Вот беда какая... Из-за меня вы и на празднике не повеселились...

— Это не страшно! Ведь большой праздник был вчера!.. Чаю хотите? Смотрите, сколько с праздничного дастархана вкусных вещей...

Он чуть скашивает глаза — в самом деле, на маленьком столике рядом — множество разных сладостей, хлеб, кишмиш, орехи; пиала наготове...

— Чаю — хочу...

И он пьет чай — она поит его. Он наслаждается не столько горячей терпкой жидкостью, которая и вправду словно омывает все внутри, сколько немимолетной близостью девушки, сознанием, что она здесь — только ради него и не исчезнет, как случайное виденье, по воле неизвестных сил. Ему становится все лучше с каждой минутой. Вскоре он и впрямь уже в силах встать; и, невзирая на ее возражения, привстает, потом садится. Видит поодаль свои сапоги, вычищенные, чинно стоящие рядком; потом замечает свою гимнастерку — она лежит на краю супы, выстиранная, выглаженная, аккуратно сложенная. Горячая волна благодарности окутывает его, на глазах вот-вот слезы выступят. Никогда ни к кому — ни к матери, ни к бабушке, ни к сестре — не испытывал он такой благодарности за столь простые заботы. Но она... Это все равно что звезда небесная спустилась бы с неба почистить его сапоги и выстирать рубашку! Он смотрит на нее — она возится с чем-то и вроде бы не замечает его взгляда, он смотрит и видит

ее как бы в легком тумане. Ага, слезы все-таки чуть смочили веки... И ему кажется — нет, не кажется, так и есть! — она стала иной, чем помнилась с прошлого раза. Красота ее как-то упрочилась, расцвела, стала еще более властной и победительной. На ней уже не ситцевое платишко, из которого она выросла, а новое, широкополое, достаточно длинное. Сшитое на деревенский манер, оно немного скрадывает фигуру, зато его широкий атласный пояс плотно обхватывает талию. Когда она нагибается, становится видна пышная зрелость девичьего стана.

Он встает, умывается — она опять ахает, уговаривает его еще полежать. Но он чувствует — ему уже все под силу!.. Умываясь, он случайно забрызгивает водой свои начищенные сапоги, она стремительно кидается их вытирать, а он не знает, куда деться от смущенья. Она старается это замять.

— Хайридин-бобо,— говорит она с прелестной улыбкой,— уверяет, что я узбечка... Да! Мы, говорит, состарились, но ты не забывай родину отцов и дедов...— Она смеется.— Правда, мой отец вовсе не с той родины...

— Зато мать — оттуда...

— Мать — оттуда...— повторяет она, затуманившись.

— Хайридин-бобо у вас еще крепкий старик,— говорит он, чтоб нить разговора, не приведи господи, не оборвалась. Сколько же ей, однако, лет? В прошлый раз это казалось так очевидно, а сейчас — нет, он бы не взялся определить...— Зулейхо,— говорит он,— а сколько... сколько вы классов школы окончили?

— Четыре! В наших кишлаках больше не бывает... А у вас что, в каждом кишлаке большая школа?

— Зулейхо...— Какая радость произносить ее имя! Если бы он мог преподнести этой девушке все, что она пожелает, всю красоту, все знания, все богатства мира!..

Умывание холодной водой заметно ободрило его. Нога, правда, еще болит, но слабость уже прошла. Он взглядывает на небо. Он давным-давно должен бы находиться в другом месте... Сколько времени потеряно... Нет, не потеряно! Ему кажется, что он теперь только обрел время — время жизни, в которой есть настоящая, без горечи, радость, подлинная, без сомнений, цель. А все-таки ехать надо... Нельзя откладывать.

— Мне... мне нужно ехать, Зулейхо...— Как это, оказывается, трудно выговорить...

— Ой, но ведь отец привезет доктора...

— Надеюсь, что нет, и к тому же мне лучше, а доктор, я ведь говорил, меня уже смотрел...

— Не уезжайте не позавтракав, это нехорошо.

Неужели она и впрямь огорчена, или ему показалось?

— Но у меня действительно неотложное дело, Зулейхо! Я ехал... я ехал с важным поручением к Сардору Садыку...

Да, он так и думал — это имя произвело действие. Зулейхо молча взяла две лепешки, еще какой-то еды, положила в хурджун гостя. Потом пошла в сторону конюязи.

Сабир поднял хурджун, догнал девушку, перебросил суму через седло, взял в руки поводья — и замер перед Зулейхо. Слова не получались.

— Неловко, что я...— пробормотал он наконец,— что я так побеспокоил вас... и вашего отца...— Он положил правую руку на шею коня, погладил.— Это все он виноват, коняга мой...

— Да, если б он вас не привез, вы б и не приехали...— Она тоже положила руку на холку.— У вас хороший конь... Лучше, чем вы сами!

Губы у нее, кажется, чуть дрожали.

Сабир наклонил голову, чтоб этого не видеть, сунул ногу в стремя, снова помедлил — и поднялся в седло. Кожа на шее коня подрагивала, блестела.

Зулейхо сняла руку с лошади. Она смотрела в землю. Он наклонился:

— Зулейхо!.. Прощайте — и не обессудьте. Я еще появлюсь, чтобы выполнить желание вашего деда, ладно?

Она стремительно и недоуменно вскинула голову, в глазах у нее что-то сверкнуло.

— Чтоб рассказать вам про Узбекистан!— крикнул он, уже тронув коня. Конь быстро прошел открытые ворота, заржал коротко — и полетел как ветер.

На этот раз Сабир застал Садыка Сардора во время вечерней прогулки. Привязав коня у ворот, он пошел старику навстречу, вдоль арыка, поросшего низеньким кустарником: высокая фигура Сардора видна была из-



далека. Они встретились у миндалевого дерева, осыпавшего лепестки. Сабир приветствовал старого воина почтительно и сердечно, и тот, в свою очередь, обнял и прижал его к сердцу — как сына.

Чтоб не делать крюка, они перешли арык по переброшенному бревну и вошли во двор через боковую калитку. В гостиной сели в кресла, стоявшие посреди разбросанных или сложенных стопками книг. Хозяин провел ладонями по лицу, как бы в знак молитвы, потом потрогал чайник, не остыл ли, и предложил гостю утолить жажду.

— Только сейчас,— сказал он, передавая пиалу,— я понял причину моей сегодняшней тревоги... Должно быть, с утра чувствовал, что вы ко мне поспешаете,— и ждал вас... С какой вестью, сын мой, пожаловали?

Старик, конечно, ждал новостей о их поисках и работе. Известие о гибели Сухайля будет для него тяжелой неожиданностью... тем более что наверняка вызовет угрызения совести. Надо его как-то подготовить, начать издалека... И Сабир стал рассказывать о найденных русле, сказал, что эти находки в любом случае представляют интерес для науки; бегло помянул о поездке в племена...

— Да,— сказал он,— что ни говори, а если б доктор Сухайль мог нам помочь, дело двинулось бы куда быстрее. Он ведь уже нашел то, что мы ищем.— Старик нахмурился. Сабир сделал вид, что этого не заметил.— Но, несмотря ни на что,— продолжал он,— доктор внес в дело ирригации севера вклад неопределимый... научный, политический... героический вклад!

— Что вы говорите такое? Неопределимый? Героический? Чего ж он тогда сбежал?..— Седые брови Сардара сдвинулись, он вперил грозный и недоуменный взгляд в Сабир, не замечая слуги, пришедшего с даштарханом и ожидавшего, пока хозяин снимет ладони со стола.

И Сабир рассказал о находках Гуломали.

Старик слушал, подрагивал щеками и губами. Дослушав, он встал, снял с головы феску и обернулся к стоявшему в углу книжному шкафу.

— Аллах да простит меня, но и ты прости, Сухайль...— Голос его дрогнул, он протянул руку, распахнул дверцы, вытащил одну за другой три книги, протер пыль, поставил обратно. Сабир понял — это

были книги доктора. — Сухайль, — сказал старик хрипло, — да проглотчу я свой язык, которым проклинал тебя!.. И ты ушел, как тысячи наших, что отдали жизнь во имя родины... А я не был с тобою в твой страшный час одиночества! Не был... Я клял тебя, когда ты лежал, раздавленный камнями... М-м-м! — Он ударил себя рукой по лбу и замолк надолго. Так он стоял — изваяние горя. Потом лава ярости заклокотала под пеплом. — А эти, — сказал он бешено, — эти коварные, двуличные палачи! Лазутчики! Змеи! Столетиями нас обирают! Посылают на смерть лучших из лучших...

Он вдруг покачулся. Сабир успел подскочить, не смотря на больную ногу, подвел его к креслу, усадил, налил горячего чаю. Старика трясло.

— Сынок, — сказал он, — не уходи, не оставляй меня наедине с горем...

— Нет-нет, Сардор, что вы! Я останусь! К тому же у меня к вам долгий разговор... Успокойтесь, Сардор. Сказать правду, для нас только теперь наступает время настоящей, спокойной работы. Пусть только вернется из Кабула Гуломали...

Старик пил чай маленькими глотками; должно быть, он понемногу приходил в себя — лицу его возвращалась та ясная величавость, что была ему свойственна. Он осушил пиалу, слегка наморщил лоб, видимо, что-то припоминая.

— У Икбала, — сказал он, — есть такие строки:

Хоть ночь за ночью тьма нас кроет снова —  
пред светом дня дрожит, теряя мглу.  
И от добра, умершего ль, живого,  
покоя нету правящему злу!

— Да... — сказал Сабир. — Звучит так, точно сказано прямо о докторе... Увы, — он покачал головой, — я мало знаю о творчестве Икбала, хотелось бы знать, Сардор, чему он учил, о чем мечтал?

Старик чуть заметно улыбнулся.

— Он мечтал о таких людях, как вы, сын мой...

— Я?!.. Но... Таких, как я, очень много. Что ж о них мечтать? Надо просто оглядеться!.. Ведь я всего-навсего сын дехканина, убитого на войне.

— Да, вы правы, все мы просто люди, простые люди, но дела наши меняют нас — либо растят, либо превращают в ничто. Большие дела делают больших лю-

дей! Ведь вы говорили в прошлый раз — вместе с наставницей, Сумбуль-ая, провели тысячекилометровые каналы в пустыне, создали моря... Разве для этого вам не пришлось по-новому взглянуть на мир, шире видеть, думать крупнее, заглядывать далеко вперед? Разве большое дело, которое делает человек, не становится его жизнью?.. Нет, вы не такой уж обыкновенный человек, сын мой...

— Вы преувеличиваете, Сардор. Мне вот вы кажетесь необыкновенным человеком!.. Гуломали говорил мне: вы стремитесь просветить свой народ, проповедуете ему высокие идеи, раскрываете людям идеалы Икбала...

— Видите ли, у нас интересы людей ограничиваются семьей... ну, в крайнем случае, общиной, племенем. Конечно, этот общественный эгоизм коренится в условиях жизни, это — равнодушие поневоле; и география у нас, сами знаете, не простая... Потому я и говорю всегда: идеалы Икбала, вера в человека, которую он исповедовал, у нас особенно важны. Его замечательные поэмы «Тайны своего я» и «Секрет самоотречения» должен знать каждый мусульманин! В них мусульманская мораль тесно связана с проповедью общественной активности... А без такой активности мы далеко не уйдем! Мы слишком долго топчемся на месте — века, века, сын мой! Икбал говорил: «Хастам агар меравам, гар наравам — нестам!» Пока я движусь — я есть, остановлюсь — меня нет... Человек, его талант — это не возможность, это свершение. Росток либо растет — либо умирает! Так и человек — либо творит, выполняет свой долг перед людьми и страной, и при этом растет, совершенствуется... либо умирает раньше смерти, повисает сухой веткой, стоит мертвым стволом...

— Это мудро... И ведь сейчас — самое время превратить это в жизнь!

— Да, конечно! Именно сейчас, особенно сейчас... — Он задумался на мгновение. — Икбал сказал:

Кто истый муж — народу будь слугой,  
и в этом все, бессмыслен путь другой!

Сабир почувствовал, что искренне взволнован. Он ехал сюда, чтобы попытаться использовать влияние старика, но теперь сам ощутил это влияние. То, что он

услышал, так совпадало с его недавними впечатлениями, с его надеждами и мечтами...

— Знаете, Сардор,— сказал он,— пожалуй, еще неделю назад я не был бы так готов воспринять то, что вы говорите... Но за эту неделю я многое увидел собственными глазами. Я уже говорил вам — ездил в племена, пытался выяснить, как они относятся к нашему проекту. И с огорчением убедился: они решительно не готовы принять воду! Да, да! Одни ее ждут, даже мечтают о ней, другие считают ее просто злом для себя, злом номер один для своей жизни и уклада... Но и те, и другие равно не готовы к приходу воды! Это парадоксально для безводных, в сущности, районов, но это так! И я знаю почему: они не в силах подняться над узкими интересами своего клочка земли, своего стада, увидеть что-то за пределами своего узкого мира...

— Вот именно, сын мой: они невежественны и потому эгоистичны...

— Ну, у нас сказали бы не совсем так: они социальны не готовы к прогрессу! Строй их жизни ему противоречит!

— Ну да, ну да, а я разве не сказал того же: их эгоизм порождают условия жизни!.. Но что вы хотите, разве мы можем в несколько дней или месяцев сломать, изменить вековые традиции, перестроить древний уклад?

— А зачем тогда наша работа, для кого, для чего?

— Сын мой, человек должен делать свое дело независимо от того, увидит ли он плоды своего труда...

— Да, да, конечно, но не в нашем случае! Ведь приди к ним сейчас вода, она у одних встретит яростное сопротивление, у других равнодушие, а в итоге не просто пропадет зря, а еще и вред принесет, заболотит, испортит земли, вместо того чтоб их возродить, улучшить... Великое благо обернется немалым злом! Так уже бывало, вы сами знаете.— Видите ли, Сардор, я не отношусь к традиции так фатально, так, простите, традиционно... Я думаю — ее нужно все-таки менять... иначе просто невозможно. И здесь мы не обойдемся без вас, без вашей помощи...

— Моей помощи?

— Да, Сардор, вы знаете, что значит для них ваше слово. Одно дело, когда все пытаюсь объяснить я — чужак, пришелец, молодой человек, другое дело, если скажете вы. Ведь ваше имя открывает здесь все двери...

— Ну, теперь я вам скажу: преувеличиваете, сын мой!.. Но что вы хотите, чтоб я им сказал? Может быть, они ко мне в чем-то и прислушаются, но я не заблуждаюсь: свои, кровные интересы они поставят выше моих слов! Хотя, может, и не подадут виду...

— Но в том-то вся и штука, Сардор! Нужно показать им, в чем их действительные интересы! И чтоб они поверили. В конце концов, мы ж не обманывать их собираемся — напротив, открыть им глаза... Если б вы могли выступить на Джирге племен...

— На Джирге?..

Сабир вдруг заметил, что старик страшно устал. Впрочем, он и сам чувствовал давящую усталость.

— Да, Сардор... Но, простите, я совсем заговорил вас... И завтра будет день, мы успеем все выяснить и обсудить...

Старик не стал спорить. Постели были уже готовы. Сардор отправился в спальню, Сабир лег тут же на веранде. Ему казалось, он уснет мгновенно, но сон долго не приходил. Звездная ночь месяца савр<sup>1</sup> была полна трепетом, дыханием, налетающий ветерок, казалось, осыпал попеременно белые лепестки цветенья и звезды с небосвода. Падающая звезда обозначает чью-то обрывающуюся жизнь, все мы в это и верим, и не верим... Сабир вертелся с боку на бок, поглядывал на огромное, полное сияющих точек небо — и наконец заснул. Разбудил его скрип. Был уже рассвет. Бадью тащат из колодца, сообразил Сабир. Скрип смолк, должно быть, пили воду, потом цепь, раскручиваясь, загремела снова. Шаги, дверь веранды отворяется, кто-то входит, тяжело дыша, опускается, кажется, прямо на пол у двери.

Сабир поднимается в темноте:

— Кто там?

Человек молчит, тяжело дышит, и тут отворяется внутренняя дверь, с фонарем в руках, в белой рубаше, выходит Сардор. Луч фонаря ловит сперва входную дверь, а потом и человека рядом — человек сидит на полу, прислонясь к стене, и рукою заслоняет лицо от света.

— Оставь фонарь, дедушка...

Это Гуломали, он все еще тяжело дышит, рубаша промокла от пота. Сабир подходит к нему:

---

<sup>1</sup> С а в р — месяц мусульманского лунного года, соответствует времени примерно от 21 апреля до 21 мая.

— Гуломали! Что случилось? В чем дело?.. Ты что, пешком добирался?

Гуломали, не отвечая, стаскивает сапоги. Потом взглядывает на деда — тот остановился прямо перед ним.

— Слушай, ну что случилось?— говорит Сабир.— И где... где тетрадь?

— Не до тетради... Дед, слушай... Я был в Кабуле, но не смог добраться до дворца...

— Подожди,— говорит Сардор. Он зовет слуг, велит принести таз с водой и полотенце.— Встань, умойся,— говорит он внуку.— Как следует ополосни лицо в холодной воде... И голову, голову в воду!

Сабир помог другу умыться, слуга принес горячего чая с лепешками.

— Дед,— сказал Гуломали,— в Кабуле светопреставление. В небе непрерывно кружат самолеты, в самом городе словно некончающееся землетрясение. Все дуканы закрыты, калитки домов заперты. Дворец окружен войсками. На берегах реки — пальба. Чиновники попрятались. Не поймешь, кто кого боится. Полная паника...

— Но даже при этом тетрадь...— нетерпеливо начал Сабир — и наткнулся на останавливающий взгляд Сардора.

— Тетрадь...— сказал Гуломали.— Кому она там нужна — тетрадь... Встречался я с двумя чиновниками... разыскал кое-как... сказал насчет нашего проекта. Куда там! Просто смеются. Нашел, дескать, чем сейчас заниматься!.. Люди, мол, озабочены тем, чтобы хоть жизнь спасти...

— А куда ты коня подевал? — спросил Сабир.

Гуломали не ответил.

— Гуломали,— сказал Сардор,— а что говорят военные?

— Они никого к себе не подпускают!

— А настроение какое? Вообще?..

— Настроение? Вообще? Все говорят об Абдул Кадыре... о генерале Абдул Кадыре.

— Об Абдул Кадыре?— переспросил Сардор. Глаза его сверкнули, высокая фигура подтянулась, стала, кажется, еще выше.

— Да, да, о том самом, вашем ученике...

— Ученике!.. Он не ученик, а выдающийся полководец! Ну, слава аллаху, у него-то дурных намерений быть не может...

Гуломали глянул на него исподлобья, так, чтобы старик не заметил. Потом сказал Сабиру:

— Конь у наших, не беспокойся...— Сам он словно бы тоже несколько успокоился, пришел в себя.

Старик вышагивал по веранде взад-вперед, взад-вперед.

— Дед,— сказал Гуломали,— а дед...— Старик остановился, глянул.— Идемте-ка внутрь, поговорить надо...— Старик кивнул.— Извини, Сабир!

Они ушли в комнаты. Сабир не обиделся, понял, что секреты — не от него. Видно, Гуломали не хочет открывать старику всей правды, чтоб его не волновать. А может, чтоб развязать себе руки — если впрямь что-нибудь страшное заваривается, Сардор возьмет да и не отпустит его!.. Но разговор явно затягивался. Пусть их, решил Сабир, полежу еще немножко...

Он прилег — и провалился в сон, а проснулся с ощущением, что проспал что-то важное. День сиял вовсю. Гуломали и след простыл. Зато Сардор был здесь, непривычно нарядный, в роскошном ширазском колухе, он степенно прохаживался по двору, и осанка была у него самая что ни на есть генеральская.

— Нашему Афганистану всегда везло весной!— сказал он, увидев Сабира.— Авось повезет и на этот раз... Коня своего выглядываете?.. Не обижайтесь, его взял Гуломали, я вам дам другого. И что он временно оставил вас и базу — тоже не досадуйте, пожалуйста: у джигита есть свои долги, которые надо платить... В решающие минуты он должен быть рядом с соратниками!.. Впрочем, они мне, конечно, ничего не сказали толком, но я все понимаю...— Он глянул на небо, на деревья, глубоко вздохнул.— Да, савр на дворе... Славный месяц савр! Я уже видел один такой радостный савр, сын мой... Дай бог ему повториться. Будет, будет на нашей улице праздник!

Что за дела у них грядут, с чем они связывают свои надежды, Сабир гадать не хотел. Нет, сказал он себе, какие бы перемены ни произошли, пусть даже Гуломали вовсе оставит его одного, → он, Сабир, проекта не бросит, не откажется от идеи использования русел Чорданахра. Ни за что не отступится! Ведь это не только даст дешевую воду засушливым областям, это еще и для бу-

дущего опыт бесценный. Уникальное научное и техническое достижение!.. И он шел к нему так долго, так трудно...

Он прогуливался со стариком меж тополей, но ко вчерашнему разговору не вернулся. Не то чтоб не рискнул — ясно, Сардору, как и Гуломали, сейчас не до того. Впрочем, они и вообще, прогуливаясь, не разговаривали, занятые каждый своими мыслями.

Около полудня Сабиру привели коня. Он распротился, не скупясь на благодарности, обещал давать знать о себе и обо всем — и отправился на базу.

Надо срочно отправить Сумбуль-аёе подробные гидрогеологические и топографические характеристики всех шести русел, думал он по дороге. А может, уже пришел ответ от нее на предыдущее письмо? Скитания Гуломали не позволили обобщить выводы всей группы. Ну ничего, с этим он и сам справится. Правда, есть кое-что, что сделать без участия Гуломали невозможно... Посмотрим, посмотрим... Тонкая женская фигура мелькнула на склоне сбоку от дороги, солнце высекло искру из какого-то украшения у нее на шее, и Сабир сразу вспомнил Зулейхо. Как странно, он не вспоминал о ней почти сутки! Острая, щемящая нежность разлилась у него в груди. Как ты там, Зулейхо?.. Зулейхо-о...

На базе дела оказались куда хуже, чем он ожидал. Вспомогательный персонал и некоторые лаборанты ее покинули, оставшиеся сидели сложа руки: некому было распорядиться о работе или отпустить их. В палатках о чем-то бесконечно спорили до хрипоты, перебранка между топографом и геодезистом едва не дошла до драки. К приезду Сабира только что вернулся из Кабула второй геодезист — единственный здесь обладатель мотоцикла. Этого толстого, спокойного парня словно подменили: он весь дрожал, без конца пил воду и неустанно подтверждал свои слова клятвами, хотя никто не подвергал его рассказы сомнению. Должно быть, он сам едва мог поверить тому, что видел.

— Клянусь! — говорил он, и в глазах у него была паника. — Там настоящий конец света! На улицах и площадях все орут во весь голос, один — «Да здравствует революция!», другой — «Мусульмане, побойтесь греха!» — клянусь, я чуть не оглох. И вертолеты еще ревут в небе. Бесперывно ревут — клянусь, только



один пролетел — и уже другой... А возле дворца пушки гремят, пыль над городом вровень с горами стоит, клянусь! То вдруг все начинают вопить: «Президент убит!», то кричат: «Скрылся президент!» — и снова: «Правительство свергнуто!» Клянусь, свихнуться можно, попробуй понять, где правда... Кто-то бежит как ошпаренный в страхе, кто-то стоит и радуется как сумасшедший. Я уж бродил там, дороги не разбирая, не чаял выбраться — и вдруг, клянусь, возле здания Радио встречаю нашего инженера Гуломали! Глазам своим не верю, клянусь! На руке у него — красная повязка, и все к нему: «Товарищ Коргар! Товарищ Коргар!» А он меня увидел, подзывает, здоровается, я ему: «Что это будет-то?» А он, клянусь: «Что будет, то будет... Дурачок, что будет — то уже есть! Революция, говорит! Народное правительство! Не вешай носа! Беги на площадь Баге Умум, все там собрались, будет большая джирга, и ты все узнаешь!» Клянусь, так и сказал...

— А вы не спросили инженера Коргара, когда он вернется? — сказал Сабир.

— Э, куда там! У него рот до ушей, покрикивает на толпу, а о нас, клянусь, и забыл совсем.

— Эй, толстяк, — прервал его топограф, — что ты все клянешься, расскажи лучше, что там было на площади Баге Умум?

— А что было!.. Клянусь, не знаю — меня ж туда не пропустили из-за моего драндулета! Я и сам заторопился: здесь вы, дома дети — клянусь, не знал, куда и ехать, вот сюда пригнал... Так что теперь будем делать-то? Если там всерьез бой пойдет, что станется с нашими родными?.. Не видали вы нынешнего Кабула, не то, клянусь, и сами бы голову потеряли...

Этот вопрос — «что будем делать?» — и впрямь словно придавил всех. На базе оставалось семнадцать человек, большей частью молодежь, и все из разных мест. Те, кто был родом из глухих городков, успокаивали себя — у нас, мол, все спокойно. Вам бы только покой, говорили с досадой другие, столичные жители, вам бы только все по-старому!.. О работе никто и не заикался. Вдобавок к вечеру того дня, когда вернулся Сабир, полил дождь. Белая палатка Коргара стояла на откосе, под циновки потекла вода, зажурчали мутные ручейки, полог двери намок и шумно хлопал под ветром. По мокрому брезенту металась тень от качающегося фонаря. Сабир поглядывал на озабоченные лица

людей — на них явно читалось: тревога, тревога, тревога... За себя, за родных, за то, что будет завтра! Взрывное слово «революция» иных явно пугало. И в самом деле, как все пойдет? Не обернутся ли эти события неожиданным селем, что сметет в мгновение ока многие жизни, надежды, планы?.. А если даже нет — разве не может случиться, что выношенная, взлелеянная ими идея Чорданахра надолго отойдет на второй или на десятый план, как стало не до нее даже Гуломали и старому Сардору? Неужели придется свернуть все работы и отправляться домой?.. У него сердце заныло, он даже не думал, что так сросся со всем этим — с этой работой, этой страной, этими людьми... Гуломали, Сардор... старый Хайридин... и Зулейхо!.. Зулейхо...

Дождь лил не переставая. Сабир знал, что в месяце савр это здесь явление обычное — такие дожди на редкость благотворны, недаром говорят: «савр год делает!» Они как бы упреждают многонедельный страшный «афганец», дующий тут в знойную пору. Но сами они долги и нудны.

Конечно, дождь и назавтра не прекратился. Палатки и вся одежда вымокли, выползавшие наружу принесли на сапогах пуды грязи. Дождь не кончился и на четвертый день; однако, невзирая на бездорожье, базу покинули еще три человека. Остальные с тоской выглядывали наружу; серое небо, опустившееся, казалось, до верхушек деревьев или коньков палаток, по-прежнему изрыгало некончающиеся, избыточные струи...

В конце концов Сабир остался с завхозом и одним носильщиком. Носильщик, чуть согбенный, средних лет холостяк по имени Бабашах, все пытался успокоить Сабир: «Прожили мы столько времени без вашей воды и дальше, если аллаху угодно будет, проживем — смотрите, какой дождь льет! Лишь бы в стране было тихо...»

Ну что ж, думал Сабир, для них в этом, наверное, есть свой резон. Только он-то с этим не в силах согласиться, хотя и у него внутри растет печальная уверенность, что дело их отодвигается на годы...

Дождь кончился почти через неделю. Они развесили на протянутых веревках вещи, принялись приводить в порядок инструменты, образцы почвы, документацию. Выйдя в очередной раз из-под полога палатки к вытасченному под открытое небо столу, Сабир увидел приближающегося всадника. Он узнал его сразу: Гуло-

мали!.. Тот подскакал, легко спрыгнул с коня, привязал уздечку к седлу. Они обнялись.

— Ну,— сказал Сабир.— Все знаю, товарищ Коргар! Поздравляю...

Гуломали счастливо кивнул и, сияя глазами, снова обнял друга, долго хлопал его по спине.

— Ну так как?..

— Хорошо!— сказал Гуломали.— Хорошо... Потом расскажу подробно. А как здесь обстоят дела?..

— Сам видишь!— сказал Сабир. База являла вид пустоты и разорения.— Все разбежались, все вымокло... Ясно, товарищ главный гидрогеолог?

Должно быть, против его воли в этих словах прозвучал невысказанный упрек, и «главный гидрогеолог» это уловил. Он уселся в седло, выставленное для просушки, и сказал с веселой мольбой в голосе:

— Ты уж прости, Сабир! Но ведь... ведь ты сам говорил: проблему воды надо решать прежде всего в социальном плане!..

Сабир вдруг рассердился.

— Я тебя уже один раз поправлял,— сказал он сухо.— Это сказал не я, а Ленин.

Гуломали рассмеялся, не принял его сухого тона.

— Тем более!— сказал он.— Не сердись, такова эта сложная жизнь. И в ней не знаешь, где найдешь, где потеряешь... Ну же, не дуйся, все прекрасно, посмотри вокруг!

И он обвел вокруг рукой, как бы указывая. Сабир почти машинально огляделся. Вокруг и правда было прекрасно. Мокрая земля еще парила, но меж туманом уже сверкала всем многоцветьем отмытых красок. Поля и склоны дышали перевозданной свежестью. Пестрые бабочки садились на полевые цветы. Да ведь на носу Первое мая!— вспомнил Сабир. Чуть не забыл за всеми заботами...

— Ладно,— сказал он.— Я и не думал ни на что обижаться. Но что будем дальше делать? Который день работа стоит, персонал разбежался. Я в ваши внутренние дела вмешиваться не вправе, так что и слова не мог сказать. Может, мое пребывание здесь сейчас просто излишне?..

Гуломали резко встал.

— Ты что! Ты что-о?!.. Работа только начинается! О людях не беспокойся, найдем людей... На завтра со-

зывается джирга в кишлаке Пайки. Помнишь?.. Где проживает мой дядя Шокалон.

Помнит ли он!.. Сердце в нем трепыхнулось, как птичка в ладони.

— Помню,— сказал.— Большая джирга?..

— Да, в ней примут участие представители и племен, и кишлаков.

— И это что — по поводу воды?

— Да. Главным образом... Видишь ли, Сабир... Раньше я работал здесь просто как специалист. Теперь я отвечаю за эту работу еще и перед своей партией. Наше дело стало делом государственным, понимаешь? Не в том смысле, как это раньше было, что правительство могло принять и оплатить проект... Нет! Это ведь теперь не только проблема орошения — это в то же время внедрение в жизнь того, что дала революция! Ты же сам говорил... Мы постоянно натыкались на необходимость социальных перемен, чтоб люди могли принять воду! Так теперь дорога для таких перемен открыта... И все это надо обсудить с народом.

— Слушай, Гуломали, но ведь если народ хашаром поддержит строительство, это в самом деле будет самый дешевый проект!

— Еще бы... Ну, в общем, проблем уйма.

— Ты говоришь, в кишлаке дяди Шокалона?— спросил Сабир осторожно, боясь выдать свои чувства.— Может... может, мне тоже туда с тобой поехать?

Гуломали засмеялся, хлопнул его по плечу:

— Ну конечно! Теперь мы всюду будем вместе!

Гуломали Коргар очень возмужал за эти последние дни. Только теперь, взглядевшись, Сабир заметил морщинки у глаз, седые волоски на висках. Но главное — он, должно быть, внутренне изменился, словно в нем заработала некая мощная пружина, создававшая огромную скрытую напряженность, выдаваемую лишь блеском глаз да особой, резкой четкостью движений. Сабир почувствовал нечто вроде доброй зависти к нему...

В тот же день они оставили лагерь на попечение завхоза и носильщика, а сами отправились в дорогу. Дорога была довольно широкая, кони шли рядом.

— Теперь,— сказал Гуломали,— я могу наконец открыто тебе во всем признаться... Ведь мы, «парчамисты», вышли из подполья!

— Поздравляю...— сказал Сабир.— Но... что такое «парчам»?

— Ну, слово «парчам» ты знаешь, оно значит — «знамя»... В студенческие годы мы в политическом кружке издавали газету под таким названием. В этой газете — заметь, впервые в нашей стране!— был напечатан портрет Ленина. Позднее нас стали преследовать как «гяуров, поклоняющихся Ленину». Что нам оставалось делать — пришлось уйти в подполье... А теперь наша партия...

Сабир смотрел на него и думал: странно, как это я не разглядел в нем эту сторону? Это явное отсутствие личной жизни — и притом редкие, но таинственные отлучки... Сдержанность в политических высказываниях, которую можно было бы принять за аполитичность, если б не иные, вдруг прорывавшиеся вспышки возмущения... Нет, можно было о чем-то догадаться. Просто, думал Сабир, я плохо разбираюсь в людях. Но сейчас — сейчас он заряжает меня новой энергией!..

Старый фаэтон, запряженный парой лошадей, прибыл в Пайки, когда уже опустилась вечерняя прохлада. Люди, собравшиеся на площади у мечети, встретили его было подозрительными взглядами, но, разглядев среди выходящих высокую фигуру Садыка Сардора, оживились и расступались с радостными приветствиями, освобождая дорогу.

О джирге знали в кишлаке, конечно, все до единого — и все старались как можно скорее управиться с домашними делами. В доме на краю площади старик со старухой пропускали прошлогодний хлопок через чигирик — старик поднял последний мешок очищенных семян, понес с маслобойню. В маслобойне стоял невыносимый запах. Хозяин держал в руках бутылку хлопкового масла. Отлив старику часть масла в обмен на принесенные семена, он заторопился на сборище. Там, около сложенного уже костра, стоял старик дервиш, хозяин маслобойни отдал ему бутылку с маслом. На крыше оташхоны призывно зарокотали сурнаи джирги. Кони, стоявшие на привязи у противоположного края площади, испуганно всхрапнули. Костер вспыхнул, старик дервиш брызгал на него хлопковым маслом, чтоб горел ярче, освещая пространство вокруг. Люди устремились к оташхоне. Там собрались и кишлачные аксакалы,

и знатные землевладельцы, и вожди племен. Никогда не дружившие друг с другом, гордившиеся лишь своей властью над людьми, они только для вида величественно приветствовали друг друга. И хотя в глазах сквозила тревога или озабоченность — последние события многих ошаршили, все сохраняли внешнюю невозмутимость, из-под приспущенных век оглядывая прибывших на фаэтоне. Никто не высказывался: все ждали, не начнет ли кто другой...

Когда в оташхону вошел вождь племени шикашим, все встали. Этот с виду невзрачный, худощавый, нервный человек, родом с Воханского перевала, был широко известен своей воинственностью, жестокостью, приверженностью племенным традициям. Весь в черном, с неизменным кинжалом за поясом и в столь же неизменном сопровождении пяти телохранителей, он, разговаривая с кем-то, имел привычку отводить глаза, чтоб лишний раз не разгневаться. Сейчас он вошел в оташхону вместе с козлобородым маулави. Едва он переступил порог, Шокалон тут же принес дастархан.

— Специально приготовил виноградное вино, уважаемый Якубхан! — сказал он, зажег свечу от лучины и отступил назад. Но вождь и не глянул на дастархан и вино. Остальные гости последовали его примеру, только толстый краснощекий заминдар Махбубшах, сидевший рядом с Садыком Сардором, налил себе изрядно вина, выпил и, безмятежно улыбаясь, вытер губы большим платком.

Звуки сурнаев снаружи стихли, стало слышно, как трещит костер. Когда собравшиеся в оташхоне вышли на площадь, гудевшая толпа почти мгновенно замолчала — замерли даже ребятишки, игравшие неподалеку.

С ковра, на котором уселись почетные гости, поднялся Гуломали. На него воззрились в крайнем удивлении: как осмелился встать этот молодой парень, если здесь сидит столько аксакалов? Или такие теперь порядки при новой власти?.. Гуломали здесь не очень знали — он хоть и был местным уроженцем, но большую часть жизни провел в Кабуле. Во взглядах, обращенных на него, читалось только гневное недоумение. Гуломали это, однако, не смутило.

— Новое правительство меня не уполномочивало, — сказал он, обращаясь к джирге, — но, как известно, наша апрельская революция одержала победу под руководством партии, в которой я состою. И от имени этой

партии я к вам сейчас и обращаюсь: джирга должна выступить в поддержку центрального народного правительства!

По толпе прокатился гул голосов, а люди, сидевшие на ковре, переглянулись. Они знали, конечно, о чем сегодня пойдет речь... Но чтобы оратор обратился не к ним, а к толпе босоногих, ничего не решающих бедняков?..

— Внимание! Внимание!— крикнул Гуломали, стараясь перекрыть еще не смолкший гул.— Давайте обсудим!.. Задавайте вопросы, я отвечу. И как вы решите — так и будет!

Но площадь, напротив, смолкла. Гуломали словно повис в этом безвоздушном молчании, и, глядя на него, Сабир почувствовал себя вдвойне лишним.

— Племянник,— сказал дядя Шокалон, не вставая со своего места на ковре,— ведь мы еще не знаем, что даст нам новое правительство... Когда оно нам в чем-нибудь поможет, вот тогда и поддержим!

Что он, из родственных чувств решил помочь племяннику, протянул ему ниточку, чтоб тот больше не висел меж небом и землей? — думал Сабир. Э нет, конечно нет, вон как он, договорив, искоса глянул на Якубхана, словно ожидая одобрения... Якубхан, однако, сидел как обычно, глядя в сторону, с невозмутимым видом идола. Поддержал Шокалона какой-то человек из толпы, с интеллигентным, изрезанным морщинами лицом, окруженный кучей ребятишек:

— Правильно, ты скажи, парень, что собирается нам дать новое правительство?

Гуломали разом ожил, как оживает остановленный кадр, когда вновь запускают пленку:

— У правительства планы очень большие! Дехканам и животноводам, которые здесь присутствуют, я прежде всего должен сообщить: правительство всем им даст землю! Это первая задача нашей партии. Вторая задача — дать не просто землю, но землю орошаемую: значит, дать еще и воду! Это не мечта, это живое и близкое дело. Вот тут, на нашей джирге, сидит советский ученый, известный мираб Сабир Тохтабаев. Он хочет повернуть к северным нашим землям часть воды из Аму. Он знает, как это можно сравнительно легко сделать. Но у правительства еще мало средств, поэтому тут нужна ваша поддержка и помощь. Если мы устроим всеобщий хашар, как это в обычае у нашего народа...

тогда приход воды обойдется вдвое дешевле! Вот я и говорю вам: поддержите новое правительство — и вы поддержите самих себя. Недаром наша новая власть именуется народной...

Однако ответом вновь было долгое молчание. После мучительной паузы в толпе поднялся, опираясь на посох, тощий старик. Его огромная чалма казалась непосильной тяжестью для худого, и без того согбенного тела. Он осторожно сплюнул насвай, прочистил горло и обратился к Гуломали:

— Сынок, но ты скажи — откуда вы возьмете для нас землю?..

Теперь наконец по толпе прокатился гул — точно ветер прошумел — и смолк в ожидании ответа.

— Но это же ясно, бобо,— сказал Гуломали,— не с неба, конечно, возьмем, на нашей земле отыщем... Разве вы не знаете, у нас немало заминдаров, которые имеют, в полном смысле слова, лишнюю землю, некоторые даже не обрабатывают свои излишки? Ведь знаете?.. Вот, по фирману правительства, некоторые крупные владельцы земли должны будут поделиться своими землями с дехканами. Разве это не справедливо, а? И разве законы ислама толкуют не о том же?.. А все эти излишки земли мы между дехканами поделим поровну! Такие планы у правительства, так говорит сама революция!

Внизу снова прокатилась волна оживления, но на сей раз в ней был явный тон беспокойства или тревоги. Это почувствовали, конечно, и сидевшие на ковре, но лица у них были пока что каменно-безучастные.

— Сынок,— снова поднялся давешний старик,— вы уж меня извините, а... а вы сами возьмете эту землю?

— Но, уважаемый бобо, я не дехканин, я инженер!

— Ага!— сказал старик, точно и ожидал такого ответа.— Значит, сами не возьмете, а нас подзуживаете: хватайте, мол, чужое... А потом будете стоять в стороне да смотреть, как мы режем друг друга?.. Э нет, будьте спокойны, сынок, не такие уж мы глупцы...

И старик, прихрамывая, стал выбираться из толпы.

Вскочил чернобородый молодой еще парень.

— Бобо правду говорит!— закричал он.— Нельзя зариться на чужое имущество! Грех это, грех!

Его тут же поддержали:

— Правильно! Не дозволено это!

— Вы уйдете, а мы останемся, братишка...



— Это не в обычаях нашего племени!

— Каждый лишь то имеет, что аллах предписал!

Гуломали, должно быть, все же не ожидал такой реакции — может, надеялся на спор в самой толпе... Он оглянулся, это у него, видно, невольно вышло, от растерянности, но те, на ковре, встретили его взгляд той же холодной безучастностью, стараясь не показать даже своего торжества — так, дескать, и должно быть, все в порядке вещей... Только старый Сардор глядел на внука с печальным одобрением, однако Гуломали этого не видел. Между тем некоторые из толпы стали покидать площадь вслед за стариком в огромной чалме, и тут вскочил тот самый человек с интеллигентным лицом, который задал первый вопрос. Потом выяснилось: это был сельский учитель, Нурмухаммед Пайки. Прижимая ребенка к груди, он закричал:

— Эй, подождите! Подождите! Нельзя отвечать такой черной неблагодарностью на доброе дело! Новое правительство хочет поступить по справедливости. Оно собирается переделить излишки земли чересчур богатых — разве это не по-честному? Разве это не в согласии с верой? Разве богатые не обязаны платить закят?.. Но ведь это то же самое! Вы не возьмете землю — я возьму! Когда это считалось грехом засеять поля?!..

— Ты возьмешь?.. А что, заминдар отдаст тебе свою землю?

— Зариться на чужое запрещено шариатом, мусульмане!

— Конечно, не дозволено, грех это великий!

— Какое там справедливое правительство — это шайка грабителей!

— Нам земля нужна, да здравствует революция!

— Эй, остерегись, нас и так распри губят!

— Кровь же прольется...

— Грех, грех! Пусть скажет маулави Саид-миан!

Казалось, этот распоясавшийся гвалт ничто не остановит. Но стоило подняться с места Садыку Сардору, как площадь умолкла мгновенно. Он поднял руку, и под таинственное потрескивание костра зазвучали стихи:

Муж в этот мир придет и разобьет оковы,  
Развалины зинданов мне видны.  
Засветятся сердца в сиянье дня такого,  
Как звезды с поднебесной вышины!

Последняя строка, казалось, еще долго висела в воздухе, в наступившей глубочайшей тишине, пока кто-то в толпе не выдохнул:

— Икбал...

— Икбал! Икбал! — подхватили другие голоса. — Слава Икбалу!

— Вы правы, — сказал Садык Сардор, — именно Икбалу принадлежат эти строки... И я хочу спросить вас, о человек, покидающий собрание... — Старик в чалме был уже на краю толпы, но обернулся. — Вас, кажется, зовут Низамеддин, не так ли?.. Я знал вашего отца, и он, и ваш досточтимый дед всю жизнь гнули спину на заминдара... Или я ошибаюсь? Увы...

В сем мире человек еще, как прежде, раб,  
И гнется перед злом, несовершенству рад...  
Какие у раба достоинства от века?  
Покорность небесам — да вечный страх утрат!

Видите, Икбал и о вас сказал... Вот вы говорите: «Земля чужая, брать ее грех». Так ведь?.. А ну-ка, досточтимый маулави, — сардор повернулся к сухонькому человечку с козлиной бородкой, сидевшему рядом с Якубханом, — а ну-ка, напрягите свою память и прочтите, прошу вас, суру Бакра из священного Корана!

Маулави вздрогнул, кинул взгляд на Якубхана, но тот сидел все с тем же каменным лицом, на котором прочесть ничего нельзя было. Тогда старик повернулся лицом к Қаабе и затянул тоненьким голоском:

— Сураи аль Бакра. Бисмилля-ху... Есулунака маза юнфикуна кул ал-аф-ва...

— Довольно, маулави, спасибо! — Старик уселся, Сардор повторил стих своим густым голосом и тут же перевел на простонародное дари: — «И они спросят у Тебя: что отдать людям? И Ты ответишь: лишнее». Вы поняли, мусульмане? Мавлона Икбал, толкуя эту суру в своем стихотворении, говорит:

Священный сей завет — вот правда наших дней:  
Все лишнее отдай тому, кто победней!

Вы видите: переделывая землю и давая ее вам, правительство действует в строгом соответствии с Кораном, а грех — великий грех! — в том, чтоб алчно держать в руках лишнее! Наши заминдары давно погрязли

в грехах, и правительство дает им возможность смыть их с себя!..

Толпа как-то разом облегченно вздохнула, в свете костра мелькали просветленные, успокоенные лица, но тишину нарушил голос Шокалона:

— У кого лишнее, у кого нет — это знает только аллах. Сардор, не берите на себя грех гордыни...

Тут Гуломали вступился — он сел на свое место, когда Сардор поднялся.

— И правительство тоже знает, поверьте, дядя! — сказал он, не вставая. — По земельной реформе на каждую душу выделяется по шесть джарибов земли. У вас в семье четверо — значит, вам положено двадцать четыре джариба. А у вас их четыреста!

Шокалон вскочил, лицо его исказилось:

— Кто это мерил мои земли? Они мне принадлежат испокон веков! Мне и моим предкам! Чьи земли я присвоил, скажи, чьи? Ну, скажи, если знаешь! И когда присвоил?.. Мы-то на чужое не заримся, это вы хотите взять недозволенное!..

Сардор все еще стоял, выпрямившись во весь свой рост.

— Нет, они ничего не возьмут, Шокалон, — сказал он. — Ничего они не возьмут, это правительство им даст, и даст по закону!..

— А мы не отдадим свою землю... Не отдадим — и все!

— Что ж, не отдадите сами — отберет правительство. И разделит по справедливости меж бедняками, что поливали их своим потом!

— Ах, потом... потом поливали!.. А вы хотите, чтоб кровь пролилась?..

Сардор помедлил мгновение — видно, для того, чтоб приглушить гнев. Потом сказал:

— Выходит, вы не афганец, Шокалон... Нет, не афганец, раз грозите кровью собственному народу! Я человек военный... и слишком хорошо знаю; наши бывшие порабитители... захватчики, которые лезли к нам отовсюду... только и ждут таких слов.

Шокалон прикусил язык: понял, что не следовало говорить такого на джирге, да еще кому — Сардору! Остальные на ковре молчали тоже, но вдруг среди общего молчания прозвучал густой, чуть хмельной бас:

— Нет, если правительству нужны наши земли — пусть берет, я согласен! — Это высказался краснощекий

толстяк Махбубшах.— У меня земли много, пусть берут! Пахотную землю можно отдать, а вот р-родную землю — н-нет, никогда-а... Сардор, мы вас уважаем! Уважаем вас, Сардор!..

Стояли уже все — и на площади, и на ковре. Только Якубхан и еще несколько человек около продолжали сидеть. Но тут и суровый вождь вскочил — должно быть, не мог снести, что этот спор заслонил его. Сабля зазвенела, ударясь обо что-то. Все, стоявшие рядом или перед ним, подались назад — все, за исключением Сардора, и они остались вдвоем, лицом к лицу: маленький, молчаливо-яростный Якубхан — и высокий, спокойный Сардор.

— Правительство,— сказал Якубхан низким голосом,— если уж вознамерилось свершить такое... должно было сначала поговорить не с теми, кто берет, а с теми, кто дает! Нищему, сколько ни давай, все будет мало...

— Здесь только такие глотку и дерут!— с торопливой злостью вставил Шокалон.

— Вы назвали нас нищими, Якубхан?— сказал Сардор.— Мне не послышалось?.. Но на джирге не принято оскорблять друг друга.

— Это не оскорбление, Сардор! Это простая истина!— Якубхан сделал шаг к высившемуся над ним старику и презрительно ткнул в него указательным пальцем: — Вот вы — вы... дожили до старости, а не имеете и тех шести джарибов земли, которые разрешает ваше новое правительство! Кто в этом виноват?..

Но Сардор снова сдержал себя:

— У меня нет земли, Якубхан, это правда... Зато у меня есть убеждения!

— Убеждения! С них-то и начинаются все смуты... когда у этих убежденных не получается обратиться в свою веру остальных! Но, если хотите знать, у меня тоже есть убеждения — моя вера во всемогущего аллаха! И она не мешает мне владеть землей, ибо я знаю: все, что у меня есть, дано мне аллахом!

— О великий аллах!— возгласил маулави из-за спины Якубхана. И забыл молитву.

Якубхан повернулся к толпе, словно показывая, что больше не желает говорить с Сардором, а обращается теперь только к ней.

— Убеждение,— сказал он,— это, конечно, святое дело. От него зависит и мирская, и загробная жизнь. Но

человек не имеет права все время шеголять этим — при всех случаях, как, например, прокладка арыка и кусок хлеба для бедняка. Зачем каждый раз, покупая насвая на одно афгани, потрясать сотенными бумажками?.. Убеждение нужно прятать поглубже, как кошелек! Ведь сказано: «Не поминай имени аллаха всуе...»

— Значит, кусок хлеба для бедняка — это ничто? — сказал Сардор. — Или прокладка арыка, от которого зависит, может, жизнь сотни человек? Ничто это для вас? Вот какова ваша вера! Так я вам скажу, что это за вера — вера в жестокость и бессердечие!

— Не заговаривайтесь, вы, дряхлый чтец назиданий!

— Не-ет, я не заговариваюсь. Вера — как кошелек... Правильно: кошелек — вот ваша вера! Такие, как вы, и ввергали наш народ в кровавые распри, отбрасывали его на сотни лет назад. А теперь, когда правительство...

— Правительство! — крикнул Якубхан тоном открытой издевки. — Я не признаю такого правительства!.. Это вы, вы подбрасываете кости этим разбойникам...

— Эй, человек, не проклинай своего народа — не то он проклянет тебя!

У Якубхана глаза налились кровью, он сжал рукой рукоять сабли и шагнул к Сардору. Толпа остолбенела, Сардор стоял прямо, не двигаясь. Когда Якубхан обнажил саблю, старик сделал шаг ему навстречу. Толпа выдохнула, как один человек. Бесстрашие старика и выдох толпы, должно быть, чуть отрезвили Якубхана, он опустил саблю и стоял, тяжело дыша, не сводя глаз с Сардора. Старик сделал еще шаг к нему — и положил руку на эфес сабли. Якубхан понял, наверное, что проиграл эту схватку — проиграл потому, что нельзя было при всей толпе поднимать руку на столь знаменитого человека. А теперь мериться силой было уже и поздно, и глупо. Выгодней было уступить. Он убрал руку с эфеса и позволил Сардору взять саблю. Старик, держа ее одной рукой за рукоять, взялся другой за острие и стал сгибать, как лук.

— Вот так, — сказал он, — я сломал некогда саблю головореза Бачасако и отдал ему в руки!

Сабля со звоном переломилась пополам, Сардор бросил обломки под ноги и вытер руки о халат.

Якубхан, с прикушенной до крови губой, повернулся, спрыгнул с помоста в толпу и тотчас исчез в ней. Несколько мгновений спустя послышался топот множества копыт, над краем площади поднялось облако пыли.

Толпа быстро поредела — нашлось немало осторожных, которые не пожелали быть свидетелями столь опасного поединка. Но и любопытных тут было немало, и заинтересованных — тоже. И после того как почетные гости, что с ковра, разошлись, Гуломали еще долго, едва не до полуночи, вел разговоры с доброй сотней людей — на площади, у ночного костра; говорили, говорили — пока все-таки не утвердили текст заявления джирги...

Сколько ни упрашивали Шокалон и Махмубшах остаться, Сардор не согласился. Уже за полночь они втроем — Сардор, Гуломали и Сабир — отправились на фаэтоне в обратный путь.

Ночь была темная. В придорожных кустах и деревьях, выхватываемых из мглы светом их фонаря, испуганно просыпались и хлопали крыльями птицы, лошади всхрапывали то и дело, словно чуя не то засаду, не то погоню; и обоим молодым людям в проносащемся мраке чудились нескончаемые таинственные опасности.

— Этот Якубхан теперь ни перед чем не остановится, — сказал Гуломали, нахлестывая лошадей, и от его слов Сабирджану сделалось совсем жутко; из сопровождающего их облака пыли, казалось, вот-вот вырвутся настигающие преследователи.

А Садык Сардор сидел, прислонясь к задней стенке фаэтона, вытянул ноги — и, должно быть, спал; усталость его одолела или усыпила качка — хотя фаэтон бросало, как бешик под рукой сумасшедшей няньки... И оттого, что он уснул, обоим парням было еще больше не по себе. Они-то, грешным делом, думали: поговорят по дороге, он им разъяснит многое, и посоветует, и успокоит...

Лошади устали от скачки, люди — от долгой езды, мрак, казалось, все более сгущался, конца дороге пока что не предвиделось. Но старик вовсе не спал — в фаэтоне после долгого молчания вдруг прозвучал его бодрый голос:

— Ну, чего приуныли?

Голос этот показался им прямо-таки гласом небесным; даже лошади, услышав его, оживились.

— Знаю,— говорил между тем Сардор,— знаю, о чем задумались: в стране — беспорядки, у кого что на душе — неизвестно, а тут ночь, всякое может случиться...— Им стало разом и немножко стыдно, и смешно, и много спокойней оттого, что он угадал их мысли. А старик продолжал:— Но в этой тьме ночной я вижу свет: душу народную. В такие исторические моменты она угадывает правду и решает судьбу страны!..

— Дед,— сказал Гуломали,— если сейчас появятся парни Якубхана и нас порубят, не будет ни света, ни исторических моментов!

— И все-таки, сын мой, мудрость гласит: коли враг дрогнул, ты должен смело идти вперед! Не теряя ни секунды, не давая передышки, чтоб земля у него под ногами горела!.. Так учил нас генерал Махмуд Валихан, а он знал в этом толк, можешь мне поверить...

Слушать Сардора было приятно, успокоительно, но не стоило вдумываться в его слова — только раздражаться зря; все равно ведь не поймешь, думал Сабир, на что так упорно надеется этот старый Дон Кихот — видел ведь, как восприняли люди намерения нового правительства... А что ждет его, Сабира? От недавних мечтаний и планов его сейчас словно пропасть отделила...

И снова старик почуял, угадал его настроение — и, заговорив, попал в самую точку!

— Сынок, Сабирджан, а вы, я вижу, совсем нос повесили, почему? Думаете, мол, здесь теперь не до меня?... Ох, ошибаетесь! Да вы теперь будете тут самым дорогим человеком! Революция для нас прежде всего что означает? Реформу землевладения и водопользования! Так ведь? Теперь в министерствах вас будут принимать с распростертыми объятиями, проекты всяких провокаторов мешать вам не будут, и, не тратя сил на ненужную борьбу, спокойно займетесь делом...

Гуломали оглянулся на старика, в полутьме мелькнула его невеселая улыбка: верно, вспомнил позавчерашний Кабул, о котором рассказывал,— в городе нет света, дуканы и харчевни, магазины и мастерские закрыты, люди еще в страхе прячутся по домам, в любой махалле пустынно, как на кладбище...

И тут что-то гроыхнуло. Гроза, что ли? Да нет, непохоже... Грохот повторился — и не прекращался больше, превратившись в мерный топот копыт.

— Всадники!— воскликнул Сардор.

— Что будем делать?— спросил Гуломали.

— Ничего! И не гони зря лошадей, сынок, мы не во-ры, чтоб убежать. А потом — нас и так догонят, вон как скачут...

«Не трать сил на ненужную борьбу, спокойно...»— вспомнил Сабир только что сказанные им слова. Да... Спротивляться они не могут, оружия нет. Топот копыт настигал их, казалось, со скоростью смерча.

Рука Гуломали, державшая плеть, бессильно опустилась, лошади тут же перешли на шаг, и всадники почти сразу догнали их. Слышалось прерывистое дыхание нескольких коней; одна группа обходила их слева, другая — справа, внутрь фазтона ворвалась настигшая пыль, острый запах конского пота, седел, сбруи. Позади скакало еще несколько всадников, видно, хотели сперва окружить, а уж там останавливать...

— Эй, как вы там?!— раздался громкий голос справа. Черт возьми, удивительно знакомый голос... Все трое в фазтоне вскочили на ноги.— Да вы что, спите?!.. Ну и беспечность...

Это был голос Хайридина-бобо, а тот, что тут же раздался слева: «Уважаемый Сардор, ну и рискнули вы нынче!»— принадлежал не кому иному, как Махмубшаху — густой, медлительный бас... Теперь они уже разглядели и его фигуру, возвышавшуюся в седле, как гора.

Фазтон остановился, всадники тоже, трое путников вылезли на дорогу. Хайридин-бобо и Махмубшах были со своими нукерами. Они собрали людей и поехали вслед за Сардором и его спутниками, опасаясь за их жизнь.

— Только зря беспокоились, уважаемые!— говорил Сардор.— Ну, что могло случиться?.. Что ж мне теперь прикажете — по своей земле ходить в окружении телохранителей?..

Сабир чувствовал после пережитого страха некую расслабленность, а к старику Хайридину испытывал прямо-таки нежность: таким добрым, спасительным, милым был его голос, раздавшийся вместо окрика убийц!



— Как здоровье ваше, Хайридин-бобо?— спросил он старика по-узбекски. Хотелось сделать ему что-нибудь приятное.— Были, значит, на джирге?

— Да, родненький, были... Такие вот у нас, значит, дела. Сами видели все, своими глазами, а?.. Мы, пока догоняли вас, чуть не померли от беспокойства — а вдруг, думали, опоздаем!..

Тут как раз донесся голос Махмубшаха; он сидел на лошади и разговаривал с Сардором:

— Нет, не знаете вы Якубхана, Сардор, не знаете! Еще хорошо — он сдержал себя на виду у всех, но такое оскорбление не только Якубхану трудно перенести! Взбесился он теперь, взбесился! Люди слышали — решил собрать джигитов и податься в горы!..

— Э, худшим хищником, чем сейчас, он не станет,— сказал Гуломали.

Хайридин всполошился:

— Не говори так, родненький, не говори! В юные мои годы в Сурхане вот так басмачи и появились, страна разделилась на две части, кровь полилась как вода... Не приведи бог!

— Да страна давным-давно на два лагеря раскололась! Или вы считаете себя в одном стане с Якубханом?

— Э нет, это пусть дядя ваш водится с волками! Такие, как Шокалон, ради дохода и семью готовы надвое расколоть, пусть хоть перебьют друг друга...

При этих словах старика Сабир ощутил как бы острый укол в сердце. Семью расколоть... перебить друг друга... Но ведь это семья Зулейхо!..

Тут бас Махмубшаха прогремел снова:

— Сардор, вы уж теперь не ходите по племенам да родам, лучше посидеть дома!..

Сардор усмехнулся:

— У меня же нет излишков земли, Махмубшах. Это вы подали опасный для Якубхана пример, так что лучше сами хоронитесь за воротами, как примерная невестка!

Все рассмеялись, кроме Махмубшаха; он гневно взмахнул плетью и остановил смех:

— Сардор, не смейтесь! Вы меня знаете — я не из тех, кто хватает других за глотку из-за клочка земли... Но я афганец! И смело пойду против сабель и сотни таких, как Якубхан!

— Предателей!..— сказал Сардор.— Да, предателей! Он ведь готов отречься от родины из-за пахотного

надела. Таких приходится бояться, вы, конечно, правы... Родина — такая вещь, что кто потерял ее — тому терять уж нечего... — Он поднял глаза на Махмубшаха: — Между прочим, мой партийный внук пригласил меня на собрание в кишлаке Куйи Кала, вы со мной не поедете?

— Вы будете там речи произносить, а я что?

— Фигуру свою показывать! — сказал Сардор со смехом, и все снова расхохотались.

— Нет, — сказал Гуломали. — Фигуру показывать не надо, Махмубшах-ага! Я серьезно, серьезно... Повторите свои замечательные слова: «Мы готовы отдать пахотные земли, но родную землю — нет!» — и этого будет достаточно... Кроме шуток, такие слова и убивают якубханов!

— Ладно! — согласился Махмубшах. — Завтра, значит? Будем там, будем! В точности, как заревут карнаи, и мы там будем!

— Э, — вступил Хайридин-бобо. — Какое завтра? Сегодня уже! Уж полночь позади! Куда теперь ехать?.. Завернем к нам! И лошади должны отдохнуть...

Дом Хайридина-бобо и в самом деле был недалеко, оттуда удобно добираться до Куйи Кала, так что решили отпустить джигитов, а сами отправились к старику. Переехали мост через безводный канал, повернули к старому загону, вдоль стены которого шелестели тополя. Дом Хайридина-бобо был по соседству, его отделял от загона лишь глинобитный дувал. Во дворе было пять или шесть мазанок с плоскими крышами, свет фонаря над очагом скудно освещал ворота. Два засыхающих абрикосовых дерева у ворот, казалось, и сейчас, ночью, изнывали от жажды. Хайридин-бобо прежде всего послал свою захлопотавшую старуху к колодцу, а сам подмел осыпавшиеся безвременно листья, расстелил на супе циновку и кошму и пригласил сестр Сардора и Махмубшаха. Сабир и Гуломали задавали корм лошадям, поили их; потом не торопясь присоединились к старшим.

— Хайридин, — сказал Сардор, — не утруждайте Хатчу в столь неурочный час! Все равно еда пропадет зря, кто теперь есть станет! Достаточно будет по пиале козьего молока и кусочку лепешки...

Старик Хайридин согласился, и, выпив козьего молока, все улеглись спать — старшие в мехмонхоне, молодые на супе. Все, кажется, уснули мгновенно, только

Сабиру не спалось. Почему, бог весть... Ему мешал и шелест тополей, и стрекот кузнечиков. Кто-то обошел супу со стороны дувала, чья-то тень остановилась против него, сделала несколько шагов и застыла. Сабир настороженно ждал, не двигаясь. Тень шепнула голосом Хайриддина-бобо:

— Сабирджан?..

— Бобо? Вы?

— Я, я, родненький. Не разбудил вас?

— Нет, я не спал... А вы что бродите?

— Извините меня... Хотел поговорить с вами, а то утром вы ведь сразу уедете...

— Пожалуйста, бобо, я вас слушаю...

— Это не простой разговор... Вы меня извините...

Я насчет своей внучки...

— Зулейхо?!— Сабир резко поднялся и сел.— Что с ней случилось?

— Ничего, слава аллаху... Пока — ничего... Но как мне за ней присматривать, я ведь уж совсем стар, сын-нок. Как-то у бедной девочки сложится жизнь?

— А почему... почему вы должны присматривать? Она ведь живет в родной семье...

— Э-э... Они не хотят ничего знать. У них нет сердца. Велят что-нибудь, поручают, и все, а до души девчонки им дела нет. А сейчас и вовсе... Шокалон-то сегодня уж и места себе не находит, говорит — если новые власти отберут землю, так за оружие возьмется. Может, и к людям Якубхана примкнет. А что тогда будет с домом? С Зулейхо? Родненький, поймите, она ведь одна — продолжательница рода нашего, на нее были все наши надежды...— Старик всхлипнул, помолчал, справляясь с собой.— Видите, вот так мы со старухой горючими слезами обливаемся: неужели от нас и следа не останется в этом мире?

— Но почему не останется следа?— спросил Сабир в тревожном недоумении.— Почему? В чем дело?

Старик снова заплакал вместо ответа. Потом сказал, глотая слезы:

— Только мы со старухой знаем, от отца скрывает... от всех... Страдает она, свет очей моих... Мучается, грустит...

— Но отчего?..

— Бедняжка все смотрит на дорогу... Вас ждет.

Сабира обдало мгновенным жаром, как тогда, в мехмонхоне, когда он ее впервые увидел.

— Пос... постойте, бобо...— Он натянул сапоги, взял старика за рукав и повел за ворота. Отойдя немного, они присели под старым тутовником.— Бобо... повторите еще раз... что вам сказала... Зулейхо...

— Ничего, родненький... ничего она нам не сказала! Но мы и так знаем. Она вас ждет не дождется... сохнет...

Сабир не мог больше сдерживаться, припал головой к плечу старика:

— Я знал, бобо... я чувствовал...

Старик наклонился к его лицу, вгляделся:

— Э... кажется, заботы мои только удвоятся! Чему ж ты радуешься, родненький? Разве пара вы друг другу?.. Это ж горе — не радость!

— Какое горе, бобо?.. Вы подумайте! Это ведь любовь! В мире есть любовь!! Такая красавица... Зулейхо... меня полюбила!

— Ох, все это красивые слова, родненький... рассуди — ты живешь там, на другом берегу Аму... Что ж будет с девушкой, она уже и сейчас, когда ты еще здесь, от тоски исходит?

— Да все будет хорошо, бобо! Ведь... ведь и в вашей стране нынче хорошие новости! Вот проведем мы в кишлаки воду... а там... Поверьте вы мне, Аму больше не будет таким жестким рубежом... нет... она станет рекой дружбы!

— Твоими бы устами да мед пить! Пусть все, что ты зарабатываешь, пойдет на свадьбу, сынок! Хватило бы только у нас сил на шокалонов да якубханов...

— Вам что-нибудь сказали, бобо? Грозили?

— Ну, Якубхан всем пригрозил, кто не по его поступит... А Шокалон все пытался нынче влезть ко мне в душу. Я думаю, он и злится, как змея, на которую наступили, знаешь ли... И сам же от страха дрожит. Сказал мне шепотом: дескать, люди, что поддерживают новую власть, будут сожжены со всем добром, прах их, мол, по небу развеют... А хоть бы и так, что мне с того? Уйти я, родненький, никуда не могу, однажды уже пришлось отречься от родины да испить на чужбине чашу скитаний. Этого мне на всю жизнь хватит!.. Нашел я здесь себе пристанище, здесь моя дочь родилась. И земля здешняя, и народ мне родными стали. Что ж, на старости лет и от второй родины отречься?— Голос его зазвенел слезами.— Да никуда я не уйду, здесь помереть хочу!— Он стукнул кулаком по земле и за-

плакал. Сабир представил себе, что так же старик разговаривал и с Шокалоном, а тот его урезонивал, и глаза хитрого стариковского зятя горели злостью. — Старик меж тем затих, только изредка всхлипывал. — Вот, поделился с тобой своей болью, родненький... Ну, скажи, что я буду делать, если зять заберет с собой свет моих очей, внученьку, Зулейхо-о?..

Если говорить начистоту, так в юности я просто дураком был. Рассудите сами, не будь я такой наивный, пошел бы в примакки к Хаджикулу-пансаду? Да еще седьмым зятем! Шестерых дочек пансад с легкой душой повывадал замуж из дому, а седьмую, младшенькую, она его любимица была, не захотел от себя отпускать. Тут я и подвернулся, бедолага! Ему, ага, не зять нужен был — батрак. А у меня — ни отца, ни брата, чтоб уму-разуму научили. Где мне было разгадать пансада, эту старую лису — он ведь такой ласковый был, да все ко мне — «сынок, сынок», я и попался на удочку.

Это я теперь так говорю. А в ту пору — куда там! Удалая молодость! Да и нелегко было тогда жениться — сколько лихих джигитов по бедности так бобылями и прожили!.. А тут мне — бесплатная свадьба, бесплатная жена, никакого тебе калыма... Любой гордец, любой умник клюнул бы на такую наживку! И завидовали мне, многие завидовали: это ж надо, мол, какое счастье сироте привалило...

А Хатча, я вам скажу, в девушках была — что твой раскаленный уголек. Увиделись мы с ней впервые за свадебным пологом, а прикипели друг к другу на всю жизнь. Конечно, теперь она на куцую метлу похожа, старушка моя, а в то время — ну точь-в-точь наша Зулейхо, как две капли воды! Только что росточком была помене. Пансад, как рассердится, звал ее «пучеглазой». Ничего себе пучеглазая!.. Да такие глаза, как у нее, только у детеныша лани и бывают.

Недолго я в слугах ходил. Через год, считай, моя ясноглазая родила славного такого малыша. В доме пансада это уж такой день был — из праздников праздник: дом-то испокон веку бабьим царством слыл, одни девчонки на свет являлись. Хаджикул надыхаться не мог на единственного наследника, да и мое положение на том упрочилось. Пансад меня иначе и не звал, как

«Бутам» («Верблюжонок мой»). Сам-то он за последнее время сдал, а я тем паче ходил грудь колесом, уж и позабыл вроде, что и сирота я, и примак в этом доме... Стал даже покрикивать иной раз — на пастухов, на челядь, а они величали меня «молодым хозяином».

Тесть мой белый яхтак носил, белые штаны, вообще любил ходить во всем белом. Он такой невысокий был, вроде меня, глазки маленькие, хитрые, зато борода окладистая. Прозвище «пансад» ему в наследство досталось от отца, а так-то он был просто бай, да и богатство его все, кажется, заключалось в шести или семи отарах овец, что круглый год паслись в шерабадских степях.

Прошло еще малость времени, и сделался пансад такой мрачный, что и малыш уже не мог его развеселить. Двадцать восьмой год шел, сами знаете, тугие времена для баев. Потерял он покой, молчалив стал, как подушка, по ночам все исчезал куда-то, вернется, бывало, серей стены, глаза ввалились, и вместо намаза — за счеты!..

Губит богатство человека, губит!.. Сам видел. Одряхлел Хаджикул прежде времени, сгорбился. Жалко мне его было, я уж старался, что он скажет, без промедления выполнять. Однажды в полночь он ко мне в спальню заходит: «Мы должны уйти, сынок!» А я, не раздумывая: «Как прикажете...»

А дочка его, жена моя, из-под одеяла:

— Куда уйти, отец?..

А он:

— В Ауганию...

В Афганистан, значит. Он тогда для нас такой неведомой страной был, словно из сказки, только по слухам про эту «Ауганию» и знали. И тесть тоже, наверно. Глянул я на него тогда: худой как щепка, лицо изможденное, только борода как была. Ах ты бедняга, думаю, видно, здорово тебя припекло, как же мне тебя не пожалеть, ведь как отец мне родной...

А жена моя — они, бабы, то ли умней нас бывают, то ли чутье у них какое — откинула одеяло, забыв стыд, и кричит отцу:

— Что это за место? Зачем нам туда ехать?!— И в слезы.

А отец на нее как цыкнет!

— Цыц!— кричит.— Не твоего ума дело!!— Хлопнул дверью и вышел.

Наутро в доме поднялся плач — до неба. Женщины рыдают, как на похоронах. Ну, я-то мужчина, мне раскисать не положено, я — рядом с тестем, хожу, покрываю. И надо же, в замороченной моей башке и мыслишки не мелькнуло: что же ты, дурак, делаешь? Куда едешь? Что ты в тех краях потерял? Чего там не видел? Ну, он — бай, у него богатство, а ты что? Был голытьба, голытьбой и останешься, терять тебе нечего, кроме родной земли да праха предков! А и светило б тебе тестево наследство, так что? Легко достанется — легко и расстанется! Ветер принес — ветер унес!..

Так нет же, ничего этого мне тогда в голову не приходило. Словно заколдовал меня старик. Одно в мозгу — сделать все, как он велит, да побыстрее. Видно, беспощадность какая-то во мне тогда проявилась, бедная Хатча даже побаиваться меня стала. Прижмет младенца к груди да и следит за мной из-под век. А глаза-то у самой от слез красные.

Кое-как приготовились мы к отъезду, за неделю увязали в узлы, что с собой брать, поуничтожали, что нельзя в дорогу. Знаете, как в народе говорят: если думаешь, что беден, — так рискни, перекочуй! И сколько всего затерялось в той суете — только потом, долго еще, вспоминалось понемножку. Прощай, край родной, прощай, привычная жизнь! И дом, что близким мне стал, холодный стоит, мрачный, опустелый, словно только-только мертвеца вынесли...

Пансад кого-то нанял, кого-то подкупил, да и решил отправиться вперед, взяв с собой двух жен и драгоценности; ну и несколько слуг с ним. А был у него пастух по имени Гулмат-игрок, так я с тем Гулматом должен был гнать овец. Место встречи обговорили, о сроке условились, и пансад уехал. Я, по правде говоря, обрадовался: Гулмату, думаю, довериться можно, человек крепкий, надежный; было же у него, как-никак — в схватку с двумя волками вступил! И жив остался, верх одержал... Выглядел он не ахти, но самые гордые байские сынки, игроки самые заядлые, при нем хвост поджимали. Игрок он, говорили, не слишком честный, но отчаянный. В самой крайней беде не теряется — вот и выходит сухим из воды. Гулмат и указал пансаду укромное местечко на Аму, где на пароме можно переправиться на тот берег. Говорили, он так уже переправил одного каршинского бая.

А на меня все домашние хлопоты свалились. И за укладкой следить, и за тем, чтоб женщины лишнего не болтали, и чтоб вопили не слишком, и чтоб еды в дорогу вдосталь запастись... Всѐ! Я и сам переменялся. Еще в ночь побега пансада отколошматил бедняжку Хатчу — за то, что ревела, прижимая к себе орущего ребенка. До того я в жизни руку на женщину не подымал. Что-то со мной произошло, я словно что бесценное потерял, а что, понять не мог. Злой я стал, безжалостный, сон у меня пропал; все мне хотелось отомстить кому-то, но кому, за какие дела?..

А тут еще Гулмат, как приехал хозяина проводить, все дразнил меня: «бай-ота», «бай-ота!» Вот ему бы в морду дать, да я побоялся...

Когда вышли мы в путь, гоня овец,— стало мне еще хуже. Гулмату-то все нипочем. Холостой, любил да умел пожить себе в удовольствие. А у меня ребенок, жена... Гулмат на деньги, взятые у моего же тестя, нанял двух подпасков да щербатого пастуха, а сам зажил себе без забот, все прочее свалив на меня. Хоть и звал меня по-прежнему «бай-ота», с эдакой улыбочкой! На деле-то, конечно, он всем командовал — даже моей женой: то — огонь разожги под казаном, то — похлебку свари... А бедная Хатча и так весь день верхом, ночью овец доит, сыр готовит, за ребенком глядит!.. Слава аллаху, хоть малыш-то нас в пути не подвел — веселый, бодрый, меня увидит — носик морщит, улыбается, а глаза у самого — ну как чарас! Я Хатчу как мог старался беречь, стыд во мне сидел за ту трепку, что задал ей дома, и она это чувствовала, простила. Посмотрим друг другу в глаза — и легче станет: словно прочитаем там надежды наши — пройдут эти лишения, забудется; где ни есть, а отыщем себе кров; лишь бы сыночка нашего довести здоровым да самим уцелеть...

А Гулмат сварит бузу, выпьет, потом разляжется в тени саксаула — и давай прихорашиваться, усы подстригать! Кому он в этой пустыне понравиться хотел?.. Правда, когда добрались до берега, исчез и пропал всю ночь. Утром появился, усталый как собака, а на вторую ночь мы снова овец погнажи. К утру остановились, уперлись в стену камыша. И Гулмат опять куда-то пропал. Но, видать, по делу на этот раз: нашел нанятых прежде людей, все вроде устроил... и сызнава сел бузу пить! Он, правда, сколько ни пил, допьяна по-настоящему не напивался. Так и тут: встал и давай подпасков



наставлять. Аму здесь неглубоко текла, плоский берег прямо переходил в камышовые заросли. С берега казалось — зарослям этим шумящим края нет, но когда стемнело, мы погнали овец потайными тропами и скоро вышли к броду. Перед нами река текла под луной, мерцала потихоньку, поплескивала, видно было — мелко тут и спокойно. До черневшего камыша на том берегу — рукой подать! Я удивился: сколько было разговоров, а переправа такая легкая!

Злился я в последнее время на Гулмата, а тут увидел — знает он дело, все умеет предусмотреть. Сразу, как начали переправу, он при свете луны разделил стадо на две части, одну подпаскам оставил, а другую шербатому пастуху, и все это — движения не останавливая! Велел шербатому выпить для смелости — тот пошел впереди стада с белым козлом-вожаком и своим «куррей, куррей» двинул караван вперед. Мы с женой шли сзади, вели лошадь на поводу, а на ней бешик с ребенком навьючен, чайник, котел, прочий скарб...

Овцы ночью не блеют, по запаху идут — прижимаются друг к другу, только гнусавое их сопение и слышно. И то не очень — камыш шумит, скрадывает остальные звуки-то, да и вода поплескивает. Вода хоть и холодная, да мы-то уж больно разогрелись, только приятно было. Дно каменистое, с песчаными мелями, стадо то идет, то плывет — движется к тому берегу, как облако. Переправа была чуть меньше версты, ближе к полуночи мы уж на твердую землю ступили и вздохнули облегченно. Но что-то во мне свербило, тревожило — видно, не верилось, чтобы все так легко могло сойти, иначе зачем столько приготовлений? Я сказал — на твердую землю выбрались, только не слишком она была твердая, кругом камыш, под ногами чавкает, хлюпает, и не поймешь, то ли земля, то ли болото... Ну, ладно, попетляли мы по тропам, ноги у овец вязнут, а вытасшат — тут же след водой наполняется. Помучились изрядно, лица и руки расцарапаны, за ворот понабились эти липучие семена с камышовых метелок, мошкара, чарыки мокрые. Несу я сыночка своего, завернутого в чекмень, сзади Хатча лошадь в поводу ведет, задыхается, чуть не падает. А я себе говорю: «Терпи... терпи... терпи... Скоро полегчает...»

Только оказалось — это все были цветочки. Не зря у меня на душе свербило. Камыш редеть стал, полоска рассвета обозначилась, глянул я вперед — чуть не ах-

нул: не берег был впереди, а река — дикая, стремительная, мутная и уж такая страшная под тусклой луной! У меня — как молния в мозгу: значит, не перешли мы еще реку, это под нами островок, а главная глубина, главный страх — впереди еще, впереди! Это, знаете, хуже нет: когда уж думаешь — опасность миновала, расслабишься, и тут тебя — новый страх под дых!..

Гулмат подошел: что, говорит, жутковато? Ничего, мол, нам еще повезло, этот островок, где мы сейчас, чаще под водой бывает, а теперь мы половину реки прошли. Вторая половина хоть опасная, да узкая, тут нас плоты ждут...

И как он это сказал — чую, качается все под ногами! Островок-то не сушей был — сплетением корней камыша! И как раньше я этого качания не заметил — поверил, что под нами твердый берег... Что значит вера человеческая! Ну, думаю, завел-таки нас Гулмат-игрок! Пути назад нет, здесь — преисподняя под ногами, теперь лишь бы плоты прочные оказались... Ведь тут уж не протока тихая — настоящая Аму, тот самый коварный Джейхун, про который страшные сказки рассказывают. Ширины-то — всего двести шагов, да от этой пучины бегучей так холодной смертью и несет, так и веет!.. И ревет как, гудит — у-у-у! — только эхо на том берегу черном отдается...

Плот мы с Гулматом нашли шагах в пятидесяти ниже по течению — стоял спрятанный в камышах. Там на берегу люди живут — специально тополя растят; потом соединяют необтесанные стволы крепкими веревками и продают плоты. Нам-то приготовили целый паром — два старых плота да один новый. Канаты, что на берег протянуты, провисают, окунаются в серые гребни, деревянный настил прибит к бревнам, и так это все неуклюже на воде покачивается, что меня затошнило даже, голова закружилась. Но Гулмат сказал: не трусь, вишь, паром крепкий, перила по краям! И, чуешь — свежими опилками пахнет?.. Почему-то меня эти свежие опилки успокоили. А тут подошли двое полуголых, бородатых, с топорами. Гулмат с ними долго шептался, потом пастуху крикнул: «Начинай давай!», и щербатый наш пастух тоже крикнул свое «Хайт!», волкодав его давай кружить вокруг стада. Овцы-то уж разлеглись было, подмяв камыш, но тут зашевелились, поднялись, один из подпасков подтащил белого козла к входу на паром, протолкнул туда, ну и овцы за ним мутной рекой

потекли... Сперва-то деревянный стук под копытцами их пугал, потом набилось допдна, прижались друг к другу, затихли. Овец триста вместилось, так я думаю, да еще осталось небольшое место для нас с конем.

Паром осел слегка — груза-то! — тяжело так заколыхался на волнах; вокруг посветлело, а волны, наоборот, вроде как темней сделались, коричневые такие, тугие, страшные. Сейчас, думаю, распростимся мы вконец с родной стороной, с людьми, с кем жили вместе, и так мне горько стало и боязно, что даже и Гулмат этот, пройдоха недобрый, и полузнакомые пастух с подпасками показались близкими и милыми. Прости нас, прах наших предков...

А Хатча завывала:

— Похоронят нас на чужби-ине-е!.. — И это словно из моей груди вырвалось.

Паром снова заколыхался — видно, вода прибывает, поднимает волну. Мы еще не взошли на деревянную площадку, Хатча где-то позади ребенком занята, Гулмат, не теряя времени, наваливается со своими людьми на канат — и тут... И тут впереди у парома что-то треснуло, что-то тяжко в воду шлепнулось, и еще, и еще, и еще!.. Один из подпасков как завершит, пастух дурным голосом завопил, Гулмат метнулся на паром, я за ним... да где там! От напора ли такой кучи овец, или от чего еще — передние перила сломались, рухнули в воду, с ними и белый козел-вожак — а овцы за ним, в воду. И прыгают, и прыгают, и прыгают — спаси аллах, кажется, страшней этого я ничего не видел! И ведь что сделаешь — через такую плотную махину стада никакими силами не пробьешься, хоть до пролома вроде рукой подать. А и пробьешься — разве отару удержать в таком потоке, это она тебя в воду столкнет, и вся недолга. Пастух попробовал проскочить туда по спинам овец, да упал, стал барахтаться поверху, встать не мог. Мы тоже пробовали, лезли, орали, надрывались — все без толку. Река около парома вся черная от овечьих спин, овцы погружались одна за другой, отчаянно взблеивали перед концом, а в воду шлепались все новые, все новые... Господи боже мой, есть на свете создание глупей овцы?.. Площадка уж порядком освободилась; передних было, конечно, не удержать, но можно хоть несколько задних спасти — схватить за ноги, что ли... да у нас от ужаса, от отчаяния руки опустились. Гулмат рядом со мной только матерился без удержу,

безнадежно; сзади причитали подпаски; плакала в голос Хатча...

Через минуту остались от всей отары только желтоватые лужицы мочи на досках парома.

Я вам уж и не скажу, о чем думал в ту минуту. Сперва вроде бы о Хаджикуле-пансаде, как он у нас на глазах превратился из богача в нищего; потом, как-то мимоходом, кто тут виноват... А кто виноват? Продавцы плота? Овцы? Река?.. Потом, вспоминаю, подумал, что Гулмату еще расплачиваться с теми двумя. Как они разберутся? У тех топоры, и Гулмат с оружием...

И в этот самый миг раздался пронзительный, дикий, нечеловеческий вопль Хатчи; в нем и слов было не разобрать, но столько ужаса, что я, разом забыв про овец, повернулся и кинулся на берег. Остальные — тоже. На островке, хоть туман уже поднимался, было светло — по берегу, в бессмысленном каком-то отчаянии металась Хатча, ломая руки.

— Что? Что-о?!.. — крикнул я.

— Горе, горе! Горе-е-е!..

— Хатча!

— Бешик! <sup>1</sup> Беши-ик здесь стоял! Ребенок мой... ребено-о-ок!

У меня сердце оборвалось; а все же почему-то я запомнил красные ичиги Хатчи, доверху перемазанные глиной, и платок, почти сорвавшийся с растрепанных волос. Я оглянулся в ужасе — куда бежать? Что делать? Берег был пуст, река накатывала огромные, страшные волны и проносила мимо. Хатча глянула на меня белыми глазами, взвыла — и метнулась к реке. Я, оглушенный, даже не понял сперва, что это значит, но мимо меня налетел Гулмат, схватил ее за подол:

— К-куда? Стой, дурная женщина! — и отбросил рывком на берег.

Хатча упала в грязь навзничь, вскочила, как подброшенная, — и снова к реке. Тут уж я на ее пути оказался — и так огрел оплеухой, что она отлетела и растянулась на грязи:

— Где ребенок, ведьма-а-а?!..

Дурной, безудержный гнев меня ослепил — на эту проклятую реку, на судьбу, на воющую женщину, что дала исчезнуть моему сыну, дала слизнуть его с лица

---

<sup>1</sup> Бешик — колыбель.

земли как клок пены — я мог бы ее забить до полу-смерти, если б не спутники, что меня схватили.

— Где бешик стоял? — спросил Гулмат.

Она приподняла лицо, залепленное грязью, кровью залитое — и мотнула головой в сторону небольшой прогалины меж камышами: там еще висели выполосканные пеленки. Бешик, значит, стоял там, она пеленала ребенка, тут — на пароме случилось, и она, как все, кинулась к парому, на миг забыла о малыше, прибывшая вода накрыла еле выступающий участок островка — и ушла, смыла, унесла с собой бешик... Это было так ясно, так страшно, словно я своими глазами увидел! И другие, конечно, тоже. Все-таки кто-то вошел в воду, стал шарить руками вдоль берега, кто-то в камыши — искать... Зачем? Державшие отпустили меня, я мешком на землю осел... Потом посмотрел на жену — она лежала неподалеку, словно куча тряпья; на свою руку глянул, что ее ударила, кое-как встал на ноги, подошел к ней, еле выдавил из себя слово, горло не слушалось:

— Хатча...

Подняла она лицо — не лицо, а лепешку сохнувшей грязи с потеками крови. Только щелочки глаз приоткрыты да дырка рта... Подняла — и говорит слабым таким, бессмысленным голосом:

— Я пеленала ребенка в бешик... — И снова: — Я пеленала ребенка в бешик...

Я хотел наклониться к ней, а она вдруг как заголосит истошно:

— Я пелена-ала ребенка в беши-и-и-ик!..

Как ни тяжко мне было, а тут дрожь меня пробрала — неужели, думаю, умом тронулась? Неужто мне еще и жену потерять? Наклонился к ней, говорю:

— Хатча... Хат-ча-а... Слышишь, Хатча... Не виновата ты... никто не виноват... судьба это, Хатча...

Тут она вдруг приподнялась, села, привалилась ко мне, обхватила мои ноги руками — и как зарыдает, закричит, завоет... Так, что и Аму, проклятой этой Аму, мне не слышно стало.

Когда Хатча затихла немного — только всхлипывала, вскрикивала, хваталась за меня, но уже не оглядывалась больше на берег, на то место, где стоял бешик, — поднял я ее и потащил к парому. Остальные привели и привязали лошадь, перетащили на паром скарб. Мы сели, где было посуше, прижал я ее к себе лицом, чтоб

реки не видела,— и поплыли мы, неизвестно куда, неизвестно зачем, неизвестно с чем.

Я тоже к жене прижался, поглаживал ее, как ребенка, поглаживал — и вдруг так ясно увидел перед собой огромные, черные, как чарас, глазенки моего сыночка, так ясно, что и сам затрясся, заплакал в голос. Так мы с ней и сидели, как одно несчастное существо о двух спинах, сидели, качались в рыданиях, а когда я опомнился, глянул — паром уж прошел середину реки. Ну, да мне теперь все равно было, куда доедем, где окажемся, только б эта несчастная съезжившаяся женщина была со мной...

На берегу нас ожидали люди пансада. Что-то я им сказал, они глазели на нас во все глаза, переводили взгляды с одного на другого, потом повели куда-то пешком, кружили по закоулкам, а вечером погрузили весь скарб на верблюда, мы с женой сели на лошадь, в конце концов добрались до кишлака Куйи Кала. Ночь и день мы ехали, прибыли к вечеру, и я чувствую: чем ближе подъезжаем, тем жену все сильнее трясет. Понял я: и в ужасе она перед встречей с отцом, и тот ужас, что на реке, заново переживает. Приехали, сбросила она накидку с головы — господи, гляжу, да она вся седая! В девятнадцать лет...

Как там мы встретились, не хочу вспоминать. Страшные вести доконали пансада. Прямо-таки добились — не мог руки поднять ни на меня, ни на дочь. Стал я для него с того дня хуже чужого. Протянул старик после того недолго — в той стране благоденствия для мусульман, куда он так торопился. А за ним и его жены вскоре в лучший мир отошли.

Ну, а мы все-таки молоды были, кусок земли засеяли, добрые соседи нашлись, друзей обрели, никто нас не считал чужими, а потом и дочка родилась, солнышко наше, понемногу стиралось прежнее горе.

Чужим я тут не стал, а дураком остался. Надо же, Айпарчу, дочку мою, красавицу из красавиц, о которой вся округа гудела, поклонялась, от женихов отбою не было — и отдал Шокалону, этому злодею, шакалу, зверю бесчувственному! И воротилось ко мне мое невежество. Бог меня снова покарал. Впервые здесь почувствовал: безродный я! Ведь знал же, видел, как губит человека жадность, как богатство сушит... И снова на удочку попался, снова глупость подвела... Чую, чую, что и Зулейхо своей лишусь. Жила во мне искорка на-

дежды: через нее свяжет меня судьба с родной землей, протянется ниточка к могилам моих предков! Нет, рвутся корни, без следа уйду я из этого мира, без следа...

Сабир другу своих обид не высказывал: понимал, что творится и в стране, и в душе у него. Но ведь и то правда: дела в изыскательской группе Гуломали забросил совершенно. Будто, вопреки его собственным словам, они не имели никакого отношения к революции и ее реформам! Приятель Сабир сделался заядлым оратором, ездил на выступления в любую погоду, дни и ночи пропадал в поездках по собраниям и митингам, а то исчезал и на целые недели. Самое трудное время, все расчеты заброшены, нужно во всем разбираться, а его нет!.. Митинги митингами, но ты все-таки в первую очередь гидрогеолог, а? И можно ли, затратив столько трудов, бросить на полдороге такое дело?

Правда, после трехмесячных скитаний, окончательно, видно, выбившись из сил (недаром ходит, привязав к ногам какие-то целебные листья!), Гуломали вернулся на базу, принялся восстанавливать распавшуюся группу. Нашел помещение в родном кишлаке — домик на окраине из нескольких комнатенок. Тихое место, удобное для запутанных расчетов: в кишлаке почти безлюдно, иной раз за целый день голоса никто не подаст, собака не залает. Дехкане с семьями на выпасах, на лугах, в полях. Конечно, их будоражат слухи о событиях в столице, но полевые работы, подготовка к зиме для дехканина всегда на первом месте...

Специалисты базы так и поместились в домике на окраине, остальных, включая носильщиков, расселили по домам местных жителей. Сабир и Гуломали заново смастерили из ящиков стол, сиденья, шкаф, пришлось чинить и порванные пологи: жара еще не спала, мухи и комары по-прежнему не дают покоя. По временам откуда-то доносится запах хлеба; неподалеку в грязном пруду часами безмолвно стоят огромные яки, на полумесяцах их громадных рогов сидят галки; птицы зачастую питаются тут же, на косматых спинах меланхолических громадин.

— Тыфу ты, господи! — время от времени брезгливо сплевывает Гуломали. — Скоро ли мы покончим с этой средневековой идиллией?..

Но Сабиру здесь нравится. За прудом вдаль видны холмы. До основной трассы проектируемого ими канала можно дойти пешком, и они в иной день по несколько раз туда выбираются, выясняя на месте многие детали. А вечерами при свете керосинового фонаря или лампы корпят над проектом.

Все бы ничего, если б не холодность, возникающая в их отношениях. Гуломали, хоть долгое время к работе и не прикасался, в каждый свой приезд начинал суетиться: дескать, материалы же готовы, проект нужно скорей представлять на утверждение... Сабир возражал, и эти споры оставляли все нарастающий осадок взаимного раздражения.

— Слушай,— сказал сегодня Гуломали,— ведь ты же человек из советской страны! Должен же ты понять: сегодня это уже не просто проект, а фактор огромной революционной важности!

— Я-то понимаю,— сказал Сабир,— мне долгое время казалось, что ты этого не понимаешь... Так все забросил...

— Были дела!— сказал Гуломали сердито.— Ирония твоя ни к чему... Я о другом говорю...

— Почему о другом? О том же... и ты и я говорим о том же...

— Оставь казуистику! И пойми: скорейшее принятие такого проекта новым правительством означает на деле переход на сторону революции тысяч и тысяч дехкан!

— Я уважаю твой революционный дух и целиком на твоей стороне. Так что ты лучше сядь, а то шея покривится...— Потолки в комнатухах были очень низкие — стоя, невольно наклоняешь голову. Гуломали сел на ящик рядом с самодельным столом.— Я все понимаю, Гуломали, все... Но ты говоришь сейчас как митинговый оратор, как политик... как заинтересованный член своей партии... только не как гидрогеолог!

— Ах, вот оно что!.. Хорошо, я выскажусь и как гидрогеолог. Кратчайшая трасса выявлена? Выявлена. Аму дважды в год выходит из берегов, тогда избыточная вода и будет накапливаться в Сангкосе<sup>1</sup>. Выходит, для водохранилища мы будем брать только избыточную воду, ведь ты об этом все время печешься, не так ли?.. А переброска воды из Сангкосы в долину обойдется по-

---

<sup>1</sup> Сангкоса — буквально: «каменная чаша».



чти безо всяких затрат! Эксплуатация русел Чорданахра — это такое открытие, которым ты вправе гордиться!.. Мы уже выявили одиннадцать русел из четырнадцати — выявили и исследовали. Правильно я говорю?

— Все правильно...

— Ну вот! Готовится указ о земельной реформе. Если к нему приурочить утверждение проекта — знаешь, что это будет? Какое впечатление произведет?.. Мы дадим дехканам не сухую корку хлеба — хлеб с маслом!

— Постой, постой! Опять политика... Уж ты поверь, меня научили в политике разбираться и в лозунгах тоже, я в твоей агитации не нуждаюсь, сам кого угодно могу агитировать!.. Но подумай своей головой: поспешность в нашей работе опасна в первую очередь с политической точки зрения! Конечно, очень эффективно разом издать указ о земельной реформе — и принять наш проект! Красивый ход! Красивый, если последующие ходы правильно просчитаны... А если нет? Если в итоге, прости меня за образное сравнение, ты и сам потеряешь фигуру, и молодое правительство подведешь? А? Что это будет за политика?

— Я уверен, наши расчеты правильны!

— Ты уверен!.. А я вот не совсем уверен. Здесь нужна точность, а неточность грозит катастрофой. И сколько их было, таких катастроф... Вот ты бросаешься красивыми словами: Каменная чаша, открытие... Мы же — геологоразведчики! Разведчики... Если разведка сообщит неправильные данные, можно целую армию угробить! Хотя бы эта твоя Каменная чаша. Что это такое? Затвердевшие слои песка. Разве мы достаточно точно просчитали уровень возможной фильтрации? А в случае фильтрации — знаем ли мы точно, куда пойдет вода?.. То-то. А даже если тут все в порядке — чтоб действительно образовалась чаша, нужно взрывать слои песка. Так?..

— Так...

— А можешь ты определить направление взрывов? Я — не возьмусь, пока не проконсультируемся с «Союзвзрывпромом», есть у нас такая организация... Кстати, единственная в мире, занимающаяся этими уникальными взрывами... Решать такое дело, с ними не посоветовавшись, — в нашем положении чистая авантюра! Ну и сами русла Чорданахра... то, что ты именуешь так громко «открытием»... Конечно, если удастся их ис-

пользовать, проект будет самым дешевым в мире. Но прежде чем представить его на утверждение, я хочу узнать мнение о нем Сумбуль-ая. Я ей написал, но такие вопросы в письмах не решаются...

— Короче, тебе хочется поехать домой... — упавшим голосом сказал Гуломали, не сводя глаз с циновки на полу.

— Э, ничего ты не понял... совсем не в этом дело... — Тон у Сабира был неожиданно грустным.

Гуломали поднял на него глаза:

— Слушай, ты же видишь, какая ситуация... Сейчас день — на вес золота. Может, дни все и решают! На кого работает время — на нас или на наших врагов?.. А если ты сейчас уедешь — когда-то еще вернешься!..

— Я не могу сейчас представить материалы проекта.

— Ишь какой каменный! Домой торопишься... домой...

Втайне Сабир испытывал угрызения совести. Конечно, причиной его упорства было все то, что он высказал Гуломали; но домой ему хотелось... Хотелось — это Гуломали угадал. И всего-то два часа... два часа лету отделяют его от светлого двухэтажного домика с окнами на водохранилище; два часа — и он среди родных, в цветущем совхозном поселке... Водоохранилище! Сейчас самое время искупаться... Он вообразил себе прохладу прозрачной голубой воды. Уже полгода снится она ему по ночам. И еще снится, будто входит он домой через заднюю дверь, с полотенцем через плечо, а мать как раз возвратилась из своего детского сада, она в белом халате, наливает ему чаю, журит за то, что поздно встал, ставит в пример сестренку, которая уже ушла в школу... И Сабир целует мать, приговаривая: «Воспитательница моя дорогая...»

Все его детство прошло в детском саду, где мать работала воспитательницей; оттого он и до сих пор так называет ее в шутку. Услышать бы сейчас ее милое ворчание... И Сабир представил себе, как складывает в рюкзак свои вещи — старую фотокамеру, и полевой бинокль, и старую отцовскую флягу, и радиоприемник «Россия»... Коргар не прав, если думает — а ведь явно так думает, судя по интонациям! — что ему, Сабиру, хочется удрать отсюда, от их сложностей и трудностей... Нет же, нет! Но он действительно устал. От кочевой жизни, напряжения, неопределенности. Ему бы

подышать воздухом родного дома, окунуться на неделю-другую, как в голубую влагу водохранилища, в безоблачное существование долгожданного гостя, в атмосферу безгранично ласковой материнской заботы; сунуть голову под подушку, в конце концов, — и забыть, забыть обо всем на неделю... Забыть, отдохнуть — чтобы снова набраться сил и для громадной работы здесь, и для всех тревожений; разобраться в себе самом, наконец! В своих чувствах, в которых, кажется, он все-таки запутался...

Во дворе кто-то набирал воду из колодца. Должно быть, вернулись с гор топографы. Сейчас, сбросив пыльную одежду, они будут поливать друг друга водой из ведра. Так повторяется каждый вечер, это их единственная возможность и освежиться, и порезвиться... Но вддали прозвучал голос муэдзина, возвестивший начало вечерней молитвы, и все сразу стихли. Ну да, многие члены группы, молодые люди, прилежно совершают намаз...

Гуломали, сидевший на подоконничке, вдруг резко поднялся, пошел к двери, сказал с порога:

— Завтра поговорим!..

Тон был странный, непонятно, что за ним крылось: обида, раздражение, тревога, усталость...

По кирпичным стенам здесь змеились трещины, штукатурка облупилась, вместо двери висел старый палас, но потолок в этой комнатке был выше, поэтому Гуломали ее для себя и выбрал. Он зажег свечу, закрепленную на перевернутой глиняной кассе — и подвинул к себе книги, подаренные ему когда-то Сабиром: старые труды географов и путешественников, изучавших Аму. По правде говоря, у него редко находилась для них свободная минута, но если уж случалась, он, взяв их в руки, всегда чувствовал радость предстоящего общения. Сейчас, однако, было не так — мысли витали далеко. На майданах кишлаков, на улицах Кабула, Мазари-Шерифа... Все в его жизни, и прежде непростой, теперь многократно усложнилось. Дни, шедшие, казалось, шагом, теперь понеслись — то ли кони по крутым дорогам, то ли сель в горной долине. И все неразрывно сплелось в его сознании и быту — работа и политика, здешние коллеги и товарищи по партии... «Твоя вторая жизнь!» — говорит Сабирджан. Почему

вторая? Кто может сказать, что для него важнее? Напрасно Сабир старается в разговорах отделить их одну от другой... Но только бы успевать... все успевать! Выдержать этот ритм. Только бы поток с ног не сбил... Он почувствовал боль в колене, сбросил сапог, поправил целебную повязку, снова обулся. Ему вспомнилась раздувавшая голень Сабира. Да, теперь и сомневаться нечего: подбросили тогда каракурта!.. А ведь Сабир всего лишь «иностранный специалист»...

За спиной у него зашуршал старый палас в дверном проеме. Сабир, наверное,— тоже, значит, обо мне думал... Гуломали приподнялся, чтобы встать навстречу..

— Не двигаться!— резко выкрикнул незнакомый высокий голос.

— Ну, хватит дурака...— начал Гуломали, но голос снова крикнул:

— Не двигаться! Руки!..

Нет, это не шутка. Главное, голоса-то этого он никогда раньше не слышал... Гуломали поднял руки.

— Вот так...— сказал голос.

Гуломали встал с поднятыми руками.

— Я ж сказал: не двигаться!

— Ладно уж,— сказал Гуломали примирительным тоном,— не могу же я с поднятыми руками сидеть...

А голос молодой, думал он, кто бы это мог быть?

Человек за спиной, должно быть, задел палас, зашуршало, и Гуломали тотчас повернулся к нему, не опуская рук.

— Стой!— крикнули от двери, а взгляд Гуломали уперся в наставленный на него черный пустой зрачок пистолета. Да, это не шутка. Гуломали с трудом заставил себя отвести глаза от дула и взглянуть на того, кто держал пистолет. У двери стоял незнакомый смуглый парень в огромных грубых ботинках, военных брюках, простой черной рубашке. Волосы до плеч, чуть пробивающиеся усики. Глаза из-под густых бровей посверкивали угрожающе, но руки дрожали, значит, опыта мало, увы, такие-то неопытные еще скорее могут пальнуть, хоть с перепугу... «Ну и ну!— думал Гуломали.— Ночь вокруг, никого, дом на окраине... Неужто мне уготован такой глупый конец?»

И тут повезло. Скрипнула где-то дверь, шаги слышались, ночной гость на мгновение повернул голову на звук, но Гуломали этого мгновения хватило: в стремительном броске он успел выбить из рук парня писто-

лет, а остальное было просто; после недолгой схватки свалил парня, скрутил ему руки, прижал к полу посредине комнаты. Парень тяжело дышал, постанывал от боли.

Шаги между тем приблизились, зашуршал палас, вошел Сабир.

— Эй, в чем дело?— спросил он удивленно.— Кого это ты?..

— Вот, пожаловал молодой человек...— сказал Гуломали с натугой.— Побеседовали...

Но Сабир увидел пистолет на полу, быстро глянул на обоих — дышат как загнанные лошади, оба в поту — и все понял; поднял пистолет, осторожно положил на стол.

— Может, отпустишь его?— сказал он.— Теперь не уйдет...

Гуломали отпустил руки парня. Встал, уселся на стул, подвинул свечу так, чтоб освещала прищельца. Сабир стоял между парнем и дверью.

— Вставай... ты!— сказал Гуломали.

Парень неловко поднялся, разминая руки, сгорбил-ся, отворачивая лицо от света.

— Ну!— сказал Гуломали.— Может, объяснишь, что это все значит?

Парень молчал.

— Я тебя спрашиваю! Язык проглотил?.. Или дать тебе разок, чтоб назад его выплюнул?..

— Ну, дайте!— с вызовом сказал парень своим высоким, еще чуть ломким голосом.— Дайте!.. Что хотите делайте! Я вас не боюсь! Боялся — сюда бы не пришел...

— Это мы поняли, какой ты бесстрашный... Может, хоть скажешь, один ты явился или твои дружки где-то рядом притаились? Которые не такие смелые! Ну? Скажешь, нет?..

— Я один пришел,— сказал парень угрюмо.— Можете верить, можете не верить...— Помолчав, он добавил глухо:— Мне свидетели ни к чему...

— А! Ясно,— сказал Гуломали.— Выходит, ты террорист-одиночка... И что? На самом деле меня убить собирался? Или поугагать?.. И вообще — чем я тебе не угодил?

Парень снова замкнулся в молчании. Потом быстро повернул голову в сторону Сабира, взгляделся — и принял прежнюю позу.

— Ну? Будешь говорить?..— Гуломали терял терпение, в нем вдруг закипела яростная злость на этого чертова молокососа.— Так за что ты меня убить хотел?!

Парень поднял на него глаза.

— Не вас!— сказал он.

— Не меня?.. Вот так-так! Явился ко мне, целился в меня, а убить хотел не меня! Интересно... Не меня — а кого же?..

На скулах у парня заиграли желваки.

— Его!— сказал он и мотнул головой в сторону Сабира.

— Совсем хорошо! Слыхал?— спросил Гуломали Сабира.— Его, значит! Ну, а его-то за что?..

— За то...— сказал парень, сжав зубы. И вдруг выпалил отчаянно:— Пусть оставит в покое Зулейхо!..

Гуломали в первое мгновение опешил — такого поворота он меньше всего ожидал. Потом глянул на Сабира — тот, казалось, переменялся в лице, а может, и нет, темно в комнате... На языке у Гуломали повисло насмешливое восклицание, но он сдержался.

— Слушай!— сказал он парню.— Ты вообще кто такой? И при чем здесь Зулейхо?..

— При том!— сказал парень.

— А все-таки?.. Ты-то кто такой?— И пока он вторично задавал этот вопрос, в мозгу у него уже догадка мелькнула. Ну да... так, наверное, и есть...— Слушайка,— сказал он.— А ведь я тебя, кажется, знаю...

Парень вскинул на него затравленный взгляд.

— Знаю, знаю...— сказал Гуломали.— Ведь ты сын доктора Сухайля, не так ли?..

Парень молчал, на скулах опять желваки выступили.

— Тебя же старшие спрашивают... Будешь ты отвечать?!

Видно было: в парне происходит яростная внутренняя борьба.

— Это мой бывший отец!..— наконец выдавил он.

— Так я и думал...— сказал Гуломали.— Бывший, значит! Интересно, как это отец может быть «бывшим»...

— Так и может... Был, а теперь его для меня не существует!

— Это почему?

— Потому... потому что он трус... и позорно покинул родину!.. У меня не может быть такого отца!— Парень

выкрикивал все это. — У меня другой отец! Приемный, но настоящий! Бесстрашный офицер... Он меня воспитал!..

— И сюда послал! Да?

— Нет! Сюда он меня не посылал... Он даже не знает, что я здесь. Но куда бы ни послал — пойду! Потому что люблю его!.. Горжусь!..

Парень тяжело дышал. С полминуты длилось молчание.

— Послушай,— сказал Гуломали.— Только что дуло твоего пистолета глядело мне в лицо...

— Я не хотел вас убивать!

— Допустим. Допустим, ты хотел убить не меня, а вот его — моего самого близкого друга. Но, убей ты его, неужели б меня оставил в живых, а? Если б в твоей власти было! Ты же сам сказал — тебе не нужны свидетели?..

— Раз вам так хочется... пусть будет по-вашему!

— Хм... мне, положим, не очень этого хочется... но так выходит. Выходит, что не зря твой пистолет был в меня нацелен!.. А раз так, то я думаю — вправе я узнать, что у тебя на сердце?.. — Гуломали помолчал.— Я тебе вот что хочу сказать... Тебя обманули насчет твоего отца. Доктор Сухайль — никакой не предатель... Напротив, он замечательный ученый... и человек, достойный высокого уважения! Никуда он не уехал... он погиб. Его убили!..

Юноша сверкнул глазами:

— Сочинить можно все! А доказательства?.. Почему я должен вам верить?

— Доказательства... доказательства ты получишь. Мы нашли дневники твоего отца, они были при нем, убитом...

— Что?.. Вы нашли его убитого?

— Нет, убитого нашли не мы...

— А-а! Я так и думал...

— Молчи, мальчишка!.. Убитого нашли не мы — горцы, которые его и похоронили... А дневник передали нам.

— И где же он?

— Он передан в редакцию газеты, она его напечатает. И когда ты прочтешь, ты...

— Угу! Я уже читал одну такую газету. Потом несколько месяцев ходил в лицее, не смея поднять голову!.. В той газете говорилось, что он бросил жену, ре-

бенка, родину, от которой отрекся, и бежал... А что будет написано в этой? Почему этой я должен верить больше, чем той?.. Газета! Одни лгут одно, другие — другое... — Он передразнил интонацию Гуломали: — Знаменитый уче-еный... уважаемый челове-ек...

Гуломали захотелось его ударить, он едва сдержался.

— Слушай... тебя, кажется, зовут Аурангзев?.. Слушай, Ауранг... Я говорю с тобой от чистого сердца... Клянусь хлебом, тебя обманули!.. Не бери грех на душу, не порочь имя отца...

Глаза парня опять засверкали яростно:

— Это не я — это он опорочил мое имя!..

Друзья переглянулись: говорить с ним, кажется, бесполезно...

Сабир сказал, глядя в землю, чтоб не встретиться с парнем глазами:

— Ауранг... Ты пришел сюда убить незнакомого тебе, совершенно чужого человека... Скажи, сколько тебе лет?

Парень не ответил, только глянул на него безглаголиво. Гуломали вскипел:

— Слушай, ты, молокосос! Человек, которого ты пришел убить ни за что ни про что, вежливо с тобой заговаривает, а ты даже не отвечаешь?!.. Чему тебя учили, ты, мразь?.. Ты вообще знаешь, что такое убить человека?..

— Не беспокойтесь, знаю. И убивал не раз! И все они были врагами нашего великого Садра!..

Ярость Гуломали вдруг улетучилась, в нем воцарилось ледяное спокойствие.

— Ну что ж, — сказал он. — Тогда и мы твои враги. Тебя не зря сюда послали. Не зря! Бери свой пистолет, стреляй, убивай! Ну?..

— Никто меня не посылал!

— Посыла-али! Ты и сам, может, не заметил... Ну, глянь на меня, в глаза посмотри: я кто? Преступник? Предатель?

— Не знаю я! И не в вас пришел стрелять, говорю же! В него! Сам я пришел, сам! Пусть оставит Зулейхо...

— Ну и сосунок же ты...! А злой сосунок! Тот, что кормящую грудь до крови кусает... Или нет! Просто ты глуп. Как же я не сообразил! У пистолета ведь врагов не бывает, ему все равно! На кого повернут — в того



бабахнет. Так и ты — просто пистолет в чужих руках... Зулейхо!.. Да с девушкой тебя так же вокруг пальца обвели, как и с отцом! Может, скажешь еще — ты ее любишь? Если любишь — зачем человека убивать пришел? А если ты убийца — зачем тебе любовь?..

— Не оскорбляйте!— крикнул парень срывающим-ся голосом. Он вдруг сделал движение к пистолету, но Гуломали загредел:

— Стреляй, стреляй! Убивай! Выбрал себе профессию, сын ученого!.. Видел бы твой отец — второй раз бы умер...— Он задохнулся, перевел дыхание.— Знаешь ты, кто это?— закричал он, указывая на Сабира.— Да ты его мизинца, волоска не стоишь! Я за него с тысячьо таких, как ты, стал бы драться! Да он... он научил меня родную землю любить! А ты... ты ее позоришь! Называешь отцом подлого офицера, пославшего тебя убивать!..

— Не оскорбляйте!— снова закричал парень, срываясь на визг.

В груди Гуломали словно вулкан извергался — померещилось ему, видно, только что ледяное спокойствие. Дрожа от ярости, он вскочил и со свирепым видом пошел на парня.

— Бейте, убивайте!.. Терять нечего!— кричал парень рыдающим голосом.

— Во-он! Вон с глаз моих!..

Парень смотрел на него расширенными глазами, не понимая или не веря.

— Убирайся! Убирайся, чтоб я тебя не видел!..

Парень попятился к двери, щупая рукой пространство позади себя, пока не ухватился за край паласа.

— Во-о-он!— кричал Гуломали вне себя.

То ли глаза Гуломали застлало яростью, то ли еще что — не увидел он, как этот гадкий недоросль выскочил: только коснулся паласа в двери — и сразу исчез, будто привидение. Еще мгновение слышен был стихающий топот ног — и все.

Гуломали вернулся к столу задыхаясь. Черный пистолет так и лежал на столе, лоя вороненой гривой отблеск свечи.

— А-а, черт...— сказал Гуломали, опускаясь на стул.— Забыл я... надо было и пистолет вслед швырнуть...

Сабир, все еще стоявший на месте — только малость подвинулся, когда Гуломали гнал парня из комнаты, — покосился:

— И зря бы это сделал...

— Пусть увидит, что мы его не боимся!

— Нет, я не к тому... Не стоило его гнать... Ведь мальчишка еще! И сын доктора Сухайля! Может, смогли бы его убедить...

— Оставь ты! Что сын Сухайля — так потому и отпустил... А убедить — поздно его сейчас убеждать. И времени нам для этого не оставили! Из таких вот злобных недорослей, из гаденышей этих — и создают все проклятые организации — «Родина», «Борцы за веру», «Львята»... Не-ет, их словами не убедишь — ты неужто не понял?.. Отец у него, видишь ли, настоящий... Ах ты дрянь! Дрянь, дрянь, дрянь!!! — Он шумно выдохнул. — В руки таких «отцов»-офицеров весь его лицей попал... Недавно у них в учебном корпусе без следа исчезли четверо наших агитаторов... А ты — убедить...

— И все-таки...

— Что — все-таки?.. Будь у нас по крайней мере эта тетрадь... Знает же он, наверное, почерк отца... Но ведь, как назло, она уже сколько месяцев валяется в редакции! Эх, будь время, поехал бы я в Кабул, устроил бы им хорошенький скандал! Головотяпы... Или — враги. Кто их знает, кто там сейчас в редакции сидит...

— Тетрадь — это еще не все... Мы сами...

— Опять он за свое!.. Не зли меня, пожалуйста. Не зли! Сам чудом избежал только что дурацкой смерти — и сам же готов давать убийце уроки воспитания... Себя бы, черт возьми, перевоспитал лучше. И зачем ты, скажи, увлекся этой пучеглазой?..

Лицо Сабира мгновенно закаменело от обиды. Он не прощаясь вышел, а Гуломали до половины ночи ворочался, терзаясь, что обидел друга. Но если б не этот проклятый щенок-убийца...

На следующее утро они разошлись по разным участкам трассы и встретились только в обед — там же, на трассе. Молча кивнули друг другу, сняли изрезанные колючками сапоги, уселись на зеленой траве. Гуломали заговорил первым:

— Сабир... ты уж прости меня, а? — Сабир кивнул. — Но хочу тебя все же спросить: ты что... Манзуру свою... в самом деле... забыл?

Сыр и хлеб были уже разложены на скатерке, Сабир разливал по кружкам горячий кофе из термоса. Поставил кружку Гуломали, налил себе, отхлебнул.

— Забыл!.. — сказал он наконец. — Глупое слово какое-то. Что я, ребенок маленький, что ли? Любил, любил — и вдруг забыл! И она тоже не карандаш на чертеже — взял резинку и стер... Годы с ней связаны, боль, радость — что, я могу ее забыть? Не-ет... И еще недавно собирался я бороться за нее до конца — сам мне советовал!

— А теперь что?

— Теперь... Знал бы я — что теперь... Видишь ли, когда я сюда ехал... это ведь все в один узел завязано... Когда министерство водного хозяйства меня сюда направило... ну, словом, я тогда понимал — непросто мне бороться за свою любовь... с этим самым Самадом Деряевым! Он парень не очень красивый, но умный, способный... настойчивый парень. От своего в жизнь не отступится — или того, что считает своим. А Манзура... я чувствовал — Манзура меня любит, а чего-то все-таки не решила. Чего? Этого я и не знал. И думал: в Деряеве дело. Он все бил в свою точку, одно ему помешало: они с Манзурой в науке лбом о лоб столкнулись! Ну, я и решил — негоже мне этим воспользоваться. Пусть время само решит... И уехал. Ну, а здесь... тогда... ты знаешь... увидел Зулейхо... и все перевернулось.

— Что, стало уже не до Деряева?

— Смеешься... а я мучаюсь. Не могу разобраться, какой мой долг больше.

— Долг! Долг долгом, а чувства твои где?

— Еще недавно, помнится, ты мне внушал: главное — долг перед женщиной! Ладно, ты не спорь — скажи, что бы на моем месте делал?

— Ничего б я на твоём месте не делал — не могу я оказаться на твоём месте... Ты же счастливчик!

— Остришь!

— Почему острию... серьезно говорю. Любят тебя — это что, не счастье?

— И я люблю! А умом понимаю... умом... Зулейхо ведь, в сущности, недоступна для меня!

— Это почему?

— Не притворяйся, сам знаешь.

— Не знаю — но допустим. Так ведь если любишь, бороться надо!

— Опять бороться... и здесь бороться... Устал я везде бороться.

— Тогда гляди — ни с чем останешься. Потом не жалуйся!

— Что бы ни случилось, как бы ни вышло — Зулейхо всегда будет для меня светом... единственным светом!

— Если б человеку было этого достаточно... — сказал Гуломали, и в голосе его прозвучала горечь.

— Да, да... прости... И все же... Как-то, знаешь, в последнее время стал я понимать верующих.

— Неудивительно, ты же у нас и сам в небесах паришь!

— Опять ты остришь... А я без конца думаю: как быть, как поступить?.. Ночью не сплю — думаю. По ночам, ты же знаешь, все по-другому — и страх, и энтузиазм, все — без границ. Плюнуть, думаю, на всю дипломатию и остальное, увезти эту девушку, счастье ей построить... А утром проснешься — видишь: чистой же воды донкихотство...

— А она это знает? Понимает? Ребенок почти...

— Прекрасно она все понимает!

— Так тебе и сказала?

— Сказала! Глаза ее сказали.

— Ах, глаза-а... Столистник сказал: хоть и сто языков у меня — а говорить не умею...

— Плохо ты ее знаешь. Она умная, смелая... чистая...

— Ну, это она. Допустим, смелая, допустим, все понимает. Но решать-то — тебе!.. Ох, вспомни, недаром я говорил: за слишком красивой девушкой беда по пятам ходит.

— Тьфу! Плюнь через левое плечо!..

— А, боишься!

— Ведь сам знаешь — судьбу дразнить не стоит... А что решать мне — ты прав, конечно. Решу, Гулом. Клянусь — решу. Как надо решу. Только дай еще сроку немного...

Они замолчали, сидели, смотрели задумчиво вдаль — туда, где, они знали, за голубоватой дымкой течет, бушует в низинах Аму. Вечное движение — и вечная преграда, вечное единение — и вечная граница. Но, как говорит Хайридин-бобо, Аму такая река, что ежели человек приходит к ней с благими намерениями — улыбается ему счастье, а если с дурными — пусть пеняет на себя, все у него прахом пойдет...

Шли дни, и Гуломали становился все мрачнее и озабоченнее; Сабир не рисковал заговаривать об этом, хотя чувствовал, что заговорить надо и что он,

Сабир, в чем-то виноват перед другом; был ведь у них разговор, и не один, да он все о себе, о себе, а по сути-то и личная беда, и сегодняшняя жизнь Коргара куда тяжелей, чем у него. Да Гуломали сам же не хотел ни о чем говорить, оправдываясь перед собою, думал Сабир; ну, не хотел, возражал он себе мысленно, а ты пробовал его разговорить? Нет!.. То-то. Он-то тебе помогал облегчить бремя, вникал в твои сложности, а ты?... Только попрекал его тем, что он работу забросил. А каков бы ты был на его месте?.. Вот в том и заковыка, что не старался ставить себя на его место, смотрел на все со своего бугра. Что там у него творится, что назревает?.. Молчит ведь,— только в прошлый разговорча обмолвился об исчезновении четырех агитаторов в военном лицее. Наверное, были его товарищи по партии, а может, и близкие ему люди; а главное, такого уже немало, наверное, произошло, только он, Сабир, об этом не знает. И не слишком вникал до сих пор, занятый проектом да личными переживаниями.

Осенний, но еще жаркий день клонился к закату, когда Сабир, сидевший в своей комнатке за расчетами, услышал конский топот, оборвавшийся у соседнего домика. Кто это — к Гуломали кто-нибудь или сам Гуломали?.. Он убрал со стола материалы по техническому и экономическому обоснованию проекта, которые заново просматривал, и вышел из комнаты.

Потный, плохо обтертый конь переминался, привязанный к колодцу. Сабир шагнул в комнату Коргара. Гуломали, в пыльной с дороги одежде, лежал на складной кровати. Он привстал при виде вошедшего.

— Привет!— сказал Сабир.

— Привет! Заходи...

— Ты лежи! Голодный небось? И пить хочешь?..

— Есть малость... Я сейчас чай заварю!

— Лежи, лежи, я сам заварю!

И Сабир принялся возиться с чаем. Оба молчали. Вскипела вода на спиртовке, душистый аромат свежезаваренного чая потек по комнате.

— На, держи пиалу!

— А ты?

— И я... Ого, выпил уже! Давай налью... Есть будешь?

— Потом...— сказал Гуломали.

И они опять замолчали, втягивая губами горячую жидкость.

— Слушай,— сказал наконец Сабир нерешительно.— Неловко мне к тебе в душу лезть... А все-таки — что у тебя творится? Поделится бы — мы все же друзья... Я вот тебе про себя все выкладываю...

— Да,— сказал Гуломали.

— Что — да?

— Выкладываешь.

— Да что происходит?

Гуломали вместо ответа поставил пустую пиалу на пол и отвернулся — лег на раскладушке лицом к стене. С минуту висело в комнате тугое, нагнетавшееся, точно воздух в шину, молчание. Потом Гуломали вдруг дернулся, точно его что кольнуло, подскочил, повернулся лицом, сел в кровати.

— Ладно!— сказал.— В самом деле, чего в молчанку играть? Не хотел я тебя вмешивать... настроение портить... пугать тебя, по правде говоря, не хотел. Но теперь тебе все равно уезжать. Так у нас пошли дела... не думал я не гадал... За последнюю неделю потерял очень многих близких людей — кто погиб, кто исчез. В стране началась война... Да, да — настоящая война, где явная, где скрытая!.. Я мучился тем, что нахожусь далеко от места боя, — так теперь он сюда пришел, бой. Помнишь кишлак, где мы джиргу проводили? Пайки? Вчера Якубхан там устроил великую резню! Истребил половину жителей!

— Стой! Это ж кишлак твоего дяди!..

— Ну да! Не волнуйся, дядя не пострадал! И дом его тоже. Пострадали другие. Двести десять человек! Мужчины, женщины, дети, старики...

— За что-о?..

— Ты еще спрашиваешь за что? Ты же был на джирге!.. Это еще не все: многих, кто не успел спрятаться, он угнал с собой в горы... может быть, в Пакистан. И такое произошло не только в Пайки. Такое происходит в стране повсюду....— Глаза у Гуломали запали, лицо почернело — а в первый момент, когда вошел, Сабир принял это просто за следы дорожной усталости.

— Слушай... что ж будем делать?

— Что ты будешь делать, ясно,— сказал Гуломали, полез в брошенный на пол рюкзак, вытащил какой-то пакет, протянул. Взяв его в руки, Сабир сразу узнал фирменный конверт советского посольства.— Прислали тебе. Видишь, с пометкой «срочно»...

Сабир вскрыл конверт, пробежал глазами вложенный листок, прочел вслух. Сабиру Тохтабаеву предлагалось прибыть в посольство «в полной готовности», Посольство часто вызывало специалистов, но чтобы «в полной готовности»...

— Отправят тебя домой,— сказал Гуломали.

— Но как же... Гуломали...

— Очень просто. Уедешь — и все. Ты ведь сам собирался!

— А ты что?..

Гуломали упрямо наклонил голову, глядя на него, и промолчал.

Сабира охватило предчувствие беды — грозной, неотвратимой.

Они обнялись. Крепко, по-братски.

— До утра у тебя есть еще время,— сказал Гуломали,— поезжай, попрощайся с Зулейхо... И с дедом моим тоже, если хочешь!

— Неужели мы так и расстанемся?— сказал Сабир.— А как же наша работа?

— Работу... работу будем продолжать — я здесь, ты там...

— Ты здесь...

— Да. Что ж делать, так вышло. Авось еще доведем наше дело до конца! Заберешь с собой основные материалы... все, что нужно. Да! Я скажу завхозу — возьмишь у него мотоцикл в Пайки съездить. Чтоб быстрее!

— Спасибо...

— Ну... прощай.

— Как? Мы разве больше не увидимся?..

— Мне придется сегодня же... сейчас же... уехать по делам. Может, еще у Сардора встретимся? Но ты не спеши, оставь время для Зулейхо. Ну, ну... не горюй. Мы же еще молодые, верно? Никуда от нас эта жизнь не убежит!

Они снова обнялись. Острое щемящее чувство охватило Сабира, когда, около часа спустя, он в последний раз помахал Гуломали рукой. Тот, со своим привычным рюкзаком, в ладно сидящем седле, кивнул головой, повернул коня, взмахнул камчой и умчался. Какие разные ощущения могут порождать в нас одни и те же привычные звуки!.. Сейчас удаляющийся топот копыт звучал для Сабира похоронной музыкой. Увидятся ли они еще?.. Что за чушь, оборвал он себя. Увидятся, конечно увидятся!..

Мотоцикл вздымал на широком проселке ярое, нескончаемое облако пыли. Еще издали Сабир заметил у перекрестка, где сворачивать на Пайки, неподвижную человеческую фигуру. Скоро стало видно: женщина. Она стояла одиноко, покрытая поверх одежды темной старушечьей шалью. Кто б это мог быть? — думал Сабир с проснувшейся вдруг тревогой.

Это была Зулейхо. Он узнал ее, когда подъехал уже совсем близко, — она побежала навстречу. Зулейхо-то узнала его первой, хотя никогда не видела ни на мотоцикле, ни в мотоциклетном шлеме. Он резко затормозил, соскочил в пыль, положил, почти бросил мотоцикл наземь, тоже пробежал несколько шагов. Они встретились, Зулейхо положила ему голову на грудь.

— Почему вы стоите здесь, на дороге?

Девушка подняла к нему милое, заметно похудевшее лицо, на котором огромные глаза казались еще больше. В них была безысходная тоска.

— Я уже второй день сюда прихожу... Гуломалиака передал — вы уезжаете...

Господи боже мой! А он-то, пока она стояла здесь вчера и высматривала каждую движущуюся точку, сидел у себя и в который раз просматривал все бумаги, чертежи, сводки, потом разбирал кучу ненужных скопившихся вещей, решая, что взять с собой, что бросить... Жгучие чувства вины, стыда, жалости едва, казалось, не расплавили ему сердце. Ну почему, почему не может он взять в ладони этот чистый, прекрасный цветок и увезти с собою? Почему?..

— Зулейхо... — сказал он тихо, не в силах выразить всю переполнившую его нежность. — Не хотите прокаться?.. Ветерок...

— Идемте!

Они неслись на мотоцикле по спускавшейся вниз дороге, вдоль высохших пастбищ. Зулейхо крепко обхватила Сабир за пояс, прижалась сзади. И в этот час, грозивший расставаньем, может быть навсегда, ему казалось пределом желанья вот так ехать куда-то, с прижавшейся к нему девушкой, лишь бы не отрываться от нее, лишь бы не утратить, не потерять бесследно в неодолимом круговороте событий. Верст через пятнадцать в похолодавшем встречном потоке почувствовалось приближение большой реки. Они остановились на обочине. Вначале, когда смолк треск мотоцикла, для их полуоглохших ушей наступила, казалось, ве-



лика и всеобъемлющая тишина; но вскоре звуки вернулись — и отдаленный глухой гул Аму, доносившийся как бы с неба, и на его немолчном фоне серебряное пенье жаворонка. Они пошли по скошенному полю, медленно, без цели. Потом остановились, огляделись.

— Сабир-ака, Сабирджан, что ж теперь будет?

На ее лице были отчаянье, смутный блеск надежды.

Он глядел не отвечая.

— Сабирджан-ака! Вы уедете... а я? Что же я? Вы сюда вернетесь?..

Она заплакала. Он чувствовал себя чудовищем, но не мог сказать ни слова. Этому лицу, этим глазам он соврать не мог, а правды не знал — не знал, действительно ли сможет вернуться, разрешат ли ему, пустят ли сюда? А если не разрешат?.. Она каким-то усилием остановила рыдания, проглотила слезы, сказала изменившимся голосом:

— Вы знаете, что хочет сделать мой отец?

— Что?— спросил он пересохшими губами.

— Сначала говорил... если власти отберут землю — уйдет в горы... Теперь... после резни... вы знаете про резню, про Якубхана?.. Ужас что было... Знаете?— Сабир кивнул.— Теперь говорит — не будем ждать этой реформы, уйдем сейчас — и вернемся с муджакидами...<sup>1</sup>

— И что... он и вас хочет забрать?

— Всех! И меня... Мне кажется... я ему там зачем-то нужна... А я боюсь!.. Так боюсь, Сабирджан-ака! Он отдаст меня кому-нибудь! Кому-нибудь из своих!— Она снова зарыдала.

Сабир обнял ее, прижал к себе, гладил и целовал дивные, пушистые, пахнувшие как ароматная трава волосы, и она чуть успокоилась.

— Бобо Хайридин приезжал... был у нас... Отец и его уговаривал уехать. Но бобо — ни в какую: мы, говорит, уже однажды бежали с родной земли... родину потеряли, сына потеряли, все потеряли! Если, говорит, во второй раз предам землю — не примет она меня потом!.. И стал сам отца уговаривать... и я молила... и матушка... Бобо ему говорит: вас, говорит, и не тронут, речь о заминдарах, у кого тысячи и тысячи джарибов! А он: забыли, что говорил мой племянничек? Бобо

---

<sup>1</sup> М у д ж а к и д ы — борцы за веру; так называют себя многие афганские душманы.

ему: да это он в запале! А отец: он в запале и землю отберет, если дадимся! Такие, как он, все и запалили, весь пожар!.. И давай ругаться... Он теперь такой стал — отец... По ночам приезжают люди, гонцы от Якубхана, видно; он с ними уезжает, возвращается утром, глаза кровью налиты... Мы все устали... страшно нам — сил нет!

— Зулейхо! — сказал Сабир. — Я все молчал, потому что думал... как сказать... как объяснить вам... Не было б для меня большего счастья, чем забрать вас с собою!.. Навсегда... Но сейчас это невозможно... Это нельзя сделать в один день... а я должен ехать! Не могу не ехать!..

— Я понимаю, понимаю!

— Знаю, что понимаете! Вы не только самая прекрасная... самая замечательная... вы умница! Клянусь, я сделаю все, чтоб вернуться к вам... за вами! Все, что только смогу! Мне нет жизни без вас, Зулейхо!

Она подняла голову, посмотрела на него долгим взглядом. В глазах ее возникло и разрасталось сиянье.

— Я вам верю, Сабирджан-ака! Потому что когда вы рядом... или когда думаю о вас... ведь такое горе вокруг... и у меня... а я чувствую, что и счастья такого, как во мне, никогда еще не знала!

— Зулейхо... любимая...

— И знаете... как ни горько... а я ведь рада... рада, что уезжаете... здесь опасно для вас! А я подожду... подожду. Лишь бы вы были... хоть где-то. А я терпеливая. — Губы у нее задрожали, но она остановила дрожь. — Я вас — пускай сгорю — не забуду!.. Только и вы... у себя... на том берегу... думайте обо мне!.. Приходите к Аму... смотрите... или слушайте — и думайте!

— Клянусь!..

Она прикоснулась к его руке — нежно-нежно... и значительно, словно передавала в этом прикосновении что-то важное. Он так и понял. И молчал — будто слушал. Потом она отняла руку — и улыбнулась: милой, прощающей, любящей — и чуть виноватой улыбкой. Сказала тихонько:

— Я зна-аю... кусочком души вы уже там... у себя...

— Родина ведь, Зулейхо... Там у нас просторно... Летишь самолетом — а внизу степь без края... пашни, поля... голубые каналы... И в водохранилище у нас — где мы живем — такая голубая вода!.. Хлопок уже бутны завязал...

— Бобо рассказывал мне... о Сурхане. Я слушала как сказку.

— Это не сказка. Это быль. Земля наша... Но...— Он запнулся.— Я знаю, как у вас сейчас трудно, страшно... так ведь у нас тоже не сделалось все сразу... чудом... Моего деда убили басмачи. Отца тяжело ранили в последнюю войну. Он вернулся — а через шесть лет умер от ран... А лет ему было — как мне теперь! Может, ваш путь будет короче? Проще?.. Зулейхо, ведь я приехал сюда, чтоб и у вас так стало! Пришла голубая вода... Я вернусь, вернусь — довершу, что задумано...

Они повернули назад, к дороге, но Сабир остановился:

— Я ведь чуть не забыл...— Он полез в карман, вытащил серебряный флакончик для сурьмы с изображением Шивы. Флакончик попался ему однажды на базаре, на берегу Кабулдарьи.— Дайте руку...— Она протянула раскрытую ладонь.— Это вам, на память!

— Ой, что это?.. Какой хорошенький! Красивый какой! Я всегда такой хотела...

И снова в ее глазах, на ее влажных губах возникло сиянье.

Подойдя к мотоциклу, она остановилась, оглянулась назад, точно вбирая взглядом поле, по которому они ходили, потом повернулась к нему. В глазах опять стояли слезы.

— Ну почему... почему... почему вы должны уезжать?!

Зулейхо попросила, чтоб он высадил ее на том перекрестке, где они встретились, не подъезжая к кишлаку. Он уже мчал по другой дороге, к Мазари-Шерифу, а ее тоненькая фигурка неотступно стояла перед глазами, заслоняя пронесившиеся мимо картины. Старенький мотоцикл летел и трещал, гремел на пустынном проселке, как ракетоноситель, и встречный ветер понемногу остудил Сабира. Засушливые равнины обочь дороги напомнили ему былую Каршинскую степь — те же тамариск, гармала, осока. Только на западе встречается песчаник, где не задерживается вода, и потому на этой окраине Каракумов немало безжизненных земель, где нередко пирует, разгуливается «афганец».

Сабирджан пересек холм, въехал в темную уже тополиную рощу на окраине Мазари-Шерифа. Времени оставалось мало, но не мог он не попрощаться с Садыком Сардором. С первой же встречи старик показался ему живым символом этой страны, всего лучшего, что в ней есть, всего, что здесь отложилось и навсегда останется в сердце Сабира. Старик был так же прям станом, несмотря на древний возраст, так же молод душой!.. Да, символ символом, подумал Сабир, но ведь Сардору уже за восемьдесят... Не свалили ли его горестные события в кишлаках и в племенах — его, так тесно, тысячью нитей связанного с судьбами его народа?..

Сабир оставил мотоцикл в тополиной роще, отряхнулся, пошел по знакомой улице. Старая усадьба Сардора была пуста — ворота настежь, ни света, ни звука. Сабир вытянул бадью из колодца, долго и жадно пил, потом отпустил бадью, крикнул громко:

— Есть кто?!

Ничего не услышав в ответ, он зажег карманный фонарик, света, оглядел виноградные шпалеры, двинулся к главному дому, поднялся на ступеньки, осветил через стекла знакомую веранду; книжные полки, кресла, столик... на столике открытая книга, даже яблоко надкусанное... все на месте, только людей — никого! Он тронул дверь веранды — она была не заперта. Сабир вошел, двинулся к двери комнаты, где ночевал Сардор. Дверь и здесь была лишь прикрыта. Сабир распахнул ее, ступил на порог — и фонарь едва не выпал у него из рук! На одеялах, расстеленных на полу, лежал, вытянувшись во всю длину, Сардор, весь белый, глаза открыты, неподвижны... Сабир, задержав дыханье, повел фонариком по комнате... вот каса рядом на ковре, флакон с лекарством, знакомая бархатная феска...

— А-а, сынок, это ты-и... — Голос был слабый, как дуновенье ветерка.

Сабир вздрогнул. «Жив, слава аллаху!» Он вздохнул облегченно:

— Ассаламу-aleyкум, уважаемый Сардор! Я уж испугался... Что с вами, вы же так рано не ложитесь?..

Старик слабой рукой провел по лбу — пытался вытереть пот.

— Что случилось, Сардор? И во дворе и в доме — никого. Один вы, что ли?

— Один, сынок... один... увели моего единственного...

— Увели? Кого увели?— До Сабира не дошел смысл его слов. Он поправил подушку под головой больного, налил было в пиалу ему холодного чая, но старик отрицательно качнул головой.— Кого увели, Сардор?

— Значит... еще не знаете...

— Что?

— Что с вашим другом...

— С Гуломали? Что стряслось?

— Увели моего единственного...— повторил старик как в бреду; голос его стал еще слабей, казалось, больной вот-вот впадет в беспамятство.— Один я... один... совершенно одинок...

— Сардор! Господи боже мой... Сардор! Вы меня слышите?

Старик вроде очнулся.

— Утром...— сказал он.— Утром, да... ни с того ни с сего пришли, арестовали...

— Муджахиды?..

— Не-ет...

— А кто? Неизвестные?

— Известные... известные... в том и дело... Что происходит... я не понимаю... И как назло — скрутило ноги... и голова, голова...

— Кто же были эти люди?

— Секретная служба...

— Из старой секретной службы?

— Старой?.. Почему... из новой... свои... нового правительства...

— Вы что-то путаете, Сардор! Господи, ну и напугали вы меня... Если действительно свои... значит, не арестовали, тут другое! Может, вызвали по неотложному делу...

— А-ре-сто-ва-али... ты бы видел... ты бы видел как, сыно-ок... А всем остальным... кто в доме... велели вон!.. Я один...

— Но что же это значит, Сардор! Ведь правительство и состоит из таких, как Гуломали... из его соратников! Их секретная служба может арестовывать врагов... это понятно... их тут хватает! Но Гуломали...

— Не знаешь всего, сынок...

— Что тут знать? Кто не знает Гуломали Коргара?!.. День и ночь служил новой власти...

— То-то и оно... то-то... и оно... Два дня он... места не находил... говорю... что с тобой... молчит... Потом... бобо, говорит... арестовали моих товарищей... честных... активных деятелей... за что, говорю... Не ответил... может, не знал... Но чуял... чуял — его очередь...

— Это недоразумение!

— Нет, сынок... тут не то... он прощался... так... такая в глазах... тоска... безысходность... Увели... я и свалился...

— Но все ваши-то где?

— Я ж говорю... велели уйти...

— И все послушались?

— Не-ет... некоторые... пошли узнать... или не узнали еще... или узнали... плохое... боятся сказать...

— Успокойтесь, Сардор! Ничего плохого быть не может! Уверю вас! Это... это какая-то ошибка... Бывает... везде бывает... революция! Ошибка выяснится — и Гуломали вернется, живой и здоровый! Вот увидите! — Старик был совсем плох, надо было его успокоить, и Сабир старался придать своему тону возможно больше уверенности; но внутри него росла и трубила тревога. Не так все это просто, нет... известно, какие бывают иногда ошибки и чем кончаются... Но старик, кажется, прислушался к нему.

— Спасибо, сынок... спасибо... хочется верить тебе... ты молодой... больше понимаешь в нынешних... у нас было иначе... враг — враг... друг — друг...

Хотя времени было уже в обрез, Сабир решил остаться до утра: бросить старика одного в таком состоянии было невыносимо. Но тут в дверях робко появился старый слуга: прежде наступления темноты вернуться в дом он не решился. И Сабир, дав ему необходимые наставления и наказав во что бы то ни стало привести к старику лекаря, пошел прощаться. Старик опять лежал в полузабытьи, но оживился, пока Сабир повторял свои увещевания и утешения. «Я еду в Кабул и там все выясню!» — сказал Сабир, уходя, и распростертый Сардор пробормотал в ответ:

— Спасибо, сынок... дай тебе бог удачи...

Но выяснить в Кабуле ничего не удалось. Хуже того, в посольстве сказали, что и выяснять-то он ничего не вправе. И он сел в самолет с горящими ссадинами в душе: Зулейхо... Гуломали... Садык Сардор...

Два года я ждал этого дня. Два года!.. Сколько раз снилось: иду к самолету, лететь домой,— легкий, свободный, счастливый... Сколько надежд, сколько терпения!.. И вот этот день наступил, а во мне, кажется, только горечь, только страх за остающихся, только стыд собственного бессилия... Радость возвращения домой — она еще объявится, она, конечно, возьмет свое, но пока ее место занято, вход воспрещен. Даже в посольстве, где сладкое «поехать домой» заменено сухим «возвратиться в Союз» — даже здесь две девушки-секретарши смотрели на меня с жадной завистью, чуть не со слезами. Я же, который, казалось бы, должен завидовать самому себе, который недавно еще, после упреков Гуломали, втайне рисовал себе картины домашнего блаженства, сейчас и не думал о родном доме. За спиной у меня, как черный колодец, зияла беда сроднившихся со мною людей, и это зиянье затягивало в себя мою душу.

Может, виной было, что, привыкший все-таки к точным цифрам расчетов и сроков, я очутился в чудовищном круге неопределенности? Все ведь было трагически неопределенным: судьба работы, судьба близких, моя собственная судьба... Если б хоть можно было на что-то воздействовать — но нет, ничто, кажется, от меня не зависело, все оставалось как бы за пределами этого рокового круга. Неясные сроки, туманные аргументы, смутные обещания, неоправданные надежды... Так казалось мне, пока я садился в самолет, пока наклонялась под нами эта горько полюбившаяся земля моих друзей, делалась видна во всей своей пестрой и величественной красоте — и уходила, уходила, исчезала за облаками. Я поглядывал вниз, в распростершиеся за окошком бескрайние белоснежно-пуховые поля, и думал о нашем проекте. По правде говоря, все последнее время он представлялся мне сенсационно удачным, но что толку в любом проекте, если он практически неосуществим?

Правда, мне тут же приходило в голову, что ведь ни в посольстве, да и нигде еще никто толком проекта не знает; мы с Гуломали покамест держали свое первое открытие, свое рождающееся детище в относительной тайне; в посольстве и решили: работал человек два года, ничего до конца не довел, и хватит... Да нет же, возражал я себе, о тебе же заботятся — ведь действительно опасно, Гуломали исчез, группа, конечно, опять распадется, надеяться сейчас на что-либо вроде хашара

просто смешно... И, наконец, ты ведь сам хотел поехать домой!

«Счастливого пути! — говорили мне девушки в посылке, глядя на меня с откровенной завистью. — Скоро дома будете...» Но что они знали о Зулейхо? О Коргаре? О проекте?..

Неблагодарное ты все же существо, говорил я себе, ведь домой едешь! Домой! Мать увидишь!.. И я представил себе милую мою маму, с опаленными от вечной возни у тандыра бровями; казалось, почувствовал этот привычный, любимый запах родного дома, с ароматом свежеспеченной лепешки. Брат, конечно, придет... тут же явится, с ног до головы покрытый степной пылью, такой же шумный и резкий, как и его газик. Он заведует отделением совхоза, но в свободное время обожает беседовать о глобальных проблемах. Однако главный его конек — Аму. Как и у меня, впрочем... Провожая меня в Афганистан, он сказал с горечью вместо доброго напутствия: «Теперь с той стороны еще начнете, значит, нашей Аму — коне-ец...» Вечером вернется племянница Лола. Она вспыхнет как мак, победит ко мне со всех ног, побросав на ходу книжки, и тут же шепотом станет рассказывать, что видела недавно Манзуру, да...

Манзура! Нелегко мне будет с ней объясняться. Если, конечно, потребуется объяснение. Ведь два года прошло... Два года!

Когда-то я мечтал, как, очутившись в Ташкентском аэропорту, первым делом помчусь к телефону-автомату — звонить Манзуре. Я и вообразить бы не смог, что в действительности, покончив в порту с формальностями и выйдя с вещами в зал, пройду мимо этого автомата — свободного! — стараясь на него даже не глядеть. Прилетели мы рано, но теперь был уже десятый час. Я взял такси и поехал в министерство.

В теплых, но уже не жгущих лучах осеннего солнца город лежал радушный, словно распахнувшийся объятия. На тротуарах стояли лотки с книгами и канцелярскими товарами. Народ шел, останавливался, толпился, снова шел. Господи, и не думают ведь сейчас о том, какое это счастье — безопасная, мирная жизнь на родной земле!..

Окна министерского отдела, два года назад командировавшего меня за рубеж, широко раскрыты на новый проспект, который отсюда, с высоты, выглядит как цветной чертеж на плотной бумаге. Четко видны все улицы, проезды, аллеи, дороги, цветники, фонтаны, ря-



ды стройных высоких тополей. А ведь перед моим отъездом еще споры шли, что здесь высаживать — быстрорастущие тополя или медлительно тянущиеся вверх декоративные деревья. Высокие подъезды, лукообразные эстакады. Машины разворачиваются поминутно — и скрываются где-то за пределами видимости, среди цветочных клумб. И гостиницу напротив кончили строить — великолепное здание, на широкой мраморной лестнице перед входом непрерывно, взад-вперед, движутся людские вереницы.

И вот я уже в этой самой гостинице. Второй день пишу отчет о командировке, сыплю соль на собственные раны. В отделе на мои вопросы отвечают неопределенно:

— Вызовем, когда понадобится...

— Что это за бессрочный отпуск?

— Ничего, ничего, вы ж работали без отпусков и, как говорят, без выходных, так ведь? Ну и отдохните, плохо ли поразмяться после такой поездочки, повидаете родных, по вас, поди, соскучились...

Соскучились, соскучились! Еще как соскучились... Каждый ждет моего приезда, строит какие-то планы, возлагает какие-то надежды. Брат даже пристроил для меня домик из двух маленьких комнат в конце двора. «А почему б не построить? — писал он мне. — Руки-то свои, и земля есть, зря мы, что ли, ее осваиваем!» Шутит, конечно. Он у нас шутник. Домик, разумеется, мать заставила построить. У брата, как всегда, задачи более обширные...

И вот я уже наконец дома и все почти так, как я сто раз представлял себе на том берегу: брат мой настырно расспрашивает меня обо всем, в первую очередь о подробностях революции в месяце савр, а потом о «Проекте Большой Аму» — откуда он только прослышал о нем! — о том, как там народ живет («Хуже нас? Ну ясно, хуже, откуда им!»), наконец, о наших изысканиях.

— Каменная чаша? Та-ак... Четырнадцать русел, говоришь? Ничего себе! Но не справятся они с такими планами! Откуда им... У них же ни колхозов, ни совхозов...

— Похоже, брат, все-таки справятся...

— Ну, ну... — Он мрачнеет. — Ладно уж, пусть справляются, а то все твои усилия даром пропадут...

И мать не спит, ходит за мной, глаз не сводит.

— До каких же пор будешь ты скитаться по полям да по степям, до каких пор, ты же не из семьи кочевников, правда? Все твои ровесники уже обзавелись семьями...

И пошло-поехало, разговоры, разговоры, иные вперемешку со слезами.

Смешные и таинственные истории рассказывает только Лола. Она с трудом сдерживает себя, дожидаясь вечера, а вечером тащит меня на водохранилище, купаться. Мы выбегаем на берег с полотенцами на плече, по зеркальной глади воды стелется, словно бархат, мягкая вечерняя прохлада. Противоположный берег потемнел и сливается с тусклым небом. У Лолы здесь, видно, есть свои любимые местечки, она ведет меня по пляжу мимо брезентовых палаток и цветных веревочных ограждений, оставшихся после очередной лагерной смены, к укрытым в зарослях шиповника валунам. Это место, впрочем, я отлично знаю, мы не раз приходили сюда с Манзурой; тогда, правда, берег был еще дикий, пустынный. Да, думаю я, и Лола уже подросла, коли знает эти места; в седьмой перешла... А ведь равнато для седьмого — и я смотрю ей вслед с ворчливым, должно быть, выражением лица. Ее вытянувшаяся стройная фигурка уже у самых валунов.

— Садитесь,— говорит она, указывая на гладкий белый камень.

Я его знаю, он удобен, как стул, и долго хранит тепло солнечных лучей. Мы вешаем полотенца и одежду на кусты шиповника и бросаемся в воду. Лола уплывает далеко вперед, поднимая фонтаны брызг, от шума беспокойно взлетают из кустов птицы, уже устроившиеся на ночь. Я же плыву не спеша, саженками, переворачиваюсь на спину, медлительно наслаждаюсь ласковым теплом прозрачной воды. Это мы сами провели ее сюда, и кажется, эта вода знакома мне, как люди, как деревья, как валуны на берегу. Пожалуй, я сумел бы отличить ее от любой другой! Такой чудесной воды и нет больше в мире...

— Почему ж вы меня ни о чем не спрашиваете?— говорит Лола; мы уже выбрались на берег и торопливо вытираемся своими махровыми полотенцами. Потом, не дождавшись ответа и что-то, должно быть, вспомнив, говорит с удивленной интонацией:— Хотя и она о вас ничего не спрашивала!

— Это ты о ком?

— Ой, «о ко-ом»! — передразнивает меня Лола. — Будто не знаете!.. Я ее два раза видела. Один раз, когда мы в городской музей ездили, а она стояла у дверей института, и кругом целая толпа чужих дядек, таких важных, степе-енных!..

Я мысленно вижу Манзуру: воображение мое скользит по давно протоптанной тропинке. Манзура, конечно, в кофте молочного цвета — она знает, как ей идет белое, выгодно подчеркивая густоту темных волос. Еще на ней модная юбка из мелкого вельвета и — никаких украшений, никакой парфюмерии, она их не признает...

— А второй раз...

— Она что, не поздоровалась с тобой?

— Нет, почему, в тот раз поздоровалась... А в друго-ой раз — она приехала к нам в совхоз, а мы были на картошке. Я ее на Головном увидела: в брюках, вот с тако-ой прической... — Лола изобразила размеры прически и походку Манзуры, — прошла важно мимо меня и не заметила... Не заметила, и ладно, правда же, Сабирджан-ака?

— Может, действительно не заметила?

— Ну, а я что говорю? Не увидела меня! И не надо... Не хочет разговаривать — и не надо, не буду ее упрашивать... — И Лола вдруг заплакала.

— Ты что, девочка? Ну, что, милая, чего ты плачешь-то? Конечно, не будем упрашивать, сама говоришь! — Я гладил ее по голове, худенькие плечи вздрагивали, потом затихли, а передо мной снова была Манзура. Ведь, казалось, совсем ушла из меня, не осталось там для нее места. Ан нет, ан нет. Или это мерещится, что нет, — вернулся на родную землю, в места, по которым истосковался, по этим вечерам, по берегам, искоженным вместе с нею...

Лола высвободилась, стала одеваться. Бедняжка! Должно быть, ее сердечко, как это часто бывает, озарил жаркий отблеск наших отношений, а теперь оно обожжено горем или обидой, будто это собственные чувства обмануты. Но я-то!.. Что ж я за безвольная личность, что за жалкий человек, ведь окажись сейчас Манзура рядом, я бы... Ну, что бы я сделал? На колени встал? Признался в верной и неизменной любви? Нет, но все-таки... Тайком от нее и ехал из Ташкента, не позвонил, словно бы прячусь от разговора... Просто я трус, вот что!

Я снова бросился в воду, будто пытаюсь смыть, вымыть из себя эти саднящие мысли. Новое купание действительно помогло. Мы отправились домой, и Лола шла рядом, молчаливая и печальная.

Утром я проснулся и вовсе обновленный. Так мне хорошо спалось после купания, что, против обыкновения, кажется, и не снилось ничего. Или просто я в своих скитаниях разучился нормально спать?.. Вот, лежу на широкой супе, на голубом айване, подо мной белоснежные простыни, под головой мягчайшая пуховая подушка, и рядом сидит мать, подперев кулачком подбородок. Сидит и смотрит на меня, словно и не ложилась, так и просидела всю ночь. Я только теперь замечаю, как сильно она поседела, — скоро голова ее будет белой, как детсадовский халат, что на ней и нынче. И, как обычно, от нее исходит запах свежего хлеба.

— Вы затопили тандыр, мама?

— В детском саду. Сейчас тандыр установили там, я пеку хлеб и для детсада, сынок... — Она говорит с обычной своей мягкой интонацией, не то оправдываясь, не то уговаривая меня в чем-то; а может быть, не желая меня окончательно разбудить.

— Что ж меня не разбудили? Я б огонь разжег!..

— Ну что ты, сынок, только приехал, ишь какой усталый... после двух-то лет... Что ж, сама не разожгу? Спи, отдыхай, почувствуй свой отпуск-то...

Она меня погладила, поцеловала в лоб; я был младшим в семье, мать всегда меня баловала, пока я был около, и сейчас мне стало стыдно — хотя бы того, что она трудилась не покладая рук, пока я дрых тут, на голубом айване. Стыдно — но как-то сладко-стыдно. Я сообразил: брат с женой давно на работе, Лола в школе, мы с матерью в доме одни, и ей, наверное, думается, что на недолгий срок я снова принадлежу только ей, как когда-то в моем детстве. Сейчас, конечно, она станет кормить меня чем-нибудь самым моим любимым, начиная от чая с каймаком. И действительно, ведь это уединение ненадолго, через час-другой начнут приходить родственники и знакомые, весь день будем принимать гостей... Черт возьми, это не по мне уже, отвык я, позавтракаю, посижу чуть с матерью — и пойду по совхозу!

Но глупо было думать, что я таким образом скроюсь от обрадованных моим приездом или просто любопытствующих земляков; около одного из полевых станов

меня перехватил совхозный парторг и потащил в контору. Апрельская революция в Афганистане сейчас прямо актуальнейшая тема, сказал он, клуб будет битком набит: удастся послушать очевидца таких событий! Я скоро понял, что бесполезно отнекиваться, еще бесполезней объяснять, что я вовсе не очевидец, занимался другими делами и, как они здесь, все знаю с чужих слов. Парторг и слушать не хотел, считал эти слова плодом моей излишней скромности или даже неуважения к родному совхозу...

Господи, грех говорить это в первый же день, но зачем я сейчас сюда приехал — зря тратить дорогое время, необходимое для проекта, для того, чтоб подвести под него солидную научную базу, закончить расчеты? Надо ехать в область или в Ташкент, в институт, и в министерство, и во «Взрывпром», встречаться со специалистами, консультироваться, советоваться, что-то решать...

В тот же день я мимоходом узнал, что Манзура появилась в области. Значит, все-таки появилась! И меня охватили волнение и беспокойство, словно дальнейшее зависело от того, приедет она сейчас туда или нет.

Два дня спустя я был уже в области. И днем, словно сговорившись, мы встретились на старом нашем месте, возле филиала института. Как и я ее, Манзура заметила меня издали. Она чуть наклонила голову и зашагала по тротуару взад-вперед, в тени могучей чинары, в такт движению покачивая сумочкой. Знакомая фигура, эта нетерпеливость движений, тоже такая знакомая со студенческих лет...

— Это вы, Сабир?.. Что за ветер занес вас в родные края? Со счастливым возвращением...

— Спасибо... спасибо, Манзура. — Я чувствовал себя так, словно это было и впрямь назначенное или, во всяком случае, давно и жадно ожидаемое мной свидание. Что же это со мной, черт возьми? Кого я люблю? Ту? Эту?.. Манзура протянула руку, и, коснувшись ее пальцев, я ощутил опять-таки знакомое острое волнение, будто нечто в груди сжалось в кулак и дрожит от невольного усилия. — Как вы тут? — спросил я неловко. — Я уж действительно так давно дома не был, ду- мал, никто меня здесь и не ждет...

Манзура рассмеялась.

— Тонко сказано... Если вы имеете в виду меня, то я, как видите, так и стою здесь со дня вашего отъез-

да!— Она отсмеялась, убрала улыбку. Глаза прикрыты черными очками, скулы опалены степным солнцем, поверх белого платья — коричневая безрукавка, и сумочка коричневая. Никогда она не пыталась нравиться, носила что захочется, но всегда это ей оказывалось к лицу.— Ладно,— сказала она,— шутки в сторону, как вам выбраться-то удалось? Без потерь? Такое там нынче смутное время...

— Мне лично — без потерь. Плохо, что работу мы не завершили... А у вас что?

— Нормально.

— Сдал Самад свой проект?

— Да-да...

— Значит, пойдет-таки вода на залив Сайлык... А вы сами что? Дома как?..

Она мгновение помолчала, поджав губы. «Дома?— явно сказала она этой паузой.— Дом мой был вам по пути. Могли поинтересоваться на месте...»

— Хорошо,— сухо ответила она. Мы еще мгновение помолчали, и она добавила другим, снова чуть шутливым тоном:— Хорошо, что произошла революция в Афганистане, не то мы б вас так тут и не увидели... За полгода — ни письма, ни весточки...

Перемирие? Или, напротив, наступление?.. Я предвидел такую минуту объяснения и больше всего ее и боялся. Как это называется? Минуты правды?.. Момент истины?.. В том вся и беда: снова я знаю нетвердо, где она — эта истина... И ведь что ни скажу, как ни поверну правду — все будет ей оскорблением. Меньше всего мне хотелось обидеть ее — умную, красивую, честную...

— Не мог я писать все последнее время, Манзура,— сказал я хмуро.

— Ну да,— сказала она быстро,— это вообще трудно... особенно если кто-нибудь мешает.

Знала бы она, как точно попала в цель! Но я чувствовал: возрази я сейчас, засмейся хоть самым ненатуральным образом — «кто, мол, мог мне мешать?»— и она состроит ироническую гримаску или недоверчиво хмыкнет, но, при всей ее чуткости, поверит. Потому что хочет поверить, ждет этого опровержения, ради него и вопрос, может быть, задала. Знала ведь свою прежнюю власть надо мной! Прежнюю?..

— Я правда не мог писать, Манзура,— сказал я так же хмуро.— Там было такое... такая ситуация... так

сложно и напряженно... рассказывать об этом сейчас долго...— Ведь в самом деле было так, думал я, и дневник доктора Сухайля возник у меня в памяти.— Поверьте, целая детективная история... которая, кстати, не кончилась.— Пока я произносил эти слова, мне вдруг пришло в голову, что арест Гуломали мог быть продолжением истории с дневником. Почему нет, собственно?.. И как я раньше не подумал? И я добавил:— Каков будет конец истории, жизнь еще подскажет...

— Ладно,— сказала Манзура.— И это — утешение...— В голосе ее прозвучала неожиданная нотка усталости, безразличия, как будто ей надоело продолжать разговор. Словно услышала не то, что я сказал, а то, что хотел скрыть.

— А про себя вы так ничего и не рассказали, а, Манзура? Ваши-то дела как? И те принципы Самада...

— И опять Самад!— с резким раздражением прервала она.— Уже второй раз поминаете, и ни к селу ни к городу! Может, он прислал вас сватом?— Она, кажется, разозлилась не на шутку, ускорила шаг, а я виновато следовал за ней, мысленно поносил эту свою проклятую привычку ревности. Но ее раздражение, ее последняя фраза сладко отозвалась где-то, в глухих, казалось, глубинах моей души. Что ж — можно перестать любить женщину и продолжать ревновать? Или это я, именно я так глупо устроен? Когда рядом со мной была Зулейхо, мне думалось — объясниться с Манзурой будет просто, я ведь начинаю новую жизнь!.. Но здесь все оказалось по-другому. Возвратившееся ли моим глазам обаяние Манзуры, или чувство вины перед нею, или бессознательная услужливая память привычки, или все это, вместе взятое, опрокидывали не только мою решимость, но и само решение. Мои чувства словно выворачивались наизнанку; чего же я хочу? Кто мне нужен? Кто мне дороже?.. Брат сказал бы: «Ты, мой милый, похож на собаку, что за собственным хвостом гоняется...» И в ту минуту, поспешая за Манзурой, я впрямь ощущал себя эдаким побитым, бесхозным псом. Я казнил себя, клял, презирал — и понимал при этом: как бы мне сейчас ни повести себя, все будет недостойно...

Мы проходили как раз мимо филиала института, по широким ступеням спускалась группа молодых людей, при виде меня они зашумели, заторопились, я мгновен-

но оказался в толпе смеющихся, приветствующих, хлопающих меня по плечу парней — это были и мои сокурсники, теперь уже аспиранты или преподаватели института, и едва знакомые, помоложе; все хором задавали вопросы, как бы и не ожидая ответов, — и неожиданно отделили меня от Манзуры. Она была уже далеко впереди, я видел, что она уходит, не прощаясь, и рванулсь было вслед, но куда там, они держали меня: ты куда, постой, сколько не виделся, нет, не отвертисься, постой, братишка... И я сдался, но с неожиданно возникшим острым чувством потери.

И минут десять спустя, расставшись с парнями, я по-прежнему нес в себе это острое чувство и думал: что это значит? Где он — настоящий я? Там, на проселке рядом с Зулейхо, или здесь, рядом с Манзурой, на бесчетно исхоженном мною асфальте? Или, может быть, Манзура для меня — это уже не только Манзура, но и частичка неба, под которым я провел жизнь, и родной земли, по которой с рождения ходили мои ноги, частичка моей мамы и Лолы, частичка моего неотъемлемого от меня прошлого, сладко-горькая память торопливых поцелуев, ожиданий, смятенных надежд? Частичка меня самого?..

Я вернулся домой и два или три дня слонялся, не находя себе места, маясь от тоски, от безделья, не в силах начать работать, угомонить раскачавшийся маятник чувств. То вспоминается мне гордая, независимая — и все же так явно раненная обидой Манзура, уходящая, не прощаясь, по осененной тенью чинар асфальтовой улице; то широко раскрытые огромные глаза Зулейхо — она стоит у обочины, в теплой пыли проселка: «Я верю вам, Сабирджан-ака... Я буду ждать... Я терпеливая...»

Домашние озабоченно поглядывали на меня, всячески обихаживали, особенно мама, конечно. Впрочем, и Лола с наивной непосредственностью пыталась развеять мои печали. Однажды нагнала меня в укромном уголке и весело зашептала, поблескивая глазами: «Эй, Сабирджан-ака, красивая та девушка, что вы полюбили в Афганистане?..» И улыбается, улыбается, готовая громко засмеяться собственной шутке. Она и не подозревает, что ее шутовское предположение — чистая правда... Но я поддерживаю ее игру. «Красивая ли? — говорю я, подделяваясь под ее тон. — Еще бы! Только что ты, курносая, в красоте понимаешь, а?..»



В конце концов вывел меня из моего состояния шумный мой, вечно озабоченный делами и проблемами брат. Вернувшись на третий день с работы, сняв свою соломенную шляпу и отирая пот со лба, он сказал:

— Ну, отпускник? Чем развлекаешься?.. Эти ирригаторы опять скандал затеяли, слышал?.. Ты не поедешь?

— Куда?.. И что еще за скандал?

— Да все тот же, о массиве Сайлык. Там уже новые совхозы закладывают, чуть ли не дома строят, а они все еще спор не кончили!.. Все еще ре-ша-ают...

— И где они собираются?..

— В области! Мне приятель сегодня сказал, инженер, он у нас диспетчером на водохранилище... Его тоже пригласили! Видно, серьезная будет драка, сама Сумбуль-ая Садриева прибывает...

— Сумбуль-ая?— Я вскочил с супы и выключил телевизор, который начал было смотреть.— И где в области, не знаешь? В обкоме? Или в филиале института? Или, может, в тресте водных сооружений?..

— Это уж не знаю! Ну да в области скажут...

Казалось, меня, одурелого, окатили свежей студенной водой.

На следующее утро первым автобусом я ехал в областной центр и думал уже только о предстоящем совещании, пытаюсь представить, о чем пойдет спор. О том, в курсе чего я был еще до отъезда в Кабул, или в центре внимания уже новые проблемы?.. Но главное — Сумбуль-ая. Я готовился к встрече с ней, которой ждал так долго, мысленно выстраивал свой рассказ, перебирал все главные и второстепенные вопросы, которые должен ей задать. Однако, думал я, спор предстоит нешуточный, если она сама пожаловала на совещание. Она много разъезжает по своим любимым степным зонам, но совещаний не любит, считает, что там много времени тратится по-пустому... Но уж коли совещание важное — значит, в обкоме!..

Так и оказалось. Площадь перед обкомом была забита машинами, в обширном вестибюле переговаривались, сидя без дела за маленькими столиками, несколько человек, которым полагалось регистрировать участников. Я назвался, меня записали и проводили к двери в актовЫй зал. Осторожненько отворив тяжелую дверь, я шагнул в полутьму — и сразу же уперся взглядом в Манзуру! Она выступала, стоя на трибуне... Я даже

споткнулся о ковер от неожиданности, с соседних кресел недовольно оглянулись; я отыскал глазами свободное место, тихо прошел к нему и сел.

На Манзуре был костюм мужского, скорее, покроя, для полноты впечатления даже узенький галстук был повязан на шее, поверх кофточки со стоячим воротничком. Пока добирался до места, я уловил лишь несколько слов ее выступления и, только усевшись, окончательно «включился».

— Не случайно, — говорила она, — вот уже девять месяцев из ТЭО не возвращаются материалы изыскательской группы. Да если б их и вернули — я уверена, товарищи: этот проект не обеспечит будущего массиву Сайлык! Ибо товарищи из группы до сих пор не признают очевидной вещи: необходимо максимально снизить объем перекачки воды из Аму насосами.

— Вы, наверное, забыли, — громко сказали из зала, — мы живем на правом берегу!

— Я не забыла. Отнюдь!.. Но считать, что на правом берегу можно обходиться только с помощью насосов, да еще подводить под это теоретическую базу, — в корне неправильно!.. И я сегодня вышла на трибуну, чтобы это доказать... — И Манзура подошла к карте, висевшей на заднике сцены. Да, это был уже знакомый мне спор, хотя, конечно, на новой стадии, и я снова отвлекся, не прислушиваясь к словам Манзуры, а только глядя на ее такую знакомую стройную фигурку. Когда-то сердце начинало ныть, едва я замечал эту фигурку, с ее характерной походкой, где-нибудь в дальнем конце улицы... Но тут голос Манзуры зазвучал громче, и я прислушался: — Я наглядно представляю себе проект первой группы и, опираясь на точный анализ и расчеты, могу сказать определенно: песчаные наносы одних только ведущих к насосам каналов не позволят обеспечить рентабельность массива по крайней мере в течение ближайших десяти лет! Товарищи, мы же имеем дело с Аму... На очистку водных путей потребуется ежегодно тратить миллионы рублей! И мы говорим об этом не в первый раз...

Тут я понял: речь идет о группе Самада Деряева. Вот оно что! Старый спор — но не думал я, что так обострился! Да, а где же сам Самад?

Пробежав глазами по залу, я его не увидел. Может быть, просто не нашел: с того места, где я сидел, видны были только затылки и плечи. А вдруг да в президиу-

ме?.. Нет, в президиуме сидели только трое: Любушин, первый секретарь обкома, я его знал, был у него на беседе, когда уезжал в Кабул, секретарь прекрасно говорил на местном, сурханском диалекте и производил впечатление человека умного, знающего, доброжелательного. Справа от него сидел незнакомый молодой парень, видно, руководитель одного из новых хозяйств, создаваемых на Сайлыке. А слева — Сумбуль-ая... Давно я ее не видел! Она постарела, казалась меньше ростом — может, отсюда, издалека, — но локоны седых волос, выбивавшихся из-под старого берета, все так же резко контрастировали с загорелым лицом. Сидела, не отрывая глаз от каких-то бумаг, перед ней лежавших, и вроде даже не слушала...

— Сайлык недаром называют Сайлыком, товарищи! — говорила между тем Манзура. — Ведь это значит не просто «ложбина», а и «долина горной речки»! Массив возник вокруг одного из древних рукавов Аму. Это известно из истории и подтверждается данными современной науки. Наша изыскательская группа провела длительное и тщательное обследование этой засушливой впадины и установила: несколько столетий назад Амударья сменила в этом месте свое русло и потекла по южным низменностям, после чего рукав Сайлык высох. Я давно занимаюсь проблемами древних русел. Почему река течет по ее сегодняшнему руслу? Я имею в виду вообще реку, товарищи... не Аму, не Днепр — вообще реку... Многие реки за свою древнюю историю перепробовали не одно русло, меняли их в силу разных причин, так что историческое русло реки, может быть, выбрано ею из десятков других! Река, в сущности, выполняет для себя ту же работу, какой занимаемся мы — изыскатели, только делает это на протяжении столетий, тысячелетий... И она, заметьте, выбирает не только маршрут, не только наилегчайшую дорогу к устью — она, так сказать, выверяет гидрогеологию своего ложа! Выверяет долго и тщательно, методом проб и ошибок, течет там, где фильтрация и водопоглощение минимальны. Разве мы не вправе воспользоваться этим древним опытом самих рек, товарищи? Мы рассматривали проблему эксплуатации древних русел со многих сторон и сегодня, мне кажется, осветили ее достаточно полно. На этой основе мы и разработали свой проект орошения массива Сайлык. Мы уверены, что наш проект будет не только самым дешевым — об этом свиде-

тельствует простая арифметика!— но и, что гораздо важнее, самым надежным. Да, здесь водный путь длиннее, но он не потребует бетонных работ и полностью окупит себя за два года...

Умница, Манзура, какая умница! Ведь это тот самый клад, который и я откапывал все последнее время! Выходит, мы шли одной дорогой, рядом, пришли к одному и тому же! Вот она и сработала — теория старых русел...

Манзуру слушали внимательно, в полной тишине, но едва она кончила и пошла со сцены в зал, в зале возникли оживление, шум, несмолкаемый гул голосов. Любушин поднялся, позвонил в колокольчик, но разговоры по-настоящему так и не унялись. Тут я и увидел высокую фигуру Самада Деряева. Он встал с места в одном из передних рядов, его густые черные волосы, как всегда, блестели, словно лакированные. Он просил слова, но стал почему-то говорить с места, обращаясь не к залу, а к президиуму. Большая часть его слов до меня не долетала, просто не слышна была; по правде говоря, я не слишком и прислушивался, я ведь хорошо знал все, что он может сказать. Кажется, большинство присутствующих отнеслось к его выступлению так же, потому что, пока он говорил, разговоры в зале не смолкали. Только когда он сел и поднялась с места Сумбуль-ая, снова водворилась тишина. От нее ждали решающего слова, окончательной оценки...

Но выступление ее прозвучало странно. Начала она с того, что похвалила смелую и пытливую молодежь, а дальше... дальше она практически отвергла предложения обеих групп! «Эти проекты не имеют будущего», — сказала она, и зал затаил дыхание. Сейчас нужно заниматься не орошением отдельных массивов, говорила Сумбуль-ая, а думать о комплексном освоении всей степи, о создании нового оазиса, который будет давать в год миллион тонн хлопка. Остальное — мелкая возня... Только действительно крупномасштабные проекты, согласованные с партийными директивами, поддержанные и включенные в них, могут решить наши проблемы...

Я увидел, как Манзура поднялась со своего места — я заметил раньше, куда она прошла и села, в третьем ряду с краю, — хотела, должно быть, что-то сказать, но так и осталась стоять, в растерянности или недоумении.

Я вскочил с места и пошел по центральному проходу к президиуму, не поднимая руку со словами:

— Разрешите мне!..— Но никто не успел мне еще разрешить, как я выпалил:— Я считаю, что отвергать все предложения неверно! Например, наша гидрогеологическая группа, работающая в Афганистане, готова немедленно применить на практике теорию старых русских, предложенную докладчиком!

На меня оглядывались, Любушин постучал карандашом о стол, призывая к порядку:

— Товарищ... не знаю, как...

— Тохтабаев!— громко подсказала Сумбуль-ая.— Приехал?— сказала она таким тоном, точно говорила не из президиума в зал, а случайно встретила меня на улице.— Зайди! Поговорим!..

Напряжение, возникшее в зале, разрядилось, все заговорили, Любушин объявил перерыв, люди стали подниматься, президиум пошел со сцены. Я хотел было прежде всего найти Манзуру, но ее не было видно, людской поток потащил меня в вестибюль. Там я отошел в сторону, к стене, следя за фланирующей толпой; кто-то здоровался со мной, я машинально кивал, высматривая Манзуру; Самад мелькнул, но мне с ним разговаривать было не о чем, да и не очень-то хотелось; Сумбуль-ая сейчас, конечно, с высоким начальством, к ней не сунешься, не поговоришь. А Манзура, как назло, не появлялась. Нужно было обязательно высказать ей все, что я думаю о ее проекте, о том, как схожи пути, которыми мы шли... И спросить, что значило это неожиданное выступление Сумбуль-ая. Было ли оно и для Манзуры таким же неожиданным?.. Судя по ее реакции в зале — да. И прозвучало как окончательный приговор! Но так ли это в самом деле окончательно? Если так, то ведь и наш с Гуломали проект не ждет ничего иного... И все же не верилось мне в это, ну не верилось. Всегда, и особенно оттуда, издалека, Сумбуль-ая представлялась, вспоминалась мне доброй, как мать... Добрая, верно, но ты же знаешь, сказал я себе, в делах науки, в практических делах, с наукой связанных, она жалости не знает. Да, но здесь-то, применительно к проекту Манзуры, при чем жалость? Проект в ней ничуть не нуждался! Мы, правда, и другое знали за Сумбуль-ая. Придешь к ней, бывало, с какой-нибудь, тебе кажется, важной и новой мыслью, она слушает, кивает... И вдруг, может быть, даже и от твоей мысли от-

толкнувшись, пойдет разворачивать перед тобой такой новый, мощный, широкий подход к делу, к вопросу, что только сидишь да ахаешь. И подумается иногда: что ж тебе самому ничего этого в голову не пришло? Нет, где там... Может, и здесь имела она в виду что-нибудь столь же новое, обширное, что заставит и нас на все иначе посмотреть? Но почему ж тогда и словом не намекнула? Тоже ведь на нее не похоже... Она всегда так внимательно относилась к работам молодых; даже из неудачных работ стремилась извлечь что-то ценное. А тут... Разом, огулом — отмела! Странно... И мне: «Зайди! Поговорим!» Если и со мной разговор будет такой же... Она ведь не ответила на мое письмо... Ну, письмо-то — понятно. Не успела, работы у нее хватает. Значит зовет, чтоб так же ошарашить?.. Выложит — да и предложит что-нибудь свое, запряжет в какую-нибудь упряжку здесь, дома! А что будет с афганскими моими делами? Со всем, что там меня ждет?.. У меня сердце заныло. Я снова огляделся. Манзура не появлялась. Прозвенел звонок, означавший конец перерыва. Помедлив, пока люди входили в зал, я туда тоже заглянул. Манзуры на ее месте не было — пустовало место. Ну, и мне незачем было дальше здесь оставаться. Я ушел.

Неподалеку от обкома — впрочем, все здесь было неподалеку, областной центр невелик, все важные его учреждения находились на одной этой вот улице, утопающей в зелени: филиал института, новый, крытый колхозный рынок, трест «Степстрой», универмаг, гостиница — так вот, на углу, в скверике, стояло стеклянное летнее кафе, и я зашел, выпил под аккомпанемент начинающегося дождика две чашки какао, потом еще посидел за пустым столиком... Впрочем, и все кафе было пусто, если не считать меня и буфетчика. Дождь, кажется, перестал идти — ну, теперь мы пойдем. Я отправился к гостинице — здесь ведь придется задержаться на день-два, это уж минимум. По ступеням высокого подъезда спускалась Манзура.

Я заторопился, но успел подумать: она сама здесь живет? Или была тут у Сумбуль-ая?.. Нет, ведь Сумбуль-ая наверняка еще в обкоме...

— Наконец-то я вас нашел! — сказал я, поднимаясь по лестнице и преграждая ей путь. — Весь перерыв искал... Куда вы пропали?..

Вместо ответа она характерным движением упрямо наклонила голову и спустилась еще на ступеньку.

— Я хотел вам сказать...

— Что?— перебила она резко.— Что вы меня пожалели? Это из вашего импровизированного выступления и так было ясно!.. Но я в подачках не нуждаюсь! Вы поняли? Поняли вы?

— Но, Манзура... какие подачки! Наш собственный проект...

— Знаете, у вас такой вид, словно вы собираетесь смывать какие-то грехи. Так вот еще, чтоб все было ясно: я вас ни в чем не обвиняю... И будьте здоровы!

Она стремительно обошла меня на лестнице, спустилась и, быстро стуча каблучками, пошла прочь.

Обескураженный, словно напрочь уничтоженный всеми оплеухами этого дня, я поднялся по лестнице, вошел в гостиничный вестибюль. Вообще-то в таком, как у меня, настроении просить места у нас в гостиницах — дохлый номер. К стойке администратора надо подходить либо с видом кавалерийского командира, начинающего атаку, либо с победительной улыбкой космонавта, пять минут назад спустившегося на землю. Только это, если не считать брони, и может обеспечить вам койку или комнату. Но брони у меня не было. Не запасся сдуру, хотя мог бы. И все же мне повезло. Видно, выручило то, что паспорт у меня был еще заграничный: не успел обменять, когда приехал; впрочем, я ведь собирался вскоре ехать обратно. Увидев этот паспорт, девушка-администратор угодливо на меня взглянула, попросила заполнить квиточек... и пять минут спустя я уже был в отдельном номере на втором этаже. Тут только я сообразил, что не спросил о Сумбуль-ая. Я спустился, спросил. Да, Сумбуль-ая жила здесь же. Мало того — была у себя. Давно? Да, порядочно.

Значит, она тоже не осталась на вторую часть совещания? Выходит, так. И еще... выходит, это у нее Манзура побывала здесь, в гостинице?..

Сумбуль-ая встретила меня в мягком домашнем халате и цветастом платке. Загорелое лицо ее покраснело — она только что вышла из ванной. Она попросила прощения за свой вид; в ней, казалось, не остается и следа усталости. Она стала поить меня чаем, а за чаем — расспрашивать о моей жизни «на том берегу».

Впрочем, она знала об Афганистане, пожалуй, больше моего, бывала там не раз. Ее интересовало, видимо, что там сейчас происходит, и я принялся рассказывать ей все, что знал, ничего не утаивая, рассказал и об аресте Гуломали... Она сочувственно, с грустным видом качала головой, подливала мне чаю. Казалось, передо мной настоящая «ая», простая старая женщина, которая потчует гостя и выслушивает его байки да излияния. Но так и весь разговор может ни к чему свестись, подумалось мне, надо как-то его повернуть...

— Кажется, у вас Манзура побывала?— сказал я.

— Побывала...

Ну же, думал я, теперь говори, сворачивай на проект, вот ведь главное... Но вид у Сумбуль-ая сделался совсем уж не деловой — задумчивый, грустный.

— Эх,— сказала она,— вы, молодые, полагаете: у стариков на все ответ заготовлен. Не-ет... Человек до старости стоит перед проблемами. И подчас совершенно неразрешимыми... В сущности, самая неразрешимая проблема ждет его в самом конце!.. Но молодые нетерпеливы: туда кидаются, сюда... Сколько я уж с ними имею дело — дала себе зарок: не вмешиваться в их сердечные дела. Да... Но в этот раз — не выдержала. Сказать откровенно, больно мне стало за Манзуру — такая умная, способная, чистая, такая красивая... Что у вас стряслось, Сабирджан?

Я вдруг разозлился. Сумбуль-ая была сегодня и впрямь на себя не похожа. Дала зарок?— говорил я ей мысленно. Ну и надо было держаться! Манзуру пожалела... А когда рубила проект — не пожалела?.. Таким это выглядело ханжеством, не свойственным старой моей руководительнице!.. Но чем яростней бушевали слова у меня внутри, тем растеряней, бестолковой выходили они наружу. Давнее почтение к Сумбуль-ая коверкало их, отсекало, сковывало меня, как панцирь.

— Сумбуль-ая,— пробормотал я,— об этом трудно... и не стоит... тут не это главное... тут многое надо учесть... Самад Деряев...

— Да вы и впрямь свихнулись на этом Самаде Деряеве!— воскликнула она, и я уловил знакомую, недавно слышанную интонацию.— Знаете, на мой взгляд, Манзура совершенно правильную ему дает оценку: парень он способный, настойчивый... достойный по-своему... но не может защитить ни свой проект, ни самого



себя!..—«Проект-то уж понятно почему»,— хотел я вставить, но сдержался.— И у Манзуры... у Манзуры просто душа к нему не лежит.

Такого «семейного» новорота в разговоре с Сумбуль-ая я никак не ожидал. Неловко мне было с ней об этом беседовать — да ведь и ее, кажется, эти темы никогда не интересовали — неловко было соглашаться, неловко возражать... Она ненадолго замолкла и вдруг сказала после паузы, словно на что-то решаясь:

— Я вам скажу, Сабирджан, от души скажу... рискованно это — влюбляться в чужой стране... И свою жизнь ломать, и другие жизни... Но в юности этого не понимаешь...— У меня даже защемило внутри от этих слов, и я глядел на нее во все глаза, пытаюсь понять, знает она что-нибудь конкретно — хотя откуда, откуда?— или говорит наобум, основываясь лишь на предположениях Манзуры, ведь ясно — разговор у них был начистоту. Но Сумбуль-ая на меня и не смотрела, она словно и не со мной говорила — сама с собой.— Нет, не понимаешь в юности... Не дано это молодым... Горит костер, горит ярим пламенем, только топлива требуется...— Тут она наконец подняла на меня глаза.— Конечно, теперь времена другие, расстояния сократились, дороги иные у людей...— Я промолчал, и она добавила, вздохнув:— Ладно... Судьей я тут, конечно, быть не могу. Тем паче — следствие вести...

Почему-то только теперь мое раздражение вдруг оформилось и прорвалось:

— Значит, вот о чем вы с Манзурой беседовали!— Я и сам услышал, каким дерзким упреком это прозвучало.

Сумбуль-ая посмотрела на меня внимательно.

— Не только об этом,— подчеркнув слово «только», сказала она сухо и тоном, уже не допускающим возвращения к этой теме.

Что ж, мне оставалось лишь подчиниться. Тем более что для меня главная тема беседы была все еще впереди. Правда, надежд на добрый исход, я понимал, не было. Если уж проект Манзуры зарублен...

— Я получила ваше письмо, Сабирджан,— сказала Сумбуль-ая другим, спокойно-деловым тоном.— Прочла очень внимательно и обдумала...

«Сейчас... сейчас меч упадет»,— лихорадочно думал я.

— И вот что: обязательно, и как можно скорее, покажите мне материалы вашей группы, я должна с ними ознакомиться...

И я вдруг заметил, что глаза ее заблестели.

— Конечно, Сумбуль-ая...— пробормотал я, лихорадочно соображая, что это может значить. Не для того же она их требует, наши материалы, да еще требует с таким блеском в глазах, чтоб их раздолбать, дискредитировать... Но тогда... тогда как это согласуется с оценкой проекта Манзуры? Ничего я не понимал, у меня голова пошла кругом.

— Когда ж вы их принесете?— сказала она.— Имейте в виду: я вылетаю завтра первым рейсом!

— Они у меня дома, в совхозе... Сейчас же поеду и привезу их вам на рассвете, прямо в аэропорт!..

— Ну и хорошо... и молодец...

Я поднялся, она тоже. Подошла ко мне, обняла за плечи. Потом наклонила к себе мою голову и тихо, матерински, поцеловала в лоб.

Утром в аэропорту я отдал Сумбуль-ая материалы, помахал ей, поднимающейся по трапу, поглядел, как взлетает ее самолет,— и с этого момента мое состояние бездеятельной неопределенности кончилось. Напротив, меня одолела лихорадка работы. Наступила поздняя осень, на инее пустынных перепаханных полей чернели по утрам иероглифы вороньих следов, густые шапки тополиных аллей вдоль дорог осыпались, время не шло — бежало. Я остался в области, неделю консультировался со специалистами «Союзвзрывпрома», потом недели три с утра до ночи сидел в библиотеке филиала, прочесывал литературу, проштудировал диссертацию Манзуры, заказал с нее ксерокопию; потом ездил по новым ирригационным объектам... Наконец вернулся домой, в совхоз, снова занялся нашими расчетами. Но выяснилось вдруг, что дел и работы здесь у меня куда меньше, чем казалось. Скоро со всем будет покончено, а ответа из министерства до сих пор нет, от Сумбуль-ая — тоже. Но ведь мне — будь на дворе зима, или жаркое лето, или осенняя слякоть — необходимо было вернуться на свою трассу, на свой объект, что бы там ни было, как бы ни шло. Моя работа, моя жизнь — все грозило остановиться на полдороге!

Лихорадочное беспокойство не оставляло меня и по ночам, я разгуливал по холодным ночным проселкам, одолеваемый тревогой и надеждами, планами и воспо-

минаниями. Домашние, конечно, озабочены моим состоянием, подчеркнутой моей нелюдимостью, но проявляют деликатность, не навязывают своих забот, стараются не выказывать беспокойства, только взгляды их я изредка ловлю — внимательные, печальные, тоскливые, недоумевающие. В одну из вечерних прогулок напрашивается со мною Лола, сперва молчит, поглядывая, прислушивается к моим мыслям, а потом, не в силах больше сдерживать себя, начинает щебетать, болтать, рассказывать... Об олимпиаде юных математиков, на которую надеется попасть... о комсомольской путевке, которая ей обещана... Я слушаю, киваю, односложно поддерживаю видимость разговора, а сам смотрю искоса — и вспоминаю Зулейхо. Она ведь всего на три года старше Лолы — но как же не похожа ее жизнь на эту, сколько там мучительных забот, страхов — и какая безысходность, незащитность! «Поцелуйте землю моих отцов и дедов!» — с горькой улыбкой сказала она в последнюю встречу. Я и забыл, а она ведь всерьез просила, не ради красного словца...

Я нагибаюсь, поднимаю ком земли. Он рассыпается в моей ладони, как горсть хлебных крошек. Подношу землю к лицу, прикасаюсь губами, вдыхаю запах этой родной почвы. Лола смотрит на меня с удивлением, но не объяснять же ей, да и мысль ее скачет, не останавливается надолго на чем-то одном.

— А в Афганистане земля так же пахнет?.. — спрашивает она.

— Да... — говорю я ей и на мгновение задумываюсь. — Да, — повторяю я, — и земля там, и вода, и воздух — почти как у нас!

— Почти!.. — говорит Лола. — А правда, что там тоже завелись басмачи? Я в газете читала...

— Раз в газете — значит, правда... Завелись, завелись — как и у нас в свое время...

— И я подумала: как у нас! И конец у них такой же будет как у нас! И будущее такое же — правда?

— Правда, — говорю я. — Почему бы нет!

Поскольку со мной Лола, с прогулки я возвращаюсь на этот раз рано. Ночью мне снится Зулейхо. Только она уже взрослая женщина. Сверкая своими огромными глазами, она сидит рядом с Сумбуль-ая на берегу Аму.

— Вы разве знакомы? — спрашиваю я удивленно. Они обе смотрят на меня.

— А ты и не знал?— говорит Сумбуль-ая.

И я думаю: в самом деле, я же знал об этом! И снова смотрю на них — да ведь они похожи! Как странно, а я прежде не замечал... Хотя что в них похожего?.. И тут сон мой расплывается, растекается, как пена на воде, и я просыпаюсь. На краю супы сидит мама в своем белом халате, и, как всегда, от нее исходит запах свежеспеченного хлеба.

— Ты же сегодня в Ташкент собирался, сынок... Вставай, завтрак готов...

Она ждет, пока я умоюсь, побреюсь, оденусь, сяду за стол, поем. И молчит. Когда я кончаю есть, она спрашивает тихонько:

— Опять, сынок, собираешься нас покинуть?..

— Ну что вы, мама, что значит «покинуть»! Если и поеду снова — это ж совсем близко, на другом берегу реки...

На аэродроме было серо, хотя день уже давно наступил. Небо затянуло облаками, в низинах клубился туман. Я думал, рейс задержат по метеоусловиям, но повезло — полетели. А в Ташкенте ясно было, и легкий морозный дух веял над усеянными опавшей листвой проспектами. В Президиуме Академии наук меня провели в приемную, сказали: ждите, Сумбуль Садриевна на совещании... Но не прошло и пяти минут, как она вышла ко мне — легким пружинистым шагом, подтянутая, сухощавая, в неизменном берете — ничуть не похожая на седенькую «ая» тогда в гостинице.

— Почему ж не приезжал раньше!— сказала она вместо приветствия.— Тебе уже давно уехать пора!..

— Но я не знал!

— Как не знал! Я чуть не месяц назад звонила в министерство! Все сказала! Тебя разве не вызвали?

— Нет!..

— Ах, безобразиие... Безобразиие! Ладно, разберемся. Тебе надо ехать немедленно. Немедленно! Медлить — просто преступление. Понимаешь?.. Пошли в кабинет!

В кабинете она села за стол, вытащила из ящика мои папки.

— Ты сам-то понимаешь, что вы наработали?— спросила она.

Я неопределенно мотнул головой. Я боялся расценить это так, как мне хотелось, но, кажется, так все и было. Внутри у меня что-то запело тихонечко.

— Жаль, что постарела я, сынок... — сказала Сумбуль-ая. — А то бы поехала с тобою... Ей-богу, поехала бы! Счастливый ты парень. Такой случай, такое открытие, такая удача раз в жизни бывает!

— Но, Сумбуль-ая...

Она меня словно не услышала.

— Неужели из министерства тебе так-таки ничего и не сообщили?..

— Ничего, Сумбуль-ая... Но, может... какие-нибудь препятствия? Неблагоприятная обстановка...

— Препятствия! Какие препятствия? Никаких препятствий! — Она хлопнула ладонью по столу. — Война, революция, землетрясения — ничто не должно этому помешать!

Она раскрыла одну из моих папок, полистала, явно стараясь успокоиться, вытащила из груды таблиц и схем топографическую карту и расстелила на столе.

— Ты знаешь, — сказала она, — что об этих реках, бравших воду с ледников Кухинав, писали еще историки кушанского царства? Да, да... Кстати, их часто именовали анхорами — каналами! Вряд ли мы теперь узнаем, какие катаклизмы происходили с теми молодыми горами, но факт, что ледники иссякли, ну и реки — анхоры — высохли... Да, сынок, даже ледникам приходит конец, хоть их и называют «вечными»... Я постараюсь с помощью наших космонавтов добыть для вас достоверные сведения о системе этих древних русел. Мы ведь недавно получили от них доказательства, что в прошлом Аму протекала через пески Красноводска, можешь себе представить? Ну да ладно, сейчас о твоём проекте... Я тебя еще раз поздравляю, сынок. Обводнение древних русел Чорданахра, возврат их к жизни будет просто чудом! История гидрогеологии такого еще не знала... И притом самое дешевое в мире гидросооружение! Нет, нет, это дело не терпит отлагательства. И ведь я подробно ознакомила министерство со своими соображениями! Что ж они там — совсем обюрократились?..

— Вот пойду в министерство — узнаю...

— Ты-то, конечно, пойдешь. Но я и сама скажу им пару теплых слов!.. Ты должен вернуться на свой

объект — и в ближайшие по приезду дни завершить работу группы. Чтобы приступить к работе с проектировщиками!

— К сожалению, Сумбуль-ая, группы сейчас, я думаю, не существует, распалась... ведь я вам рассказывал...

— Да, да... распалась... Ну что ж, пусть создают новую!

— Если это возможно... мы ведь не знаем, что там сейчас творится...

— Ну, ну! Не помню, чтоб ты раньше проявлял пессимизм! А уж в таком деле... Ведь ехать-то надо, или как ты полагаешь?

— Конечно надо. Ехать надо во что бы то ни стало!..

— Ну вот! Ну вот! Это — интонация правильная... Собирайся, Сабирджан, торопись!

И тут я понял: не могу я не спросить о том, что меня все время молчаливо грызло. Почему, если она так меня превозносит, почему, почему отвергла она проект Манзуры?.. Ведь принцип-то у нас — один!..

Я набрался храбрости и спросил.

Сумбуль-ая потемнела лицом, помолчала.

— Эх, сынок...— сказала она наконец.— Это — другое дело... об этом... потом...

Дождливым утром в день моего отъезда Лола, уходя в школу, попрощалась со мной — и даже расплакалась: не пойти в школу, чтоб проводить меня, ей родители не разрешили. Но уже через час, запыхавшись, вся раскрасневшаяся, она снова появилась в калитке: с широко раскрытыми глазами, разбрызгивая грязь, подбежала ко мне, отбросив капюшон, кинулась на шею — и горячо, обжигающе зашептала в ухо. Слова ее я скорее угадал, чем услышал.

— Где?..— переспросил я.

— Вай...— Она еще шире распахнула глаза, словно говоря: «Неужели сами не знаете?»— и, еще пуще раскрасневшись, если это только было возможно, умчалась обратно в школу, забыв закрыть за собой калитку.

Я, конечно, догадался где. Весточка ее меня разволновала.

До того я сидел, глядя, как дождь поливает и без того размокшую землю во дворе, видел краем глаза, как мать колдует над моими рюкзаком и чемоданом.

Теперь же торопливо натянул сапоги, взял с вешалки плащ, буркнул матери: «Я скоро» — и пошел к задней калитке двора. Оттуда знакомая тропинка вела к заветным валунам на берегу.

Дождь, пока я шел, утих, но песок на берегу наглотался воды до отказа, любой след тотчас превращался в лужицу. Безрадостно чернел мокрый кустарник. Ее я увидел еще издали, как бывало и прежде когда-то. Она стояла у нашего валуна с непокрытой головой, держа в руках закрытый зонтик. Заметив меня, она как-то встрепенулась, выпрямилась.

— Доброе утро, Манзура...

— Доброе утро, Сабир... Пожалуйста, не обращайтесь внимания на мой вид. Не выспалась. Ночной рейс задержали, полночи в аэропорту провела... потом летела, потом сюда ехала! Хорошо, что застала вас, думала — опоздаю. Вчера мне позвонила Сумбуль-ая...

— Сумбуль-ая?!

— Да...

— Что-нибудь случилось?..

— Нет, ничего не случилось.

Я едва удержался от следующего вопроса, который был уже на языке. Но Манзура угадала его в наступившей паузе.

— Ничего не случилось, — повторила она с какой-то неумелой улыбкой на посиневших от холода губах. Должно быть, здорово продрогла. — Просто... приехала...

И в этом «просто... приехала» была такая неожиданная в теперешней Манзуре беспомощность, незащищенность, такая неуверенная нежность, точно она протягивала мне для рукопожатия руку, не зная, протяну ли в ответ свою. У меня защемило сердце от жалости.

— Манзура, вы же продрогли насквозь, промерзли!.. Пошли к нам домой.

— Нет, нет!.. — Она энергично затрясла головой. — Нет... я пришла... приехала... попрощаться. Сумбуль-ая сказала — вы уезжаете. И, конечно, надолго... А к холоду... — она улыбнулась краешком губ, как бы слегка подчеркивая это «к холоду», — к холоду я уже привыкла. — Полуулыбка ее исчезла, лицо стало серьезным. — А если по правде — я приехала попросить у вас прощения за свои необдуманные слова.

Я молча снял плащ, набросил на нее, обнял ее за плечи. И она робко ко мне прижалась, только дрожала вся. Странно это, чертовски странно, как все может измениться в людях и в жизни. Мы стояли, как едва знакомые, а ведь здесь, у этого самого валуна, мы когда-то обнимались куда горячеей...

— Скоро туман рассеется, солнышко выглянет,— сказала она тихонько, как бы полусонным голосом, но мне опять почудился в ее словах второй смысл. Это — от твоей нечистой совести, сказал я себе. Может, никакого второго смысла в ее словах и нет, просто говорит что думает. Манзура, кажется, согрелась немного, перестала дрожать. Запах ее мокрых волос был такой близкий, такой знакомый...

— Не надо у меня просить прощения, Манзура. Это я перед вами виноват.

— Да нет, не виноваты,— сказала она тем же как бы полусонным, ласковым, спокойным голосом. Ничего, значит, не почувствовала.— Знаете,— продолжила она,— когда ая позвонила и сообщила... меня охватила такая тревога! Ведь что там сейчас творится... и не угадаешь. Вы должны дать мне слово беречь себя! Это — во-первых...

— А во-вторых?

— И во-вторых и в-третьих — беречь себя! Обещаете?

— Да,— сказал я. Я вдруг понял, что так дальше нельзя. Это было уже не умолчание. Это пошел обыкновенный обман. До сих пор я еще себя обманывал — будто просто стараюсь щадить ее чувства. Теперь обманывал ее: она ведь явно поверила, что все по-прежнему...

И, отпустив ее плечи, отодвинувшись на шаг, я все рассказал ей о Зулейхо.

Она стояла неподвижно, как изваяние.

Я кончил говорить, она все так же стояла.

«Что же дальше будет?» — думал я со страхом, почти с отчаянием. Туман рассеялся, но Манзура ошиблась — солнца и в помине не было, небо сплошь затянуто низкими, серыми, темнеющими тучами, тянуло холодом, обещавшим снег.

Манзура шевельнулась. «Сейчас плащ отдаст», — подумал я с тоской. Нет, не отдала, напротив, закуталась плотнее. И вдруг заговорила, голос был изменившийся, глуховатый.



— Сабирджан-ака... я ведь чувствовала, знала это... Знала. В тот день в гостинице я так Сумбуль-ая и сказала. А она мне: «Ты что, поставила ему условие не разговаривать с красивыми девушками?» Нет, говорю, не ставила. Ну и очнись, говорит. Такие условия и нельзя ставить... Какой парень на красивых девушек не заглядывается? Да... вот так. На красивых... тем более... — голос ее дрогнул, — на таких, как Зулейхо... которую вы считаете «символом красоты»... Ну, что я могу сказать? Я ведь и впрямь никаких условий никогда не ставила, правда?.. Но расставаться нам так... в таком настроении... было бы неладно. Нельзя. А теперь все в порядке... Поговорили.

И она вдруг просто, доверчиво прижалась ко мне. Мне показалось, что посветлело. Может, солнце все-таки где-то пробивается?.. Нет, не видно пока. Я сжал ладонями мокрые щеки Манзуры и притянул к себе ее лицо. С ее щек и висков стекали капельки дождя, мокрые волосы прилипли ко лбу; и вдруг мне показалось: в этом милом лице сосредоточено все самое дорогое, что я оставляю на родине. А она подняла руку и стряхнула смуглым пальцем дождинку с моих ресниц.

В посольстве о приезде Тохтабаева, конечно, знали, но особого внимания появление его не привлекло. Все тут были чем-то заняты, озабочены, большинство сотрудников — новые, но и прежние, показалось Сабиру, заметно переменились. Или, может быть, обстановка переменилась — ну разумеется, разумеется! Чувствовалось, что все напряжены до отказа, словно в лихорадочном ожидании каких-то вот-вот могущих грянуть и, однако, решительно непредсказуемых событий. Это напряжение чувствовалось уже в самом воздухе посольства, смешанном с сигаретным дымом и запахом кофе. На Сабира поглядывали мельком, и он читал в этих взглядах: «Тебе-то что здесь надо в такое время?» В самом деле, ежели подумать: что здесь делать какому-то гидрогеологу, одержимому идеей древних русел, когда сегодняшняя судьба страны повисла на волоске? До новых ли каналов сейчас афганскому дехканину, если его семья, род, племя раскалываются надвое, если решается вопрос самой жизни и смерти, а сам он, едва успев собрать ячмень с полей, спрятался и боится высунуть нос из дому?..

Настроение Сабира несколько подняла поначалу только встреча с советником по экономическим вопросам. Этот пожилой человек, шутливо называвший Сабира не иначе как «мирабом», приезде его, казалось, искренне обрадовался и сказал, что его здесь давно ждут.

— Ну?— сказал он, попросив принести им кофе и возвращаясь на свое место за маленьким столиком, за который усадил и Сабира.— Выше голову, мираб! А то, я гляжу, вы тут у нас несколько приуныли... Да!— Он вспомнил что-то.— Ваш друг... как его зовут?.. замучил нас телефонными звонками. Звонит чуть не каждый божий день: «Не приехал ли? Когда приедет?»

— Кто это?..

— Ну, да тот же... который еще так отчаянно кашляет... Худющий такой... видно, очень болен.

— Да нет у меня ни друга такого, ни знакомого!

— Ну как же, помилуйте... работали вы с ним...

— Работал?.. Но как его зовут?

— Как-то... сейчас... то ли Заргар...

— Коргар?!

— Вот-вот! Коргар!

— Гуломали Коргар! Так он жив? Жив?!

— Жив, жив! Не с того же света он нам звонит!

— Но позвольте... вы говорите, он все время кашляет... худющий... Он же был здоровенный крепыш!

Советник в полушутливом извинительном жесте развел руками:

— Ни в чем не повинен! Я его уже только таким знаю...

— Нет, понимаете...— сказал Сабир.— Как-то это странно... может, кто-то выдает себя за него? Время такое... Гуломали Коргар был здоров как бык!

Лицо советника сразу сделалось серьезным.

— Постойте, постойте, мираб,— сказал он.— Давайте по порядку разберемся... Если он был здоров как бык, почему вы так удивились, что он жив?

— Просто, когда я уезжал, он... он исчез.

Советник посмотрел внимательно.

— М-м-м...— сказал он.— Понятно...— Хотя ясно было, что ему пока ничего не понятно.— А когда вы видели его в последний раз?

— Я же говорю — незадолго до моего отъезда...

Советник снова посмотрел так же внимательно, но допытываться не стал.

— Где же он сейчас? Не оставил адреса?— спросил Сабир.

— Почему — оставил!.. Он в госпитале. Должен, по крайней мере, быть в госпитале. На лечении. Знаете сквер Зарнигар? За ним на повороте белое здание госпиталя. Оттуда, по его словам, он мне каждый день и звонил...

— Тогда...— сказал Сабир.— Вы меня извините... Я прежде всего пойду его поищу... Это жизненно важно для всей нашей с ним работы...

— Пожалуйста!— Советник великодушно улыбнулся.

— А к вам...

— А к нам — в любое время, прошу вас! Буду ждать... Вы меня этой историей очень заинтересовали. Не забудете зайти?

— Нет, что вы!..

В госпитале, однако, Сабиру сказали, что Гуломали Коргар у них не числится. Что же это все может значить? Что с Гуломали? И... и с материалами! В такой круговерти они вполне могли попасть в руки какого-нибудь афериста вроде господина Лала... Нет, надо попытаться выяснить! Он снова пошел к администратору госпиталя и узнал, в конце концов, что Гуломали Коргар в госпитале все-таки находился некоторое время... А теперь?— спросил Сабир. А теперь его, по его требованию, выписали, и он лечится амбулаторно. Нашли даже его адрес, записали, Сабир с опаской перечел бумажку и отправился искать махаллю Шахидо.

Лил холодный дождь, тротуары были затоплены грязью, стекающей с развалин. В небе кружил патрульный вертолет. Полдень, а на улице почти нет прохожих, дуканы закрыты, на стенах, вперемешку с трещинами, следы пуль... Только на берегу мутной реки Кабул, на побелевших камнях, разложили свое белье трудолюбивые прачки и ждут, когда выглянет солнце.

Пока добирался до махалли Шахидо, Сабир промок до нитки и с трудом волочил облепленные грязью сапоги. К махалле с одной стороны примыкало кладбище, так что жилью тут, очевидно, было дешевое. Нужный дом оказался плоской глинобитной кибиткой. Кто-то подал голос со двора, Сабир открыл калитку, вошел, но никого не увидел. Дом с единственным окном тоже казался темен и пуст. Сабир распахнул дверь. У задней стены лежал на полу матрас, в беспорядке валялись

одежда, сапоги, овчина, книги, бумаги какие-то. Рядом с дверью на старом полуразбитом сундуке стоял примус. Форточка, однако, была раскрыта, воздух свежий.

Сабир огляделся раз, другой и хотел уже уходить, как вдруг в задней стене открылась еще одна, не замеченная им дверь. Вошел человек, он и Сабир долго всматривались друг в друга в полутьме. Господи, да неужели... Это был Гуломали, но неузнаваемо переменявшийся! Худой как щепка, и половины от него не осталось, глаза ввалились, кости торчат...

— Гулом!..

— Сабирджан!

Сабиру страшно было сжать в объятиях худое, съжившееся тело друга — таким оно казалось хрупким. Но Гуломали, обрадованный, прямо-таки ослеславленный его появлением, держался бодро, потащил гостя в соседнюю комнату, что обнаружилась за внутренней дверью. Там было прибранней, опрятней, стоял на столике горячий чайник. Гуломали зажег лампу, но в ее свете только резче бросались в глаза его выпирающие скулы с нездоровым румянцем, поредевшие волосы с проседью.

— Как же твое здоровье? Я ведь тебя через госпиталь нашел!..

— Я так и рассчитывал! Только уж не надеялся... Господи боже мой, какое счастье, что ты приехал, Сабир! Твой приезд все решает... — Он торопливо поставил на стол сахар в коробке, положил кусок лепешки, налил чай в пиалы. Руки у него дрожали. — Как я тебя ждал, ты не представляешь... Дома у тебя, на родине — как? Все живы-здоровы?

— Все в порядке, Гулом... Я привез с собой научные обоснования, рекомендации «Взрывпрома»... и благословение Сумбуль-ая!

— Молодец, ой молодец какой! Сабир, дружисе... — Он закашлялся, но сравнительно быстро подавил кашель. — А у нас... ох... у нас делом теперь занимается само правительство! Проектировщики приступили к работе, им специально подвал оборудовали; консультируют два индуса, министерство готово проект с руками оторвать... Да, есть уже директива насчет обеспечения нас строительно-техническим оборудованием, выделения средств... Все есть — только людей не хватает! За всех, за всем приходится бегать самому! —

Он снова закашлялся, на этот раз надолго, надрывно, и Сабир смотрел на него со все растущей тревогой.

— Я сейчас...— невнятно пробормотал Гуломали, выскочил из комнаты, вернулся через несколько секунд, все еще докашливая и пытаясь отдышаться.

— Ф-фу...— сказал он.— Допек меня этот кашель... Ладно, пей чай, а то остынет!— И сам взял пиалу и стал отхлебывать помалу.

— Гулом! Почему ты из госпиталя выписался, скажи? Ведь ты всерьез болен! Почему не лечишься?

— Во-первых, лечусь... Ты не думай, вот уж чего мне не хочется, так это умереть — теперь, когда так продвинулось наше дело! Но, понимаешь ли... Партийные товарищи нам рекомендуют жить по возможности в укромных местах. Кабул — все-таки большой город! Душманы, знаешь ли, буквально рыщут по нашим следам. Чтобы уничтожить разом возможно больше наших, взрывают или пытаются взорвать все крупные здания подряд!.. А в больнице, сам понимаешь, старики, дети, инвалиды... Из-за меня одного могут пострадать многие... А что до лечения — так я регулярно хожу в госпиталь.

— Ну да, там же есть телефон, и можно обговорить все дела, не так ли...

Они оба невесело рассмеялись.

— Где ты подцепил эту болячку?— сказал Сабир.— Такой был здоровый мужик!

— Так нас же гнали пешком триста километров! Днем и ночью! Через воду, через лес! Намокнем — выдохнуть не давали, падаем, умираем от жажды — пить не позволяли... Никто, главное, не говорил, куда нас гонят. Потом, правда, сказали: под пули душманов сперва должны подставить грудь парчамисты. Ну, думаю, это еще ничего, пусть, коли так... Оказалось — вранье. Говорили, просто чтоб посмеяться над нами. Тогда-то, в этой дороге, я и простудил легкие. А добил их уже в тюрьме... Как добрались мы до тюрьмы Пули-Чархи, бросили меня в сырой бетонный колодец и два часа обливали ледяной водой!.. Слышал небось о Пули-Чархи? Нет?.. Ее гитлеровцы в свое время в подарок нашему шаху построили... Самая страшная тюрьма на свете. За все время мы — первые попавшие туда, которые вышли назад живыми! Воспаление легких, которое...— Тут он снова зашелся в отчаянном приступе кашля, сотрясаясь всем телом, пытаясь выругаться

в адрес своего кашля или прижимая ко рту мятый платок. Посиневшее лицо покрылось крупными каплями пота. И вдруг Сабир заметил на платке пятнышко крови...— Воспаление-то легких, которое я тогда подхватил, давно ведь прошло, понимаешь ли!— сказал он, отдышавшись.— А это... это совсем другое... вот здесь...

— Что?

— Да ударили меня! Вот и не проходит... Ладно. Главное — руки-ноги целы, голова на месте. Никто из нас не думал выбраться из Пули-Чархи, а раз выбрался... остальное — чепуха!

«Бедняга!— думал Сабир, изнывая от мучительной жалости, которую не смел показать Гуломали.— Пока я отлеживался, или работал, или гулял дома — он мучился в Пули-Чархи, зарабатывал чахотку... Его нужно в хорошую больницу, немедленно, и лечить, лечить... Но ведь не пойдет! Ни за что не пойдет!»

— Все это не такая чепуха, как ты думаешь. Тебе нужно серьезно лечиться, Гуломали! Очень серьезно!

— Да брось, еще будет время об этом потолковать.

— Упрям же ты!.. Кстати об упрямцах — как твой дед, Садык Сардор?

— Жив, что еще скажешь... Жив, слава богу! Но сильно сдал. И один ведь. Все зовет меня к себе, но ты же знаешь, не могу я здесь все бросить... Да! Ты ж еще не видел, наверное!— Он взял сложенную газету, лежащую в углу поверх груды бумаг и брошюр, и протянул Сабиру.— Посмотри!..

Газета называлась «Инкилоби Савр»—«Апрельская революция». На третьей странице были опубликованы записки доктора Сухайля. Похоже, полностью. В центре полосы поместили фотографию. Сабир подошел к свету, чтобы разглядеть. На фотографии были сняты члены группы «Большой Аму». Посредине с высокомерной улыбкой на устах стоял господин Лал Махдий, слева — грустный доктор Сухайль. Он смотрел в объектив как бы с мольбой, будто пытаясь взглядом передать нечто, чего не мог сказать вслух...

— Ты же отдал это в «Кабул таймс»?..

— Да, но они так и не напечатали. Когда я вернулся в Кабул, потребовал материал обратно...

— Прекрасно получилось! По крайней мере одно важное дело ты уже довел до конца... Спасти от клеветы имя такого человека, как доктор Сухайль,— это святая обязанность...

— Сардору будет приятно.

— А он что, еще не знает?..

— Думаю, нет. С тех пор как вышел этот номер, я у него не был, а сама газета вряд ли дошла до Мазари-Шерифа. Тираж пока маленький...

— Интересно, видел ли это Ауранг?

— Знать не знаю. Хотя с удовольствием сунул бы ему в прыщавую рожу — пусть прочтет, поразмыслит своими куриными мозгами!.. Но где его найдешь? Военный лицей закрыли, большинство курсантов, во главе со своими подлыми офицерами, подалось к душманам... Небось и этот Ауранг — тоже... Он всегда держался сильных.

— А у дяди Шокалона... что там делается? В кишлаке?..

— Да, да, понимаю... тебя Зулейхо интересует...

— Да! Так что там?.. Что молчишь? Что-нибудь...

— Нет, нет... Просто ничего не могу ответить толком. Я туда ездил. Усадьба пуста, нигде никого. Соседи, которые уцелели — ведь резня там еще при тебе была? — так соседи ничего не говорят... Или не знают, или боятся рот раскрыть. Где все, что с ними — боюсь, никто пока не ответит. Думаю, где-нибудь в горах... с душманами... если не еще подальше...

— Где подальше?..

— Могли и за границу податься... Хотя нет — не думаю. Дядя слишком далеко от своей дорогой земли не уйдет... Хоть она уже и не его.

Пока они разговаривали, за окном смеркалось, темно, в форточку вдруг ворвался порыв сырого вечернего ветра, и Гуломали опять закашлялся. Сабир встал, прикрыл форточку, стоял, глядел на друга, не зная, чем помочь.

— Ну и ну... — сказал Гуломали, отдышавшись. — И выворачивает же меня! Я тебе, кстати, забыл сказать самое важное: я ведь завтра еду в эти края!

— Ты? Едешь? В таком состоянии?!..

— Состояние как состояние. Не преувеличивай. Что здесь кашлять, что там.

— С кем же ты едешь?..

— Есть у меня один парень, отличный шофер.

— И что — это обязательно, ехать вот сейчас?

— Вот так обязательно! — Гуломали провел ребром ладони по горлу, обозначая верхний предел необходимости. — Понимаешь — прибывает сельскохозяйствен-

ная техника и землеройные машины... в основном от вас, из Советского Союза. Завтра должен отправиться в путь караван со взрывными устройствами, гидромониторами, грейдерами, экскаваторами... И пройдет он как раз близ кишлака Пайки!.. Тут решили — чтоб не таскать взад-вперед, кругным путем, через столицу... часть, нам необходимую, оставить прямо в дороге. Разместить поближе к объекту.

— Ну что ж, разумно, но... Слушай, я с тобой поеду!

— Не-ет!

— Гулом, кто здесь лучше меня знает наши машины? Сам подумай? Их надо проверять, опробовать...

— Это, конечно, все верно, и прекрасно, но мы сейчас этого себе позволить не можем. Я ж тебе сказал: людей катастрофически не хватает! А у тебя тут важнейшее дело, слава богу, что приехал: проектировщиков одних оставлять нельзя, будешь с ними, тем более что ты привез поправки, уточнения... При тебе они и быстрее, и верней все завершат.

— И все-таки — как ты поедешь? По такой погоде... в дороге... Здесь, по крайней мере, госпиталь поблизости!

— Ладно, ладно, ты что-то сильно разговорился... Пора ложиться! Завтра вставать чуть свет... Ведь ты, надеюсь, у меня останешься?.. Ну вот...

Гуломали пошел в соседнюю комнату, притащил матрас, потом одеяла.

Они кое-как устроились, легли. И продолжали разговаривать.

— Слушай, спать же пора! — сказал наконец Гуломали. — На рассвете Булбулшо пожалует!

— Ка-ак?.. Булбулшо?.. Тот самый наш толстый геодезист?

— Он самый.

— Так ты еще и на мотоцикле поедешь?!

— Нет, что ты! Булбулшо теперь на машине!.. За гроши купил старый драндулет — видел бы ты, равных не встретишь! — отремонтировал, окрасил во все цвета радуги, повесил бахрому — и разъезжает где хочет... У нас такая машина «бурибхай» называется...

— Смотри, какой оказался предприимчивый!

— Ага. И говорливый. Спасу нет — и разливается, и разливается... в полном соответствии со своим именем. Ну, ты ж его знаешь... Зато человек надежный. Завтра к вечеру он доставит меня к перекрестку Са-



мангон, там я должен встретиться с караваном. Будем сопровождать технику до Янгиарыкской базы, потом смогаемся в Пайки, в Мазари-Шериф, разузнаем, что можно, — и обратно...

Они заснули поздно, но перед рассветом Сабира разбудил надрывный кашель Гуломали. В комнате стоял резкий холод, форточка была раскрыта настежь. Сабир вскочил, хотел было закрыть, но Гуломали, продолжая отчаянно кашлять, рукой показал: не закрывай. Сабир согрел чаю, Гуломали, однако, едва мог сделать глоток меж двумя сотрясавшими его приступами.

Еще затемно появился Булбулшо; он радостно удивился присутствию Сабира, но его излишням помешал все тот же кашель Гуломали. Они оба — Сабир и Булбулшо — стояли и беспомощно смотрели, как извержения воздуха из впалой груди больного сотрясают все его изможденное тело. За окнами был уже белый рассвет. Гуломали затих наконец, задыхаясь, обливаясь потом.

— Домла... — сказал ему Булбулшо, чуточку выждав. — Время проходит, что будем делать? Не выехать сейчас — караван пропустим, они ждать не будут...

У Гуломали, видно, не было сил даже ответить.

— Вот что! — решительно заявил Сабир. — Выход только один: еду я! И не спорь! — закричал он, увидев, что Гуломали порывается что-то возразить. — Ехать надо, а ты ехать не можешь... Все, все!.. Прежде чем выехать из Кабула, мы заедем в наше посольство. Мои вещи — там. Переоденусь, предупрежу обо всем. И скажу: если не вернусь в самые ближайшие дни — чтоб давали тебе из моего багажа все, что потребуется! Собственно, все материалы по проекту — в большом черном «дипломате»... Понял? Запомни — в черном «дипломате»!.. И вот еще что... только, пожалуйста, не взбрыкивай и не сопротивляйся... Я попрошу, чтоб к тебе прислали толкового доктора... И не спорь, не спорь!

Но у Гуломали и не было сил спорить. Он смотрел на них отчаянными, скорбными глазами. И сказал только, едва ворочая языком:

— Газету... возьми-ми...

— Да, да! Беру! И завезу Сардору...

Сабир оделся, они попрощались. Сабир первым пошел из комнаты. Булбулшо — за ним, оглядываясь и приговаривая наигранно бодрым тоном:

— Не беспокойтесь, домла! Поправляйтесь!.. Клянусь, скоро вернемся! Все будет хорошо, клянусь...

Когда караван повернул, после большого пере­к­рестка, на дорогу, ведущую к Янгиарыку, холодный дождь, не прекращавшийся с утра, перешел в снег. Старая дорога, прямая как стрела, когда-то была по­крыта гравием, но теперь являла собою сплошную грязь да ухабы. Пушинки снега, все еще вперемешку с дождевыми каплями, летели по ветру и тоже таяли на лету. И, однако, поля по обеим сторонам дороги, луга, подножья холмов побелели.

На всякий случай впереди пустили скреперы, посре­дине неуклюже двигались три грейдера и экскаватор, потом трактор «Беларусь», а позади, на большегрузом, накрытом брезентом «КамАЗе» с прицепом ехали кон­тейнеры с деталями гидромонитора и взрывными уст­ройствами; пять вооруженных часовых, выделенных народной милицией — царандоем, тоже укрывались в кузове «КамАЗа», под брезентом.

Сабир устроился в кабине трактора «Беларусь», вскоре к нему присоединился Булбулшо; он набросил на себя плащ-палатку, накидку свою передал Сабиру и, отряхнув, сколько был в силах, грязь с сапог, полез в кабину. Даже удивительно было, как он мог уместиться в таком небольшом пространстве. Впрочем, несмотря на свою мощную комплекцию и некоторую одышливость, толстяк Булбулшо вообще был малый ловкий, деятельный и расторопный. Когда они встрети­ли караван, он садился поочередно за руль каждой ма­шины и с удовольствием ее опробовал.

— У-у! — приговаривал он, вылезая. — Могучая машина! Как буйвол! Э-э, как пять буйволов, клянусь! И новенькая, а грязь мы раз-два — и смоем...

И вытирал ветошью машинное масло с посиневших от холода рук.

Отца его звали, как выяснилось, Гульбаз. Но Булбулшо Гульбаз был душою привержен занятиям, от­нюдь не соответствовавшим этим поэтическим име­нам!..<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Булбулшо — Царь-соловей, Гульбаз — любитель цветов.

— Правильно, что вы оставили свой «бурибхай», — сказал ему Сабир в кабине. — По этим дорогам только на бульдозере и ездить...

— А как же! Я ж их всех знаю, клянусь! Все эти дороги... Вот и спрятал «бурибхай» под навесик, попросил царандойцев приглядеть. На обратном пути ой как будет кстати!.. Клянусь, люблю я эти степные шири, а полюбоваться не могу, все времени нет, клянусь — суетиться надо, зарабатывать, да и малыши дома ждут... — Это Булбулшо уже оседлал своего любимого конька, теперь долго не слезет. Он говорил, не ожидая и не требуя участия слушателей, так что под его нескончаемую болтовню можно было спокойно дремать или думать о своем, только изредка, впопад или невпопад, кивая головой. Моторы натужно гудели, кабинку резко подбрасывало на выбоинах, стекла окошек наполовину залепило снегом; в кабинке было тепло, уютно, и это, вместе с бесконечной лентой проплывавших мимо безлюдных заснеженных полей, навевало дрему; впрочем, и половина ночи без сна сказывалась. Когда очередной особенно резкий толчок пробудил его, Булбулшо все еще продолжал свое:

— ...Я ж и старенький мотоцикл, на котором вы ездили, клянусь, для того и купил, чтоб малышей своих навещать. Клянусь! Помните, через день в город удирали?.. Это ж домой, клянусь! У-у, близнецы мои! Хасан и Зухра! Самые красивые дети на свете, клянусь! Жить без них не могу... Давно бы я бросил эту профессию скитальца, если б... если б не домла Гуломали — и вы, домла! Клянусь, в жизни еще таких людей не встречал...

— Это каких?..

— Да таких вот — вы же сами видели... еле дышит... встать не может... а готов ехать... ведь дни и ночи был на ногах... Увидел, что я тоже дело люблю, ну и взял меня шофером. Клянусь, я же в курсе всех его дел! С тех пор как освободился, клянусь, только и знает, что проект двигает, утрясает всякие дела с правительством! Знаете, как наш проект называют? «Плод апрельской революции», вот как! Э, раньше, клянусь, думал — великие дела только великие люди делают. Теперь вижу — простые вроде люди, как Гуломали-ака, как вы, Сабир-ака... а тоже делают настоящее великое дело. Клянусь, я благодаря вам и эти места полюбил, еду — обратно тянет...

— В этих местах осуществится будущее, Булбулшо. Так что человек, который любит своих детей, должен этому способствовать...

— Хорошо сказали, домла, ой хорошо! А как же... Ведь я и способствую, верно? Чем могу, клянусь... Нет, пока своими глазами не увижу, как этот проект осуществится,— клянусь, с вами не расстанусь! Лишь бы своих малышей навещать...

— Ну конечно, Булбулшо... Вы эти дороги-то примечаете?

— Да я их зна-аю!

— То вы по ним на мотоцикле ездили... это одно. А следующим караваном тяжелые самосвалы пойдут... Совсем другое дело. Примечайте, примечайте, вам эти самосвалы и придется везти, Гуломали теперь побережь надо!

— Есть, домла! Понял! Клянусь, понял!— И Булбулшо затянул свою любимую народную песню, которую Сабир от него уже несчетное количество раз слышал:

Время придет и весне возродиться,  
время придет и луне возвратиться —  
ах, соловьи и цветы...

Машины, медленно урча, преодолевали ухабы. Водитель напряженно вглядывался в пелену снега и тумана впереди и время от времени рукавом вытирал пот со лба. Это был высокий худой пуштун с отросшей бородой и грязной чалмой на голове. Между ним и Сабиром лежала старенькая пуштунская двустволка. Все время до сих пор он молчал, но теперь — то ли от усталости, то ли от раздражения на неумолчно болтавшего Булбулшо — пробурчал:

— Поберегли б себя... тут всюду муджахиды снуют.

— Типун тебе на язык!— закричал Булбулшо.— Да в такую погоду эти твои борцы за веру небось попрятались где-нибудь в пещерах да от холода дрожат...

— Не мои они...— сердито пробормотал водитель.

— Ясно, не твои! Ты, видно, устал — дай-ка я за руль сяду!

К удивлению Сабира, водитель спорить не стал. Должно быть, и впрямь переутомился. Сабиру пришлось подвинуться к правому краю, и тогда водитель с Булбулшо кое-как поменялись местами. Высокий

пуштун взял свое ружье, положил справа от себя. А Булбулшо и, сев за руль, не унимался:

— Эти муджахиды — клянусь, они только по ночам и устраивают свои засады... У мостов или на большаках! А на проселки их, клянусь, не заманишь! Тут у нас тихо, спокойненько...

И он снова затянул:

— О, соловьи и цветы...

Сабир тоже решил успокоить водителя.

— Мы же не оружие везем, — сказал он, — не боеприпасы... Строительная техника! Для вашей же страны, для кишлаков... Ведь эти муджахиды — тоже афганцы, правда? Чего ж им на нас нападать?

Пуштун посмотрел на Сабира.

— Вы советский, да? — Сабир кивнул. — Ну вот, — сказал он, — им этого достаточно. Чтоб вас уничтожить, а заодно и нас всех!

— Типун тебе на язык! — снова закричал Булбулшо, обернувшись, и при этом высоченные колеса «Беларуси» чуть не съехали на обочину. Водитель ухватился за руль и выправил, но Булбулшо этого, кажется, так и не заметил в раже. — Они вообще никакие не муджахиды — простые убийцы и грабители! Да с нами едут ребята из царандоя, они им дадут в случае чего...

— Угу, — буркнул пуштун неопределенно, а Сабир почувствовал себя очень неловко. Если водитель сказал правду, так, выходит, все меры безопасности предприняты ради него, Сабира? Он оглянулся назад. Железный караван, облепленный грязью, припорошенный снегом, медленно двигался по дороге, а за обочинами лежали уже девственно белые поля, и никого, ничего не было ни видно, ни слышно. В воздухе кружились снежинки, впереди чуть виднелись контуры пологих холмов, за ними с трудом угадывались горные седины Эльбруса. Но видимость становилась все хуже. Или это уже предвестие сумерек?.. Все устали, даже Булбулшо замолк за рулем. Передние машины — скреперы, грейдеры, экскаватор — ушли вперед, вырисовываясь темными громадами. Слева показались одинокое высохшее дерево и копна гузапай, укутанная снегом.

«Дзинь!» — раздался вдруг резкий звонкий шелчок. Они сперва не поняли откуда, потом глянули на Булбулшо. Булбулшо с оторопелым видом глядел на левое

боковое стекло кабины: оно было пробито и потрескалось.

— Камень, что ли?— спросил Сабир, но пуштун закричал:

— Пуля это! Пуля!— Он показывал на лобовое стекло перед водительским местом — там зияла аккуратная круглая дырочка; пластик на баранке был разбит: видно, пуля попала в баранку — и срикошетила.— Там стрелок, стрелок, пригнись!— кричал пуштун Сабир, сам, навалившись, прижал его к сиденью, каким-то звериным рывком перебрался через него, распахнув правую дверь, и выпрыгнул на землю. В руке у него было ружье, и он кричал Булбулшо:— Не останавливайся! Не останавливайся!

Сабир понял: он хочет под прикрытием трактора снять стрелка за копной. Но сверху уже видно было — за первой копной стоят еще несколько, если и там стрелки — пуштун у них как на ладони!.. Сабир успел только набрать воздуха, чтоб крикнуть ему: «Ложись!»— как ударил выстрел, и пуштун опрокинулся навзничь, выронив ружье. И почти в ту же секунду раздался взрыв впереди, взметнулся столб грязи, одна из темных громад перед ними не то рухнула набок, не то развалилась надвое.

— Грейдер взорвали, сволочи! Или экскаватор!— закричал Булбулшо Сабир; он остановил трактор, по корпусу тотчас щелкнули пули, но оба они скорчились на сиденье, под горестный выкрик Булбулшо:— Что ж наши парни не стреляют?..

Тут сзади тоже наконец застучали выстрелы — царандоевцы, должно быть, выбрались из «КамАЗа» и залегли. Порадоваться этому Сабир и Булбулшо, однако, не успели: сзади грянул еще один взрыв, так что и их трактор качнуло, что-то тяжело рухнуло, заскрежетало, загрохотало, полетели комья грязи, а выстрелы сзади смолкли, как отрезало. Высунуться, глянуть, что там творится, было немислимо, и податься теперь трактору тоже, видно, было некуда, ни взад, ни вперед.

— Сволочи, сволочи...— горестно бормотал Булбулшо, прячась за приборной доской.

Сабир решил все-таки поглядеть, приподнялся — и тут же резкая боль обожгла ему правое плечо. Он снова скорчился, сунул руку под ватник — там намокало, и правая сторона начала как-то странно неметь.

— Булбулшо...— позвал он было, оборачиваясь к геодезисту, в приливе боли успев подумать все-таки: чем же это они нас — минами?— и увидел, что Булбулшо лежит, неестественно изогнувшись, нависнув всей тяжестью меж сиденьем и передней стенкой кабины.— Булбулшо...— еще раз позвал Сабир почему-то шепотом, но геодезист не отреагировал.— Булбулшо!— закричал Сабир, пытаясь пошевелить его. Голова парня откинулась назад — и Сабир увидел кровавую дырку у него во лбу... И в этот момент снова грохнуло, трактор страшно, со скрежетом, тряхнуло, какая-то огромная сила рванула Сабирова с места, пронзив дикой болью раненое плечо, и окунула во тьму.

Очнувшись, Сабир увидел себя на дороге; плечо отчаянно болело, и немело одновременно; на грязи рядом с ним уцелело, как обрывок ковра, белое пятно снега, левой рукой он сгреб с поверхности немного этого белого хрустящего блага, сунул в рот, пожевал; потом, повернув голову чуть вбок, увидел лежавшую на земле тракторную кабину, окутанную дымом; подальше, в спускающихся сумерках, неестественно, как окоченевшая рука огромного мертвеца, торчала стрела экскаватора с разинутым ковшом.

Послышались чьи-то голоса, Сабир увидел, как по дороге, приближаясь к нему, чавкают по грязи несколько пар ног в сапогах. Он, сколько мог, приподнял голову: вооруженные ружьями люди в широченных шароварах, с грязно-белыми чалмами на головах вели, подталкивая дулами, троих связанных. Сабир сразу узнал этих троих: двое были водителями скреперов, третий — один из царандоевцев, в разодранной форме, с окровавленным лицом. Всех троих поставили метрах в пяти от Сабирова, в ряд, посреди исковерканной и заваленной обломками дороги. Появился высокий, одетый заметно лучше остальных чернобородый человек с красивым лицом и следом — старик в латаной одежке.

— Чилим!— крикнул высокий, вытирая сапог скотканными стеблями гузапаи.

Старик тотчас подал ему неизвестно откуда взявшийся, уже раскуренный чилим:

— Вот, достопочтенный...

Чернобородый отшвырнул гузапаю, бросил наземь брошенный на плечи чекмень, уселся на него и закурил. Пленные стояли, безмолвно понурясь. В воздухе

запахло анашой, и от этого запаха Сабира, оглушенного взрывом или, может быть, даже слегка контуженного, неожиданно замутило. Он невольно чуть дернул головой, и чернобородый, который как раз смотрел в его сторону, уловил какое-то движение. Он вынул изо рта чилим и внимательно взгляделся в лежащего Сабира. Но стемнело уже изрядно; чернобородый, видно, решил выяснять наверняка, померещилось ему или нет, он поднялся, подошел к Сабиру и пнул его носком сапога. Раненое плечо отозвалось острой болью, и Сабир не сдержал стона. Впрочем, было уже все равно: даже и притворись Сабир мертвым, душманы все равно, наверное, прошли бы его для гарантии пулей или пырнули ножом.

— Эге!— сказал чернобородый удовлетворенно.— Да тут еще один не сдох.

Он наклонился, стал разглядывать Сабира, потом выпрямился.

— Эй, сюда!— крикнул.

Подбежали двое в шароварах, чернобородый сделал знак рукой «поднять», и они, схватив его под руки, подняли рывком; Сабир не сдержал крика боли, было похоже, что ему выдернули руку. И все же он оказался на ногах, и ноги, хоть и подгибались, держали его.

— Живо-ой!— сказал чернобородый и засмеялся, смех у него был резкий, отрывистый. Он снова взгляделся в Сабира.— Э, да это уж не самая ли жирная птичка?.. Советский?— спросил он грубо, сделав зверскую мину.— Ну! Я тебя спрашиваю! Советский?..

Сабир кивнул. Чернобородый снова засмеялся.

— Смотри, советский, а по-нашему понимает! Ну, ну, поговорим... Поставить его к тем троим!..

Их вели вперед по той же дороге. Она ровно светилась в темноте — подморозило, и снег больше не таял. Связали их попарно: Сабира с одним из водителей, царандоевца — со вторым. Те двое были совсем молодые люди, одеты легко, руки их, стянутые арканом, посинели. Они шли впереди; напарник Сабира был постарше — средних лет мужчина, на нем, как и на Сабире, был распахнутый ватник. Раненая рука Сабира задубела, боль сделалась не пульсирующая, а ровная, тупая, или, может, он просто притерпелся. К счастью, их



особенно не подгоняли, видно, душманы и сами не слишком торопились.

Прошли они, пожалуй, около километра, когда Сабиру показалось — напарник его что-то шепчет. Он осторожно повернул к нему голову — водитель и впрямь на него смотрел.

— Аллах вам помощи... — прошептал он, — трудно вам придется...

— А вам? — так же шепотом спросил Сабир.

— Да нас... нас, скорей всего, просто расстреляют... советских они величают кяфирами... от кяфиров, мол, все беды...

— А вы как думаете?

На лице водителя появилось подобие улыбки:

— Я? Я ж был не с ними — с вами...

— Ясно, — сказал Сабир, — а куда ведут, не знаете?

— А куда б ни вели... сперва постараются... обратиться в свою веру... а нет — так прикончат... Вот вас...

Тут впереди послышались голоса, замелькали какие-то отсветы, послышался конский топот. Смутно обозначились силуэты деревьев. Конвоиры оживились, ткнули их в спины дулами винтовок.

— Скорей, э!

Сбоку от дороги, на истоптанном черном поле, горел костер. Вокруг толпились вооруженные люди, чуть в стороне, на коне светлой масти, восседал важного вида человек в темной чалме. За ним, на молодой, довольно куцей лошадке, сидел, озираясь, безбородый сморщенный человечиска, держа в руках зеленое знамя с изображением полумесяца. Пленных подвели к важному, он оглядел всех, взгляд его задержался на Сабире. Светлый конь пританцовывал, бил копытами. Человек был, кажется, пожилой. Сабир успел заметить только большой мешкообразный зоб под синеватой от седины бородой и два ряда патронташей.

— Почему у него вторая рука не связана? — спросил важный кого-то справа.

Сабир покосился и увидел давешнего чернобородого, любителя чилима.

— А у него вторая как плеть висит, о мой шейх! — весело сказал чернобородый.

— Тогда глаза завяжите! — приказал шейх.

— Слушаю, о мой шейх! — Чернобородый потянул Сабир за ватник, оттащил его метра на два, заставив

шагнуть следом и Сабирова напарника. Потом вдруг развернулся и ударил Сабирджана кулаком по переносице. Сабир, ослепленный, теряя сознание от вспыхнувшей боли в носу, голове, в плече, рухнул наземь, увлекая и связанного с ним водителя.

— Что за непристойности, эй! — послышался голос шейха.

— Ничего, о мой шейх! — весело ответил чернобородый. — Платка не нашлось — глаза завязать, я ему их так закрыл!

— В машину их! Быстро! — снова послышался голос шейха.

Конь его заржал и, кажется, встал было на дыбы, подняв передние ноги, потом рванул с места и поскакал куда-то, вслед за ним в глазах Сабира протрепетало зеленое знамя. Люди у костра загомонили, оружие звенело. Напарник Сабира стал подниматься, потянул веревку, и Сабир тоже попробовал встать. Плечо рвало болью, в голове мутилось, но было страшно, что его вновь будут поднимать пинками. Гомонившая у костра толпа быстро таяла, душманы уходили. Сабир кое-как поднялся с помощью товарища. Подъехал грузовик, из полутьмы вынырнул чернобородый с несколькими душманами. К удивлению Сабира, веревку, связывавшую его с напарником, перерезали, потащили его к машине, втолкнули в кузов. Оттуда пахнуло отвратительным запахом портящегося мяса, нечищенных кишок. Падая в кузове, он снова ударился больным плечом, правда, обо что-то мягкое; и все же потерял сознание от боли...

Очнулся он от страшного холода, его жестоко студил ветер. Тело, казалось, околело навсегда, но он все же заставил себя приподняться и оглядеться. Уже светало, машина ехала медленно; по сторонам, впереди, сзади виднелись сквозь редкий туман черные, голые, поблескивавшие горные скалы, они поднимались ввысь, надвигались спереди, поравнивались, отставали, надвигались новые. Уши Сабира заложило, как в самолете, он судорожно глотнул. Машина между тем въезжала в какое-то селение — квадратные глиняные крыши как бы сросшихся друг с другом нищих кибиток у подножья горы. Оттуда несло едким запахом пороха и слабым ароматом осенних колючек. Где-то далеко слышались выстрелы. Кибитки кончились, и Сабир увидел десятки черневших ям — должно быть, входы в пещеры или но-

ры; возле них горели очаги, к арбам с резиновыми колесами были привязаны яки, женщины обжигали кизяки, бегали босоногие дети.

Они проехали несколько вооруженных постов — дорога здесь оказалась мощеная — и остановились у большой площадки, огражденной каменными глыбами. Сабир понял: это был «учебный полигон», а обросшие, еле волочащие ноги люди на площадке — новыми муджахидами, новобранцами. Они побросали оружие, оставили пулеметы и с воплями окружили машину. Закоченевшие охранники Сабир — их было трое — стали раскрывать борта, железо задвижек не слушалось; наконец борта упали, охранники оттолкнули Сабир в пустой угол и стали сбрасывать на землю бараньи туши, мешки с головами и кишками. Потом столкнули вниз и пленника.

Вконец отупевший от несмолкающей боли и холода, Сабир не глядя опустился наземь. Он уже все воспринимал безразлично: невдалеке проскакали по камням дороги всадники; из-за поворота, из-за скал, доносился поминальный плач, вой; где-то наверху простучали автоматные очереди. И Сабир как будто не замечали, забыли о нем. Обросшие, оборванные люди таскали туши и мешки в расположенный, должно быть, поблизости амбар, пока наконец на земле не остались только красные лужи и потеки. Прошло не меньше двух часов, когда Сабир увидел: на площадь вступает новая процессия — это были пришедшие пешком душманы из напавшего на них отряда: они вели его товарищей. Сабир поднялся, чтобы рассмотреть получше, и тогда увидел на краю каменной площадки амбар: туда сносили мясо, туда же втолкнули и его товарищей. Амбар заперли, у двери встали часовые.

Обширная площадка постепенно стала заполняться. Один за другим появлялись дехканского вида люди, кто в чарыках, кто в грубых ботинках, перепоясанные платками, с ружьями за плечом; парни в полувоенной форме; несколько, видимо, настоящих военных; белобородые улема; даже женщины в чадрах и посинелые, дрожащие от холода и все же неистово любопытные дети. Сабир подумал, что они собираются на зрелище, единственно, должно быть, возможное в этом страшном подобии кишлака, превращенном в горное гнездо муджахидов: посмотреть на вновь захваченных в плен «неверных». Но никто из них не глядел ни на него, ни на

амбар, где заперли остальных пленников. Разве что дети повернулись у закрытых дверей амбара, перед часовыми.

К каменной ограде площадки подъехало шестеро всадников. Гул голосов замер; всадники спешили и, встречаемые этим почтительным молчанием, медленно пошли к центру сборища. Люди расступились; кто был при ружьях, брали их «на караул»; священнослужители уважительно наклоняли головы, бормоча молитвы. Первым из подъехавших шел, не поднимая взгляда от земли, невысокий человек с кинжалом и саблей на боку, худощавый, с головой, похожей на помятую дыню... Сабирджану его лицо показалось знакомым, он взгляделся. Господи, это ж Якубджан! Сабир протер левой рукой глаза. Да, конечно, это был вождь племени шикашим, тот самый, что вырезал полкишлака Пайки и теперь, видимо, держал в страхе всю окрестную территорию! Вот к кому они попали!.. Да, да, вон и тот козлобородый маулави рядом!..

Якубджан сделал едва заметный знак рукой, и в толпе тотчас обозначилось движение. Двое вооруженных душманов подняли и вытолкнули Сабир в центр площадки. Послышался скрип дверей — это амбар открывали, и толпа, расступаясь, выдвинула сюда же, в сопровождении конвоиров, трех Сабировых товарищей — избитых, грязных, измороженных донельзя, едва волочащих ноги. Они ни на кого, ни на что не смотрели, очевидно ожидая немедленной казни. Сабир только глянул на них искоса: почему-то он чувствовал — не надо ему на них смотреть. Сам он настоящего страха, пожалуй, не испытывал — может, оттого, что был слишком измучен; он стал смотреть на Якубхана, благо тот продолжал привычно упирать взгляд в землю. Худощавая фигура предводителя муджахидов, перетянутая серебряным поясом, выглядывала из распахнутого длинного черного чапана. Сабиру вспомнилось, как Якубхан стоял, дрожа от ярости, перед Сардором, когда тот ломал его саблю, и при этом воспоминании едва не улыбнулся. Якубхан же молчал, потом на мгновение поднял глаза, скользнул взглядом по пленным и негромко, словно испытывая царившую мертвую тишину, сказал:

— Этих — увести!.. — Его сразу поняли, троих потащили обратно в толпу, должно быть, в амбар. Якубхан еще помедлил, потом сказал так же негромко:—

А этого — на чаркат<sup>1</sup>. — И повернулся к козлобородому маулави: — Повелеваю приготовить фетву!<sup>2</sup>

Маулави поклонился, и все вокруг замерло; сколько это длилось, Сабир не мог бы сказать; время как бы остановилось; затем внезапное слабое «уввв!» всколыхнуло толпу.

— Дайте ему поест, чтоб жив был! — снова глядя в землю, бросил Якубхан и, резко повернувшись, пошел обратно к краю площадки. За ним последовали все приехавшие. Толпа не двигалась.

— А ну, расходись! Что стоите, рты разинули! — крикнул чей-то грубый голос.

Толпа словно очнулась, первыми двинулись с места женские фигуры в чадрах, потом и остальная людская масса потекла с площади. И тут какая-то покрытая чадрой женщина, стоявшая неподалеку, двинулась к Сабиру, странно пошатываясь. Не доходя трех-четырёх шагов, она вдруг сорвала с головы девичий платок и чадру и не закричала даже — завопила диким, отчаянным голосом:

— Алла-ах! Аллах праведный! Гляньте, люди, — это не кяфир, не-ет! Это праведник безгрешный! Явился благодеянья ради, люди-и...

Сабир стоял перед тем, словно воздух из него выкачали; его поддерживали два душмана; но на вопль женщины он отреагировал — что-то смутно знакомое в нем почудилось. Женщина стояла пошатываясь — вот-вот упадет. Две другие, закутанные чадрами, к ней подбежали, подхватили, попытались увести, но она, хоть и была, казалось, совершенно без сил, не поддавалась, уперлась — и вдруг закричала снова:

— Люди-и! Правове-ерные!.. Этот пленник... праведник этот... жизни не жалел... чтоб вас... ва-ас накормить! Чтоб земля родила! Земля-а... родила-а-а!.. — Крик перешел в вой, она была в истерике.

И Сабир вдруг понял: это незнакомое, истощенное, высохшее, прочерченное черными морщинами женское

---

<sup>1</sup> Чаркат (искаженное «чаркатль», буквально — «четверное убийство») — своеобразное четвертование, необычный способ казни, применяемый душманами по отношению к тем, кого они считают кяфирами, неверными. Казнимого распинают с помощью веревок на деревянной стенке или щите, затем автоматными очередями «отсекают» ему по одной руке и ноги.

<sup>2</sup> Фетва — «разрешение» на казнь, даваемое старшим по сану из присутствующих мусульманских священнослужителей.

лицо — это лицо Зулейхо!.. Зулейхо-о!.. Он дернулся было из рук конвоиров, но его держали крепко, и от рывка оступевшая боль в правой руке ожила, ударила со страшной силой, проколола сердце. Вокруг бьющейся в истерике девушки, оттолкнув женщин, засуетились неуклюжие вооруженные люди в шароварах; и тут из двигавшейся поодаль группки молодежи в полувоенной форме один вырвался, побежал к девушке, тяжело дыша, растолкал всех, подхватил ее и на руках куда-то понес через толпу. Куда, Сабир уже не увидел, боль затмила все, мутила сознание... Он только успел подумать: кто же этот парень в полувоенной форме? Знакомой форме... а-а... тот, что с пистолетом... тогда... в комнате... у Гуломали... Гуломали — где он?.. А этот... да-да... Ауранг...

И сознание его оставило.

Сверху на Сабирджана что-то капало. Что это, подумал он, дождь, что ли? Где это мы стоим?.. Он чуть пошевелился, очнулась боль в руке, и он все вспомнил. Он скосил глаза вниз — под ним сырой камень, запах сырости и плесени пронизывает все вокруг; скосил глаза вверх — перед ним каменная ступенька, выше — ступеньки еще и еще. Сверху падал скудный свет. Сабир с усилием поднял голову. Свет падал из щелей двери наверху — к ней и вели ступеньки. Сквозь щели виднелись и ячейки решетки, очевидно, прикрывавшей дверь снаружи. К косяку двери прислонилось ружье, а на верхней ступеньке, подстелив под себя сено и скрестив ноги, расположился человек в шароварах, с обширным брюхом, сползшим на ляжки. В руках у человека была глиняная коса и деревянная ложка. Он, должно быть, только что кончил есть, пристроил косу около себя, вытер свисавшим концом чалмы ложку и удовлетворенно вздохнул. На лице его, скудно освещенном, украшенном темными подковообразными усами, тоже отражалось довольство жизнью, даже, пожалуй, жизнерадостность. Ясно, это стражник, но он-то, Сабир, когда сюда попал?.. Ничего он не помнил. И где находится эта самая его тюрьма? Что это за подвал? Может, тот амбар на краю площадки?.. Нет, вспомнил он, там не было решетки на дверях... Он опустил голову, и страж заметил это движение.

— Эй, очнулся?— спросил он жизнерадостным тоном, вполне соответствовавшим выражению лица.—

То-то... пора. Хе-хе... Слышал, Якубхан сказал: «Дайте ему поесть, чтоб не сдох»? Хо-хо!.. Я и припугнул повара, взял еды на двоих! Тебе-то уж еда ни к чему, верно? Даром же пропадет, слышь? Ха-ха-ха!.. Чего молчишь? Не все ли равно, как на тот свет идти, — сытым, голодным. Голодным-то еще легче, хе-хе... А вот мне надо поесть, слышь... еще потрудиться придется! — И он снова шумно засмеялся собственной шутке, смех у него был раскатистый, и живот при этом подымался и опускался, словно мехи, которые раздували смех. Наконец он приостановился и сказал, досмеиваясь: — Возьми, возьми, я и тебе там положил...

Сабир повернул голову: рядом с ним на клочке соломы лежал сухой кусок лепешки, стояла кружка; он с трудом высвободил затекшую руку, протянул ее к кружке: там была вода, и Сабир жадно ее выпил.

Снаружи, очень издалека, донесся истерический женский выкрик, потом другой, женщина завывала. Неужели Зулейхо?!.. У Сабира прошла по лицу мучительная судорога, он сам едва сдержал рыданье.

— Что... с женщиной?.. — спросил он сдавленным голосом.

— А-а, с ума сошла. Давеча, на майдане, и тронулась, видел же! Тебя праведником объявила, ха-ха!.. Ну, не она первая спятила. Только больно уж остервенела — всех проклиняет, слышь?.. Чтоб вы, мол, все подошли, кровью харкая, да чтоб от вас одни крысы рождались... Побить бы ее, заткнуть рот, да какой-то джигит, из этих молодчиков городских, слышь... защищает ее, не дает. Сестра, видно... Или еще кто...

Темп речи у стражника замедлился, голос сделался ленивым, видно, от обильной еды его стало клонить в сон.

Сабир опустил голову, помолчал. Потом сказал:

— Эй, послушай-ка!..

Стражник поспешно вскинул голову, видимо, и впрямь задремал.

— А?.. Чего?..

— Чего меня здесь держат-то?..

Стражник потряс головой, прогоняя сон.

— Ну, как же! — сказал он деловито, вполне дружелюбным тоном. — Чаркат — дело не простое! Подготовиться надо. Опять же стенка подходящая нужна. Нету — значит, из досок надо сколачивать... И веревки... И люди пока приедут. Не-ет, не простое дело... Ну,

ты, понятно, не знаешь — тебе ж впервой чаркат-то будет, а? — И, довольный своей шуткой, снова захохотал, окончательно проснувшись.

— Да что такое чаркат?..

— Йе!!.. И впрямь не знаешь? Вре-ешь!..

— Не знаю...

— Ну-ну! Да ты кто ж такой? Откуда?.. — Стражник искренне удивился. — То-то, гляжу, лежит себе тихонько без памяти, будто и не чаркат его ждет, а свадьба... Хотя, — тут голос его посерьезнел, — чаркат, слышь, тоже святое дело. Оно таких грешников, как ты, от грехов освобождает!

— Это как же?..

— Как, как! Очень просто. Привяжут тебя, слышь, за руки и ноги к деревянной стене — там дырки делают, веревки протягивать — привяжут, слышь, как к кресту вашему...

— Какой крест? Мои предки мусульмане были!

— То — были... Были, да сплыли! Раз кяфир — выходит, крест!.. Ну вот, слышь, привяжут веревками, а потом машиндаром...<sup>1</sup> — та-та-та! — сперва одну руку отстрочат, потом ногу. Потом, слышь, еще руку и ногу. Если еще живой останешься, от веревок освободишься — значит, и грехи твои смыты! Понял?.. А уж там пристрелят... Ладно, ладно, дрыхни. Тебе тоже, слышь, подготовиться надо...

Воображение вслед за словами стражника легко рисовало эту картину — и все в Сабире сжалось от неодолимого, подкатывающего к горлу страха. Он испытал такое впервые с тех пор, как там, на дороге, цокнула первая пуля и началась эта смертельная история. До сих пор ему не думалось о смерти, не верилось, что она близко. Может, потому, что, сам того не сознавая, он все-таки чувствовал себя здесь человеком «со стороны»?.. Нет, не со стороны, значит!.. Его пробрала непобедимая дрожь, вот-вот зубы застучат, и услышит этот толстый кровопийца... «Святое дело!..» Ах, чтоб тебе... И ведь не избавиться от этого... Не избавиться? — спросил он себя. А если подняться и броситься на часового? Пусть выстрелит и убьет! Или заколет... Нет, подумал он тут же, не станет он убивать, он со мной, с одноруким, и так в два счета справится, вон какая туша. А убивать ему меня нельзя... нельзя... раз готовят та-

---

<sup>1</sup> М а ш и н д а р — автомат.



кую показательную казнь... Убьет — самому несдобровать...

Он сжал зубы, постарался унять дрожь. Потом сказал:

— Эй, послушай-ка еще!..

— Еще? Ну, чего?..

— А скоро... скоро это будет?

— А ты что, торопишься куда? — сказал стражник и опять захохотал, явно довольный: везло ему сегодня на хорошие шутки.

— Ну... а почему бы... почему бы не освободить меня... от грехов... поскорее?..

— Хо-хо... ты хоть и кяфир, а парень ничего... Я тебе, слышь, вот что скажу: настоящий чаркат не всякому на долю выпадает... Сколько есть, что умерли вовсе без покаяния! — Стражник говорил уже вполне серьезно. — И ведь тебе, слышь, ноги и руки автоматом отстрочат — раз, и готово. А бывало, тупой косой отсекают — во! Или серпом... Так что не бойся, успеешь освободиться... Полежишь здесь пока. Сейчас, слышь, наши все главные с джигитами пошли громить стан «Эхвани муслим». Ого какое побоище будет!

— «Эхвани муслим»? А вы кто?..

— Мы-то?.. Мусаватисты.

— А побоище зачем? Они ж тоже борцы за вашу святую веру?..

— Это правда... и они поборники... Наполовину, так сказать, хо-хо!.. Они нарушили сабельный обет Великому Садру! А изменников — их кончать надо.

— А если — они вас?..

— Ну, и они нас, само собой. Еще ведь, слышь, и сарандонь есть... В общем, мы, парень, меж двух огней! Э-э, что это я — двух... не двух — есть еще и «Шулаи джавиды»... Кто сильней, тот и бек. Вообще-то, слышь, треплют смутьяны святое зеленое знамя, как тряпку...

— Как тряпку?.. Слушай, кстати, а у тебя какой-нибудь тряпки не найдется?

— Какой еще тряпки!

— Да хотел потуже плечо перевязать... кровит сильно...

Стражник посмотрел на него подозрительно, подумал.

— Нет, сделать тебе хорошее — противно шарияту. Что я с тобой разговариваю — и то уже грех! Но как

быть, такой у меня нрав, не буду разговаривать — усну...

— Ну ладно, не можешь так дать — возьми мой ватник. Рукав отстираешь, а так — почти новый...

— Не-ет... вот тот, под ним, на тебе... тот вроде получше...

— Бери!

— Тогда по рукам!..

Часовой, громко сопя, снял сапог, развернул часть портянки и стал отрывать зубами. Сабир, сдерживая стоны, еле-еле стащил с себя ватник, потом снял пиджак. Рукав пиджака присох к рубашке, та — к ране, но, кое-как придерживая рубашку двумя пальцами, остальными тремя он отделил от нее пиджачную подкладку, снял пиджак, помедлил, чтоб отдышаться, и кинул пиджак стражнику. Тот бросил вниз портянку. Она изрядно пованивала, но была еще крепкая, и Сабиру удалось перетянуть ею плечо и снова надеть ватник. Управившись, он взглянул на стражника — тот следил за ним полусонными глазами.

— Дал бы лучше чалмы кусок! — сказал Сабир с усмешкой. — Вон какая длинная!..

— Молчи, кяфир! Тьфу... — Стражник разозлился, но сразу отошел; сообразил, видно: на такого темного грешника злиться — только пыл зря переводить. — Не знаешь, что ли, — объяснил он, — чалмы у муджахидов должно на саван хватить!..

Сабир только кивнул. Стянутое плечо болело меньше, страх как-то отодвинулся, зато великая усталость навалилась. Сабир лег, примостил поудобней раненую руку, прикрыл глаза — и не заметил, как заснул.

Проснулся он от промозглого сырого холода, который проник, казалось, в каждую клеточку его тела. В щели дверей наверху втекал уже не свет, а сумеречная серость, и на верхней ступеньке сидел не давешний толстяк, а тощая фигурка. Он огляделся — ну да, какой-то худенький старик с бородой сменил толстяка и прикорнул наверху, обняв обеими руками винтовку. Но старик не спал: едва Сабир пошевелился, он насто-роженно повернул к нему голову и негромко кашлянул.

— Что, бобо, — простуженно сказал Сабир, — теперь вы меня стережете?..

Старик не ответил, только кашлянул еще раз.

— Так, — снова сказал Сабир, — видать, джигиты-то еще с побоища не вернулись...

На этот раз старик отозвался.

— Какое же побоище, сынок,— сказал он,— это джихад, священная война!.. Не вернулись, конечно,— продолжал он,— вон как тихо вокруг... Вернулись бы — у-у, тут бы что было!— Старик поднялся с места, спустился на несколько ступенек, поставил перед Сабиром кружку с водой и положил на нее лепешку. Что-то в его голосе и тоне, какая-то особенная, негромкая, но убеждающая рассудительность интонации, показались Сабiru знакомыми. Где-то он уже слышал это...

И старик снова поднялся наверх, уселся, вздохнул и снова заговорил, не то продолжая прерванную реплику, не то просто размышляя вслух:

— О-о, когда они вернуться, на кладбище «Газиен» будут чествовать и хоронить воинов, павших в священной битве... От ружейных выстрелов горы грохнут, весь кишлак на голову встанет, женщины и дети станут сыпать себя пылью, кровавыми слезами заплачут! Не вернулись, нет. Вон совы летают, покликавают, летучие мыши вьются...

И вдруг Сабир вспомнил: это был тот старик, что, отряхивая подол, уходил с джирги, на которой они тогда присутствовали; тот самый, что спросил Гуломали: «А вы эту землю возьмете, сынок?» Как же его зовут? Ведь Сардор назвал его по имени... Нет, этого Сабир вспомнить не мог. Да и что толку называть его по имени, ведь его-то старик все равно не вспомнит.

— А вы тоже участвуете в этих... священных войнах?— спросил Сабирджан.

Старик помедлил, прежде чем ответить.

— Меня на такие дела редко берут...— сказал он наконец.— Стар я. Но раз-другой, да простит аллах, все же доводилось бывать.

— Странно у вас получается, бобо,— сказал Сабир с усмешкой.— Старый — значит, сейчас самое время сражаться за веру... рай себе зарабатывать.

Старик чуть повернул голову — должно быть, глянул на него исподлобья.

— Один раз пошли,— сказал он просто.— Сказали — на врагов. Взорвали в каком-то бедном кишлаке мечеть и вернулись. Не знаю, были там враги, нет ли... это час намаза был... Вопли и стоны позади я слышал, это да...— Он снова помедлил, помолчал.— В другой раз отправились карать неверных. Оказалось, в одной бедной школе на окраине Самангона суры Корана не

проходят... Ну, подперли мы двери школы снаружи и подожгли. Саратан был, жара, крыша, видно, сухой гузапаей крыта... загорелось, как факел. Даже два зеленых тополя на школьном дворике вспыхнули. Мы стали уходить, вдруг кто-то как крикнет: «Гляди, гляди!» Повернулись — а по полю от школы вроде огненный шарик катится. Кто-то опять закричал — ребенок, мол, это!.. И вправду ребенок... Чем быстрее бежал, тем пламя-то на ветру сильнее разгоралось, а он, дурачок, от огня убежать хотел... И вопил, аж волосы дыбом вставали. Кто-то было кинулся за ним — потушить, мол, — а с нами был один из этих, молодых... полумулы, полувоенные... «львята» они себя называют... Он и кричит: «Стой! Враг спасается, а мы — ему помогать?» Взял этот шарик огненный на прицел — и пальнул... Оно, правда, ребенка бы уж не спасли, ну, а какой он враг? Несмышлениш несчастный... И «львенка» этого через день самого убили...

— Как, кто?..

— Ну, кто ж знает, кто... На дело пошел — и убили...

Лицо старика Сабиру видно не было, интонация у него была все та же ровная, рассудительная, и Сабир так и не понял, ставил старик в какую-то связь смерть «львенка» с убийством мальчика или просто так добавил, ради полноты рассказа... Нет, пожалуй, не просто так... А «львенка» — кто это был? Говорит, убили его — значит, не Ауранг... Где-то сейчас он и Зулейхо?

— Бобо, что-то не слышно той женщины... той, что кричала на майдане?

Старик не ответил. Сабир вгляделся — силуэт старика раскачивался наверху, на фоне серых дыр двери. Молится, что ли? Или просто сидит качается взад-вперед?..

Старик вдруг замер.

— Слушай, парень, — сказал он своим ровным голосом. — А это правда? На бумаге?..

— Что правда, на какой бумаге?..

— Ну, в джариде, что у тебя была...

Джарида?.. А, это так называют газету... Но что за газета?.. Тут он вспомнил: верно, он же взял с собой газету... ту, где напечатали записки Сухайля. А, ч-черт! Хотя — теперь уже все равно... Но когда они ее нашли? Его обыскали в машине... забрали документы, что были при нем... А газету? Сабир не помнил. Да и где она бы-

ла? Кажется, в кармане пиджака. Наверное, все же тогда, сразу нашли... Или... или он отдал ее толстяку вместе с пиджаком?.. Жаль, подумал он с горькой иронией над самим собой,— был бы случай передать ее хотя бы Аурангу... чтоб узнал про отца... Где же все-таки он и Зулейхо?..

— Ну так что, парень,— правда это?

— Не знаю, бобо, о чем говорите...

— Как не знаешь? Ну, о прощении, что будто всем вышло, кто теперь воюет против правительства...

— А, об амнистии?

— Ну да, так вроде это называют...

Теперь Сабир сообразил: наверное, в той же газете был напечатан указ правительства о всеобщей амнистии. Он-то и не глянул на остальные страницы... Но раз это для старика такая новость, значит... значит, указ об амнистии от них скрывают?

— Бобо, да вы разве об этом по радио не слышали?.. Ведь это уж давний указ!

— Э, сынок, кто здесь послушал бы радио из Кабула — головы б лишился! Да и у кого тут радио?.. Ну что — значит, правда это, сынок? Что прощают всех, кто с повинной явился?..

— Конечно, правда, бобо!

— Та-ак...

Мысли в голове у Сабира вдруг завертелись с лихорадочной быстротой. Значит, газета здесь уже ходит... или, скорей, кто-то грамотный прочел — и пересказывает... Может, и до Ауранга уже дошла? И он знает об отце? Ну и что? Ему, Сабиру, все это ничем не поможет... А вдруг? Но ни с кем же связаться невозможно... Разве... разве... через старика?.. Нет, непохоже, чтоб старик стал что-нибудь делать... Да и кто здесь знает Сабира? Ауранг? Так сам собирался его убить... Да и где Ауранг? И Зулейхо — где?..

— Бобо, вы мне так и не ответили...

— Что?

— Той бедной сумасшедшей женщины... что кричала на майдане, что-то ее не слышно стало... Случилось с ней что-нибудь?

— Э, может, она и не сумасшедшая. С людьми такое случается, когда нож до кости дойдет. У бедняжки горькая судьба — отец ее отдал было насильно кому-то из наших главных... чуть ли не самому Якубхану... да она убежала... ловили ее... били... много всего... А вчера

до полуночи по кишлаку бегала, всех кляла, выла, плакала... отцу перед джихадом все лицо расцарапала! Ну, а потом исчезла... ищут ее, ищут, никак не могут найти!

— Да где ж она?!..

— Кто знает, сынок...

Сабир не мог больше улежать. Кряхтя, со стонами, он все-таки поднялся на ноги. На удивление, они держали его крепче, чем вчера, хотя все тело затекло. Правое плечо мучительно ныло. Он сделал два шага в одну сторону — и уперся в скользкую стену. Четыре шага назад — другая такая же мерзкая, мокрая стена... Он успел всего два пройти от стены до стены, как вдруг наружная решетка стукнула, в щелях замелькал свет, и кто-то резко, нетерпеливо застучал в дверь. Старик караульный вскочил и стал возиться сперва с одним замком, который наконец глухо щелкнул, потом со вторым. Дверь распахнулась, в проеме стоял парень в полувоенной форме, с фонарем в руках. Фонарь освещал блестящие черные ботинки, темные брюки и китель, бросал пятна качающегося света на лицо. Да, это был Ауранг. Сабир узнал его сразу. Свет фонаря скользнул по всему подвалу, по Сабиру, прижавшемуся к задней стене, но сам Ауранг на него глаз не поднял. Он спросил — так же резко, отрывисто, громко, как стучал в дверь:

— Зулейхо... здесь не было?

— Нет, шербачча, — сказал старик, — не было... Никого не было, никто не приходил...

Но Ауранг еще медлил на пороге. Невзирая на эту его нарочитую резкость, была в его, казалось бы, стройной, сильной юношеской фигуре какая-то проступающая в осанке растерянность, неприкаянность... Не Сабиру, в его положении, кого-нибудь жалеть — но он вдруг почувствовал к юноше настоящую жалость. Тот и впрямь, наверное, остался один и ни с чем в жестоком этом мире, заблудился и вконец осиротел в этой человеческой чашобе. Обо мне, думал Сабир, там, за рекой, будет хоть кому пожалеть и поплакать... И вдруг странная, болезненная мысль его пронзила. Даже не мысль — воспоминание. Что сказала Зулейхо тогда, когда они прощались у мотоцикла? Что-то о реке, о реке... Приходите иногда на берег, смотрите на волны... Да, да, что-то такое... Может, и меня в волнах увидите...

— Послушайте, Ауранг!— сказал он громко. Ауранг дернулся, посмотрел на него.— Идите к речке! Есть здесь речка поблизости?.. Так идите к ней! И поскорей... Может, там...

Сабир на мгновение увидел глядящие на него в упор, сверкающие, как два клинка, глаза Ауранга, фонарь резко вильнул, и фигура парня исчезла в черноте. Старик долго возился во тьме, запирая оба замка; потом снова уселся на свое место.

На рассвете его сменили. Уходя, старик посмотрел на Сабир долгим взглядом, точно не хотел расставаться. Новый караульный оказался здоровенным усатым мужчиной; на голове у него красовалась дорогая шапка, зато ноги обуты были не то в старые кавуши, обмотанные тряпьем, не то просто снабжены привязанными прямо к ступням твердокаменными подметками. Он сразу же развел на верхней ступеньке костерок и стал греть ноги. Лицо у него было мрачно-озабоченное, как на поминках.

— С битвы еще не вернулись, друг?..— осторожно спросил Сабир.

Часовой глянул, точно говоря: «С тобой я еще не разговаривал!»— и ничего не ответил. Но недолгое время спустя Сабир ответ на свой вопрос получил: загрели беспорядочные выстрелы — стреляли явно на кладбище, в честь павших. И тотчас со стороны кишлака послышался такой жуткий, нестройный хор плачущих, воющих и выкрикивающих что-то голосов, что он заглушил и выстрелы, и горное эхо. Сабиру сделалось тошно и страшно; здоровяк караульный тоже сидел пригорюнившись, отвернувши лицо к двери, широкие плечи его изредка вздрагивали.

— О аллах!— сказал Сабир негромко.— Это ж надо, какую люди выбирают себе судьбу...

Часовой чуть пошевелился, стало быть, услышал; однако не повернулся. Когда же отгремел последний выстрел и поминальные вопли в кишлаке тоже стали стихать, он вдруг приник головой к двери и глухо зарыдал. Было странно видеть, как плачет этот здоровенный мужчина, но кого он так горько поминает, кто из его близких пал в джихаде, Сабир спросить уже не осмелился.

Впрочем, ему было впору о себе думать. Это туманное утро, которому предстояло стать последним в недолгой жизни Сабир и которое так и началось с погреб-

бальной церемонии, было и само по себе такое холодное и мрачное, что даже не вообразить: где-то ведь сейчас погожая погода, теплое солнышко, небесная синева... Сабир лег, прикрыл глаза. Этой ночью он спал лишь урывками, теперь хорошо было б заснуть, только холод не давал; Сабир старался отогнать, оттолкнуть наваливавшиеся мысли о предстоящем, принялся думать о доме, мысленно разговаривать с матерью, и как-то вдруг вышло, что и мать сама пошла ему навстречу. Она присела рядом, и, как всегда, запахло свежеепеченным хлебом. Что ж вы не сказали ничего, мама, почему не разбудили меня?.. Я бы дров наколот, натаскал... Нет, сынок, сказала мать ему в ответ, это ты прости меня: я ведь не знала, что Чорданахр — такое редкое чудо! Такое попадаетея лишь раз в жизни!.. Что вы, мама, сказал Сабир, с чего это прощения просите?.. Веки у него слипались, но он усилием воли разомкнул их: у изголовья сидела вовсе не мать, а Сумбуль-ая!.. Сказать она, однако, ничего не успела — все заглушил надрывный, громоподобный кашель. Это Гуломали, понял Сабир, но откуда здесь Гуломали, откуда? Он попытался понять, сообразить — и проснулся. Кашель был его собственный. Сабир никак не мог откашляться, пробить дорогу воздуху, всю грудь заложило. Откашлявшись кое-как, он снова понемногу впал в забытье, опять приходил в себя и сызнава не то засыпал, не то грезил и уже не мог отличить сон от яви. Когда ему казалось, что он очнулся от сновидений, он рассуждал сам с собою, что сейчас надо вспоминать все лучшее, что было в жизни, — минуты счастья, любви, успеха, простой молодой радости. И это вспоминалось, приходило — и тут же проскальзывало мимо, неудержимо уходило из рук, и снова начиналось все сначала, и надвигалось то страшное, что ожидало его тут же, за порогом, на пороге, у изголовья, в нем самом... Я же смирился, говорил он этому страшному, я готов, чего ж тебе еще, дай передышку, отодвинься, исчезни покамест, я ведь твой, никуда не денусь, не надо играть со мной, как кошка с мышью, отойди покуда в эту тьму за дверь, я хочу мать увидеть еще раз, дай насмотреться! Дай насмотреться, мама...

— Мама...

...Резкая боль в плече разом выдергивает его из этого полукошмарного, полублаженного состояния. Его поднимают за больную руку, и вот он уже меж двух во-



оруженных, пахнущих кислым потом людей, один из них — его давешний караульный, тот самый толстяк, шутник, он и сейчас хохочет, смеется своей очередной шутке:

— Мама! Ха-ха-ха!.. Сейчас увидишь свою мать! Хо-хо-хо!..

Его тащат по ступенькам вверх, за ноги цепляются пучки соломы, дверь подвала распахнута, за нею — неожиданно ясный, бог весть когда разгулявшийся день, синее небо, кривые ветки голых деревьев на краю синевы, отчетливые очертания гор, летящие вороны. И — самое страшное: едва уловимые не то гул, не то дыхание огромной толпы, еще ему невидимой, но уже собравшейся, чтобы посмотреть его смерть. Как это можно — смотреть смерть? Какая чушь, какая бессмыслица, будь она проклята, будь проклята...

Но тут — этот готовый уже вырваться истерический крик, длинный, извивающийся, как змея, — он сдерживает его в себе, мысленно хватая обеими руками и душит, он, кажется, победил, крик умер, ноги уже больше не ватные, не волочатся, идут по площади.

Площадь, та самая мощеная площадь, на которой он уже стоял — вчера, кажется? — снова запружена народом, над толпой как-то неопытно висит пар дыханья; люди — вооруженные и без оружия, большую часть нищенски одетые старики в чалмах, дрожащие от холода дети, изможденные, будто тени в чадрах, женщины, и лишь небольшими группками вкраплены пестро одетые бородатые горцы со старинными пуштунскими винтовками за плечами.

С места, где стоит Сабир, видна спускающаяся вниз горная дорога, сбоку от нее — мазанки кишлака и черные дыры пещер, опустелые, как чумной город. На каменном возвышении собралась вся банда, выделяется худощавый Якубхан, как всегда глядящий в землю. Он весь в черном, только чалма зеленая да сверкает словно бы разрезающий его надвое серебряный пояс. С ним рядом — усатые телохранители с обнаженной грудью, священнослужители в золототканых халатах, высокие, подтянутые офицеры.

Собрались как на хашар, думает Сабир. Нет, на хашар их так не соберешь... Ждут. Чего? Неужто так притягательно — видеть, как гибнет в муках человек? Видеть, что умираешь не ты!.. А может, они и впрямь искренне верят, что присутствуют при богоугодном

деле, ну да, это им вдолбили в головы, он для них сейчас — жертва, приносимая во искупление их собственных тяжких и неизбывных страданий... Он проходит взглядом по этим несчетным, кажется, лицам — нет, не видно в них сочувствия, даже настоящего интереса не видно, даже и ожидания, только равнодушие. Тогда зачем? Во имя чего, господи?.. Но прозвучавший голос Якубхана заставляет толпу вздрогнуть и окончательно замереть, словно под придавившим непосильным грузом. Тишина становится пронзительной — и ее разрезает тонкий голос козлотородого маулави, провозглашающего фетву. Сабира хватают под руки и приставляют к деревянному щиту, руки и ноги стягивают веревками, и когда его подтягивают на этих веревках, «распинают» на стенке, больное плечо начинает гореть невыносимой болью, он стонет, больше не сдерживая себя. Голос маулави еще звучит, словно острой иглой протрачивая слух, но слов разобрать Сабир не может, он вообще, кажется, уже ничего не воспринимает, кроме жгучей боли. Ему привязывают и ноги, давление на больную руку становится чуть меньше, но пот по-прежнему катится градом, заливая глаза. Голос маулави смолкает. Воцаряется тишина, заполненная не сдерживаемым больше дыханием толпы. Боль все же такая, что нет сил терпеть. Господи, господи, хоть бы скорей все кончилось... Может, помолиться? Но кому?.. Легкой жизни я просил у бога... легкой смерти надо бы просить... Кто же это сказал?.. Все равно... Глупо, глупо! Казнят за безбожие, а в голову лезут строчки о божье... Ох, боль какая...

И снова звучит голос Якубхана:

— Люди, кто из вас хочет выполнить святое повеление аллаха?!

Голос смолкает, словно вытесненный оглушительным молчанием.

И снова:

— Это — богоугодное дело для храброго мусульманина! Ну, кто?..

И снова молчание. А если... если никто не откликнется?..

Откликается молодой, чем-то знакомый голос:

— Прикажите мне, о мой пир!

Сабир открывает глаза. Это... это же Ауранг!.. Значит, все-таки Ауранг...

— Машиндар ему!— гремит голос Якубхана. Теперь все голоса гремят, уходя в громадную пустоту внутри Сабира. Кто-то кладет в руки Ауранга автомат «УЗИ».

— Браво, шербачча!— гремит с возвышения, но это не Якубхан. Кто-то из офицеров...

Ауранг поднимает автомат, Сабир видит его безумные горячечные глаза, черную, гипнотизирующую дыру дула. Сейчас... сейчас...

И вдруг Ауранг стремительно поворачивается влево и, что-то выкрикивая, начинает стрелять по тем, на возвышении. Они падают как скошенная трава — Якубхан, его телохранители, маулави, офицеры, но автомат все трещит; толпа, как одно огромное существо, пятится назад от выстрелов, приходит в чудовищное движение, крики, рев, какие-то пуштуны срывают с плеч винтовки, но стрелять в этой людской гуще невозможно. Автомат смолкает, Сабир видит, как Ауранг бессильно опускает руки, кажется, вот-вот упадет, но нет, не падает; кто-то подходит к Сабиру и осторожно рассекает ножом распявшие его веревки, Сабир как куль сползает, валится на землю, и знакомый старческий голос говорит над ним негромко:

— Ну вот, очистился...

Он поднимает глаза: это давешний караульный, тот старик из Пайки, он вкладывает в ножны на поясе обычный столовый нож и говорит Сабиру:

— Встать можешь?

— Н-нет, отец...

Старик поворачивается и говорит не повышая голоса:

— Эй, помогите отнести его на арбу...

— Сейчас, сейчас!— отзываются голоса.— Идем Низаметдин-бобо...

Ну да, правильно! В памяти Сабира встает голос Садыка Сардора: «Вас ведь зовут Низаметдин, не так ли? Я знал вашего отца...»

Сабира несут вниз, к дороге. Тем временем снова возобновляется стрельба, крики, конский топот, доносится отдаленный взрыв — похоже, гранату бросили. Но Сабир не вслушивается; его понесли — и кладут в четырехколесную арбу, он погружается в душистое, колкое сено с тем давним, забытым уже ощущением сладкой безвольной беспомощности, какое испытывал, наверное, ребенком, когда взрослые укладывали его,

сонного, в постель; его жизнь в руках этих добрых людей, что его спасли, ну и хорошо, ну и спасибо, а ему бы заснуть, сил больше нет...

Но он не засыпает. Стрельба вроде умолкла. Поблизости слышится голос старика Низаметдина: «Не бросай оружие, друг, еще пригодится!..» Надвигается сзади топот множества ног. И снова голос Низаметдина:

— Давай, друг, давай, прочти-ка еще раз Указ нового правительства, пусть послушают, кто сам не слышал...

Подходят, тяжело дыша, люди с какой-то нелегкой ношей и рядом с Сабиром кладут в сено еще одного раненого.

— Эй, подвинься-ка!— говорит раненый голосом Ауранга. Это и есть Ауранг. Одна его нога — без сапога, замотана тряпкой, сквозь нее проступила кровь, и брючина тоже в крови.

Сабир подвигается.

Рядом с арбой собралось множество людей, слышен шум многих дыханий, гул негромких разговоров, потом кто-то кричит: «Эй, люди! Слушайте!»— и начинает заунывно, по складам, зачитывать Указ об амнистии. Едва он кончает, стихшая толпа снова взрывается громким гомоном. И опять слышен голос Низаметдина:

— Теперь по домам, дехкане! Но оружия не бросайте, не бросайте, пригодится...

Кто-то садится на передок арбы — это все тот же старик Низаметдин, потому что раздается его голос:

— Н-но... пошла, пошла!..

Арба трогается, и люди — тоже, скрип колес почти не слышен из-за чавканья дорожной грязи под множеством ног.

Сабир и Ауранг лежат в арбе рядом, молча.

Сабир понимает, что должен заговорить — тот спас его от казни, жестоко рискуя собственной жизнью!— и не находит слов. Переплетенье событий, вольно и невольно, связало их, кажется, нерасторжимо — и в то же время точно колючей изгородью отделило друг от друга. Но и молчать тоже больше нельзя, оскорбительно, и Сабир спрашивает с трудом, сдавленно:

— Тебя... куда ранило?..

Ауранг молчит еще некоторое время. Потом отвечает:

— В ногу.

— Болит?..

— Болит. В боку отдает.

И снова такие необходимые слова благодарности не даются Сабиру, не отыскиваются. Оба они опять молчат некоторое время. Потом Ауранг вдруг спрашивает, не поворачивая головы:

— Как ты догадался, что она к реке пошла?

— Не знаю... подумалось... А что?— говорит Сабир, и сердце у него замирает в дурном предчувствии.— Нашел?— спрашивает он дрогнувшим голосом.

— Нашел...— тускло отвечает Ауранг.

— Ну-у?..

— Нашел, кто видел... как... как она в воду бросилась... платок остался... отдали мне... ее платок...

— Что ж... что ж не остановили?

— Она ругала всех... осыпала проклятьями... страшными такими! Люди отвернулись... Она...— Он вдруг поворачивает к Сабиру лицо, глаза его полны слез.— Она из-за тебя это сделала... Из-за тебя!

Ненависть ли звучит в этом вскрике? Нет, только боль, безысходная, отчаянная, ревнивая боль...

И снова, как тогда, когда Ауранг пришел к подвалу, только несравнимо сильнее теперь, обжигает Сабир жалость к этому мальчику, потерявшему все-все, что могло быть дорого в этом мире: родных, любовь, веру, которую исповедовал... Да он же мне дороже брата, остро осознает вдруг Сабир, он же мне жизнь заново подарил! Больше брата!.. И он касается рукой мгновенно вздрогнувшего Ауранга и говорит:

— Аурангздеб... братишка! Слышишь, братишка?.. Ты мне теперь... брата ближе! Дороже бра...— Судорога перехватывает ему горло.

Ауранг снова поворачивает к нему залитое слезами лицо:

— Я к ним... в горы... я к ним из-за нее пошел! Только из-за нее!!.. А они... отдали... замучили... а-а-а!..

И он начинает плакать навзрыд.

Не оставлю его, думает Сабир, все нас связало — смерть, двойное мое избавление от нее, горькая, перепутавшаяся судьба, наше общее избавление... Никогда его не оставлю, он будет со мной и вправду как младший братишка, кусочек меня самого...

Арбу трясет, их тяжело подбрасывает иной раз, вместе с сеном и подложенной тряпкой, тряпка съехала, лежит уже не вдоль, а поперек арбы; и Сабир чувствует

под правым плечом что-то влажное. Тряпка напиталась кровью. Но что это кровит — его растревоженное плечо или рана Ауранга?.. Пока не приедем, все равно не разберешься, думает Сабир. И вдруг ему приходит в голову: это же их кровь смешалась, теперь они по всем законам кровные братья — этот раненый обездоленный мальчишка и он! И снова горячая волна прокатывается по нему — жалости, понимания, любви... да, да, любви! Нет, никогда не оставлю его...

Люди рядом с арбой шли сперва быстро, потом стали уставать, теперь арба понемногу обгоняет их, догоняет ушедших вперед, и вот где-то впереди слышит Сабир слабенький, трясущийся от ходьбы, жалобный не то вой, не то плач, слившийся в одну прыгающую ноту: кто-то плачет, не напоказ, не громко, а от безудержного горя, от бессилия, и даже не разберешь кто: мужчина, женщина... Плач все ближе, вот и Ауранг услышал, приподнялся, вслушивается.

— Это же отец Зулейхо! — говорит он вдруг, всмотревшись.

— Да ты что! — Сабир не может поверить, в его памяти это — крепкий здоровяк, самодовольный, уверенный в себе хитрец.

Но плач уже прямо рядом с арбой, и Ауранг окликает:

— Шокалон-ота!

О господи, да Сабир в жизни бы его не узнал теперь — сгорбившийся седой старик, комья дорожной грязи в нечесаной бороде, по лицу неустанно текут слезы, нос покраснел — то ли от плача, то ли от простуды, одежда порвана... Шокалон перестал плакать, подслеповато вглядывался в них, взявшись одной рукой за край арбы и еле поспевая за ее ходом.

— Шокалон-ага, — сказал Сабир, — не помните меня? Я друг племянника вашего, Гуломали, мы с ним были у вас в усадьбе...

Шокалон кивал, явно не вспомнив, потом сказал: «О, Гуломали!..» — и снова заплакал.

— Давай подсадим его в арбу! — сказал Ауранг, и они вдвоем, упираясь один ногами, другой — свободной рукою, посадили старика.

Шокалон был жалок, но жалости к нему Сабир не испытывал. В его памяти вдруг снова встала Зулейхо, такая, какой она была в его приезде в Пайки — юная, необычайная красота, пронизанный сиянием цветок,

в котором все — трепет, все — аромат, грация, неповторимое совершенство форм, теней, линий... И вот этот раздавленный теперь человек — из простой жадности, из бессмысленной корысти — кинул ее, родную дочь, в безжалостный ад позора и горя, погубил, толкнул к смерти... Нет, не будет ему ни жалости, ни прощения. А в нем, Сабире, горе по Зулейхо впервые налилось в полную силу, до того заслоненное, отодвинутое неожиданностью собственной навалившейся смерти, ужасом предстоящей казни, а потом бессилием, опустошенностью истраченной до предела души... Это горе, эта тоска поднимались в нем, как река перед запрудой, и казалось необходимым, чтобы боль прорвалась, хлынула вон, слезами ли, криком, но не мог он показать ее ни этому убитому свершившимся старику, виновнику всего, ни бедняге Аурангу, навьлет раненному жизнью; он должен быть сильнее их обоих и своей беды.

— Шокалон-ага, что ж вы не спросите о Гуломали?.. Я его видел, и он был очень болен...

— О, Гуломали!— снова простонал Шокалон.— Я виноват... мой грех... мой...— И он снова заплакал. Говорить с ним было бессмысленно.

К вечеру впереди завиднелись голые тополя Пайки, полупрозрачные, как призраки минаретов. Люди, уставшие, мрачно замолкшие, теперь быстрее зашлепали по грязи, стали снова нагонять арбу, в них чувствовалось нараставшее напряжение. Они возвращались домой из сырых леденящих пещер горного лагеря, из явной безвыходности — но кто и что встретит их на пороге родного дома, при входе в родной кишлак?

Смерклось. На небе появилась первая звезда. И Сабир, глядя на нее, вспомнил вдруг, как когда-то дома, в родном поселке, они, мальчишки, собирались в такое время и затевали шумный спор: что первым покажется нынче на небе — звезда или спутник?..

Со стороны Пайки донеслись отдаленные голоса, чьи-то тени замелькали впереди. Послышался резкий окрик, и вся толпа возвращавшихся стала останавливаться, сгрудившись на дороге в плотную массу, с арбой впереди. Забряцало оружие.

— Стойте!— крикнул вдруг Ауранг, с трудом поднимаясь на ноги.— Стойте! Надо предупредить...— Он выпрямился в арбе, как на костыль опираясь на свою винтовку, и закричал во весь голос:— Эй! Жители

Пайки! Не стреляйте! Не стреляйте! Это ваши односельчане... Идут с повинной по указу правительства...

Он хотел что-то добавить, но с темной дороги грянул выстрел. Ауранг покачнулся, издал странный звук, словно икнул, и начал заваливаться назад. Сабир едва успел подхватить его и повалился вместе с ним на дно арбы.

Люди вокруг замерли, а оттуда, из-за темных деревьев, послышался громкий отчетливый голос:

— Дрей! <sup>1</sup> Если пришли с повинной, бросьте оружие! Все оружие бросайте! Все!

Старик Низаметдин слез с передка арбы, повернувшись, молча посмотрел на упавшего Ауранга, вытащил из-под него винтовку и стал выбираться на пустую дорогу; сделав несколько шагов в этой пустоте, он швырнул винтовку наземь. Толпа очнулась, задвигалась, бросая оружие, слышались бряцанье, звон, глухие удары прикладов, всхлипы грязи; а Сабир, еле выкарабкавшись со дна арбы, из-под недвижимого тела юноши, наклонился к нему, пытаясь услышать сердце, но уже по очевидной безжизненности тела понял все. По этой безжизненности и по тому тихому, остановившемуся отчаянию у себя внутри, которое словно говорило — да, умер, конечно, умер, иначе и быть не могло, только смерть, смерть, смерть без конца и без края, гибель всех, всего вокруг... Словно он из последних сил пытался выплыть из заглатывающей пучины, хватаясь за самое воду, и эта последняя смерть свалилась на него, как тяжкий, уже неодолимый груз, окончательно поволокла на дно... Бедный, бедный Ауранг!

Люди проходили мимо не глядя.

Впереди, на дороге, выступил из-за деревьев отряд пайкийцев, от него отделился высокий человек, пошел, хромя, к куче наваленного оружия, обошел ее, оглядел и сказал громко:

— Это другое дело! Теперь можете проходить!..

Голос был характерный, хорошо поставленный — громкий и в то же время интеллигентный; его трудно было не узнать — он принадлежал, конечно, тому человеку, что первым выступил на джирге в пользу Гуломали, — учителю Нурмухаммеду Пайки. Стало быть, теперь он тут главный?.. Отряд и толпа двинулись друг

---

<sup>1</sup> Дрей! — Стой!



другу навстречу, смешались, послышались приветствия, горестные восклицания, плач, смех... И вся людская масса потянулась в кишлак. Оружие снова разобрали, дорога пустела.

Старик Низаметдин накрыл лицо Ауранга своим поясным платком, и они двинулись за всеми. На кишлачной площади, перед оташханой, их встретил тот же учитель, поздоровался с Низаметдином, спросил:

— Инженер с тобой?

— Со мной...— сказал Низаметдин,— он раненый... в арбе, с убитым...

Учитель шагнул к арбе:

— Инженер! Черт возьми, я бы вас и не узнал... Сейчас вас устроят...

— А его...— начал Сабир, но учитель прервал:

— Не волнуйтесь, к утру все сделаем как надо!

Площадь была темна, только из оташханы падал слабый свет — не то фонаря, не то очага; и все можно было различить знакомые очертания мечети, минарета, печных труб над черными крышами. Сабира взяли под руки, отвели в оташхану; на широком деревянном настиле расстелено было большое полосатое одеяло, поверх лежали набитые ватой валики. В очаге горел огонь, рядом лежало приготовленное топливо, кипела вода в кумгане. Едва Сабир улегся, снова появился учитель.

— Вот, инженер, принес лепешку, больше ничего сейчас нет, не обессудьте... Ну-ка, пейте чай! Утром найдем лекаря...

— Ох, учитель, учитель!— сказал Сабир.— Знали б вы, что натворили! Кого убили... Этот парень... Это же он поднял весь лагерь, перестрелял всю головку... спас меня от казни... Он людей домой вернул! А вы... его... Он же кричал: «Не стреляйте!»

Лицо учителя напряглось, стало жестким.

— Нам уже кричали такое...— сказал он.— А потом... перерезали полкишлака... Вы не видели мертвых женщин с детьми на руках, чьи тела запрудили арык... не видели мертвых детей в полях, в пору сева проса... Не видели!— Он помолчал, потом сказал мягче:— Поторопился кто-то, руку не удержал... никто не знал, никто не хотел... Считайте — шальная пуля. Ладно, пейте чай и постарайтесь заснуть. Доброй вам ночи... вас тут будут охранять на всякий случай — а утром найдем лекаря. Дела у меня в кишлаке, извините...

На рассвете появился Гужсохта. Должно быть, его где-то разыскали и привезли. Одет он был так же скудно, как и тогда, летом, и такой же темный, тощий, неразговорчивый. Он открыл и осмотрел рану, промыл каким-то остро пахнущим раствором, приложил пропитанную прокаленным хлопковым маслом вату и туго перевязал белой материей.

— Что там у меня, табиб?— спросил Сабир, морщась от боли.

— Повезло...— сказал Гужсохта.— Кость цела... пуля навывлет... Задело!.. Чистое все!..

— А вы, табиб, еще придете?

— Не знаю... Если фидаи эти... не занесли сюда чего-нибудь...

И он ушел.

Немного погодя пришел неопрятный цирюльник, из тех, какие сидят обычно на улицах со всем своим парикмахерским припасом, палочкой чистят уши прохожим, стригут, бреют. Его, конечно, тоже прислал учитель. Он вытащил точило, ножницы, бритвенные приборы, мыло с мыльницей и еще множество всяких вещей, разложил все это рядом на деревянном настиле, потом произнес «бисмилла» и начал массировать Сабиру голову, лицо, подбородок. Цирюльник был старый, тощий, но пальцы его сохраняли недюжинную силу. Кончив массаж, он легко, почти незаметно для Сабира сбрил его густые слипшиеся волосы, усы, бороду. Сабиру, неожиданно для него, стало заметно легче, и когда цирюльник ушел, он решил встать, оделся. У оташханы собрались старики — любители поговорить, его уважительно приветствовали, угостили чаем с козьим молоком; потом он вышел на площадь, обмыл сапоги дождевой водой. Воздух был свежий, холодный, напоенный влагой. Остатки тумана вились меж деревьями. Он пошел по мощеной улице. У длинного невзрачного здания без окон разгружали застрявшую в грязи обочины арбу — снимали светло-желтые бумажные мешки. Подходили люди — старики, женщины, дети, молодежь, брали на плечо по мешку и уносили кто куда. За разгрузкой арбы наблюдал, стоя в стороне, старик Низаметдин. Вместо вчерашнего тряпья на нем были чистые брюки, рубашка, камзол.

— Здравствуйте, Низаметдин-бобо!

Старик обернулся, его морщинистое лицо засияло улыбкой.

— Здравствуй, да будет над тобой милость божья!..  
Ну как самочувствие?

— Спасибо, бобо, ничего! Выспался, отошел малость...

— Ну и слава аллаху...

— Что это разбирают, бобо?

— Химия, сынок, химия... Привезли, видишь, из Мазари-Шерифа, с машинханы! Правительство выдало в помощь крестьянам...

— А что ж вы не берете?

— Это тем, кто землю получил, сынок...

— А вы?

— Я — нет, сам знаешь!..

— А эти все — чью землю получили?

— Махмубшаха. По шесть джарибов на душу...

— А сам Махмубшах где?

— Здесь, говорят. Тут и живет. Не стал гробить свою и чужую жизнь из-за имущества, истинный мусульманин оказался, умный человек...

— Это замечательно!.. Но ведь и вы, бобо, тоже бедный человек, я знаю! Вам бы тоже эти шесть джарибов не помешали...

У старика вдруг задрожали губы, из глаза выкатилась слеза.

— Нет, сынок, ничего мне не надо... лишь бы вину мою простили, не поминали мне и детям моим, а уж я бы власти за то до конца дней своих был благодарен... — Он медленно повернулся и пошел прочь, приложив к глазам свисавший конец чалмы, а Сабир глядел ему вслед. Удивительный старик! Если б можно было помочь ему, наделить всем необходимым для спокойной жизни на свете — землей, водой... Но ведь это, подумал он, и есть твоя жизненная задача! Никто ее не снимал — напротив! Может, ради этого и люди эти, одни — рискуя жизнью, другие — отдав ее, как Ауранг, спасали тебя от неминуемой казни? Чтоб ты решал эту задачу: решал для них — и для себя... Ведь иначе, вне этого, что бы ты был в сей жизни? Так, ноль без палочки!.. И он вновь, как уже не раз прежде, вообразил себе воды Аму, растекающиеся по Чорданахру, по землям всего афганского севера...

Да, подумал он, надо идти в усадьбу Шокалона. Хоть и трудно на это надеяться, а вдруг есть все же какое-нибудь известие о Гуломали?.. Он почувствовал, как снова гулко и болезненно заколотилось сердце.

Улица, ведущая к усадьбе... тополиная роща... Да ведь там за каждым деревом, за каждым углом таится призрак его погибшей любви, на каждом шагу станет мерещиться — вот-вот явится, выйдет Зулейхо... Нежная, прекрасная!.. Исчезнувшая...

Дорога была ему слишком знакома, и он шел почти зажмурив глаза, стараясь не видеть ничего вокруг, не провоцировать памяти. Вот они, двустворчатые тяжелые ворота, как обычно распахнутые настезь... Но, миновав их, он остановился в недоумении, в ужасе. Его встретила зияющая пустота. Где же все — ухоженные палисадники, клумбы, супа, колодец, коновязь, огромный старый тутовник?.. Где все эти аккуратные здания, за которыми шелестит сад, сури, айваны? Пахло гарью, плесенью, и — ни домов, ни сада, лишь торчали кое-где обгорелые останки нескольких тополей. Все порушено начисто, сровнено с землей, уничтожено, точно и места самого нет, где она жила, двигалась, смеялась, выбежала ему навстречу, изливая неповторимое свое сиянье... Точно и самого места этого нет на земле!

Сабир стоял в отчаянии. Он еще раз огляделся — и заметил поодаль сидящего на земле человека. Это был дядюшка Шокалон. Такой же, как и вчера, грязный, оборванный, обросший нечесаной бородой и волосами, в затрепанной, испачканной черным, почти потерявшей начальный цвет чалме. Шея какая-то кривая, обмотанная грязной тряпкой (да у него чирей, подумал Сабир). Неужели он так и просидел здесь, на земле, всю ночь?..

— Дядюшка Шокалон!

Шокалон с трудом повернул к нему голову. Глаза у него были красные, но сухие. Он больше не плакал. Похоже, он узнал Сабира.

— А-а,— сказал он,— ты-и... Пришел!.. Видишь? Все-е... все сгнуло... ничего нет. Ничего! Никого... Говорили мне — не верил. Во-от... Ты к кому пришел? К Гуломали? Нет Гуломали. Нет Гуломали. А он же мне все предсказывал... Не послушал я. Не послушал! Посмеялся. Проклят я, проклят!

— Кто ж все сделал — сжег все?

— Сжег... кабы только сжег. Поубивали всех... все-е-ех!— Он не заплакал, а как-то заскрипел пересохшим горлом, как бадья в сухом колодце.— Всех, кто сразу со мной... с ними не пошел!

— Да кто это сделал, кто?..

— Они — кто ж еще! Фидаи... проклятые! И там я, вишь, не угодил... так они и там... и тут всех... под ногти!.. А я — живой... меня нарочно... живым оставили! Лучше б прикончили... Лучше б меня, чем детей! — Он стал бить себя кулаком по лбу.

— Дядюшка Шокалон... дядюшка! Успокойтесь... не надо так...

— А как? — кричал Шокалон. — Ка-ак? Это ж я сам... своими руками... все-ех... на смерть отправил! Спасти хотел — загубил! Загуби-ил...

Смотреть на это сил не было. Сабир попробовал поднять его, увести отсюда, хотя представления не имел — куда вести, кто его приютит... Но Шокалон и не желал уходить, не позволил даже стронуть себя с места. Пойти поискать кого-нибудь, подумал Сабир, но кого? Как ему помочь?.. Оглядываясь на Шокалона — тот сидел, подвывая, раскачиваясь, — Сабир пошел обратно к воротам, вышел на улицу, надеясь кого-нибудь встретить. Но улица была пуста. Только шагов через двести, на поле, выходящем прямо к улице, он увидел одинокого, средних лет дехканина. Тот, привязав вола на меже, пропалывал хлопчатник, а сам то и дело приподнимался, чтобы оглядеться. К двум связкам стеблей была прислонена винтовка. Распрямляясь, дехканин каждый раз хватался, как старик, за поясницу. Он и на Сабире посмотрел было с опаской.

Нет, думал Сабир, вихрь войны смел с лица земли не одну усадьбу Шокалона, со всеми, кто жил в ней, радостно или скудно, но жил, трудился, надеялся на лучшее завтра... Никого здесь теперь нет, кого война бы не затронула. Говорят: война справедливая, война несправедливая... Так сказать легко или написать, но достаточно увидеть все это воочию, испытать самому — и поймешь: справедливой войны вообще быть не может! Она не разбирает ни правых, ни виноватых, а только разит и калечит; ей нужны дни или часы, чтоб уничтожить вековые плоды рук человеческих! И пусть даже победит в итоге справедливое дело — это все же итог только арифметический: погибшие жизни, непрожитые никогда года — разве их восстановишь?.. Э, да что это с тобой — подслушать твои мысли, подумаешь: ты какой-нибудь волосатик с абстрактными идеями о добре и зле! Ты же нормальный человек — практик! Ну, повезло тебе, родился и жил в годы мира, в мирной стране. Но ведь мир сам уцелеть не может, его защищать

надо! Так что ж, сказал он себе,— воевать за мир? Глупо получается!.. Да, и так приходится. Давно сказано: смертью смерть победив... В сущности, подумал он вдруг, то, что я только что видел (он оглянулся назад, но того дехканина в поле уже не было видно), тот оглядывающийся землепашец с прислоненной рядом винтовкой: разве это не образ работы ради добра во что бы то ни стало, под страхом и угрозой гибели?.. И теперь, когда он уже только мысленно представил себе эту картину, что-то в его голове вдруг прояснилось. Что-то даже не сегодняшнее — давнее. Он вспомнил, как злился на Гуломали, когда тот оставлял работу на базе ради своих революционных дел и митингов. Нет, видно, одно без другого и впрямь до цели не доберется. Разве не такой же когда-то — полной несчетных одновременных дел, изнурительной и опасной — была жизнь его собственной великой страны?..

Кустарник справа от дороги расступился, показались гончарные печи, испускающие слабый черный дым, за ними виднелось кладбище, над земляными холмиками и могильными камнями развевались зеленые тряпки. Неподалеку от дороги собралась небольшая группка стариков — человек семь, не больше. Кого-то хоронили. Неужто Ауранга?!.. Как же он мог забыть об этом! Впрочем, думал — его предупредят... Придерживая рукой раненое плечо, Сабир побежал к ним — мимо кустарника, печей, огибая могилы.

Табут — погребальные носилки — стоял на краю свежерытой ямы. На него понуро глядели несколько опирающихся на суковатые палки стариков, самый старый из них, очевидно, собирался говорить. Близ носилок стояли учитель Нурмухаммед Пайки и Низаметдин-бобо. Они взглянули на Сабир с укоризной, словно говоря: «Где ж вы были??»

— Мусульмане!— сказал старейшина. Он, как и прочие старики, был весь в белом, белая чалма — огромная, свежайшая, борода снежной белизны.— Покойный был нездешний... родом, говорят, из Мазари-Шерифа, упокой аллах его душу. Никому из вас он не задолжал, нет?.. Тогда испрошу согласия народа...

— Здесь есть родной ему человек, ота!— сказал Сабир. Он едва отдышался от бега.— Я его названный брат... Его имя Аурангзеб, а покойный отец его был доктор Сухайль, прославленный ученый, известный в Афганистане...

Собравшиеся глянули на Сабир с удивлением — особенно учитель. Потом невольно перевели взгляд на табут с телом покойного.

— Спасибо!— сказал старейшина.— Спасибо, названный брат. Довольны ли вы были братом своим, Аурангзэбом?

— Да, да!— сказал Сабир.— Тысячекратно доволен!..

Старейшина удовлетворенно кивнул и затянул молитву. Остальные старики, и Низаметдин-бобо тоже, к нему присоединились. Только учитель и Сабир стояли молча, с опущенными головами. Подошел могильщик, тело опустили в яму, все бросили вниз по горсти земли; Сабир тоже. Когда он наклонился, чтобы взять свою горсть, странное чувство раздвоенности овладело им на мгновение. Ведь это я должен был там лежать!— сказал он себе. И вместо меня он принял пули... «Но ведь не тогда же!— выскочила из-за угла услужливая охранительная мыслишка.— Не тогда, когда выручал тебя!» Сабир гневно вздрогнул, устыдясь самого себя, и мысль, как мышь, ускользнула обратно.

— Хорошо, что успели!— говорил прихрамывающий с ним рядом учитель. Они уже шли с кладбища.— Еле-еле собрал людей на похороны... Значит, вы давно его знали?

— Нет, учитель,— сказал Сабир.— В сущности, я его видел всего дважды; нет, трижды...

— Как! Но ведь вы сказали...

— Да. Все правда — и то, и другое. Один раз он едва меня не убил, в другой — спас меня, рискуя собственной жизнью... Долго рассказывать, но, поверьте, так было.

— Запутанный этот мир...— сказал учитель.

— Запутанный... Наверное, потому, что ни у кого нет времени распутать и разобраться...

— Да, времени мало. Между прочим, я утром искал вас не только из-за похорон: вас ведь ищут!.. Пришло срочное письмо из Кабула... Если, мол, знаете, где он, известите!.. Завтра ждем еще одного гостя.

— Кого это?..

— Главного чиновника водных сооружений Санг-касы.

— Главного чиновника?

— Да. Так там написано.

— А имя его как?..

— Понятия не имею. Бог даст, завтра узнаем!..

«Ну и ну,— думал Сабир.— Уже появилось такое понятие — «водные сооружения Сангкасы!» «Главный чиновник»... Хорошо, конечно, только вот неизвестно, что за чиновник. И как с ним сработаться... Ведь работа еще только у истока, многое надо начинать сызнова. Ах, будь с ним Гуломали! А что?.. Товарищ главный чиновник Коргар! Отлично звучит... Только об этом смешно и думать. Он вспомнил, каким оставили они Гуломали у него в комнате... он и Булбулшо... Ох, еще ведь и Булбулшо! Что за чудовищная круговерть! Сколько времени-то прошло с той поры, с Кабула? Чуть больше недели! Всего-то! А кажется — год... Год, который у него на глазах поглотил столько жизней! Похоронил ли кто-нибудь Булбулшо, этого добродушного и верного толстяка, нежного отца двух малышей, которые даже и вспомнить отца не смогут?..

Остаток дня Сабир провел лежа в оташхане: он ощутил вдруг крайний упадок сил, снова ныло плечо. С наступлением темноты, напившись чаю, он задремал было, но вскоре проснулся — и промаялся всю ночь, так и не сомкнув глаз до утра. А утром, вымотанный бессонницей, отправился по кишлачным улицам. Морозный воздух освежил его, да и ожиданье подбадривало: вот-вот, казалось, появится этот таинственный главный чиновник!.. Но день прошел — чиновник так и не появился. Учитель, невзирая на занятость — кроме школы, на его плечи легли дела всего кишлака, — трижды приходил навестить; он явно волновался, ожидал столичного гостя. Гость не приехал, однако, ни на второй, ни на третий, ни на четвертый день. Время в ожидании тянулось мучительно медленно, как ни короткие были сами зимние дни, и Сабир решил наконец, что отправится в Кабул. Но как, на чем? Такую поездку верхом он, со своей раной, не выдержит: машин нет и в помине; Сабир попробовал выяснить, куда делся «бурибхай» Булбулшо, но ничего не узнал. Оставалось пока то же ожидание, и на пятые сутки, вечером, послышался наконец шум мотора. Когда он приблизился к майдану, Сабир уже выскочил из оташханы навстречу. Ломая лед в лужах, машина въехала на площадь и остановилась. Это был пестрый «бурибхай» Булбулшо, не узнать его нельзя было. Дверца отворилась, вышел худощавый человек в меховой шубе. Сердце Сабира нетерпеливо билось. Он стоял в ожидании. Человек



в шубе был не похож на Гуломали — ни прежнего, ни нынешнего, больного, — но шагал как-то очень знакомо. Войдя в пятно света от фонаря, он широко распахнул руки, раскрывая объятия, — и только тогда Сабир узнал его... Это все-таки был Гуломали!

Они обнялись и прижались друг к другу, словно пытаясь вытеснить все беды, что пролегли меж ними за эти без малого две недели. Потом отодвинулись, разглядывая друг друга.

— Да ты молодец! — сказал Сабир.

— Я — да... А вот ты вроде не очень-то... Ранен?

— Да-а... немножко...

— Ну вот! Ну вот! Значит, недаром я получил за тебя... как это у вас называется?.. Вы-го-вор...

— За что?

— Как за что? За то, что отпустил тебя в такое опасное место... Слава аллаху, ты жив! Я уж боялся... такие поползли слухи... Слушай, что тут было? И где Булбулшо?

— Булбулшо... Нет Булбулшо...

Гуломали помрачнел.

— Да, — сказал он, помолчав. — Недаром мне за тебя влетело...

— Но ты-то сам, — Сабир тронул его за рукав. — Ты-то сам как выкарабкался? Никак не ожидал тебя сейчас встретить! По правде говоря, я думал, тебя надолго упрячут в больницу...

— А это все ты! Твой врач из посольства!.. Просто чудо-доктор!.. Но что же все-таки здесь было?..

— Это, брат, надо сесть и долго рассказывать... Невеселые дела...

Гуломали внимательно на него глянул:

— Ну, если долго рассказывать, тогда потом...

— Зайдем выпьем чаю!

— Нет, для чая нет времени. И так счастье, что я тебя здесь сразу нашел... Думал, придется искать да искать... Мы опаздываем! Бери вещи — и поедем...

— Мои вещи — все на мне...

— Ну, тогда — в машину!

Гуломали так и не выключил мотора. Сзади сидели двое вооруженных людей. Они молча кивнули, подвинулись. Гуломали вытащил откуда-то из-за их спин полушубок и дал Сабиру. Сабир, поморщившись от боли, сбросил с себя грязный ватник, кинул его на помост оташханы. Потом влез в полушубок, тот приятно, по-

домашнему пах овечьей шерстью, в нем сразу стало уютно, надежно. Гуломали сел за руль, Сабир — рядом, машина тронулась, сделала круг по площади, светом фар, словно в панораме, вырывая из темноты стены окружающих домов, выехала обратно на знакомую мощеную улицу и вскоре покатила по темной неровной дороге.

— Так за что ты получил выговор,— спросил Сабир,— за меня или за технику?

— За тебя, за тебя!.. А что... технику... всю?..

— Всю... Вы что ж, там этого не знали?

— Догадывались... Царандоевцы, что пригнали в Кабул этот «бурибхай», слышали вдали взрывы... и стрельбу... Значит, все? Всех?..

— Ну, не всех... Я же, видишь, рядом с тобой сижу...— И, пока машина, трясаясь и подпрыгивая, мчалась через ночь, Сабир рассказал всю трагическую историю своей поездки.

Гуломали сидел молча, сжав зубы, вцепившись в руль, словно в рукоять оружия. Сабир, кончив рассказ, тоже замолк.

— Ты к жене Булбулшо... не заезжал?— негромко спросил он после долгой паузы.

— Нет... не догадался. Да и не успел бы...

— Плохо, товарищ Коргар...

Гуломали на него покосился — видно, хотел понять, в шутку или всерьез такое официальное обращение. Но Сабир и сам уже не знал. Ему вспомнился энергичный добряк... вот за этим же самым рулем... и как он говорил о своих ребятах...

— Ты не представляешь, сколько всего навалилось...— Тон у Гуломали был покаянный и мрачный.— Мы ведь начали сбор людей для стройки... Сборные пункты — в Кабуле и Мазари-Шерифе... А записалось всего меньше ста человек... Это записалось, а кто еще из них впрямь работать будет... И ты пропал! И еще лечение... Спасибо, что вытащили, а то б я не мог и... не мог и ходить... Но времени это тоже требовало, сам понимаешь... И проектировщики! И министерство... А главное — специалистов для стройки нет! Ну ни одного... Решили было обратиться в ваше посольство, попросить помощи, но ведь как обратишься, если ты пропал... по нашей неосторожности... по глупости! Один был — и того загубили, как тут новых просить?.. Словом, куда ни кинь...

— Ладно,— сказал Сабир,— все понятно... Хватит каяться. А главный инженер у тебя уже есть... будет?

Гуломали глянул на него благодарно, точно получив прощение.

— Да нет же!— воскликнул он.— Я и об этом с тобой посоветоваться хочу...

— Что ж советоваться, если никого нет... Ладно, поговорим. Куда мы едем-то?

— В Мазари-Шериф!

— Вот как?..

— Ну да... Там организуем главное управление.

— Так ты и есть главный чиновник?

— Что-то вроде этого... Но сначала заедем к Сардору.

Сабир засмеялся, по-доброму, с каким-то внутренним облегчением:

— Благословение хочешь получить?

— Угадал...

Лицо Гуломали было теперь худое, оно не напоминало больше о прежнем крепыше, но и не казалось высушим, утратившим соки, словно ткань умирающего растения, как две недели назад, в окраинной кабульской махалле. Он и не кашлянул ни разу за всю дорогу. Слава аллаху, хоть он уцелел на этой роковой карусели смертей и расставаний, которая крутилась здесь и не останавливалась; поглядывая на друга, Сабир думал о том, какое у него опять сосредоточенное, «нацеленное» лицо,— и вспоминал, как жутко эта нацеленная озабоченность контрастировала с обреченно больным видом Гуломали тогда, в Кабуле. Пусть даст ему судьба удачи, думал Сабир, пусть упасет от беды...

Промерзшая дорога словно нарождалась перед ними в дальнем свете фар. Над черной массой гор встала луна — как одинокий круглый глаз во лбу циклопа. Ночь, через которую они мчались, казалась огромным воплощением великого одиночества, из которого их машина, полуосвещенный островок с людьми, тщилась вырваться. Два солдата позади так и не подали ни разу голоса, с тех пор как Сабир их увидел, сам Сабир и Гуломали тоже давно умолкли. Так, в молчании, и встретили они первые вставшие на обочинах контуры тополей Мазари-Шерифа.

В доме старого Сардора, за дастарханом, Сабиру пришлось повторить весь свой страшный и горестный

рассказ — о гибели каравана, о жутком лагере мучжидов, о Зулейхо, о чаркате, об Ауранге — его подвиге и гибели, об исходе фидаинов из проклятого горного кишлака...

Сардор, обретший, казалось, свой прежний молодецкый облик, сидел, сунув в танчу негнущуюся ногу, и напряженно слушал, но лицо его словно окаменело, трудно было понять, как он воспринимает рассказываемое.

— В общем,— сказал Сабир, кончив встречей с Шокалоном свою трагическую повесть,— что говорить — горько, горько, горько... До конца жизни не забыть мне эту неделю... И все же, знаете, есть в этом воспоминании светлая точка — Ауранг! Я знаю почему: уж отсюда-то я никак не ждал света... Я раньше и помыслить так бы не мог, а теперь они в моей душе стоят рядом: Ауранг и Зулейхо... Простите, Сардор...

Они помолчали.

— Судьба!— громко сказал вдруг Сардор. На его светлой, в снежной седине, голове бархатная феска казалась при свете лампы особенно черной.— Что еще скажешь!.. Разве наши страсти... наша любовь и ненависть... наши усилия... разве это они сотворяют жизнь, какой она в конце концов оказывается?.. Судьба... У нее свой закон!

Гуломали выпрямился, посмотрел на деда.

— А у нас — свой!— сказал он резко, сердито.— Что это с вами, бобо?.. Судьба — это и есть люди! Это и есть то, что мы творим, вольно или невольно! Только каждый из нас стремится к своему... надеется на свое... а жизнь нас сталкивает... и что хрупко, то бьется! Но мы — целы, дед! Понимаете? Мы целы!

— Слава аллаху...— пробормотал старик.

— Это нам слава! Потому что мы не сдаемся, когда, казалось, должны бы... Не сдаемся! И совершим то, к чему предназначены! А когда сделаем это, когда по руслам Чорданахра потечет вода... в ней сольются все честные усилия! И вашего замечательного друга доктора Сухайля... и этого прекрасного мальчика... Ауранга... хоть я еще и не привык к тому, что тот недоросль с пистолетом и есть этот молодой герой... И ваши усилия, Сардор! И наши! И тысяч честных людей... Судьба — это мы сами...

— Да, да,— сказал старик дрожащим голосом.— Ты прав, сыночек... ты прав!— Он помолчал и стал

подниматься с места.— Отдыхайте, дети мои, уже полночь...

— Что-то ты сегодня разошелся, Гулом,— сказал Сабир, когда старик ушел к себе и они остались одни.— И вообще какая-то новая интонация у тебя появилась...

— Да?.. Это нехорошо. Люди еще подумают: загордился, мол, как стал мутасадди<sup>1</sup>... Но если все-ррез — осточертели мне эти раздумья: как быть, что делать, осточертела расслабленность, и моя собственная в том числе... Надо делать дел о — жестко, четко, результативно, понимаешь?.. Могу тебе признаться теперь: тогда в Кабуле, когда ты настоял на том, чтоб самому ехать с Булбулшо, я хоть и не соглашался, а в душе мечтал отложить свою поездку... болезнь была мне даже на руку, да, да... Она как бы оправдала меня в собственных глазах! Конечно, если б ты не появился и не настоял, я бы себя пересилил, сам поехал... а так... До сих пор каюсь, что дал тебе поехать, вверх тебя в этот кошмар! И ту свою расслабленность клянчу...

— Глупости! Ты действительно не мог ехать... Я-то знаю!

— Ладно, я уже не о том... Я о настроении своем тогдашнем. Вот такие настроения нынче и ненавижу! Судьба... рок... не превозмочь... Тьфу! Оправдание собственной слабости!..

Они проговорили до полночи, а утром, когда Сабир проснулся, Гуломали уже, как видно, давно был на ногах. Он поднял своих телохранителей, возился у машины.

— Что ж ты меня не будишь?!— закричал Сабир, но Гуломали в ответ отрицательно закачал головой.— Эй, да что это значит?!

— Это значит, что я договорился с врачом, он сейчас придет, посмотрит твою рану... а потом будет навещать тебя до окончательного выздоровления!

— Значит, я болен... а ты здоров! Ну и придумал! Как будто мне сейчас время разлеживаться!

— Слушай, твою рану не смотрели уже несколько дней. Она наверняка нагноилась — знаешь, к чему это может привести?.. Не брыкайся, как жеребец перед кузницей, лучше мозгами пораскинь. Ты мне живой нужен, а не в виде священных останков...

---

<sup>1</sup> М у т а с а д д и — начальник, главный специалист.

— Даже Сардор, в его годы, снова ездит по улусам!  
— Ты не путай, Сардор проповедует.  
— Я тоже, в крайнем случае, проповедовать буду.  
Расскажу о Ферганском канале...  
— Это, братец, для них просто легенда. Здесь в это не поверят... пока сами не попробуют.  
— Нет, я все равно поеду с тобой...  
Гуломали поднялся, выражение лица его изменилось.  
— Слушай, товарищ Тохтабаев... — сказал он. — Я тебе приказываю... Ты понял? Все... Разговор окончен.  
И такая властность прозвучала в его словах, что Сабир не стал дальше спорить.

Первый раз я увидел ее в большом подвале, где работала группа проектировщиков. Она, стоя у чертежной доски, заново перечерчивала вертикальные элементы плотины. Мы с ней тогда даже не заговорили, только глазами встретились. Потом, ночью, лежа без сна, я все вспоминал этот взгляд и терзался: почему не подошел, не поздоровался, не узнал ее имени... Как будто она исчезнуть могла! Впрочем, творилось вокруг такое, что действительно могла исчезнуть... Утром, чуть свет, я, против обыкновения, начал свой поход по Кабулу не с госпиталя, не с министерства, а с подвала-мастерской. Девушка была на месте, у той же чертежной доски; когда я вошел, она глянула краем глаза и снова обратилась к чертежу. Я повел себя по-дурацки — вместо того, чтоб подойти к ней сразу, заговорить, это было бы в порядке вещей, как-никак я руководитель проекта! — я делал круги по мастерской, обходя ее, и она, конечно, тут же все усекла и даже затаенно улыбнулась уголками губ, после очередного взгляда искоса... Я на себя злился: что это, мол, с тобой творится, ведешь себя как юный болван, девчонка-то лет на двенадцать моложе, да и вид твой не таков, чтоб заниматься ухаживаньями, и время не такое, времени, собственно, и вообще нет... И все-таки ничего с собой не мог поделать. В конце концов я подошел к ней, заговорил — неуклюже, вовсе не так, как подобает начальству, но все-таки заговорил! Ее звали Шаиста, она училась в Кабульском университете, на третьем курсе политехнического, и ее, в числе нескольких прочих студентов, спешно мобилизовали для выполнения чертежных работ. Ее черные густые волосы были коротко пострижены и полуобрам-

ляли смуглое юное лицо; фигурку, ладную, крепкую, почти как у мальчика-подростка, облакал старенький, но аккуратный костюмчик из велюра, сшитый на европейский манер, на ногах — сапожки на высоких каблучках... Все так же затаенно улыбаясь, она окидывала меня удивительной глубины взором, а я осмеливался глядеть только на ее длинные, сильные, тонкие пальцы, словно жившие над чертежом своей особенной жизнью.

И на другой день, и на третий я, оказываясь в мастерской, подходил к ней по несколько раз, все это, конечно, заметили, хоть и помалкивали, а меня она как-то разом всего заполонила. Я тогда уже изрядно кашлял, но около нее даже кашель стихал. Она заняла мои сны, а утром, просыпаясь, я прежде всего думал о том, что скоро ее увижу. Никогда еще, со времени смерти жены, не приходилось мне так упорно думать о какой-либо женщине. Не помню уж, на четвертый ли, на пятый ли день, выходя с нею вечером из мастерской, я попросил разрешения немного ее проводить. Она с виду не так чтобы очень уж охотно, но разрешила, кивнула головой — и, шагов десять спустя, теряя голову от этого нахлынувшего и одолевающего меня чувства, я стал рассказывать ей, что со мною творится. Она шла рядом, слушая молча, не поднимая глаз, а когда я кончил свое лихорадочное, сбивчивое признание, еще некоторое время молчала. Я тревожно пожирал ее глазами, ожидая ответа. Наконец она сказала тихонько:

— Разве любовь такой бывает, муаллим<sup>1</sup>... Так скоро...

В первый миг я счел это отказом и пришел в полное отчаяние. Но тут она посмотрела на меня — словно погладила взглядом; так утешают отчаявшегося ребенка!.. И до того не сходилась это с ее словами, что даже я в моем тогдашнем горячечном порыве понял: и в ней самой поселилось сомнение, и ее чувства встревожены и задеты. А чего ж ты хотел, говорил я себе, — чтобы она после первых же твоих откровенных слов, да еще прямо на улице, бросилась тебе на шею?.. Это ты уже старик, оттого так и торопишься во всем, а у нее все еще впереди, все впервые, ей надо понять, разобраться в чувствах... И со стремительностью, свойственной тогдашнему моему состоянию, я от отчаяния перешел к страстной, почти счастливой надежде — да, она меня

---

<sup>1</sup> Муаллим — учитель.

любит или полюбит вот-вот, едва сама в себе разберется...

Когда мы простились, не доходя до общежития университета, взгляды наши встретились, и она вся вспыхнула, точно осветилась изнутри. Я пошел к себе счастливый, а наутро, в мастерской, щеки ее так же мгновенно заалели, когда я приблизился...

— Шаиста...— сказал я тихонечко.

— Муаллим...

И снова я отошел, мучимый загадкой: как же она все-таки ко мне относится? Почему ни разу не назвала меня по имени, которое, конечно, как и все прочие в мастерской, отлично знает?.. Только из уважения? «Муаллим»! Так, раздираемый пополам заботами проекта и моей неожиданной, лихорадочной любовью, я ходил по огромному, обильно освещенному электричеством, переоборудованному для нас подвалу, с его несчетными перегородками, подпорными стенками, из-за которых он походил на самый настоящий лабиринт; останавливался, смотрел, советовал, спорил, показывал — а сам то и дело косился в сторону Шаисты.

Прошло еще два дня. Я уж думал: может, написать ей письмо, где выразить свои чувства не так сбивчиво, как я сделал это тогда на улице, а отделанным, поэтическим слогом, каллиграфическим почерком?.. Я бы, пожалуй, и уселся за такое послание, хотя писать их решительно не умею... если б как-то ближе к вечеру, когда я подошел к Шаисте, она с очень серьезным видом, оглянувшись предварительно, не достала из рукава и не протянула мне клочок сложенной вчетверо бумаги. Письмо! Она сама написала мне письмо!.. Я схватил его, улыбнулся ей — представляю, какая это была глупо-счастливая улыбка!— и тотчас, под каким-то предлогом, ушел из мастерской.

Я хотел было развернуть его и прочесть тут же, едва выйдя; но кругом было полно народу; я вообразил, как смешно, солидный человек, буду я выглядеть, читая с блаженной улыбкой эту записку... точно знакомя с нею всю улицу! Нет, решил я, пойду домой, там прочту. И я отправился, стократно мысленно перечитывая по дороге эту бумажку и каждый раз сочиняя новую версию того, что там написано. Письмо прямо-таки жгло мне нагрудный карман — или это сердце припекало?.. И вдруг я подумал: а с чего я, собственно, взял, что записка — такого уж радостного для меня содер-



жания? А если там сказано: извините, муаллим, не могу разделить ваши чувства?.. Или еще что-нибудь похуже? Хотя что может быть хуже?!..

Я остановился как громом пораженный. Как это мне сразу в голову не пришло... Нет, не могу я ждать до дому! Я вытащил записку, развернул... Записка была все не от Шаисты. Наоборот, ей адресованная. И без подписи. Неизвестный (мне неизвестный) требовал от Шаисты, чтоб она выяснила, где хранятся материалы нашей поисковой группы, угрожая смертью в случае отказа...

Вот тебе и любовное письмо...

Голова моя гудела, теснило в груди, я закашлялся, не в силах остановиться. Откашлявшись наконец, я попытался прийти в себя. Что это не ответное признание в любви — аллах с ним. В конце концов, она обратилась ко мне в крайности, это тоже чего-нибудь да стоит. Кому нужны наши собранные за два года скитаний и бивуачной жизни материалы, я смутно догадывался. Впрочем, вряд ли для того, чтоб ими как-то воспользоваться, — скорее, чтоб их уничтожить! Ну конечно... Сорвать нашу работу. Сейчас все эти папки в сейфах, только по мере надобности выдаются проектировщикам. Даже пустив красного петуха или взорвав здание с нашим подвалом, их уничтожить трудно. А вот зная где и что... Налет, что ли, они собираются совершить? Впрочем, что гадать — сейчас другой вопрос решать надо: как быть Шаисте? Она и впрямь подвергается смертельной опасности! Если не выполнит требований шантажистов... Кстати, как они доставили записку? А, снова я не о том думаю! Мало ли способов... А может... Смутная, но жуткая мысль у меня мелькнула: а что, если... если она с ними заодно?! Нет, нет, нет, сказал я себе, это просто порождение моей ревности: не может быть у предательницы такой ясный, такой глубокий взгляд! Ей действительно грозит страшная опасность, вот на чем надо сосредоточиться... Но один-то я ничего не смогу!

Мои партийные товарищи работали теперь и по ночам; спотыкаясь в сгущавшейся темноте, я повернул и поплелся обратно к центру. Вскоре я уже сидел в знакомой комнате и, волнуясь, рассказывал о своей неожиданной заботе. Ты что, не понимаешь, сказали мне, выслушав, — тут дело не только в том, чтоб спасти девушку! В городе то и дело гремят взрывы и выстрелы;

летят на воздух важнейшие объекты, гибнут самые нужные люди... В Кабуле действуют хорошо законспирированные террористические группы. Если что-то вокруг вас затевается, надо принимать серьезные меры. Девушку, разумеется, не выпускать из поля зрения...

Насчет девушки они могли бы и не говорить. Впрочем, они, конечно, сразу поняли мое состояние, хоть не позволили себе ни намека.

Утром, спозаранку, я уже поджидал Шаисту у ее чертежной доски. Она пришла в обычное время, поздоровалась, разделась, принялась было за работу. Вид у нее был спокойный, деловитый, словно ничего вчера не произошло и в помине не было той вынужденной из рукава записки. Только когда я сказал ей: «Шаиста... боюсь, теперь вам не придется здесь работать...» — она кинула на меня взгляд, усталый и вместе тревожный. Потом снова опустила глаза.

— Да, понимаю,— сказала она, помолчав.— Теперь, наверно, мне и на улицу нельзя будет выйти. Да что на улицу...

— Еще что-то произошло?..

— Произошло...

— Что?!..

— Вчера недалеко отсюда меня остановил на улице один дуканщик... Я его вообще-то знаю... видела раньше... Остановил и спрашивает: «Ну как, ханум-саиб, письмо получили?»

— А вы что?

— Я очень испугалась. Того, что он так в открытую... Получила, говорю.

— А он?

— «Так ждут ответа!» — говорит. И ушел...

— Вы знаете его дукан? Его самого описать можете?

— Могу-у...

— Значит, его обезвредят.

Она покачала головой.

— Он же не один, муаллим... Его обезвредят — а остальные?

— Вас отправят в безопасное место!

— Нет, муаллим...

— Что значит «нет»?

— Меня не найдут — принесут других в жертву... — Она снова упрямо покачала головой. — Я не буду прятаться...

— Вы... вы еще что-нибудь узнали?..

— Да, муаллим...— Она, как вчера, снова полезла в рукав и достала конверт.— Вот это я нашла в общезжитии пуантуна...<sup>1</sup>

Я выхватил конверт из ее рук. Письма в нем не было — только фотография. На ней — пожилой мужчина; фотография разрезана — голова отделена от туловища.

— Кто это?..

— Это...— она запнулась.

— Говорите же, Шаиста!

— Это... мой отец!

— Где он... где он находится?

— Там... в горах...

— В плену?

— Нет... Он ушел к муджахидам...

Вот оно что! Я смотрел на нее с болью и горечью. Вот почему выбрали Шаисту! Значит, не зря мелькнула у меня та мысль... Нет, нет, не могла она сама... сознательно... Ее затащили в сети!

— Что ж вы собираетесь делать?..

— Если я не сделаю того, что они требуют, моего отца...

— Того, что они требуют, сделать нельзя, Шаиста.

— Знаю...

— Так как же поступим?

— Я должна сначала увидеться с отцом.

— Что-о?.. Шаиста!

— Да. Пусть они сначала покажут мне отца. Живого!

— Вы что ж, хотите отдаться им в руки?.. Это су-масшествие!

— Все равно я на это пойду. Пусть покажут.

— А потом?.. Да они запросто заставят вас выложить все, что знаете... У них средств хватит... Нет, нет, это невозможно!

— Но ведь я могу сказать все, что они хотят узнать... А вы тут примете свои меры. О них-то я знать не буду...

— Они вас не отпустят, пока не проверят, правду ли вы сказали! Это значит просто пожертвовать вашей жизнью... Они же головорезы, способны на все! Я вас просто не пушу...

— А вы можете предложить что-нибудь другое?

---

<sup>1</sup> Пуантун — университет.

— Нужно подумать...

— Сколько ни думать, муаллим, вы не придумаете, как мне иначе увериться, что отец жив. А потом... потом я пообещаю сотрудничать с ними — и вернусь.

— А потом... потом вы снова не будете знать, не убили ли его после вашего ухода! Это же сказка про белого бычка...

— Вы меня все равно не отговорите, муаллим... Ведь это мой отец, понимаете?

— Понимаю... Но как вы к ним попадете?..

— Проще простого!— сказала Шаиста.— Пойду к тому дуканщику, он все устроит...

Это «все устроит» меня покорило. И упорство ее приводило меня в ужас. Но что я мог возразить, в конце концов?.. Приказать я ей не мог, и это же действительно ее отец...

— Муаллим...— сказала она увещевая.— Я знаю, они свили в городе свое гнездо... Может быть, я и о нем что-нибудь узнаю... И о том, как они пробираются из города в горы и обратно... И потом, муаллим... я уже несколько месяцев ничего не знаю об отце... с тех пор, как он ушел! А вдруг он образумился... раскусил своих «богобоязненных» единоверцев! Вот таких, как этот, что днем, сладко улыбаясь, сидят в своих дуканах, а ночью взрывают мечети, больницы, режут людей как скот!.. Вдруг я и отцу помогу выбраться оттуда?..

Нет, ничего я ей не мог возразить! Она поступала по совести: наверное, я и сам бы решил то же, окажись на ее месте. Тут была логика, но логика отчаяния. И это отчаяние разрывало мне душу.

На другой день Шаиста в мастерскую не явилась. Я еле дождался одиннадцати часов, потом полудня. Кинулся в общежитие университета — ее и там не было. Тогда я помчался к своим друзьям, все рассказал. Мне посоветовали пока спокойно ждать. Спокойно!.. Хорошо сказано...

— А мастерская?— спросил я.

Мастерскую, ответили мне, поставят под усиленную охрану. Наверное, и впрямь поставили, хотя я этой усиленной охраны не заметил. Но, может быть, и душманы тоже... Два дня я себе места не находил: днем — в нашем подвале, ночью — в своей махаллинской конуре.

На третий день Шаиста появилась. Она заметно похудела, глаза впали, и взгляд их сделался еще более

глубоким. Соседи косились на нее, но она как ни в чем не бывало встала к своей чертежной доске, взялась за чертеж. Я подошел, она повернула ко мне лицо и грустно улыбнулась.

— Ну что?— спросил я.— Повидались?..

— Повидались,— сказала она все с той же грустной улыбкой.— Мюрид слепо последовал за ишаном — и вернулся!

— Вернулся?..

— Да, и, как вы догадываетесь, с определенными целями...

— Значит, фотоснимок... по-прежнему...

— Да, все по-прежнему...

— Я же вас предупреждал — это тупик!

— Тупик,— подтвердила она послушно.— Но нужно снова обдумать... Гуломали-ака...

Я прежде так мечтал, чтоб она назвала меня по имени, а тут даже почти не обрадовался.

— Расскажите же, Шаиста!

Она рассказала. Дукан этот помещается на углу... Я должен знать... да, да, там торгуют меховой одеждой! Ей завязали глаза, потом усадили в какую-то закрытую машину. Ехали около часа, но, как ей показалось, все время плутали по городским улицам или переулкам. Ее вывели из машины и еще долго куда-то вели, все время сворачивая; она сперва считала эти повороты, потом сбилась. И отца ее привезли с гор точно так же. Оказывается, с первых дней пребывания в горах у него разыгралась болезнь печени, прямо-таки согнула его, он было заикнулся о возвращении домой — и сразу попал у главарей в немилость. На джихад его не брали; обычно таких утративших доверие нахлебников потихоньку убирали, но отцу Шаисты повезло, его почему-то оставили в живых, а после, по приказу сахиба-офицера, тайно доставили сюда, в город. Да, да, она уверена, что это в городе; огромное темное помещение без окон, без щелей в стенах, вроде амбара, рядом с ним, на взгорке, такая маленькая чайхана,— ее видно, когда открывается дверь, а дверь открывалась часто, люди входили, выходили... Похоже, это хорошо замаскированное убежище городских террористов. Шаиста провела с отцом чуть больше дня, и отец — шепотом, полунамеками — успел поведать ей, как разочаровался в муджахидях, а главное — в их вождях; он стал настоящим «еретиком», горько сожалеет, что ушел в горы! И еще многое

он ей сказал, но это предположения, их надо еще проверять, проверять... После расставания с отцом Шаисту снова повели куда-то, таскали с собой чуть не час, но ей, по доносившимся изредка звукам, представлялось, что водили все вокруг того же амбара; в какой-то полутемной комнате с ней разговаривал странный человек — в афганской одежде, в чалме, и говорил на кабульском дари безо всякого акцента, но что-то в лице его было иноземное — она даже не может объяснить, что... Он потребовал от нее все тех же сведений, объяснил, как их передать. Потом, сказал, можешь быть спокойна — мы отца отпустим, и тебе больше докучать не станем!.. Но если, мол, ты нас обманешь — то... Словом, все та же разрезанная фотография.

Назавтра я пришел в мастерскую только к концу дня, были дела в министерстве и в партийном комитете; подойдя к Шаисте, я застал ее чертящую что-то на тонкой китайской бумаге; едва глянув, я понял, что она чертит — план нашей подвальной мастерской.

— Шаиста!..

Она подняла голову и печально на меня взглянула.

— Да...— сказала она.— Сами посмотрите, Гуломали-ака, правильно?..

Вычерчено было отлично: комнаты, образованные перегородками, подпорные стенки, лестницы с точным количеством ступеней, двери, проходы — словом, весь лабиринт нашего подвала; синим цветом обозначены были чертежные столы, красным — сейфы...

— Материалы где — здесь, здесь, здесь?— спросила она.

— Вы что, боитесь, не дай бог, ошибиться?— сказал я, чувствуя, как, впервые с тех пор, что я ее увидел, во мне поднимается чувство протеста.

— Нужно, чтобы план был точным, муаллим... Ведь, возможно, его будут проверять!

— Кто-о?..

— Я не знаю... Может быть, и есть кому... Поймите, ведь за этот план мне обещана жизнь отца... да и моя тоже...

Я посмотрел на нее в упор.

— План на редкость точный...— сказал я глухо.

— Спасибо...— пробормотала она.

— Не за что...— Во мне вдруг взорвалось что-то.— Слушайте, ведь любой человек на моем месте передал бы вас сейчас царандою!..

Она подняла на меня глаза:

— Муаллим... Но разве мы не договорились с вами? Разве я сделала это тайком? Есть же полная возможность принять меры! Для этого вам царандой и пригодится, муаллим...— Она была права, я почувствовал себя дураком.— Простите, муаллим,— сказала она, открепив чертеж,— мне надо спешить, до срока осталось мало времени... а еще нужно зашить чертеж в подкладку камзола!.. Я только хотела сказать... вы... и ваши товарищи... вы, наверное, понимаете, что на эту операцию они пошлют не одного человека?.. Так чтобы в случае чего мы не оказались с вами виноваты!

— В случае чего?!— Я опять готов был взорваться. Уж как-то чересчур здраво для такой юной девушки она рассуждала.

— Ну, вы понимаете...

— Ничего я не понимаю. Никакого «случая» не должно быть! Забрать отсюда наши папки мы не можем, это значило бы, прежде всего, остановить работу мастерской... Значит, в случае нападения остается только защищать их кровью. Вот все, что я в состоянии понять... Если, конечно, вы не знаете еще чего-нибудь, чего мне не сказали!..

— Муаллим!— сказала она с горьким укором, и на глазах у нее выступили слезы.

Это сразу сбило волну моего раздражения.

— Я так не думаю,— сказал я.— И все же... поймите... это ставит под угрозу все! Всю нашу работу... Черт возьми, в какую глупую историю мы с вами влипли...

— Гуломали-ака...— сказала она, и в голосе у нее были слезы.— Мне... мне горько, что я... во все это вас травила... но это же мой отец! Отец! И разве... разве лучше, если я бы вам ничего не сказала? Просто отдала им план — и все?.. Но я... я не могла... я тогда, на улице... ничего не ответила вам... но я... я тоже люблю вас, Гуломали-ака!

Все во мне дрогнуло от этих слов. Но я только поглядел ей прямо в глаза — видно, настала моя очередь промолчать,— поглядел, и она выдержала мой взгляд. Потом вытерла слезы, надела пальто, сунула куда-то под пальто свой тоненький чертежник. Я неуверенно, неловко протянул к ней руку, но она не подвинулась ко мне, только улыбнулась сквозь слезы.

— Пора,— сказала она тихонько.— Прощайте...

И ушла.

Провожать ее, разумеется, мне никак нельзя было; и я сразу из мастерской отправился в партийный комитет. Там уже сидел один из руководителей столичного царандоя. Когда я рассказал обо всем, царандоевец всполошился. Мастерская — под внешней охраной, сказал он, но теперь этого мало: надо подготовить контр-операцию! Главное, чтоб наши люди ждали душманов не только снаружи, но и внутри мастерской... Мы стали обсуждать варианты — план подвала здесь был, — и это оказалось вроде бы не так уж сложно. Сложность заключалась в другом: мы не знали и, очевидно, не могли узнать время нападения, а держать столько людей в напрасном ожидании нельзя: наша мастерская, увы, была лишь одним из многих возможных объектов душманского террора.

В конце концов приемлемый план разработали. Задача была рассчитана не только на то, чтоб отбить нападение, но и чтобы, заманив душманов в ловушку, возможно больше их взять живыми. Что до времени — решили: слишком долго тянуть они не станут, и надо быть настороже уже этой ночью. Царандоевец поехал к себе, готовить людей, и товарищи из комитета обещали подмогу. Что до меня, я тоже решил с этого вечера ночевать в мастерской. Туда и отправился.

Ночь, однако, прошла, спокойно.

Утром Шаиста на работу не пришла. В общежитии ее тоже не было, и лучшее, что оставалось предположить, — душманы взяли ее заложницей. Этого, впрочем, и следовало ожидать, если рассудить здраво. Мне помогло то, что теперь я день и ночь был на людях: останься я один, не знаю, как бы я вытерпел эту муку неизвестности. Ведь душманы не явились и на другую ночь, и на третью тоже...

Только трое суток спустя, далеко за полночь, аллах знает как обойдя внешнюю охрану (должно быть, заранее ее выследили), они, словно тени, появились во дворе дома. Впрочем, наш план и на это был рассчитан. Работая быстро и почти бесшумно, душманы сняли окна вместе со ставнями и рамами и проникли в подвал, оставив во дворе караульного. Вместе с караульным мы насчитали их семеро. Местом для захвата был нами выбран узкий проход, замкнутый с двух сторон бетонными стенами. Лучшего места для ловушки нельзя было и придумать. Едва они втянулись в этот «коридор», мы заблокировали оба выхода и предложили им сдать-



ся. Один из душманов — совсем молодой, необстрелянный мальчишка, как потом оказалось, — не то сгоряча, не то со страху кинулся на прорыв и был застрелен. Остальные оценили положение более трезво: побросали оружие, отцепили от поясов гранаты, положили на пол взрывчатку. И подняли по нашей команде руки. Без особого шума их вывели наружу (караульного захватила внешняя охрана, когда он, поняв, что нападение провалилось, пытался скрыться), подогнали две закрытые машины и предложили душманам показать дорогу к их городской базе-явке. Это явно показалось им страшной смертью. Один из них, косматый, дикого вида мужчина, сперва, как все, стоял в строю и отрицательно качал головой — и вдруг, сорвавшись с места, бросился прямо на цепь царандоевцев. Они растерялись от неожиданности, и, свалив одного из них на землю, душман прорвал цепь, подбежал к стене прилегавшего дома и стал, как кошка, карабкаться вверх.

— Держи! Держи-и! — орал офицер царандоя, направляя на него фонарь, трое бросились вдогонку, пытались схватить душмана за ноги, но тот пнул одного, пнул другого — и уже почти взобрался на крышу: тень его обозначилась на фоне неба. — И-и-их! — закричал офицер и выстрелил. Тень качнулась на краю крыши, застыла на мгновение — и душман тяжелым мешком рухнул вниз.

Остальные пятеро неподвижно стояли под прицелом. Офицер, разъяренный инцидентом, закричал на них, обещая тут же, на месте, расстрелять, если не согласятся показать дорогу к базе. Но ему пришлось повторить свое обещание еще дважды, прежде чем один из душманов вскрикнул:

— А-а-а!.. Все равно! Покажу!

Этот крик разрядил общее напряжение — и в нас, и в душманах. Мне показалось даже: все разом вздохнули... Душманов усадили в одну из машин, вместе с охраной. Другую заняли царандоевцы: часть их, впрочем, осталась охранять мастерскую. Мне подумалось, что нас явно недостаточно для налета на душманскую базу: ведь там могло оказаться много людей. Но командир царандоевцев, должно быть, считал иначе — а может, знал, что все равно пополнения не получит. И мы поехали...

Дорога, которая показалась Шаисте «длинною в час», у нас заняла минут двадцать пять. Миновав

старый, окруженный умирающими тополями, тускло поблескивающий хауз с гнилой водой — я его видел не раз, — мы свернули налево, в узкую извилистую улочку. Ехать по ней приходилось медленно, чтоб не наткнуться на какую-нибудь выступающую стенку или дувал. Минуты через три езды от улицы ответвился еще более узкий проезд — машина в него еле втиснулась; повлиев меж дувалов, проезд неожиданно выводил на маленькую площадку, совершенно безлюдную. С одной ее стороны, что повыше, стояла маленькая, пустая и темная чайхана; напротив — большой амбар: он примыкал к полуразрушенной мельнице. Судя по всему, это и было то самое место. Царандоевцы выбрались из машин и, прячась за ними, оглядывались, ожидая, что по ним вот-вот начнут стрелять. Ночь, однако, была по-прежнему тиха, нигде ни огонька, ни шага, ни вдоха... Вывели пленного душмана — того самого, что согласился показать дорогу: он ехал в кабине, между шофером и охранником. Душман опасно огляделся и кивнул подбородком на амбар. Мы двинулись к амбару — осторожно, все еще ожидая выстрелов; наконец, не выдержав этой медленной пытки, я кинулся к двери и рванул ее на себя...

Амбар был пуст... То есть так показалось мне в первое мгновение. Помещение тонуло в полумраке, лишь в центре, откуда-то снизу, ниже уровня пола, исходил тусклый свет, вырывая из темноты раскрытый и опрокинутый сундук... и неподвижную голову Шаисты, как бы торчащую из земли!

Казнили!!!

Меня так и обдало потом, голова закружилась. Я все-таки первым вбежал в амбар, преодолевая неожиданную слабость в ногах, боясь увидеть в упор страшную картину... Но, подбегая, я, еще не сознанием, а всей прихлынувшей к сердцу кровью понял: жива! Блеснули в мою сторону ее глаза... Она стояла по шею в раскрытом подполе и держала в руках фонарь. Под ногами у нее были, кажется, какие-то ящики.

— Та-ам... — еле слышно сказала она пересохшими губами и показала подбородком в левый угол помещения. И тут только я увидел в полутьме десятка полтора лежащих в углу людей. А чуть ближе — груды брошенного оружия: автоматы, парабеллумы, ножи, винтовки...

...Как все произошло, она рассказала мне уже по-

том. Получив план мастерской, душманы и Шаисту забрали с собою. На этот раз добирались сравнительно недолго, видно, с меньшими предосторожностями. Ее толкнули в амбар; отец совсем разболелся, она как могла за ним ухаживала, благо в углу, не остывая, кипел самовар — день и ночь около него толклись или сидели вооруженные люди; можно было разжиться чаем, а иногда им с отцом приносили касу похлебки. Так, относительно спокойно, прошло два дня. На третью ночь Шаиста обратила внимание, что хождение взад-вперед прекратилось, снаружи все стихло, да и люди, сидевшие в амбаре, как-то напряженно примолкли. И Шаиста вдруг поняла, что это значит: должно быть, какая-то группа душманов отправилась в налет на мастерскую, а эту базу на всякий случай эвакуировали, оставив лишь вот этих для прикрытия. Значит, понимали: если налет сорвется, налетчики, в случае бегства, могут привести на хвосте царандой... И она стала молить судьбу, чтоб так и случилось! Хотя, подумала она при этом, им с отцом такой поворот событий неизвестно чем грозит — скорей всего, ничем хорошим. Впрочем, насчет вероятности для них счастливого исхода она вообще не слишком обманывалась — просто старалась пока об этом не размышлять...

Душманам у самовара, сперва сидевшим в напряженном ожидании — может, прислушивались, как и она? — это наконец надоело. Они стали пить чай, прихлебывая, потом закурили — огоньки сигарет засветились в темноте.

— Опять анашой завоняло! — с тоской и отвращением пробормотал отец Шаисты: из-за болезни его особенно мучили запахи.

Душманы переговаривались — все громче, все развязней. Разговор сначала шел вразброд, кто о чем, потом вдруг один голос — грубый, хриплый — выделился, сказал громко:

— Эй, почтенный! А что... ежели они не вернутся, эта штука... нам достанется, а? — И по сальной, подчеркнутой интонации Шаиста, похолодев, поняла: эта «штука» — она сама! Тусклый фонарь на подпорном столбе висел примерно в центре помещения, света давал мало, но ей не было видно разговаривавших не только из-за недостатка света: душманов от нее, как и ее от душманов, заслонял большой сундук, что стоял посреди амбара. Она еще в первый день спросила отца,

что за сундук, что в нем лежит? Пустой, ответил отец, на крышке подпола стоит, для маскировки... А в подполе что? Да кто их знает, сказал отец безразлично, они частенько туда лазили, видно, патроны, взрывчатка, что ж еще? Продукты они оттуда не доставали... Шаисте тогда и в голову не пришло, что это может для нее оказаться важно. Но теперь, когда она со страхом прислушивалась к разговору душманов, это ей почему-то вспомнилось. И она, хоть сейчас их и не видела, с кошмарной отчетливостью представила себе хрипато го спрашивавшего, как он подбородком показал в ее сторону, и «почтенного», — она поняла, что это их командир: рябой, одноглазый, в серой седине человек с темным и страшным лицом. Он ответил:

— Типун тебе на язык! Вернутся — не вернутся... Погоди о том говорить... — Голос у него был тяжелый, слова падали как гири.

Спрашивавший хохотнул и смолк.

Слава богу, подумала она.

Но разговоры становились все громче, грубее, и вскоре она снова услышала тот же хриплый голос:

— Нет, ты все же скажи, почтенный, — наша эта штука или нет? Ведь вроде своими ногами сюда пришла — выходит, наша, а? А, почтенный?

И тяжелый голос «почтенного», явно изменившийся — видно, и на него анаша подействовала, — сказал:

— Наша, наша... Погоди немного...

— Ну во-от! — удовлетворенно сказал хриплый. — Так бы сразу...

Шаиста похолодела. На что ей надеяться? Что произойдет чудо? Вернутся те, что отправились в налет, или не вернутся — для нее исход один и тот же. Вот, подумала она с отчаянием, отца отправилась спасать... и отца не спасла, и сама...

Тут раздался еще один голос — характерно замедленный:

— Имейте совесть... мусульмане... здесь же ее отец!..

Этот, хоть явно накурился уже, не потерял еще, видно, совести.

— Оте-ец! Мусульма-ане!.. — передразнил его хриплый. — Мы-то мусульмане... да он предатель! Ислам предал!.. Потерпит... еще слаще при нем помилюемся, а?

Теперь и отец все услышал. И с бессильным отчаянием вцепился в ее руку.

Душманы захихикали, голос «почтенного» произнес тяжело, с усилием:

— Погодить еще... погодить... Э-э-эх..

Все это время — пока она прислушивалась, вздрагивая от страха и отчаяния, воображая жуткие лица этих окурившихся, звероподобных бандитов, — в голове Шаисты подспудно, наплывами, складывался отчаянный план... И тут она почувствовала вдруг: все, ждать больше нельзя. Дальше будет поздно. Если они поднимутся, у нее уж ничего не выйдет, не успеет она, тут весь расчет на внезапность. И, выдернув свою руку, за которую ухватился отец, она поползла, стараясь не шуршать соломой. Ей надо было доползти так, чтоб они ничего не услышали. Потом так же бесшумно подняться. А потом — сдернуть фонарь со столба, ногой опрокинуть сундук и, с фонарем в руке, открыть дверцу подпола!.. На все эти действия она могла потратить только считанные секунды — и то при условии, что душманы не сразу опомнятся, не сразу поймут. Ну что ж, в любом случае ей терять нечего.

Рассказывая мне об этом, она сразу толком не могла вспомнить, что она на самом деле сделала раньше — фонарь сдернула или сундук оттолкнула; сундук оказался тяжелей, чем она думала, пришлось сдвинуть его ногой и руками — ага, значит, в руках еще не было фонаря!.. Потом, уже с фонарем, она еле-еле подняла крышку подпола, ухватившись свободной рукой за кольцо, и только тогда глянула на душманов. Все эти секунды она понимала, что времени у нее ушло куда больше, чем она рассчитывала, вот-вот на нее бросятся или пристрелят; и лишь теперь, взглянув в угол, где по-прежнему светились над самым полом огоньки сигарет, успела подумать, что ей здорово повезло: они-таки не опомнились, не поняли, что происходит! Накурились!..

И тогда она заорала — самым диким голосом, на какой была способна:

— Ло-ожись!.. Взорву-у!.. — И, резко качнув фонарь, так что в амбаре запахло керосином, прыгнула в раскрытый подпол. Душманы, как ни обкурились, тут протрезвели и повалились на солому. Мгновение молчания — и вдруг рычащий голос «почтенного»:

— Не стреля-ать, дурак!..

Это кто-то из лежащих прицелился в нее из темно-

ты — она бессознательно держала перед собой фонарь...

И тогда она снова закричала — так же:

— Бросай оружие! Все! Ко мне!.. Жду полминуты — и взрываю!..

Душманы не раздумывая побросали оружие. Она помедлила — хотела было отца попросить придвинуть эту гору смертоносного металла, но поняла — ему, больному, это будет не под силу. И пока она лихорадочно думала, что делать дальше — ведь рано или поздно душманы очухаются от одури и страха и попытаются обойти ее в полутьме, фонарь-то слепил ей глаза, и она почти ничего не видела вокруг, за пределами одного-полутора метров, — послышался шум наших машин. Она решила: если это душманы вернулись — разобьет фонарь и вправду взорвет и себя и всех их.

Это были мы...

Несколько дней спустя я серьезно расхворался — и недаром: мне трудно далась вся эта история, даже теперь я пересказываю ее со щемящим сердцем, хоть уже знаю, чем завершилась. Впрочем, хочу верить, что не завершилась... и продолжится, как только Шанста вернется в Кабул с того берега Аму: ее наградили поездкой в Советской Союз. Отца ее я тогда же отвез в госпиталь, и когда потом навещал его, он рассказал мне любопытную вещь. Муджахидами, у которых старик находился в горах, командовал «сахиб-офицер», он-то и спланировал всю операцию; может, старика потому и оставили в живых, что «сахиб-офицер» узнал случайно: дочка его работает в нашей мастерской. Когда, по моей просьбе, старик описал «сахиба», описание удивительно подошло к облику Лала Махдий...

Поневоле оставшись в Мазари-Шерифе, Сабир решил, что затоскует тут смертельно. Рана заживает, делать нечего, Сардору все время навязываться неловко, а с кем еще мог бы он тут поговорить?..

Все вышло иначе: рана нагноилась, и всерьез, поднялась температура, его мучила лихорадка, и если б не местный доктор, неизвестно еще, во что бы все это вылилось. Доктор был совсем старый человек — и, как выяснилось, давний друг Сардора и Сухайля. Когда появилось известие об эмиграции археолога — известие, которому Сардор сразу и безоговорочно поверил, низвергая на старого приятеля громы и молнии,—

Сардор и доктор не то чтоб рассорились, но разошлись. Доктор был человек мягкий, добрый, ироничный, постигший за долгую жизнь и врачебную практику причины человеческих слабостей и потому склонный их прощать. Так же отнесся он и к известию о Сухайле, и Сардор не мог этого переварить. Узнав о Сухайле правду, старый солдат поначалу не мог перебороть стыда перед доктором. Лишь когда Сардор свалился после ареста Гуломали, доктор снова явился к нему в дом и выходил его. Два одиноких в этом городе старика, они снова тесно сошлись и виделись чуть не каждый день; а теперь — и впрямь каждый день, благо Сабир был тому поводом и причиной. Внешне они были на редкость разные: Сардор — высокий, сухощавый, доктор — полный, небольшого роста, с широким, чуть одутловатым лицом; он был несколько глуховат и потому говорил громко, но в речи его не было и следа настырности, зачастую свойственной глухим. Напротив, он был осторожен и в суждениях и в тоне. Сардор же отличался подчас категоричностью суждений. Как-никак, он был проповедник!.. И все же слушать их беседы, даже самому в них не участвуя, было истинное удовольствие. Делились ли они новостями, мнениями о прочитанном, спорили о книгах или неких волнующих проблемах, или вспоминали пережитое вместе — хотелось их слушать и слушать. Сабиру казалось: не уколы и не лекарства внутрь, не перевязки доктора, так не похожие на жестокое врачевание Гужсохты, а напоминающие скорее нежные женские прикосновения, — не все это, а именно мудрые и увлекательные беседы двух стариков понемногу, но уверенно ставили его на ноги.

Гуломали изредка появлялся у деда, приезжая, как правило, поздно вечером и уже на рассвете исчезая снова. Он проводил дни, носясь по городам и весям: телефонной связи практически не было — какая была, порушилась, — а в ведении Гуломали находились теперь два карьера, бетонный завод, растущий технический парк; хотя управлению предстояло разместиться в Мазари-Шерифе, но и с Кабулом приходилось то и дело связываться, ведь проектировщики продолжали работу, да и помощь министерства требовалась; не хватало энергии, топлива, денег, наконец. Больше всего не хватало специалистов, что, однако, не избавляло от необходимости готовить жилье для них, более или менее стационарное. Нурмухаммед Пайки уговорил-таки од-

носельчан на хашар; некоторые другие кишлаки тоже согласились. Предстояло, однако, главное: заново посетить племена в районе русел Чорданахра — даже если не все они согласятся на хашар, важно убедить их не оказывать сопротивления: в нынешней обстановке могло быть и такое. Ведь время хашара — весна — приближалось и скоро даст о себе знать! А сколько всего нужно для этого подготовить! Словом, забот и дел было у Гуломали невпроворот, и все же с каждым появлением он казался Сабиру все более поздоровевшим, уверенным, радостным, почти излучающим сияние.

Однажды Гуломали приехал особенно поздно; он был очень возбужден; доктор уже давно ушел, Сардор спал; наскоро поев, Гуломали устроился на террасе рядом с Сабиром. Они пожелали друг другу спокойной ночи, но заснуть не смогли. Сабир спросил о чем-то — и Гуломали вдруг прорвало. Он начал говорить, рассказывать... Они так и не спали в ту ночь. Тогда Сабир и узнал о Шаисте. Ему сделалось и радостно за друга — и горько. Он вообразил себе Шаисту — такой, какой вставала она из рассказа Гуломали, — и на мгновение рядом поставил Зулейхо... Нет, это было слишком больно, он даже головой замотал, чтоб отогнать виденье. Он старался вспоминать ее только такой, какой увидел в Пайки, а тут она предстала изможденной тенью, какой была в лагере... Две девушки, такие разные... и две истории, тоже разные... «Послушайте, Сабирджан, у нас есть поверье: за чересчур красивыми девушками по пятам несчастье ходит...» Он посмотрел на Гуломали, только что забывшегося сном. Словно в воду глядел!.. В воду... А-а, черт... И по щеке его сползла слеза.

Весна пришла ранняя и бурная. То была не просто оттепель, что, как некая капризная красавица, явится ненадолго, обожжет безвременно распустившиеся почки — и исчезнет, испарится, словно ее и не было. Нет, то был настоящий взрыв тепла, зелени, цветенья, с мгновенно пробудившимся шумом текущей воды, заполнившей до верхнего края сая, арыки, речки, низвергающейся водопадами и водопадиками, с гуденьем пчел, облепивших цветущие фисташки, с нацеленными стрелами горного лука на склонах. Весна пришла — и в пять-шесть дней одела в сплошную, без прорех, зелень бескрайние просторы вплоть до окраин Каракумов. Казалось, даже небо — над изумрудными лугами, над ис-



точающими пар дыханья пашнями, над подтаявшими сединами гор и серо-синим течением Аму, — даже небо, казалось, полнится бликами ее торжествующего земного сиянья. А птицы, птицы! Какой радостный и вместе озабоченный гвалт поднимают они в траве, ссорясь из-за прошлогодних плодов боярышника! Жаворонки еще не повисли в воздухе, еще вьют гнезда; в траве снуют парами горные куропатки... Какой, кажется, безбрежный, безудержно свободный мир вокруг, не знающий границ и опаски, бродить бы по нему без оглядки и оружия, вбирая в себя эту нескончаемую красоту...

Гуломали изрядно устал от двух своих охранников. Нет, нормальные в общем-то парни, да и безопасность — дело необходимое в его положении, и все-таки, если кто-то неотступно за тобой следует, не отставая ни на шаг, безмолвно контролируя все твои передвижения и действия, рано или поздно это становится несносным, особенно для такого неугомонного человека, как Гуломали. Даже за околицу без охраны не выйдешь, воздухом подышать! Когда к нему присоединился выздоровевший Сабир, стало как-то легче выносить их постоянное присутствие, но не надолго. Всюду они оказывались вчетвером — и на бегущих вниз-вверх тропинках, маршрутах будущей трассы, и на ярких тюльпановых лугах, и на изрытых вешними паводками склонах холмов. Когда идет разговор о том, где установить вагончики строителей или как сократить дорогу для перевозок бетона, эти два молчаливых парня — не помеха; но если хочется поговорить с другом о чем-то своем, личном... Да что у них, черт возьми, совсем уже нет права на личную жизнь?!

Однажды Гуломали вынул из кармана и протянул Сабиру конверт:

— От Шаисты...

Обычный авиаконверт с кремлевской звездой в уголке, внизу — праздничный фейерверк.

— И что пишет? — спросил Сабир, держа конверт в руке.

— А ты прочти!

— С чего это я буду его читать?..

— Прочти, прочти, там ничего запретного нет... зато есть кое-что, что тебя, по-моему, касается!..

Сабир пожал плечами, вынул из конверта мелко исписанную страничку и стал читать. Письмо как письмо. Только в конце... В коридоре Политехнического к Ша-

исте подошла незнакомая молодая женщина, спросила: «Вы из Афганистана?» И оказалось, она знает Гуломали и про Чорданахр все знает... «Она гидрогеолог, очень интересуется строительством на Чорданахре, по моему, здорово во всем разбирается... Мы теперь с ней встречаемся, даже подружились...» — писала Шаиста.

— Ну? — спросил Гуломали. — Прочел?..

— Прочел... — сказал Сабир. Он вложил страничку обратно в конверт и вернул Гуломали.

— Написал бы письмо...

— Кому? — сказал Сабир.

— Ну ладно, не придируйся, кому-у... А то сам не знаешь!

Сабир промолчал.

— Понимаешь, Сабир, — задумчиво сказал Гуломали после паузы, — я вот все думаю... какие удивительно щедрые и бескорыстные люди живут в вашей стране... Вот ведь, в сущности, мы использовали с тобой в нашем проекте теорию старых русел Манзуры... Я ведь читал резюме ее диссертации, которое ты привез... Сама она пока что не смогла осуществить ее на практике... в конкретном проекте... И — ни зависти, ни претензий! У нас бы непременно потребовали что-нибудь в качестве компенсации своего авторства!.. — Он прервал себя. — И так и знай... ты не напишешь, я сам ей напишу!

Сабир улыбнулся мягко, положил руку на плечо Гуломали, сжал. Они еще помолчали.

— Я, конечно, напишу... — сказал наконец Сабир. — Немножко погодя... Сейчас, знаешь... слишком многое стоит перед глазами... Ты пойми — не могу я забыть, что Зулейхо... погибла из-за меня!! За меня!..

Впервые за последнее время он произнес вслух это имя. Впервые. И боль снова обожгла ему сердце. Они еще постояли, помолчали. И оба неизменно молчаливых охранника тоже стояли рядом. Потом все четверо пошли дальше.

Они теперь ночевали где ночь застанет: то в оташхане какого-нибудь кишлака, то на бетонном заводе, то в бараке одного из карьеров, вместе с рабочими. Среди рабочих попадались и едва оправившиеся от ран, настоящие инвалиды. Некоторые даже толком работать были не в состоянии, но Гуломали принимал всех — это, говорил он, имеет моральное значение. И в самом деле имело. Даже Сабир, глядя на них, многое вспоми-

нал, в первую очередь — своего отца, который вернулся с фронта полукалекой и вскоре умер; но работал он почти до самой смерти: «На передовой и на работе все болячки забываются, а заляжешь дома, все вылезает наружу!» И все-таки Сабиру не верилось, что пестрая эта толпа может сплотиться в единый коллектив: тут были и от душевного порыва пришедшие люди, и недавние душманы, явившиеся с повинной; погорельцы, которые лишились крова, и кочевники, остановившиеся неподалеку и получившие здесь временное пристанище и пищу; богомольцы — и не верящие ни во что нищие... Но среди них Сабир встречал и знакомых по изыскательской группе — они работали в разных местах, но с одинаковым рвением и, по-видимому, испытывали к Гуломали самое высокое уважение... И встречи с ними вселяли в Сабира уверенность. А главное — чувство хоть какой-то общности с этой разноликой, зачастую загадочной для него толпой. Он впервые ощутил, как это чувство важно: ведь дома оно было естественным, постоянным, здесь же, пока они оставались только изыскательской группой, в нем не было необходимости — жили, искали, трудились сами по себе. Теперь меж ним и всеми этими людьми протянулись нити, как бы живленные в его душу; мостики через пропасть непонимания...

Гуломали ездил на день в Кабул и вернулся с замечательной новостью: месяц спустя — открытие моста через Аму!.. Они проговорили полночи: это ведь было не просто завершение важной стройки — это было символическое событие! И для них — в особенности...

— Ты что, на торжество поедешь? — спросил Сабир.

— Конечно! А как же!.. Там будут люди из всех провинций, из всех племен! И мы там будем — мы же первый рабочий коллектив на севере... И Садык Сардор будет... И ты поедешь!

— Поеду! С радостью...

Была уже середина ночи. Они ночевали в этот раз на карьере, в малом отсеке рабочего барака.

— Спать будем? — сказал Гуломали. — Хотя... не заснешь теперь... Давай выйдем, подышим воздухом...

Небо было ясное, звездное. Сладко пахло зрелой, набравшей силы и аромат весной. Тишина стояла. И в этой тишине вдруг ударил выстрел. Не успело еще эхо рассыпаться в горах, как второй грянул, ближе. Отдаленные выстрелы слышались тут по ночам и раньше,

но так близко — еще никогда. Из барака выскочил один из охранников — встрепанный, до конца не проснувшийся.

Лицо Гуломали разом помрачнело, осунулось, будто после долгой болезни.

— Ты чего так разволновался? — сказал Сабир. — И раньше стреляли. Постреляют и умолкнут...

— Я просто думаю: если как следует подсчитать, всех наших людей не хватит даже для обеспечения самообороны...

— А, ерунда! Как только стройка пойдет полным ходом, все встанет на свои места!..

— Стройки не будет, Сабир. Будет война. Долгая, тяжелая...

Два старых, списанных армейских грузовика стояли у стройуправления, на окраине Мазари-Шерифа. Над длинным, низким свежевыбеленным зданием управления развевался флаг, маленькие флажки атели и над капотами машин. Гудела толпа, собравшаяся на провозы: делегаты города отправлялись на торжества по случаю открытия моста через Аму. С ними ехали и представители кишлака Пайки во главе с учителем Нурмухаммедом — они тоже были здесь. Над верхушками деревьев виднелся голубой купол мечети Мазари-Шериф, минареты, а над ними, в синем, пронизанном лучами небе, металась стайка серебристых голубей.

У передней машины появился Садык Сардор — в своей высокой ширазской папахе, в шевиотовом пепельном костюме и надетой поверх широкой бурке. Привычно подтянутый, он поглаживал правой рукой узкие серебряные усики, оглядывался по сторонам; встретив взглядом знакомых, приветливо склонял голову, смотрел на небо, и выражение лица у него, казалось Сабиру, было такое же, как при первом их знакомстве — словно он сейчас скажет: «Везет нашему Афганистану весной!» Делегаты стали садиться в машины. Когда Сардор поднялся в кабину, протянув вперед негнущуюся ногу, к нему подошел прощаться большой, толстый человек. Да это Махмубшах! Улыбающийся, веселый... Глянув в толпу уже из кузова, Сабир увидел в толпе еще одно знакомое лицо: нечесаная борода, заросшее щетиной лицо... Шокалон! Встречи на том не кончились: Гуломали, только что вышедший из дверей стройуправления, подошел к кабине второго грузовика

и стал усаживать в нее приземистого старика. Старик был совсем седой, с какой-то застывшей болью в глазах. В первое мгновение Сабир его не узнал — но, усаживаясь, тот сделал характерное движение бровями, и Сабир понял: Хайриддин-бобо... Как он изменился! И как страшно, как трудно будет с ним заговорить. И такая тяжесть — вины, горя, безнадежного сожаления — легла Сабиру на сердце, что сияющий день, казалось, потемнел и отдалился.

Но это только казалось, день сиял по-прежнему, на холмах празднично пестрели, встречая их, подвывающие, но еще такие яркие цветы. Машина одну за другой обгоняла группы нарядно одетых всадников на украшенных конях, от кишлака к кишлаку в этот растянувшийся караван вливались все новые конники; а когда, после перекрестка Хайратан, выехали на магистральное шоссе, не знающее покоя ни днем ни ночью, то сами влились в поток грузовиков, многие из которых, принаряженные, как карнавальные повозки, явно везли в кузовах делегатов на предстоящее торжество.

Часа три спустя они ощутили прохладное дыхание великой реки — и в легкой дымке показался впереди мост: изогнутый, как гигантский лук, ажурный, серебристый. Он приближался все медленней — дорога была забита машинами, арбами, пешеходами. Вскоре шоссе поравнялось с железнодорожным полотном, тянувшимся к мосту, и вплотную к нему подступили многоэтажные здания, контейнерные склады, дворы, базы, скопления новой техники, ящиков с оборудованием, горы тюков, посты охраны. Наконец и это осталось позади; перед ними была река. Аму в этих местах уже оставляет позади так долго сопровождавший ее могучий конвой каменных громад, но до песков еще далеко; и она расстилается меж плоскими, полого нисходящими к ней берегами блистающей гладью, словно бы бесконечная во времени и пространстве, вечно текущая, вечно поющая, вечно дарящая движение и жизнь.

По реке, навстречу друг другу, плыли два маленьких белых теплохода. Перед мостом они одновременно загудели, приветствуя не то новый мост, не то друг друга; и огромные пространства того и другого берега, запруженные людьми, ответили им нестройными приветственными громами голосов: они-то уж наверняка и друг друга приветствовали, и мост, который их соединил отныне.

Позади длинных людских рядов с флагами, что выстроились на самом берегу, теснилась еще громадная многотысячная толпа, но и к ней надо было пробиться через преграды из множества машин, запряженных лошадьми арб и привязанных верховых коней. Делегаты Мазари-Шерифа и Пайки выбрались из грузовиков. Гуломали выстроил их в каком-то ему ведомом порядке и повел к берегу. Сабир шел позади, хотя Гуломали и пытался поставить его в числе первых; чтоб спрятать свои бинты на руке, Сабир надел пиджак и теперь обливался потом под ярким дневным солнцем. Впереди их делегации, следом за Гуломали, шли Садык Сардор и Хайридин-бобо и несли хлеб-соль на бархатных дастарханах. Сперва, пока они продвигались меж машин, лошадей и по людскому лабиринту, Сабиру непонятно было, куда ведет их Гуломали. Лишь добравшись до берега, он увидел — вышли к мосту. Поблизости стояли руководители страны, посланцы столицы. Огромные конструкции моста вблизи уже не казались серебристыми и ажурными, зато производили впечатление огромной мощи и надежности. Поверху шла автомобильная дорога, под ней — сквозящие тоннели для поездов, сбоку — пешеходные дорожки. Огромный поднимающийся кверху мост, казалось, раскрыл объятия водной глади, и она нежилась, ускользая и вечно в них оставаясь.

И вот колонны двинулись по трехрядной автотрассе моста. Сабир обдало прохладой реки и бетона, замелькали цветы, лозунги на всех языках Афганистана, снизу поднимался глухой шум воды. Метров через пятьсот, на самом высоком месте «лука», стояла караульная будка, около застыли два маленьких солдата — узбек и афганец, одинакового роста, оба смуглые, издали похожие как братья. Пограничники отдали честь, колонны остановились на несколько мгновений, в знак уважения к этой символической границе между государствами, и пошли дальше. Когда дошли до конца моста и ступили на тот берег, навстречу грянуло «ура», заревели карнаи, раздался гром аплодисментов. Пестро одетые, похожие на бабочек девчушки поднесли цветы членам правительства. Потом Садык Сардор вручил хлеб-соль крепким парням в касках: строителям от имени строителей!.. Хайридин-бобо тоже вручил свое подношение. Хлеб пошел по рукам, к нему тянулось их множество: молодых и старых, взрослых и детских...

Сардор отошел чуть в сторону, руки у него устали, он взмок от пота: хотя бурку он сбросил еще в машине, но и в костюме было жарко. Он вытер платком лоб, лицо, пригладил волосы. Что-то заставило его поднять голову: на него смотрела невысокая пожилая женщина в берете; на лацкане ее легкого пиджака поблескивала Золотая Звезда. Ее лицо показалось ему знакомым, но где он ее видел?.. Определенно не в жизни, нет... на портрете!.. Он перевел взгляд на звезду, сверкавшую с лацкана — и вспомнил. Ну конечно... фотография, которую показывал ему Сабир... да, да, фотография академика Садриевой... Сумбуль Садриевой! Значит, это она?.. Неужели она?..

Он шагнул навстречу ее взгляду.

— Извините меня...— сказал он с поклоном, который подчеркнул все старомодное изящество его подтянутой фигуры.— Мне кажется, я вас... знаю... Ведь вы... академик Садриева?

— Да,— сказала она просто, как бы и не удивившись — должно быть, ее многие узнавали по фотографиям.— А вы?..

— А я — полковник Садык... Садык Сардор — так меня у нас называют.

— Садык Сардор...— повторила она медленно, как бы смакуя.— Очень приятно... Знаете, мне тоже кажется, что я вас знаю откуда-то... хотя откуда? Где мы могли встречаться?

Он выпрямился, глаза его под седыми бровями сверкнули.

— Действительно, откуда?— сказал он.— Вы — с этой стороны, а я... я — ауганец!..

Показалось ему, или действительно ее лицо под привычным темным загаром покраснело?.. Она спросила:

— А вы... вы бывали у нас когда-нибудь?

— Бывал... однажды... очень давно... Теперь уже трудно поверить, что все это было... молодость... и та поездка...

Она смотрела на него пристально.

— Ведь вас зовут Сумбуль?— спросил он вдруг решительно.

— Да. Меня зовут Сумбуль... И родом я из кишлака Мукри...

Он кивнул, как бы все подтверждая. Несколько мгновений они стояли молча.

— А ведь я...— сказала она наконец раздумчиво.— Я потом... порою... думала — уж не приснилось ли мне?.. Значит, нет... и вы действительно везли письмо?..

Он снова кивнул. Слова казались ему лишними.

— Я потом читала об этом письме... потом... много лет спустя... это уж была История, с большой буквы... нет, не может быть, чтоб ты в этом участвовала, сказала я себе... примерещилось... или совпадение... А это действительно были вы!..

У него комок стоял в горле. Они так стары!.. Но ведь была та девочка, была!

— Да,— сказала она, словно угадав его мысли.— Была жизнь... и прошла...— В углу глаза у нее блеснуло что-то, но тут же она улыбнулась — слабой, чуть тронувшей губы улыбкой.— Ну что ж, не так уж плохо прошла... А? Полковник Сардор... академик Садриева... Жалеть поздно. Зато стыдиться нечего!

— Нет!— сказал он. Сделал шаг вперед, взял ее руку, поцеловал. Рука была сухая, старческая. Когда он выпрямился, она удержала его голову, прикоснулась губами ко лбу, отпустила.

— Ну вот,— сказала она.— А теперь пойдете... пойдете вместе... небось ждут уже, ищут...

А Хайридин-бобо искал землю. Земли не было. Был асфальт, бетонные плиты. Земли не было.

Можно ли здесь отойти в сторонку, побыть одному?.. В глазах его стояли слезы, но он их не вытирал — все равно тут же опять набегут. Он огляделся. Кругом люди, люди, люди, ничего больше не видно. Или он ослеп совсем?.. Он все же вытер глаза — и тогда вдруг где-то над головами, слева от моста, заметил странно покачнувшуюся верхушку дерева. Сажают, догадался он с радостью, деревья сажают!.. И пошел в ту сторону. В самом деле, вдоль берега, на высокой насыпи, молодые парни рыли ямы, тут же, в больших ящиках с насыпанной землей, стояли саженцы, уже с листьями — такие примутся. А земля какая! Черная, жирная... Родная земля, родная!

— Хорманг! — сказал он подходя.

Молодежь ответила ему нестройным хором благодарственных приветствий. И под подошвами была у него земля родная. Господи, сбылось! Все потеряно, все, а родная земля еще есть на свете!

Он подошел ближе.



— Чинары?..— спросил он.

— Чинары, бобо,— ответил ему рослый парень, который работал ближе всех.

— Примутся?— Он знал, что примутся, саженцы были здоровые, крепкие, ему просто хотелось поговорить с ними.

— Должны, бобо!

Земля пахла как-то особенно, дивно, благоуханно — или это ему кажется?..

— Я оттуда, с того берега...— сказал Хайридин-бобо. Парень выпрямился, посмотрел на него внимательно.— Можно, брошу кетмень-другой землицы?— попросил старик.

— Пожалуйста,— сказал парень поспешно и протянул кетмень. Остальные тоже оставили работу и смотрели. Хайридин-бобо ударил кетменем раз, другой, третий, отвалил несколько пластов, потом встал на колени, набрал в ладони влажной земли, размял, поднес к носу, вдохнул с наслаждением, прикрыв глаза. Парни смотрели, улыбались, потом снова принялись за работу. Только тот, что дал кетмень, стоял в ожидании, на лице его была написана жалость. Хайридин-бобо ссыпал землю с ладони себе в карман, поднялся.

— Вы узбек, бобо?— спросил хозяин кетменя.

— Да, внучек, узбек... А ты?

— И я... Наполовину, правда. Отец — туркмен...

— Да...— сказал Хайридин-бобо и подвинул ему кетмень.— Спасибо тебе, внучек... спасибо...

— Не за что, бобо!

На обширном пространстве перед мостом, где толпились люди, начинался митинг. Репродукторы доносили обрывки чьей-то речи. Старик спустился к реке. Солнце клонилось к западу, и маленькие волны, которые несла Аму, потемнели, вот-вот станут черными. Старик вглядывался в реку. Ему показалось — что-то качается в волнах. Что же это, о аллах! Люлька, люлька!.. Он качнулся, едва не упав в воду, всмотрелся снова. Нет, не люлька... Волны рассеяли, разбросали свою ношу, и теперь ему увиделись девичьи косы, распластавшиеся на воде... Аллах спаси и помилуй!.. Но волны еще приблизили то, что несли,— это был просто веночек, веночек из степных цветов. О-о-о... Да откуда ж веночек-то?.. Вот и другие... Старик стал смотреть вверх по течению — и разглядел наконец: венки бросали в воду дети. Ага! И на том, и на этом берегу! Возле моста, где

река сужалась, течение сводило их вместе, перемешивало...

— Красиво, бобо, а?— спросил над ним молодой голос.

Старик поднял голову. Это был тот же парень, что давал ему кетмень. Он подошел неслышно, встал рядом.

— Красиво, сынок...— сказал Хайридин-бобо и вдруг всхлипнул.— А моих детей... моих... не река поглотила... нет... вражда поглотила...

Парень промолчал — не понял. Но снова посмотрел на него с острой жалостью.

А на мосту оживленно разговаривали двое. Гуломали разыскал одного из авторов проекта моста, они дошли поверху до караульной будки, осматривая все; Гуломали расспрашивал, мостостроитель комментировал. Все, что Гуломали увидел, привело его в восхищение. Теперь они стояли, опершись на перила, и продолжали разговор, изредка поглядывая вниз, на воду.

— Но что будет с мостом в случае весеннего паводка?— спрашивал Гуломали.

— Ну, что будет... Придется соблюдать осторожность... Больше ничего наперед не скажешь...

— Я вам обещаю,— сказал Гуломали,— это года на два, не больше!

— Что — года на два?..— растерянно спросил мостостроитель.

— Осторожность! Потом я вам гарантирую безопасность ото всех паводков!

— Да-а?

— Да, да!

— Это в каком смысле?..

Но Гуломали не услышал: он заметил группу девушек на берегу, и одна из них... Да, да, вон и Сабир с ними!

— Саби-ир!— закричал он.

Но это был не Сабир. И не Шаиста. Померещилось. Сабир вообще не было видно — наверное, встретил кого-нибудь из своих.

— Товарищ Коргар, так в каком же это смысле?..

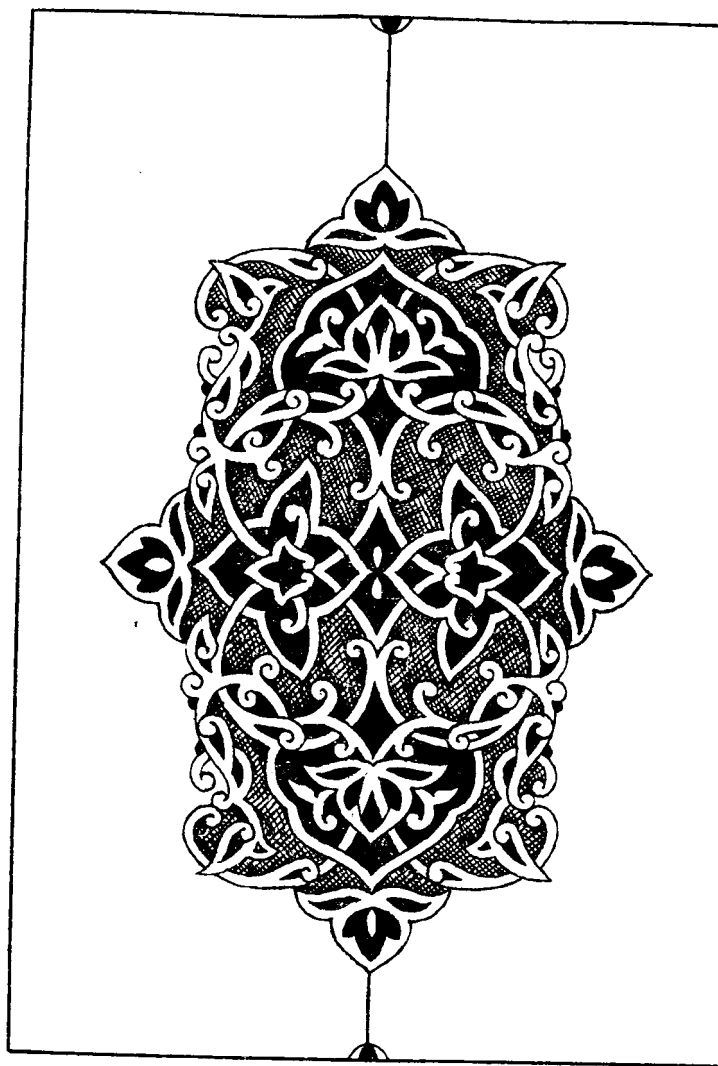
— А-а... Да, да,— сказал Гуломали.— Сейчас я вам расскажу...

А великая река волновалась внизу, вбирая пламень заката,— и текла, текла, текла, как расплавленный металл.



# ПОВЕСТИ







# АСКАД МУХТАР

ПЕРЕВОД  
С УЗБЕКСКОГО  
А. НАУМОВА

## УЗКИ УЛОЧКИ БУХАРЫ

Узки улочки Бухары —  
Не пройдешь, не испачкав платье...

*Народная песня*

Юноша, который, ведя коня в поводу, вышел осенним утром 1912 года из махалли<sup>1</sup> Газиян, направился в сторону городских ворот Хазрати Имам. Пока он обходил крытые торговые ряды, оттуда, перебивая друг друга, доносились вопли каландаров<sup>2</sup> и голоса мальчишек, отдававшиеся звоном под куполами: «Вода — как лед!.. Айран — как мед!..» Удивительно, ведь осень уже! В Москве в эту пору неподкованного коня и на улицу не выпустят — гололед!.. А он запомнил было — в Бухаре верхом не очень-то проедешь: сперва минуешь гробницу святого Турки Джанди, потом мавзолей Кулбобо Кукельдаш, Авлия Гариб... Словом, пока не выберешься из центра, в седло не сесть. Впрочем, когда уже на мощеной улице, ведшей прочь из города, он сунул было ногу в стремя, вдали, за мечетью Искандархан, показались могильные холмики и трепетавшие на древках с полумесяцем бунчуки.

Дойдя до окраины, до Истамура, он почти забыл про коня, шедшего следом: воспоминания нахлынули. Он невольно замедлил шаг, загляделся на знакомые с детства места. Вон те же соленые лужи, вдоль них лавчонки кожевенников и закопченные, провонявшие насквозь глинобитные мастерские скорняков — дубильщиков каракуля. В детстве, которое казалось теперь таким

<sup>1</sup> Ма х а л л я — городской квартал, квартальная община.

<sup>2</sup> К а л а н д а р ы — странствующие монахи, дервиши.

далеким, он, увязавшись за отцом, оказывался здесь не раз. У отца были дела с этими ремесленниками и с оптовыми скупщиками сырья...

Впрочем, дорога вела и в Ромитан, на родину матери, а он туда часто ездил. В Ромитане находились, кстати, земельные наделы мечети Искандархан. Говорили, что семеро прославленных кары — чтецов Корана из этой мечети, которые неизменно вечером каждого четверга исторгали слезы своими поминальными молитвами, получали с тех наделов по десять тысяч таньга в год. Целое состояние!.. Но сумма эта теперь не трогала воображения Файзуллы. Юнус-Фаранг (Европеец), навестивший нынче отца, говорил о миллионах... Еще они обсуждали спрос европейского потребителя, а под конец почему-то договорились закрыть магазины в Варшаве.

Файзулла с детства наслушался таких разговоров и уже умел мыслить крупно и отвлеченно. Но сейчас им владели туманные чувства, какая-то светлая грусть, навеянная воспоминаниями. Эти разбитые мягкие дороги, толстая лессовая пыль, колыхавшаяся под ногами, пар над пашнями, запах палой листвы, пряные ароматы осенних цветов — все было как в детстве. Но детства больше не было, время уходило безвозвратно, и места вокруг показались ему вдруг безнадежно заброшенными; сиротливость этих невыразимо родных пространств пронзила его почти осязаемой болью. А он сам? Что будет с ним?..

Наверно, все оттого, что отец слег. Заболел телом и духом. Лежит, безысходно мучаясь, желтея, как эта увядающая осень.

Шум города отдалился; у горизонта лежали почти прозрачные, как льдинки, облака, голубизна неба была таинственно притягательна.

Файзулла чуть выше среднего роста и, как говорится, только-только начал свой шестнадцатый год. У него чуть вытянутое чистое лицо, в больших глазах проскальзывают искорки радости, тени тревоги, а порою их затуманивает рассеянность. Эту пестроту впечатлений словно бы отражает одежда: халат в мелкую полоску надет поверх сугубо европейского темно-коричневого костюма, на ногах выворотные сапожки, какие носят состоятельные кишлачные жители, а на голове тончайшая белоснежная шелковая чалма.

Едва миновали городские ворота, рыжая лошадка-четырёхлетка, понуро шагавшая в поводу, вдруг вскинула голову, широко раздувая ноздри, точно вдыхая раздолье вокруг, встрепенулась вся, сверкнув на солнце ярко-желтым крупом. Файзулла обернулся, они поняли друг друга: их обуяло нетерпение. Юноша привычно заткнул полу за пояс, вложил ногу в стремя, легко вскочил и чуть косовато уселся в обитое желтой кожей седло. И лошадка, едва дождавшись этого, резво пошла по древней колее, поднимая за собою желтоватое облако пыли.

Немолчный крик ослов, которых базарный люд нанимал у ворот Хазрати Имам, чтоб доехать до Галасии, постепенно стих за спиной. Теперь Файзулле уже не хочется ехать быстро: теплый осенний воздух, в котором так легко дышать, располагает к медленному, вольному раздумью; юноша осторожно натягивает поводья, а другой рукой, просунув ее под гриву, поглаживает шею лошади как бы в знак утешения.

Хотя солнце уже в зените, не жарко; ветра нет, но прохлада как бы струится навстречу; осенняя шелковая паутина навешена на ряды тутовых деревьев, сады порыжели, покраснели, только те, вдали, ухоженные, эмирские, еще укутаны густо-зеленым цветом. Файзулла чувствует, как словно бы сливается с округой, с чистотой неба; давно, давно уже ему не дышалось так сладко и полно...

Солнце уже покатилося вниз, когда он достиг мостика Лаглаки. Жаворонок в выси, точно завороченный медленным течением речки Лойкаруд, чудно запел вдруг. Файзулла остановился в тени старого тала, спешил, ослабил подпругу и отпустил коня. Клочки зеленой травы еще сохранились в тени; путник чувствовал усталость, и эта напитанная влагой плодородная прибрежная земля так и манила к себе. Он снял сапожки, халат, сел, а потом лег, распластавшись, прикинув грудью к земле. Речка текла бесшумно, жаворонок смолк, стебельки травы у самых ноздрей пахли нежной, сладковатой прелью. Земля дышала. Он погладил травку ладонью и задел пыльный цветочек. Бутагул, верблюжий цвет!.. Потускневшие от пыли голубые глазки словно о чем-то молили. «Не бойся, дурачок, не сорву, расти себе дальше...» Он это не то подумал, не то прошептал. Будто во сне. Да и все стало походить на сон, земля словно подавалась под ним, а воздух, про-

стор, как бы отяжелел, наваливался сверху. И вдруг он понял: это мгновение он живет разом в двух временах — в недавнем, московском, и в здешнем, нынешнем. Это по ней, прямой, изжаждавшей родной земле и тосковал он так в Москве, сам того не сознавая, а теперь вбирал ее в себя, живую, и вместе вспоминал недавнюю тоску по ней, и от этого двойственного чувства было впечатление сна.

Нет, не сон, вот цветочек, касаясь его виска, колыхается на уровне глаз, его можно потрогать, но лучше сказать ему что-то доброе и нежное... Кому еще скажешь так — все вокруг, даже родные, в лучшем случае, удивились бы. Чужие люди... Да и то: вечно он был в поездках с отцом, пять лет учился в Москве. Отвык, отдалился. А земля была своя, понимала и принимала. Он прижался к ней виском, и на глаза неожиданно навернулись слезы...

Нет же, грех так думать!.. Не одинок он. Есть мама, мамочка, анаджан. Заветный свет души. Файзулла еще ни о чем не говорил с нею по приезде, но мать, тоже стосковавшаяся по сыну, почуяла, что у него творится в сердце. Что-то он обрел, что-то утратил. Радуюсь его возвращению, Райхон-биби тотчас поняла, как тревожно ему или даже больно. Всего два дня, как вернулся, а уже места в доме не находит!.. И поговорить все некогда — какая там забота, что за боль?..

Что за боль, Файзулла и сам не знал. Прогулялся там, тут, обошел ближние махалли, повстречал знакомых. А внутри все то же: словно страшился завтрашнего дня. Мать сперва так и подумала, что все от боязни за отца: как бы не скончался. Но, когда сын попросил разрешения съездить в Ромитан повидать дядей, она поняла: что-то тут и другое. И сказала: ладно, съезди, детка, навести дядей, развейся. Хоть и нелегко ей было согласиться: взоры всех в такое время обращены к наследнику — род знатный, богатейший, следят за каждым шагом, и то, что старший сын хоть ненадолго удалился от изголовья больного отца, может стать причиной всяческих кривотолков. Но разрешила без лишних слов: съезди, детка... Файзулла представил, какое у нее было лицо при этом, и нежность к ней пронзила его.

— Анаджан... — прошептал он. — Анаджан...

С солнечного склона донеслось ржание коня. Файзулла поднял голову. В отдалении над зарослями поляны кружила, то присаживаясь на ветви старого ка-



рагача, то снова взлетая, стая черных ворон. Их большие крылья отливали сталью. Должно быть, сторожили добычу и ждали, когда уберутся отсюда человек и конь. Файзулла представил себе их серые короткие, как трехгранный кинжал, клювы, и его передернуло. Он поднялся, отряхнул чапан. Только взобравшись в седло, он увидел, над чем кружили вороны: труп ишака. Должно быть, одряхлевшее животное прогнали в степь, а подохло оно, объевшись дикого тамариска, живот у него вздулся барабаном. Теперь только Файзулла ощутил тошнотворный запах падали. Он погнал коня, но запах оставался в ноздрах, и уже невозможно было восстановить слабый аромат того степного цветочка. Файзулла обернулся; вороны исчезли из виду, конечно, уселись на труп. Нежность и успокоение улетучились, тоскливая тревога снова заползла внутрь. Скорей бы уж доехать, увидеть дядей... Хотя что он скажет о себе, что поведает, если спросят? Сам про себя, в сущности, ничего не знает.

Он снова подумал о доме, об отце, который лежит там, а в комнатах душно, всюду полно людей, и знакомых, и неизвестных Файзулле, и везде, от гостиной до конюшен, царит какое-то болезненное ожидание, какой-то приглушенный до шепота гомон. И нескончаемой чередой идут гости: приезжают сильные мира этой славной Бухары — муфтии, аглямы, баи; прибывают нанести непременно визит почтения приказчики и управляющие Убайдуллы-ходжи из Балджувана, Каратегина и других волостей; надсмотрщики из торговых рядов, оптовые торговцы... Прибыл даже один из влиятельных приближенных эмира, некто весьма величественного вида, вошел к больному, прочел молитву и торжественно удалился. Большинство из них Файзулле незнакомо. Ведь после того, как наемный мулла несколько месяцев обучал его начаткам грамоты, а потом, отданный в медресе, он даже не успел пройти до конца «Шархимулло», учебник арабского языка, отец уже отвез его в Москву. Но некоторых гостей он знает хорошо. Например, один из самых уважаемых преподавателей медресе — хазрат Шораджаб-муфтий Зуфунун (Зуфунун — это прозвище, оно означает знатока наук); ученый-богослов, осведомленный и в других областях знания, он славился своими проповедями в медресе Кукельдаш и при этом был человеком добрым, простым, не водил за собою толпы прихлебателей. Или ходжа За-

хреддин-махзум, бывший ювелир, знаток истории, ныне он содержит школу в квартале Пойи Остана. Или Мирза Мухиддин — сам он из редакции «Бухорои шариф», но вечно таскает под мышкой пожелтевший еженедельник «Таржимон», издающийся в Кырму... И еще этот богослов из Касгарана...

Удивительно, подумал вдруг Файзулла, какая разношерстная толпа, сколько несовместимых титулов и взглядов — знать и люди средние, джадиды и реакционеры, сунниты и шииты, всех и не перечтешь, но едва они вступают в этот дом, тотчас забывают о своих распрах, спорах, ссорах, и каждый, кажется Файзулле, прежде всего помышляет о том, чтобы столкнуться с ним и выразить свое особенное расположение. И не кажется — так и есть! Файзулле претит это явное заискивание, ему неловко быть в центре внимания столь важных людей, тем более когда отец лежит тут же, больной, и он старается избегать всего этого, но разговоры их ему хочется, однако, слышать. Столько интересного можно узнать о положении в Бухаре, о прошлом и наступающих переменах, о царящих вокруг настроениях... Раз, проходя мимо, он невольно прислушался к разговору, услышав имя отца.

«Спасибо золоту Убайдуллы-ходжи — это благодаря ему монеты Бухары так весомы и ассигнации не пустые бумажки, как у иных...»

«Да, что-то теперь будет. Ведь он, сидя колени в колени с его величеством эмиром, решал дела всего эмирата. Без Ходжаева (чуть приглушив голос) — и эмир не эмир, да, таксыр, да...»

«Европа...»

«О Европе печалитесь, махзум, а знаете, каково сейчас хозяевам каракулевых отар и скупщикам сырья в песках? Вы бы принюхались, какая вонь идет от кожаных складов в Кемухгаране!»

Что да, то да, зловоние от невыделанных кож невыносимое, оно словно застревает в носу. Так пахнет и из подвалов во дворе отца. Файзулла почувствовал этот запах в ноздрях. А, это же запах той падали!.. Он обернулся, но места вороньей трапезы уже не различить было. Он погнал коня и вздохнул с облегчением. Хорошо, что отпросился в Ромитан — невмоготу уж было. «Бибиджан, я навещу своих дядей...» — «Съезди, детка, съезди, развейся...»

Еще несколько верст — и завиднеется кишлак. Родные места, добрая родня, дяди — простые здоровенные дехкане. Отец всегда брал с собою Файзуллу, когда ехал в эту сторону, и, пока сам разъезжал по степям, скупая шкурки у перекупщиков, крупных и мелких, ночуя в хибарах и овчарнях Чарыкулбая, Файзулла оставался у своих дядей. Детство, невесть где затерявшееся, снова представилось ему: мальчишки борются на песке, изображая кураш<sup>1</sup>; бесконечная игра в абрикосовые косточки — «пойданак»; ослиные бега, которые детвора устраивает сообща... Кишлак был обилен водой, мельницами, жизнерадостен. Со всех сторон привозили пшеницу и увозили муку. Дядя Шахабиддин резал из карагача мельничные лопасти. В молодости он однажды подставил спину под мельничный жернов, который снес столб у оврага Магок, и спас от смерти единственную лошадь старика дехканина. С той поры его и прозвали Шахабиддин-силач. Когда бы Файзулла ни появился, всегда заставлял Шахабиддина с маленьким долотом в грубых огромных руках: он тесал им лопасть, засыпанный со всех сторон душистыми щепками и стружками. Файзулла кидался к нему, обнимал, дядя гладил его громадной рукой, и мальчик, перепрыгнув низенький глинобитный забор с заложенными верблюжьей колючкой проломами, спешил в поле к своим сверстникам. Они возили навоз на шлаках, а вокруг зеленел ячмень, на черной пашне гомонили галки...

Казалось, весенние запахи вот-вот ударят ему в нос. А кишлака все не видно было: ни высоченных тополей, взметнувшихся ввысь, как минареты, ни раскидистых карагачей, издали напоминавших темные купола. Горизонт был желтый-прежелтый...

— Баймулла! — послышался голос. Длинноногий подросток, забросив за плечи две связки душистой травы, бежал ему навстречу. Голос Файзулла как будто узнал, а вот мальчика... — Ассалом алейкум, баймулла, как ваше здоровье?..

— Муминшо?! — Файзулла соскочил с лошади. — Это ты?.. Неужели ты? Надо же, как вымахал!.. — Они обнялись.

Это был сверстник Файзуллы. В игре «пойданак» с ним, бывало, никто не мог сравниться. Вытянуться-то он вытянулся, но остался все таким же мальчуганом,

---

<sup>1</sup> Кураш — борьба.

кишлачным парнишкой в самотканой бязевой рубахе до колен. Файзулла, хотя и был чуть ниже ростом, рядом с ним выглядел настоящим джигитом, плотным, с серьезным, взрослым выражением лица, с пронизательными глазами; только когда он от души смеялся, его взрослость улетучивалась. Приятели, ликуя, расспрашивая друг друга, снова обнялись. Муминшо, забыв свое «баймулла», перешел на «ты». Лошадь, мотая головой, следовала за ними.

— Слушай, Муминшо, а кишлак...

— Да сам видишь!.. С той поры, как поля занесло бродячими барханами, все вот такое... мертвое. Хлопок не растет, ячмень не растет, сады пропали. Ребята в чабаны нанялись. Сам-то ты как, насовсем вернулся?..

Файзулла не ответил. Его точно громом оглушило.

— Да ты не расстраивайся, дяди твои все здоровы,— сказал Муминшо.— Человек, он ко всему приспособится. Только вот эти подлецы из Гарибмазара: узнали, что в кишлаке джигитов мало осталось, и налетели, как вороны на падаль...

— Из Гарибмазара?..

— Ну да. Побывали тут третьего дня, вроде бы мюридов себе выискивали да радениям предавались. Народ поверил, смотрели, плакали даже — думали, их молитвы хворых исцелят... А те, оказывается, девушек высматривали, у кого опоры да защиты нет. А на следующую ночь... Ох, и жутко визжали девушки!

— Как! Девушек?..

— Ну да! Крадут и продают потом.

— Кому?..

— Ну что, не знаешь, что ли?.. Бывает, девушкам и повезет, некоторые даже во дворец попадают!.. Но больше всего торговцам рабынями достаются.

— Торговцы рабынями?! Ты что?..

Муминшо глянул на него и пожал плечами. Так, молча, они вступили на кишлачную улицу, покрытую толстым слоем пыли, как степная дорога.

— Тут вот во дворе мечети хауз был... ой, откуда ж тут бархан? — сказал Файзулла и осекся в испуге, тараща глаза на страшный песчаный наплыв. Потом еще вспомнил:— Муминшо, а арык... Арык большой где?..— И сам понял глупость своего вопроса.

Муминшо снова только пожал плечами, и на сей раз в этом было нечто извиняющееся, словно он просил

прощения за все, что увидел Файзулла. А у Файзуллы сердце сжималось от неожиданной боли: во дворах вместо прежней зеленой травы только следы босых ног на песке... Тут послышались приглушенные звуки тамбура. Кто-то надломленным голосом пел знакомую печальную мелодию «Муноджат». Остановились, прислушались. Потом Файзулла медленно пошел туда, откуда доносилось пение. Музыкант, сидя подле уличной калитки двора, превращенного барханами в развалины, пел, наигрывая на тамбуре и скорбно покачиваясь в такт музыке. Муминшо, тронув гостя за рукав, остановил его:

— Не любит, когда встречаются... Он слепой.

Файзулла тихонько присел. Муминшо, подмяв связку желтоватой травы, опустился рядом. Звуки словно тянули за собою из далей таинственные сумерки, наполняли сердце тоской и жалостью, взывали к милосердию:

Друзья, рыдайте горько над участью прискорбной...

И снова словно два мгновения соединились в Файзулле: давняя печаль, когда он, уезжая отсюда в последний раз, перед Москвой, прощался с милыми этими местами, и теперешний тоскливый ужас перед всем увиденным. Невозможно поверить, что его сладкое детство прошло вот здесь!.. Барханы словно уничтожили самую его память, обрубили прошлое!.. Он и не заметил, что мнет в руках песок вперемешку с землей цвета золы.

— Как поет...— сказал он негромко.— Словно сама земля плачет... Знаешь, музыка-то очень древняя. Говорят, ее сочинил в бухарском зиндане<sup>1</sup> один музыкант... несчастный один... И сейчас словно из подземья слышна...

Муминшо смотрел на него, но, видно, не очень понимал.

— Ну, словно кто в черной яме мечтает о райских садах... Понимаешь? Бывают такие большие зеленые леса, густые заросли, дожди... пахнут так свежо, дивно... Знаешь?

Муминшо опять пожал плечами.

— Ты откуда сейчас идешь-то?— спросил Файзулла.

<sup>1</sup> Зиндан — тюрьма.

Едва разговор коснулся его самого, Муминшо сразу заговорил вольно и с охотой. Он нанялся теперь в ученики к известному ткачу в соседнем кишлаке!.. Файзулла вспомнил: ученики ткача работают, погрузившись по пояс в яму, потому-то у бедняжки Муминшо такой блеклый, желтоватый цвет лица.

— Знаешь, какие в Зандоне есть мастера узоров для шелковой ткани! А их бязь-пестрядь даже, говорят, в Мекке славится!

— Значит, тебе от сдельщины монетки капают?— сказал Файзулла.

— Нет, в этом году сдельщины нет. Чтоб справить посвящение в ремесло — такой ведь обычай,— взял у мастера вперед, дал угощение в честь святого Агзама, покровителя ткачей... На этом тое в честь святого покровителя, сам знаешь, едят до отвала, всех приглашают — мастеров, аксакалов, торговцев шелком... Так что пока я в долгу только... на побегушках.

— Ничего!— Файзулла чувствовал: надо сказать что-то утешительное.— Зато, как говорится, за поясом уже челнок!.. Что у тебя в вязанке?

— Хазарспон, джисбанд...

Файзулла улыбнулся старым знакомым словам — на здешнем наречии так называли гармалу<sup>1</sup>, они значили «исцелить от нечистой силы». Он спросил Муминшо:

— Папа твой жив?..

— Нет... прошлый год сам ему подбородок подвязал...

Файзулла молитвенно провел ладонями по лицу, взял друга за плечи, встряхнул ободряюще.

Вдоль дувалов несколько девчушек, одетых в красную бязь, бродили, то и дело наклоняясь к редким растеньицам, вылезшим из песка. Файзулла вгляделся, но никого не узнал. Впрочем, его знакомые, наверное, все уж замуж повыходили, а это новые тюльпаны подросли...

— Корни собирают,— пояснил Муминшо, проследив его взгляд.— Саланг, кахак, шумгия, хардандон...

— Различают?

— Голод научит!.. Высушат, потолкут, ячменной муки добавят и толокно сделают. Сытная штука —

---

<sup>1</sup> Гармала — трава для окуривания.

съешь горсть и заснешь. Крепко так спится, и голода не замечаешь. Все детишки уж знают.

— Здорово голод допекает?

— А ты думал!.. Посевы-то пропали. Если кто очистит землю от песка, чтоб три тубетейки ячменя засеять, тому весь кишлак завидует!..

Муминшо, хоть и стал теперь по несчастью главой семьи — он был старший, как и Файзулла, — на деле все еще остался мальчишкой: едва показался двор Шахабиддина, он подмигнул гостю и вприпрыжку помчался вперед — заработать сунючи, подарок за добрую весть.

Двор дяди был довольно большой; к нему добавилась и земля, бывшая прежде под садом, почти танап (четверть гектара). И все равно перед сумерками в нем казалось тесно. В одном конце жевали свою колючку два опустившихся наземь верблюда, рядом, положив под головы потники, спали чабаны. В другом конце кто-то доставал воду из колодца, наполнял бурдюк и носил в стойла. Кто-то кипятил шерсть в кварцевом растворе. Поближе к воротам женщины сбивали масло — наверняка из овечьего молока, крутили крупорушку, смешивали угольную пыль с ганчем, готовя краску. Отовсюду несло запахом кизяка. Эта вечерняя картина была знакома Файзулле — большая дядина семья всегда трудилась допоздна.

Он только-только успел привязать поводья к торчащему в столбе ворот изогнутому гвоздю да опустить на землю переметную суму с подарками, как навстречу вышел сам Большой тога, старший дядя Шахабиддин, глава семьи. Прижал племянника к груди, прослезился... Удивительно, он почти не постарел, был все такой же громадный, чуть нескладный, со слегка колышавшимся при ходьбе туловищем. И рыжеватые усищи были те же. Легкий запах ароматных стружек, повеявший от него, сразу вернул Файзуллу в исчезнувший было мир детства. Да, вот оно: знакомый двор, знакомые лица. Тяжело дыша, появились откуда-то дяди Нуриддин и Кушмак, слышались басовитые голоса Шади Горячки, Хамзы Рябого. Эти двое — братья и тоже считаются его дядьями. Тут полкишлака — его родня! Один близкий, другой дальний, один знакомый, другой незнакомый, а все родня, и все переживают, горюют друг за друга...

Его обнимали, гладили, тискали, говорили приветливые слова, он устал даже; потом в окружении целой толпы вошел в знакомое просторное помещение, где потолочные балки перекрыты брусками с поблекшими узорами. Все здесь было то же, разве что узоры еще больше поблекли да потолок сильнее закоптился. Все разом опустились на расстеленный палас. Дядя Шахабиддин прочитал благодарственную молитву.

— Хош,— сказал он, разгладив свои рыжие усы,— а здоров ли наш знатный родственник? И сестричка наша? И ваши амаки?

Амаки — это были дяди по отцу. Файзулла передал все молитвенные пожелания матери, потом сказал про отца.

— Все у его изголовья...— закончил он со вздохом.

— Да,— сказал Хамза Рябой,— недуг их, видать, серьезный... Доходили вести, что лежит, да мы сперва думали: отдыхает от мирских забот, блаженствует под старость в нарядном своем доме...— Хамза Рябой был полноватый словоохотливый человек с сильно рябым лицом и реденькой бородкой. Хоть и не был он Файзулле близким родичем, но мальчик когда-то любил с ним беседовать и, чтобы не произносить прозвища, как все, называл его просто — дядя. Впрочем, тот к своему прозвищу давно уж привык.— Беда, беда!— говорил Хамза Рябой.— Авось аллах смилуется...

Чтобы переменить тему, Файзулла стал по очереди расспрашивать всех об их житье-бытье; узнал о тетушках, о детях; горько посетовал на впервые увиденную им беду кишлака. Хамза Рябой, что сидел, подоткнув полу ватного халата, снова подхватил:

— Да, пока город не загорится, кебаб дервиша не изжарится! Занесло нас песком, вот и обучились ремеслам. Были мы дехкане, племянничек, а теперь вот один шорник, другой кирпичи делает да стены кладет, третий ткачом заделался, четвертый циновки плетет... Что ж, жить надо! Веники вяжем, женщины вышивают, торгуют вареной свеклой...

— Не одни дехкане пострадали, и отары тоже скудеют!— сказал Шахабиддин. Бойкая речь Рябого чем-то рассеивала горечь, пробуждала оживление, а степенный, серьезный тон старшего дяди возвращал к суровому раздумью.— Кто скупал шкуры за свою цену,— продолжал он так же медлительно,— тот... тот избавителем был для степняка... благодетелем! Оно ясно...



увезти сырые шкуры на верблюдах... караванами... такое только ваш всемогущий отец и мог! А теперь?.. Мелкие жулики... перекупщики... они каракуль только за бесценок брать и будут, оно ясно! А кто его тут в муках обрабатывал... тем что — только вздыхать останется да звать к святому покровителю!..

Ночь наступила. Старший дядя из уважения к гостю велел зажечь «земляное масло» в керосиновой лампе, постлали дастархан, одна из тетушек принесла кукурузных лепешек, другая — сушеные тутовые ягоды, третья — домашнего сыра, четвертая — вареный горох... Файзулла поочередно здоровался с тетушками, но они прикрывали лица краями бязевых платков, и он не узнал ни одной. Муминшо, взявшийся прислуживать, на пороге принимал от них чайники, еду и подавал на дастархан.

— А в уезде, — спросил Файзулла, — хозяйничают все те же четверо? — Тон у него был какой-то отсутствующий, будто и мысли находились далеко.

— Да-а, — сказал старший дядя, разламывая лепешку, — те же, те же... они тут теперь и вовсе всемогущи... Замирили какое-то... племя, какое-то взбунтовавшееся... Вот и пожаловали им право самим налоги собирать!..

— Сверх эмирских? — Голос у Файзуллы словно проснулся.

— Ага, племянник, — подхватил Рябой, — так и выходит! Муэдзин, говорят, луком питается, а привалит — обжирается! Взимают с нас то налог с урожая, то божий налог, то с десятины и со скота, то земельный, а то с дыма...

— И штрафные еще, — вставил кто-то.

— Ага, и штрафные!.. Сам чиновник налоговый и тот не разберется, за что берут! Однажды вот явился к нам и требует с земель, что засыпало песком, «деньги за кустарник», «деньги за пастбища»! И-е, говорим, мил человек, да ведь ничего там не растет! С божьей помощью, говорит, вырастет! Или вы неверующие?.. Вот как!

— А по мне, детка, — сказал молчавший до сих пор Шади Горячка, — это к лучшему, что кишлак песком засыпало... — У него была реденькая бородка, как у брата, и он был еще молод, хотя среди сидевших тут выглядел самым старым. Говорил негромко, это отец его был сердитым и вспыльчивым человеком. И прозви-

ще к нему перешло по наследству. Жужа лепешку шербатым ртом, он стал объяснять свою мысль:— Земли наши со времен дедов и прадедов описаны, родят, не родят, а налоги с них взимают. Говорят же: вора не найдется — чиновник тут как тут. Потом приказчик с тебя требует, жилы тянет. А потом весовщик на базаре обдерет, высушит почище песка. Сговорятся со сборщиком налогов — последний чекмень с тебя снимут... Так на что эти земли?

— Да уж,— сказал Шахибиддин веско, прерывая разговор. Тема, видно, у всех в зубах навязла, те, что ближе к двери, начали уже расходиться.— Угощайтесь, племянник, угощайтесь!.. В кои-то веки прибыли... а мы к вам со своими жалобами... А ну, вас послушаем. Совсем уж вернулись?

— Совсем.

В Файзулле зашевелилось было желание, которое он неосознанно лелеял по дороге сюда: поделиться своим смятением, спросить совета на будущее... но он тут же подавил его. Люди такое горе мыкают, а он, богатый наследник, будет спрашивать, как ему жить... Хорошо, вовремя язык прикусил.

Хамза Рябой подвинулся к нему.

— Расскажите-ка нам об этом самом Москопе!..

Голоса уже звучали тише, медленней, на айване<sup>1</sup> трещала мангалка, при ее отсветах тени грусти на смуглом лице Файзуллы, на щеках вытянутого лица должны были казаться еще гуще. Но дяди, привыкшие видеть в нем мальчика, наверное, не замечали этого. А замечали, так относили на счет болезни отца.

— В Москве жизнь другая, дядя,— сказал он поначалу нехотя, но тут же воспоминания оживили его.— Там дома кирпичные, крыши железные, улицы, камнем мощенные... Есть такие вещи, что у нас и названия им не знают. К примеру, там все комнаты от стены до стены и до порога досками устланы, и называется это пол. Или через провод можно с одного конца города с другим концом разговаривать. Это телефон называется. И в каждом доме чистота и порядок. В комнате, которая у них называется ванная, из крана течет чистая вода! А спят как? Кровать застилают белой тканью, называется простыня, на нее и ложатся... Вечером парами ходят на разные зрелища, в театры, и музыку слушать,

---

<sup>1</sup> А й в а н — терраса.

и на конные представления... и гулять по садам. По общим, государственным садам!.. Старики и старухи там на красивых скамейках отдыхают. А молодежь оденется красиво, собирается в больших комнатах и устраивает споры — о науке, о знаниях... Ученых людей там бесчисленно! И все там совершенно...

— Все это, детка,— задумчиво сказал Шахабиддин, взяв себя за ус,— все это... знать, богатеи, властители...

— Нет, тога. Вот ходил я к одному учителю, брал у него уроки. Он не власть и не богатый. А в доме порядок, музыкальные инструменты, книг несчетно, электрические фонари и штука одна такая... круглая... глобус называется... на ней вся земля изображена! Пловом жирным не питается, в роскошных чапанах не ходит, зато все для обучения науке... Нет, тога, жизнь у русских очень поучительна и достойна подражания.

— Увы... нам-то этого не достичь...

— Почему, тога?— с неожиданной для самого себя резкостью спросил Файзулла.— Ведь можно у них учиться!

— Земли наши разные, вера у нас разная... ведь караваном все это сюда не перевезешь. Вон эмир продал князю Антоновскому свои земли в Паттакесаре, и что из того? Переменилась жизнь?.. Пустые мечты, детка.

— Как вы сказали... князь Антоновский?

— Да... а что?

— Нет, ничего... вместе со мной один мальчик... Саша Антоновский... занимался немецким языком с учителем. Он из аристократов. Так не его ли это отец?..

— Не знаю, молодой мой мулла. Уж за полночь, отдохнуть надо... Аминь!— сказал Шахабиддин и, всколыхнувшись огромным телом, поднялся, выпрямился. Тотчас поднялись и другие. В ночи заголосили петухи. Когда все разошлись, на айване, снаружи, погасили фонарь.

Уже залезая под одеяло в комнате для гостей — рядом лег Шахабиддин,— Файзулла снова сказал тихо:

— Тога, как там ни будь, все равно мы должны учиться тому, как живут русские. Иначе нельзя... Поверьте вашему племяннику, я пять лет провел там...

Дядя только кашлянул слегка, ничего не ответил. Кто-то, приоткрыв дверь, спросил: огня в сандал положить? Дядя шикнул на него и сказал тихонько: не надо! И Файзулла погрузился в безмолвную ночь.

На рассвете его разбудил Муминшо, просунувший голову в оконце. В доме никого уж не было, кроме старухи, варившей на очаге отвар из фисташек. Файзулла вспомнил: это употребляют от расстройства желудка. Они выпили по пиалушке ширчая — чая с молоком, маслом и перцем, сунули по лепешке за пазуху и пошли со двора.

— Я тебе дивбанда покажу! — сказал Муминшо. — Я слышал, ты говорил вчера про зрелища в Москопе, как их...

— Театры, — сказал Файзулла.

— Ага. А ты теперь наше зрелище посмотри...

Они направились в глубину кишлака. Длинноногий Муминшо легко перепрыгивал через нагромождения песка и колючие изгороди и заставил-таки попотеть плотного Файзулла, привыкшего больше к езде верхом. Хорошо еще, думал Файзулла, что надел простой чапан. Дышать стало трудно, в голенища быстро набился песок.

— И где... это твое зрелище?..

— Увидишь! У ишана-дивбанда...

Муминшо торопился, точно мог куда-то опоздать. Наконец он остановился, прислушался, потом огляделся с разочарованным видом.

— Э-э... — сказал он досадливо. — Видно, день не тот...

Файзулла ничего не понимал.

— Какой — не тот?..

— Ну, не тот, когда его бьют. Не то уж слышно было бы, как вопит.

— Да кого бить должны, кто вопит?

— Ну, джинни же!.. Сумасшедшего.

— А бьет кто?

— Человек ишана-дивбанда!

— За что?

— За что, за что!.. Я ж тебе сказал: дивбанд. Плеткой нечистого духа изгоняет, дива...

Файзулла поежился и пошел следом за Муминшо, который полез в какой-то пролом в глинобитном заборе. Они прошли еще малость и вдруг посреди заброшенного двора увидели дом не дом, айван не айван, словом, развалюху какую-то, где на глиняном полу валялся голый человек. Нога его была закована в цепь, закрепленную на толстом столбе айвана; пот с него стекал и в это стылое утро, образуя потоки грязи посреди сса-

дин и болячек, покрывавших тело, обрита голова сплошь покрыта коростой, лицо и брови облеплены пылью... Перед ним прямо на полу лежал кусок лепешки, стоял кувшин с водой. Человек бессмысленно глядел вверх, подвывая.

— Опоздали...— сказал Муминшо.

— Что ж, его так и лечат битьем?

— Ага. Каждый день лупят плеткой из четырех кожаных ремешков. И как этот див в нем только держится...

— Давай подойдем!

— Не, не надо, он еще не образумился, что ты!.. Эй, что ты делаешь, он же безумный!..— И Муминшо, изменившись в лице, попытался удержать друга за рукав. Файзулла не остановился.

— Ассалом алейкум!— сказал он, приблизившись к лежащему человеку. Человек со страхом и недоумением глянул на него, потом поднялся, сел.

— Вы табиб?— сказал он, пытаясь пыльным лоскутом прикрыть бедра.

— А вы верите, что излечитесь избиениями?..

— Что?..— сказал человек и еще раз взгляделся в Файзуллу.— Мулла... я вижу, вы тут гость... уходите отсюда! Не боитесь заговаривать со мной?

— А чего мне бояться?

— А с людьми ишана... сладите в случае чего?

— При чем тут люди ишана, я же о вас говорю. Разве вы сумасшедший?

— Я раб божий...

— Вас, наверно, продали ишану. А он, «вылечив» вас, хочет прослыть умелым дивбандом!..

— Уходите, мулла.

— Муминшо,— сказал Файзулла,— принеси вон ту железную палку, чем калитку подпирают.

Муминшо помедлил мгновение, растерянно глядя на товарища и словно спрашивая глазами, что это он затеял, потом стремительно бросился и принес железный брус. Файзулла продел его в кольцо цепи на столбе, попытался согнуть. Муминшо, озираясь, стал ему помогать, но кольцо только погнулось. Всунули брус с другой стороны и наконец кольцо сломали.

— Вымойте лицо,— сказал Файзулла человеку и показал на кувшин.

Муминшо все оглядывался, не появится ли кто, и заметил сразу за проломом в заборе высохший

арык — в случае чего побежит, спрячется там. Файзулла не торопился.

— Зовут вас как? — спросил он у «джинни».

Тот, уставившись, все глядел на него. Небось свое имя и то забыл, как бы не началась падучая или еще что!.. Муминшо пролез в пролом и звал оттуда:

— Файзулла! Скорее...

— Меня звали Зайниддин! — вдруг сказал «джинни». Он намотал конец цепи на руку и сделал пару шагов, хромя.

— А-а! — сказал Файзулла. — Имя у вас простое!.. Ну, пойдемте с нами!..

Русло арыка занесло песком, и три пары ног, две босые, одна в сапогах, оставляли четкие следы на утреннем песке. Муминшо красноречиво показал Файзулле глазами на следы: ясно, люди ишана могут пойти по ним и найдут без труда! Их ведь тоже не помилуют!.. Но Файзулла только пожал плечами.

Они шагали по руслу вниз долго, Муминшо впереди, потом Файзулла, Зайниддин последним. К полудню достигли кладбища Пуштаи Гарибон, на полдороге меж двумя кишлаками, у самой пустыни, и присели под опаленным молнией тутовником. Посидели, отдышались.

— А ну, братец, расскажите, кто вас довел до такого? — спросил Файзулла.

Лицо Зайниддина заросло бородой, весь изможден до крайности, и по виду возраст его было не определить. Согретый ходьбой, он уже не дрожал, но сидел, подставив спину солнцу, и по привычке поводил языком во рту, чтоб удержать слюну.

— Лучше бы вам не спрашивать, — сказал он, — а мне не рассказывать, байвачча<sup>1</sup>. Приключения моей жизни уж давно начались, а недуг неизлечим. И я был некогда мулла, подобно вам...

— Та-ак, — удивленно сказал Файзулла. В речи Зайниддина и впрямь звучали книжные слова, свойственные человеку грамотному.

— Родители мои, — сказал Зайниддин, — родом из кишлака Джуйбар — ремесла были запретны для них, сами знаете. После смерти отца мама приучила меня прислуживать на кладбище. В сумерки по пятницам мы подражали слепому чтецу Корана — читали суры на память. Ну, старухи, приходившие на кладбище, и ода-

---

<sup>1</sup> Байвачча — сын бая.

ряли нас поминальными лепешками. Лепешками теми я кормил мать два года... пока слепец не прогнал меня, сироту-соперника. А вскоре мать скончалась, да будет ее место в раю... Хоть неграмотный был, а память на святую книгу сгодилась мне — приняли в медресе, способности обнаружились...

— Та-ак,— снова сказал Файзулла, давая понять, что внимательно слушает.

— Хоть и выросли мы в самых низах, байвачча, а в книжной мудрости преуспели, иносказания толковали искусней многих... Но такая вот несчастная судьба — года через три стал я головной болью страдать, виски так и ломило! Терпел, ходил к табибу, лечился... Не помогало. Знаете же, ученики медресе в каникулы, на время сорокадневного поста, прячутся где-нибудь, зубрят свои науки наизусть. А я прослышал — на мазаре Ходжа Хилват Шакшакий есть родник целебный, и один мулла даже сказал: «Шакшакий», мол, от арабского «шакида» — головная боль. Ну, я и рискнул, отправился туда на сорокадневье... А это в сорока верстах от города оказалось, в Кызылкумах. Ни деревца, ни росточка. Рядом с молельней — жилье святого, сбку — помещение для постящихся, для паломников, значит. Очень мне там не понравилось — мюриды, больные, вроде меня, попрошайки, блаженные. Да и родник сам назывался «гуль» — «цветок», а один человек мне объяснил сразу: не «цветок» это вовсе значит, а по-местному «чесотка»! И меня от вида той воды тошнить стало... Но остался. На третий день поста лечение началось. Каждый больной должен был раз в неделю принести в глиняном тазу сваренную голову овцы. Водонос шейха брал тот таз и окроплял больного водой из родника. А вечером предавались радениям и поедали жертвенную пищу...

Через две недели не только что боль моя не прошла, а я еще вдруг разом оплешивел. И голова моя стала вонюче гноиться! Оглянулся, вижу — плешивых навалом, ими сам святой шейх занимается, читает специальную молитву. А потом мы, растворив в уксусе тутье — чудодейственную мазь из цинкового порошка — и молясь святому имаму Кутайбе, мазали раствором головы. Еще хуже стало! Вонюю я соседей отпугивал, боялся и под крышей ночевать, чтоб не повеситься на завязках от штанов... И не вытерпел, сбежал оттуда, а куда теперь пойдешь: отовсюду гонят, как собаку,

палками, камнями. Раздобыл было высокую шапку, к дервишам пристроился — и они погнали. Хуже прокаженного... И, когда уж вовсе и облик человеческий и стыд потерял, повстречал себе подобных... Слышали, наверно, их звали в народе «стервятники хумаюна». Эмира, значит... Занимались мы тем, что крали трупы из ямы, куда сбрасывали казненных...

— Так, — опять сказал Файзулла, но почувствовал, как тошнота подступает к горлу. Муминшо поднялся и отошел куда-то.

— Затошнило бедняжку, — сочувственно сказал Зайниддин, — ясно... Ну вот, смертных приговоров было хоть отбавляй: на Регистане и воров и честных каждый вечер режут. В полночь мы и приходили к той яме в махалле Мурдашуян — вчетвером приходили и вытаскивали мертвеца. А рано утром другие из наших выкладывали труп на середину какой-нибудь улочки и требовали у прохожих денег «на саван для раба божьего». А кто отказывался, обтирали свои головы ладонями и грозили натереть им лица... Давали, бедняжки, деньги, давали... Платили за свой страх и отвращение... А если натыкались на родственника убиенного, тут уж нам и вовсе прилично перепадало! Я даже иной раз ел досыта. Даже женился на дочке одного обывателя трупов! Только она дня три спустя исчезла... Ну, а потом эмир скончался, и через два месяца после коронации молодого эмира наш притон миршабы накрыли. Один из них меня сюда привез, да и оставил ишану... Вот и все, байвачча. Остальное сами знаете...

Подошел Муминшо, не глядя, бросил Зайниддину старый напильник — где он его достал?.. Файзулла вытаскил из-за пазухи лепешку, снял свой чапан, положил все рядом с Зайниддином и зашагал прочь. Муминшо поспешил за ним...

Домой они заявили уже к вечеру. Шахабиддин сидел в своей мастерской, как всегда, обложенный стружками, рядом с ним стоял готовый новенький гробик и две колыбели. Пахло, правда, не карагачом — тутовником, тополем, но тоже неплохо... Файзулла чуть приободрился.

— Куда запропастились? — сказал дядя.

— Гуляли, — Файзулла старался улыбнуться как можно беззаботней, но Шахабиддин глянул на него внимательно, словно почуял что-то. Снял передник, отряхнулся, позвал во внутренние комнаты. За чаем оба



молчали, Файзулла теребил бахрому дастархана. Потом Шахабиддин, оставив пиалу, закурил чилим<sup>1</sup>.

— Что...— сказал он,— не понравилось у нас чего?..

— За вашу доброту и любовь спасибо, тога...— Голос у Файзуллы прервался от волнения.— Мы... кишлак обошли. Я очень любил ваши места, тога... Кишлак моей анаджан...

Шахабиддин молчал. Файзулла сказал:

— Тога, надо что-то делать!..

— Это ты... все вчерашнее?

— Да, тога. И еще...

Он сбивчиво рассказал о сегодняшнем происшествии.

— Обидно, тога, и горько за достоинство человека... Такое только у нас может быть!

Дяде что-то в табаке не понравилось, он поморщился, отложил чилим. Поднял фитиль лампы, помолчал.

— Вы... эти свои тревоги... оставьте, племянник!

— Почему?! Разве эта несчастная земля — не край наш родной? От его обиды... куда же? Беда в доме, говорят, бежать некуда!..

Шахабиддин поднял глаза — Файзулла вдруг сообщил, что это он впервые глядит ему прямо в лицо!.. Шахабиддин смотрел испытующе, точно решал: и впрямь проявляется в племяннике какая-то зрелость или это все еще детские замашки?..

— И что вы можете поделать?— проворчал он словно бы сердито, но Файзулла мог бы поклясться: не сердится он, нет.

— Русские, тога, что-то же делают!.. А с их помощью... разве и мы не можем сделать хоть немного? Я слышал, домла Парсоходжа с площади Достурханчи говорил: один еврей хотел открыть в Бухаре синематограф, но воспротивились улемы. Тогда вмешались русские из Кагана и разрешили открыть!.. Русский торговец хотел замостить площадь Сарбазов, и опять улемы были против. И тут уладилось с помощью русского представительства! Ну, что вы на это скажете? Если в каждом деле поступать как русские...

Наверху послышался шум. На чердаке, где хранилось сено, прошуршало что-то, потом кто-то грузно спрыгнул с лестницы, кашлянул. Слышно было, как отряхивается. И на пороге появился незнакомый черно-

<sup>1</sup> Чилим — прибор для курения через воду.

бородый человек в старой солдатской гимнастерке. Шахабиддин вскочил с места — непривычно разволновался или испугался, опешил.

— В чем дело, Васильич?..

— А ничего особенного. Салом алейкум!

И, приблизившись к удивленному Файзулле, сел, скрестив ноги, движением руки успокоил Шахабиддина.

— Все в порядке, Шахаб, садитесь!.. Приветствую вас, байвачча.

— И я... вас приветствую!..— У него голова пошла кругом: ну и чудеса в этом кишлаке. Откуда тут, у дяди, русский?..— Вы русский?— как-то тупо, по-мальчишьи спросил он.

Человек улыбнулся.

— Точно,— сказал он,— Шумилов Николай.— Ему было лет сорок, в длинной черной бороде серебрились соломинки, голос звучал и чуть покровительственно и вместе чуть иронично. Движения выдавали уверенность в себе.— Я,— сказал он по-узбекски,— слышал вашу беседу и вчера, и сегодня... И впрямь верите тому, что говорите?

Его интонация задела Файзуллу.

— Вы меня знаете... расспрашиваете насчет моих убеждений... А я вас, почтеннейший, вовсе ведь не знаю!— От обиды он даже заговорил важно, по-взрослому, как гости в доме его отца.

Шумилов вдруг обаятельно улыбнулся.

— Не сердитесь, байвачча!..

Шахабиддин вмешался.

— Николай Васильевич,— сказал он,— человек бескорыстный... простой... ехал из Ташкента в Краснодарск...

— Бежал,— поправил гость с той же улыбкой.

— ...остался у нас на ночь...

— Спрятался!..— снова сказал Шумилов.

Теперь Файзулла понял. Он много слышал про таких... мечтателей; они, не боясь, шли на смерть. Революционеры... другие их называли каторжниками... еще кто-то большевиками, что ли... Он, правда, пока не слышал, чтоб от них была какая-нибудь польза народу. Но и не думал, что могут они так располагать к себе, как этот... Шумилов. А дядя-то каков!

— Иронизируете над моими словами,— сказал Файзулла по-русски,— а ведь сами вы русский человек!

Шумилов тоже перешел на русский:

— Ну, зачем вы так. Никакой иронии. Наоборот, ваши мысли меня очень заинтересовали, видите, настолько, что я, нарушив конспирацию, спустился сюда с чердака!.. Вот только разве я должен себя считать лучше вас, потому что я русский? Не-ет... если у меня какое преимущество, так одно: я революционер!..

— Уж видели вашу революцию... Нам ваша культура нужна!

— Это я поня-ал,— сказал Шумилов. Он опять улыбнулся.— Вы мне сперва показались таким образованным, воспитанным мальчиком, а вы, извините... с перцем!

— Какой есть,— буркнул Файзулла.

— Вот, вот... да это хорошо!

— Знаете, у нас говорят: каждый к своей земле пупком прирос. Но если б вы, господин Шумилов, хлебнули здешней жизни...

— Хлебнул, не беспокойтесь!

— Я слышал, вы... ну, такие, как вы, хотите разрушить все до основания... А что потом будет на развалинах?.. Вот вы сами лежите, затаившись, на чердаке. А чем будете делать революцию?

— А вы думаете, она деньгами делается?..

— Разве и деньги тут ни к чему?.. Вот я знаю... извините... захоти я заняться политикой, за мной по пятам будут ходить люди семи партий!..

— Это самое худшее, господин Ходжаев,— сказал Шумилов серьезно.— Запутаетесь, заблудитесь между ними. Знал я одного такого господина... Фабрикант, миллионер. Помогал всем, кто против царизма...

— Это кто же?

— Савва Морозов. Может, слышали?.. И нам помогал.

— Ну, и что ж он?..

Шумилов помедлил, словно раздумывая, сказать или нет. Потом сказал негромко:

— Застрелился он.

В Файзулле что-то екнуло внутри. Он побледнел даже.

— Как?.. Почему?

— А потому, что помогать-то помогал... а революцию ненавидел. Самую идею революции...

Все помолчали. Потом Файзулла вдруг сказал:

— Вот видите, чем кончается увлечение политикой!..

Шумилов усмехнулся.

— Да-а, политика небезопасная штука!— И в голосе его и во взгляде Файзулла снова уловил иронию. Или издевку даже.

— Видите, вы и мне не верите ничуть!

— Да,— спокойно сказал Шумилов.

— Но почему?..

— На ногах у вас оковы, да и торбочка тяжела.

— Что за оковы, какая торбочка?..

— Миллионы ваши.

— Значит, человек, если он богат, уже этим вызывает у вас отвращение?!

— Я этого не говорил, но, если быть откровенным, господин Ходжаев, не могу не признать основательность ваших суждений.

— Спасибо!.. Суждений!.. Мыслей обо всем у меня немало... только высказать некому... Вы уж извините... К примеру, может, скажете, в чем, по-вашему, роковая сущность человеческой природы?— Файзулле самому вопрос показался слишком общим... высокопарным... и он заторопился расшифровать, объяснить его.— Я хочу сказать... человек, вот такой, как есть, не слишком ли его отягощает влажное его нутро... не в плену ли этого его дух?.. Ведь иначе почему дух такой несовершенный?.. Вот я думаю, всю свою жизнь мой отец ворочал свое достояние, как мельничный жернов... всю жизнь не давал себе покоя... Вы не улыбайтесь, он действительно работал как вол! Конечно, ни в одном углу этой степи нет человека, что не проливал бы пот ради его богатства... Я зна-аю! Но он тоже, тоже... И мне его жалко: он ведь думает, что и наследник понемногу научится вертеть его коммерческую машину. А мне это не подходит. Я вам правду говорю. У человека же цель должна быть! А какая цель у владельца капиталов?.. Те же капиталы! Это же опять не цель, а только средство!.. Нет, не может быть, чтоб стремление к деньгам было в природе человека!.. К примеру, вы... простите... вы на что в себе надеетесь?..

Чернобородый ночной гость помедлил.

— Я люблю свою родину...— сказал он наконец очень просто и тихо. Потом добавил уже чуть иным тоном и с затаенной улыбкой:— Возможно, в этом, как вы выражаетесь, и заключена роковая суть человеческой природы!..

— А в моей любви к родной земле,— сказал Файзулла запальчиво,— вы что же, сомневаетесь?..

— Вы еще очень молоды...— сказал Шумилов опять тихо и серьезно. И с какой-то неясной интонацией — не то сочувствия, не то упрека. А Файзулла вдруг представил себе, что гость должен думать о нем: папин сыночек, баловень судьбы, с жиру бесится... Тот-то, может быть, и в тюрьме сидел... даже наверное, раз бежит и прячется... Может, его к расстрелу приговорили... Ну и что ж, он, Файзулла, в этом не виноват!..

— Неужели вы и в искренности моей сомневаетесь? В том, что у меня... что у меня душа болит за все кругом?..

— Нет, почему же. Вовсе нет. Я верю, что у вас душа болит по-настоящему. А это признак душевного благородства!.. И мечта у вас есть...

— Смотрите на меня как на мальчика с безобидными мечтами. «Рисуй, детка, рисуй, это хорошо, дети любят рисовать...» А есть ли у тебя, к примеру, способности рисовать — это не важно!..

Шумилов почувствовал, видно, некоторую неловкость.

— Бог с вами!— сказал он.— Не смотрю я так. Я вижу, вы юноша с мыслью. Это очень важно. И если мысль ваша вправду выстрадана... или будет выстрадана, тогда вы наверняка придете к политике! И дай вам бог не ошибиться! Из каких только топей не выводит человека любовь к родной земле!..— Он вытащил часы, открыл крышку, поглядел, крышка снова щелкнула.— Увы, идти я должен. Не сердитесь — и до свидания!..

Файзулла пожалел о своей запальчивости. Дядя Шахабиддин уже стоял наготове у двери, и в позе его читалось несвойственное ему нетерпение. Было за полночь, за дверью угадывался слабый отсвет белесоватого горизонта. Гость погладил бороду, кивнул и исчез в степной ночи. Шахабиддин вышел за ним, не взяв даже фонаря. Шагов их не было слышно. Дядя скоро вернулся.

— Тога,— сказал Файзулла, с момента их ухода не сдвинувшийся с места,— согласны вы с этим человеком?

— Как сказать, детка... Одно знаю... он хороший человек.

Файзулла лег, но уснуть не сумел, только задремывал иногда и просыпался и все снова и снова спорил мысленно с этим человеком, приводил новые и новые доводы, но как-то чувствовалось, что убедить его не удастся. Заснул он по-настоящему только под утро, и приснилась ему Москва: прекрасно, по-европейски одетые люди прогуливаются по чистым высоким улицам, все приветливы, улыбаются... и вдруг оказывается — это не Москва вовсе, а Бухара! Вот и Зайниддин идет, чистый, прекрасно одетый, отвешивает легкие, деликатные поклоны, только Муминшо нету. Где это Муминшо?.. Его непременно надо найти! «Муминшо! — кричит он. — Муминшо!!» И просыпается от собственного крика. В глазах рябит от солнечных лучей. И голос дяди из отдаления некоторого — а, из мастерской, конечно, — отвечает на его сонный крик:

— Приятель ваш уж побывал тут, племянник... приходил проститься... жалко было будить вас. А мастера в Зандоне суровы... отправился рано поутру. Горек хлеб ученика, детка...

В эту усадьбу, занимавшую больше половины махалли Газиян, пронизанные сыростью холода Бухары обычно не проникали. Тут, бывало, кипели торговые страсти, шумела радость возвращения из дальних странствий, суетились перед пышными проводами. Теперь же в обширных дворах и комнате для гостей было пусто, фитили так называемых сороковых ламп, висящих на узорных крюках, привернуты, потому и резные капители толстых изукрашенных колонн на айване, и алые брусья, и расписанные прямоугольники потолка виднелись смутно, по накладной резьбе дверей и наличников скользили тени.

Едва Файзулла вошел в крытый проход, который вел во двор от уличной калитки, на него разом повеяло и стылостью запустения, и затхлым запахом кож из подвала. Старик конюх, вышедший из чуланчика слева, молча поздоровался с ним, принял поводья и повел коня на конюшню. Правда, как только его появление заметили, дом оживился несколько, задвигались головы в раскрашенных башенках балахоны<sup>1</sup>, в передней с молодого хозяина проворно сняли походный чапан,

---

<sup>1</sup> Балахона — балкон.

смотрит на вас мертвая рыба... Ну, и что этим двоим делать в одной компании?..

Постелили дастархан, и аглям Шоахсий и мулла Ахад тотчас подвинулись к нему поближе.

Убайдулла-ходжа с затаенной грустью глядел на сына.

— Итак, успели проститься с детством, сын мой?— спросил он, поглаживая кончик бороды. Борода, должно быть, мешала ему, лежащему, упираясь в горло, он постоянно держал руку у подбородка.

— Да, отец... Но увы, душа моя беспокойна и мысли разброд...

Больной понял это по-своему:

— Обо мне не тревожьтесь... Слава всевышнему, прожитой в этом мире жизнью я доволен. Пора бы вам кончать с этим разбродом, с рассеянностью и перенять из рук моих все тленное. Тогда все мои помыслы обратятся к лучшему миру...

— О, не говорите так, отец!

Вмешался Шораджаб-муфтий:

— Как там ни будет, а вся надежда почтеннейшего родителя вашего только на вас,— сказал он смиренно. Его густая, слегка подкрашенная хной борода отливала золотом.

— Но ведь я уже говорил отцу: ни способностей у меня к этому нет, ни желания...

Шоахсий, обмакивая кусочек лепешки в нишалду<sup>1</sup>, сказал:

— Еще великий пророк возгласил: торговля — наилучшее из дел, купцы — славнейшие люди!

— Да, да,— сказал мулла Ахад.— И не зря говорят: коли надо — все к лицу! Время наше — время торговли...

— Разве только наше время?— отозвался Убайдулла-ходжа.— И в древности, сынок, арабы называли Бухару Городом торговли...

— А русские, отец, называют ее сейчас гнездом невежества.

В комнате разом повисло и сгустилось тяжелое молчание, только слышно стало, как чавкает мулла Ахад, но тут и он судорожно проглотил кусок. Зря сказал, зря! Отцу и так плохо...

---

<sup>1</sup> Нишалда — сладкое кушанье.

Убайдулла-ходжа и впрямь разгневался, хотя сил у него на это не было.

— Вы вернулись русофилом, сын мой!— сказал он, и глаза у него сузились.— Для того ли вас посылали в Москву?..

Мулла Ахад тут же подхватил:

— Наш покойный мудрец Ахмад Калла тоже был русофилом — и что? Отверженный народом своим, умер в нищете и пренебрежении!— Тут он сообразил, что полез не в ту степь, и стал на ходу перестраиваться:— Конечно... попрекать высокородного наследника не стоит, Убайдулла-ходжа... Московское образование ему пригодится! В делах торговых да расчетах...

Шораджаб Зуфунун не удержался.

— Знания и расчеты, мулла Ахад,— сказал он своим приятным ровным голосом,— бывают кстати и в деле продажи совести!

Убайдулла-ходжа с горькой миной утвердительно кивнул со своей подушки.

— Истинно сказали вы, таксыр!..— Должно быть, он вспомнил об участившихся в последнее время, когда он слег, неприятностях в торговых делах, и смуглое его лицо пожелтело.— Знайте, Файзулла-ходжа, те молодцы — образованные молодцы!— которым мы доверили распорядиться тюками кож в караван-сараях Чарджоу, затеяли против нас аферу! Конечно, получают взятки от Арабовых... Юфта, скопленная за целый сезон... та, что привезли из Керки на пароходах... все еще не погружена на поезда... да, да, гниет на складах...

— Воистину,— сказал муфтий, как бы заполняя возникшую паузу,— рабу божьему даруется прежде всего совесть...

— А русофильство,— энергично подхватил Шоахсий,— началось не теперь, не теперь! И не с Ахмада Дониша... Русофильство в прошлом столетии началось с августейшего Абдуллахад-хана!.. Сей царевич, будучи в Петербурге на большом пиру у белого царя, веселья преисполнился... и поставил подпись под одним договором! А по тому договору урусы право получили покупать сады и земли Бухары... Эмир Музаффар, разгневавшись, погнало наследника со двора, да ведь, когда они удостоились райского жития, Абдуллахад-хан вззошли на престол, и договор вступил в силу! Вот откуда русофильство-то пошло... Говорили старые люди: впадают ханы в ересь, так, значит, быть холере. И точ-



но! В тот год из Карши холера пришла и пол-Бухары вымерло!..

Файзулла едва сдержался, чтобы не наругать «белой печати». Дурак каков! Хуже темного нищего!.. Он бросил быстрый взгляд на отца, словно пытаясь заручиться поддержкой, и сказал как можно спокойней:

— А разве железные дороги построены не согласно тому же договору? Станции в Новой Бухаре, в Чарджоу, в Керки, в Паттаке sare... А банки?

— Да,— сказал Убайдулла-ходжа,— железные дороги... и банки... только благо от них было...— Он перевел дух.— Но и мы не должны... давать слабину... Казне нужно золото... А эмир наш щедр...

«Опять то же»,— подумал Файзулла. Сколько раз уж он это слышал!

— Дада,— сказал он, чтоб переменить тему,— мне сказали, какой-то князь Антоновский тоже согласно этому договору купил огромные земли в Паттаке sare! Это правда?

— Да... говорят...

— А ведь у меня был один знакомый, мы с ним вместе занимались немецким у герра Шульца! И тоже Антоновский по фамилии. А немец, вызывая его к доске, говорил: «Князь Александр!» Так этот князь не его ли отец?

— Возможно...

— Ой, если это он, дада, позвольте, я его разыщу! Мы с ним очень дружили...

В комнате засмеялись, а отец снова разгневался, еще пуще прежнего.

— Сперва,— сказал он тоном приказа,— отправитесь в Чарджоу... завтра... Тех образованных молодых... прогоните от моего имени... приказчика к ответу... пошлете ко мне. Потом... о аллах, не успеешь оглянуться, зима... зима пройдет, весна наступит... мы уж и так опоздали с раздачей авансов... под каракуль будущего года!.. Надо в русский банк... там, в Чарджоу... поговорить о кредите... Встретитесь с Мирсалихом, он ответит...

— Дада...

— Все!

— Отаджан...

— Я сказал, в чем ваше дело... Первая лепешка — от краешка теста!..

— Ну, я все сделаю, но и друга разыщу, можно?

Все засмеялись, так это у него по-детски вышло. Впрочем, он и немножко играл. Отец, сжалившись, согласился.

— Ладно... Идите, и будь безопасным... путь ваш... Аминь!

Все воздели руки для благословения, Файзулла поцеловал полу отцовского чекменя и вышел пятясь. За дверью снова раздался смех, кто-то сказал тоном умиления:

— Мальчик же еще... От ребячества так быстро не уйдешь....

А он побежал искать мать. Повсюду в доме царил темнота или полутьма, и на душе у него было смутно... скверно. Мать ждала его в том же углу. Она сразу почувствовала, каково ему.

— Крепитесь, сынок, вы уже стали взрослым.

— Я должен говорить от имени отца, мамочка... Я боюсь.

— Груз ваш тяжел, но надо быть смелее. Ум у вас пронизательный, слава аллаху, тут вы сын своего отца, только не ошибайтесь в расчетах...

— Мама, но я не хочу... не хочу такой судьбы! А чего хочу, чем займусь?.. Сын своего отца!

— Разве не хотите вы походить на отца?

— Простите, мама...

Чтобы скрыть свою дрожь и выступившие слезы, он ушел от матери, вышел на закрытую веранду, долго ходил по ней взад-вперед, взад-вперед; потом улегся на одеяльце рядом с сандалом. Мать вошла.

— Завтра отправитесь?..

— Да... пусть к утру запрягают фаэтон.

Осенняя ночь была уже холодной, волнение Файзуллы улеглось понемногу, да и путаница в мыслях постепенно ушла — продрогнув, он почувствовал себя легче, бодрее. Завтра он выедет. Это ведь хорошо!.. Дорога, воля, думай в пути о чем хочешь, новые люди, новые разговоры... А иначе куда ему девать себя в этом огромном остывающем доме, в этом затхлом, как запах из подвалов, окружении?..

Едва он прибыл в Новую Бухару, зарядил холодный осенний дождь. Файзулла устроился в вагоне у самого окна, слушал всю ночь немолчный стук капель о крышу, стены, стекло, то задремывая, то просыпаясь снова,

и думал, думал... Впрочем, что одна такая ночь для человека, привыкшего ехать в поезде неделями!.. Назавтра в полдень он уж был на месте. Встретили его те самые «образованные молодцы»: один из них был афганец, двое других — из Кермана, сбежали в свое время из медресе. Оказались они парнями на редкость симпатичными и жизнерадостными. Повели в сад Деванбаг, рядом с паровой пристанью, там все слегка перекусили и тут же отправились в кладовые Терисарая. В кладовых царил порядок. Знаменитые смушковые и ширазские шкурки каршинских степей были связаны аккуратными стопками, узор к узору; юфта, каракульча, шагрень тюками свешивались с перекладин; пахло щелочью, золой, известью, перележавшей сырой кожей. Парни, судя по всему, разбирались в деле, но вряд ли знали, что значит брать взятку. Они были заочно слышаны о молодом хозяине; им, должно быть, льстило, что он почти их ровесник. Теперь под его прикрытием они, не спрашиваясь у приказчика, принялись за работу и сделали почти невозможное: договорились со знакомыми купцами и в один день отправили все тюки из кладовых в Оренбург заодно с товарами русских, а стало быть, безо всякой пошлины. Этому их научил Бака-ходжа, крупнейший здесь торговец бархатом, который имел лучшие места в крытых рынках Абдуллахана.

Вечером совершили молитву в том же Деванбаге — Бака-ходжа был там за настоятеля; после молитвы говорили о здешнем приказчике Ходжаева. Оказалось, что он и занимался аферами: пользуясь болезнью хозяйина, продавал свою очередь на вагоны то Арабовым, то Бадаевым... Как говорится, нет тебя — нет и глаз твоих. Файзулла в ту же ночь отправил его на суд к отцу.

На другой день парни нашли для Файзуллы фазтон, и он поехал в Каркичу. Это была военная дорога. Помещения для гарнизонов, построенные русскими, станционные здания, поселки, хоть и скромные на вид, но из отличного жженого кирпича, прочные, аккуратные — все это вызывало у Файзуллы восхищение: вот какой порядок и чистоту принесли русские в эти безлюдные и неприютные места! В Бурдалике, потом в Ходжамбасе он поменял лошадей и в Каркичу прибыл на третьи сутки. В Каркиче тоже были отцовские караван-сарай, правда, на том берегу реки; но Файзулла спешил к Ан-

тоновскому. Его томило любопытство: что князь собирается делать в этом забытом богом краю?

Дальше он добирался с военным обозом. Русские солдаты, обросшие бородами, с запыленными загорелыми лицами, неизменно поражались его чистейшему русскому выговору. В Паттакесаре его встретил кучер, высланный князем, хорошо, что он по совету торговца бархатом заранее отправил из Чарджоу письмо! Кучер, старик с пожелтевшими от табака усами и бородой, в теплом камзоле, сам разыскал Файзуллу.

— Вы от князя Александра Ананьевича Антоновского?..

— Точно так, молодой барин! Добро пожаловать...— И старик поклонился по-мужицки. На площади стоял аккуратненький тарантас.

С юга задувал ветер, грозивший перейти в «афганец», с ним шутки плохи, и отправились немедленно. Дорога была прямая, мощенная камнем, резвый конь шел красивой рысцой. Все это вызывало в душе Файзуллы восторг.

— Н-но, сокол!..— то и дело приговаривал старик, взмахивая кожаной плеткой. Файзулла тронул его за плечо.

— Как вас величать, дедушка?

— Ярошкой кличут.

— А полное имя?

— Да что ж... Ярофей Карпыч я, милостивый барин. Н-но, пошел!..

Вдали, по обе стороны от дороги, поднимались далекие горные хребты, погружавшиеся в сумерки. Тарантас мчался словно по огромной плоской чаше, полной мглистого воздуха, рассекая своей одинокой скачкой безлюдную тишину. После затхлого холода Бухары этот сумеречный простор, этот малоразговорчивый русский мужик были приятны Файзулле, усталость рассеивалась.

— Далеко еще нам, Ерофей Карпович?

— Далеко-то недалеко, молодой барин. А не прибудем вовремя, ох как разгневается господин Шульгин... Н-но, сокол! Н-но-о!..

— Шульгин? Это кто же?

— Управляющий его превосходительства... Он тарантас на два часа только дал.

— А самого князя что, нет?

— Здесь они. Только и они господину Шульгину возразить не могут-с...

Файзулла недоуменно пожал плечами, но выпытать разгадку этой странности не стал.

— А молодой князь Александр Александрович, он что, здесь?

— Не-е... Мы о них только слышали. В Питере наукам обучаются.

— В университете?! Ах, молодчина Саша!..

И тотчас Файзулла почувствовал завистливую тоску: университет был его мечтой, неосуществимой мечтой... Он разом сник, замолк, и вернулось то знакомое состояние мучительной неопределенности, отчаянной взвешенности во времени, того безнадежного безразличия, когда нависают, кажется, тысячи вопросов, а ответа нет ни единого, и тогда все равно... Никогда не знаешь наперед, когда и отчего это состояние подступит и схватит тебя за горло — долгое, навязчивое, как вот это оглушительное цоканье копыт по камням, разносящееся в безмолвной темноте до дальних ущелий.

— А вы, Ерофей Карпович, говорили — близко...

— Близко, милостивый барин, близко. Прибыли, почитай... А вам спасибо за добрый разговор. Мы уж привыкли: местные на нас глядят хоть и смирно порой, а таково недобро... Да вы, видать, ученый человек, по нашему говорите, как русский. Помогай вам бог!..

Файзулла хотел ответить, но тут тарантас, не сбавляя хода, въехал прямо в отворенные настежь двустворчатые деревянные ворота и оказался в большом дворе. В глубине дворового пространства стояло построенное на европейский манер белое здание с большими окнами, деревянным, кажется, мезонином; к его широкому крыльцу с навесом вели посыпанные песком дорожки, выделявшиеся на темной зелени двора. С боков двор замыкали еще какие-то строения пониже: наверное, амбары, людские — в темноте не разглядишь. Кучер развернул тарантас боком к крыльцу, натянул вожжи: «Тпру-у!» — и они встали.

Тотчас отворилась дверь над крыльцом и в освещенном квадрате появилась фигура человека с вьющейся шапкой волос и бакенбардами, в сапогах и светлой, со стоячим воротником рубаше... Какой-то характерной живостью движений он сразу напомнил Сашу, и Файзулла решил: это сам князь!.. Так и оказалось.

— Прошу, прошу, голубчик!— говорил он радушно, идя навстречу.— Получили вашу депешу и ждали с нетерпением!

— Простите, Александр Ананьевич, за неожиданное вторжение... я думал, тут, может быть, Саша...

— Ах, что вы, дорогой мой, что вы! Я вам рад-рад, точно своего Сашу увидел. Он всегда говорил о вас так хорошо, расписывал вас, как шахзаде — царевича из сказок!.. Благодарю, что не забыли его... Проходите же, милости прошу!

Вестибюль был просторный, хотя и скромный; в нем легко дышалось. Теперь в медных подсвечниках по стенам горели свечи, а днем, вероятно, было много света. За четырьмя голубыми колоннами виднелась открытая дверь освещенной залы, две лестницы с двух сторон вели наверх.

— Переодевайтесь, умывайтесь с дороги, дорогой, и прошу на ужин!

Служанка взяла из рук Файзуллы саквояж и повела по лестнице. Дверь отведенной для него комнатки была открыта. Служанка пропустила его вперед.

— Коли желаете, барин, так баня затоплена! Только позовите...— сказала она с поклоном и вышла, не поднимая головы.

В комнатке, кроме платяного шкафа, кровати, стола и стула, ничего не было. Два больших окна выходили в сад, он глухо шумел во тьме, пахло прелой листвой. Кажется, «афганец», только поугрожав, улегся. Духота рассеялась, в комнату из сада заметно тянуло прохладой.

После бани, где все было как в Москве — вычищенная до блеска деревянная полка, березовые веники, бочки с холодной и горячей водой, пучки ароматных трав в предбаннике,— Файзулла переоделся в европейский костюм, спустился вниз. Князь, излучавший радушие, встретил его у порога залы, и слуга торжественно возгласил:

— Стол накрыт, ваше превосходительство!

В зале бархатные гардины на окнах были опущены, над столом горела с легким шипением сорокалинейная лампа под зеленым жестяным абажуром. Сквозь вторую дверь виднелся в соседнем помещении маленький бильярд, поблескивала черная глыба фортепьяно. А здесь, в глубине, потрескивая, горел в камине саксаул. Это было красиво, но, по мнению Файзуллы, совер-

шенно излишне — только-только духота спала!.. Над двумя креслами у правой стены висели в старинных, чуть облупившихся рамах два портрета усатых военных с генеральскими эполетами, должно быть, предки князя.

— Мы тут на службе, байвачча, не обессудьте,— сказал князь,— мне не довелось видеть поместья и дворец господина Ходжаева, но, наверное, вам у нас многое покажется странным...

— Ну что вы, прекрасный дом, Александр Ананьевич, прекрасный, такой благоустроенный, чистый, тихий...

Стол был огромен, как супа<sup>1</sup>. Старый слуга принес бульон в фарфоровой супнице, разлил по тарелкам, подал. Должно быть, подумал Файзулла, князю скучно в этом большом доме с несколькими слугами, вот он и обрадовался молодому гостю.

— Александр, услышав, куда я еду, и восторгался и завидовал: родина шахзаде! Он вас так именует... Хранит фотографию, где вы сняты вместе и оба в белых чалмах!

Файзулла улыбнулся.

— Мы с Сашей были фантазерами, жизнь казалась сказкой...— Он снова посерьезнел.— Увы, Александр Ананьевич, когда я домой вернулся...

— Сказка кончилась?— сказал князь.

— Да!.. Чего я только не навидался за последние дни!.. Не смею вам пересказывать... хотя все перед глазами стоит.— Картины и впрямь замелькали перед внутренним его зрением, как на полотне синематографа. И снова его одолело смятение, захотелось высказаться...— В голове теперь путаница... такая путаница! — Он взглянул в лицо Антоновскому, как бы потянулся к нему.— Александр Ананьевич, я ехал сюда, надеясь Сашу увидеть... а еще спросить совета у вас. Можно?.. Это так важно...

— Ну, разумеется,— сказал князь и посмотрел на Файзуллу пронизательно.— Прошу вас...

— Знаете, я понял: у нас свою забитость и бедность считают неизбежной... фатальной. Земля ведь здесь плодородная, а ее полагают жалким, бедным краем... Живут в предрассудках... опутаны мертвыми обычаями... Вот вы, русские, высоко держите свое достоинство

---

<sup>1</sup> Супа — глинобитное возвышение для отдыха.

человеческое... благоустраиваете заброшенные места. Я просто... ну, я преклоняюсь перед вашей энергией! Перед вашим образом жизни!.. Ну, скажите, князь, неужели мы не можем брать с вас пример?..— Он увидел некую скрытую усмешку в глазах князя, хотя лицо оставалось серьезным, внимательным.— Я говорю не ради красного словца, ваше сиятельство!..— А может, Файзулла и ошибся: никакой усмешки в глазах не было. И он сказал торжественно:— Ваш покорный слуга желал бы посвятить этому всю жизнь!..

— Хорошо! Отлично!— сказал князь.— И Александр мой тоже, представьте, обличает косность нашей, российской действительности... Клеймит бездельников и сам страдает, как он выражается, от неопределенности своего бытия... Мне это по душе, сознаюсь.

— Неопределенности! Вот именно!— сказал Файзулла.— Но Саша! Он же в университете! На верном пути!.. А я, увы, не имею возможности продолжить образование и хочу в практической жизни попытаться... Что вы на это скажете, Александр Ананьевич? Не можете вы мне?..

— Я всего только практик, инженер, дорогой мой Файзулла.

— Вот именно, вот именно!.. Явились в такую глухомань и проложили дороги, построили плотины.

— Ну, кое-что мы сделали, но, право, немного... Можно бы сделать куда больше.

Тут кто-то кашлянул хрипло за дверью, загромыхал сапожищами, и дверь открылась.

— А-а, Шульгин, входите...— сказал князь, даже не обернувшись. Никакого, даже показного, радушия в его тоне не было.

Шульгин, грубо сколоченный, плотный человек, был в полувоенной одежде, в тяжелых солдатских сапогах, на левой руке черная неснимающаяся перчатка, светлые волосы коротко подстрижены. Он нагло встал на Файзулла — знал, конечно, о его приезде заранее, но, должно быть, не предполагал, что увидит такого простого на вид, смуглого до черноты и невысокого юношу. Он кивнул, уселся по другую сторону стола, вероятно, на привычное место, тут же, без церемоний здоровой рукой довольно ловко повязал на шее салфетку, и мгновенно появившийся старый слуга поставил перед ним еду и графинчик с водкой. Наверное, князь в своем вынужденном одиночестве, думал Фай-



зулла, коротает с ним застолья... но теперь, не сказав ему ни слова, продолжает свою беседу с ним, Файзуллой.

— Конечно,— говорил князь,— эти места — нетронутая целина. И вы, вероятно, правы: причина тут в вас самих. Не имею чести лично знать вашего почтенного отца, но что наша деятельность не по душе эмиру, несомненно! Недавно инженер Анненков преподнес ему проект ирригационных работ и благоустройства земель вокруг Гузара. Стоимость — шесть миллионов рублей. Августейший тут же проект отверг, ссылаясь на чрезмерность затрат. Еще до того концессионер Лессар представил проект канала от Калифа до Карши. Эмир проект принял, но едва Лессар уехал, порвал его по совету кушбеги!..

Шульгин между тем ел, пил в одиночку водку и слегка ухмылялся, прислушиваясь к беседе. Когда наконец и блюдо перед ним, и графин опустели, он, побагровевший, как-то разом обрюзгший, поерзал стулом, устраиваясь поудобнее, откинулся к спинке и неожиданно вторгся в беседу:

— Вот вы, байвачча, наследник миллионов, а? — Голос у него был грубый, пропитой, тон пренебрежительный.— Миллионов, да... а дальше своей усадьбы никуда ж не поедете! Здешние баи так и умирают на своих золотых сундучках. Да и босяки ваши наших куда хуже! Глаз не хотят поднять, а поднимут — яд из них так и каплет... Отвратительно им от судьбы своей, а будет еще хуже...

Файзулле вдруг стало душно, он вздрогнул нервно, скрипнул стулом. В наступившей неловкой тишине слышно было только, как громко дышал, сопя носом, Шульгин.

Файзулла сказал тихо, не глядя на него:

— Чем же виноват народ, господин Шульгин?..

— Наро-од?— Шульгин злорадно усмехнулся.— А не слышали разве, когда в Бухаре ришта поголовно всех заразила, один русский врач из Кагана нашел источник-то заразы: хаузы! Не поверили: мы, дескать, сотни лет из Ляби-хауза пьем... Тогда врач принес микроскоп, взял каплю из того Ляби-хауза и показал: глядите! А там черви величиной в палец... И что думаете? Как это, кричат, он в каплю воды столько червей уместил?! Колдун! Урус! Бей кяфира! И забросали

камнями... Вот и ваш «народ», байвацца! Сказано: азиаты...

— Шульгин! — сердито вскрикнул Антоновский.

Шульгин ощерился в улыбке и, как бы извиняясь, вскинул обе руки. Черная перчатка выглядела зловеще.

— Я и свой не хвалю народ, господа, чего уж там. Отстали до чертиков... Вы в Париже бывали, байвацца?.. А я был, видел. У нас, к примеру, что? Виселица. А у них... — Он наставительно поднял палец здоровой руки. — У них ги-льо-тина!.. Да-с. На смертнике рубашечка белоснежная, новые ботиночки. И площадь чистенькая, как в праздник. Два столба, как лебединые шеи, на них коса. И две корзинки новенькие: одна, поменьше — для головы, другая, побольше — для туловища. Вжик — и готово! Не успеете заметить... А у нас? Нетесаный ствол березовый, аркан грязный, мыло стиральное... Тьфу! Только у нас такое!.. Я это, признаться, говорил Петру Аркадьевичу, говорил... Но и он, покойник, не понял разницы! Отсталые мы, отсталые, князь...

Князь резко поднялся.

— Рано утром мы едем в горы, Шульгин! — сказал он отрывисто и непривычно грубо.

Шульгин не смутился ничуть, тяжело поднялся, кивком попрощался и вышел медленно, грохоча сапогами. Князь снова сел. Наступило минутное молчание. Наконец Файзулла решил:

— Александр Ананьевич... что, мы и вправду утром отправимся в горы?

Князь поднял на него отсутствующие, недоумевающие глаза, но тут же усмехнулся.

— Что ж... поедем, — он вдруг развеселился. — Поедем, байвацца! Покажу природу, плотины, каналы, водохранилище!.. Поглядите, авось когда-нибудь пригодится!.. — Он помолчал снова. Потом сказал тоном извинения: — Этот Шульгин, байвацца, невежда, хам, не может понять, что время его прошло! Но, согласитесь, без него, по правде говоря, я не знаю даже, как обращаться с людьми. Ведь дикие места!.. И потом не могу же я тут жить безвыездно. А дело должно оставить в чьих-то крепких руках... — Он посмотрел на часы. — О, уж скоро полночь! Если утром ехать, вам надобно отдохнуть!..

Они встали одновременно. Под ногой у Файзуллы что-то скрипнуло. Он нагнулся и поднял черную сверкающую каменную пластинку.

— Ангишт?!— воскликнул он изумленно. И тут же поправился, перевел на русский:— Неужели это каменный уголь? Откуда он тут?

Князь улыбнулся.

— Представьте, добыт в этих местах...

— Здесь? У нас?..

— У подножия гор Кетменчапар. Завтра я вам покажу.

— Удивительно! И это, выходит, у нас есть...— Когда-то в детстве Файзулла видел в руках у одного человека горящий камень. Человек казался волшебником. А камень был всего лишь куском угля. Файзулла узнал об этом только в Москве. Уголь же, оказывается, есть и тут, свой!— И много его?..

— Нам хватает. Избавились от дыма. К сожалению, техники нет или очень мало, а местные лезть под землю боятся. О шурфах наших распустили слух, что это врата преисподней! Главное, никто долго не верил, что камень может гореть... Теперь некоторые даже покупают...

— Привыкнут, князь, привыкнут! Надо только начать... показать!

Антоновский улыбнулся, взял Файзуллу под руку.

— Конечно, дорогой, конечно... вот завтра я вам все и покажу!..

У себя в комнате Файзулла не стал зажигать лампу. Отвратительное впечатление от Шульгина сгладилось завершением разговора. Князь так понимает его и такой приятный, умный человек!.. И, главное, не зря он сюда приехал — узнает немало полезного!.. Из окна спальни пепельное небо с чуть побледневшим краем казалось громадным застывшим клубом дыма; цепи гор вдали выглядели как тени громадного каравана. В зарослях кустарников всходила луна. В лунную ночь не спится, вспомнил Файзулла. Он разделся и вытянулся на кровати. Ветерок нес прохладу и запах прелых листьев.

Столько времени он провел в многоэтажной и многолюдной Москве, в Охотном ряду, оглушаемом криками извозчиков и торговцев; да и Бухара встретила его узкими улочками, где глинобитные стены почти заслоняли небо, дядин кишлак погребли мертвые неодолимые

пески... И он уж забыл, что существуют в природе такие дивные тихие уголки, где душа отдыхает, а ум освобождается. Ах, забыл он спросить у князя: может, в долине есть и олени?.. Пенящиеся реки разливают воду по арыкам, те спешат на поля, кишлаки утопают в садах... Привезти бы сюда дядю Шахабиддина и показать, тогда бы он в своем загубленном саду не якшался с беглыми бунтовщиками: увидел бы тех русских, что делают настоящее дело, творят практическое благо! Ведь и эти края — наши, кровные...

Очнувшись на рассвете, Файзулла не мог сразу и понять, спал он, нет ли; только продрог весь. Снизу слышались шаги, беготня, окрики, фыркание лошадей. Файзулла торопливо оделся, сбегал вниз. Кучер Ерофей Карпыч уже запряг в тарантас двух лошадей, а теперь засыпал овес в торбы. Похолодало, и весь пейзаж как-то неуловимо изменился. Вглядевшись, Файзулла понял: в горах выпал снег!

Князь вышел во двор — высокий, в простенькой, но ладной стеганке, с широким шерстяным шарфом на шее.

— Выспались, шахзаде?.. В горах теперь холодно, возьмите! — И он протянул Файзулле такую же стеганку, какая была на нем самом. Файзулла надел ее, и ему словно передалась озорная легкость князя. Они сели в тарантас, кучер впереди пропел свое: «Н-но, сок-кол!» — и копыта зацокали, тарантас тронулся, выехал в ворота и помчался, полетел... — Позавтракаем на перевале! — крикнул князь на ухо Файзулле. — Люблю похолостячки!.. Ярошка! Ярошка-а! Прихватил то-се?..

— ...ак ...очно ...аш ...льство! — крикнул кучер, хлебная встречный ветер, и Файзулла тоже приподнялся, окунулся в этот ветер лицом, протянул руку вперед и плыл, летел в пронзительном, окаймленном снегами утре...

Дорога от подножий пошла серпантинном по склонам; свежие лошади неслись. Гнедой с отметиной на лбу и сорочьими глазами, казалось, сам знал и выбирал путь, подчиняя себе рыжую кобылу со стоящими торчмя ушами, и серебряная тесьма сбруи, свешивавшаяся с крупов, ритмично покачивалась. Горные долины остались внизу, заросли тростника походили теперь сверху на состриженную гриву, в даях проступили сперва как бы желтые пятна, а затем прояснилась, разлеглась ширь неоглядных степей. Холод со снежных

вершин убавлял жар поднявшегося солнца, а кони все так же неслись, но из-под ременной упряжи, точно закипающая, выступила белая пена.

— Сбавь ходу, Ярошка!.. Вон наше море!— крикнул князь и указал Файзулле на прозрачное голубоватое озеро на дне ущелья под ними. Тени гор причудливо преломлялись в его зеркальной поверхности.— Два года воду копили, представьте!.. Да, да, озеро искусственное...

Теперь, взглядевшись, Файзулла сам увидел внушительную каменную плотину, запрудившую выход из ущелья, а на берегах маленькие белые домики, сторожевую башенку...

— Отсюда вниз — только пешком,— сказал князь, когда тарантас остановился. Они вылезли.— Мы теперь с вами на месте, откуда виден весь пейзаж. Красиво, а?.. Ярошка, завтракать будем тут, разожги костер, чайник повесь. А мы...— И он ловко соскочил с камня вниз на тропинку, ведя за собой Файзуллу. Тропинка была некрутая, занесенная осенней прелой листвой. С нее поверх невысоких зарослей шиповника видно было шумное устье речушки, впадавшей в озеро, центр самого озера с отразившимся белым облаком, лоскутки полей.— Видите,— сказал князь,— чтоб управлять жизнью долины, мы прежде всего взяли в руки воду! На пути этой речки и еще множества ручейков поставили запруды... а то ведь вода расползалась, растекалась без толку. Таких водохранилищ у нас теперь три! Душа и жизнь всех садов, полей, поселков! Ну, и арычная система новая, сами понимаете... К тому же обуздали весенние паводки!..— Файзулла слушал и глаз не мог оторвать от далей, от голубизны воды.— Вообразите,— говорил князь,— истратил три с половиной миллиона! Пан или пропал! Благоустроиваю сто тысяч десятин!

Файзулла оглянулся на него точно завороченный. Князь улыбнулся.

— Нравится?..— Он похлопал Файзуллу по плечу.— Вниз уж не пойдем. Ярошка-а!— закричал он.— Ярошка-а! Косте-ер!..

— Гори-ит, бари-ин!..— донеслось сверху.

— Ну вот, пойдемте хворост собирать!— И князь двинулся обратно, Файзулла, чуть помедлив, за ним. Да, это дело жизни, думал Файзулла. Три с половиной миллиона, но они воплотились в озера, поля, кишлаки! А отцовские деньги?.. Неужели прав этот отвратитель-

ный Шульгин и здешние богачи вроде скупых рыцарей?.. Прав, в чем-то прав. А князь!.. Замечательный человек! Так смело рискнуть, и где, в чужом краю. А мы, что мы? У себя дома?.. Вот где урок!

Он и не заметил, что князь ушел вперед, исчез за поворотом тропинки. Файзулла поднялся к дороге. Полураспряженные лошади отфыркивались, жевали, сунув морды в торбы с овсом. Кучер сложил что-то вроде очага, разжег, а теперь вкапывал с двух сторон рогатины. Князя не было видно, хвост, наверно, собирал. Файзулла тоже полез в заросли над дорогой. Хвоста хоть завались! Он скоро вернулся с огромной охапкой. Князь все не появлялся. Файзулла свалил свою охапку и хотел было пойти собирать еще.

— Хва-атит, молодой барин,— сказал кучер,— еще Александр Ананьевич принесут... Да и гость вы... Отдохните — не выспались, чай, с дороги...

— Ерунда! Тут так... так прекрасно, вольно!

— Во-ольно,— сказал старик с непонятной интонацией.

Файзулла отметил это было для себя и тут же забыл. Какая красота! Какое великое дело! И князь... Тут почему-то вспомнилось ему, как вчера князь оборвал Шульгина. Но зачем, зачем он его терпит?..

— Ерофей Карпыч!

Старик обернулся с готовностью.

— Что прикажете, молодой барин?..

— Нет, я спросить... Этот ваш Шульгин... вчера какого-то Петра Аркадьевича поминал. Это кто же?

— Да Столыпин... Столыпин же!

— Столы-ыпин?!

— Ну да-с.

— А откуда ж... он-то...

— Состоял при нем, уж не знаю кем. А как убили, сюда подался...— Старик оглянулся, понизил голос.— Видно, нечисто там что-то было... И, опять же, разбогатеть задумал. Земель тут много, места новые, у князя дело большое... вот и впился, как клещ, прости господи...

Он явно собирался говорить еще, но взгляд его вдруг вильнул, лицо замкнулось, и, наклонившись, он стал усердно дуть в свой импровизированный очаг, точно и не было разговора. Затрещали сучья под ногами — из высокого кустарника появился князь, тоже с охапкой хвоста. Он чуть запыхался.

— Что же это вы, шахзаде,— сказал он с улыбкой, подойдя,— сидите бог знает где, в стороне, а жар костра пропадает даром!

— Да ведь не холодно, князь!— отвечал Файзулла, и лицо у него само собой расплылось в ответной улыбке. Он тотчас забыл про Шульгина, кучера, Столыпина — он испытывал чувство почти влюбленности в этого высокого красивого человека, творящего чудеса.

Ерофей в больших фарфоровых чашках подал чай, заваренный на сушеной смородине.

— Вина, конечно, не пьете, шахзаде?— сказал князь.

— Нет, конечно, Александр Ананьевич!

— Я тоже. Но теперь сыро, так по капельке вместо лекарства?.. Впрочем, я выпью, а вас не уговариваю. Пейте чай и рассказывайте!

— О чем, князь?..

— О Москве, милый мой, о Москве! Стосковался, сил нет!.. А вы как-никак только что оттуда, можно сказать, московский гость. Потешьте мне душу...

— О князь, ну, что я могу в а м рассказать о Москве?.. Там прекрасно, прекрасно, прекрасно!.. Наверное, оттого, едва приехав в Бухару после пяти лет, я, только услышал о вас, поспешил, видите, сюда!..— Князь улыбнулся снисходительной, но милой улыбкой, как бы отклоняющей чрезмерность комплимента. Файзулла замотал головой.— Нет, правда, правда!.. И я так благодарен... вам за Сашу... Саше за вас... за это знакомство!

Позавтракали с аппетитом. С треском горел хворост, синий дымок поднимался вверх. Ерофей поодаль с кем-то заговорил.

— Эй, кто там?— сказал князь.

На дороге показался ишак, груженный связками прутьев, за ним мальчик-горец, черноволосый и голубоглазый, как все горцы, в латаных лохмотьях. Он шел босиком, прутом подгоняя ишака.

— Продаешь дрова?— спросил князь.

Файзулла перевел.

— Это не дрова,— сказал мальчик, не останавливаясь.

— А что же?

— Прутья тала, корзины плести.

Файзулле захотелось поговорить с ним.

— Можно его позвать на минуту, князь?

— Ради бога!

— Эй, братец,— крикнул мальчику Файзулла,— подойди-ка сюда, погрейся!

Мальчик ничуть не смутился, не стал униженно кланяться, как непременно бы сделал в подобном случае мальчишка в Бухаре; он просто остановил ишака, свел его с дороги на травку, снял с головы свою плоскую тюбетейку и проворно подошел к огню. Правду говорят: горцы — народ с чувством собственного достоинства!.. Файзулла протянул ему яблоко, и тот опять принял это просто, точно яблоко дал ему приятель-сверстник. Файзулла стал расспрашивать, и он легко разговорился:

— Меня-то Эргаш зовут... летом спускаемся на холмы, яков пасем...— Файзулла переводил князю.— На холмах хорошо-о... весь день работаем... пот льется... А ночью холодно! И звезд полно! Ну, мы-то спим как мертвые. Подложим под голову седла и спим... Пшеница так хорошо пахнет!.. А утром идем быков поить...

Он неторопливо доел яблоко, поблагодарил, взял свой прут и погнал ишака дальше. Князь улыбнулся ему вслед. Файзулла глядел задумчиво.

— А знаете, князь,— вдруг сказал Файзулла,— я ведь, может быть, ничем не отличаюсь от этого мальчугана...— Он и сам не знал, что толкнуло его сказать это и зачем. Князь глянул на него, холодно улыбнулся и вежливо пожал плечами.

После завтрака они решили спуститься в долину по старой тропе; кучер же, вернувшись прежним путем, будет ждать их внизу, где тропа снова выходит к дороге.

Был уже полдень, заметно потеплело. В кустарниках кипела жизнь, птицы, то и дело вспархивая, клевали подсохшие или тронутые ночным морозцем ягоды боярышника, шиповника, горной алычи; воздух полнили ароматы осеннего леса; под ногами приятно пружинила листовенная подушка. Но это продиранье сквозь заросли, переходы по бревнам, перекинутым через овражки и ручьи, крутые спуски по скользкой тропе быстро их утомили с непривычки. И все-таки было чудесно. Вот расплзшаяся во все стороны ветвями ольха с чугунно-черным стволом, вот мыльное дерево с не слишком приятным запахом, которым оно словно надеется отпугнуть близкие холода...

Александр Ананьевич объяснил:



— Шахзаде, глядите — это испанский дрок. Тут его не ценят, а дерево редкостное!.. А видели там, повыше, алайскую березу? Откуда она здесь?.. А ведь растет! А сейчас я вам покажу совсем удивительную вещь: смотрите — гуттаперча!

— Как? Каучуковое дерево?!

— Да, да, милый мой! Тут у вас растет и сахарный тростник... и хлопок тонковолокнистый... Страна чудес! И все эти чудеса я разведу внизу, в долине. Вырастим дендрарий, гранатовое дерево, ореховое, шиповник, лекарственные цветы и травы — великая зеленая аптека! Виноградники, инжирные сады, финиковые... Найдется специалист, так можно и лимоны растить. Всему начало — вода!..

У Файзуллы голова кружилась. И не от спуска, не от усталости — от всего, что он слышал. Он то и дело оглядывался на князя, взглядывал ему в лицо, и князь тоже смотрел, словно повторяя: «Да, да, страна чудес! А ты и не знал собственную страну! То ли еще здесь откроется...» Спускались они часа три, не торопясь, разговаривая. Когда вышли на дорогу, тарантас уж давно стоял.

— Попомните, шахзаде: этот край — сокровищница! — сказал князь, словно итог подводя. — Тут столько можно сделать!.. Да руки связаны. Его величеству императору всероссийскому не до нас. Его высочество эмир бухарский против нас, хоть и делает любезную мину. А с предприимчивостью одного Шульгина... нет, на этом далеко не уедешь. Представьте, не можем допроситься десятка солдат для охраны плотин!.. Да вон, смотрите, — он показал рукой куда-то вдаль, — воочию убедитесь, что у нас за положение...

Внизу, где начиналась голая степь, виднелись деревянные навесы и сооружения, подобные журавлям при колодцах. Там суетились три или четыре черные фигурки: поднимали с помощью «журавлей» корзины из-под земли, тасили на себе, высыпали в черную кучу, несли корзины обратно...

— Наши угольные копи... — сказал князь угрюмо.

Файзулла смотрел долго: за полчаса вытащили две корзины...

Князь тем временем пошел к тарантасу, старик кучер суетился в стороне от дороги, нашел большой плоский камень, разложил на дастархане еду. Наглядевшись, Файзулла подошел к нему.

— Смотрите, молодой барин?— сказал кучер.— Главная-то работа под землей. Тьма адская, человек десять — пятнадцать откалывают уголь да в корзину...

— Глубоко?..

— Подойдите — увидите...

Но после еды они к шахте уже не пошли: спустились быстрые осенние сумерки, ветер понес по дороге пыльную поземку, надо было ехать. Пока добирались, керосин в фонаре тарантаса сожгли до донышка, въехали в усадьбу в полной темноте. Файзулла заснул, едва добредя до кровати. Проснулся ночью, должно быть, от луны — она заглядывала в окно, ущербная, как надкушенная лепешка. Некоторое время Файзулла лежал без сна, чувствуя себя отчаянно одиноким, ничтожно маленьким в безмерном пространстве ночи. Натянул на лицо одеяло, ощупал под одеялом свои руки, плечи. Станет ли он когда-нибудь таким высоким, сильным, уверенным в себе, как князь Александр Ананьевич?.. Он не заметил, как снова заснул, проснулся опять, когда уже светало. Вскочил, умылся, оделся, взяв свежую белую рубашку, и сошел вниз. Но внизу стояла пустынная тишина: ни шагов, ни голосов. Он поднялся обратно к себе в комнату. Уже высоко поднялось солнце, когда служанка принесла на подносе кофе и бутерброды. Хозяин уехал чуть свет, пояснила она.

Дом оживился только к вечеру: появлялись и исчезали какие-то всадники, какие-то тарантасы, запряженные крепкими лошадьми, тележки, пролетки. Люди входили и выходили, торопливые, озабоченные. Из зала доносились разговоры, голоса, повышавшиеся иной раз чуть не до крика. Файзулла даже не рисковал спускаться вниз, сидел в своей комнате и читал взятую с собою книжку. Только когда уж совсем стемнело и ему показалось, что князь остался один, он сошел в вестибюль и направился в залу. У портьеры он услышал ворчливый голос Шульгина.

— Видели, видели мы эти ревизии императорского величества!— отвечал голос князя.— И ревизоров его видели. Слава богу! Сенатор Кривошеин, гофмейстер граф Пален... кого только не было. И что?.. И этот один из них!

Файзулла остановился у портьеры. И войти и уйти было одинаково неловко.

— Вам-то, ваше сиятельство, легко отмахиваться!— заговорил снова Шульгин.— А ведь дело дрянь, по правде говоря... Дрянь дело!

Нет, больше нельзя было стоять за портьерой! Файзулла вошел. Увидев его, оба разом смолкли, и князь с натянутой улыбкой шагнул навстречу.

— Прошу, прошу, шахзаде, мы сегодня вас бросили совершенно, уж извините великодушно, такой сумбурный день... Сейчас будем ужинать!..

За ужином все поначалу молчали, потом князь, словно спохватившись, стал объяснять Файзулле причину нынешней суматохи: прибыл правительственный ревизор из Петербурга.

— Из этих, знаете,— говорил князь с легкой усмешкой, за которой, впрочем, легко читалось немалое раздражение,— из этих господ с допотопной тактикой якобы неожиданно свалиться на голову и схватить виновных с поличным. Есть ли виновные, нет ли, неважно, ведь эти господа сами первые воры!

— Да что он собирается проверять, князь?— спросил Файзулла с искренним сочувствием.

— А, эти людишки на побегушках у графа Палена... Других дел у них нет! Законность, видите ли, землепользования, исполнение пунктов договора концессии... Формальности, пустая трепка нервов!— Князь и впрямь нервно засмеялся.— Хотят навесить на нас то, что сами собрались сделать, да не вышло. Ведь они сперва чуть было не продали эти степи господам из Америки!.. Мы, к счастью, успели это бедствие предотвратить, избавили земли от иностранных хищников... Занялись небывалым здесь благоустройством, вы сами видели, байвапча, и вместо благодарности...

Шульгин весь ужин молчал, потом, отодвинув тарелку, так же молча поднялся, встал, вышел.

С этого дня все решительно изменилось. Дом словно опустел, хотя князь Александр Ананьевич оставался у себя, внизу, в дальней комнате. Порой доносилось постукивание его трости или вдруг ненадолго начинало звучать расстроенное фортепьяно, князь наигрывал все одно и то же — «Полонез» Огинского. Про Файзулла, казалось, забыли — только еду ему приносили наверх. Надо было уезжать, пойти к князю, попрощаться, попросить лошадей... но неловко: тем самым он как бы уличит князя в невежливости. Файзулла все ждал, что князь сам пригласит его... А покамест и словом не с кем

было перемолвиться — даже кучер Ерофей Карпович со своим тарантасом куда-то исчез. Файзулла со скуки то и дело выходил во двор, бродил по осенней поблекшей траве, усыпанной тополиными листьями. На третий день утром он увидел наконец знакомый тарантас и рядом с ним старого Ярошку, чинившего какой-то ямщицкий скарб.

Старик привстал, поклонился.

— Что, молодой барин, уж и гостю в доме места не находится?..

— Д-да... нет... — сказал Файзулла нерешительно и присел рядом, на ось старой арбы. — Но что тут со всеми случилось, не пойму, Ерофей Карпович...

— И нам, барин, все знать несподручно.

Старик ткнул шилом в старую подпругу, стал продевать огромную цыганскую иглу и вдруг остановился.

— Ха-ароший вы юноша... — сказал он негромко. — И скажу вам правду по-мужицки: не вовремя вы сюда прибыли... Напрасно. Тут вам душу не ублажить.

— Почему, Ерофей Карпович?

— Место не то, молодой барин.

— Прекрасное ведь место!..

— Прекрасное!.. По молодости вы, по незрелости вашей... А-а! — Он оставил иглу, взмахнул рукой. — Что там!.. Как у вас молвят-то: сказать — язык сгорит, не сказать — душа сгорит! Все в себе держать — земля потом не примет... — Он перешел совсем уж на шепот. — Зачем ревизор-то приехал, знаете?..

— Не знаю...

— А-а... то-то и оно. Беглые ссыльные тут у нас...

— Как?

— А так. Высланные с пятого года которые...

— Ну и что же?

— А то же — бегут они через границу афганскую, их и ловят. А дале... на границе их в цепи... и сюда продают!

— Как продают?! Кому?

— Кому-у!.. Шульгину, кому ж еще. Дружки у него на границе. Такие же пропойцы... Продадут задарма, все шито-крыто, кому до них дело?.. А он их в цепях в шахты спускает... в преисподню... А вы — прекрасное место!..

Файзулла едва не задохнулся. Аллах великий! Неужто всюду одно и то же?! Двадцатый век... А в Бухаре

девушек продают... Здесь — просвещенные русские! — торгуют ссыльными... Но князь! Князь! Неужели...

— А князь?.. Князь знает?..

Кучер посмотрел на него.

— Э-эх, барин! — сказал он и снова махнул рукой. — Одно слово, молодой вы еще... зеленый... Али не видите, как все засуетились? Как забегали?.. — И он принялся ожесточенно протыкать кожу иглой.

Файзулла, бледный, растерянный, поднялся и пошел было к дому. Но в дом теперь и зайти было тошно. Господи, что ж делать?.. Как быть?.. Во дворе пофыркивал, хрумкая сеном, привязанный конь. Стая ворон, облупившая верхушку тополя в конце двора, как чудовищная шапка-ушанка, сидела неподвижно, словно выжидая чего-то. На тропинке, меж кустами сирени, показалась огромная отъевшаяся кошка со взлохмаченной шерстью. Она шла и облизывалась. Что делать?.. И когда он научится что-то понимать в людях, когда? Дурак, сосунок... Разве пойти и в открытую поговорить с князем?.. Ну и что? Да и откуда он узнал об этом! Ведь так он выдаст старика кучера, а от Шульгина всего можно ждать!.. Но, может быть, подумалось ему вдруг, это еще неправда... вдруг да старик фантазирует? Или наговаривает от обиды!.. Может, все-таки князь не знает всего?..

Он проскользнул через вестибюль, взбежал по лестнице и затворился у себя в комнатке. «...не вовремя вы сюда прибыли... — вспомнил он. — Тут вам душу не ублажить». А ведь он, глупец, как раз и думал, что тут «ублажит душу». Нет, старик умный и все понимает и не врет...

На следующее утро он спустился в вестибюль и едва хотел выйти во двор, как увидел у крыльца князя и Шульгина. Они его не видели. Князь, злой, побагровевший, видно, выговаривал что-то или втолковывал, а Шульгин стоял мрачный, покачивая головой, всем видом выражая несогласие.

— Ну так я не знаю, — говорил князь. — Не знаю!.. Что хотите, то и делайте! Помните, я здесь ни при чем!.. — И он пошел в дом, чуть не столкнувшись с Файзуллой. И не заметил его! Прошел мимо и не заметил!..

У Файзуллы даже слезы навернулись от обиды. Он опять взбежал к себе наверх, сел на кровать. Уезжать отсюда надо... бежать! Но как это сделать, не погово-

рив с князем? Не пешком же идти?.. Внизу прозвучали несколько тактов из того же «Полонеза» Огинского и смолкли. Файзулла лег и пролежал весь день, даже не открыв дверь приходившей с обедом служанке. В сумерках он спустился вниз — надо разыскать старика Ерофея, не поможет ли уехать. Или вообще спросить, как выбраться отсюда.

Поднимался пыльный ветер, нес сухую листву, хлопал скрипучими дверьми дворовых построек. За колонной крыльца Файзулла наткнулся на кучера — как будто тот сам его караулил. И в полутьме видно было, как старик расстроен. Он даже ниже ростом казался.

— Уходите, молодой барин,— сказал он. Голос у него дрожал.— Уходите отсюда...

— Что еще стряслось, Ерофей Карпович?

— Шульгин шахты затопил... вот что...

— Как затопил?

— Обыкновенно. Водой. С людьми затопил!..

— Не может быть!!

— Стало, может...

Файзулла почувствовал: его начинает колотить дрожь. Негодование, омерзение, страх поднялись волной к горлу. Он на миг представил себе захлебывающихся людей в страшном, черном стволе шахты... Нет, даже вообразить жутко!.. Зубы у него стучали. Старик смотрел с жалостью.

— Уходите, молодой барин...— повторил он.

— А сколько...— сказал Файзулла и проглотил комок в горле.

— Чего, барин?

— Людей... сколько?

— Одиннадцать... либо двенадцать... Кто его знает?

— И всех?..

— Все-ех! А как же... Истинно — концы в воду...

— Правда это?

— Убей меня бог!— строго сказал старик.— Нешто, барин, в таком деле врут?.. Молодой вы... невинный... вот и говорю, чтоб уходили.

— А князь?

— Чего князь?

— Знает?..

— Все у нас знают...

— Это... он велел?

Старик посмотрел в сторону.

— Приказа такого князь не даст... Не даст, нет.

Файзулла забыл, о чем хотел спросить кучера. Повернулся, вошел в дом. Зала теперь была освещена, там суетились люди. Служанка, которая приносила ему еду, выскочила в вестибюль.

— Князь Александр Ананьевич сказать велели... ждут вечером. Чтоб пожаловали... Гости будут!.. Господа с Петербурга...

У себя в комнате он упал лицом в подушку. Что ж теперь?.. Пешком уходить! Пешком!..

Снизу потянулись дразнящие запахи готовящейся еды. Он вспомнил, что не обедал сегодня. Гости? Прием? Как же это?.. А там... Он с силой зажмурился, чтоб прогнать из глаз страшную вообразившуюся картину. Металлический звук долетел из залы. Каминную решетку чистят... Разожгут камин вечером. И, может быть, может быть... не дровами, а углем. Углем! Тем самым, что... Да ну, разве ж это мыслимо?!.. Наверняка никто не знает про шахту. Никто?.. Но ведь Шульгин тоже придет! А вдруг... вдруг это ловушка для Шульгина?.. И в разгар праздника князь скажет... покажет всем... Он, Файзулла, должен пойти туда, к гостям. Он вскочил. Да, должен пойти, должен увидеть все это... всех этих...

Когда он, переодевшись, спустился вниз, зала была празднично освещена и украшена, в камине пылали дрова, огромный стол уставлен множеством пестрых, сверкающих фольгой бутылок, на краю искрились два серебряных ведерка со льдом, где купалось нераспечатанное шампанское; из внутренней комнаты доносился смех, стук шаров, голоса. Князь как раз вышел оттуда.

— Шахзаде!— сказал он приветливо.— Прошу! Надеюсь, вы не скучали, у нас тут такие дни! Не скучали?..— И, не дождавшись ответа, рассеянно оглядел залу, точно вспоминая, зачем пришел, но не вспомнил и ушел обратно.

Из вестибюля следом за Файзуллой явился некто высокий, усатый, невнимательно глянул на Файзулла и тоже прошел в комнату с бильярдом. Судя по голосам, народу там было много, но петербургские гости, конечно, еще не прибыли, иначе сели бы уже за стол. Кто-то заиграл вальс на фортепьяно, две пары выплыли в залу. И тут Файзулла услышал голос Шульгина и снова увидел князя: Шульгин говорил ему что-то негромко, но

настойчиво. Сердце у Файзуллы екнуло, как перед страшным экзаменом. Князь слушал нетерпеливо.

— Нет!— наконец сказал он отчетливо и раздраженно.— Нет и нет! Не вмешивайте меня!..— Перед ним очутилась молодая дама с обнаженными плечами, белыми, пышными, и князь тотчас, кажется, и про Шульгина забыл, обаятельно улыбнулся, поцеловал даме руку и закружился с нею в вальсе...

Файзулла не помнил потом, как взбежал к себе наверх, что-то натянул на себя, схватил саквояж, выскочил во двор, потом на дорогу... Помнил только, что завывающий, свистящий, кидающий в спину пригоршни песка ветер толкнул его, почти поволок по дороге, слабо белевшей под ногами, и ноги едва поспевали за телом, и что-то жгучее его пронизывало: не то холод, не то жар, и он упал один раз, поднялся, побежал опять... Потом что-то легонько его задело, рядом остановилась арба. Файзулла обдало запахом табака, и голос старого Ярошки сказал:

— Эх, барин, барин! Нешто так можно! Ночь, и «афганец» начинается! Нешто можно одному, пешему, в ночь...

Старик подхватил его под мышки, стал подсаживать в арбу.

— К-куда?— спросил Файзулла. Его бил озноб, и тело вдруг обмякло, точно из него вынули стержень.

— Не бойтесь, назад не повезу... Вижу, выбежали вы, я за вами, а во дворе вас уж нет! Слава богу, арба стояла, впряг конягу и погнал... Нашел, слава богу...

Арба была с плетеным кузовом для перевозки сена, и сена на дне еще оставалось вдосталь. Файзулла погрузился в него, как в перину, а сверху старик закидал его сухими, еще ароматными охапками.

— Лежите, барин молодой, отдыхайте, забудьте про все!..— Старик влез на арбу.— Прямо в Паттакесар?— спросил он. Файзулла не ответил, все доходило до него как сквозь толстую пелену.— В Паттакесар...— сказал сам себе старик и взял вожжи.— Н-но, сокол!..

Какой там сокол — это была старая тощая кляча, с паха которой уже капала пена. И старая колымага тоже тряслась, колыхалась, скрипела, раскачивалась, оседала, как лодка, набравшая воды, но Файзулле в полубреду казалось, что лежит он не то в гамаке, не то в подвесной детской кровати и кто-то добрый убаю-



кивает его, поет долгую монотонную песню, а кровать скрипит, скрипит...

Файзулла провалился на какое-то время в бездонный сон, а когда очнулся, ветер все так же выл над ним, нес песок, то ослабевая ненадолго, то вновь надсаживаясь. Файзулла не сразу сообразил, где он и что с ним, потом вспомнил свое бегство, арбу, старика, фигура которого темной покачивающейся громадой едва виднелась впереди во тьме. Потом всплыла в мозгу освещенная зала, звуки фортепьяно, две пары, кружащиеся в вальсе, и голоса за дверью, и князь... князь!

О Шульгине он даже как будто забыл, а лицо князя все вставало перед ним — то, как в горах, вдохновенно повествующее о богатствах края, то радушное, что в первый день встретило его на пороге, и безразличное, незамечающее, как третьего дня, и глядящее в упор с вежливой улыбкой и скрытой издевкой... И эта издевка теперь в памяти удивительным образом проступала все явственней, откровенней!.. Какой же он был дурак! Какой дурак! Верил всему! Радовался! Почти влюбился в этого человека!.. И Файзулла застонал даже от боли внутри, от жестоко раненного самолюбия, от надежды, пораженной насмерть, и старик впереди услышал его стон, наклонился.

— Спите, молодой барин, спи-ите, претерпели муки душевные, а теперь спите, забудется все...

И он впрямь снова окунулся в сон, а проснулся не скоро, от давно уж, наверное, будившего его воя вокруг — это «афганец» разошелся всерьез. Аромат сена унесло, нос, горло, уши забило пылью, воздух был полон песка. От тряски все тело болело и ломило. Неужели это та самая прекрасная дорога, которой ехали они недавно в поместье князя?.. Все вывернулось наизнанку! Тут он вдруг подумал: а может, заблудились?..

— Не заблудились мы, Ерофей Карпыч?— закричал он старику, сисясь перемочь вой ветра. Кучер услышал только с третьего раза.

— Не-ет!— сказал он, обернувшись и наклонясь к Файзулле.— Будьте покойны, барин!.. Не я, так коняга дорогу знает!.. Засни я, сам довезет! Тут других дорог и нету!..— Он помедлил.— А что тащимся потихоньку... так торопиться некуда! Из Паттакесара все одно ночью не уедешь!..

— Да нет, я не тороплюсь!— крикнул Файзулла сквозь ветер. Тут ему пришло в голову: откуда такое

название — Паттакесар, то есть «Отрывание талонов»?.. — Ерофей Карпыч! — крикнул он снова. — Не знаете, откуда название такое — Паттакесар?!

— Чего Паттакесар, барин?!

— Название откуда? Что за талоны?..

— А-а... Там на воду талоны дают!

— Как талоны на воду?!

— А так. Князь порядок завел!..

— Зачем же талоны?..

— Продают их, барин!

— Значит, воду продают?!..

— А как же!.. Побывали бы здесь летом, как полив-то!.. Ого, что тут творится! Орут, дерутся, до ножей доходит!.. Оно конечно, у кого денег побольше, те и без драки получают... сколько надо... А бедный народ... посе-вы сохнут!.. Н-но, сокол!.. Н-но!

Перед глазами Файзуллы снова встало голубое озеро с тенями гор и ласковое лицо князя, и словно бы снова прозвучал его голос: «Видите, чтоб управлять жизнью долины, мы прежде всего взяли в руки воду!» Так вот, оказывается, что это значило!.. Вот зачем «взяли в руки»!.. Дерутся, до ножей доходит... Потом и кровью платят за воду! Потом и кровью... за это даровое благо господне! Боже ты мой! Чем же князь лучше жадного бая, сидящего на сундуке? Тем, что поигрывает на фортепьяно?.. Шульгин... да Шульгин просто исполнитель! Правая рука! Он, может быть, даже лучше того... вылощенного... По крайней мере откровенен! Аллах! Какое гнездо лжи под белоснежной рубахой! Какой обман!.. Дышать нечем!..

Дышать и впрямь было трудно — пыль и песок, казалось, запырили, засыпали горло, как дорогу. Ветер, однако, стихал. Рассвет близился. Не будь пыльной метели, наверняка уж видно было бы, как побелело небо на востоке. Арба катила, отчаянно дребезжа, и Файзулле казалось: еще немного — и голова у него развалится от этого дребезжания. Но тут по обеим сторонам дороги завиднелись оголенные верхушки тополей, и колымага вскоре остановилась. Паттакесар!.. Старик Ерофей слез и стал помогать Файзулле выбраться из арбы. Усы его и бороду едва можно было отличить от облепившей лицо грязи. Да и сам Файзулла, должно быть, выглядел не лучше. Он вытер лицо, отряхнулся и почистил, как мог, одежду, достал из арбы саквояж,

стал прощаться, полез было за деньгами, но старик даже обиделся.

— Да ведь попадет вам за меня, Ерофей Карпович!..

— Попадет не попадет, что ж!.. Вы хороший человек, молодой барин, вот за вас сердце и болело... А что попадет! Отвез гостя!.. Чай, вы не приبلудный бродяга какой! Все равно б отправили... Ну, прощевайте, молодой барин, дай вам бог счастья!..

Ветер почти утих, мутный рассвет стоял над Паттакесаром. Оказалось, они подъехали к самой базарной площади. Файзулла прошел шагов сто, огляделся. Справа стояли в ряд какие-то повозки, арбы, пролетки с оцепенелыми возницами. Увидав человека с саквояжем, возницы мигом стряхнули оцепенение.

— Господин, сюда!

— А вот, господин, до Карши и с шиком!..

Он взял первого попавшегося извозчика.

Извозчик оказался разговорчивый.

— Видно, нездоровится вам, байвачча?— сказал он после многих безуспешных попыток завязать беседу.— Ну ничего, не унывайте! Вот скоро въедем на перевал Тахтакарача, где совершил намаз святой Али, так вы киньте там золотую монету, аллах сразу от немощи избавит...

В Бухаре было уже холодно. Наступила та безотрадная пора, когда нудный дождь внезапно превращается в снег, а снег, смешиваясь с уличной глиной, образует вязкую жижу под ногами. С почерневших крыш на хибарах капали мутные саманно-желтые капли, глинобитные заборы крошились, узкие улочки опустели...

Да и сумерки были уже, последние минуты умирающего дня, когда Файзулла без чувств, без мыслей, опустошенный, как корзина от распроданного товара, подъехал к родному дому. Увидев его осунувшееся лицо, поблекшие и запавшие глаза, Райхон-биби ужаснулась. Говорят же: дорожные страдания — загробные страдания!.. А тут еще отец мучается. Тяжко мальчику, в страхе и растерянности его душа...

Но дело было не в муках дорожных и не в отце даже. Файзулла оказался словно в безвоздушной пустоте, где нечем дышать и оттого нет сил ни жить, ни двигаться, хотя и сам ты, и руки-ноги твои свободны...

Как требовал обычай, прежде всего он поспешил к отцу. Убайдулла-ходжа был, слава богу, один. Он полулежал в своей комнате, погрузившись в ватные одеяла, сунув ноги под полосатый халат, весь желтый, изможденный болезнью. Увидев сына, он тотчас отложил в сторону лунный календарь, который просматривал, поздоровался, спросил, как Файзулла себя чувствует. Но в голосе его не было прежней требовательной уверенности непререкаемых властных ног; он едва спросил о делах в Карши. И никаких назиданий Файзулла не услышал. В отце чувствовалась некая отрешенность от земных дел, словно он приготовился к лучшему миру. Только под конец в его голосе снова прозвучала озабоченность.

— Теперь опять готовьтесь в дорогу, сын мой... — сказал он и откинул голову назад, как будто совсем обессилев. Потом добавил после паузы, не глядя: — Отправитесь со мной...

Файзулле стало жутко. Куда? Куда вместе с ним?.. Файзулла едва не поперхнулся этим вопросом, от которого удержал себя в последнее мгновение. Он не посмел спрашивать об этом даже на женской половине у матери, только приник к ней, как маленький, и прошептал тихонько:

— Айджан, айджан... что-то со мной будет?..

Слова отца о предстоящей новой поездке прояснились лишь на следующий день: Убайдулла-ходжа решил отправиться в хадж — совершить паломничество в Мекку. В первый раз услышав об этом, Файзулла решил было, что это бред или каприз больного, но, когда на завтра начали собираться один за другим — не то для обсуждения маршрута, не то для прощания — Шораджаб-муфтий, Захреддин-махзум, Мирза Мухиддин, аглям Шоахсий и другие отцовские друзья и знакомые, сын понял, что отец задумал все это всерьез.

Шораджаб всегда казался ему самым разумным и спокойным человеком в этом кругу; Файзулла дождался его в крытом проходе у средней гостиной. Шораджаб был сегодня особенно наряден: поверх модного у стариков камзола со стоячим воротником он надел еще черный ластиковый чапан.

— Таксыр, — сказал Файзулла после приветствий, — почему вы не отговариваете отца от его решения? Он ведь так болен, а вы знаете, как это сложно, трудно...

Шораджаб с задумчивым и ласковым видом похлопал его по плечу.

— Сын мой, душа ваша растревожена, я вижу... И дорога эта трудна. Но отговаривать человека от священного, богоугодного дела — великий грех!

— Да ведь он не выдержит!..

— А это воля аллаха. Пусть и не доедет — хадж зачтется!..

— Отец настаивает, чтобы и я ехал.

— И не отказывайтесь, сын мой. Воля бога — долг, отцовская воля — приказ. Подумайте, вдруг это последнее его желание?..— Файзулла вздрогнул, и Шораджаб, заметив это, погладил его по голове.— Не отказывайтесь, чтоб не терзаться потом совестью... Коли потянуло в Мекку, значит, чует душа что-то. И раз хватило воли на такое решение, хвала ему!.. Все в руках всевышнего, сын мой...

После этого краткого разговора Файзулла впервые за последние дни заставил себя собраться с мыслями. Разговор как-то успокоил его, точно на чашу весов легла наконец-то осязаемая гирька. Вдобавок стало известно, что отец выбрал себе в спутники из числа близких людей того же Шораджаба; тот и появлялся теперь чаще прочих, и Файзулла беседовал с ним наедине еще несколько раз, все более открыто высказывая сокровенное и стараясь облегчить душу. Муфтий говорил с ним как с равным, без лишних назиданий и пустых разглагольствований. Однажды они засиделись в так называемой диванхоне — комнате, где отец прежде вместе с приказчиками вел все хозяйственные расчеты.

— Снова вы печальны, молодой мой мулла. Напрасно вас так тревожит предстоящее паломничество!.. Надо приободриться душой!

— Ох, таксыр, легко сказать — приободриться душой! С чего бы?.. Вот мы всегда говорим о душе как о чем-то отвлеченно высоком...

— Отчего же, бывают и низкие души!..

— Вот именно, таксыр!.. Это я и хотел сказать. Только «бывают» — это мягко сказано. Мне кажется, их большинство!

— Юности свойственны крайние мнения! Не надо так мрачно смотреть на жизнь...

— У меня есть уже свой опыт, таксыр.

— Вы наблюдаете природу человеческую, а душу познать труднее...

— Разве это не одно и то же?

— Природа человека — это его тело, потребности тела, иногда весьма низменные...

— Низменные потребности! Ну, а жажда золота — это потребность тела?.. Или способность предать других ради наживы?..

— Конечно нет, сын мой...

— Но ведь все это в человеческой природе: алчность, предательство, ложь!.. И ведь это и есть то, что делает душу низкой... Где же тогда граница между душой человека и его природой?

— Может быть, в чем-то вы правы, молодой мой мулла. Но вы еще знаете не до конца, что движет людьми. Иной раз они делают вовсе не то, что хотят, а то, что заставляет делать жизнь.

— Меня никто и ничто не заставит лгать и предавать! И уж тем более ради денег...

— Слава аллаху, они у вас есть.

— Не потому!

— Я знаю, знаю, сын мой... Я вижу, что в вашей душе пробудилось стремление к высокой и чистой цели, а это главное. В конце концов, это и есть путь к умиротворению и покою.

— В конце концов!.. Но до конца мне, может быть, еще далеко!.. А пути-то как раз я и не вижу, таксыр! Стремление к светлой цели... Значит, надо довольствоваться своим стремлением и закрывать глаза на все остальное... на других людей... на весь мир?..

— Прежде всего надо быть чистым самому.

— Но этого недостаточно, таксыр!..

— Никто не может побороть все зло мира.

— О таксыр, кто говорит обо всем! Но то, что рядом... то, что у тебя на глазах...— И вдруг Файзулла словно прорвало, он стал рассказывать о своей поездке к Антоновскому, обо всем, что там видел и переувствовал.— Ну, скажите, таксыр,— заключил он,— чему могу я теперь верить? И кому? Существуют ли в мире обличья не обманные?..

Шораджаб смотрел на него с жалостью и сочувствием.

— Увы, сын мой, природа раба божьего действительно склонна к пороку. Русский ли он, или мусульманин... Вот вы говорите мне об этом князе, а я вспоминаю наших единоверцев, одержимых столь же бесстыдной и безоглядной жадной наживы, хотя маски их лиц

благочестивы и благообразны. Но вы спрашиваете, можно ли верить?.. Можно, сын мой!.. Только не в отдельных людей. Соедините вашу личную чистоту с чистотой ислама, и она обретет силу. Поверьте, это не пустые слова. Истинная вера — броня для души, преграда против всеобщего растрения. Пусть для иных она только маска, это не меняет дела. Если вы чисты и веруете, вы принадлежите к великому братству верующих и чистых...

Файзулла потом много думал об этом разговоре. В самом деле, не погряз ли он в мелочах? Не упускает ли главного? Кто-то мелочен, кто-то лжив, кто-то подл... Нет, надо смотреть в корень, уловить суть. А в чем корень, где суть? В душе человеческой... Значит, если она исправится, то все, как в сказке, образуется само собой?.. Нет, что-то тут не так...

Он не выходил из дома, все думал, думал. Домашние же были заняты безмолвными и нервными приготовлениями. Теперь отца снова посещало множество людей, с каждым днем все больше. Валом валили старики — богатые и бедные, они приносили, кто сколько мог, свой «хаджи-бадал» — деньги для пожертвований в Мекке: их передают с паломником те, кто сам не может туда отправиться.

— Наблюдайте за ними, вникайте, молодой мой мулла, — говорил ему Шораджаб, — это весьма поучительное зрелище...

Файзулла наблюдал. В самом деле, прежде всего в отце своем он видел удивительную перемену. Убайдулла-ходжа вовсе отстранился от хозяйственных и торговых дел, словно забыл о том, что настала пора, важнейшая для его торговли — время окота овец. Так же забыл он и о конкурентах, словно их не существовало больше, утратил чувство своей обычной настроженности по отношению к людям, был прост и кроток со всеми, кого прежде недолюбливал или с кем враждовал. И, хотя люди шли и шли, в доме было почти тихо, и трудно было уже вообразить себе былые пышные торжества, шумные споры и сборища, на которых замысливались и разрабатывались грандиозные финансовые операции.

Когда начался новый месяц, поток пожертвований еще более вырос. Участвовать в таких церемониях самому Убайдулле-ходже было не под силу, и он доверил это Шоахсию-агяму. Это устраивало всех, потому что

Шоахсий был теперь занят и не вертелся больше под ногами, не мучил никого своим пустым многословием. Пошел, однако, слух, что Шоахсий уговорил хозяина дома не нанимать специального руководителя паломничества — он-де будет сопровождать его сам; и якобы уже побывал у шорников и заказал для Убайдуллы-ходжи один большой бурдюк из белой кожи для хранения питьевой воды и другой, поменьше, для святой воды из Мекки. Не обошлось без Шоахсия и при наеме дастарбанда, то есть того, кто всю дорогу должен был возиться с чалмой и бельем знатного паломника; взяли молоденького красильщика из мастерской уста Исахола, и за этим выбором скрывалась якобы какая-то тайна... Шораджаб говорил о том с немалым беспокойством, и видно было: все, предпринимаемое без его ведома, вызывает в нем крайнее раздражение.

Вдобавок допустили промах и при обряде «одевания кабо» — длинного, до пят, бархатного халата, который почтенный паломник не должен был теперь снимать до самого возвращения из Мекки. Это был важный обряд, и от того, как он совершен, как и от неизменного ношения самого халата, всецело зависел успех паломничества!.. Ведь при этом оно засчитывалось аллахом, даже если паломник в сем халате преставится, не успев добраться до Мекки!.. День обряда был большим праздником, угощали пловом всех проходящих. Во главе с высшим духовенством, конечно. И тут же объявлялся день отправления. И вот в этом обряде допустили промах!.. Правда, трудно было выяснить, причастен ли к этому Шоахсий, но, как полагал муфтий, если он взялся изображать руководителя, ответственность на нем и лежала...

Обряд же был испорчен тем, что на нем появился неряшливо одетый ишан-судур и уселся, привлекая общее насмешливое внимание! Ишан-судур — это был официальный религиозный чин при дворе; носитель его находился на полном содержании казны и не имел ничего собственно ему принадлежащего, кроме савана на случай кончины. Ишан-судур привел с собою из какого-то медресе еще и приятеля — суфи, выкликателя на молитву, невзрачного любителя дармовой еды, облаченного в столь же неряшливое одеяние, как и он сам. Когда тот, положив на дастархан «Колумулло» (сокращенный текст Корана), опустился на колени для молитвы, все глядели и тихонько хихикали: «Смотрите,



смотрите, у него даже закладка в книге и та казенная...» Словом, благочестивый дух обряда был нарушен!

Но в конце концов оказалось: ишан-судур пришел передать благословение самого августейшего!.. И еще другую приятную новость: в пятницу в мечети Болохауз имя Убайдуллы-ходжи будет провозглашено в проповеди имама!.. Это было высочайшее поощрение, и Убайдулла-ходжа после благодарственной молитвы даже прослезился. Тут же объявил в ответ на такую милость, что в следующую пятницу созывает на жертвенный плов всех, кто захочет прийти, из близких и дальних махалля! И велел разгласить об этом в городе.

Даже у расстроившегося было муфтия Шораджаба теперь лицо посветлело.

И Файзулла, хоть и казалось ему, что глядит на все это со стороны, из некоего отдаления, поневоле умилился. Все эти дни он всматривался в лица бесчисленных посетителей отца; на них большей частью читалось трепетное смирение.

С Файзуллой, словно это он был теперь хозяином дома, обращались особенно церемонно и уважительно. Нынешние заботы знатного дома — в их ореоле святости и даже таинственности — незаметно затягивали его. Он пытался представить себе, как выглядит со стороны, в глазах окружающих. Нет, это был уже не мальчик, растерявшийся от неожиданных разочарований. Это был просто малоразговорчивый серьезный джигит в длинном чапане, вежливый, церемонно здоровающийся, но, в общем-то, неприступный; он задумчиво бродил по апартаментам отца, по всему дому, а что там у него на уме, ведомо ему одному...

В пятницу он спозаранок вышел из дому — побродить по махалле.

В Газияне жили главным образом родственники Убайдуллы-ходжи, близкие и дальние. Это был один из восемнадцати кварталов в этой части города — Турки Джанди. И во всех них, от ворот Шейх Джалал до Ходжи Булгара, было сегодня многолюдно, как в праздник. Казалось, на улицы высыпало полгорода. На каждой площади и перекрестке, на базарах и во дворах медресе, не говоря уж о самих мясных рядах, висели на крючьях и разделявались бараньи туши, стояли наготове котлы для плова, рассчитанные каждый на два пуда риса...

В этой, южной части Бухары было много мест, осе-  
ненных кущами деревьев, но теперь сквозь частое кру-  
жево голых веток смотрело холодное небо, а покрытая  
инеем земля выглядела так, словно вот-вот задрожит  
в ознобе. Праздничное многолюдье, однако, скрашива-  
ло холод, а сразу после пятничной молитвы в мечети  
Намазгах уже начали разносить плов — ученики ме-  
дресе Газиян-калян, слуги торговца шелком Уста Насы-  
ра, люди из домов Туракула и Зикрии — важных при-  
дворных эмира. Убайдулла-ходжа тоже вышел из дому  
с несколькими приближенными, но добрался только-  
только до мавзолея Имама Гази; дальше он идти был  
не в силах — помолился там и вернулся. Впрочем, имам  
Гази считался одним из первейших сорока четырех  
святых после самого пророка, так что это было вполне  
достойное место для молитвы, к тому же верховный  
улем со свитой тоже прибыл сюда и дал Убайдулле-  
ходже свое благословение.

Пройдя свою махаллю, Файзулла обошел еще квар-  
талы Гарибия, Касагарон, Ходжа Аманбай, потом за-  
шел в медресе Мулла Мухаммадшариф и поел там пло-  
ва вместе с преподавателями. Многие из них спешили  
поцеловать край чапана Файзуллы в надежде, что по  
возвращении из Мекки он позволит им хоть увлажнить  
губы святой водой райского источника Замзама или  
угостит хоть половинкой финика, возвращенного на земле  
Каабы.

Это медресе, по преданию, было построено на деньги  
щедрого Мухаммадшарифа, который нашел однажды  
кувшин золота. Двор был чистый, благоустроенный,  
и собирался тут обычно люд ученый и состоятельный.  
Но, возвращаясь домой мимо маленького деревянного  
медресе Гарибони-чок, Файзулла увидел другую карти-  
ну. Медресе бедное, ни супы, ни циновок, и собирало  
оно бедных людей: водоносы, ремесленники, подме-  
тальщики, истопники привели с собою своих босых де-  
тишек, каждый держал в посиневшей от холода руке  
щербатую глиняную миску и ждал своей доли пожерт-  
вования. Те, что уже ее получили, с жадностью поедали  
плов, сидя прямо на земле. Приходящие ждали своей  
очереди терпеливо, не кричали, не лезли беспорядочно;  
но в противоположность муллам из Мухаммадшарифа  
в них не чувствовалось никакого внимания к нему,  
Файзулле, даже желания поздороваться. Они не дума-  
ли ни о святых местах, ни о райском благе: жертвенный

плов был для них просто едой — дармовой едой, какая достается нечасто.

На душе у Файзуллы снова стало тоскливо и смутно. Нет, конечно, он вышел на улицу вовсе не для того, чтобы привлекать внимание или собирать дань благодарности. Отчего же вновь нарушилось в нем равновесие успокоения — не мог же он обидеться на этих оборванных бедняг! Нет, скорее е м у послужил укором их безотрадный вид; а его настроения чувствительны, как весы ювелира... Но неужто отношения людей определяются только миской плова? Нет, сказал он себе, не только: для одних — миской плова, для других — кошельками с золотом, для третьих — приносящей доход должностью... везде свой интерес, корысть, чистоган! Где же тогда место пресловутому добру, чистоте, вере? Или в э т о м мире им действительно нету места?..

В городе многопудовые казаны убрали лишь после полуночи; в их махалле празднество длилось куда позже. Под утро чуть потеплело, повалил снег; улицы, площади, дворы, крыши, купола словно переоделись в белое, чистое; и старики, что стояли на перекрестках, опираясь на посохи, говорили друг другу: это доброе предзнаменование, знак надежды тому, кто отправляется в дальнюю дорогу, к священной цели...

И вскоре шесть пароконных фаэтонов и две арбы, накрытые плетеными шатрами, выехали из махалли Газиян и отправились к воротам Кавала. По дороге их встречала детвора, облепившая белые крыши; женщины мельком выглядывали из-за заборов. В первом фаэтоне расположились руководитель паломничества — это действительно был Шоахсий-аглям — и молодой дастарбанд; в следующем, под навесом с золотой бахромой, ехали сам Убайдулла-ходжа, укутанный в меховые шубы, муфтий Шораджаб, рядом с больным выглядевший особенно свежо и бодро, и Файзулла, намотавший на голову миниатюрную серебристую чалму. В остальных четырех расположились провожающие из числа ближайшей родни — мужчины и женщины. В крытых арбах разместилась поклажа. Едва кортеж проехал, за ним валом повалил народ. Пока доехали до ворот Кавала, белые улицы превратились в черное месиво, столько людей торопилось следом, чтобы увидеть торжественный выезд из города. Понемногу отставали дети, подростки, всяческий бедный босой люд. До вокзала добрались лишь несколько сот старцев; они, ути-

рая слезы, молились, низко кланялись, возглашали пожелания счастливого пути священному каравану. Наконец провожающим роздали золотые монеты, прозвучала прощальная молитва; и тут откуда-то из-за фэтона послышалось рыдание. Плакала Райхон-биби.

Пока грузили в вагон поклажу, Файзулла находился рядом с матерью. И такая горькая тоска его обуяла, какой он не испытал даже в первый год пребывания в Москве. Мать обняла его обеими руками, и он снова, как дома, прижался к ней, забывая о гордости взрослого джигита.

— Мой единственный... амулет мой драгоценный... спасение мое, радость моя... — шептала, плача, Райхон-биби, и ему казалось, невозможно оторваться от нее, уйти от великой ласки этих рук.

— Мамочка... за отца молитесь... — говорил он, а она, словно не слышала, все причитала:

— Когда-то я нагляжусь на тебя... как ты быстро вырос... увижу ли тебя...

— Если богу будет угодно, мы вернемся... мамочка...

И Файзулле казалось: он видит сквозь сетку чачвана<sup>1</sup> покрасневшие от слез материнские глаза, и все это пророчит неотвратимую какую-то беду. А ведь многие другие матери, глядя на это со стороны, думают сейчас: ее слезы — слезы счастья!..

Весь первый день дороги, глядя в окно вагона, он видел в стекле мать: то еще молодую, красивую, без единой морщинки на лице; то тоскующую, пожелтевшую ликом от вечных расставаний и разлук; то теперешнюю, с заплаканными глазами и прядями седых волос...

Их вагон специального назначения был просторный, даже в отделении для груза оставался широкий коридор. В глубине вагона разместились муфтий, аглям и длинноногий дастарбанд с женоподобными манерами. Они отсыпались после бессонной ночи в Бухаре. Купе отца было в центре. Спал он или просто лежал молча, Файзулла не знал, а войти не решался: мог разбудить. В конце концов монотонный стук колес нагнал сон и на Файзуллу. Так он и заснул, сидя, привалясь к стене. Проснулся утром; спину ломило; но в железной печке, потрескивая, горел саксаул, а за окном проносились

---

<sup>1</sup> Ч а ч в а н — часть паранджи.

белые пространства, и Файзулла ощутил какую-то особую радость оттого, что сидит в тепле, а за окном покорно несутся навстречу ему бесконечные снежные просторы, точно стелются под ноги. Какой белый, чистый, нескончаемый мир, и сколько в нем еще может быть всего!

Спутники проснулись, помолились, позавтракали, снова задремали. Вагон покачивался, как колыбель. За окном среди белого безмолвия опять померещилась ему далекая фигурка матери в голубой парандже. Слезинка, скатившаяся со щеки ему на руку и просвеченная утренним солнцем, тоже была голубая. Потом и пронесившиеся снега заголубели. Файзулла вынул из тисненой кожаной папки лист бумаги и приготовился писать. Письмо матери, единственной в мире. С чего начать?.. «Анаджан»? «Моя бесценная»? Слова были тысячи раз повторенные и какие-то маленькие, съезжившиеся от повторения, а ему хотелось выразить огромное, безграничное чувство. Оно не вмещалось в слова...

И в Самарканде, и в Ташкенте, когда надо было прицепить вагон к новому составу или вести переговоры с таможенниками, всем этим занимался Шоахсий. В Ташкенте он по поручению Убайдуллы-ходжи отнес кому-то тюк драгоценной каракульчи. Поезд тут долго, медленно маневрировал, после чего тронулся в путь так внезапно, что кумган, стоявший у порога, опрокинулся. Вода потекла под циновку, и долговязый дастарбанд нехотя, потягиваясь, поднялся, чтобы вытереть образовавшуюся лужу. Он был явно ленив; любил же сугубо женские занятия — строчить, вышивать, уютжить... Пока он приводил пол в порядок, умывался, заваривал чай, подъехали к какой-то станции. Казий<sup>1</sup> здешнего городка преподнес высокородному гостю и его свите плов в завернутой чаше, попросив прочесть за него надлежащую молитву, потом вручил свое пожертвование для Мекки и удалился. Когда раскрыли дастархан, из чаши повалил ароматный пар. Все приободрились, потянулись к плову глазами и руками, только Убайдулла-ходжа не поднялся к трапезе. Он вообще теперь вставал только для омовения и намаза. У ног его большей частью сидел Шоахсий, который печально, в полудреме нашептывал какие-то молитвы. Вот и сейчас, с аппетитом поев плов, аглям отер замасленные руки об

---

<sup>1</sup> К а з и й — судья, придерживающийся законов шарната.

ничиги и уселся на своем посту, подоткнув со всех сторон одеяло больного.

— Ну, таксыр... — слабым скорбным голосом начал Убайдулла-ходжа. Ему явно нравилось беседовать с Шоахсием. Когда подсаживались Файзулла и Шораджаб, он умолкал: должно быть, не было сил поддерживать сколько-нибудь серьезный разговор. Беседы же с недалеким аглямом не требовали никакого напряжения мысли. Но Файзулле и другое приходило в голову: не поступает ли отец так намеренно, чтобы он, Файзулла, побольше находился вместе с Шораджабом, а не с Шоахсием? Не случайно же он уловил как-то одобрительный отцовский взгляд, когда толковал о чем-то с муфтием!.. Может, и так. Но теперь, когда для общения с Шораджабом были неограниченные возможности, Файзулла почему-то чувствовал себя особенно одиноким. Одиноким и бесполезным. То, что позади, уже недостижимо; а впереди — что впереди?.. Он всегда хотел чувствовать себя взрослым, самостоятельным. Неужели теперь в нем возникла тоска по убегающему назад детству? И что там было, в этом детстве?.. Он вдруг вспомнил мальчика-горца на перевале... Как его звали-то? Эргаш, кажется: жилистый, проворный; нарубил себе сучьев тала, увязал в охапку, выполнил свои обязанности — и свободен... Эх, было бы и у него, Файзуллы, свое маленькое простое дело...

Подошел муфтий, молча встал с ним рядом, глядя в то же окно. Просто встал, и всё, а мысли Файзуллы заметались, замутились. Странное дело! Ведь поначалу все, что говорил Шораджаб, успокаивало, просветляло. А теперь, стоит ему оказаться рядом, на душе становится еще беспокойней. Тянет спорить с ним. А слова, что вырываются на волю, собеседнику кажутся небось неожиданными.

— Скажите-ка, Zufунун, зачем люди едут в Мекку?

За окном в голой пустыне, на облизанных ледяными ветрами, отливающих мраморным блеском взгорках дрожали нагие, как клинки, стебли прошлогодней полыни. Уже два дня ни огонька, ни души!

— Если человек думает об ином мире, это признак его духовной зрелости, молодой мулла!

Вдали кружила темная точка. Ястреб! За сусликами охотится! Кружит, высматривает, потом, нацелясь, спланирует с подветренной стороны и — камнем вниз! Вцепится в живое тело... Файзулла не раз это наблю-

дал. «А если это общий закон всякой живой жизни?— думал он.— Духовное совершенство... Дух — это же не бурдюк для святой воды: напоил — и все!»

— Ну, в одном, двух проснется совесть. Но людей-то много, Zufunun! Тьма!..

— В том-то и дело, молодой мулла! Мы ведь с вами не просто суеверные существа, что боятся молнии или плохих примет. С нами вера, исламская вера. Это могучее средство, и оно-то объединяет тьмы человеческие.

— Снова средство! Ну, а цель? Бог?..

Муфтий, положив руку ему на плечо, помедлил, подумал.

— Нет,— сказал он наконец.— Цель все та же — человек, его дух. Человек таков, что от одних назиданий хорошим не станет. Еще что-то нужно.

— И что же?

— Страх божий!.. Один умный кяфир сказал: «Не будь бога, его надо было бы выдумать». Да простит мне аллах, что я повторяю столь дерзкие слова, но ведь они дерзки лишь на первый взгляд, а по сути благочестивы!.. Вера — узда для человека; узда и утешение! Ад страшит, рай обещает... Видите, сын мой, я говорю что думаю!

— Значит, сами вы не верите во все это?!

— О нет, тут вы ошибаетесь!.. Я-то как раз верю. Но я этому посвятил всю жизнь, а сколь многие погрязли в трудностях и суете, они вспоминают аллаха лишь в минуты намаза, и, не будь этих минут... этого страха и надежды... что бы их сдерживало или поддерживало?

— Все равно, таксыр. Выходит, человеку нужны лишь таинственные сказки!.. И раз так, чем вера отличается от суеверия?

— Я уже однажды говорил вам это, сын мой, вы забыли... Суеверный думает лишь о своем настоящем миге, о благе или зле сиюминутном. Вера — это причастность к благу общему и потому вечному!.. Глубина веры может быть разной, но значение ее для всех одно. Помните ли вы эту суру?..— И он начал по-арабски:— «Ва лакад зайяннас самоад дуне...»

Файзулла подхватил и досказал суру до конца.

— У вас прекрасное произношение!— сказал муфтий, дослушав с удовлетворением.— И вы знаете, конечно, как толкуются эти стихи Корана: «Мы наполнили небеса ангелами, дабы вынудить шайтанов к от-

ступлению!» А что это значит для нас? «Мы наполнили небо огнем звезд, чтобы он поражал темноту и невежество!»

Файзулле трудно было спорить — муфтий, естественно, был куда искушенней в дискуссиях, и убедительности ему хватало. Но если прежде слова его казались Файзулле и впрямь полными внутренней силы, то нынче за ними чудилась лишь пустая логика. Он все-таки сказал:

— Пусть вы и правы, таксыр. Но объясните тогда, как же сами служители божьи, для которых вера — главное дело жизни, как же они... — Он прервал себя. — Помните, я рассказывал вам о несчастном Зайниддине и об ишане, который его лечил плеткой?.. Единственно чтоб прославиться!

Муфтий нахмурился.

— Что тут объяснять, сын мой!.. Тот ишан просто не подлинный служитель божий. И вера его мелка, как осенняя лужа. Есть буквоеды шариата, которым до человека и дела нет... — И он покосился в сторону агляма, сидевшего у ног Убайдуллы-ходжи. Решительно, Шоахсий не давал ему покоя, и Файзулла вдруг подумал, что аглям раздражает Шораджаба не только своей глупостью, пустословием, нечистоплотной репутацией; муфтий еще и ревнует к нему отца!.. Смешно...

Как раз в этот момент отец застонал как-то неприлично, глухим, чужим голосом, и все кинулись к нему. Аглям вскочил в растерянности, дастарбанд, побледнев, шептал молитву, а муфтий вытер больному лоб, проверил пульс, приподнял ему голову, поправив подушку, дал глотнуть крепкого чаю. Скоро отцу полегчало.

— Видите, молодой мулла, — сказал Шораджаб, снова отойдя с Файзуллой к окну, — как зыбка участь раба божьего? Что все бранные заботы и суета этого мира...

— Ему очень плохо, таксыр!..

Зуфунун молча уставился в окно. Ветер гнал поземку, похолодало и в вагоне, зимний день, коротенький, как пучок раннего лука, кончился, подступила темнота. Керосиновый фонарь на эту ночь тушить не стали, только подкрутили фитиль, и все остались бодрствовать. Да Файзулла и не заснул бы: ему было страшно. Тьма неслась за окнами, словно обрета плоть: стужа свистела в щелях досок и выуживала, казалось, не только тепло, но и остатки жизни. Больной порою бес-



покойно ворочался, стонал, и голос Шоахсия тотчас отзывался:

— Повторяйте имя всевышнего — вы, слава аллаху, на пути к священной Мекке...

И Файзулла понимал, что значат эти слова: «Если сейчас вас настигнет смерть, похороним вас как свершившего паломничество...» — и они всякий раз наполняли его отвращением к аглям.

Назавтра, однако, Убайдулла-ходжа почувствовал себя бодрее; хотя мороз изукрасил окна и в салоне было холодно, он тщательно свершил омовение, попросил дастарбанд сменить белье, прочел молитву и лег. Шоахсий между тем проявлял крайнее рвение: на стоянках выходил и возвращался с редкостными кушаньями, с купленной у казахов гармалой и другими лечебными травами, командовал неуклюжим дастарбандом, возился сам, вился вокруг больного. Шораджаб, напротив, был, как всегда, сдержан, степенен, держался прямо, немногословно. Он наклонился над больным.

— Если хочется, пейте чай горяченьким, таксыр. И пусть дастарбанд помассирует вам голову, легче станет. Не переживайте, если пропустите намаз, больному не обязательно молиться все пять раз...

Муфтий, аглям и Убайдулла-ходжа были почти ровесники, но отец выглядел лет на пятнадцать — двадцать старше. Его реденькая бородка была серой от седины, тусклые глаза глубоко запали... Чему отдал он свою жизнь? Богач, а мотался по степным аулам, по пустыне, ночевал где попало; не отдыхая, плел паутину своих финансовых операций, а козни и вражда конкурентов держали его в вечном напряжении... И не видел ни красоты мира, ни простой человеческой радости — спешил мимо в погоне за новым и новым золотом и вот сгорел, не успев остановиться в раздумье, пока еще глядели глаза и текла по жилам здоровая кровь. Теперь-то его пожелтевшие веки были закрыты; растяпа дастарбанд равнодушно массировал длинными пальцами его посиневшие виски, и отец принимал это так же равнодушно...

На седьмой день путешествия он вдруг призвал к себе Файзуллу и муфтия. Закатные лучи слабо пробивались сквозь заледеневшие стекла, и в этом свете желтое лицо отца выглядело еще безжизненней, чем обычно. Худыми пальцами, ногти которых начали уже синеть, он взял руку Файзуллы и стал гладить. Файзул-

ла никогда прежде не смел подавать отцу руки, только кланялся, и теперь едва не вздрогнул от мертвенной ласки ледяных пальцев.

— Сын мой...— тихо, через силу сказал Убайдулла-ходжа; глаза его, глядевшие неизвестно куда, казались пустыми.— Я завещал свои богатства вам... Нотариусы вручат завещание вашей матери... Но помните...— Тут он наконец остановил взгляд на сыне, и Файзулла увидел в его глазах жгучее, горестное сожаление. О чем? Об ушедшей жизни? Об упущенных радостях? Или о нем, Файзулле?..— Помните,— повторил больной,— дяди ваши жадны... алчны без меры... врагов у вас будет... множество... Будьте настороже... всегда... Ума вам хватит... только собраться... собраться надо... да... и тогда достояние ваше умножится... А я... я буду лежать спокойно... в могиле...

Мгновение все молчали, потом раздался по-женски визгливый плач дастарбанда, а Шоахсий засуетился, замахал руками:

— Таксыр, таксыр, к чему такие мысли!— И поднес зажженную спичку к охалке гармалы на блюде, которая тотчас затлела, испуская душистый дымок.

Файзулла понимал умом, что эти слова отца, может быть, последние и должны вызвать горестный отклик, всплеск чувств; он искал это в себе, но обнаружил только смутную обиду и понял, что обида — за мать, которую Убайдулла-ходжа лишь помянул мимоходом; даже в такой миг не вспомнил о ней самой, не нашел для нее словечка!.. Файзулла молча стоял перед больным. Шораджаб выручил.

— Поменьше утруждайте себя, таксыр,— сказал он мягко,— сил у вас мало, а мы и так выполним все, чего желает душа ваша.— Он выдержал паузу.— Может быть, хотите вернуться назад? Скажите без церемоний...

Шоахсий даже вздрогнул, услышав такое.

— Нет,— сказал больной так же через силу,— но когда бы... когда бы ни наступила кончина... вынесите тело мое на рассвете... Скажите людям... я доволен был жизнью... и миром... и сына оставил... Опекайте Файзулла, таксыр...

И этой ночью тоже не гасили света. Файзулла сидел у ног отца, прислушиваясь к стуку колес и свисту ветра за окнами. Он хотел размышлять об отце, но сон его

клонил, и поневоле думалось, что бдение бессмысленно, бесполезно... В полночь тихо подошел Шоахсий.

— Молодой ходжа, отдохните немного, я посижу...

Файзулла пошел на свое место, лег, и сон будто отступил. Но скоро Файзулла сморило. Проснулся он от отцовского вскрика:

— Моя Кааба — в моем доме! Бухара — моя Кааба!..

Файзулла вскочил, но умирающий забормотал дальше что-то неразборчиво-жалобное, потом и вовсе затих, и Шоахсий успокоительно махнул рукой. Файзулла лег снова. Проснулся он оттого, что его обдало холодом. Кто-то открыл дверь вагона. Поезд стоял, был рассвет, слышался чей-то плач.

Убайдулла-ходжа скончался.

Как выяснилось, первым опомнился Шоахсий. На ближайшей маленькой станции добился, чтобы вагон отцепили, привел людей, которые долго читали подходящие молитвы. Разыскал почтительное начальство городка, знавшее покойного миллионера, было отдано распоряжение прицепить вагон к ближайшему ташкентскому составу... Казалось, Шоахсий только и ждал этого печального события, чтобы развернуться вовсю и продемонстрировать свои организаторские способности. Зато Файзулла словно окаменел. Ему полагалось, наверное, рыдать у трупа, а он не мог выдавить и слезинки. Когда дастарбанд надел на него новый чапан, опоясал новым платком, Файзулла подошел было к покойнику, но взглянуть в лицо ему не решился. Он был не в силах говорить, кланяться, принимать соболезнования, распорядиться... Бурная деятельность Шоахсия была весьма кстати.

К полночи двинулись в обратный путь. Снова стучали колеса, горел фонарь, ветер выл за окнами, тьма неслась; дастарбанд, стоя в углу на коленях, жевал что-то. Словно ничего не произошло! Только на месте отца лежал теперь холодный покойник с лицом, прикрытым кисейей...

Файзулла сидел на своей койке, раскачиваясь вместе с вагоном. Подбежал Шоахсий, уговорил лечь: а то свалитесь совсем!.. Потом подошел муфтий, поглядел ему в глаза, сказал что-то степенное, разумное, утешительное.

— Завещание вашего отца долгом жизни почту, сын мой, не дам почувствовать сиротство... — Файзулла

слушал и не слышал. Лишь последние слова Зуфунуна вдруг дошли до его сознания:— Побудьте мысленно с отцом вашим, вспомните его, пока душа блуждает близ тела...

И тут — словно заслонку открыли у него внутри — Файзулла заплакал, заплакал горько, взхлеб, и понял впервые, что остался без отца, без великого прикрывтия, один на один со всем миром забот, проблем, обязанностей; сколько же держал на плечах тот, что лежит теперь за тонкой перегородкой — недвижимый, холодный, чужой...

Но этот чужой — его отец! Который любил его, видел в нем свою надежду... Файзулла почему-то вдруг вспомнил, как однажды приехал с отцом на козлодранье то ли в Балджуван, то ли в Каратегин. Было ему лет одиннадцать. Стояла середина апреля, расцвела польнь, лебеда. После улака они отправились к кому-то из перекупщиков в гости. Ели нескончаемый кебаб из ягнятины. Потом отец разрешил Файзулле погулять. Вокруг аула теснились каракульские отары, разбиты были палатки, на вырытых в земле очагах кипели огромные казаны с горохом и фасолью, женщины доили овец. В воздухе стоял густой запах обрабатываемых шкур — неподалеку, среди песчаных холмов, чабаны и подпаски квасили их; Файзулла уловил и знакомые запахи «нилоби» и «зайтуни» — индиго и оливковой краски. Он пошел к отаре: несколько овец мучительно котились, катаясь на песке, и обросшие бородами черные мужчины, засучив рукава, помогали им, отделяли скользких ягнят от последа. На глазах у Файзуллы перерезали горло овце, которая никак, видно, не могла разродиться; потом ей вспороли живот и вынули ягненка. Файзулла отвернулся — его тошнило. Он заметил мальчика-подпаска, тот взял в руки только что родившегося черного малыша и швырнул в горячий песок.

— Катайся,— приговаривал он ласково,— катайся, красавчик! Завитки твои — ух, как цветочки распустятся! — Потом взял ягненка, понес к матери, так же ласково, терпеливо помог ему нащупать сосок. Но, едва тот потянул молоко, мальчик сказал вдруг: «Хватит!», поднял ягненка — и перерезал ему горло!..

Файзулла бросился прочь. По дороге он споткнулся и едва не упал на какую-то скользкую горку, это оказались сваленные в кучу тушки ободранных ягнят. Он нашел юрту, где пировали отец и его сотрапезники; когда

вбежал, позеленевший от тошноты, все стали хохотать; он выскочил обратно — его начало рвать...

Не тогда ли раз и навсегда отворотился он душой от отцовского дела?.. Не тогда ли заледенело, зачерствело его мальчишеское чувство, его прежняя тяга к отцу? Он больше уж никогда не мог к нему приласкаться, как бывало иногда раньше, и отец это чувствовал...

Наверное, он был не прав. Не отец же придумал этот варварский промысел, хоть и обогащался на нем неслыханно. А его, Файзуллу, отец любил... любил, может быть, больше всего на свете. После денег, конечно...

Слезы у Файзуллы иссякли, в груди опустело, его стало трясти от холода. Должно быть, простудился. Дверь вагона весь день то и дело распахивалась, впуская людей и морозный воздух; пронзительные сквозняки гуляли по салону, и тепло печки, хоть дастарбанд ее и топил, улетучивалось мгновенно.

Холод, холод был вокруг, неодолимый, всесветный...

Зимние холода воцарились и в Бухаре. Когда вагон специального назначения, в котором лежали отец и сын — один мертвый, другой полуживой, — прибыл в Каган, там буйствовала метель. Первое, что Файзулла увидел, когда его вынесли из вагона, были крутящиеся снежные вихри, раскачивающиеся ветки тополя. Вокруг стоял приглушенный гул толпы. Файзуллу укутали в тулуп, уложили в сани. Пока ехали, он то погружался в темную пустоту, то снова выплывал навстречу заиндевевшим бородам и посиневшим от холода лицам. Жар его одолел, и в жару он вспоминал иногда: а что отец? Есть ли около него кто-нибудь? Или все собрались теперь здесь, около Файзуллы?.. Где-то на полдороге от станции он как будто очнулся, стал узнавать наклонявшиеся к нему лица: вот Ходжа Захреддин, вот Мирза Мухиддин... и Шораджаб Zufунун тоже тут... Все, все собрались, словно отец вовсе не умер и они торопятся его посетить!.. Но отец умер... Умер! Файзулла заплакал беззвучно, слезы застывали на щеках. Умер отец, и он слышал его последний вскрик.

Он открыл глаза — мать склонилась над ним, помолодевшая.

— Айиджан...

— Вы бредите, сынок, откройте глаза...

Но он же смотрит на нее! Он сделал усилие, распахнул глаза пошире и увидел знакомый звездчатый потолок, а потом и лицо матери, почерневшее, морщинистое, с красными от слез веками... Выходит, он и впрямь бредил. Но теперь-то он уже по-настоящему дома! И выдохнул:

— Мама, отец наш...

— Да, сынок, да,— сказала она сухим из-за выплаканных слез голосом.— Ушел наш отец, единственная наша защита, опора наша... Лишь бы вы были здоровы! Лежите, лежите, кругом много людей...

В соответствии с обычаем Убайдуллу-ходжу, как истинного, посетившего Мекку паломника, завернули не в саван, а в его голубоватую чалму, уложили на особые носилки из мечети Болохауз. Файзулле разрешили выйти, только когда началась поминальная церемония. Заупокойную молитву прочли на айване мечети Болохауз, где совершал намаз сам его величество эмир.

Хотя стоял редкий для Бухары мороз, а метель то и дело закручивала снежные спирали, на церемониал явилась вся элита духовенства. Берега водоема у мечети и весь ее обширный айван были заполнены коленопреклоненными людьми в богатых меховых шубах и шапках из дорогого каракуля. Ближние и дальние улицы запрудил люд попроще. Поминальную читал шейх-уль-агзам, невысокий, остроскулый, со свойственными роду барласов крупными чертами лица — самый авторитетный среди знати и при дворе духовник. После молитвы он произнес проповедь, превознося могущество аллаха, чьи заповеди должны денно и ночью исполнять рабы божьи, ибо их тленное бытие здесь — лишь преддверие лучшего, вечного мира. Затем он исчислил одно за другим великие и благие дела покойного, перешел к долгам загробным и бранным. Речь шла о том, что считается и что не считается долгом в этом мире, о том, что долг невозвращенный перейдет за должником в иную жизнь; и тут же проповедник возгласил всепрощение покойному.

Файзулла опять слушал — и не слышал. Голова у него горела, он и в этот мороз обливался потом и едва держался на ногах, стоя между Шораджабом и братьями отца. Он чувствовал — что-то от него требуется, но

не мог сообразить что. Он беспокойно коснулся Шораджаба.

— Учитель...

Шораджаб глянул на него, все понял и наклонился к Файзулле.

— Говорите: я доволен пресвятым отцом своим,— зашептал он на ухо,— тысячу раз доволен...

— Я доволен...— повторил Файзулла пересохшими губами.

— Говорите: я полностью расплачусь,— шептал на ухо Шораджаб,— с каждым, кто предъявит бумагу с казенной печатью...

— Полностью расплачусь...

Все на них глазели, но Шораджаб, поддерживая его твердой рукой и приговаривая: «Болен, совсем болен... жизнь на волоске висит...», повел его прочь из толпы, посадил в сани, повез домой. Узкие улицы Газияна были уже утрамбованы, хотя ветер все еще колот лицо снежинками. Из толпы женщин, чей привычный траурный плач возносился высоко, вырвалась навстречу им Райхон-биби. И Файзулла, едва очутившись в ее руках, потерял сознание...

Очнулся он на другое утро с таким чувством, словно проспал очень долго; но сразу понял: то был не сон. В окне напротив бело и тихо — буран, значит, утихомирился. Солнце светило, за стеной возились; слышно было, как беспокойно топчется лошадь, наверное, под навесом у калитки. Он приподнял голову, легкую и звонкую, как пустой горшок, с трудом огляделся; это была не парадная комната, где лежал все последнее время отец, а просторное помещение на солнечной стороне, выходившее на одиннадцатиколонную веранду; тут топилась изразцовая печь, было всегда тепло и тихо; и одна из дверей вела прямо на женскую половину, к матери. Это его успокоило; но тут же он сообразил: мать может войти в любое мгновение; надо быстро встать, одеться, не то она снова разволнуется. Он поднялся с трудом, надел лежавший рядом легкий чапан, снял с головы поясной платок и принялся наматывать свою серебристую чалму. И тут мать вошла. В глазах ее мелькнул испуг.

— Вы очень больны, сын мой, ложитесь!..

Он обнял ее.

— Нет же, мама, я теперь уже не болен... Это что-то другое, странное. Плакать хочется... не могу плакать.

Хочется видеть людей, разговаривать, а сказать, когда увижу, нечего. И мне кажется, начни я говорить, они меня не поймут.

Они сидели рядышком на ковре. Под глазами матери лежала густая сеть морщин и темные тени, напоминающая складки на ее головном шелковом платке. Он крепко сжал ладонями теплую руку с синими узлами вен.

— Мама, скажите... кто дарит людям любовь ко всему родному?

Мать взвлянула на него с удивлением.

— Не знаю, детка... Никто!

Он снял с головы плохо повязанную чалму, положил рядом. Мать надела ему тибетейку.

— Ох, айи... вот я вернулся домой и думал, что люблю наши поля, наши степи... землю нашу... А теперь вижу — только одну вас я и люблю, айиджан! Когда заболел, я уж больше ничего не вспоминал, ни о ком не думал, кроме вас! Правда... Я и смерти не боялся, боялся только, что вас не увижу!

— Сыночек мой...

— Да, да, и я вот думаю, откуда приходит такая любовь?

— Одни говорят, с материнским молоком, другие, что любовь на любовь отвечает... И то и другое часто оказывается неправдой, сынок.

— Как же научить людей добру и любви, айи?

— Откуда мне знать? Разве я учила вас любить меня? А добро... доброта учит добру, что ж еще...

— А мне кажется, добро, как родник... оно есть в каждом, только надо дать ему вырваться, выйти наружу... А некоторые, наоборот, еще заваливают выход камнями!... — Мысль его перескочила, вернулась к прежнему. — Но вот удивительно, айи... В Москве я так тосковал по вас, все вспоминал этот светлый платок. И снились вы мне чуть не каждую ночь, и мечтал я оказаться дома, представлял, как приезжаю и вы обнимаете меня... Но ни разу не вообразил, что вы ко мне приехали!

— Что ж удивительного, разве я куда езжу?

— Но я просто мечтал!

— Значит, не только по мне тосковали... А и по дому, по земле родной... то-то и оно...

Они замолкли. Снаружи, на айване, послышался мужской кашель — Зуфунун! Мать поднялась, прижала платок к глазам.



— Сыночек... не привели бы к новой беде... эти метания ваши...— Она зажмурилась, затрясла головой, точно отгоняя страшное видение. И вышла.

Зуфунун появился в дверях, как всегда подтянутый, стройный, в черном чапане.

— Слава аллаху, вы уже на ногах...

— Да, благодарю, учитель... Знаете, я вот тут сидел и думал...— Он был полон своей мыслью и снова повторил слова о роднике добра в душе каждого. Зуфунун согласно и одобрительно кивал.

— Мысли у вас прекрасные, молодой мой ходжа, — сказал он, выслушав.— Но, увы, должен напомнить вам о делах насущных: поминки досточтимого батюшки вашего ждать не могут!.. Правда, то, что полагается на третий и седьмой день, можно объединить. Но вам нужно будет появиться на переднем дворе, приветствовать пришедших, принять участие в молитве... Все это хлопоты, но, поверьте, полезные и для душевного вашего состояния: в такие минуты дурное забывается...

Ритмы траура известны: поминки на третий, седьмой, двадцатый, сороковой день, а пока не справят их все, каждый четверг и пятницу ставят в полночь котлы и созывают на поминальный плов до рассвета. Весь день приходят и уходят старцы, появляются одетые в черное улемы и другие духовные чины; монотонное пение молитв не смолкает на внутреннем и переднем дворах; тянутся нескончаемые, полные забот дни. Все это длится месяц, другой, заполняет недели, снится во снах. Присмотр нужен не только за всеми обрядами — теперь на Файзулле и прочие заботы семьи; распорядители и приказчики с утра появляются в приемной и ждут его указаний глядя в рот. Самое же тяжкое принимать приходящих, выразить соболезнование, соблюдать весь ритуал такого приема; за витиеватыми и высокопарными фразами Файзулле чудился лишь предлог повидать нового хозяина ходжаевских миллионов. Он жаловался Шораджабу, но тот только пожимал плечами.

— Что поделаешь, сын мой? Таков обычай. И, поверьте, это не самый дурной из обычаев. Люди нуждаются во внимании и утешении...

— Но утешают, таксыр, чаще всего не тех, кто в этом нуждается!..

— Мир не совершенен...

Но понемногу он и к этому привыкал. Стал мало-разговорчив, обрел степенный вид, соблюдал все пять ежедневных намазов. Взрослел и сам это чувствовал. От прежней детскости осталась только привычка воображать какую-то иную, непохожую на окружающее жизнь, тратить время на долгие размышления. Слава богу, это было внутри него, не видимое никому.

Справили наконец и годовичные поминки; заказав чтение Корана в память покойного отца, он вернулся к вечеру домой и застал там муфтия.

— Да будет вам удача во всех делах, баймулла!— Шораджаб улыбался, лицо его светилось.— Уже весна, не засиделись ли вы дома?..

В Бухару и впрямь пришла весна. На огромные, как дивы, развесистые тутовники у хауза на Диванбегии прилетели аисты, и старые гнезда, свитые из хвороста и похожие на корзины, ожили. Улицы только что отхлестал-теплый ливень, воздух был влажный, пахло прибитой пылью и еще чем-то неуловимо знакомым. Окученный цветник во дворе разносил аромат прелой, тучной земли. Травка зазеленела даже на верхушках старых стен, ворковали горлинки. Файзулла и Зуфунун вышли во двор. Файзулла отломил крохотную веточку молодой алычи, чья верхушка едва доставала ему до виска, взял веточку в зубы и ощутил терпко-горький вкус набухающей почки.

— Хамал<sup>1</sup> наступает — почки набухают, как говорит мой дядя Шахабиддин,— сказал Файзулла с улыбкой.— Вот кому завидую, так это дехканам. Они всегда знают наперед, что им предстоит делать и в какое время года, в какой месяц, в какой день...

Муфтий мягко улыбнулся.

— Только никогда не знают, что из этого получится...

— Да, вы правы, учитель... Ну, а что нового в мире, радуют ли вас какие-нибудь свершенные дела?

— Ваш слуга, молящийся за вас, как вы знаете, свободен от забот о богатстве. Мои дела — учить рабов божьих доброте и снисходительности, удерживать от распрей и раздоров, сеять семена благородства и веры... Это цель, достойная всей жизни. И ваша душа, ваши мысли готовы к этому!.. Вам пора появиться в обществе, сын мой. К вам прислушаются. Многие,

---

<sup>1</sup> Х а м а л — весенний месяц мусульманского года.

жаждущие истины, иные муллы в том числе, хотят вас видеть. Ведь повсюду идут горячие споры — не только в медресе и мечетях, но и в кругу улемов, и это уже не просто словопрения, многие поистине ищут новый путь...

— Многие ли, таксыр?.. Что-то они мне не встречались...

— И вы им тоже, сын мой. Вы сидите затворником...

— Все-таки я не верю, что их много. Горстка...

— Ну, пусть горстка. За пророком тоже сперва шла горстка, а потом ислам завоевал мир. Если мы сделаем наши цели помыслами большинства, мы, по крайней мере, отвратим его от дурного пути. Не надо спешить, Файзулла, ничто нельзя получить готовым из рук всевышнего...

— Ну что ж, я с вами, мой совершенный устод, я верю в силу совести и благородных устремлений. И, поверьте, готов потратить на это хоть бы и все отцовское наследство. Но хотелось бы увидеть и плоды...

— Не пренебрегайте нашими диспутами, молодой мой мулла; и если вы не увидите, то хоть почувствуете кое-что...

Диспуты и впрямь были в разгаре. И если одни спорили о понятиях сугубо отвлеченных, туманных не только для стороннего слушателя, но и для них самих, а другие, напротив, дискутировали о вещах чересчур конкретных, например, дозволено ли мусульманину жечь «земляное масло», то третьих занимали более серьезные дела — скажем, иранская революция. Священные тексты были здесь на устах у всех, и можно было услышать весьма смелые их толкования.

Шораджаб соглашался далеко не со всем, но сами споры его явно радовали. «Три вещи без трех вещей нельзя одобрить, — говорил он, — это товар без торговли, государство без политики, науку без споров». Наукой он именовал проблемы нравственности. И действительно, самая горячая полемика завязывалась вокруг проповедей на нравственные темы, которые он произносил в Кукельдаше. Здесь собирались ишаны, муллы, тчецы Корана, суфии, содержатели частных религиозных школ, учащиеся медресе, казии, даже джаиды<sup>1</sup>. И диспуты приобрели еще больший интерес

---

<sup>1</sup> Д ж а и д ы — приверженцы буржуазно-либерального, национального движения.

с тех пор, как на них стал появляться баймулла Файзулла-ходжа. Наставник выделил ему место на устланном коврами глиняном возвышении под самым минбаром — кафедрой для проповедника, и тут, скрестив ноги, он сидел рядом с Шоахсием-аглямом или с авторитетнейшими улемами и преподавателями медресе.

На этот раз все места и наверху, на возвышении, и внизу, устланные циновками, и в соединяющих башенки переходах на втором этаже, и даже на каменных ступенях лестницы, спускавшейся к Ляби-хаузу, были заполнены, слушатели устраивались, став на колени. Прославленный преподаватель, на кафедре Шораджаб выглядел не слишком внушительно: одет в длинный суконный чекмень, а на голове простенькая чалма. Но когда он, опираясь на свой высокий, ростом с него самого посох с серебряным набалдашником, стал подниматься по кирпичной винтовой лестнице, примыкавшей к portalу, народ, точно замороженный, затих. Шораджаб поднялся на минбар, слегка откашлялся.

— Добродетельные хранители сунны, почтившие присутствием наше собрание!— В обращении уже крылась тема проповеди, и сегодня, значит, речь пойдет о вопросе вопросов: о чистоте ислама, в частности о бескорыстии суннитских сект. И в самом деле, проповедник начал с истории сект «ханифи», «шафи», «малики», немногими словами показал, что в мусульманской своей сути они равны перед шариадом и различаются только способами познания истины. Он не пускался в красочные пересказы житий святых, как это делали иные, дабы исторгнуть у слушателей слезы и привести их в состояние экстаза. Напротив, он старался истолковать исламскую веру как свод нравственных законов, ведущих начало из древности, и осторожно рекомендовал пользоваться ею как средством совершенствования собственной духовной сути. Его проповеди были непросты, требовали от слушателей размышлений, но зато в конце концов открывали многим нечто неожиданное в давно известном; он не приводил жизненных примеров для иллюстрации того, что доказывал, он заставлял слушателей самих искать эти примеры, когда они задумывались над его словами. В итоге проповедь не забывалась тотчас по выходе из медресе или мечети, как иные другие, блиставшие красотами слога и эмоциональными всплесками, она еще словно продолжалась в самих слушателях.— Что грех есть грех, а добро есть

добро, знает каждый. Однако хотя и добро творят, но и в грех впадают. Почему?— И проповедник повернулся к тому крылу здания, где сидели учащиеся медресе. Сиявший на солнце глазурованный изразец над михрабом ронял блик на их бледные лица, затененные чалмами. Они встречали криками одобрения самые красноречивые места проповеди, но сейчас никто не решился откликнуться. Наконец сзади поднялся согбенный старец — судя по виду, чтец Корана или содержатель школы.

— Каждый имеет такие убеждения, которые удобны ему, а потому каждый сам и оправдывает свои деяния, великий хазрат. Человек совестливый и вдумчивый склонен к добрым делам, человек подленький вдохновляется злобой и потому устремлен к делам позорным...— И, покашливая, старик снова опустился на свою циновку.

— Хвала!— сказал Шораджаб.— Истинно: каждый есть отражение своей души. И величайшая наука для правоверного — суметь в соответствии с возможностями души своей творить как можно больше доброго, как можно меньше злого. Если ради чистоты веры каждый достигнет в этом высшего своего предела, подлость в мире искоренится... Откуда возьмутся тогда оскорбленные и униженные, бедные и угнетенные?

— Всех не сделать чистыми!— это выкрикивает Шоахсий-аглям, сидящий рядом с Файзуллой.— А свершившего злодеяние, сказано в Коране, кара постигнет!

Это пустые слова, Файзулла на них даже не оборачивается. Он ждет, что ответит Шораджаб. Тот медлит, забрав в горсть рыжую свою бородку.

— Почтенный аглям,— говорит он наконец,— вы не произнесли до конца начатую вами суру. А ведь там еще сказано: «Всегда да воздастся и тому, кто творит добро!» И пусть люди пока далеки от совершенства, но аллах велик, и когда-нибудь он позволит им стать достойными своего творца. И тогда оставят они пути, ведущие к воротам кары...

Шоахсий вскочил.

— Хазрат, ваши представления о совести и вере слишком общи! Вы забываете, что их составляют шесть субстанций: вера в единого бога...— он стал загибать пальцы,— вера в святость ангелов... и всех святых...

и священного Корана... вера в то, что и хорошее и дурное от бога... наконец, признание загробного бытия!

Шораджаб отпустил свою бороду, едва различимая, скользнула улыбка.

— Ваша ученость несомненна, почтенный аглям,— сказал он,— вера — понятие сложное. Но душа человеческая еще сложнее, иначе как бы в ней, познавшей величие исламской веры, оставалось еще место и грешным помыслам?.. Этого, увы, можно не понимать, даже будучи высокоученым и познав все тайны миров. Ибо человек — это третий мир, соединяющий несоединимое: вечность духа и смертность тела... От их столкновения и рождается свет, освещающий прочие миры!..— Голос муфтия стал глубок, звучен. После его слов воцарилась на мгновение зачарованная тишина.

И вдруг чей-то визгливый голос прервал ее:

— Значит, шиитов тоже будут поднимать с земли с почестями?..— Это крикнул кто-то рядом с Шоахсием.

Шораджаб посмотрел в его сторону.

— Кровавые распри шиитов и суннитов — позор для священной Бухары!— сказал он громко и жестко.— Мы не придерживаемся учения шиит-ул-имама Али и, ратуя за чистоту ислама, спорим о наших разногласиях. Но никогда отныне этот спор не пойдет путями газавата!.. Любое насилие противоречит совести...

Файзулла почувствовал: атмосфера сразу изменилась. Он слышал прежде о кровавых столкновениях в Бухаре между суннитами и шиитами, года три назад; они и после вспыхивали то здесь, то там. Сам он им никогда не был свидетелем и не раздумывал об этом, но по явному напряжению, возникшему среди слушателей, понял: это рана незажившая. На муфтия посыпались новые и новые вопросы, и он поневоле углубился в суть враждебного учения.

— Секты шиитов исна-аш-шариа, например,— говорил он,— те, что проживают в Ираке, Иране, Бадахшане, признают лишь предание о святом Али, пренебрегают Кораном. Их святые пророчат, что дух Али воскреснет перед светопреставлением. Они создали свою книгу, которую почитают святой — «Китоби акдас», а Коран предлагают заменить другой книгой — «Баяни Баб»...— Слушатели, прежде сидевшие затаив дыхание, теперь отзывались переговариванием, выкриками, шум стоял. По мере того как муфтий входил в подробности шиитского учения, обстановка все накалялась.

— А как шииты отмечают день кончины Али?— закричал какой-то мулла-туркмен из заднего ряда.— Это же предрассудок, позор! Зачем этот черный траур в святой месяц мухаррам?! Покончить с этим надо!

— Покончить! Покончить!— подхватили другие голоса.

— А разве может правоверный выносить шиитские вопли из хуснияхоны на Джуйбари Калане?!— выкрикнул кто-то другой, сидевший поближе.

— С таких слов, таксыр, и начинаются кровавые распри!— сказал вдруг молодой мулла во франтоватой смушковой шапке, привстав в одном из передних рядов. Чем-то он напоминал джадида — то ли покроем одежды, то ли очками внушительного размера, то ли дерзким, гневно-презрительным тоном.— Эдакие вот подлые людишки сперва подтолкнут жалкими словами к бессмысленному братоубийству, даже вдохновят его, а сами потом в сторонку!..— И мулла сел на место.

— Кто это?— кричали сзади.— Про кого он?

— Мирбурхониддин это!— кричали другие.— Не знаете, что ли?.. Изгнали его после стычек, так отсиделся на загородной даче, а теперь снова в Бухаре!

Шораджаб, сам того не желая, разбудил спящего дива. В его лице Файзулла заметил растерянность. Муфтий стоял, подняв руку, прося тишины. Собравшиеся понемногу все-таки уgomонились.

— Народ!— громко сказал муфтий.— Наше дело, наша священная обязанность — отвращать от дурного, умерять страсти людские! И к разным бунтарям, к политике мы отношения не имеем...

В этот момент с места поднялся Шоахсий-аглям. Лицо у него было как будто удрученное, но Файзулла мог бы поклясться: на деле аглям чем-то весьма доволен, только старается это скрыть. Шораджаб смотрел на него с озабоченным видом: аглям не раз проявлял себя сторонником резких действий, кто знает, что ему взбрело в голову теперь, не постарается ли он вызвать новую бурю...

Но нет, случилось нечто обратное. Шоахсий и не заикнулся о расприх суннитов и шиитов — удручен он был, оказывается, совсем другим.

— Таксыр,— сказал он,— если позволите... Мы опять увлекаемся общими суждениями. А меж тем чистота исламской веры требует рвения в делах, священных делах! Одно благое дело, говорят мудрецы, смыва-

ет сорок грехов... И на таком большом собрании мусульманам нашего города полезно дать совет, на какие благие дела могут они направить свои силы. К примеру, среди ваших слушателей есть, слава аллаху, немало владельцев больших и малых достояний. А священным желанием всех правоверных Бухары всегда было провести железную дорогу от нас до Мекки... Разве не можем мы, собрав средства, положить начало этому великому предприятию? Разве бухарцы не исполнили бы тем самым свой священный долг, призвав на помощь весь мусульманский мир?.. Раб божий входит в рай путем добрых деяний, а паломничество в Мекку — прекраснейшее из них, желание и шахов и нищих...

Последние слова агляма потонули в единодушном хоре одобрительных возгласов, да и сам Шораджаб, вероятно, был доволен таким оборотом дела. Он стоял на минбаре и сочувственно улыбался. Тут же было решено организовать сбор денег, возглавить это поручили, разумеется, Шоахсию, и некоторые из присутствующих, состоятельные баи и муллы, тут же внесли кое-какие суммы. Сколько вносили денег, никто не вникал, всем было ясно: главное — положить начало благому делу... Люди расходились воодушевленные, забыв о недавнем раздражении.

Шагая после диспута рядом с Зуфунуном, Файзулла вопреки многому испытывал чувство удовлетворения. Значит, людей можно направить на доброе дело и тогда, когда в них, по словам Шораджаба, «не осталось места для достойных намерений»? И даже такой человек, как Шоахсий, может это сделать — сменить раздражение и вражду радостью и всеобщим одушевлением?.. Может быть, пример сегодняшнего дня — начало того большого дела, которому Файзулла посвятит всю жизнь? Конечно, люди непросты, к тому же их ум и чувства колеблются, как тростник под ветром, то в одну сторону, то в другую. Но это оттого, что они не видят настоящей, постоянной, реальной цели. Разумеется, все сразу совершенства не обретут... да и почему надо требовать от них совершенства, вдруг подумал он. Им надо дать настоящее, стоящее дело, в нем они найдут и самих себя, и свою совесть, растеряют свои предрассудки!..

Идя вдоль мутного и обычно мелкого, как цепь луж, Шахруда, в котором только сейчас, весной, набухал едва заметный паводок, они вышли к площади квартала



Газиян. В сущности, они шли дорогой его детства: на этой речке прошли ранние годы Файзуллы, светлые, хрустально прозрачные и звонкие, когда все дарило радость новизны и едва ли не каждый встречный находил для него ласковые слова. Люди ли были другими, сам ли он изменился? Или просто права пословица: детство — царство?.. Но ведь он тогда не видел еще милого сердцу кишлака, съеденного саранчой и засыпанного песками, не знал убийцы Шульгина и несчастного Зайнидина, и множества почти таких же несчастных в грязном приюте для странников, и босых водоносов с их полуголыми детишками, поедающих прямо на мерзлой земле случайное подавание...

— Устод...

— Я слушаю вас, сын мой!..

— Я намерен внести значительную сумму на строительство дороги в Мекку, что вы на это скажете?

— Что именно этого я и ожидал, сын мой. Ваш почтенный отец не перенес этой дороги, ушел из жизни мучеником веры, и вам такой взнос особенно приличествует... И к тому же у многих богачей нашего города деньги лежат, не принося никакой пользы, огромные деньги! И взнос ваш будет примером для них...

Рядом с высоким муфтием и Файзулла, казалось, тянулся вверх, а Шораджабу явно нравилось называть его «сын мой»... И обоим им было по душе, что, когда они проходят по городу мимо лавок, люди жадно и внимательно следят за ними, здороваются почтительно. Файзулла подумал, что, хотя сбор денег на строительство дороги предложил Шоахсий, все равно это Шораджабу он, Файзулла, обязан своим первым в жизни самостоятельным решением.

Он еще молод, очень молод, а это первый решительный шаг, первый важный и прекрасный день, и сколько таких должно быть в его жизни! Впервые за долгое время его наполняла ясная уверенность в себе, радость существования, благодарность к муфтию и к этой зимней Бухаре, и еще бог весть к кому за то, что он есть, живет, может действовать... Не зря и Шораджаб нынче относился к нему по-особому, даже руки приложил к груди, прощаясь. И, когда Файзулла вошел во двор, сам дом, казалось, встретил его радостно, сияя окнами, стеклом дверей, пестрыми цветами расписанного айвана. И лица домашних тоже отражали его радость.

В доме его любили, в его присутствии не позволяли себе никаких грубостей, никакого лишнего шума; все, что он говорил, тут же исполнялось, не было надобности ни повторять, ни выговаривать кому-нибудь. Дяди его, многоопытные в делах хозяйства, старались избавить баймуллу от хлопот, от необходимости вникать во всякие мелочи. Впрочем, тут у них, возможно, был свой резон... Райхон-биби же ждала сына всегда, другой заботы и боли душевной она теперь не знала. И сегодня она, все приготовив в комнате Файзуллы, караулила его возвращение.

Окна его спальни во внутреннем дворе осенял старый зазеленевший тутовник. Воздух во всем доме стал чище — Файзулла приказал освободить подвалы от старых шкур и кож.

— Вы сегодня чем-то обрадованы, сынок, — сказала Райхон-биби, уставляя низенький столик едой.

— Спасибо, анаджан, вашим дастарханом! — пошутил Файзулла и засмеялся. Он окунул в шурпу кусок лепешки, стал с аппетитом есть. Мать, довольная, сидела в сторонке, подперев кулачком подбородок. — Нет, правда, анаджан! К вам домой возвращаюсь, как на праздник... Вот мы проповедуем, говорим людям, хотим, чтобы всюду жизнь была такой же, как под вашим крылом: любовь, доброта, уют...

— Ох, сынок... каждый божий день проповеди да споры... Будет ли вам польза от всех этих речей?

— Будут речи — будут и дела. Вот сегодня решили собрать средства — построить железную дорогу от великой Бухары до священной Мекки... Разве душа каждого мусульманина не озарится светом такого святого дела?! И я хочу внести посильную сумму. Благословите, мама...

— Хорошо, детка. Коли вы так решили... Отцовского наследства не убудет... — Она помедлила, сказала тише: — Душа его будет довольна... да примет бог ваше пожертвование!

«Отцовское наследство...» — подумал Файзулла. Легко ему напрашиваться на людскую благодарность, расходуя готовое. А полагалось бы заботиться о новых прибылях, о приумножении... Таковы были все помыслы отца, о том он и перед смертью говорил... Но разве по силам Файзулле вся обуза этого громадного, неохватного, сложного, требующего неусыпных забот хозяйст-

ва?.. И снова радость его стала вянуть, как сорванный с куста цветок.

Он представил себе несметные каракульские отары, пасущиеся в Каршинской степи, в пустынях Туркмении, на яйлау Чули Малик и Нурата. Всех этих мест Файзулла не видел, помнил только некоторых перекупщиков, что разъезжают там во время окота; помнил он с детства и громадные подвалы, пропитанные запахами щелочи, золы, известки, преющей кожи, тяжелой вонью шкур; вспоминал склады готового каракуля, где зимой и летом висели на крючьях связки меха разных сортов и размеров; и дубильщиков со словно бы опаленными лицами; и сортировщиков в кожаных фартуках со скользким взглядом. Его делами занимаются во всех громадных владениях Бухары, а лавки и магазины, торгующие каракулем, — где их нет только на громадной карте от Оренбурга до Варшавы! Вникать во все это... вносить изменения... нет! Он только запретит резать беременных овец, чтобы вынуть из нутра ягненка, предназначенного стать шкурой каракульчи... Впрочем, кто сможет проверить?.. Дела он поручит дядьям. Ходжаева, который правил Бухарой, сидя колено в колено с эмиром, все равно уже нет и больше не будет. А у него, Файзуллы, есть свой долг, есть дело души, куда более тонкое и не менее ответственное. Он свяжет свою жизнь не с богатством, а с людьми, не с кошельком, а с верой. Научиться быть добрыми и снисходительными друг к другу... Этот главный урок он извлек и должен преподавать другим.

И все же с утра он снова поневоле занимался финансовыми делами, принимал прибывших издалека приказчиков, распорядителей работ, продавцов, издольщиков, общался с десятками незнакомых и полужнакомых людей, сталкивался с их искренним усердием и бесчестными намерениями, с их жалобами и оправданиями, в которых равно трудно было отыскать правду и ложь, с их несхожими характерами и одинаковыми страстями. Ему казалось, что он тонет в этом мире непосильных для него сложностей и дел, и все же невольно отмечал про себя: будь жива совесть, этот перекупщик не жадничал бы и не лгал, ведь, когда покупают десять тюков, не оплачивают всего три шкурки... а этот обнаглевший приказчик не стал бы нарушать старое правило: «На тысячу шкур — две связки аванса...»

Он только отмечал про себя, даже не ловил их на лжи. Незачем ему этим заниматься. Надо искать главное и начинать с причины. Шораджаб говорит недаром: «Ничто не движется без причин...»

После первого пятничного намаза Файзулла, жаждущий добрых дел, подписал банковский чек на двадцать тысяч золотых таньга, положил его в кожаный кошелек и отправился к дому Шоахсия-агляма.

Он прошел малолюдный перекресток, что у бани «Оби-оташ», и очутился в махалле Биби Махрук, где в конце улицы виноделов раскинулась, вся в зелени, обширная усадьба агляма, обнесенная глинобитным забором. Возможно, он жил тут один, ибо, когда Файзулла постучал цепочкой двери, откликнулся сам аглям. Безбородый старик, открывший калитку, тотчас исчез в темном проходе, не издав ни звука. В переднем дворе тоже никого не было. Бараны, привязанные к столбам навеса, жевали с тяжелым храпом, сунув головы в стойло. Через мгновение на айване, украшенном плетеными узорами, появился сам Шоахсий в распахнутом халате, но, увидев, что за гость пожаловал, смущенно осклабился, снова исчез и очень скоро вышел уже в чапане и чалме, намотанной на гладкую тюбетейку. Волоча кожаные калоши, надетые на цветастые сапожки, он на ходу вытирал поясным платком усы и бороду.

— Прошу, прошу, будь благословен ваш приход, Файзулла-ходжа,— говорил он, отвечая на приветствие и ведя гостя во внутренние помещения.— Только что завершил намаз, принялся было за прочие молитвенные обязанности, и тут вы постучались! Не сочтите за обиду, что пришлось ждать...— Его смуглое лоснившееся лицо блестело, точно от пота, сам он был низенький, подвижный, маленькие плутоватые глазки так и бегали.

В гостиной, украшенной резьбой, Файзулла увидел готовый дастархан — ждал его аглям, что ли, откуда он мог знать?.. Файзулла замахал руками.

— Нет! нет! Я только на секундочку...

Но аглям заупрямился, стал его усаживать почти насильно:

— К месту молиться, к месту и веселиться! Немножко можно и позволить себе, баймулла, прошу, прошу, садитесь!..

Файзулла сел поневоле, сказал, что пришел только вручить пожертвование и не может задерживаться. Хозяин словно бы пропустил слова насчет пожертвования мимо ушей.

— В кои-то веки пришли разок, и то со священным делом, да будет это отмечено престолом всевышнего, как сказано в святой книге, да возвратится вам от бога, аминь!— Он погладил бороду и снова принялся настойчиво угощать.— Садитесь поближе, Файзулла-ходжа. Во имя аллаха!..— Он разломил сдобную лепешку.— Редко выпадает вашему покорному слуге сидеть лицом к лицу с таким гостем! Восторгаюсь вами и речами вашими... Такой ум в такие молодые лета!..

Файзулла, откусив кусочек лепешки, пробормотал что-то в знак протеста против столь явной лести.

— Нет, нет, не спорьте!— настырно говорил Шоахсий.— Уж я-то, покорный слуга ваш, могу оценить человека, указывающего другим путь истины!— И он заговорил о проповедях Зуфунуна, о грехах и добре, о каре и прощении... Файзулла пытался улучшить момент, чтобы встать и попрощаться, но все не получалось. Меж тем по мере собственных разглагольствований, точно опьяняясь ими, аглям мрачнел на глазах, и вскоре от жизнерадостности, с какой он встретил Файзулла, и следа не осталось. Он забыл даже о дастархане и своей хозяйской обязанности угощать гостя.— Да, да,— говорил он,— только молитвы и бдения очистят мир от зла и скверны! Истинны слова пророка: ислам будет торжествовать до самого светопреставления. А в чем его сила? Да в вере святой, в п о с л у ш а н и и — аллаху и пророкам его, и ангелам его, и святым его, и книге его... А иные муллы, якобы познавшие лучший путь, учат: наипервейшее — человек. А уж потом все остальное... Разве это не богохульство? Не попрание святынь?..— Он перевел дух, маленькие глазки зло поблескивали.— Между нами, драгоценный баймулла, Зуфунун все это одобряет. Иные его проповеди странны! Ох, странны, баймулла! Знаем мы таких, что утверждали: «Я есмь бог!» Ну, и где они?.. Содрали с них шкуру, и все.

Перепад в настроении, в словах агляма был столь резок, что Файзулла даже растерялся несколько. Потом разозлился.

— А мне,— сказал он, стараясь соблюдать учтивость,— странно слышать ваши слова, таксыр... Разве

грешно думать о человеке? И разве не для человека аллах сотворил сей мир?..

— Мы живем лишь в последнем ярусе девяти небес! В самом нижнем, именуемом «дун» — прахом! Над нами мир духов — валмалакут, а уж над ними — мир вечно нетленных... И еще выше воплощение духа — амри раббий, как сказано в священном Коране... А дун тленен, и все мы, рабы божьи, лишь прах, прах, прах!..

— Зачем же рабу божьему ниспосланы душа и совесть?..

— Чтоб отличаться от скотины!

— А зачем отличаться от скотины?.. Ведь мы прах, прах, прах...

— Теперь и вы богохульствуете, баймулла!.. — Лицо агляма прямо-таки почернело.

— Ничуть, — сказал Файзулла. — Это вы, таксыр, забыли о снисхождении, забыли о том, что аллах не только всемогущ, но и милостив!..

Аглям, казалось, опомнился; лицо его изобразило даже некое подобие любезной улыбки. Впрочем, ненадолго.

— Вот видите, баймулла... знакомые слова! Это ваш Zufунун проповедует безграничное снисхождение!.. И бесчестных шиитов тоже призывает считать людьми... Вы видели, тогда, в Кукельдаше, я проявил немалое терпение... считаясь с его ученостью... и авторитетом... Но вы должны знать: шииты хозяйничают не только у себя в Джуйбаре. Среди них есть и носильщики с веревкой на шее... ходят и болтают на станции... есть и персы, что рассказывают тут о своей революции... А главное — сейчас, в месяце мухаррам, они, увидите, будут оскорблять своим святотатством всю священную Бухару! Остригут волосы, окровавят головы, напьются вина, примутся истязать себя на миру, размахивать своими вонючими факелами, вопить, как безумные... — Он передразнил: — «Шохусайн-во Хусайн!!» А их невестры муллы... — Он оборвал себя. — А, да что там! Аллах, прости и охрани!..

Файзулла смутно помнил эти шиитские шествия — раз или два видел в детстве, в самом деле, со стороны выглядит не бог весть как привлекательно... Ну и что, оборвал он себя. А наши обряды все так уж хороши?.. В памяти снова всплыл Зайниддин — его-то лечил плеткой «правоверный» ишан!

— У всех свое, таксыр, — сказал он негромко.

Аглям и не услышал.

— А вы разве не знаете,— снова заговорил он,— их ходжи прикарманивают деньги, что собирают для поминания имама Хусейна... А вместо святой Мекки они паломничают в Кербалу или Мешхед!.. Не-ет, вы, нынешняя молодежь, просто не знаете, до чего эти шииты коварны! Вот я помню, когда еще правил эмир Абдуллахад, наиб Кавказа пригласил его — попить, полечиться у источников... Так что придумали шииты? Распустили слух, будто эмир едет, чтобы сблизиться с шиитским шахом Насреддином! А? Скажите, не смутьяны, не подлецы?..

— Таксыр...

— А когда в халифы был избран Хазрати Умар, они что сделали? Оповестили через своего глашатая, бинни Билола, будто иноверцев лишат государственных пособий!.. Вот и надо их обложить налогом, как иноверцев. Да, да! Мы уже и указ заготовили!

— Но это несправедливо!

— Справедливо!.. Кто справедлив к врагу, несправедлив к себе...

— Какие там враги! Такие же рабы аллаха...

— Вот-вот... прямо слышу вашего Зуфунуна! Возлюбите ближнего... Мы любим ближнего — только не шиита. И так уж распустили их свыше всякой меры! Когда вы были в Москве, Астанкул-кушбеги отдал им всю власть в стране. А ревнителю истинной веры были попораны!.. Ну да мы взмолились августейшему — эмир эти безобразия прекратил, выслал многих. А что толку?.. Они снова подняли головы... Вон, сами видели, раис Мирбурхониддин вернулся... И казначей — опять шиит, и сборщик податей — шиит! Нет, с этим надо кончать!..

Файзулла промолчал. Противопоставлять разумные доводы этому взрыву ненависти было все равно что сражаться гусиным пером с дубиной. Он поднялся, передал агляму кошелек с чеком. Тот взял и, продолжая бурчать что-то, пошел в соседнюю комнату писать расписку. Перо закрипело, потом Шоахсий, подув на печать, шлепнул ею по бумаге, вынес Файзулле. Принимая расписку, Файзулла вдруг почувствовал запах вина и еще чего-то... кажется, терьяка. Померещилось, подумал он. Да и что за диво — запах вина в махалле виноделов?..

В глубине дома послышался высокий мужской голос, окликнувший кого-то с капризной женской интонацией. «Так он тут не один», — подумал было Файзулла безразлично, но интонация показалась ему странно знакомой. Внутренняя дверь в соседней полутемной комнате отворилась, там мелькнула голая или полуголая мужская фигура. Аглям засуетился, прямо-таки выпроваживая Файзулла.

Нечисто что-то, думал Файзулла, шагая по улице. Кого все-таки напомнила та интонация?.. И вдруг вспомнил: голос дастарбанда! Ну да!.. И ведь Шораджаб намекал тогда на некую тайну, связанную с выбором этого подмастерья-красильщика... Неужели... мерзость какая!.. И это в святом паломничестве его большого отца! Гадость, гадость, гадость!.. А может, только показалось? Нет же, точно, он узнал голос! И аглям засуетился так подозрительно... Ах, негодяй! Поборник чистоты ислама!..

У него комок подступил к горлу. Аллах великий, что за грязь вокруг него! Чему можно верить?.. Он стал припоминать яростную вспышку Шоахсия. Сколько злобы в этом гнусном обманщике!.. А указ? Или аглям только прихвастнул? А вдруг это правда? Надо предупредить муфтия. Хотя что может сделать Шораджаб?.. Эмира проповедями не проймешь. Кого вообще проймешь проповедями?.. Ведь прошлый раз в Кукельдаше и впрямь только ловкий маневр того же Шоахсия предупредил свалку. Сразу после мудрых речей Зуфунуна... Наверное, они тешат себя пустой надеждой...

Пройдя через пустынный в эту пору Кавала-базар, Файзулла вышел к Оружейным куполам. Уже темнело, только угли, тлевшие в кузнице, словно бы указывали путь запоздалым прохожим. Здесь, на этой площади, сад Дилкаша-кари. По вечерам, когда возвращается домой, он, говорят, собирает друзей, играет им на своем знаменитом тамбуре. Кто же это говорил... а, Зуфунун! Муфтий и сам здесь бывает часто. Встретить бы его сейчас!..

С какого-то минарета донесся звонкий в вечерней тишине крик муэдзина, призывающего к вечерней молитве: «Хай-алас-сало-от! Хай-алас-сало-от!..» Муэдзин смолк, и до Файзуллы впрямь долетел стенающий звук тамбура. Значит, уже собрались, и Шораджаб, может быть, здесь.



У низенькой калитки со стершейся резьбой даже цепочки не было, Файзулла толкнул слегка, она беззвучно отворилась. Хотя Дилкаша-кари именовали садоводом, сад его состоял всего из нескольких деревьев. Говорят, когда-то у него и впрямь был большой прекрасный сад, но по решению казия отошел какому-то баю в счет невыплаченного долга, взятого под залог урожая... видно, год был неурожайный. С той поры Дилкаш-кари ухаживал за чужими садами. В конце его двора за деревьями стоял двухкомнатный домик с айваном. На айване при тусклом свете керосиновой лампы, висящей на столбе, сидели двое: сам Дилкаш-кари, белоусый и белобородый, с тамбуром в руках, и еще кто-то в темном углу... Файзулла взгляделся. Ну да, Зуфунун!

Старый мастер играл «Муноджат». Файзулла последний раз слышал эту мелодию в прошлом году в руинах дядиного кишлака, когда ее играл слепой у дувала. Пронзительная музыка. Не мелодия — воспоминание. И, наверно, каждый, слушая, вспоминает свое — свои горести, свои утраты. У него, Файзуллы, уже есть много такого, о чем думаешь с тоской и горем, и стон тамбура словно рвется из его собственной груди. А что приходит сейчас на память устоду, который сидит, покачиваясь в такт переливам, перекатам звуков? Еще больше горьких воспоминаний, разбитых надежд, но каких, Файзулла никогда не узнает. Любой из нас заперт в собственном мозгу, в собственной грудной клетке, другим туда вовек не проникнуть...

Мелодия кончилась, Дилкаш-кари опустил тамбур, прислонив к подушке, тот блеснул перламутровой инкрустацией, точно вскрикнул. И тут хозяин заметил Файзуллу. Торопливо встал, спустился с айвана, пошел навстречу.

— О-о! — сказал он. — Салом алейкум! Заходите, баймулла! Какой гость!..

Откуда он знает его в лицо?.. Зуфунун между тем тоже подошел, на лицах обоих светилась одинаковая неподдельная радость, хотя выглядели они на редкость несхоже: один — высокий, сухощавый, франтоватый, с молодежьим лицом, другой — низенький, полный, с окладистой бородой, совсем старик с виду, поверх дехканского исподнего длинный белый халат... Грустное выражение с которым один играл, а другой слушал, разом улетучилось, они суетились, не зная, как получше усадить Файзуллу. Двое коренастых сыновей хозяина

обновили дастархан, нового гостя усадили на почетное место, всем принесли понемногу шурпы. Заговорили об искусстве игры на тамбуре, но скоро перешли на общие темы, и Файзулла, который собирался поделиться всем наедине с Шораджабом, вдруг стал рассказывать о беседе с аглямом и ее странном завершении. Кончив, он глянул на муфтия и ощутил раскаяние — лицо Зуфунуна стало пепельным. Муфтий провел ладонями по лицу, поднялся, стал прощаться. Дилкаш-кари тоже выглядел удрученным.

Муфтий шагал быстро, точно его толкал переполнявший гнев. Маленькие кусочки щебня, отлетавшие у него из-под ног, звенели на пустынной улице. Файзулла едва попевал за ним. Они долго шли молча.

— Значит,— сказал наконец Шораджаб,— хочешь получить от улема благословение на такой налог?.. Ну что ж, и получи. Полу-учит!.. Не зря же его зовут «аглям с белой печатью»!— Файзулла впервые слышал, чтобы обычно сдержанный Зуфунун повторял это прозвище Шоахсия.— Этот подлец снова хочет вызвать кровавую резню!.. А ведь каким деликатным миротворцем притворился в Кукельдаше... Я чуть было не поверил...— Несколько мгновений они опять шли молча, потом Шораджаб продолжил:— Вы, баймулла, еще слишком молоды, я не могу все говорить вам прямо, но знайте, этот человек — истинное порождение ада! Назвать вслух все его грехи и то грех великий... Он поддерживает тесные связи с самыми фанатичными шейхами, что при мазаре Баховиддина... с изуверствующими ишанами... Мне давно говорили, но прежде я не верил, убедился, только когда мы отправились в паломничество с покойным вашим отцом... Такие люди — самые страшные, сын мой! Им надо замаскировать свой грех, и они прикрывают его яркой нетерпимостью...

— Устод, он мне и самому отвратителен стал, меня даже затошнило, но, право, вы слишком гневаетесь, поберегите себя, ведь и в гневе — грех...

— Он животное! Нет, хуже животного — в какой скотине уместится столько подлости и столько греха?! Это гадина, сын мой... ядовитая змея, которую не грех прибить палкой!..

Файзулла не узнавал Зуфунуна.

— Устод... теперь вы говорите, как тот аглям...— Он сказал это почти шепотом, но муфтий услышал, даже

приостановился, как-то боком оглянулся на Файзуллу и умолк. У Ляби-хауза они расстались.

В воротах дома его встретили с фонарем. Он вошел, смятенно размышляя, как это позволил себе грубость по отношению к учителю. Но ведь тот сам себя опроверг! Куда девалась его прославленная мягкость, терпимость, которую он проповедует?.. Правду говорит дядя Шахабиддин: «Когда земля тверда, бык валит на быка!» Ну, а его так еще и не определившая себя душа, что ж ей, метаться меж ними, пока не растопчут, оставаться меж двумя жерновами, пока не смелют в муку?..

Долгое время он не видел Шораджаба вовсе, несколько недель жил словно в оцепенении. Машинально отдавал распоряжения по хозяйству; не вникая, подписывал бумаги и старался избегать беспокойных взглядов домашних. Большую часть времени проводил в комнатке, предназначенной раньше для управляющего делами. Там стоял низенький, покрытый бархатной скатертью столик, на нем большая чугунная чернильница, некогда привезенная из России, песочница для очистки камышовых перьев, медные подсвечники с наполовину сгоревшими свечами... Комната была расположена рядом с калиткой, но оказалась самой тихой и укромной в доме, а в окно было видно всех проходящих и уходящих. По правде говоря, Файзулла ждал, что Шораджаб его навестит, даже отчасти караулил его приход у окна комнатки. Но Зуфунун не появлялся. Другие приходили — он нет.

Вчера Файзуллу навестил редактор газеты «Бухорои шариф», посидел полдня, но так, видно, и не решился заговорить о деле, ради которого пришел. Играл крышечкой чугунной пепельницы, робко лепетал, что мечтает привлечь хозяина дома к сотрудничеству. Мы нуждаемся в вашей помощи, бормотал он, едва Файзулла пробовал заговорить о сути дела, редактор, точно боясь услышать что-нибудь не то, умолкал, прятался в свою скорлупку, как степная черепашка.

Так ни с чем он и ушел восвояси, но на завтра явился снова, уже не один, а с молоденьким на вид, аккуратеньким таким муллою, подстриженным, как на картинке, в парчовом чапане. Мулло этого, чрезвычайно учтивого, с несколько книжной речью, звали Бурхони Гулджалик. Он повел себя как старый знакомый, беседовал свободно, непринужденно и сумел «разговорить» Файзуллу, тот и сам не заметил, как оказался вовлеченным

в беседу о несправедливостях, царящих в стране, о бедствиях народа, нищете простого люда. И, хотя откровенничал в основном хозяин, сегодняшний гость тоже, казалось, не лишен способности критически мыслить — все, что Файзулла высказывал, он принимал с сочувствием, давая понять, что и его это давно занимает и мучит.

— Живущих помыслами о священном всегда было больше, чем людей с низменными душами,— сказал он.— Вся беда, баймулла, что люди благородные бессильны были предпринять что-нибудь!.. Так что надо приниматься за какое-то далеко идущее дело...

— Какое же?

— Прежде всего вырастить достаточное число образованных людей нации! Они тщательно изучат постановку преподавания в других странах, а потом будут и действовать соответственно. Могу вам сообщить: тридцать наших молодых мулл обучаются сейчас в Стамбуле, и эти люди — будущее Бухары. Не хотите ли и вы отправиться в тамошний университет? Это соответствовало бы нашим целям и, видит аллах, отвечало бы вашей жажде познания! Даже в этом коротком разговоре она дала себя знать, как и ваша кипучая, молодая энергия... Мы видим в вас надежду Бухары...

— Простите, эфенди, кто это «мы»?

— Мы — это Бухарское просветительское общество, таксыр. Общество достаточно влиятельно, оно гарантирует вам беспрепятственный проезд в Стамбул и возможность потратить на учебу столько времени, сколько вы захотите...

Вот оно что!.. Файзулла был разочарован. Он знал про это общество и видел его представителей, они вились вокруг богатых людей вроде него самого, угодили перед ними в надежде на их подачки и влияние. И этот лохотный эфенди — птица того же полета... А он-то, дурак, разоткровенничался, распустил хвост!.. Впрочем, они к нему и пришли, наверняка рассчитывая на его молодость и неопытность...

Бурхони Гулджалик все продолжал говорить, обещая свести почтенного баймуллу со стамбульским гостем Салихом-эфенди и с Абдуллахадом-эфенди из Гавкашона, который получил образование в турецком университете и входит в президиум общества «Единение и прогресс», и широко пропагандирует издания с лозунгами просвещения и общетюркского единства... Но

Файзулла его уже не слушал, а думал о другом. Как встретить Зуфунуна и попросить у него извинения?..

— Да пребудет в раю душа вашего отца,— стрекотал эфенди,— святой был человек, и ведь капиталы свои поместил он большею частью в заграничных банках, не правда ли? Вот вы и сами отправитесь в те же места, может быть, окажется кстати...

Только эти последние слова и дошли до сознания Файзуллы.

— Благодарю вас...— сказал он растерянно и поднялся, как бы прощаясь.— Я никуда не могу ехать... здесь много дел... Всех благ вам, эфенди... и вам, почтеннейший...

Оба гостя, уходя, выглядели обескураженными.

Файзулла в тот вечер не мог уснуть, промаялся полночи и все размышлял. Завтра с утра, уговаривал он себя, следует самому пойти к Шораджабу. Прежде всего он попросит прощения... А потом... потом спросит напрямик, какой путь избирает для себя устод. И, если Файзулле с ним не по дороге, тогда... тогда он, Файзулла, пойдет дальше сам. Он уже не мальчик. Ему ясна цель. А единомышленники найдутся... найдутся...

Небо Бухары бывает чистым лишь на рассвете. Когда проснутся сотни улиц, улочек, тупиков с их толстым слоем истолченной в серо-желтую пудру сухой лессовой пыли, подающейся под ногами и смыкающейся следом, как вода; когда очнутся от ночи базары, а крытые торговые ряды наполнит эхо голосов и шагов, под лучами солнца за клубится пыльное марево, затмевая необычайно яркую синеву небесного свода. Пока Файзулла достиг ряда, где торгуют адрасом — кустарной полушелковой материей, мимо него прошли первые дехканские арбы, спозаранок прибывшие на рынок. Из конюшен Туракула доносился надрывный кашель конюхов-наркоманов; горбатый старец, который подогревает воду в передней бань, где совершают омовение, и приглядывает за обувью посетителей, еще спал на улице у перекрестка.

И вот в эту-то раннюю тихую пору из отдаленного городского квартала донеслись истошные крики, стенания, гул, словно издаваемый толпой сумасшедших. Уже через несколько мгновений стало казаться: этот страшный шум наваливается одновременно издали и из

ближних улиц. Появились бегущие людские фигуры, заполняя пространство квартала, в узких улочках какие-то люди грузно спрыгивали с заборов и крыш, взрывая пыль. Слышался треск, словно что-то ломалось, падало, опрокидывалось. Из чайханы, где собирались обычно учащиеся медресе, вырвались вдруг человек пятьдесят, и эта топчущая толпа, как взбесившееся стадо, помчалась в сторону Джанкубада, где находилось святилище шиитов — гробница хранителя волос имама Хусейна. Теперь стало ясно, самый страшный шум доносится как раз с той стороны. Файзулла побежал вслед за толпой, хотя внутри у него все ждалось — не то от страха, не то от возбуждения. Почему-то ему представилось заросшее бородой злобное лицо Шоахсия. Он вспомнил вдруг: говорили же, сегодня шииты должны справлять свой «ашуро шахсей-вахсей»! Вот куда все бегут!.. Но неужели началось самое страшное?! И уже секунду спустя сомнений не осталось: в городе резня. От молельни при мечети Диванбегги кто-то закричал:

— Сюда идут! Сюда-а! Закрывайте лавки! Эй, правоверные! Во имя шарията-а!..

— Муллавачи режу-ут!..

И вырвавшаяся из боковой улицы обезумевшая толпа, окутанная облаком пыли и собственных воплей, как смерч, захватила Файзуллу краем и потащила вперед. С отдавленными ногами, со ссадинами на лице и всем теле, оглушенный, облепленный пылью, не чувствуя боли, а только ужас, он думал одно: «Лишь бы не упасть... не упасть!» Ноги подгибались, но он держался изо всех сил, а стены человеческой плоти с четырех сторон подпирали, давили, волокли его. И весь этот тысяченогий зверь, опьяняемый собственными громовыми криками: «Во имя шарията! Эй, святой Ильяс! О, святая четверка!», неся, пока не застрял в узкой улочке. Тут он поднажал, задавил несколько человек, истощно вопивших, и снова понесся, как поток из ущелья, растоптав часть самого себя...

То, что Файзулла оказался с краю толпы, его и спасло. Чалма у него разматалась, конец волочился, попал под ноги бегущим, и Файзулла упал-таки, но откатился в сторону, в узкое пространство какого-то счастливо подвернувшегося тупичка.

Морщась от боли в коленях и всем теле, он поднялся

на ноги, отряхнул подол, утер ключьями чалмы лицо, протер глаза, огляделся. Сквозь пыльную тучу над улицей светил багровый глаз солнца. Город гудел, ревел поодаль, и на фоне этого шума Файзулла различил чей-то стон поблизости. Близ перекрестка лежало нечто, напоминавшее издали кучу окровавленного тряпья. На улице никого больше не было. Файзулла подошел. Лица, тела, изорванной в ключья одежды человека было почти не различить под слоем напитавшейся кровью пыли, комья грязи пристали к ссадинам, рядом темнела лужица натекшей крови; если б не стоны, трудно было поверить, что он еще жив. Но, когда Файзулла повернул к себе его голову, на страшной маске лица вдруг открылись глаза, наполненные ужасом. Файзулла поднялся.

— Эй, кто-нибудь! Помогите!..

Но ворота и двери были наглухо заперты. Никто не откликнулся. Файзулла крикнул еще раз, огляделся. Наконец отворилась с тихим скрипом калитка, выглянул худой старик, подошел, поминутно озираясь и ступая по мостовой, как по раскаленной плите. Вдвоем они втащили несчастного внутрь дома, раздели его, промыли ссадины, как могли, вымыли лицо. Это оказался молоденький парень. Он стоял, стыдясь своей наготы и боли.

— Кто ты?— спросил Файзулла.

Парень вдруг заплакал.

— Я разве виноват, мулла?— сказал он, всхлипывая.— Дедов моих пленили туркмены, продали сюда в рабство... а я при чем?— Он судорожно глотнул, стараясь сдержать рыдания. Парень был иранцем, вот за что ему досталось.

Старик смотрел с горестным сочувствием.

— Близ Арка и у городской стены, и во всем центре города столпотворение...— сказал он тихо.— На улице Гулямон, говорят, забили палками одиннадцать иранцев!.. Большое побоище, молодой мулла, большое побоище! Что-то еще будет... Ишану Исламу-карболаи беременные женщины носили пожертвования... так многие мужчины мечтали отомстить, вот и разгромили его дом...

Так, подумал Файзулла, резня перешагнула уже границы сект! Пошло, покатилося...

— А из-за ишана,— продолжал старик таким же тихим голосом,— пострадали и бедняки с мельницы,

и работники маслодавилни... а у этих, кроме слепого ишака, вообще ничего не было...

— С чего же началось, ота?

— Кто знает...

— А ты как в это попал?— спросил Файзулла раненого.

— Я... весовщик... с гузабазара<sup>1</sup> в Чикурлыке...— Парень говорил с трудом.— Нас всех бить стали... и потащили за собой... А сперва, я слышал... бездельники какие-то... насмеялись над шиитами... ну, что рады в хуснияхоне... на Джуйбаре... те не стерпели... погнали их... ходжи там драчливые... Ну, и побили... одного-двух... и пошло...

Что же я здесь торчу, подумал Файзулла, бежать надо, что-то делать. Страх, испытанный им в толпе, уже улетучился, и он забыл, как сам выглядит после своего страшного приключения. Он полез за пазуху. Кошелек его чудом сохранился. Файзулла дал несколько монет старику.

— Вот, ота... может, лекарю... или костоправу...

Старик стал благодарить, раненый тоже, а Файзулла поспешил вон.

Город был страшен. Сломанные или обкромсанные деревья; полуобрушенные заборы и наружные стены: выдавленные ворота, двери, калитки; водоемы, заваленные обломками, ветками, клочьями одежды, на воде все это выглядело особенно дико. А по мере приближения к Джуйбару снова нарастали крики, вопли, вой, плач, сливавшиеся в чудовищную музыку светопредставления. На крышах ютились плачущие дети; обезумевшие женщины рвали на себе волосы. Файзулла только теперь представил масштабы бедствия. Если дело впрямь началось с хуснияхоны, подумал он, так непременно вяжется шейх Хасан-Машади, глава бухарских шиитов. С ним шутки плохи: богач и, главное, зять эмира! В родстве с ним состоит еще, говорят, имам Саид Бакр, потомок одного из тех четырех Бакров, что некогда проживали в Бухаре и оставили свое имя знаменитому мавзолею. Недаром Машади содержит при этом мавзолее молельню... Фу-ты, какая ерунда лезет в голову посреди такого кошмара! Что может теперь сделать шейх Хасан — оживить своих покойников? Или потребовать новых — от противной стороны?..

---

<sup>1</sup> Гузабазар — хлопковый базар.



Едва Файзулла вступил в махаллю Джуйбар, человек десять пронесли мимо два мертвых тела; один из мертвецов был старик с длинной белой бородой, другой помоложе. Двое из несших яростно вопили, третий рыдал. Файзулла вдруг почувствовал, что обессилел, и прислонился к чьей-то калитке. Из-за калитки доносился негромкий ровный шум ткацкого станка. Файзулла даже не поверил себе, заглянул в щель. Станок стоял на полуразвалившемся айване, на нем работала старуха в огромном конусообразном уборе, и ее худющие руки с обвислой кожей двигались стремительно и бесперебойно, словно демонстрируя полное равнодушие ко всему, что творится на улице...

Постояв и отдышавшись, Файзулла пошел дальше и у небольшой шиитской молельни увидел кучку наглых, хорошо одетых молодцов. Это были «чапани», бухарская «золотая молодежь», лихие парни в пестрых чалмах. Вот уж они, наверно, знатно повеселились сегодня!.. Сейчас парни как раз выволокли из молельни двух дряхлых старцев, толкнули их в пыль; и один, верзила в парчовом чапане и с огромным, отделанным слоновой костью ножом у пояса, придавил кованым сапогом упавшего старика и в такой позе с кривой ухмылкой слушал, что рассказывает его приятель.

— Крикнули мы, значит: «Жизнь за веру, смерть за веру!»— и давай лупить направо и налево...

И тут верзила заметил Файзуллу. Ухмылка его стала еще наглее.

— Байвачча-а!— сказал он издевательски.— Салом! Полюбоваться пришли? А?.. Мы тут, значит, обьявив газават, проливаем кровь за кровь,— он повел глазами на дружков, и те захохотали,— а вы приходите на готовенькое... И, разинув рот, любуетесь! Так выходит? А?— Он оттолкнул ногой старика и двинулся на Файзуллу.— А ну, снимай свой пояс, ты, баба!

Верзила надвигался, но Файзулла не тронулся с места.

— Хорош газават!— сказал он ровным голосом.— Стариков бить... Отпустите их!

— Что, что?!— переспросил верзила с искренним удивлением, он даже приостановился.— А ну, повтори!— И он, кривляясь, приложил ладонь к уху.— Повтори, я послушаю!..— Он снова пошел на Файзуллу, как медведь. Файзулла стоял, как прежде, неподвижно. И тут один из дружков верзилы тронул его за плечо

и зашептал что-то ему на ухо. Лицо верзилы сперва стало глупо-удивленным, потом чуть растерянным и тут же начало изображать приторную угодливость. Он попятился назад, приложил руки к груди и сделался ниже ростом.

— Ради аллаха, уж простите, Файзулла-ходжа!— заговорил он сладким голосом.— Не узнал... Ведь говорят: не узнаешь — не уважишь, вот и я... Уж извините! Я свои непотребные слова обратно проглочу, ей-богу! Вы золотом, мы силой, а все за одно святое дело...

«Вы золотом, мы силой...» Этот мерзавец воображает, что и я заодно с ними в этой резне...

— Ступайте прочь отсюда!— закричал он гневно, мальчишески высоким голосом. Ярость, обида, ненависть душили его.

Верзила сделал вид, что принял это как приказание действовать. Он заорал дружкам:

— Слышали?! Пошли дальше! На мазар хранителя волос! За мной!.. Эй, святой Ильяс! Эй, святая четверка!— И он побежал впереди бандитов-чалмоносцев.

Файзулла снова прислонился к стене, прикрыл глаза. Кто-то сунул ему в руки пиалушку. Он открыл глаза, пиалушка была с водой. Файзулла глотнул, потом глянул, кто подал воду. Это была та древняя старуха со двора, что работала на ткацком станке. Как она здесь оказалась?..

— Спасибо, бувиджан<sup>1</sup>,— сказал он, возвращая пиалу. И, оттолкнувшись от стены, пошел дальше по улице. Его покачивало, мутило.

Вокруг по-прежнему царил паника, какие-то люди пробегали, прижимаясь к стенам, лавки были закрыты наглухо, изредка справа или слева снова доносился взрыв рыданий, стоны, вой. Файзулла шел, даже не понимая, в какой части города теперь находится. Мимо него ошалело промчались два ишака, подгоняемые казенными водоносами, следом послышался знакомый топот и крики толпы. Он едва успел откачнуться в сторону. Толпа промчалась мимо, догнала водоносов, повалила наземь, сорвала с ишаков и растоптала бурдюки...

И тут появились эмирские солдаты, потом полицейские с длинными кинжалами, секирами, саблями. Грянул ружейный выстрел, еще несколько, запахло порохом. Точно война в городе началась!.. Где же они были

---

<sup>1</sup> Бу в и д ж а н — бабушка.

до сих пор? Почему их не прислали раньше? Или надо было дать пролиться крови, чтобы иметь законный повод для нового кровопускания? Сколько еще невинных теперь погубят э т и?..

Какой-то человек, появившийся рядом, твердил молитвенно:

— Слава аллаху, теперь усмирят! Усмирят теперь, слава аллаху! Да будет всемогущим августейший наш эмир, да будут острейшими его сабли, да поможет ему святой Баховиддин, да унизятся и сгинут его сопостаты!..

Файзулла взглянул на него, и даже сердце екнуло, так человек был похож на Шораджаба. Такой же статный, моложавый, с такой же бородкой...

Файзулла пошел прочь, почти побежал, инстинктивно выбирая направление к дому. Он торопился укрыться от всего, как дервиш, преследуемый собаками. Его гнали и страх некоей подстерегающей всюду опасности, и отвращение к самому себе. Проклятие всему этому, проклятие...

Хорошо, что во дворе никого не было; он торопливо прошел пустую переднюю и гостиные, добрался до хасхоны — специального помещения, где прежде имел право находиться только отец. И теперь туда никто не мог войти, кроме него самого и матери. Там можно зарыться в подушку лицом и выплакаться наедине с собой... Но едва отворил высокую резную дверь, как тотчас понял — в хасхоне кто-то есть. Занавески окна, выходящего во внутренний двор, были слегка отодвинуты, и в слабом свете кончающегося пыльного дня на углу ковра стоял Шораджаб-муфтий... Файзулла быстро зажег свечу, он сперва и глазам своим не поверил. Нет, это был действительно Шораджаб, но мало похожий на себя: прямой стан сгорбился, взгляд потухший и какой-то жалобный... Другой человек, согбенный и старый; и с таким выражением лица, словно это не учитель его, а провинившийся ученик!..

— Извините, что вошел сюда,— сказал муфтий тихо.— Я, молящийся за вас, жду вас уже давно... и нетерпеливо...

— Садитесь, таксыр!..

— Нет, нет! Не хочу...

Файзулла удивился себе. Все последнее время он так мечтал увидеть Zufуна!.. И вот муфтий здесь — а никакой радости. И не хочется просить прощения за

ту давнюю грубость. Что она теперь, рядом со всем, виденным сегодня...

— Есть жуткая новость...— сказал Шораджаб.

— Я знаю...

— Знаете?!

— Я сегодня весь день с утра был в городе... и видел...

— Я не о том, мулла... Аглям исчез!..

— Исчез?..— Файзулла удивился: что с ним могло случиться, он же был вдохновителем этой резни? Он сказал полувопросительно:— Наверно, просто еще не вернулся...

— Вы не понимаете, баймулла!— сказал муфтий нетерпеливо.— Он сбежал! Прихватил с собой все деньги, собранные для постройки дороги в Мекку, и сбежал!..

Новость резанула Файзуллу как ножом. Даже на фоне сегодняшних ужасов она его поразила. В первое мгновение он подумал только: очередная подлость Шоахсия, чего от него еще ждать!.. Но тут же понял: это крушение... крушение надежд, крушение дела, которому стоило посвятить себя...

— Может, это еще неправда?— сказал он, зная, что правда, и просто цепляясь за пустую фразу, как за продырявленный спасительный круг, от отчаяния.

— Правда,— сказал Шораджаб.— Есть живой свидетель... Пойдемте!

Файзулла покорно пошел за ним. В одном из соседних помещений в темном углу прижалась какая-то длинная фигура в белом тюрбане.

— Поди сюда!— сказал муфтий.

Человек выступил на свет. Это был дылда дастарбанд собственной персоной.

— Говори!..

Дылда, пожевав губами, пробормотал:

— Они иногда давали мне гнях... проявляли милость... А в ту ночь дали больше... я и пребывал в опьянении... Я ничего не знал, таксыр!

— Вас никто не обвиняет,— сказал Файзулла, чувствуя, как в нем поднимается волна тошнотворного отвращения к долговязому.— Скажите только... расскажите, как вы узнали.

— А я поднялся... Вижу, сундуки раскрыты, их комната в запустении... Ждал три дня и три ночи — не

пришли... а потом... захотелось этого самого... Я и заглянул в коробку, где хранилось... А там...

И он, согнувшись в поклоне, протянул Файзулле клочок белой бумаги. Файзулла, одолевая отвращение, взял, взгляделся. Клочок был запиской: «Не ищи меня. Двор с садом и ты проданы по купчей баччамиршабу<sup>1</sup> Мулладжану...»

— Все!— сказал Файзулла резко, не сдерживая себя.— Вы свободны...— Ему казалось, пробудь этот человек здесь еще минуту, он, Файзулла, задохнется. Дылда, безмолвно попятившись, поклонился, вышел.

Файзулла и Шораджаб вернулись в хасхону.

— Простите, таксыр, я должен переодеться,— сказал Файзулла с поклоном.

— Да, да, конечно...

Файзулла сменил на себе чапан, ичиги. На ичигах, в которых он был в городе, темнели бурые следы крови. Чья это кровь? Его собственная? Или того несчастного весовщика, которого он подобрал? Или кого-то из толпы?.. И в своем тихом доме он не спасся от сегодняшнего городского ужаса — резня словно потянулась за ним следом...

Файзулла, сам не сознавая, почувствовал на себе взгляд Шораджаба и поднял на него глаза.

— Не изнывайте так, мулла...— сказал муфтий.— Нашей вины тут нет ни капли. И если раб божий не в силах поймать и покарать вора, это сделает за него всевышний...

Я еще собирался бежать к нему и просить прощения, думал Файзулла. Я — у него...

— Уж не думаете ли вы, таксыр, что я сожалею о своих деньгах?.. Нет, я увидел этот свой взнос на лицах сегодняшних трупов... в лужах пролитой крови... Шоахсий, сбежав, украл не деньги наши, нет — нашу веру!.. Сколько раз я уже разуверялся во всем за последний год... сколько раз! И каждый раз вы убеждали меня: верить можно! Необходимо верить!.. И я верил снова. Вам верил, устод... В сущности, это вы меня обманули!..

Файзулла говорил это страстно, горько, сегодняшние улицы говорили его голосом, вся разоблаченная ложь последних месяцев; а внутри него сидел другой Файзулла, маленький, как отражение на крышке фар-

---

<sup>1</sup> Б а ч ч а м и р ш а б — страж, полицейский.

форового чайника, и удивлялся: как это он говорит такое Шораджабу?..

Муфтий стоял перед ним уничтоженный, не находя сразу и слов для ответа; щеки его вдруг старчески обвисли, морщины выступили. Его стало жалко.

— Молодой мой мулла...— сказал он наконец с трудом, — неужели... неужели вы вправду так думаете? Неужели вы...— Он прервал себя.— Я виноват... виноват тем, что оказался бессилён перед всеми этими событиями. И сам себя казню... и кто убьёт меня, совершит благое дело!.. Только не такими горькими словами...— Он помедлил, наверно, хотел закончить обращением «сын мой», но не решился.

Не хочу больше никого жалеть, сказал себе Файзулла.

— Вы бессильны, таксыр?— сказал он вслух.— Бессильны?.. Не-ет, не совсем так... Была же у вас сила, чтоб увлечь меня за собой, и не одного меня... Нет, сила у вас была... Только служила она обману! Обман был в основе вашей силы!..

Почти выкрикнув это, он вдруг почувствовал, что все в нём иссякло. Он опустил голову, закрыл глаза.

— Вы сказали — он украл веру,— тихонько проговорил Зуфунун.— Не хочу вам больше читать проповеди, но... когда человек лишается веры...— Он помедлил и закончил шепотом:— ...это духовная смерть...

Файзулла чувствовал, что погружается в какую-то полудремоту... в туман какой-то... Когда он поднял голову, муфтия в комнате уже не было. Ушел не попрощавшись. И пусть. Теперь уж не важно... Последние дни и месяцы замелькали перед ним в беспорядке. И всюду присутствовал Шоахсий! Что-то делал, что-то говорил, и теперь его незначашие, безобидные фразы исполнились какого-то дьявольского смысла. Файзулла вдруг вспомнил, что аглям в качестве знатока шариата сказал на похоронах отца: «Деньги, принятые в качестве пожертвования в Мекку, не считаются долгом...» И никто на это внимания не обратил, все забыли в траурной суматохе об этой изрядной в общей сложности сумме, что вручили правоверные Убайдулле-ходже и что тоже наверняка хранилась у Шоахсия. Так он и эти деньги прикарманил!.. И тут же Файзуллу жуткая мысль уколола: а не убили ли его отца ради тех денег?.. Он постарался отогнать ее, так и вовсе с ума спятишь.

Сколько же ему еще предстоит, прежде чем он научится понимать людей! Когда мать говорила ему: «Ты еще молод», это только раздражало, а теперь видит: мальчишка он еще. Мальчишка!..

В комнате было уже совсем темно, он лег не раздеваясь, такая усталость в нем накопилась, казалось, только донеси голову до подушки, тут же заснешь. А лег — и сон не приходил. Посреди бессонной ночи, измаявшись, он подумал: пойти сейчас к маме, прижаться к ней... Нет, это значило бы вовсе впасть в детство, да и мать будить стыдно.

Он не рассказывает матери о таких грязных историях, как эта, с Шоахсием, но мать чувствует все, что у него на сердце. «Не было у тебя детства, сынок, хоть ты и сейчас еще ребенок, — сказала она ему однажды. — И раньше ты был полудитя, полувзрослый, и сейчас полувзрослый, полудитя... Ох, боюсь, отец оставил тебе не наследство, а тяжкий груз...»

— Нет, анаджан, — шепчет Файзулла, словно мать здесь и сказала ему это только что, — нет, вы слишком просто смотрите на вещи. Не груз, оставленный отцом, повергает меня в раздумья. С ним проще: наличные, бумаги, амбары, склады, сундуки... С этим можно разобратся. Но я стремлюсь к чему-то, чего нет!.. Если бы я знал к чему! Сколько всего я уже принимал за это неизвестное... и сколько раз обманывался. Или обманывали меня... Наверное, я ни к чему не пригоден, айи?..

Мать, которую он видит в воображении, стоит, горестно качая головой, и не отвечает. И что она может ответить, если ответа не знает сам Файзулла?..

Он задремывает наконец перед самым утром, но вскоре просыпается, как от толчка. Догоревшая свеча оплыла на чугуна подсвечника растоптанной шляпой. За окном сумеречный рассвет, и темное мутное небо, кажется, придавило землю...

Он так и не увидел лета. Осень началась пронизывающей до костей стужей, какая бывает только в середине зимы, потом чуть отпустило, с карнизов саманных, обмазанных глиной крыш снова капали тяжелые, как сукровица, капли. Горбившиеся вдаль развалины крепостей казались в тумане просто холмами. Файзулла, совершивший поездку в Шафирком, чтоб определить

запасы в кладовых и прикинуть, как выдавать авансы на предмет предстоящей поры окота, вернулся, по сути, так ничего и не выяснив. Эти дела занимали его все меньше. Хотя в течение нескольких последних месяцев ему, как говорится, не елось, не пилося, что-то в его душе происходило благодетельное; мучительные раздумья, перебродив, высвечивались янтарной прозрачностью; какое-то главное понимание близилось, он чувствовал себя спокойней, сильнее, даже на коне держался более уверенно и прямо. И то, что происходило внутри него, казалось существенно, так важно, что внешние обязанности лишь от этого отвлекали.

Его дядя Латиф-ходжа был, конечно, недоволен, что, проездив столько, Файзулла вернулся с неопределенным отчетом. Но, чтоб соблюсти приличия, сохранить мир в семье, не обидеть вдову брата, бай-биби, он не стал высказывать племяннику никаких порицаний. Этот человек с проседью в бороде, высокий, одновременно ширококостный и стройный, многоопытный и твердый характером, давно уже, конечно, хотел прибрать к рукам все хозяйство и преуспел в этом; а теперь это становилось просто необходимым! Главное, препятствий не было: Файзулла за это всей душой!.. Но странный человек: хотя равнодушие Файзуллы к богатству было на руку Латифу-ходже, оно его раздражало, как и прочих родственников. «Неблагодарный,— говорили они меж собой.— Оскорбляет память отца...»

Райхон-биби, счастливая тем, что сын вернулся — и притом явно встряхнувшись душой, даже внешне посвежев,— сразу сообщила новость:

— После вас приходили те ваши приятели, сынок...

Этих приятелей она не очень-то жаловала, но боялась, что сын станет сидеть в четырех стенах, в доме, ставшем для него обителью печали. Пусть хоть с кем-нибудь общается, развеется в беседах, отыщет себе развлечение по душе.

— Какие приятели, мама?..

— Ну, те, что все говорят друг другу «мой эфенди», «мой эфенди»...— Мать улыбнулась.— Ну, один еще такой грубоватый, с рыбьими глазами, а другой... которого называют «мулла без намаза»!

Мать и сын засмеялись. В доме будто посветлело от этого смеха.

Эти приятели-«эфенди» и прежде появлялись в доме Убайдуллы-ходжи; Файзулла познакомился с ними,



еще когда отец болел — те самые Захреддин-махзум и мулла Ахад. Пока «молодой Ходжаев» пребывал в смятении и печали, пока его держал под крылом Zufунун, они не попадались ему на глаза. Но потом как-то навестили и с той поры зачастили к нему, люди жизнерадостные, опытные в беседе, изобретательные в развлечениях, знающие несметное количество подробностей из жизни всех мало-мальски заметных людей столицы эмирата... С ними было забавно, весело, и это общение обещало все, по чему Файзулла втайне от самого себя давно соскучился.

Они были много старше его, но никаких этих «сын мой» у них и в заводе не было, вели себя с ним как сверстники, как ровня и только изредка позволяли себе прохаживаться насчет его «несчастной любви к шейхам и ишанам». Файзулла, конечно, не обижался, напротив, поддерживал эту беззлобную игру:

— Небось не знаете, что значит по-арабски «шейх», а? «Ведущий вперед!» То-то!

— Да знаем, знаем,— отзывался мулла Ахад,— только наши-то давно уже ведут не вперед, а назад тащат! А вы за ними... Подумать-то, ведь спорят о чем: «Сколько раз должны перевернуться нечистоты в текущей воде, чтобы очиститься!» С ума сойти!

И оба хохотали, а Файзулла к ним присоединился.

В прошлую пятницу они пришли к нему после намаза, долго сидели, пировали, болтали, веселились в его комнате, а прощаясь, мулла Ахад оставил страничку азербайджанского журнала «Молла Насреддин» с карикатурой, изображающей улема Бухары. Как следовало из рисунка и текста внизу, этот шейх, имевший в каждом кишлаке по жене, предавался сладким мечтам о том, как сделать всю страну своим бесплатным гаремом. Нарисовано было смешно, изложено тоже, но Файзулле смеяться не захотелось. Тошно ему стало, точно карикатура имела некое отношение к нему самому. И весь день на завтра он бродил по комнатам, спотыкаясь о раскиданные там и сям овальные подушки.

К вечеру пришел <sup>4</sup>Захреддин-махзум. Он теперь часто приходил и один. И в эту зимнюю пору он носил суконный чекмень бордового цвета, борода была подстрижена щегольски. Стоило ему завести мало-мальски серьезный разговор, одно слово так и лезло в уши: просвещение, просвещение... Неужто так просто решается

все, над чем столько времени бился и теперь думает Файзулла? Хотя ведь и великие открывали свои истины в простых словах... Недавно Захреддин цитировал газель Навои:

Так долго слушал шейха я, его тишайшие слова,  
но нету радости в душе — и беспокойна, и слаба...

Продекламировав эти строчки, махзум тонко улыбнулся и продолжать не стал. Он вообще был лишен грубоватости и прямолинейности муллы Ахада.

— Мы знаем, Файзулла-ходжа,— заговорил он сегодня,— вы против всякой косности и невежества... но, увы, и не заметили, как оказались именно в болоте невежества и косности!

— Вы не правы, мулла-ака! И не забывайте, пусть я теперь ищу иной путь, но ум и знания Zufуна уважаю по-прежнему!— Он помедлил.— И к тому же,— добавил он, показывая страничку из «Моллы Насреддина»,— вот это... к нему... не имеет ни малейшего отношения!

— Сие допустимо,— сказал Захреддин.— Zufунун, возможно, человек бескорыстный и знающий, недаром вы его так долго терпели! Арабское слово «улем» ведь и значит «знающий»— вы так любите арабские значения слов... Но для нас-то важны люди, не только знания имеющие, но и убежденные, что надо эти знания распространять! А то ведь иные образованные полагают, что народу знание вредно... Точь-в-точь как богачи, которые считают, что золото надо прятать от бедняков! — Он сам засмеялся своему сравнению. Файзулла улыбнулся.— Я не о вас, Файзулла-ходжа... Вы оказали важные услуги и религии, и нации...

— Разве?.. Что-то не помню за собой такого!

— Не прибедняйтесь... оказали!

— Видите ли,— сказал Файзулла серьезно,— у меня однажды вдруг появилось слишком много советчиков. Были и такие, что предлагали за пистолет взяться ради политики. Но я искал пути чистого, согласного с совестью. И спутников таких же... оттого и к устоду...

— Это понятно...— Захреддин поспешил взять слово с некоторым нетерпением.— Я хочу сказать, что главный враг прогресса — невежество. Ничего нельзя изменить к лучшему в неграмотном и полном предрасудков обществе... А единственное средство против не-

вежества — просвещение! Разве это не очевидно, как разрезанный арбуз?.. Конечно, просвещение требует многих добрых дел, самоотверженных поступков. По-вашему, надо сперва собрать и воспитать достаточно людей с чистой душой и цельной верой, а уж с ними изживать темноту... Нет, планы ваши — пустые иллюзии, байвакча. Не добрые люди делают добрые дела, а наоборот — добрые дела делают добрых людей!..

Файзулла помедлил, подумал.

— Прекрасно сказано, махзум,— сказал он,— но уж слишком категорично... Бывает по-всякому. И потому, что это за дела?

— Мы открыли новые школы: я — в Сузангаране, Юлдаш-кари — в Керки, Исламкул-туксабо — в Шах-рисябзе, домла Икрам — в трех кварталах Бухары. Икрам к тому же написал прекрасную и убедительную статью против несправедливых указов улемов. Молодые образовали общество «Воспитание юных». Фитрат-эфенди написал брошюру под названием «Спор» — о нынешних распрях реакционеров и джадидов, — издал ее на свои средства в Стамбуле, а кое-кто из бухарской молодежи перевез книжечки сюда на ишаках, на дне хурджинов, тайком от царских властей... теперь раздают в Чиракчи, Яккабаге, Китабе. Сейчас в библиотеку прибыла еще брошюра Исмаила-эфенди Гаспринского, ее тоже надо раздать... Главная наша сила и помощники — юноши, подобные вам!.. И дел им все прибавляется. Частный издатель Хайдар-ходжа-бай, собрав пожертвования, готовится издавать газету «Туран», уже получил разрешение у кушбеги. Газете нужно помочь — и писать в нее, и распространять... Нужно помочь и библиотеке «Просвещение», которая находится на бульваре, и библиотеке товарищества «Щедрость». Мы, интеллигенты, уже привлекли к этому общество «Тарбият ул-атфол». У нас есть много мест для общих собраний, бесед, споров, как бы там эти места ни назывались: лавками, артелями... Так что, видите, кое-что мы делаем. А если человек не делает ничего, как узнать, чисты ли его намерения?..

Файзулле прежде и в голову бы не пришло, что этот тщедушный человечек, столь вызывающе пестро одетый — в бордовом чекмене, в чалме, закрученной жгутом, в цветных сапожках, втиснутых в полосатые кожаные калоши, — что этот жизнерадостный искатель веселых бесед и развлечений имеет на самом деле столь

серьезную жизненную программу и может подкрепить ее такой четкой и умной мыслью. Он был совсем не похож на ловкого Бурхони Гулджалика, что приходил к Файзулле с редактором. Тот плел свои корыстные сети под весьма прозрачным покрывалом: торопился эфенди!.. Может быть, Захреддин просто умней его и не торопится?..

— Мы, Файзулла-ходжа,— продолжал махзум,— заняты не молитвами или призывами к другим свершать благодеяния; мы заняты делом простым и практическим, которое люди видят и могут понять. Вы, наверное, знаете, кази-калян написал эмиру целую «Книгу о злостных происках джадидов»... Там он рекомендует не только закрыть новые школы, но и вообще запретить все новое!.. Но и в это тяжелое время мы сумели отстоять главное, чего добились: сохранили татарские школы, газету «Бухорои шариф»...

Упоминание о газете неприятно кольнуло Файзуллу — значит, не зря он только что вспомнил визит того эфенди!.. Нет, сказал он себе, лошений тот ловкач слишком уж не похож на Захреддина. И ведь махзум предлагает практическими делами заняться, а не ходит вокруг да около его миллионов...

— Понимаете, баймулла,— говорил Захреддин,— мы ведь можем привести доводы против всех этих запретов, против тирании улемов, против происков царского чиновничества, основываясь на том самом священном шариате, который они на нас нацеливают как главное оружие! Да, да! Мы не только моложе, энергичнее, мы образованней и умнее их!.. И вас мы хотим видеть в своих рядах. Хватит вам метаться. Приходите на наши собрания, это будет полезно и вам, и нам...

Махзум говорил все это спокойно, как человек, настолько уверенный в своей правоте, что она уже не вызывает волнений, и притом без малейшего нажима, как бы давая Файзулле возможность вникнуть полнее. А Файзулла думал тем временем: выходит, о его духовных поисках догадываются и другие! А он-то думал, это спрятано внутри него. Стало быть, его метания на виду у всех?.. Вот одни говорят о чистоте души, другие — о практических делах. Пожалуй, вторые предпочтительней, они делают хоть что-то, а чего стоит личная чистота, когда разражается катастрофа, он уже видел!.. Но ведь и второй путь вовсе не обещает тех изменений в окружающей жизни, которые так явственно не-

обходимы. Ну, обучат грамоте еще несколько сотен ребят... Ну, будут кропать дискуссионные статейки в своих газетах, исподтишка обличать улемов с помощью того же шарната... Правду сказать, все это так мало даже рядом с размахом хотя бы отцовских дел!.. Нет, нет, отцовская погоня за деньгами решительно не для него; и он готов отказаться от богатств, от каракульских отар в Кызылкумах и европейских магазинов, но во имя чего? Что настоящее, стоящее он мог бы сделать на свои деньги, чтобы до конца жизни сохранить к своей юности благодарность души? Чтобы изменилась жизнь вокруг и дышать стало легче?..

Махзум, видно, принял его задумчивость за результат своего красноречия и, довольный, удалился, тихо поклонившись. Да и Файзулла рад был остаться один. Нет, все-таки он действительно не знает, чего хочет. В конце концов, ему предлагают реальную цель, на которую, во всяком случае, стоит тратить и деньги, и время, и душевные силы. Пусть это не решит никаких мировых вопросов, но что-то сдвинет с места... И будет он не одинок, а среди многих единомышленников... Но никак ему не удастся поймать кончик нитки и размотать клубок внутри самого себя! Хватит на сегодня...

Он лег на ковер и взял в руки изящно переплетенный рукописный диван Навои, который недавно принес Захреддин. Томик открылся на знакомой странице, и тот же бейт бросился в глаза:

Так долго слушал шейха я, его тишайшие слова...

Ему почему-то вдруг стало спокойно. Он отложил книгу, раскинул руки. Сон на него нисходил.

...В середине зимы снова потеплело, на улицах и базарных площадях сделалось пыльно, но воздух был чист, небо ясно, голубые купола сверкали.

А в доме почему-то стоял с утра запах стада; перепел, певший в нитяной клетке с тыквенным донышком, то и дело останавливался и трепыхался, как бы давая понять, что он голоден, а раз весь дом уже проснулся, пора бы и его покормить. Файзулла отодвинул занавес и увидел мать. Райхон-биби, устроившись около ниши, готовила чилим для старухи соседки, забредшей спозаранок. Для соседки, впрочем, удобного и неудобного времени суток не существовало, она слыла самой пронырливой свахой во всем квартале и в любое время дня,

водрузив на голову поднос с приношениями, разгуливала по дворам. Чилим был ее слабостью. Рассевшись против Райхон-биби, она уже запустила свою шарманку болтовни: начала со своего внезапно одолевшего ревматизма, потом ловким маневром перевела речь на всяческие отрезы и наряды, что хранятся в сундуках для приданого, а тут уж один шаг до девушек, достигших совершеннолетия, до их семей, готовых отдать то-то и то-то, лишь бы...

Файзулла нарочито кашлянул, мать и соседка обернулись, ойкнули, увидев его, заторопились, засуетились, исчезли: сваха пошла прочь со двора, мать поспешила проводить ее...

Файзулла ушел переодеться, а когда вышел снова, мать уже накрыла свежий дастархан, разложила лепешки, халву, слоеные язычки, пирожки с тыквой, поставила сметану и села против его обычного места, по привычке подперев голову кулачком. Так они сидели каждое утро, пока Файзулла завтракал. Он сел есть, а мать следила заботливо и тоскливо, в глазах ее был вопрос. «Что с тобой снова?» — казалось, вопрошал ее взгляд.

— Сегодня опять я не спала ночью, сынок, молилась, чтоб аллах даровал вам терпение и прозрение...

— Напрасно, мама, в душу мою и так приходит порядок. Слава аллаху... Это после смерти отца тьма втянула меня в свою пасть, и вы были в трауре. Оттого и впал в излишнее смирение...

— Тихая жизнь всегда была вам в тягость. О какую стену ударитесь вы теперь?..

— Ну, это мы увидим! — Файзулла засмеялся. — Чего в Бухаре хватает, так это стен! Улиц, улочек, тупичков... А вообще, как говорит Захреддин-махзум, жизнь представляет собою цепь разбитых надежд!

— Ох, сынок, часто вы стали поминать этого Захреддина, уж не наставник ли он ваш новый?.. Нельзя ведь увязываться за каждым, кто сказал что-то заманчивое, будьте осторожнее, дитя мое!..

— Ну, у этого-то человека ум ясный, айи! — Файзулла вытер полотенцем тонкие свои губы, над которыми, заметно чернея, пробивались уже усики. Вместе с ним мать прочитала молитву над дастарханом. Оба поднялись.

— Не думайте, сынок, что я не понимаю, — сказала Райхон-биби. — Я же вовсе не хочу, чтоб вы, как девица

какая, засиделись дома. Наоборот! Истинный джигит живет людскими заботами, разделяет и радости людей, и беды их. Ищите свой путь, ищите, только вот эти ваши нынешние, эти эфенди... не нравятся они мне, и, сдается, они сами друг другу не нравятся, все косятся друг на друга...

Умница мама, умница!.. Он прижался к ней, прощаясь. Надо же, в точку попала, какое простое слово нашла для того, что неосознанно смущало его и чего он сам не мог выразить, вычленив из всей смуты своих размышлений!.. «...сами друг другу не нравятся...» — мысленно повторил он с удовольствием, уже шагая по улице. Именно! Как же это, одним, общим делом заняты люди столь разные, и не только характерами, нет — устремлениями, интересами... Он почувствовал себя легче, бодрее, даже воодушевление почувствовал, будто вынул старую занозу: слово нашлось!.. Конечно, это вовсе не сводит на нет самого дела; если делать его честно, бескорыстно... самоотверженно...

Утро сегодня было по-весеннему теплое, хотя до весны месяцы оставались. Реденький туман поднимался от земли, словно рассеиваясь, а на деле заволакивая округу и закрывая небо; солнце смотрит как сквозь кисею, воздух насыщен влагой. Миновав базар для пряжи, Файзулла направился в сторону Оружейных куполов. Где-то за ними в доме учителя предстояло сегодня собрание, на которое пригласил его Захреддин. Учитель встречал гостей у ворот дома рядом с кузней, он узнал Файзулла, проявив крайнее почтение. Файзулла тоже его знал, правда, больше понаслышке. Этот человек с подстриженными усами, по имени Парсоходжа, был известен своим увлечением арабистикой и вообще изящной словесностью. Дом его, довольно неказистый снаружи, внутри выказывал признаки достатка; собрались все в большом квадратном зале, где единственная колонна в центре поддерживала крестообразно положенные балки потолка. Оказалось, все уже в сборе, Файзулла пришел последним, сопровождаемый хозяином.

Человек десять знакомых и незнакомых поднялись с места в знак приветствия, и Захреддин-махзум, то ли решив, что молодого гостя нет необходимости представлять, то ли сделав это заранее, просто указал ему на почетное место рядом с собой в глубине комнаты. Файзулла поздоровался, сел, искоса оглядел присутст-

вующих и заключил, что его приход стал причиной некоторого оживления и волнения. Кроме Захреддина, муллы Ахада и хозяина здесь оказался еще один знакомый — Садир-макарджа. Этот купец, ходивший всегда в мелкостеганом чапане и в феске без чалмы, совершил однажды поездку в Россию и побывал на знаменитой Макарьевской ярмарке, откуда и происходило его прозвище «макарджа».

Впрочем, приглядевшись, Файзулла узнал еще двух: Тукли-охотника, могучего с виду парня, он и в этом холодном зале сидел в легком халате; и еще желтобородого человека по имени Салихджан. Тукли был известен скорее не сам по себе, а как сын знатока и ценителя драгоценных камней, владельца немалых земельных наделов; Тукли, правда, кичился своим происхождением — он, по его словам, происходил из аристократического рода барласов, — но в остальном был человек открытый, без особых предрассудков и собеседник приятный. Зато о Салихджане мало что знали; поговаривали, что он родом из Ферганы. Он снимал комнатушку в квартале Гавкашон, был прихвостнем муллы Ахада, открыто прислуживал ему и всем в его компании, встречал восторгами чуть не каждую его фразу. При случае мог спеть, выстукивая дробь на пиале, подоткнув за пояс полу не первой свежести халата и сдвинув набок тюбетейку с цветной каемкой... Сейчас именно он и принялся расстилать большой дастархан и раскладывать подаваемые кушанья. А мулла Ахад тем временем разговорился с таким видом, словно и был хозяином дастархана. Возможно, он продолжил тему, начатую еще до прихода Файзуллы, или Файзулла, разглядывая гостей, пропустил начало его речи, но прислушался он, лишь когда Ахад заговорил об эмире.

— На наше счастье, — говорил мулла Ахад в своей обычной грубоватой, напористой манере, — сам эмир Алимхан — человек высокопросвещенный, образование в Петербурге получил. Общим своим указом он положил начало многим реформам!.. Запретил давать придворным взятки под видом подарков — раз. Уменьшил налог с проселочных дорог — два. Другие налоги снизил — три. Увеличил жалованье сарбазам<sup>1</sup>, военачальникам — четыре. Отменил помесячные взимания — пять... Все это радостные предвестия, уважаемые эфен-

---

<sup>1</sup> Сарбазы — стражники.



ди. Это начало нового... Да ведь в чем беда: ни в Хисаре и Каратегине, ни в Кулябе и Дарбазе еще и ведать не ведают об этих реформах! И подарки берут по-прежнему, и налоги взимают, как раньше... Наш долг, уважаемые эфенди...

— Наш долг, почтенный мулла Ахад,— вдруг перебил его, глядя вниз, Парсоходжа,— не воздавать хвалу высшей знати, а стремиться к искоренению предрассудков, невежества... и прежде всего в наших школах.

Он сказал это очень тихо, но все услышали, в том числе и сам мулла Ахад, и в зале, только что звеневшем от его голоса, наступила вдруг тишина. Впрочем, Ахада это смутило ненадолго.

— Но я вовсе не хвалу возношу, уважаемый домла, я перечисляю факты!.. И продолжу, с вашего позволения: Насрулла-кушбеги сейчас как раз и проводит реформы в медресе. Введено жалование и в школах — преподавателям богословия, художественного чтения, каллиграфии, арифметики. На все это дано уже высочайшее разрешение! Вы забываете, что во время предыдущего правления были запрещены даже татарские школы, вверенные русской администрации!..

Он замолк, может быть, просто чтоб перевести дух, но тут вступил Захреддин, лицо которого покраснело от раздражения:

— Насрулла-кушбеги вместе с самим его высочеством эмиром и имамом Кулибеком развлекаются перепелками, втайне предаются разврату, им до нужд народа и дела нет, и вы их нам восхваляете как просветителей!..

— Уж известно: каждую ночь тратят на свою похоть столько, что две школы можно содержать,— густым басом, разбудившим эхо в углах зала, сказал Тукли-охотник.

Мулла Ахад промолчал.

— И мы,— сказал Захреддин,— мы не ограничимся тем, что выступим против мерзостных нравов и расточительства...— Казалось, он сам себя прервал на этом, не решаясь сказать больше. Но и этого было достаточно, все уставились на него с удивлением и опаской. Напряженную паузу прервал Салих, который внес исходившую ароматным паром шурпу в больших мисках.

— Кушайте, прошу!— сказал Парсоходжа, приглашая всех, и обратился к Захреддину:— Мой эфенди, покончить со своеволием, с этим мнимым всезнайством

в наших школах и медресе — первейшая наша обязанность! — Он не то вернулся к теме, которую прежде начал, не то старался вернуть махзума на рельсы умеренности. — Сколько в наших медресе развелось мулл-недорослей, толкующих вкривь и вкось предания о пророках! Чуть не каждый, отставив книги, преподает по собственным комментариям, которыми заполнил пустые поля! Но самое безобразное, самое кошунственное: Шамсуддин-мавляви сделал свои комментарии обязательным для изучения предметом! Так скоро не останется ни времени, ни места для преподавания других наук!..

— Истинную правду сказали, таксыр, истинную правду! — проворковал Салихджан, все еще сновавший с мисками, блюдами, пиалами.

Файзулла сидел и слушал. Ему хотелось уловить основную мысль, ухватить главный стержень разговора, то, вокруг чего вертятся мысли в с е х, и ничего не получалось. Каждый видел действительность в меру своего ума, широты своего кругозора, своего душевного мужества — одних волновали серьезные проблемы, других мелкие факты. Но все обеспокоены, или встревожены, или возмущены тем, что творится вокруг. Все хотят что-то делать. Это уже немало. Файзулла не раскаивался, что пришел сюда. А Захреддин-махзум, тот Файзулле сегодня определенно понравился. О чем он теперь скажет?..

Но слово взял Садир-макарджа.

— В «Молле Насреддине» недавно напечатали: «Даже бродячий бухарский пес обидится, если его называть муллой!» — Он снял феску и снова ее надел. — И наш почтенный хозяин прав: слишком много полуграмотных недоучек развелось в Бухаре. А ведь когда-то здесь жили такие люди, как Дакики, Наршахи, Бальгами. Сам Ибн Сино отсюда!.. Была в почете подлинная философия, истинно изящное слово. Любой образованный человек мог запросто поспорить об учениях Сукрата, Афлатуна и Арасту<sup>1</sup>. А теперь? Эти имена и не произнесут-то правильно!.. Сплошное невежество! Где книжные базары? Где славные каллиграфы? Прежде высокородные правители сами не брезговали высоким искусством переписки книг... А нынче? Людей много — личностей нету... Где все это, о муллы мои, где?..

---

<sup>1</sup> Сократа, Платона и Аристотеля.

— Ах, верно говорите, таксыр, верно...— вздохнул Салихджан.

Файзулла глянул на Захреддина, ожидая, что он скажет, но тот истолковал этот взгляд по-своему.

— Уважаемые... у нас сегодня новый гость. Мне не хотелось бы, чтоб Файзулла-ходжа увидел в нас просто приятелей, собравшихся ради угощения и между делом болтающих о том о сем. Иные из нас лишь тем озабочены, чтоб дело ограничилось только просвещением. Положим, это и хорошо, что просвещение стало ядром наших действий... Но неужели мы этим ограничимся? Мы тут болтаем, хвалим благодетельные указы эмира, рассуждаем, как преподавать богословие, а тем временем по всей стране сдирают с народа шкуру. Посты кази и раиса, хакима и додхо, да и все прочие должности продаются, а купивший тут же нацепляет на чалму эмирскую грамоту и отправляется в поход за «подарками для придворных», за податями, о каких подчас никто и не слыхивал и не вводил! Эта свора хуже ночных разбойников, ей-богу! От тех есть хотя бы замки, двери, дубины. А эти приходят среди бела дня, как завоеватели в собственной стране: плати — и не пикни! Кроме основных налогов теперь появились еще введенные эмиром подати на содержание водоносов, конюхов, музыкантов, писарей, ясаулов, придворных слуг и еще невесть кого... Я вам говорю, этим поборам конца нету! А кто не в состоянии платить, тех берут под стражу. Тюрьмы Балджувана, Коволика, Каратегина переполнены. Сумму, которую железнодорожная компания выделила для оплаты рабочих на железной дороге, бек преспокойно положил в свой карман, а рабочих обрек на голод и холод. Кто попробовал заикнуться о плате, арестовали. И даже когда все вскрылось, бека вместо того, чтоб наказать, повесили и отправили раисом в Шахрисябз!..

— Все от невежества, мой эфенди,— пробормотал Парсоходжа,— все от невежества... Если б... образования...— Он явно чувствовал себя не в своей тарелке.

Захреддин опять не счел нужным обратить внимание на его отчаянный намек.

— Так ведь и с образованием то же, вы сами об этом говорили. Сколько раз новые школы то разрешались, то запрещались! И татарские школы... они-де под влиянием русских, и детям Бухары грешно их посещать! Может быть, вы забыли, как домлу Икрама, ре-

форматора медресе, за то, что он отменил вступительный налог, выступил в защиту синемаатографа и в пользу мощения улиц, сослал в Пешку?.. Нет, таксыр, дело образования — часть общего положения. И останавливаться на полпути нельзя. В эти дни такие вот собрания проходят по всей Бухаре. И надо объединиться, наладить материальную помощь нашим библиотекам, чтобы правдивое слово услышали и ремесленники, и мелкие торговцы, и бедняцкий люд, и даже женщины!..

Парсоходжа, побледнев, поднялся с места.

— Но в таком случае, таксыр... в таком случае к нашему делу примкнет разное отребье... разные смутьяны, которых и отцы родные стыдятся!.. Аллах милостив... и повелитель правоверных может нас пощадить... но русские власти в Кагане... их секретный отдел пощады не знает! Покайтесь, махзум-эфенди!..

Захреддин, чуть презрительно покачав головой и сурово насупясь, поднялся молча. Рядом с хозяином тоже молча поднялись мулла Ахад и Салихджан. Остальные в растерянности переглядывались, потом, молитвенно проведя руками по лицу, встали. Конец собрания вышел неожиданный, неприятный, без обычного оживленного переговаривания и прощальных слов. Получалось, их выпроводили. Хотя, казалось Файзулле, Парсоходжа этого вовсе не имел в виду...

Выйдя, Файзулла почувствовал себя совсем неловко. С кем пойти рядом?.. Он отнюдь не остался равнодушным. Конечно, по существу прав Захреддин, к тому же его, Файзулла, именно махзум пригласил сюда. Но он не должен был таким явным пренебрежением оскорблять хозяина... Пока Файзулла раздумывал, с ним рядом оказался Ходжи Сирадж.

Они не были знакомы раньше и представились друг другу. Им оказалось по пути — Ходжи Сирадж жил чуть западнее Газияна. Несколькими годами старше Файзуллы, он был тощ, с желтым, болезненным, но вместе с тем привлекательным лицом. Как узнал Файзулла из разговора, Ходжи Сирадж, еще недавно учащийся медресе, вынужден был оставить учение, чтоб прокормить больную мать. Потом присоединился к движению джаидов, теперь заведует библиотекой «Просвещение» и получает жалованье за счет взносов.

— Еще будучи в медресе, я слышал о вас много добрых слов, мечтал встретиться, вступить в беседу...

Речь у него была книжная, несколько не соответствующая его молодому возрасту. Да ведь это именно его прозвали «книгочей», вспомнил вдруг Файзулла. Теперь казалось, что это желтизна старых страниц и отсвет ночных свечей перешли на его лицо...

— Сегодня я был лишь покорным слушателем,— сказал Файзулла, принаравливаясь к его тону.

— Сегодня вообще... день, лишенный благословения...— Ходжи Сирадж глянул на темнеющее небо, на вспыхнувшие кое-где фонари под навесами ворот богатых домов и заговорил торопливо, точно боясь, что возможность побеседовать с Файзуллой-ходжой вот-вот исчезнет раз и навсегда.— Если вы пожалуете к нам в библиотеку, радость моя вознесется до небес!.. Буду ждать вас в любой день, в любой час. Вы сможете у нас многое найти: от разных древних книг — и до свежих газет, где излагаются вольнодумные мысли...

— Богатая у вас библиотека?

— Мы стараемся заинтересовать молодежь джидскими изданиями. Раньше мы выписывали газеты и журналы из Стамбула, Крыма, Баку, Казани. Теперь, увы, средств на это нет. Ведь даже наше жалованье — от добровольных взносов... А ведь те, кого мы стремимся просветить, кто к нам приходит, люди не слишком состоятельные... сами понимаете... В этом году мы не смогли выписать даже журнал «Зеркало» из Самарканда... Тот, что издает Махмуд-ходжа-ишан...

На пыльной узкой улице с сырыми глинобитными заборами по сторонам было пустынно, они шагали прямо по колее, выбитой повозками.

— Знаете,— продолжал Ходжи Сирадж,— наши затруднения не только в этом. Я решил во что бы то ни стало сохранить наши редкостные книги... такие, как «Канон медицины» Ибн Сино, «Примечательные события» устода Дониша. Но помещение, где они хранятся, сырое, книги портятся... А ко всему этому,— тут голос Сираджа наполнился особой горечью,— за нами ведь неусыпно следят! И улемы, и придворные чиновники, и русская полиция. Да еще эти тайные осведомители!.. Многих из них мы, положим, знаем, но от этого не легче...

Файзулла взглянул на него искоса, стараясь, чтоб Сирадж не заметил его взгляда. Ластиковая чалма потерта, грязновата, шея тонкая, жалкая...

— А жалованьем своим вы довольны, Сирадж-эфенди?

— Ну, это не столь существенно, Файзулла-ходжа... Ваш покорный слуга свыкся с нуждой, я за любое даяние благодарю аллаха. Но вот с душевными муками совладать труднее. Да и болезнь матери меня согнула. Когда покидал медресе, решил освоить искусство врачевания. Увы, судьба превратна, не повезло мне... и желание мое не осуществилось, и сам потерял здоровье. Впрочем, это долгая история... когда-нибудь, если будет у вас время, я расскажу.

— Отчего же когда-нибудь, Сирадж-эфенди! Расскажите теперь, я не тороплюсь. Чем, кстати, больна ваша матушка?

— Ришта... Ришта, Файзулла-ходжа! Страшная болезнь, обитающая в Ляби-хаузе и грозящая всем в нашем городе! Несчастные, подобные моей матери, есть почти в каждом доме...

— В Ляби-хаузе?..

Где я это слышал, думал Файзулла. Говорил кто-то...

— Да, Файзулла-ходжа. Микробы ришты живут в воде хауза.

— Откуда вы знаете?

— Лет двадцать назад в Бухаре холера была, слышали, наверно?.. После того из Петербурга несколько русских врачей приехали, стали проверять скотобойни, мясные лавки, водоемы, каналы, канавы дренажные... Вот тогда и нашли в Ляби-хаузе микроб, который ришту вызывает. Они ходили по домам, объясняли, лечили... Но народ у нас темный, своей пользы не понимает, а про микробов они отродясь не слыхали! Невидимое — значит, нету...

— Верят же они в духов, в шайтана, а ведь тоже не видели!

— Это другое, с детства вдалбливали... Ну вот, с одним из русских врачей меня аллах свел: Ульян Владимирович Соломенцев. Святой человек, старик уже. Просвещал меня, учил — я тогда только из медресе ушел, может, и выучил бы чему-то, да не судьба была... Русских врачей выжили!

— Как выжили?..

— А так. Они требовали очистки всех зараженных мест... а эмир не хотел в расходы входить. Предоставил все молитвам улемов. Те решили: ежели микробы есть,

то они твари божьи; уничтожить их — нарушить волю всевышнего! Великий грех... Русских врачей объявили «осквернителями веры», не давали житья... и царский посол посоветовал им немедленно уехать. Так я своего учителя больше и не видел...

Да ведь про это Шульгин говорил, вспомнил вдруг Файзулла. Правда, приврал наполовину...

— И вы знаете подробности этой истории?— спросил он Сираджа.

— А как же. У меня и бумаги сохранились!

— Какие бумаги?..

— Ульян Владимирович однажды принес. На сохранение. Сказал, у него украсть могут. Да так и уехал, не забрал...

Вот это да, подумал Файзулла. Не чета всем пустым разговорам.

— Сирадж-эфенди,— сказал Файзулла осторожно,— не могли бы вы мне эти бумаги показать?..

— Да я их вам с собой дам. На такой случай и берег!

— А что там в них, не знаете?

— Зна-аю! Выводы работы комиссии... Прошу, Файзулла-ходжа, вот и мое жалкое пристанище!

Маленький дворик встретил их запахом кизняка и овечьих шкур. Айвана не было, они вошли прямо в дом, и Сирадж зажег лампу. Они были в комнатке с высоким потолком и высокими, до потолка нишами, полными пожелтевших книг и бумаг. В углу лежали обрезки кожи, книжные обложки, ножницы, нож, тиски. В холодном воздухе комнаты застарело пахло клеем и сыростью.

— От отца осталось,— сказал Сирадж, заметив взгляд Файзуллы.— Когда руки доходят, пропитания ради занимаюсь переплетным делом...— Он достал из сундучка клеенчатый узел, перевязанный шпагатом, развязал, покопался и протянул Файзулле пачку пожелтевших бумаг.

— Спасибо!— сказал Файзулла. Он аккуратно сложил пачку и сунул за пазуху.— Будут целы! С божьей помощью, может быть, и пользу принесут... А теперь давайте попросим благословения вашей матушки!

Сирадж взял лампу, они вышли на улицу и вошли в другую дверь. В этой комнате было заметно теплее, чувствовалось, что под сандалом, накрытым одеялами, тлеют горячие угольки. Их приход и свет лампы, дол-

жно быть, разбудили больную, из угла послышался слабый голос:

— Будь благословен ваш приход, гость... Сынок, в сандале есть еще огонек, поставь кувшин с водой...

В полутемном углу лежала, казалось, кучка тряпья. Файзулла вгляделся. Крошечное, как у ребенка, высохшее тело старухи было прикрыто не полностью; из голени и ступней, словно вылезшие наружу косточки, виднелись тоненькие лучинки, обмотанные словно белыми нитками. На иссохшем, похожем на маску скелета лице читалось безграничное терпение. Файзуллу пробрала дрожь; он сказал, что опаздывает, и поторопился выйти.

— Она принимает какое-нибудь лечение? — спросил он Сираджа, вышедшего проводить.

— За ней смотрит парикмахер Чары.

— Парикмахер?..

— Ну да, разве вы не знаете — этой болезнью занимаются парикмахеры... Тут у нас в парикмахерской часто висят связки высушенных червей ришты. Это такая реклама: у кого связки толще, к тем больше народу лечиться идет. Каждые два-три месяца Чары приходит, наматывает червей из раны на лучинки. Если оборвется, останется в теле, беда, нога гнить начнет...

Файзулла почти бежал домой. Картина, увиденная в доме Сираджа, преследовала его, как кошмар. Он вспомнил слова библиотекаря: такие несчастные есть в каждом доме... Аллах великий, как же страшна их старая Бухара!

Райхон-биби, всегда с тревогой поджидавшая его, если он задерживался допоздна, вздрогнула от испуга, увидев его лицо. Он снял чапан, и тут плотная шелестящая пачка за пазухой напомнила о себе. Он вытащил ее, кинул в нишу. Зачем он попросил эти бумаги? Что ему делать с этим старым отчетом? У него вдруг появилось ощущение, что бумаги заразили его какой-то из страшных болезней, о которых говорили. Помыть руки и забыть это все и никогда к этому не возвращаться...

Нет, сказал он себе уже лежа в постели. Бумаги-то старые, но та несчастная старуха мучается и сегодня. И тысячи других тоже. Бумаги-то старые, но все остается по-прежнему. Или он только красивые слова готов слушать да подбрасывать ловкие реплики, словно мелкие толики денежных подачек?.. Неужели на большее



он не способен и останется навсегда пустым болтуном, не умеющим ничего сделать для людей так же, как и отцовское дело продолжить?.. Нет, он не позволит себе забыть об этом, да и не сможет забыть. Каждый донос теперь покажется ему разносчиком беды. Страшная ришта въелась в тело благородной Бухары. Все в ней надо менять, все...

Со следующего собрания — в чайхане при лавке «Щедрость» — он возвращался вместе с Захреддином.

— Я слышал, — сказал ему Файзулла, — не хватает денег на то, чтобы выписать для библиотеки «Просвещение» газеты и журналы из Баку, Казани и Бахчисарая? Что вы скажете, Захреддин-эфенди, если ваш почкорный слуга возьмет эти расходы на себя?

— Это было бы очень кстати, баймулла, — сказал Захреддин, не скрывая удовлетворения. — По правде сказать, мы рассчитывали на вашу щедрость, потому что с деньгами у нас довольно туго... Ваш взнос будет не просто щедрым жестом, но и выражением единодушия со всеми нами. Кстати, расходы на подписку для библиотеки — не единственные, которых мы не можем оплатить. Есть и более важные. В Кагане, в типографии Хайдар-ходжи-бая, лежат новые учебники для джиддских школ, которые уже напечатаны и которые нам не на что выкупить...

— Я беру на себя расходы и по этому делу, Захреддин-эфенди, — сказал Файзулла.

— В таком случае, уважаемый, на следующем нашем собрании...

— Нет, нет, эфенди, не заставляйте меня краснеть перед собравшимися... Не надо ничего объявлять, просто дайте мне в помощь знакомых с делом людей, и мы всем этим займемся без шума.

— Ну что ж... Это очень скромно и благородно с вашей стороны. Что до людей, библиотекой занимается Ходжи Сирадж, типографскими заказами — Парсходжа. Вы с ними знакомы...

Файзулла сам себе понравился в этом разговоре. Наконец-то он чувствовал себя участником дела! На другой день деньги были переданы. На учебники, оказывается, наложили арест за долги, а теперь Парсходжа получил их, погрузил на арбу в Кагане и привез, оставалось распределить между учителями. Так же просто решилось дело и с подпиской. Несколько дней спустя Файзулла предложил деньги для издания не-

скольких брошюр, в том числе трактатов Дониша, Исмаила Гаспринского, Икрама-домлы. Молодежь общества смотрела на него с восторгом, среди городской интеллигенции только и разговоров было что о Файзулле-ходже. В обеих библиотеках стало заметно многолюднее, «единомышленники» из числа тех молодых, что в отдаленных махалля, в скудных двориках учителей участвовали во всяческих собраниях-угощениях, теперь старались попасть на те большие сборища, где можно увидеть Файзуллу.

И Файзулла ощутил в себе уверенность, смелость. Пора было исполнить задуманное. Он положил себе, не оттягивая больше, сделать это на ближайшем собрании в библиотеке.

Там присутствовали почти все знакомые ему энтузиасты, в том числе Захреддин-махзум и мулла Ахад, Ходжи Сирадж, редактор «Бухорой шариф» Мирза Мухиддин, гость из Стамбула Салих-эфенди, Абдулахад-кари из Гавкашона, учтивейший Бурхони Гулджалик и еще множество знакомых и незнакомых, среди которых, как всегда, разнося чай и отпуская свои льстивые реплики, сновал Салихджан. Было шумно, дымно и так тесно, что насвай сплунуть некуда.

На Файзулле был сегодня легонький шелковый чапан; от огромной накрученной чалмы голова казалась чересчур большой. На его смуглом лице с пробивающейся бородой и усиками читалось не то волнение, не то нетерпение. На низеньком столике перед ним разложены были пожелтевшие бумаги из той пачки, что дал Ходжи Сирадж. Наконец после нескольких выступлений он взял слово.

В сущности, он еще не выступал никогда на этих собраниях. Но в последнее время о нем — его щедрости, размахе, уме — так много ходило толков, что, едва он встал, воцарилась мертвая тишина. Даже Захреддин — Файзулла отметил это краем глаза — смотрел с величайшим вниманием, слегка приоткрыв рот.

В первое мгновение Файзулла слегка волновался, но потом собственный рассказ захватил его. Он начал безо всяких предисловий и коротко рассказал историю русских врачей. Потом, не говоря, откуда у него бумаги, принялся переводить самые важные места отчета. Картина, которая вырисовывалась, выглядела кошмарной, неправдоподобно ужасной. Но каждый из сидящих в зале библиотеки сам знал, видел какой-нибудь уголок

этой картины, и сомнений она не вызывала, напротив, ошеломила всех цифрами и о б щ е й своей беспросветностью. Все слушали молча, потрясенные.

— Такие дела, уважаемые!— заключил Файзулла.— Хотя эти цифры и факты записаны несколько лет назад, они, сами знаете, нисколько не устарели. Ничего не изменилось! Те же зловонные скотобойни, те же различные водоемы, каналы, места омовения, где кишат микробы. Отсюда разносятся по городу новые и новые болезни, и в каждом бедном доме лежат долгими годами страдальцы, умоляющие бога послать им смерть. Но мы же не дикари какие-нибудь, не животные, не язычники, не кочевники — мы народ, имеющий свое древнее государство! До каких же пор мы будем такое терпеть? До каких пор позволим позорить себя перед другими странами? На что мы похожи в их глазах, если чужие врачи и ученые, подвергая себя опасности, приезжают, чтоб спасти нас от страшных недугов, а мы вместо благодарности издеваемся над ними и в конце концов выгоняем вон?! О каких других благах стоит вести речь, если мы не умеем ценить даже собственные жизни?!

Вскочил какой-то молодой учитель.

— Это дело надо поднять заново!— закричал он.— Пусть правительство эмира выделит деньги, чтоб избавить нас от заразы!

Парсоходжа, поспешно отвернув край паласа и сплюнув насвай, ответил:

— Есть указ улемов, наши руки связаны, молодой эфенди!

Садир-макарджа поднялся, по обыкновению сняв и тут же надев феску.

— Знаем, знаем, таксыр! Болезни — от бога, голод — от бога, глупость — от бога, микробы — тоже божьи творения... Остается только вытянуть ноги и покорно ждать смерти. Ведь смерть — тоже от бога. А правительству этот указ улемов очень кстати! Заплатить за такой указ куда дешевле, чем заняться оздоровлением города... Дешевле и проще!.. Никаких хлопот...

— Зато вам легко говорить, собрат мой!— сказал Парсоходжа раздраженно.— Заплатить за указ... Нельзя по любому поводу оскорблять правительство и служителей бога...

Тут уже и Тукли-охотник не стерпел. Он сидел

с краю, попивая чай и обливаясь потом, а теперь вско-  
чил, вырастая над собравшимися всем своим огромным  
телом.

— Что это вы, таксыр, столь ревностно печётесь  
о престиже правительства и улемов? Разве мы для это-  
го сюда собрались?.. Пусть они о своем престиже забо-  
тятся сами! А вы лучше вспомните, как во времена  
эмира Абдулахада, когда на поля Пешки и Керки на-  
пала саранча, улемы заявили, что и «саранча — божье  
творение», и запретили жечь ее. И эта зеленая напасть  
изглодала, пожрала все сады, посевы... Сколько народу  
с голоду поумирало!

Он сел и снова взял пиалу, а позади него поднялась  
грязноватая чалма Ходжи Сираджа.

— Это правда!— сказал он.— В тот голод умер  
и мой отец... Но я хочу сказать другое: по тому же  
поводу, что и русские врачи, был когда-то обвинен  
Ибн Сино. Этому великому целителю говорили, что  
бог, давший недуги, сам их излечит, а Ибн Сино, вме-  
шиваясь, совершает богохульство. И его, и Шайхур-  
раиса, благороднейшего из ученых, называли невер-  
ующими, кяфирами!.. Кто теперь посмеет сказать что-  
нибудь подобное? Впрочем, он и сам ответил пре-  
красно:

Чтоб дух мой выразить — мой дар мне свыше дан.  
А совести моей не надобно румян.  
Ислама суть и власть я подкрепляю знаньем,  
И если я кяфир — нет в мире мусульман!

В зале зашумели:

— Прекрасно! Прекрасно!

Многие и прежде знали это рубан, но лишь теперь  
поняли, в кого оно метит.

Садир-макарджа снова поднялся.

— Уважаемые! Уважаемые! Тише... Пусть Файзул-  
ла-ходжа выскажется до конца!

— Да! Конечно! Пусть выскажется...

Файзулла сложил документы пачкой и поднял над  
головой.

— Прежде всего этот отчет надо через газету до-  
вести до сведения людей, всего населения! А потом —  
с соответствующим комментарием — направить их его  
величеству эмиру Саиду Алимхану и послу России  
в Бухаре господину Мюллеру!..

Раздались шумные крики одобрения, а когда они начали стихать, негромкий голос спросил ядовито:

— А от чьего имени?..

Голос принадлежал ходже Захреддину.

После мгновенной паузы зал снова взорвался:

— Ка-ак?!

— Как от чьего?..

Ходжа Захреддин, который сидел до сих пор молча и хмуро, теперь, подняв голову, оглядывал зал.

— А так!— сказал он.— От чьего?.. От нашего? А кто мы такие? Представители народа? Он нас не уполномочил! Или мы знатоки, врачи? Мы никто, господа. Ник-то!.. И все это пустое, вся эта наша говорильня. Чтобы совладать с болезнями и эпидемиями, так же как и с невежеством и нищетой, надо сперва покончить с главными, истинными микробами! Избавиться от злобных улемов и ненасытных эмирских чиновников. Наши враги — это они и есть: страшные микробы в обличии людей!..

Такая тишина на это ответила, точно весь мир оглох. Или будто все ждали, что следом раздастся уничтожающий взрыв. Все сидели недвижно, не глядя друг на друга. Наконец кто-то не выдержал.

— Боже спаси и помилуй!— тихонько выдохнул панический голос.

Первым поднялся Абдулахад-кари, он встал, отрянул полу своего чапана и направился к выходу. За ним двинулись Бурхони Гулджалик и Салих-эфенди в красной феске. Потом встал, словно опомнившись, Парсоходжа; обратившись к своему соседу в огромной чалме, он пробормотал:

— Как бы не пропустить полдневный намаз, таксыр, грех ведь...— И тоже вышел.

В несколько минут читальня опустела. Оставались только Садир-макарджа да Тукли-охотник, сидевшие на циновках, скрестив ноги и уставясь в пол, да еще Ходжи Сирадж, стоявший у дальней стены. И, конечно, Захреддин-махзум, он сидел с пиалой в руке, вид у него был невозмутимый, точно не он причиной всего.

— Таксыр,— сказал Файзулла, набычившись,— уже не в первый раз в моем присутствии вы высказываетесь так, что срываете собрание... Может быть, вы делаете это нарочно?

Захреддин взглянул на него с мрачной и издевательской усмешкой.

— И зачем же мне это, по-вашему, нужно?

— Ну... может быть, затем, чтоб нанести вред... сорвать все наше движение!..

— Во-он в чем вы меня подозреваете, байвачча!.. «Наше движение»... Вы, однако, быстро освоились... Оно и понятно: кто платит, тот и музыку заказывает! Файзулла покраснел.

— Дело совсем не в этом... И вы это прекрасно знаете, таксыр! Но объясните тогда, зачем, пока цель наша — объединить, сплотить, привлечь, наконец, людей, вы их сознательно отпугиваете такими резкими... такими опасными словами?

— Это всего только вывод из ваших фактов!

— Но выводы можно делать разные и по-разному...

— К э т о м у выводу рано или поздно придут все умные люди. Пусть привыкают!

— Именно: надо им дать привыкнуть, а не оглушать неожиданно такой политической дубиной! А теперь что? Все разошлись, и многих больше сюда не заманишь... Вы умный человек, таксыр, и я не могу поверить, что сделали это просто по недомыслию...

Захреддин снова издевательски усмехнулся.

— Благодарю за комплимент... Вы не можете поверить просто потому, что сами так же боитесь правды, как все эти разбежавшиеся!— Он повел рукой, показывая на зал.— И почему только вы не сбегали вместе с ними?.. А, тоже понятно: за спиной у вас все-таки деньги... не так страшно!.. Ну, а я вот вообще ничего не боюсь!— И он добавил с явной злостью и непоследовательностью, которую, впрочем, Файзулла заметил, лишь когда потом прокручивал в памяти весь разговор:— Голому, байвачча, дождь не страшен. У меня нет миллионов, которые я боялся бы потерять!..

Файзуллу точно оглушило. И он слышит это от человека, которому поверил, ради слов которого пришел сюда, влез в это дело! Издевательское это «байвачча»... Он не нашелся, что сказать в ответ, точно его уличили в миллионах, как в некоем постыдном грехе. Не глядя больше ни на кого, оскорбленный, яростный, униженный в своем обманутом доверии, обиженный почти до слез, он выбежал вон и зашагал стремительным шагом, почти бегом, в сторону Газияна, к дому.

Лето 1914 года затянулось. На календаре осень, а на небе все ни облачка, нестерпимый пыльный зной не

отпускает ни на час. Файзулла, измотанный жарой, забросивший дела, в последние дни нет-нет да и вспомнит зеленый кишлак в Ромитане времен его детства... Но благостные картины сразу сменяются в памяти другими: высохшие деревья, занесенные песками дворы... Чем-то заняты сейчас его дяди — Шахабиддин, Нуриддин, Кушмак, Шоди, рябой Хамза? А бедняга Муминшо?.. «Да,— вспоминает он слова Хамзы,— пока город не загорится, кебаб дервиша не изжарится! Занесло нас песками, вот и научились ремеслам...»

С тех пор прошло два года без малого. Теперь им, наверное, совсем туго приходится — ко всему прибавилась война с Германией, которая и здесь, на другом конце света, дает себя знать. В Фергане и Самарканде, говорят, стали поголовно брать в мардикеры<sup>1</sup>... Никто здесь не может понять: к чему белому царю истреблять столько народа?..

Однажды в сумерки, после предвечернего намаза, к нему пришел Ходжи Сирадж.

— Махзум вас просит!— сказал он после приветствий.— Очень срочно! Собрание чрезвычайной важности!..

— Махзум? Срочно?..— переспрашивал Файзулла. Он сразу решил, что никуда не пойдет, а глаза его меж тем обшаривали комнату в поисках брошенных вчера как попало сапог.

— Очень срочно!— повторил Ходжа Сирадж. Он в нетерпении потирал свою тонкую шею.

Файзулла натянул сапоги. Мгновение спустя они шагали по улице.

— Зачем же он меня зовет?— спросил Файзулла.— И... настроение-то у него какое?..

Ходжи Сирадж понял.

— Не беспокойтесь, не обижаются они на вас, не такой человек...— Он помедлил.— А все-таки вы, Файзулла-ходжа, напрасно им тогда наговорили.

— Напрасно?..

— Напра-асно!.. Я уж знаю.

— Что знаете?..

— Да ведь махзум в тот день письмо из кишлака получил!

— Письмо? Какое письмо?

— Страшное! Их почтенные родители, можно ска-

---

<sup>1</sup> Мардикеры — наемные сельскохозяйственные рабочие.

зять, слезами кровавыми писали. Махзум сидел, обуздывая свое горе, а вы не учуяли...

— Да какое же письмо, Сирадж-эфенди?

— В их кишлаке смутьяны убили хакима... хакима Каратегина! Четырех человек из кишлака схватили и казнили.

— И что же?..

— А го, что из тех четырех двое были единокровными братьями махзума, вот что!

Файзулла даже приостановился, точно его в грудь толкнули. Стыд какой! Как скверно вышло, аллах великий... Ну почему, почему у него получается все невпопад!..

В зале библиотеки было, к его удивлению, полным-полно народу, так что многие не сидели, а стояли. Ни чаю, ни лепешек. И Салихджан не сновал меж гостями, а стоял у входной двери, словно на страже. Файзулла шел сюда и раздумывал, как поделикатней извиниться перед махзумом, но, войдя, увидел: это было бы излишнее. Махзум, очень серьезный и одетый на сей раз весьма обыкновенно, стоял у противоположной входу стены лицом к собравшимся; рядом с ним, укутав свое щедрое тело в чапан, горбился Парсоходжа. После того как вошли Файзулла с Ходжи Сираджем, а следом еще несколько человек, Захреддин решил начать и сделал полшага вперед.

— Уважаемые!— сказал громко и кашлянул.— Мы созвали вас так срочно, ибо получили весьма невеселые новости. Кази-калян Бурхониддин, воспользовавшись тем, что его величество эмир отправился к белому царю, снова принял за школы. Выдавая муху за слона, а циновку за купол, он направил Насрулло-кушбеги послание «о вреднейшем влиянии джаидов», где предложил все школы закрыть. И теперь Бобобек-ясаул, присовокупляя всяческие угрозы, требует, чтобы все преподаватели школ дали подписку в том, что «не будут учить». Да, да, так он и сказал. Давайте же держать совет, что нам делать...

Собрание растерянно помолчало. Захреддин выждал, переводя взгляд с одного лица на другое.

— Та-ак!— сказал он наконец.— Молчите!.. А ведь сколько среди вас было таких, что говорили: наше главное дело — школы, не надо заниматься ничем, кроме реформы школы... школы, школы, школы!.. Так вот теперь речь идет именно о школе! Где же вы, поборники



просвещения? Язык проглотили?!— Он повернулся к Парсоходже:— Вот хоть бы вы, домла? Что вы скажете?..

Парсоходжа побледнел и как-то съежился. Он раздвинул было губы, но, явно не решаясь ничего сказать, снова закрыл рот. И тут кто-то из молодых учителей в зале крикнул:

— Не будем давать подписку!

— Не будем!— поддержали его еще два-три голоса.

Парсоходжа поднял руку.

— Дорогие! Уважаемые!.. С учителями школ вообще — это одно дело... но у членов нашего общества есть высочайшее разрешение их величества эмира! Мы...

Кто-то из зала прервал его:

— У школ тоже было разрешение!

— ...мы,— продолжал Парсоходжа дрожащим голосом,— должны дожидаться возвращения его величества из поездки, а тогда...

— А тогда,— громко перебил Захреддин,— от школ уже и следа не останется!

— Правильно!— крикнул тот же, первый молодой учитель.— Не дадим подписки!

— Но ведь... если не дадим подписки... Бобобек-ясаул всех нас по одному кинет в тюрьму!— Парсоходжу просто дрожь била.

— Позвольте, домла!— сказал Захреддин.— Вы сказали, у членов нашего общества есть высочайшее разрешение... Зачем же нам давать подписку?— Он подождал ответа, но Парсоходжа промолчал.— Или, может быть, вам известно, что это разрешение дали только для отвода глаз? Чтоб поссорить нас с остальными?..

— Вы... вы снова бросаете тень... на придворные круги!— еле выговорил Парсоходжа.

— О! Самое время защищать придворных!..— Захреддин повернулся к залу.— Знайте, уважаемые!..— Тон его утратил сардонические нотки, стал жестким, отрывистым.— В Каратегине мятежники зарезали хакима. В Чиракчи забросали камнями казначея. В Чарджоу подожгли амбары Арабова. Голодный народ поднимается всюду. Бобобек послал против него аскеров. Если проявим послушание, не встанем ли в ряды карателей, что заносят сабли над сиротами и вдовами? Не обгаряйте руки кровью народной... Подумайте, на чьей вы стороне, братья!

— Правильно! Не подпишем!— закричали из зала.

— Это нам оскорбление!

— Глумление!..

Кричали, конечно, не все. Те, что были не согласны с Захреддином, просто помалкивали. Гвалт, то затихая, то вспыхивая вновь, продолжался почти до полуночи, но толком так ничего и не решили. Стали расходиться, еще продолжая спор и перебранку, но, едва услышав в темноте трещотку ночного сторожа, сразу переходили на шепот.

— Йе, такой бурной ночи не было в Бухаре от сотворения мира!— сказал кто-то, обгоняя Файзуллу.

Файзулла задержался у двери, ожидая Захреддина и Сираджа.

— Конечно,— сказал он Захреддину уже на улице,— если держаться за полу Парсоходжи, так и останемся ораторами без публики.— Он прервал себя, вспомнил:— Я должен извиниться за прошлый раз! Я не знал, что у вас такое горе, не почувствовал...— Захреддин только кивнул молча, лица его в темноте не видно было.— Но вы, махзум, и сегодня вышли за рамки! Так мы не добьемся единства! Никогда!

— Только так,— сказал махзум. Тон у него был спокойный, сдержанный.— Ну да ладно, слишком поздно для такого разговора...

Этой ночью Файзулла почти не сомкнул глаз, все думал, думал. Но последние дни приносили новые поводы для бессонницы, новости одну хуже другой. Джадидские школы действительно закрыли. Запретили газеты «Бухорои шариф» и «Туран». Эмир, вернувшийся из поездки с новыми дарами и наградами русского царя, объявил дополнительный военный налог. И смута охватывала эмират все сильнее. Спокойствию в городе тоже конец приходил. У редких прохожих на улице вид был какой-то напуганный.

Придя в библиотеку «Просвещение», Файзулла застал там одного Сираджа. Тот пожаловался, чуть не плача:

— К нам не ходят! И друзья наши перестали появляться...

Значит, и собраний не будет больше!..

Однажды он встретил на улице Парсоходжу. Тот, всплеснув руками, кинулся ему навстречу.

— Слава аллаху, вы живы-здоровы! А я так беспокоился...

— А что случилось, домла?

— Как! Вы разве не знаете?!— И домла, оглянувшись и ухватив Файзуллу за рукав, стал ему шептать на ухо:— Арестовали ходжу Захреддина... Да, да, мулладжан, со дня на день хуже!.. Захреддина и еще нескольких.

— Боже мой, какая беда!.. А кого еще?

— Еще Садира-макарджу, Тукли-охотника... двух других вы не знаете... Остальные так-сяк, но бедняга махзум... его кинули в яму, в клоповник... Ужас, мулладжан...

— Но за что, таксыр, за что?— спросил Файзулла, чуть не плача.

— Тсс... не спрашивайте мулладжан, будьте благодарны судьбе, что вас не коснулось... Я очень беспокоился за вас... Слава всевышнему!.. Что стряслось, того не поправишь, но не унывайте совсем, наш кружок уцелел... если будем действовать с умом и осторожностью...

— Главное, с осторожностью, таксыр!— сказал Файзулла громко и горько.— Это теперь нетрудно, от неосторожных нас избавили...

— Тсс, баймулла, тише, ради аллаха...

— Ничего, ничего... Теперь вы снова начнете свою старую игру: реформа медресе, споры о толкованиях притч... Прекрасно и безобидно!.. Занимались бы этим в одиночку, таксыр, не обманывали и не отвлекали других от мужского дела!

— А вы-то, баймулла...— сказал Парсоходжа. Он тоже заговорил громче, но, скорее, не заговорил — зашипел:— Вы-то какое чудо хотите нам явить?..

— Никаких чудес... Я... я пойду к эмиру Алимхану!— Файзулла повернулся уходить.

— О-о... воистину смело!— с ядовитым подобострастием сказал Парсоходжа ему в спину.— Кому же и творить подобные чудеса, как не сыну почтеннейшего... славнейшего...

Файзулла ушел не дослушав.

В тот же день к вечеру ему встретился Ходжи Сирадж.

— Я вас караулю, баймулла!— сказал он.— Слава богу, встретил... Вы ведь знаете про аресты?

— Знаю.

— А еще... говорят, вы собираетесь идти к эмиру?

— Собираюсь... Но кто это говорит?

— Умоляю вас, таксыр... будьте осторожны... аресты продолжаются... среди нас полно шпионов.

— Так уж и полно!

— Да, таксыр... некоторых я знаю наверняка. Салихджан... и мулла Ахад...

— Не может быть!..

Ходжи Сирадж печально покачал головой и попрощался.

Файзулла, глядя вслед, видел, как шагает «книгочей» — тощий, сгорбленный, как старик, от вечного сидения над страницами, с худенькой, цыплячьей шейкой, сзади едва видной, по щиколотку утопая в пыли своими стоптанными сапогами... Острая жалость пронзила Файзуллу. Почему он ему денег хотя бы не дал в свое время? Впрочем, с е б е Ходжи Сирадж и не взял бы, наверное. Пришел предупредить, а ведь сам, наверное, по острiu ножа ходит... Ходжи Сирадж дошел до поворота улочки, скрылся.

Больше Файзулла его никогда не видел — наавтра «книгочей» арестовали.

Узнав об этом, Файзулла решил твердо — идти к эмиру.

Файзулла прошел в Арк через ворота Алаффурушон, открытые только для дворцовой знати. В длинном проходе цитадели мерцали на стенах огоньки, традиционно возжигаемые в летнюю пору в честь святого Сиявуша. Начальник дворцовой стражи сразу узнал его, и весть, что «соизволили пожаловать Файзулла-ходжа, сын Убайдуллы-ходжи», по цепочке, из уст в уста, вскоре достигла ушей его величества эмира. Файзуллу нигде не задерживали.

Он не бывал здесь со времен раннего детства, но чувствовал себя привычно. В пурпурном чапане и круглой собольей шапке, твердой, прямой походкой, сохраняя высокомерный вид, он быстро шагал по квадратным, так называемым мусульманским кирпичам длинного пандуса. Миновал монетный двор, резиденцию диванбеги. Впереди виднелись сверкающие башенки главных ворот. Внизу, под этими воротами, и находились самые страшные подземные казематы, где заживо замуровывали узников. Как раз под этими сияющими башенками... Там, может быть, и находятся сейчас Захредин-махзум и Ходжи Сирадж! Он поймал себя на

том, что замедлил шаг и чуть сгорбился. Нет, расслабляться нельзя и никому тут нельзя дать почувствовать своего волнения. Он ведь как раз достиг приемной...

В приемной, сооружении наподобие шатра, находилось много людей в златотканых чапанах и огромных белоснежных чалмах — именитейшие лица эмирата. Со времени возвращения эмира из Петербурга, где он в благодарность за помощь русскому императору в ведении войны был пожалован званием полного генерала русской армии, вся эта пышная толпа по утрам ожидала приема, приготовив шкатулки и мешочки драгоценных подарков. Они по-своему расценивали то, что Файзулла замедлил шаг, и ожидали выражений почтения. Файзулла их просто не заметил. Он думал о предстоящем разговоре с эмиром.

Долго ждать его не заставили. Высокий солдат-охранник в черном кавказском чекмене со сборками в талии и патронташами на груди, положив одну руку на витой серебряный эфес сабли, другой открыл створку резной узорчатой двери и, слегка поклонившись гостю, пропустил его. Файзулла миновал еще несколько дверей и охранников и наконец в небольшом полутемном помещении, обставленном по-европейски, увидел Саида Алимхана.

Не знай его прежде, он бы, пожалуй, усомнился, эмир ли это собственной персоной. Так как входить полагалось, не поднимая глаз, Файзулла обнаружил сперва посредине красного ковра ноги в блистающих хромовых сапогах офицерского образца; и, лишь поклонившись по этикету и подняв наконец взгляд, увидел небольшого роста человека, облаченного в русский военный мундир. Повелитель правоверных подражал Николаю Романову. Военная гимнастерка, такого же цвета брюки-галифе, уходящие в голенища сапог; на плечах пышные эполеты, на груди Георгиевский крест и еще какие-то ордена величиной почти в ладонь. Впрочем, португеза, сверкавшая золотыми пряжками, и сабля с золотым эфесом, в золотых ножнах лежали рядом на бархатном пуфике. Эмир был красив, тщательно подстриженные усы и борода густо чернели, глаза лучились радением.

— Где же это вы пропадаете, байвачча, — сказал он просто, чуть хриловатым голосом. — С тех пор как мы вернулись из Петербурга, здесь перебивала чуть не вся Бухара... — Добрым хозяйским или даже родственным

взглядом он осмотрел Файзуллу с головы до ног. — Какой, однако, молодец вымахал! А ведь я помню вас малышом... мальчуганом! Ну, как здоровье ваше, как дела?..

Такой прием обворожил бы любого. Но Файзулла знал: эмир редко произносит так много слов подряд, не говоря уж о тоне; он немолод, хотя по виду этого никак не скажешь, медлителен и вовсе не так сердечен и прост, каким хочет сейчас казаться. Могущественный хозяин затеял с ним, Файзуллой, какую-то игру, но как узнать ее цель и правила?.. Файзулла снова склонился низко.

— Благодарю, ваше величество, аллах велик...

Охранник в чекмене внес на серебряном подносе две миниатюрные чашечки и кувшин, поставил на низенький столик перед эмиром.

— Вы уже научились пить-наслаждаться, байвачча, или?..

Эмир налил алой жидкости в обе чашечки. Аромат вина наполнил комнату.

— Простите, ваше величество, но я...

— Понятно, понятно! Не настаиваю...

Что, думал Файзулла, он хочет превратить этот прием в развлечение?..

— Но вы, — продолжал эмир с улыбкой, — еще и не догадались поздравить нас...

— Поздравляю вас с высочайшей милостью, о... — Файзулла запнулся на какой-то миг, эмир подсказал с тою же улыбкой:

— О мой повелитель... — Это выглядело так, словно он учит малого ребенка этикету.

— О мой повелитель! — повторил Файзулла, как эхо.

— Ну вот, мы уже немножко продвинулись... — Эмир погладил свою обритую голову и устремил взгляд куда-то вдаль. — Помню, мы часто проводили время за шутками с вашим почтенным отцом, да пребудет в раю душа его... — Взгляд у эмира стал мечтательный. — А вы, вам года три было, забравшись вот сюда, говорили, что раз вашему отцу принадлежит пол-Бухары, вы тоже когда-нибудь будете эмиром... — Эмир засмеялся. — Очень забавно звучало! — добавил он, и что-то в последних словах насторожило Файзуллу. Он поднял глаза. Эмир смотрел уже вовсе не мечтательно, а весьма зорко, испытующе на него, Файзуллу. — Так что, —

сказал вдруг эмир сухо, — вы и теперь не отказались от этого намерения?..

От неожиданности у Файзуллы екнуло и покатилося сердце. Вот оно!.. Нет, сказал он себе, возьми себя в руки, это все пустяки, та же игра на иной лад!..

— Ваше величество изволите шутить, — сказал он как можно спокойнее, — мне ведь уже не три года, и я понимаю смысл слов!..

— Однако, — тон эмира был все так же сух, — вы и ваши... приверженцы, так скажем... произносили и произносите множество слов совсем не к месту! Осуждаете нашу политику... Разве не так?

— Нет, ваше величество! То, что мы осуждаем — закрытие школ и преследование учителей, запрещение газет и журналов, — мы считаем самоуправством кази-каляна Бурхониддина, а вовсе не вашей политикой!

— Допустим... — сказал эмир и улыбнулся, но улыбка вышла ненатуральная, словно ее приклеили в спешке и неровно.

— Я надеялся на аудиенцию у вашего величества, чтобы повергнуть к стопам покорнейшую просьбу разобраться во всем, что натворили в ваше отсутствие! В тюрьме честнейшие люди, а иные воры и взяточники благоденствуют!..

Эмир все еще улыбался.

— Видите, — сказал он, — я был недалек от истины, полагая, что вы готовы присвоить себе мои права! Ведь это я решаю, — он резко повысил голос, улыбка стерлась, — где честные, а где воры! Вы поняли, байвачча?..

Я понял, думал Файзулла. Все, что делается руками кази-каляна... и всех прочих... всех беков и хакимов, которые якобы превышают власть, крадут, выдумывают несуществующие налоги... все это делается с его ведома. Я понял...

— Я понял, ваше величество, — сказал он вслух. — И все же я осмеливаюсь молить вас: измените решения кази-каляна... разрешите вновь открыть школы и газеты... Будьте милостивы к арестованным учителям, может быть, они и заблуждались в чем-то, я не знаю, но они отнюдь не враги ислама и благородной Бухары!

Та же деланная улыбка вновь возникла на лице эмира.

— Мы вас помним десятилетним ребенком, — сказал он. — Увы — или к счастью! — вопреки нашим опасениям вы не слишком повзрослели. Вам все кажется

таким простым. — Он чуть понизил голос, как бы желая придать беседе особую доверительность. — Разве вы не знаете, что идет война? И что Турция участвует в военных действиях против российских войск?.. А кто такие ваши джадиды... ваши неистовые просветители... как не ярые поклонники и проповедники всего турецкого?.. И не только в деле просвещения! Отнюдь! Вы думаете, император от этого в восторге?..

— Простите, ваше величество, но вы сами дали благословение деятельности их общества!..

Эмир посмотрел на него с некоторым даже сожалением.

— Дали, конечно... Такое общество весьма полезно, байвачча. Не будь его, смутьянов пришлось бы опознавать и вылавливать поодиночке!

Файзулла едва не задохнулся. Кем же он его считает — сосунком? Или дурачком? Или он так уж циничен, что даже не считает нужным скрывать свой цинизм?..

— Ваше величество хотите сказать, что в обществе есть... правительственные соглядатаи?..

— Ну конечно, байвачча. Это само собою разумеется. И знаете, кто эти соглядатаи? Да те же джадиды, которым вы верите. Они продают своих собратьев весьма недорого... Что вы хотите?! Эти босоногие из медресе, эти нищие учителя...

Вот к чему он вел: эти нищие — не ровня вам, наследнику миллионов... Ужасно, что все говорят одно и то же — и внизу, и наверху!

— Ваше величество, среди этих нищих я знаю благороднейших людей...

— Вот-вот! Благородные люди выслушивают ваши пылкие излияния, отвечают чем-нибудь в том же духе, а потом бегут к нам и докладывают обо всем, что вы сказали... Мы знаем все, решительно все, что вы говорили. И если вы сами вспомните, то поймете: только заслуги вашего покойного отца берегут вас...

Это было уже совсем прямо. Что ж, и на том спасибо!

— Итак, прощайте, байвачча, и подумайте! Как следует подумайте обо всем...

Теперь он окончательно одинок в мире. Сам себя вверг в эту геенну одиночества. С какой целью?.. Цель! Нет у него теперь никакой цели! А была? Была, конечно. Что-то звало, радовало, торопило. Вера... чистота души... просвещение... справедливость... Неужто все это



мираж? Еще недавно казалось немислимым, что его дорога так внезапно повернет к пропасти. Что он окажется так одинок, без единомышленников, без друзей, без опоры... Может, лучше было сгнуться, как Захреддин-махзум: пострадать хотя бы ради собственных устремлений... Так нет, видно, и этого ему не дано.

С тех самых пор, как отошла весна, Файзулла спит на крыше. Там устроено нечто вроде громадного шатра, все устлано коврами, мехами, одеялами, уставлено низенькими столами, деревянными возвышениями для сидения и лежания, огорожено занавесками. Файзулла лежит, глядя на звезды. Если смотреть долго и пристально, и звезды, и все небо словно бы начинают плыть или, вернее, эта его спальня-шатер, будто управляемая парусами занавесок, плывет куда-то по небесному простору, полному звезд. Но на этой звездной дороге нет ни пристанища, ни маяка. Небо неоятно, но кому и для чего нужны в нем молодые неистраченные силы Файзуллы, достояние его и жизнь?..

Он вдруг подумал о Сирадже и устыдился. Может быть, представил он себе, к несчастному «книгочею» заглядывает в щель одна из этих бесчисленных звезд и кажется воплощением счастья, символом недоступной свободы, самой жизни... Одна-единственная звезда из всех мириадов, открытых обозрению Файзуллы. И ее достаточно. Не странно ли, что лишенному всего малое может служить всем, а ему, у которого, кажется, все есть, это в с е не дает и не значит ровно ничего?..

Зачем она тогда, эта его жизнь, если не нужна ему самому?..

— Другим она нужна, детка, другим...

Удивительно, как просто умеет мама ответить на самые неразрешимые его вопросы!

— Значит, я обязательно должен быть вместе с кем-нибудь?..

— Ну конечно, детка. Одинокий конь, говорят, не поднимет и пыли...

Это воображаемая беседа, но она родилась из тысячи реальных. Удивительно, стоит ему заговорить с анаджан или только представить себе ее, он уж знает, что она скажет ему. И подчас такое, до чего сам вовек бы не додумался.

— Если у тебя большая душа, напрасно шадить себя, сынок... Я уж смирилась. Ты родился с огнем в душе!

Мать отходит, отдаляется, и он воображает себя наедине с Захреддином-махзумом. В подземелье темно, сыро, спертый воздух; черная твердь земли нависает сверху, капают холодные страшные капли.

— Махзум, вы боитесь смерти?..

— Боюсь, Файзулла-ходжа.

— Почему же вы не попросите прощения, помилования?..

— Для этого у меня только одна возможность — предать других...

Смерть! Смерть! Могила!.. Холодное подземелье стремительно сужается, наваливается, тяжело давит на грудь, спину, голову, лицо...

— Но разве п о т о м не будет все равно? Ведь вы не верите в рай и ад, правда?..

Махзум только пожимает плечами.

И растворяется. Исчезает.

Тьма. Летучая тьма. Он несется куда-то, легонько натываясь на сгустки этой тьмы, на маленькие, отскакивающие прочь звезды. Его трясет, толкает...

— Баймулла, баймулла! — шепчет чей-то голос.

Кто это? Кажется, это голос Муминшо... При чем тут Муминшо?

Его в самом деле расталкивают. И темный силуэт над ним шепчет голосом Муминшо:

— Вставайте, баймулла, вам нужно скорее... скорее!

— Муминшо... ты?!

— Я, баймулла.

— Да... откуда ты взялся?

— Тсс... пойдете скорей.

— Куда?

— После узнаете... Скорей, только тихо.

Файзулла тряхнул головой, стараясь сбросить сон. Натянул кое-как сапоги, встал, набросил на плечи чапан.

— Пойдете же, баймулла... да нет, сюда!

Файзулла собирался спуститься по ступенькам вниз, во двор, но Муминшо, вцепившись в него, повел к крыше кладовки. Оттуда слезли на крышу конюшни, где плотными, упругими связками уложено было топливо, гузапая — сухие стебли хлопчатника; потом спрыгнули на улицу. Раздался глухой звук, вздыбившаяся пыль ударила в ноздри.

— Да куда мы идем?— Он попытался в темноте разглядеть Муминшо. Приятель подрос, вытянулся, подбородок, кажется, уже покрыт мягкой щетиной. И силен, крепок!

— Вам нельзя дома оставаться, на рассвете придут за вами...

— Да кто это тебе сказал?.. Пустое это!

— Да уж сказали... Не пустое, все точно... Сюда, сюда идемте! Скорей, вот-вот светать начнет...

Пройдя мощеную площадь у Медресе Бедных, они углубились в узенькие улочки. Темнота перед рассветом сгустилась, но трещотки ночных сторожей уже смолкли. Нигде ни признака жизни. Они миновали поросший пылью пустырь — Воронье поле. Вошли в явно заброшенную усадьбу. Едва калитка отворилась, Файзулла очутился в объятиях какого-то огромного, тяжело дышавшего человека.

— Слава аллаху, племянник, слава аллаху!— бормотал он, прижимая Файзулла к груди.

У Файзуллы на глаза навернулись слезы.

Это был дядя Шахабиддин. Отпустив Файзулла, он сбросил с плеча тулуп, его громадное тело выпрямилось. Поверх короткого легкого чекменя он был перепоян крепким арканом.

— Вам надо скорей скрыться, сынок. Эмир приказал взять вас и кинуть в подземелье. На вокзальной площади караулят люди из «рус полис», а Салихджанмирза, из ваших же, должен явиться к вам с подходцем, выманить на улицу, а там... Как там сестра наша, байбиби?

— Здорова, тога...

— Так, так...

— Тога, не может быть, чтоб эмир приказал посадить меня! Это ошибка...

Шахабиддин покачал головой.

— Не ошибка, сынок... у нас известия точные.

Файзулла присел на глиняный приступок, Шахабиддин тяжело опустился рядом. За спиной у них, в глубине двора, в доме, зажегся свет, там были еще люди. Файзулла глядел на дядю растерянно, вопросительно.

— Я тут не один, сынок...— сказал Шахабиддин, словно отвечая на молчаливый вопрос Файзуллы.— Мои друзья вас знают... и о вас тоже. Хватит вам метаться, мыкаться...

Кто-то мне уже говорил те же слова, думал Файзулла. Кто?.. А, да! Захреддин!.. Он болезненно сморщился.

Шахабиддин глядел ласково, с сочувствием.

— У вас хорошая голова, племянник... Стремитесь найти настоящую цель... а увязываетесь чуть не за каждым... кто думает лишь о своих мелочных обидах.

— Вы правы, тога,— сказал Файзулла.— Стыдно сознаться, но я ухитрился поверить даже вору...

— Это кому же?..

— Шоахсию-агляму!

— А, этому! Этого знаем... Да он не просто вор! Написал письмо эмиру афганскому... дескать, самый момент ему напасть и захватить Туркестан... и Бухару... мусульмане, дескать, его ждут... Теперь, говорят, рыщет по Джизаку, призывая начать газават... Везде старается заварить бучу... один свой грех другим прикрыть... и поживиться на бедах народных... Ничего, придет время, мы его... он ответит.

Они помолчали.

— Ладно, племянник,— сказал Шахабиддин,— над прошлыми делами не очень горюйте... думайте о завтрашних. Сегодня уцелели... и слава богу. Могли вас уже и схватить...

Как же это я, думал Файзулла, за два года ухитрился ни разу к ним в кишлак не съездить! Чем только не занимался...

— Наши дядюшки и тетушки... здоровы?

— Здоровы, слава аллаху... Только Шоди-бедод... самый молодой... ушел из этого мира...— Он вздохнул.— Да будет место его в раю!..

Файзулла вызвал было в памяти лицо Шоди... старообразное, с редкой бородкой... Оно мелькнуло и расплылось. Бедняга Шоди...

Свет позади них погас. Подошел какой-то человек, сказал: больше здесь нельзя оставаться.

— А куда теперь, тога?

— В Каган.

— А там что я буду делать?

— Что совесть подскажет. Найдете единомышленников... Лишь бы не ваших прежних трепачей... Да пока не в том дело... Пока что вас спрятать надо...

— В Кагане? Там же самое гнездо русской администрации!..

— Там есть и другие русские... увидите.— Шахабиддин поднялся, ушел ненадолго и вернулся со стареньким серым чекменем, поношенной шапкой, истрепавшимся поясным платком.— Переодевайтесь,— сказал он.— Из города я сам вас выведу... А дальше Муминшо... на него можно положиться... из-под жернова выйдет цел. Такой крепкий стал, смысленый... и лет ему всего ничего... а уж побывал в Ташкенте... в Самарканде...

Выйдя из переулка, они сели у поворота в ожидавшую арбу с плетеным кузовом. И от хвороста, которым выложен был кузов, и от арбакеша пахло ароматными дынями. Должно быть, недавно перевозили.

— Тога,— сказал Файзулла шепотом, когда арба, погрохатывая, тронулась,— вы сказали «есть и другие»... Не тот ли ваш ночной гость... чернородый? Помните?..

Шахабиддин усмехнулся по-доброму.

— Как же не помнить!.. Нет, не он... Он теперь в Ташкенте... наши друзья его видели... недавно...

Они вышли из арбы у ворот Саллохона. В этой стороне жили большей частью кожевники-евреи, специализировавшиеся на выделке особого сорта белой кожи. Они сторонились политики, им и без того доставалось. Наверное, потому и выбрали это место для выхода из города, подумал Файзулла, здесь безопасней! Хотя дорога на Каган в противоположной стороне. Они спокойно подошли к воротам. Шахабиддин переговорил с заспанным привратником, и древние створки со скрипом открылись.

— Знаю, вы не могли проститься с матерью, детка,— сказал Шахабиддин, снова заключая его в могучие объятия.— Но не тревожьтесь... навещу ее... скажу, уехали по делам торговли...

— Спасибо, тога...— сказал Файзулла. На глаза навернулись слезы.— Я за дом спокоен... А вот скитания мои... кончились ли этим?

— Нет,— сказал Шахабиддин, положив ему на плечо свою огромную, тяжелую, как кетмень, руку.— Не кончились... только начинаются!— Он отпустил его плечо, сделал шаг назад, оглядел племянника.— Все, Файзулла-ходжа... Ждите Муминшо здесь!

Файзулла глядел ему вслед, пока он, не оборачиваясь больше, шагал обратно к воротам. Шахабиддин ис-

чез в них, минуту спустя древние створки со скрипом закрылись, щелкнул опустившийся крюк.

И тут же бесшумно появился Муминшо.

Они пошли пешком вдоль городской стены, держась от нее в некотором отдалении. Силуэт Муминшо, мелькавший впереди, в полусумерках казался еще более длинным. Как вырос и повзрослел его недавний мальчишка-приятель!..

Впрочем, два года прошло...

На межах уже обозначились тутовые деревья, осенние поля дышали прохладой и ширью. Узкие улочки Бухары как-то сразу отделились, остались позади, словно их относил ветром. С ними уходило и детство, и нежная опека матери, и двухлетние его метания, поиски, заблуждения. Что будет завтра... нет, уже сегодня? Этого он не знал, но утренний воздух был благодатно свеж, бодрящ, контуры деревьев, холмов, домов в отдалении обрели четкость. Мир определился. А на горизонте, над черной полосой, накапливался алый свет, готовилось грядущее.

Рассветало.



# АСКАД МУХТАР

ПЕРЕВОД  
С УЗБЕКСКОГО  
А. НАУМОВА

## МОЛНИЯ НАД ОБРЫВОМ

### ВСТУПЛЕНИЕ

С годами память словно бы отцеживает пережитое. Чем дальше, тем она отбирает все жестче, но то, что сохраняется в ней, особенно люди из нашего детства, становится лишь крупнее; сущность их выявляется все отчетливей, так что, будь время и силы, о каждой из этих человеческих фигур можно бы написать отдельную книгу.

Я вырос в детском доме номер один в Фергане. Любому из моих сверстников-детдомовцев досталась нелегкая и необычная доля; и облик каждого взрослого, приласкавшего сироту, врезался в душу. Но одного из таких людей, его удивительные рассказы о себе, я вспоминаю особенно часто. Эти воспоминания я и хочу пересказать теперь.

Было ему, я думаю, лет пятьдесят пять — пятьдесят шесть: возраст, с мальчишечьей точки зрения, более чем почтенный. Но странно, он вовсе не казался нам стариком — просто, как мы думали, был он не очень молод. Может быть, потому что брил голову наголо и перепоясывался широким ремнем, предметом нашего восхищения. Или — не знаю почему. Звали мы его «Ахмедов-ака». Это был невысокий, невзрачный человек с низкой переносицей и обвислыми мясистыми ушами; носил старую гимнастерку, на поношенную тюбетейку наматывал, как чалму, поясной платок. Словом, ничего в его внешности не было особенного, но все мы, сироты, с малолетства ходившие по чужим дворам, только благодаря ему оседали в детском доме и терпеливо сносили холод и голод. Он отдавал нам душу.

Если нам доставалось вкусное блюдо, он с радостью глядел, как мы яростно двигаем челюстями; если что-нибудь вызывало на лица наших улыбку — он и сам расцветал. Он жаждал, чтобы мы все время хоть чему-нибудь радовались: новой одежкой, вкусной еде, заново придуманной игре, заинтересовавшей работе.

Ахмедов-ака не был воспитателем; будь он воспитателем, возможно, показалось бы слегка неуместным рассказывать о его внимании и любви к детям. Нет, он был простым завхозом, но свой хоровод вокруг него мы водили с такой неизменностью, что иные воспитатели ему явно завидовали. Нас это, однако, не заботило; мы прятались в его тени, глядели ему в рот.

— Дети — удивительные... — печальным тоном говорил иногда Ахмедов-ака кому-нибудь из взрослых. — Мы теперь уж не можем быть такими честными... такими сильными в чувствах. Не можем, и стараться нечего. Хватит, если отдаем им остаток дней. Лично у меня больших планов нет, что осталось от жизни — это им, и благодаря им...

## 1. УЧИТЕЛЬ-НОГАЕЦ

Месяц сунбула еще не наступил, но утренние лучи уже ласковы и приятны. Рассвет, тишина, в большом дворе пусто, только в сарае, где хранится солома, негромко хрумкает ожеребившаяся вчера лошадь.

Мамат, пришедший с гор за одеждой для пастухов, сидел на солнышке, прислонясь спиной к почерневшей стенке тандыра. На кизяках жужжали мухи, посреди двора валялся чугунный кувшин, на берегу водоема торчала короткая шерстка травы, корячился старый искалеченный тал; Мамат размышлял, глядя на все это, и ждал приказа хозяина, совершавшего в комнате намаз.

Ворота, что отделяли двор от улицы, со скрипом приотворились, и вошел учитель-ногаец. Мамат еще весной его видел, и теперь он был так же тощ и убог, в дырах штанин видны колени, на плечах переметная сума да мешок с хлебом, в одной руке — ящик, в другой — сверток, к поясу приторочен заколотый цыпленок. Башмаки латаные-перелатаные, клочковатая борода отросла, но глаза — как сливы.

Едва он вошел, один из мешков развязался; учитель никак не мог с ним управиться, с грузом-то на плечах:



одно берет под мышку — другое падает, другое завяжет — третье развалится... Замучившись, он огляделся и увидел Мамата.

— Эй, курносый, помоги же!..

Мамат выпростал колени из-под мешковины, что была на нем вместо рубашки, и, криво ступая чарыками, направился к учителю. Ногаец открыл где-то приют — открыть-то открыл, но пришел голод, власти не могли прокормить ребят; теперь он и другие учителя ходят по кишлакам, во дворах побогаче выпрашивая, что придется, — собирают сиротскую долю... Мамат приподнял сползавшую с плеча учителя переметную суму и поддел пеньковую веревку, которая связывала четыре угла тяжкого мешка. От маленького тела учителя пахло потом, кожей, сюзьмой, заплесневелыми сухарями. Повернув тонкую шею с выступающим кадыком, ногаец сказал, задыхаясь: «Молодец...» Мамат вернулся назад, сел на приступок айвана, спустил ноги.

Из мехмонхоны вышел хозяин в накинутом на плечи почернелом суконном чекмене. Был он хмур — младшая жена, которую он ласково звал Бегим, умерла недавно в родах, и теперь он старался избегать людей. Старшая жена, рано постаревшая и почти ослепшая, жила со служанкой где-то в глубине дома, он к ней и не заходил. Мамат знал это — как и все, что делалось в доме. Знал и то, что правители волости оставили хозяина в одиночестве: при подношении подарка какому-то сановнику бай не внес своей доли... Вот и ведет теперь праведную жизнь, как отшельник, и бессонницей страдает. А все его помыслы — о двух отбившихся от рук сыновьях: один ушел с красными, другой — с белыми. Людей-то он сторонится, но едва стукнет калитка — набрасывает чекмень и выходит в надежде услышать какие-нибудь новости о пропащих.

— А, добро пожаловать, учитель... — сказал он. — Долю сиротскую собираете?

Только теперь учитель сложил свой груз на землю.

— Ох, — сказал он, — пуста округа, изобилие кончилось, да и честь у баев пропала... — На его освободившихся плечах видна была сквозь прорехи рубахи стертая до крови кожа.

— Сколько ж у вас там ребят?

— Сейчас триста девять, таксыр.

— Э-э-э... разве им хватит того, что у вас в мешках?

— Ну, хоть раз поедят...— Учитель сглотнул слюну, видно, и сам не ел уже бог весть сколько времени.

— Все мусульмане?

— Да-а... узбеки... киргизы...— Учитель даже подрагивал от усталости.

— Замучили вы себя,— сказал бай.— И зачем собирали такую голодную ораву?

— Э, бай-ота... увидели бы вы их хоть раз! В тот год черный мор, знаете сами, как людей косил... Сколько сирот... сил нет глядеть...

Это Мамат помнил. Ураза пришлось как раз на самую жару, на саратан; сперва унесло стариков. День пылал, и трудно было понять, от чего человек умер — от мора или жажды. Над кишлаком стоял вой. И сильных, и слабых — всех косило одинаково. Разве отец Мамата похож был на обреченного?.. Силач, с семифунтовым кетменем на плечах ходил на поденщину, зимой таскал кирпичи на кирпичном заводе... Мать вопила над усопшим день и ночь — и сама испустила дух там, где сидела. Хоть и вопреки шарияту, но положили обоих в одну могилу. Что ж было делать: один из могильщиков умер, другой сбежал... Кишлак опустел меньше чем за месяц. Одного Мамат не мог вспомнить: кто увел его оттуда за руку... С той поры он и знал только этого вот хозяина. Вместе с поденщиками, корчевавшими на земле бая пни, поел он кукурузной похлебки и остался здесь насовсем. Бай-ота хоть и был из тех, что не носят рубах из простой бязи и много чего накопили в сундуках, Мамата, однако, кормил не объедками: кто, мол, притесняет сироту, не заслужит хорошей жизни... Пригрел он мальчика, и Мамат, с шести лет пасший здесь коров, трудился без устали. А сейчас ему вспомнился смутно его первый день здесь, и жалость к тощему, дрожащему всем телом учителю переполнила его.

Бай-ота вынес таз проса и высыпал учителю в мешок. У того тряслись руки.

— Приют-то ваш где?— спросил бай.

— В Симе, таксыр, в самом Симе...

Бай-ота покачал головой и, полуприкрыв глаза, глянул на Мамата. Мамат понял: «Далеко-о...»— и с готовностью нырнул в дом, вынес на подносе чай и лепешку. Учитель присел на краешек стула, выпил чаю, нерешительно повертел в руках лепешку, должно быть, жалел ломать... проглотил слюну и сунул лепешку

в мешок с хлебом. Потом Мамат помог ему снова нагрузить все, продел под мышки пахучие ремни. Эти переметные сумы были слишком знакомы Мамату — их, полных собранными по дворам кусками сухого хлеба и пшеничной каши, подпаски подчас неделями не снимали с плеч.

— А эти, ваши... все маленькие?— спросил он учителя.

— Все курносые, как ты...— На сразу вспотевшем лице учителя появилось подобие улыбки.

— Я тоже сирота,— сказал Мамат, как бы успокаивая.— Скот пасу...

Болезненная гримаса улыбки на лице учителя стала отчетливее.

— Твой бай-ота честь сохранил,— сказал он.— Уж не теряй тепленькое местечко, около скота не помрешь...

У Мамата отчего-то запершило в горле. Он поспешно сунул руку за пазуху, пошарил, вытащил общипанную с краев лепешку, приготовленную в дорогу, и протянул учителю. Тот какие-то мгновения глядел, словно раздумывая — брать или нет, потом быстро схватил, сунул опять-таки в мешок с хлебом. И тут же, отвернув лицо, пошел со двора. В клочковатых волосках на лице его что-то блеснуло — слеза, что ли?..

Бай-ота и Мамат-подпасок сквозь незапахнутую калитку глядели ему вслед. Он шел и покачивался, как старый больной верблюд.

## 2. АЛИМ И ХАЛИМ

Мамат сочувствовал хозяину. Вот учитель ушел, следом и Мамат отправится... Подпасок сложил в свою переметную суму кукурузные лепешки, мешочек с солью, иголку и нитки для стежки ватного одеяла; чарыки и чекмень подвязал кусками веревки. Заждались его в горах!.. Он уйдет, а бай останется один на один со своей горькой думой о сыновьях. «Салим-скотник», как его называли, что еще недавно мог всех в округе поставить навтытяжку, сегодня не имел и единого собеседника, чтоб отвести душу. На старую жену в ичкари тошно было и глянуть: слепая-то слепая, а до сих пор подкрашивала усмой родимое пятно на щеке, схожее с навозной мухой...

— Бай-ота, какие будут поручения?— сказал Мамат, тем самым спрашивая позволения отправиться в путь.

Бай, в своем черном казахском чекмене и побитой молью шапке из сура, мрачный, как дождевая туча, сидел на сури.

— Слушай, Маматкул, может, пойдешь после пятницы?..— В голосе бая подспудно звучали почти просительные нотки.— Подмел бы, водой полил... и дом, и двор. В подворотне полно дорожных мух, а ведь, может, кто и зайдет...

Живая душа надеется. Сидит и думает: авось да взглянет кто и принесет весть о сыновьях. Нет, он и впрямь не из тех кровососов, что изо всего и всех выжимают все новые толики богатства. Если и старается — так для детей.

И вот поход на пастбище снова откладывается... И босые бедняги в горах, дрожа от холода, будут клясть Мамата на чем свет стоит!

Сам-то Мамат не может стоять без дела ни секунды, и руки-ноги, и мысли у него — в непрерывном движении. Дом он подмел — так чисто, что с пола можно слизнуть упавший кусочек масла. И двор тоже, и дорожку, ведущую в хлев, и подворотню. Потом сел на веревочный гамак и, грызя морковь, стал плести тростниковую корзинку. Плетению научил его Халим, старший из байских сыновей. Халиму, кажется, и девятнадцати не исполнилось, но все-то он знает, приказывает только раз и неизменно добивается своего. Рука у него твердая! «Учись!— говорил он Мамату, показывая, как плести.— Это ремесло как раз для таких бездельников, как ты!» Стоило Мамату ошибиться, Халим брал вымоченную в воде тростину и бил мальчика по пальцам; а если корзина получалась все же кривоватая, растапывал ее сапогами: «Вот так, вот так, вот так!»

Халим был страстным любителем коней и улака<sup>1</sup>, ему принадлежала конюшня в Кушкургане, навесы для лошадей, где он укрывал от чужих глаз могучих, с широкими крупами карабаиров. Стоило пронестись вести об улаке — никто и ничто не могло удержать Халима в кишлаке. Он обожал славу, любил прислушиваться к встречавшим его шепоткам: «А байбача-то... приз получил...»— и отчаянно завидовал баям в обширных

---

<sup>1</sup> У л а к, или к о з л о д р а н и е — древняя народная игра, конноспортивное состязание, в ходе которого участники вырывают друг у друга тушу козла, барана или теленка.

шубах, что сидели, как на троне, на квадратной супе и раздавали призы. Мечтал выращивать коней для улака и торговать ими... Утешеньем в зависти служил ему замечательный, красивый, легкий, словно олень, скакун. Оседлав его, он будто сам садился на трон! Зажимал в зубах камчу и носился по округе как ветер... Но однажды он приехал с пятизарядной винтовкой за плечами, с пулеметной лентой через плечо, соскочил с коня и больше не промолвил об улаке ни слова. Помрачнел, стал неразговорчив, иной раз привяжет любимого коня — и давай хлестать!.. Или к отцу привяжется — да так грубо:

— Вы знаете, что это все — уже не наше?..

— Что не наше, сынок?

— Да все!.. Все это богатство... имущество... надежды наши, наша жизнь!

— Как же так, сынок?

— Не знаете, значит... Что у таких баев, как вы, с душкой, все отбирают, а самих — в ссылку?..

— Кое о чем слышал... а что делать?

— Падать!— орал Халим.— Падать, как скот на бойне!

Однажды он сел на скакуна и исчез. Вскоре дошел слух, что Халим — в басмаческой банде.

Брат его Алим, должно быть, ни о чем этом и слухом не слыхивал: он уже давно уехал на учебу в Джелалабад. Сперва все ходил в соседний кишлак, к снимавшему там угол учителю; тот, видно, и сбил его с пути. Из города, от дядьев, он присылал письма, в которых мало что можно было понять: то я эбы уже поступил учиться, то снова собирается поступать... Алим был парень грамотный, начитанный, но выглядел вовсе не как большинство недоростков из медресе: крепкий, выше брата ростом и на вид куда старше своих семнадцати. Когда Халим скрылся из дому, бай стал вдвойне беспокоиться о младшем. Сплоховал, говорил он, надо было обоих женить, наделить имуществом — «на цепь посадить». И тут пришло от Алима новое письмо, да такое — хоть стой, хоть падай: записался в Красную гвардию!.. Показывает судьба фокусы: одного же отца дети...

У бая ни к белым, ни к красным душа не лежит, он только за сыновей болеет, а что делать — не знает: хоть пополам разорвись!.. И вроде не стало ему дела до хозяйства, только Коран читает да поминает покойницу,

младшую жену. Но вдруг найдет на него — продаст оптом косяк отборных коней из табуна!.. Конюхи разбежались; под навесом остались только скакун для улака да лошадка для арбы. В хлеву была пара быков, так они ранней весной околели на скотном дворе — не нашлось человека, чтоб зарезать их живьем!.. Теперь и три загона в горах тоже в опасности: как бы хозяин не надумал продать овец да сунуть денежки в сундук...

В один из таких смутных дней закудахтала за навесом пепельная курица. Там, в конце усадьбы, широкий хлев, рядом курган, обнесенный стеной, а дальше — глухие холмы... Кто бы мог прийти с той стороны?

Оказалось — Халим. В длинном халате, с двойным поясным платком, под халатом патронташ в два ряда, у пояса кинжал с ручкой слоновой кости... басмач и басмач. Задыхаясь, он обнялся с отцом, потом огляделся по сторонам.

— Пришел?

— Кто?

— Алим! Кто...

— Н-нету...

— Где он?!..

Бай растерялся, испугался. Вот тебе и радость — сын прибыл!

— Н-не зна-аю... — пробормотал он.

— Как не знаете?! Почему не знаете?! — Халим орал, лицо у него было красное.

Мамат подумал: он сейчас и не видит, кто перед ним, — отец, не отец — ему Алимджан нужен! Даже не спросил про мать, не выпил горячего чая, хоть из приличия...

— Если вернется — свяжите и запирайте в кладовке, приду и сам порешу! Коли выпустите — не увидите больше и моей тени!

И, даже не попрощавшись, поспешно вышел. Послышался топот коня, и за курганом поднялся столб пыли, словно дым из хумдана.

Бай совсем раскис, как перестоявшее тесто.

Весна наступила, ожил и забеспокоился дехканин, а тут даже палисадник не вскопан, все поросло бурьяном. Однажды, когда тополя сбросили сережки и в арыках потекла мутная вода, снова в усадьбе застучали копыта. Бай в надежде и страхе увидеть сыновей выбежал на порог — и встретил незнакомцев. Трое на

конях, все молодые красивые джигиты в новых бекасах, свежих бобровых шапках... Похоже, соратники Халима. Бай пригласил их в дом, а Мамат по его знаку быстренько вынес поднос с едой. Но они к еде и не приотронулись.

— Откуда вы, джигиты почтенные?

— Коня нужны, бай-ота! За конями приехали!— Это ответил самый красивый из троих, с богато вылепленными бровями и в пышных усах.

— А-а, кони... Коней у нас нет, джигиты...

— Не-ет?— Усатый с усмешкой поглядел на спутников.— Если у вас нет, у кого ж есть? Или... или, может, все Красной гвардии отдали? А?..

Второй, рядом, тоже скривился в усмешке:

— И не удивительно — сына не пожалел для красных, разве коней пожалеет!

У бая, видно, горло перехватило.

— Мой... мой сын...

Усатый яростно хлестнул камчой по голенищам своих сапог.

— Да знаем мы вашего сына!

Мамат поглядел на него, и ему показалось, что это уже не тот красавец, что увиделся сначала: глаза его налились кровью, лицо исказилось.

Бай попытался снова что-то сказать:

— Мой... мой старший сын...

— Ваш старший нам и велел — выводите коней!

При этих словах в бае словно бы что-то отмякло:

— Поверьте, джигиты, коней давно... давно продали...

Но тут усатый моргнул третьему, худощавому, с простым лицом. Этот соскочил с коня, прошел на задний двор и несколько мгновений спустя вывел обоих оставленных на черный день карабаиров. Он вел их, лаская, как своих.

— Все?!

— Все. Однако...— сказал худощавый и поцеловал скакуна по-пастушески в блестящий круп.

— Эй, бай!— издевательски сказал усатый.— Что ж вы так нос повесили из-за двух коней? Мы ж вас от большевиков защищаем!

Он махнул рукой, его спутники привязали карабаиров к лукам своих седел, и все умчались. Бай, казалось, утратил дар речи. Только когда пыль рассеялась, его вдруг прорвало:

— Нечестивцы... нечестивцы! Берите, подавитесь! Не зря вас... не зря вас зовут басмачами! Всех давите!..

Мамат прятался у ворот, на глаза его навернулись слезы: то ли коней жалко, то ли бая... Он и сейчас, сплетая вымоченные тростинки, невольно вытер глаза рукавом.

### 3. СНОВА КОНСКИЙ ТОПОТ

Ни на что не похожа краса горных пастбищ! Над тобою неохватное взором небо, и вокруг тоже — неоглядный простор с дымчатыми закраинами дальних вершин, а в тебе самом — воля без конца и без края; только тебе подчинен целый загон скота... Хочешь — беги до границ света, хочешь — валяйся весь день, гляди ввысь да пой свое «куррей-куррей», а вечером, когда потемневший купол расцветится бесчисленными узорами звезд, веселись с пастухами и подпасками, жуй хлеб с сюзьмой, пей заваренный из кожицы джиды ароматнейший чай с легким запахом дыма или под тихое пение черного кумгана на огне сиди у костра, раздумывая о чем-то неясно-прекрасном, а когда наконец сморит сон, явятся тебе тонкостанные девушки в нежных одеждах...

Пятнадцать дней привольно жил Мамат на пастбище. Но пастухи, чуть что, именно его посылают к хозяину — знают: бай ему ни в чем не откажет. «Езжай, привези ваты!.. Съезди, попроси две кошмы...» Мамат не отнекивается, он легок на подъем. И хотя с виду он совсем неказистый — мало того что курносый, так еще и рябой, толстые губы на плоском лице, сам тощий, — все, от бая до батрака, остро чувствуют и присутствие его и отсутствие.

И на этот раз послали его в кишлак с порученьем, а он опять оказался очевидцем скандала. К кольям за курганом привязано было десятка полтора коней, там и сям раскиданы седла: ржанье, перекрикиванья, всадники подъезжают, уезжают. И в доме и во дворе полно народу, стоят группами; в мехмонхоне кто-то зажигает фитиль, надевает стекло лампы, и при свете становится видно другого, что втягивает дым из чилима. Двор захвачен чужими, и они распоряжаются здесь как дома. Может, приехал Халим с друзьями? Но его не видно и бая тоже.



Сильно обеспокоенный Мамат не решился пойти в дом, да и убраться ни с чем восвояси считал неудобным; оглядевшись, он по столбу навеса полез на крышу. Там, под прикрытием прошлогоднего сена, прошел к крыше хлева, перебрался на крышу «людской» и улегся на чердаке. Он даже похвалил себя за то, что так здорово придумал: здесь, в пространстве меж крышей и дряхлым потолком, место было на редкость удобное, и весь разговор «гостей» слышен, и видно всех, кто входит и выходит, а тебя, если быть поосторожнее, никто вовек не заметит.

Потолок обширной комнаты, где ночевали раньше батраки, был дырявый, а некоторые места меж полукруглыми закопченными балками и вовсе ничем не крыты. В последний год в «людской» держали молодой клевер для новорожденных телят и ягнят да прятали от снега и дождя большие деревянные кровати. Они и теперь завалены ароматным сеном. На сене восседает безбородый мужчина, он с шумом тянет чилим да изредка отдает пронзительные приказания входящим и выходящим. Должно быть, во дворе закололи и жарят барана — аромат подсушенного клевера резко перебивается волнующим запахом жареного сала. А из мехмонхоны, что сообщается с «людской» дверью, доносится приятный и почти не умолкающий мужской голос. Правда, говорящий то и дело прочищает горло, как бы давая себе передышку или набираясь сил.

— Смирись с судьбой, бай-ота...

Ого! Бай-ота! Значит, бай здесь, в мехмонхоне!

Мамат наострил уши. Должно быть, сидит на пороге, или нет, скорей в каком-нибудь углу, посеревший, невзрачный, со склоненной головой, как все последнее время. А приятный голос его увещевает, обступает со всех сторон...

— Смирись с судьбой, это не мы сделали, чтобы люди жили друг с другом как кошка с собакой... Это они сделали, ихние вожди. Вот ваш меньшой сын — он теперь всюду без конца твердит «изм-пизм», а потом будет убивать людей или сам погибнет...

Отсюда, сверху, голос представлялся Мамату округлым и мягким, как ватный мяч, который безжалостно загоняет бая в угол. Вдруг ровное течение приятного голоса прервал другой, грубый, чавкающий — видно, его хозяин уплетал мясо. «Что за чушь!» — бур-

кнул грубый голос. Бай никак не отзывался. Приятный голос снова откашлялся и продолжил:

— Мы шагаем по крови, а за кого? Да, за кого? За вас, бай! За землю нашу, за веру, за нашу честь! А вы жалуете даже пару приятных слов...

Тут только вступил голос бая — тусклый и отчаявшийся:

— У меня ничего не осталось, мусульмане...

— Прячете, чуждаетесь...

— Но вы же видите...

— Мы видим! — вдруг заорал грубый, перестав чавкать. — Мы ви-идим! Ну-ка, поклянитесь, что, кроме этих денег, у вас ничего нет, — тогда и поверим! Что за чушь!..

И что-то упало на ковер. Коран, должно быть, баю кинули. Что же там делается?.. Мамат даже дышать перестал, вслушиваясь. Тишина давила. Потом что-то стукнуло, стук повторился — глухой такой: тук-тук, тук-тук... Где это — во дворе или снаружи?

— Э! — сказал вдруг приятный голос. — А не замурована ли здесь ниша? — И снова «тук-тук, тук-тук», только звук уж совсем тупой. Оказывается, это в мехмонхоне стучат.

Чилим клокотал точно под тем местом, где лежал Мамат. Потом в соседней комнате что-то обвалилось, посыпалось, слышно было, как люди вскочили на ноги, и следом отворились обе створки двери из мехмонхоны в «людскую», оттуда со звонким смехом вышел рослый сухощавый молодой человек. Видно, тот, с приятным голосом. На голове белая баранья шапка, усы, в руках небольшая, присыпанная пылью полукруглая шкатулка с черной инкрустированной крышкой. Да это же «дуржи-бекунж», догадался Мамат: та самая шкатулка, о которой рассказал ему как-то вечером байский конюх. Никто не ведал, что бай в ней держит, где прячет. Знали только: захлопнется крышка, никому, кроме хозяина, ее уже не открыть.

Человек со шкатулкой присел на край сури, все к нему нагнулись — и безбородый с чилимом, и коротконогий толстошей пузан, который вошел чавкая, так что Мамат сразу признал в нем обладателя грубого голоса, и другие; кто-то поднес воняющий факел, но молодой курбаши только ткнул под крышку кончиком ножа с таким видом, словно занимался этим ежедневно, — и крышка со звоном откинулась. Все разом замолкли,

даже дышать перестали: шкатулка была полна золота, алмазов, драгоценных самоцветов!

— Что за чушь!— сказал наконец грубый пузан. Его бессмысленная реплика ко всему подходила!

Молодой держал шкатулку обеими руками, как касу с лагманом; пузан сунул туда волосатые пальцы, вытащил коралловое украшение и уставился на него.

— Вот это насобирали, скупердяй!

— А еще говорил: ничего нету!— крикнули сбоку.— Клятвопреступник!— И они принялись поносить хозяина, словно самого его и близко не было.

Тут-то Мамат и увидел бая. Бледный, обвисший, будто из него выпустили воздух, он вошел и прямо у двери опустился на колени.

— Уважаемые! Поимейте совесть, все это я собирал в поте лица... это честно заработано... надеялся построить... новый дом... поженить сыновей!

В ответ на последние слова грянул хохот, от которого затряслась вся «людская», но бай словно не слышал.

— Братец, милый....— говорил он в отчаянии, подползая на коленях и протягивая руки к молодому курбаши.— Вы ж ровесник моему сыну... пусть всевышний дарует вам долголетье! Не разоряйте меня, старика... не берите грех на душу... Приготовлю угощение, гуляйте хоть до утра.

Они все снова захохотали, но едва курбаши открыл рот, замолкли.

— Угощение?— переспросил тот.— Угощение — это хорошо. Буза есть?

— Есть! Есть...— торопливо сказал бай и с надеждой поднялся на ноги.— У Шади-бузачи всегда есть... тут, на углу. Я сейчас...

— Не надо, мы сами разыщем!

Бай замер. Курбаши сделал знак пузану:

— Э-гей... бери моего коня, лети к беку и скажи: все вышло, как он сказал, придут, мол, к завтраму!

— Что за чушь! — рявкнул пузан, играя плеткой.

— Скачи... коня не жалеи!

Пузан еще раз жадно глянул на богатство, вываленное из шкатулки на платок, и выскочил из «людской».

Курбаши, не трогаясь с места, горстями сложил драгоценности обратно в шкатулку: золотые кольца, сережки с подвесками, браслеты с изображениями бараньей головы, ожерелья, броши, золотые кругляшки

монет; сверху положил кораллы, закрыл крышку — она слабо щелкнула. Курбаши поднял шкатулку, подержал ее в руках, словно взвешивая, снова опустил на сури. Напряженное лицо его помягчело, прояснилось: видно, тяжесть шкатулки его ублаготворила.

— Джигиты! — сказал он громко. — Сегодня ночуем здесь. Пировать будем, бузу пить...

Все в комнате как-то и обрадованно и несыто загудели, заворчали. Курбаши поднялся, поставив шкатулку на сури, взял бая под руку и втокнул в мехмонхону, захлопнул за ним двери, повесил невесть откуда взявшийся замок, и снова потек его приятный голос:

— Только до утра, не посчитайте за обиду, бай-ота, сами понимаете, иначе не заснем спокойно. А сыновья ваши... не убивайтесь вы о них, хе-хе... скоро они зарежут друг друга и избавят вас от волнений! Вот так! Не горюйте...

Старое помещение для батраков было ветхим, но оказалось весьма кстати для ночной попойки. Над дверьми и еще на двух столбах, чадя, горели факелы; широкие деревянные кровати устланы клевером, у очага посередине — большой почерневший кувшин, глиняные касы, два чилима... Чуть погодя принесли бузу в кожаном мешке, холодное вареное мясо, завернутое в скатерть, лепешки. Джигитов было человек десять; они составили в углу пирамидку из винтовок, кое-кто сбегал на коней поглядеть, потом все расселись — кто на кроватях, кто у стены, просто на снопах клевера — и принялись тянуть бузу. Просторная комната о семи балках заполнялась дымом — от факелов, очага, чилимов. Компания быстро пьянела — от бузы или от сознания свалившейся на них удачи?..

Мамата, лежавшего наверху, дым и вонь доводили до одурения, но он больше всего боялся, как бы в сено не завалился горящий уголек. Эти пьяницы схватят свои пятзарядки и давай бог ноги, а бедный бай, посаженный под замок, сгорит заживо! Да и Мамату несдобровать — ведь придется поневоле себя обнаружить... Но он-то уж как-нибудь, а тому несчастному и теперь небось кажется, что он в темной могиле, как бы и впрямь до утра чего-нибудь над собой не натворил...

#### 4. ПРОКЛЯТЫЙ ЯЩИК

Хорошо, что они так шумели в «людской». Зато, когда опростали кожаный мешок, когда один свалился набок, другой стал зевать и потягиваться, третий осоловело прислонился к стене, и разговор начал сходиться на нет, положение Мамата осложнилось: сено колется, а пошевелиться нельзя, лежи как истукан... К черту любопытство, надо было спускаться и бежать, пока шум стоял!..

Дальше — хуже. Все утихло, только иногда слышался храп да шорох сена. Огонь в очаге почти затухло золой, факелы тоже потухли. Глаза Мамата не отрывались от щели в потолке. Как раз под ним, на сури, лежал курбаши; прежде, в общей суете, Мамат и не заметил, как тот сунул шкатулку себе в изголовье, но теперь, когда все смолкли, курбаши снова вытащил шкатулку, завернул в свой чекмень и положил рядом, в высокую нишу, прикрыв сверху обильным сеном, потом подпер палкой дверь, сунул под бок кинжал — и лег. Заснул ли?.. Кто его знает. Вроде пил не так уж много, да и нелегко небось уснуть рядом с такими сокровищами. Лежал он, по крайней мере, неподвижно. Наступила тишина, душная и давящая. У Мамата затекло все тело, то тут, то там ныло и чесалось, но он боялся дышать, не то чтобы пошевелиться. Еще хорошо, что на нем мешковина!.. Сон стал подкрадываться, клеить веки, да ведь не приведи господи заснуть, захрапишь или чихнешь — конец, стащат за ноги и как пить дать повесят — тут же ящик, полный золота!

Мамат затаился, а чтобы облегчить себе неподвижность, позволил на мгновение закрыться векам... и задремал! Впрочем, как ему показалось, он тотчас и пробудился. Который час, он не знал, но по какой-то особой, глухо установившейся тишине заключил: полночь. Глазам снова пришлось привыкать к темноте. Он осторожно повернул голову — рядом с ним еле-еле пробиwался тусклый свет. Что за черт!.. Он долго глядел, прежде чем сообразил, что это в очаге какой-то уголек разгорелся, а наверху, рядом с Маматом, дыра в потолке, едва прикрытая соломой. Где же эта дыра — далеко от стены?.. И тут душа у него ушла в пятки: ведь дыра почти над самой нишей, куда курбаши положил шкатулку! «Ну, лежи тихо!» — сказал себе Мамат. Он

представил, что ящичек совсем рядом. Вот ведь бог покарал! А может... может, и не карал вовсе?..

Страшно было думать, что всё — басмачи и сокровища — так близко! Колотящееся сердце, казалось, ощутило сотрясает воздух. Надо поразмыслить! Успокойтесь и поразмыслить. Долго лежать здесь опасно, торопиться — еще опасней. Как же быть?.. Спасительные выдумки не приходят, в голове шумит, каждый шорох сена — как горный обвал. Внизу, слава аллаху, кто-то начал храпеть, сперва потихоньку, потом все оглушительней. Воспользовавшись этим, Мамат слегка пошевелил правой рукой. Если при каждом взрыве храпа он будет чуть-чуть продвигать руку, то сможет очистить дыру, откуда пробивается свет. А там... Ну, там, разумеется, станет виднее!.. Он чуть не хихикнул. И мысленно выругал себя — тоже, развеселился!

Дело оказалось не слишком трудным. Храпун совсем разошелся, стал еще и бормотать во сне, ворочаться. Мамат испугался даже, что он других разбудит. Но сам пока что под скрип его кровати успел отодвинуть сено и, вытянув шею, глянул вниз. Под сеном, из-под полы чекменя, поблескивал черный лакированный бок шкатулки...

Та-ак! Теперь бы только успеть до рассвета. Нельзя уйти отсюда без этого драгоценного ящичка. Собственно, когда он это решил?.. Только что еще и мысли ведь такой не было!.. Ну да ладно. Решил — так тому и быть. Надо проучить этих грабителей, что мучили невинного человека! А потом что будет?.. Э, пока лучше не думать. Еще шкатулку надо достать!

Тело у него горит, из носу течет, высморкаться и думать нечего. Он осторожно утер нос рукавом и стал тянуть руку к шкатулке. С каждым вдохом — на длину ладони. Если кто не спит, подумает — это крыса шуршит. Но что это он затеял? Дотянуться до шкатулки — это же надо самому наполовину просунуться вниз, в дыру!.. Ладно, попробуем еще!.. Не успел он потянуться, кто-то внизу как закричит: «Руби саблей!» У Мамата чуть сердце не разорвалось от испуга, он замер, как ящерица на камне, и руку не втянул — так и повисла с потолка. Уф-ф... Видно, все тот же храпун бредил. Сосед его поднял голову, сказал со сна: «Чтобы ты сдох!» — и снова тишина, взрываемаемая храпом.

Мамат, однако, долго не мог успокоиться — лежал весь в поту, сердце колотилось, как муха о стекло. Про-

клятый ящичек! Не блестеть бы тебе, как черная змея, сгореть бы к черту! «Достану — сожгу со всем золотом!..» Хотя нет, глупо: жизнью не дорожит, только б достать, разве сожжешь?.. Надо возвратить бедняге баю. Сидит там, запертый под замок, в пустой мехмонхоне с разрушенной нишей, и думает свою горькую думу о сыновьях...

Отдышавшись, Мамат полез дальше. Не будь сена, как было б просто! А ведь он, дурак, летом сам его сюда натаскал. Вспомнишь — зло берет. Но кто ж знал?.. Э, хватит думать черт-те о чем — сейчас все мысли должны быть в руке, в пятерне. Кончики пальцев, okayзывается, такие чувствительные бываюти... как нос у собаки... Вот ворот чекменя... вот... нет, пустота... вот! Сердце Мамата екнуло: под пальцами очутился холодный, гладкий бок шкатулки. Все свои силы Мамат передал пятерне. Стронуть бы с места! Ох!.. Шкатулка выскользнула из чекменя неожиданно легко. Но как теперь ее из сухого сена вытащить?.. Рука дрожит. Не то он устал, не то волнуется. Та-ак... только б не вырвалось... тогда — все... конец...

Он едва помнил, как удержал ее, тяжеленную, в пальцах правой руки, как втянул себя обратно на чердак. Снова лежал неподвижно, чтоб отдышаться. Потом стал думать. За пазуху сунуть?.. Тяжела, выскочит. Завязать в поясной платок да за собой волочить? Сено так зашуршит, что не только эти — вся округа проснется! Выходит, самое трудное впереди. Выбраться с чердака — всего-то пять-шесть шагов сделать, а попробуй сделай...

Но видно, мысли Мамата, воодушевленные удачей, крутились упрямо и безостановочно, как мельничные жернова, — недаром с выпуклого лба ручейками тек пот. Есть выход! Он будет держать ящичек обеими руками и тихонько перекаtywаться. Медленно-медленно, как солнышко на небе... Сколько потребуется времени на путь в шесть шагов?..

Но тут случилось то, чего он никак не ожидал. Кто-то заколотил в наружные двери или ворота, и грубый голос пузана завопил:

— Что за чушь! Эй, открывайте!

По голосу ясно: он свое сделал.

А Мамат? Ему-то до своего ой как далеко!.. Теперь все проснутся, и курбаши, чуть очухается, первым делом протянет руку к нише. А в нише пусто... Конец, нет

избавления! Разве что выбросить шкатулку? Так ведь и его сразу найдут!..

Внизу и впрямь стало шумно, кто-то открывал гонцу двери, кто-то стонал от головной боли и смачно ругался, кто-то, зажав в руках комок сухой глины, собирался в отхожее место, кто-то мурлыкал песню, искал угли для чилима...

И вдруг страх Мамата прошел и в голове прояснилось: да ведь сейчас самое время встать и убежать! В таком шуме никто ничего не услышит, хоть пляши на потолке. Конечно, надо действовать на авось, но разве есть другой выход? Сейчас или...

Он даже не успел додумать — вскочил, туго завязал груз, сунул под мышку, на коленях вылез из чердака и с крыши хлева прыгнул прямо в кучу навоза. Оттуда перелез через забор в загон, дальше, по грядкам огорода, вышел к краю усадьбы; не оглядываясь, вытащил свое сокровище и сунул под каменную кормушку. Сверху набросал навоз, притоптал чарыками — и все так же, не оборачиваясь, зашагал по дороге. Поле, поросшее по краям тамариском и сизолистым тополем, пряталось в тумане, но рассвет уже начался.

Теперь — напрямик на пастбище!

Он так стремился на вольный простор, словно выбрался из душного ада. Так оно и было!.. Чарыки Мамат перебросил через плечо и, ступая босиком по мокрой росистой земле, ощутил себя свободным, сильным... словно не мыкался ночь без сна, а всласть отсыпался. Дышалось полной грудью, в мыслях совсем просветлело. Да, уж повезло ему, как и в семи снах не приснится! И ведь ничего не задумывал, все сделалось само. Удивительно, как только хватило хитрости и бесстрашия!.. А этих-то... этих кровавых бездельников... как их проучил! Вот бы поглядеть, что они там делают... Но тут же он от этой мысли поежился. Нет, лучше уж быть подальше. Наверняка схватились за ножи, обвиняют друг друга. Или, может, бая?.. Да нет, бай ведь под замком!.. Хоть бы они все друг друга поубивали. Не найдут ящичек, хоть с собакой ищи. Лежит ихнее золото в трухе, под навозом. Там ему и место! Не для себя его Мамат брал, нужно больно... грязным штанам да золотая оторочка! Тьфу! Нет, пусть только все затихнет — и вручит Мамат эту проклятую шкатулку самому баю.



Дня три-четыре спустя Мамат по какой-то надобности снова отправился в кишлак, да ему и не терпелось обрадовать бая. Небось лежит в пустом доме и ноет. Зато какой сделается у него вид, когда Мамат вручит драгоценную шкатулку! Вот будет здорово! Очень уж простой он человек, бай Салим. Ведь потому и прозвали его «Салим-скотник», не из-за одного скота: «чорва» — значит и «скотник» и «простак». Взять хоть бы тогдашнюю ночь: просидел ее без толку в запертой мехмонхоне... Что ж там, оконца не было, дыры, щели? Да хоть бы стену пробил, шум поднял, людей позвал. Имущество-то ведь твое! Нет, покорился... как баран, которого стригут. И хотя в ту ночь Мамату это тоже не приходило в голову, но ведь сам-то он, Мамат, даром что мальчишка, сумел обдурить насильников. Вспомнишь — и до сих пор душа радуется!.. А может, потому и обдурил, что мальчишка, они о нем и не подозревали?.. Ну, так ли, сяк, а он свое сделал...

Мамат невольно улыбнулся. Тропинка, уходящая зигзагом по солнечному склону горы и знакомая ему как собственные чарыки, сбегала к лоскутным полям внизу, к подвядшим, но еще густым, не тронутым осенью тутовникам. Лето на исходе, но долина по-прежнему полна зеленой жизни: кажется, глядит на Мамата и улыбается, как на собственное вернувшееся дитя. Он же здесь вырос, и помочь кому-нибудь здесь в такие тяжкие времена — радость. После трехчасовой дороги он на этот раз не чувствовал никакой усталости.

Дойдя до усадьбы, Мамат пополз на коленках по высохшему пруду, в тени спадающих с дувала виноградных лоз. Со стороны дома не доносилось ни звука. А все же надо сперва разузнать, что там и как. В сторону каменной кормушки он даже не глянул, хотя, когда проползал мимо, сердце так и забилося.

Вроде действительно тихо. Он поднялся, огляделся, вошел во двор. Никого. Но, распахнув двери бывшей «людской», замер: там словно неделю бұран бушевал! Котлы перевернуты, сено раскидано, двери вырваны, окна разбиты. Искали как следует! Хорошо — не поджгли!

В дверях, ведших в мехмонхону, показался Салимбай. Он брел не глядя, как удрученное привидение — истощавший, в болтающемся белом бязевом халате,

глаза на осунувшемся лице ввалились, даже борода вроде съежилась.

— Бай-ота... — сказал Мамат.

Бай поднял глаза, увидел мальчика — и весь затрясся:

— Это... это ты, нечестивец?!.. Ты где пропадал? — закричал он неестественно обиженным голосом и вдруг заплакал.

Шайтан, что ли, подменил бая? Никогда хозяин так с ним не обращался! Бай проглотил слезы и заговорил тем же тоном:

— Правду, видно, говорят: кто родился от пса — в жертву не годится! Твоего бая-бобо ограбили, разорили, а тебе и горя мало: столько дней не показываешься! — Бай перешел на крик: — Когда не нужен, так и вертишься под ногами, чтоб тебе молодым помереть! Воспитай ягненка-сироту, рот и нос твой будут в молоке, воспитай мальчонку-сироту, рот и нос твой будет весь в крови... Ох, проклятье на могилу твоей матери!..

Бай замолк, горестно качая головой, — видно, запал кончился. Мамат понял: баю надо сорвать на ком-то свое горе. Но и у него, Мамата, есть гордость — пусть и ничего больше нет. Упреки бая пронзили его до кости. Он-то старался, жизнью рисковал, всю ночь мучился, пока бай смиренно сидел в мехмонхоне, — и спас ему шкатулку... Тут ему пришло в голову, что, выложи он вот сейчас шкатулку да отдай — все бы тотчас переменялось! Выходит, дело в шкатулке, а не в человеке?.. Ему, Мамату, этот поганый ящичек со всем добром и на понюх не нужен, ему бая-ота жалко было... А баю... Нет, надо подумать. Подумать надо!

Мамат принялся подметать двор и дом, вытаскивать мусор, битый кирпич, обломки битой посуды и дерева, а сам воображал, как тут все было после его бегства.

...Курбаши, едва глаза продрал, сразу, конечно, протянул руку к нише. Клад исчез! Меж пышных бровей курбаши разом вырос бугор. Он вскочил и уставился на спутников.

— А ну, — проговорил он грозно. — Кончайте шутить!

Джигиты глядели, ничего не понимая. Не проснулись толком.

— Я кому сказал — кончайте шутить! Со смертью играете!

До пузана дошло до первого.

— Что за чушь! — буркнул он испуганно.

— Чушь?!.. — заорал курбаши. — А шкатулка где? Где-е?! — Он стряхнул на пол сено, на котором спал, потом выдернул из ниши камень и встряхнул, потом стал выбрасывать сено из ниши, заглянул под кровать. — Ну?! — заорал он снова. — Где?! Кто взял? Ищите! — И обвел всех глазами. Лица у всех были испуганные, без притворства. — Дверь на замок!

Пузан кинулся запирать входную дверь. Он один был вне подозрения, ездил к беку. Запер дверь и стал около нее с винтовкой. Но у курбаши мысли, видно, направились в другую сторону. Одетый кое-как, волоча один сапог, он как вскочил, так больше и не приводил себя в порядок, — идет к дверям в мехмонхону, подрагивающей рукой вставляет ключ в замок, и, когда резко распахивает обе створки резных дверей, все видят Салим-бая в той же позе, в какой оставили его вчера: серый, безучастный, он сидит на полу, прислонившись к полуразрушенной стене... Его поднимают, тащат за руки в «людскую», спрашивают с угрозами, но очевидно, что он ничего не знает и как бы не в себе. Курбаши осматривает полутемную мехмонхону — никаких следов. Он возвращается в «людскую», начинает прыгать по сури, разбрасывая и топча ногами сено; потом принимается за своих спутников — одного за другим хватая за воротник и со зверским выражением лица вглядываясь им в глаза... Пузан тем временем все стоит у двери и, торжествуя по поводу своей непричастности к событиям, выкрикивает:

— Что за чушь! Эй! Спали, как собаки после поминок! Что за чушь? Беку что скажем?

До полудня только тем и занимаются, что на глазах у хозяина разрушают стены и потолок «людской», ломают и выбрасывают деревянные кровати, то и дело перетряхивают и вышвыривают во двор сено, потом обыскивают ниши во всех комнатах, осматривают очаги, печки, рушат их, рыщут даже возле нужника.

Все напрасно! Шкатулка испарилась... улетела! Курбаши в отчаянии, джигиты в недоумении, один пузан злобно и торжествующе поблескивает маленькими узкими глазками. Только он тут вправе никому не верить! Но ведь и подозревать некого — вот в чем беда. Разве что нечистую силу!.. Но на нее беку не сошлешься... Нет, не сошлешься. И курбаши снова с бессилием отчаяния принимается за явно бесплодные поиски там,

где все уже перерыли. Надо же! Поспешил послать гонца к беку, получил благодарность за добрую весть... а что сказать теперь? Кто поверит? Кто простит? Только не бек. Красивое лицо курбаши побелело, он то мечется, то присаживается с безнадежным видом, то орет на всех, то шепчет молитву...

...Так все оно и было, думает Мамат, продолжая уборку, покуда замолкший после вспышки Салим-бай, как заводная кукла, ходит по своим разоренным владениям взад-вперед, взад-вперед. Мамату и невдомек было, как в самом деле все кончилось: после захода солнца тело курбаши нашли в хлеву — уперев приклад в кучу сухого навоза, пальцем босой ноги он нажал на спусковой крючок ружья... Джигиты, измотанные этим сумасшедшим днем, даже почти и не удивились своей находке. Всем было ясно: бек так и так не оставил бы курбаши в живых. Кое-кто помолился, кое-кто пробормотал из приличия: «Вручил долг... призвал его владыка... да будет в раю!» Только пузан, увидев мертвого курбаши, неожиданно прослезился... но тут же словно раздулся вдвое: он теперь становится старшим! Сели на коней, перебросив тело через седло — и умчались...

Мамат подмел золу, убрал мелкие обломки. Когда он тужился, пытаясь поднять упавшую с крыши тяжелую балку, к которой крепилась разрушенная теперь печь, тихонько подошел бай и, ухватясь за другой конец балки, молча помог мальчику. Когда он нагибался, Мамат искоса глянул и увидел на лице хозяина что-то, похожее на раскаяние. Но обида Мамата еще не прошла. «Э, нет, — думал он. — Хорошее в беде проверяется. Теперь-то я тебе, хозяин, цену знаю: тебе и твоей доброте. Не зря говорят: рана от ножа зарастает, рана от словца — нарастает. Нынче хоть и навязывайся мне — отступаюсь. А тот ящик проклятый пусть сгниет в навозе!.. Хотя...» Мамату вдруг вспомнился учитель-ногаец со своим грузом. Вот кому бы, наверное, пришлось кстати добро из шкатулки... Да где его найти? Кто знает, по каким кишлакам он бредет. А может, прямо в приют снести? Но где и приют-то этот?.. «В Симе, таксыр... — вспомнил он. — В самом Симе...»

## 6. МАМАТ МЕНЯЕТ РЕШЕНИЕ

Под столькими ударами судьбы Салим-бай растерялся. Причина таких напастей, решил он, может быть только одна: его собственные грехи. Жизнь в одино-

честве, не требовавшая усилий ни ума, ни тела, расслабила его и превратилась в простое ожидание — ожидание сыновей. Хозяйство, думал он, все равно рушится — вот и стал продавать, что можно, полагая, что так спасет хоть что-то для наследников; дошла очередь и до овечьих гуртов, он отдавал их оптом. Одно его мучило — воспоминание о словах покойного курбаши насчет его сыновей: «Скоро они зарежут друг друга...» Сам-то, говорил себе бай с мстительным злорадством, сам-то и дня после тех слов не прожил, а мои сыновья, слава аллаху, живы!.. И давал клятву: если хоть один из мальчиков здесь появится, посадить под замок и никуда больше не выпускать... Как же, возражал он себе, посадишь их! Не выпустишь!.. Нет, уговаривать надо, умолять, в ноги броситься, может, поймут, опамятуются, жестокосердные, сообразят, какова цена отцовского наследства, как дорого стоит родительская боль и забота... Поймут, где уж там! Вот помру — тогда и поймут... Видно, и мальчишка Мамат не очень-то верит, что Халим и Алим могут вернуться. Змееныш!.. Или нет, не змееныш он, неплохой паренек, иной раз посмотрит так добро, с жалостью, спасибо и за то, все-таки живая душа.

Салим-бай большей частью возился в заднем загоне, там у него есть лошадка, приведенная с пастбища, чтоб в арбу запрягать, и он ее обихаживает, кормит овсом. К тому же из этого загона весь кишлак — как на ладони. Появится чья-то фигура — бай встанет, упрет подбородок в черенок вил и не сдвинется с места, пока не узнает, кто там идет или едет.

Однажды пробирались через холмы три всадника. Бай стоял, смотрел, сощутив глаза, никого вроде не узнал, но надежда и тревога сменяли в нем друг друга. Всадники не проехали мимо — остановились у ворот, спешились, коней привязали за колья в тени вяза и ступили во двор. Первым шел худой хромоногий человек в кожанке, из-под которой торчала деревянная кобура, второй был, верно, его помощник, — Салим-бай видел, как он принял у первого коня и приоткрыл ворота. Третьим оказался председатель местного совета, словоохотливый маленький человек, который зимой и летом носил киргизскую шапку; и как это Салим-бай не узнал его сразу? Видно, зрение портится...

— Раньше на дворе собака была... — сказал председатель, беспокойно озираясь.

— Нету, давно нету, входите!— сказал Салим-бай.

Гостей он принял на вытащенной из «людской» деревянной кровати; вместо сломанных ножек под нее подставили кирпичи.

— Аминь! Откуда будете, дорогие гости?..

— Мы из Узгена, бай,— сказал тот, что был в кожанке.

— Ладно, был бы мир и спокойствие...— И бай велел подать чаю.

Пока Мамат собирал на поднос угощение, в голове у него словно вспыхнуло: «Красные!» В самом деле, раз пришли с председателем Совета, кем же им быть еще?.. Он их давно ждал — ждал и боялся. Не сегодня, так завтра, но они обязательно должны были прийти — за лошадьми ли, хоть лошадей больше и не было, или по другой причине... И вот они здесь!.. Расстилая скатерть, ставя поднос, заваривая чай, он лихорадочно размышлял. Может, отдать ящичек им?.. Приют-то Совет открыл, если отвезут сокровища в Совет, так, наверно, купят сиротам и еду, и все, что нужно... Только вот болтливому этому коротышке — председателю — не очень-то верится. Сидит, мелет чепуху...

— Зачем ставите колышек для телки, что на свет еще не родилась!— говорил коротышка баю, наливая чай в пиалу.— Только и знаете, что жаловаться, а у вас вон две ниши бархатных одеял! У меня так и циновки нет...

Даже хромой в кожанке его оборвал:

— Ну, председатель, вы вроде хвастаетесь, что циновки нет! Нет, так сплетите... Камыша еще хватает.

Мамат не слишком прислушивался к беседе, своих забот выше головы. Если отдавать сейчас ящичек, надо успеть сбегать на задний выгон, вытащить, очистить от навоза... И передать этому, в кожанке, да так, чтобы бай не заметил. И еще наверняка спросят: где взял? Разве это наскоро объяснишь?.. И не приведи бог бай увидит — позор!..

Наконец Мамат обдумал все до мельчайших подробностей, стал прислушиваться к разговору, чтоб не упустить нужный момент, и обнаружил, что беседа приняла крутой оборот. Хромой в кожанке, поначалу вроде доброжелательный, говорил теперь жестко:

— Когда приходят басмачи, для них все есть: и кони, и еда. А для Красной гвардии вы, оказывается, бедняк! Чуть не нищий!

Странно, подумал Мамат, с виду вроде добрый человек, а говорит несправедливо. Ему вспомнились те, первые трое: «Если у вас нет, у кого ж есть! Или все Красной гвардии отдали?..» Ну, что мог бай с басмачами поделывать?!..

Бай как раз отвечал, склонив голову:

— Ни белых, ни красных я не знаю..

— Не знаете!— уже совсем зло сказал худой в кожанке.— А джигитов бека вечерами пойте бузой! И золотом снабжаете!

— Снабжаю? Как же это снабжаю, уважаемый, они меня ограбили! Порушили тут все, разве не видно?.. Ну, не верите — ищите, в конюшню зайдите — там одна кобылка для арбы, желаете — отдам...

— Для нас, значит, тощая кобылка! А скакуны Халима, приученные к улаку? Басмачам подарил?— Это встрял коротышка председатель.

— Смотрите, мы над собой смеяться не позволим!— Начальник в кожанке, кривясь, массировал колено.

— Что ж вы от меня хотите-то?

— Мясо нам нужно, бай! Мясо! Красную гвардию создаем, ее надо едой обеспечить, понятно?.. Мы ведь не просто берем — расписку дадим... обещаем сохранить жизнь сыну вашему, что с басмачами!.. Ну, что скажете?

То ли потому, что напомнили о сыне, то ли от безжалостного напора гостя сгорбленные плечи бая задрожали, и он беззвучно заплакал. Худой в кожанке воспринял это как отказ; он резко поднялся, отчего кровать качнулась и с края упала и разбилась пиала. Спутники его тоже, чуть суетливо, встали и засобирались.

— За оказание помощи врагу Советской власти,— гулко сказал начальник,— мы конфискуем все ваше имущество. А вас, бай, отправим в ссылку!

Салим-бай еще больше сгорбился, теперь он весь трясся в беззвучном и бессильном плаче. При виде этого и Мамат чуть не заплакал от обиды. Неужели и у этих не оказалось жалости?.. «Враг»... «В ссылку»... Зачем же лежачего топтать? Выходит, будь худой на месте того курбаши, тоже бы искал и забрал шкатулку насильно?.. Нет, нельзя ему отдавать... нельзя...

Когда осела пыль, поднятая ускакавшими всадниками, и все вокруг стихло, Мамат почувствовал себя вконец растерянным, словно и он, как этот несчастный

бай, оказался меж двух огней. Да нет, каких там двух... ему и один не светит. Надо все-таки разобраться. Бая жалко, конечно... но душа к нему больше не лежит, нет! Вот только забота — сокровища под навозом. Хранить их там долго нельзя, разве знаешь, кто тут будет хозяйничать. Что явится кто-нибудь и поможет — ждать дальше глупо. Одно теперь Мамат знал твердо: сокровища эти — не байские, и не басмаческие, и не того, в кожанке, и не Маматовы; конечно, это — сиротская, приютская доля. Что он сам сирота, Мамат и не вспоминал. Так что же остается? Самому искать тот приют?.. На арбе, или пешком, или на огненной арбе? Кто знает, как далека эта дорога... А-а, подумал он, учитель-ногаец одолевает же ее на своих двоих, да еще с грузом, а я что?.. Да, но учитель знает, куда идти... И я узнаю! Язык и до Сима доведет!.. Растерянность Мамата как рукой сняло — предстоящие поиски представились ему чудесным приключением. Но тут он подумал о шкатулке. Да, в ней-то и загвоздка. Если кто учует хоть бы тень ее — не рассчитывай больше ни на совесть, ни на жалость. Запросто можно голову потерять. Один уже расстался с жизнью. Да, наверное, и не один... Ну, авось никто не догадается: вид у него не ахти какой!.. Знать бы, как долго идти. Осень ведь на исходе. И пропитанья — кот наплакал... ничего, свет не без добрых людей.

И все равно ведь другого выхода у него нет!

## 7. ОПАСНАЯ УЛИЦА

Когда воробыха на выступе камышовой крыши прочиркала рассвет, Мамат был уже на ногах. В веревочном гамаке лежали приготовленные в дорогу переметная сума и пастуший мешок. Бай сулил за труд по одной козе и одной овце за год — но он уйдет, даже не напомнив о плате, значит, обижаться баю не на что. Вот только у Мамата у самого заныло сердце. Кокандские цветы по берегам арыка пожухли, листья черной шелковицы падают, не успев пожелтеть. После его ухода все тут и вовсе осиротеет, и что будет с этим потерявшим радость и прелесть разоренным двором?.. А его, Мамата, что ждет впереди?..

Под матрацем у него хранился оставшийся от бабушки серый камзол. Мальчик достал его, встряхнул и напялил. Запахло перцем. В мягких носках старых



разбитых чарыков утопали пальцы; чарыки непарные, ну да ладно, пригодятся в такой дальней дороге. Он намотал портянки, обулся. Веревки пастушьего мешка, наполненного сухарями, толокном и сушеным урюком, продел под мышки и вскинул мешок на спину, переметную суму перекинул через дувал. Потом сам поставил ногу в провал около очага, перелез в задний загон. Перелезая, он задел глиняную крышку печи, она сорвалась и напугала горлиц, сидевших на желобе. Мамат замер, переждал, потом по грядке огорода подошел к каменной кормушке, ногами разворошил навоз, землю... Показался перламутровый ящичек, по-прежнему блистающий и нарядный. Сердце у Мамата екнуло. Он чувствовал, что словно бы выходит на какую-то страшную и опасную, полную неизвестности улицу. Но и назад тоже пути нет! Он рукавом протер ящичек, вернулся к дувалу, сунул драгоценности в большое отделение переметной сумы, из маленького вынул портянки и кусок кукурузной лепешки, положил поверх шкатулки. Потом перекинул суму через правое плечо, большим отделением вперед, надвинул на глаза замызганную козловую тубетейку — и двинулся в путь.

Выбравшись из города, он должен был идти по склону холма, по тропинке, проложенной скотом, пока не выйдет на большую дорогу. От тяжести груза он заметно сгорбился и ступал носками чарыков. Дорогу в город он знал, хоть в городе не бывал никогда: сколько раз провожал Халима на улак!.. Дорога доведет до города, а там должна быть огненная арба — так он слышал, она и довезет до Сима. Доберется!.. Только вот шагать неудобно, тропинка неровная, вся в выбоинах, а главное — этот ящичек на груди! Что тяжел — это еще полбеда, но давит на грудь, дышать мешает... и торчит, наверное, всем будет заметно!

Ну, ладно, ладно, дайте только выбраться на ровную дорогу. Легче станет идти, и можно будет подумать о том, как встретят его в приюте, когда узнают, с чем пришел. Ради этого стоит постараться!.. Но, увидев впереди, в рассветном тумане, человеческую фигуру, Мамат испугался, словно с волком встретился. Слава аллаху, фигура ушла с дороги в сторону, а пройдя еще немного, он увидел, что и бояться было нечего: какой-то рано поднявшийся старик оправлялся у тополя и теперь, поддерживая штаны, шагал в огороды. Однако что ж это будет, если так пугаться каждого встречного?

В городе-то небось полно людей... Не вор же он! Не вор... Это уж как посмотреть... Бай, если б знал, счел бы его самым что ни на есть настоящим вором. И кто знает, с кем придется встретиться... Коль рассудить, жизнь его на волоске висит!..

Тропинка для скота давно осталась позади, развеялся привычный запах кизяка. Дорога была ровной, но зато пыльной, дырявый чарык сразу отяжелел. В полдень Мамат присел у обочины под кустом и съел кусок кукурузной лепешки. Росы давно и след простыл, земля накалилась. Мамат снял чарыки, вытряхнул, положил в суму поверх ящичка. Опять же и ящик так подальше от глаз.

Дышать становилось все труднее. Встречные и обгоняющие арбы — Мамат усиленно их сторонился — поднимали густую пыль; привыкший к чистейшему воздуху пастбищ, мальчик сильно устал. И он, и вся одежда на нем были в поту; шипало все ссадины, порезы, болячки. Ближе к вечеру осторожности в нем поубавилось: он упросил дехканина, который вез солому на базар, посадить его на верблюда. Но едва отдышался, опасения вернулись. Вдруг погонщик спросит: чей ты сын, что у тебя в суме?.. Стоило тому повернуть голову, Мамат вздрагивал, сердце уходило в пятки. Никогда он ничего не боялся, пока не вошла в его жизнь эта проклятая шкатулка!

К счастью, хозяин верблюда оказался человеком неразговорчивым. В начинавшихся сумерках подъехали к кишлаку — и тут Мамат, сказав: «Спасибо, дядя!», съехал наземь по рогожным мешкам с соломой. Верблюд через несколько мгновений исчез на одной из боковых тополиных улочек кишлака, а Мамат на плохо гнущихся от неудобного сиденья ногах зашагал было дальше. Ему казалось, драгоценности в ящичке стучат друг о друга на весь поселок; а может, это сердце колотится?.. Осенний вечер надвинулся быстро; надо ведь какой-то ночлег найти! Остаться на дороге или на улице нельзя, в баню или хумдан вряд ли заберешься, да и подозрительно это, в чужую дверь в такое время стучаться бесполезно... Мамат миновал пустырь, которым завладела стая бродячих собак, и вдруг увидел свет впереди — в ноздри ударил сырой запах водоема и тальника. Это оказалась большая чайхана. Мамат сел на край сури, стоявшего снаружи, и стал в темноте дожидаться ухода последних посетителей. Наконец

чайханщик прикрутил фитили в лампах, вытряс паласы и циновки и стал стелить себе постель. Тут Мамат и вошел в чайхану.

— Дядя самоварщик, можно мне переночевать тут?— сказал он просительно.

Чайханщик был низкорослый, толстый человек с отвислыми щеками; лицо у него казалось добрым.

— Деньги есть?— спросил он мягко.

— Я из приюта. В кишлаке своем побывал...— Мамат и сам удивился, как ловко соврал.

— Эх-ха...— не то сказал, не то выдохнул чайханщик и оглядел Мамата. Не остановил ли он взгляд на большом отделении переметной сумы? Мамат сжался, словно стараясь занимать как можно меньше места.— Где приют-то твой?

— В Симе, дядя!..

— Ох-хо-хо-о!— Снова непонятно было, говорит чайханщик или только вздыхает. Отвислые щеки его надулись, и весь он словно округлился.

Надо что-то сказать, подумал Мамат, может, спросить про дорогу в Сим? Ох нет, вот бы ляпнул. Скажет, как же ты из Сима, если дороги не знаешь?..

— Ладно, заходи,— сказал наконец чайханщик.— Бог воздаст... Вон там ложись, у столбика.

Мамат поклонился благодарно, поднялся на большое сури, облегченно вздохнув, сложил свой груз возле столба, на который указал хозяин, и уселся на циновку. В чайхане было тепло, уютно, пахло печеным хлебом. Он вспомнил, что говорил старый табунщик бая: «В дороге ночь всего страшней, а сон всего опасней!»— и решил, что пролежит до рассвета не сомкнув глаз, лишь бы отдохнуло уставшее тело. Он положил переметную суму в изголовье, сверху накинул снятый камзол и развязал мешок — чего-нибудь пожевать. Но тут чайханщик снял с огня чайник и снова зажег черную лампу.

— А ну, путник, давай-ка пить чай,— сказал он, расстилая на кошке квадратный платок.

Мамат вздрогнул:

— Не-е, спасибо, дядя, у меня... у меня толокно есть!

— Бери чай, бери, без горячего усталость не выгонишь!

Отказываться не было причин, но с переметной сумой что делать? Не подтаскивать же ее за собой!

И оставлять боязно... В первый раз за дорогу Мамат, скрепя сердце, отошел от своего драгоценного ящика — и будь что будет!..

Чайханщик молча пододвинул ему большое красное яблоко, налил чаю. Чай из самовара Мамату не понравился — он привык к чаю из черного кумгана. От этого ли, или из-за сведавшей его тревоги жажду Мамат не утолил. Он был только рад, что чайханщик оказался так добр и при этом не задавал вопросов.

Однако, едва они улеглись, вошли каких-то три дружка и разом испортили эту счастливую, обещавшую отдых ночь. То ли они бузу пили втроем, то ли с вечеринки шли и решили добавить себе ночного веселья, но вошли с шумом, с гамом и громко, нагло стали будить чайханщика. Один сразу задымил анашой, другой привязывался к хозяину с дурацкими вопросами и наконец заорал:

— Эй, чайханщик, кто это там лежит, а?!..

Чайханщик объяснил: прохожий, мол, сирота...

— А ну, позови сюда, потолкуем...

У Мамата даже волосы на голове зашевелились.

— Оставьте его, мулла-ака, спит, издалека пришел, бедняжка... И не годится он вам в дружки, сопливый еще.

— Сопли-ивый! Сейчас все беды от сопливых... Откуда знаете, может, украл золото у хозяина и сбежал! Таких теперь полно!

Чайханщик не стал спорить, только сказал: «Сейчас чай принесу...», а Мамат прямо-таки заледенел весь от страха. Что сейчас будет? Надо же, в точку попал, проклятый гуляка!

Аромат крепко заваренного чая разнесся по чайхане, хозяин принес дружкам чайники и миндаль да леденцы на подносе. Они стали прихлебывать, громко беседуя. Пахло анашой. Мамату казалось, что угол ящичка у него под головой вонзается прямо в мозг. Убежать бы, да разве убежишь. Дружки хохотали.

— Порази меня бог! — говорил тот, что одолевал хозяина вопросами. — Я ж говорю: все беды от сопливых! — Он выпускал изо рта вонючий дым и крикливо рассказывал о каком-то слуге, который поджег бая и скрылся. — Не то камсалон, не то гвардия называется. А сам — тоже сопливый. И этот еще говорит... Чайханщик! Чилим есть? Нету?.. Идите найдите...

Бедный чайханщик среди ночи пошел искать чилим, а Мамат лежал скорчившись, обняв суму. Он решил, если тронут, будет кусаться, и весь напрягся, как маленький, надутый воздухом мячик перед броском.

Дружки ушли на рассвете.

— Ворье проклятое... последнюю кроху покоя крадут!— ворчал чайханщик, запирая за ними дверь чайханы. Он подбросил углей в самовар и улегся. За окнами уже серело.

«Покой!— думал Мамат, всю ночь продрожавший от страха.— Где там покой... его теперь и не будет никогда...»

## 8. ГОРОД

Мамат видит город впервые. Лучше бы не видел. Еще недавно сердце у мальчика вздрагивало в испуге от каждой человеческой тени, а здесь людей — толпы! Сумерки наступили, а на улицах и площадях люди все суетятся, как мураши — туда идут, сюда проходят — куда их всех несет в такой неурочный час? Засмотревшись, Мамат чуть было не забыл про свой опасный груз. Ну, забыть-то не забыл, но куда ему теперь податься? Прошагал весь день, в коленках сил не осталось, стер пятки так, что ступить невозможно... Чарыки обул — еще хуже! И есть хочется — сил нет, а пастуший мешок давно пуст, и в суме тоже один этот проклятый ящичек и остался. Ноша должна бы легче стать, а сделалась, кажется, еще тяжелей.

Сколько же тут все-таки людей! Каждая улица похожа на базар, один идет сюда — толкает, другой идет туда — толкает; то лишь хорошо, что никому до тебя дела нет, никто тебя вроде и в упор не видит, каждый занят своим; иначе, будь он у стольких на виду, Мамат вконец бы издергался. Теперь он поуспокоился и даже рисковал задавать вопросы встречным. У горбатого, похожего на грузчика прохожего он спросил, как выйти к огненной арбе; тот сперва удивился, потом с улыбкой оглядел Мамата с головы до ног:

— Истанса?

— Да-а...

— Истанса не здесь. В Джелалабаде! Отсюда четыре дня ходу,— сказал он и тотчас, забыв о Мамате, пошел дальше.

Вот это да! Выходит, огненная арба здесь не ездит? Мамат вдруг почувствовал, как в желудке словно разозленная кошка царапается; а впереди — дорожные мушки длиной в целую жизнь!.. Изнутри-то его грыз голод. Да еще и ночлег найти надо! А здесь, он понимал, за просто так никто не приютит... Вместо чайхан — шумные кофейни, на каждом углу полно пьяных... Мамат постучал в две-три двери, но их только приоткрывали, окидывали его подозрительным взглядом и захлопывали снова. Город...

Идти — ногам невольно, присесть у какой-нибудь лавки — станут спрашивать, что он здесь делает. Не будь с ним этого проклятого ящика, он бы ответил!.. Сколько ж ему скитаться, как вору? Или выкинуть его куда-нибудь в уборную — и свобода, и покой, иди на все четыре стороны! Мамат застонал, слипшиеся от пустоты кишки требовали хотя бы остатков вчерашнего толокна; начинал донимать ночной холод, чарыки мучили, а он все шагал, словно босиком по горячей сковородке... Людей становилось все меньше. Впереди на улице замаячил темный холмик — оказалось, куча золы: видно, неподалеку находилась баня, зола еще не утратила тепла. Мамат как был с грузом, свалился на теплую золу и тотчас словно растаял: провалился в забытье.

Очнулся он перед рассветом от холода. Вокруг него на золе лежало еще человек десять похожих на него бродяжек или сирот. Он судорожно пощупал суму: ящичек был на месте. Мамат встал потихоньку, поправил груз на плечах, отряхнулся и поскорей ушел. Сон вернул ему силы, но есть хотелось отчаянно. Свернув в переулок, он неожиданно-негаданно вышел на базар. Хотя только что рассвело, базар был полон. В нос ударили несчетные запахи, разжигающие аппетит: пахло тмином, чесноком, перцем; в соседнем ряду жарили тонкие лепешки, пирожки с тыквой, мясо. В арбузном ряду он увидел, недалеко от горы полосатых шаров, истекающие красным соком корки, облепленные мухами. Некоторое время смотрел на них, но прикоснуться не посмел: к чести бая, объедками его не кормили!.. Да, бай... Дожил до старости, а жить толком не научился — где уж это уметь Мамату, «сопливому», как говорил тот гуляка в чайхане. Это ж только рассказать кому: таскает на плечах золото, а сам с голоду помирает! Будь он сейчас на байском дворе, сидел бы в веревоч-

ном гамаке, макал кукурузную лепешку в варенье, запивал чаем... Тьфу ты, что толку себя растревлять — здесь, на базаре, голодному растравы и так хватает!..

Он не заметил, как очутился в деревянном ряду — прямо перед ним какой-то дехканин постелил овчину в тени высокой кокандской арбы, налил кислого молока в горшок с дымящейся кукурузной похлебкой и как начал хлебать большой деревянной ложкой!.. Мамат остановился перед ним как вкопанный, глаз не мог отвести. Не толкай его то и дело проходящие, он бы на колени опустился перед этой картиной!.. Тут кто-то задел за выпирающий из сумы ящичек, и Мамат опомнился, пошел прочь — мимо бешиков, сумаков и прочего деревянного товара...

Эге, вот и ювелирная лавка. Белолицый ювелир с остроконечной, подкрашенной хной бородкой подает чай богатому покупателю, а сам не умолкая расписывает достоинства поблескивающих на черном бархате золотых изделий. Мамат безотчетно подвигается ближе. К ювелиру подходят еще покупатели: «Хорманг... Будьте всегда здоровы...» Они рассматривают драгоценности, беседуют, и золотые с завитками серьги, кольца с красными камнями, горящими как огоньки, гладкие кольца, ожерелья то выходят из витрины на свет божий, то снова возвращаются на свою бархатную подстилку. Покупатели торгуются, торгуются — и идут прочь: дорого. Мамат тянется, глядит, а сам думает горячечно, как в лихорадке: «Да ведь те, что у меня в суме, не уступят этим! Они даже лучше... а я так дорого не стал бы запрашивать!.. Всего одну штуку... одно несостоящее колечко... за полцены!»

Он даже устремился было за удаляющимся покупателем, который смахивал на байского сынка, но что-то треснуло у него под ногами: откатившийся от прилавка деревянный сумака... Надо уйти, пока мастер не хватился!

Он ушел из ювелирного ряда, но тот все стоял перед глазами. Как этот ювелир в феске улыбался, обнажая золотые зубы — небось думает, он шах базара! А не знает, что есть человек, который не взял бы всю его лавку даже на заплату для переметной сумы!

Странное дело: Мамат почувствовал, что может собой гордиться — и теперь даже есть меньше хотелось. Он бродил, больше не боясь этой шумной толпы. Он здесь равен многим, а может, кого и повыше!.. Вот если

бы только не дразнящие запахи... Конечно, невелик грех продать задешево какой-нибудь заплесневелый байский перстенок и поесть. Если суждено добратся до приюта в Симе — так он запросто может объяснить свои мучения, и его наверняка поймут! И простят! Но как предложить эту золотую побрякушку? Об этом он не подумал. Стоит ее вытащить, сразу: «Где взял? Чье это? А ты сам кто такой? А как тебя звать? Да откуда ты?» И наконец: «Ну-ка, а что у тебя там еще в переметной суме?» Не-ет! Придется взять себя в руки, дети в приюте сейчас тоже, может, умирают с голода, а продать нечего... Так что — помолчи, желудок, не нойте, кишки, — есть причина терпеть. Стоящая причина.

Мамат бессознательно расправил плечи, сгорбившиеся под тяжестью ноши, мешок и веревки сдвинулись, и стертая кожа тотчас стала саднить. Надо хоть ненадолго снять груз и присесть... Кучка людей в лохмотьях пристроилась близ дровяного базара, и один из них пел — каландар не каландар? попрошайка не попрошайка? — но голос у него был хороший. Мамат присел рядом. Певец замолк было, потом минуту-другую раскачивался с заунывным плачем и снова затянул:

Ни отца и ни матери,  
Все на свете черно.  
Лишь лохмотья лохматые —  
больше нет ничего.  
Ни родни, ни пристанища —  
только степь широка.  
Кем ты стал, тем останешься —  
сирота, сирота...

У Мамата на глаза слезы навернулись — это ж о нем пелось! Как хорошо, что дал себе волю и присел здесь... эти вот нищие — они ему, может, ближе всех!..

Певец умолк, выудил из медного сосуда, что держал на коленях, черную копейку и купил лепешек у проходящего мимо хлебного торговца с корзиной. Лепешки, видно, были еще горячие, он свернул их вдвое и завязал в поясной платок. Эх, была бы у него, Мамата, такая почерневшая монетка!.. Опять захотелось плакать, внутри все бурчало, жгло, поджилки дрожали — пожалуй, и с места не встанешь. Сам не зная как, он снова очутился в ювелирном ряду, только позади лавок. Здесь был свой, неубранный мирок, иной, чем с фасада. Какие-то приниженные подобострастные фигуры; макле-



ры, трясущие руки покупателей с такой энергией, словно надеются вырвать их и унести с собой; двигающиеся, как фигурки кукольника, женщины в паранджах, которые пришли за своими заказами. А вот мастер и ученик: в руках ученика — крошечные весы, а мастер держит за ручки форму, похожую на наперсток, и вливает туда жидкое золото. Спустя недолгое время тонкие серьги уже поднимают парок, падая в пилу с водой, и тут же другой ученик принимается их полировать; но покупателя с женской походкой, только что сошедшему с извозчика, серьги не нравятся: не блестят! И правда: в ящичке у Мамата есть старинные серьги — не чета этим! Глаза слепят блеском...

Коленки у Марата опять дрожат, и какой-то бесенок так и нашептывает в уши: «Догони, догони этого, с женской походкой, возьмет он твои серьги без слова — отдашь дешево, возьмет и скроется...» Ах, этот бес голода, он может все загубить! И, собрав все силы, чтобы подкрепить дрожащие колени, Мамат снова спешит уйти отсюда прочь: ему кажется, что идет он быстрым, решительным шагом, но в действительности еле волочит ноги. И тут, словно в страшное назидание, появляется перед ним дородный мужчина, который тащит из толпы за уши худого мальчугана — карманного воришку. Мальчик весь посинел, семенит на носках. Толпа гудит — кто за кого, понять невозможно; мужчина и мальчик снова исчезают за спинами, но страшное и жалкое лицо воришки так и стоит перед глазами Мамата: что будет, если оторвется ухо?..

А базар все гудит, гремит, издает нескончаемые запахи, слепит немислимыми расцветками и суетится, вертится, крутится, словно тысяча веретен. Но кто управляет этим гамом, кто запускает эту суету, поддерживает этот жар? Такие, как дородный мужчина с ухом воришки в руке? Или женоподобные лавочники с крашеными бородами? Или жадность чья-то, торгующаяся без удержу, или голод, раздирающий кишки рядом с этим изобилием, — голод, заставляющий кружить по базару и его, Мамата, и того несчастного посиневшего воришку?.. У него вдруг остро заболел передний зуб... или рядом с зубом. Может, попало что? Но что? Когда это он всыпал в рот последние крошечки кукурузной лепешки — вчера или позавчера?.. Надо снова скрепить все силы, а то упадешь — и конец...

Пойти к мелочным торговцам, продать одежду! Как он раньше не подумал? Та-ак... На чарыки никто и не посмотрит... ковровой тубетейкой, грязной донельзя и к тому же треснувшей, тоже всякий побрезгует... Зато камзол, бабушкин камзол на плечах, вполне хорош! Ну, запылится немного, пропотел... дело житейское, почищать! Камзол что надо! Правда, рубашка под ним растопляется... ничего не поделаешь!

Выйдя к нужному ряду, он отыскал место величиной с ладонь, сел на переметную суму, расстелил камзол на коленях:

— Подходи-и, камзо-ол... новый камзо-ол!

Прозвучал его голос или пропал в базарном гвалте? Кто знает?.. Его лишал сознания запах еды — на этот раз пахло наперченными голубцами с яйцом да еще лагманом. Ну да, кривой ряд мелочных торговцев, похожий на змеинный след, огибал место, где готовят лагман. Вон и котлы кипят.. и парень-уйгур, молоденький такой, растягивает лепешку... растягивает... растягивает... его лицо приближается... Ох, да он и впрямь стоит рядом, весь красный от жара очага! Схватил камзол обеими руками, примеряет на себя. Грудь у него широкая. Мамат видит, что камзол ему подошел бы вдвое шире, значит, не возьмет... не возьмет...

— Распустить, что ли...— говорит между тем парень, все еще держа камзол в руках и размышляя вслух.— Эй, мальчик, а сколько стоит?..

Внутри у Мамата все заливало:

— Мне деньги не нужны, ахун-ака... издалека иду... дадите четыре лепешки — хватит...

Четыре... почему он попросил именно четыре?.. А-а... тот прохожий сказал — четыре дня ходу... до Сима. «Ахун» не уходил, не вздрогнул, не возмутился — наоборот, глядел на Мамата с улыбкой; Мамат вскидывает на плечи свой груз, идет следом. Помещение пропитано густым, плотным запахом лагмана. Мгновение спустя парень ставит перед Маматом на сури полную касу дымящегося, чудесно пахнущего варева:

— Мы хлеб не печем, вот, поешь-ка этого...

Мамат чувствует, что теряет сознание... от запаха, от счастья, но он встряхивается, как птица, обеими руками хватая глиняную касу за бока... никто ее у него не вырвет! Никто!..

Насытившись, Мамат покидает базар. Базар, но не город!.. Из города надо еще суметь выбратъся... День меж тем клонится к вечеру, вот-вот упадут сумерки. На дорогу, неведомо сколь длинную, надо бы запастись хоть парой лепешек в поясном платке, а пока что... ох, тишина ли тополиной улицы, или жирный густой лагман после долгого поста — что-то вдруг расслабило Мамата. Разморила его сонливость, глаза слипаются, до слуха еле доносится стрекот сорок, устраивающихся на ночлег в голых ветках тополя... Улица, должно быть, проходит меж садами — людей не видно. Мамат спотыкается о кучу слезавшихся палых листьев и падает ничком. Этого и ждала его душа! Нет сил ни на ноги подняться, ни подумать об опасностях такой ночевки невесть где... Обняв руками переметную суму, он погружается в дрему, как в теплую воду, говоря кому-то недвижными губами: знаю — нельзя, да я немножко, чуть-чуть, самую малость...

Проспал он до утра — разбудил его далекий голос суфи, звавшего на молитву. Он поднялся, дрожа всем телом. Куча листьев — в инее; темнеет только след его тела, похожий на большое птичье гнездо; и все — взгорки дороги, гребень дувала, морщины древесных стволов — все серебрится от замерзшей росы. Он поднял на плечи суму и побрел по улицам, даже не зная, в какую сторону надо идти. Господи, как холодно! Теперь нет на нем теплого камзола, а каса лагмана, которую камзол оплатил, давно растворилась в холодной ночи. Надо во что бы то ни стало добратъся до огненной арбы — говорят, у нее есть топка, стало быть, там тепло.

Тополиная улица оказалась очень длинной. Мамат, пока дошел до перекрестка, почти согрелся, перестал дрожать. Вымыл в арыке лицо и руки, огляделся. Пыльные улицы уходили в трех направлениях — если не считать того, откуда он пришел. Он выбрал улицу, обсаженную вишнями, в конце ее смутно виднелись голые холмы. Двери домов были еще заперты. Мамат заглянул в одну щель, приложил ухо к другой, не осмеливаясь постучать. Кто знает, найдется ли в этих дворах хоть один человек, что не пожалеет ему лепешки на долгую дорогу?

Наконец он постучал на авось в старые, тяжелые узорчатые двери. Тут, похоже, живут люди не бедные. Изнутри послышался сперва долгий кашель, потом хриплый мужской голос:

— Сейчас...

— Дядя, не нужен ли помощник? Могу хворост собирать...

Здоровенный угрюмый человек в наброшенном халате, с открытой волосатой грудью, показался в дверях, глянул — и молча, с силой захлопнул створки.

Мамат торопливо пошел прочь. От таких лучше держаться подальше. Не зря говорят: «пища птице — западня», можно и попасться. Если счастье не поможет, то и каша зубы съест...

Немного погодя он постучал в другие двери:

— Не нужен ли помощник?.. Хворост собирать?..

Молчание. Он поднял голову — и только теперь заметил, что дувал здесь полуразрушен, а в прорехи проглядывает нежилой с виду убогий дворик. И тут с другой стороны улицы раздался голос:

— Эй, мальчик!

Он обернулся: в дверях напротив, прикрывая рот концом платка, стояла старуха в старом бархатном камзоле, в точности похожая на его покойную бабушку. Он торопливо пересек улицу.

— Ой, какой маленький работник...— жалостливо сказала старуха.

— Что прикажете, тетя?

— Ты же спрашивал, не нужен ли помощник... Раскорчевать надо бы...

— Я раскорчую, тетя! А что — пень от тополя?

— От тополя, сынок... Только тополь был черный, смотри — не одолеешь...

— Одолею, тетя, одолею! Я привычный... Где он, покажите!— Мамат засуетился, боясь упустить такой счастливый случай. И голос у старухи похож на бабушкин. Она, видно, не поверила, что он в силах одолеть пень, но, может быть, ее подкупит его усердие... Он пошел за ней следом и увидел огромный тополиный пень в конце двора, похожий на слоновью ступню.

— Начнем,— деловито сказал Мамат, осторожно кладя переметную суму возле арыка.

— Начинай! Молодец,— сказала старуха.

Чтобы найти и обрубить корни, надо большой кусок земли перекопать, и для взрослого — на два-три дня

работы, старуха не может этого не понимать. Но раз сказала: «Начинай», значит, знает, что к чему...

— Топор, кетмень вон там, сынок, в кладовке! — сказала старуха и пошла к дому.

Дом был из одной комнаты и айвана — бедновато, конечно; что здесь нет мужчины, видно и по заросшим арыкам, и по рухнувшему карнизу. И кетмень лежит без хозяина, и топор давно не точен... Старуха в доме весело разговаривала с кем-то — впрочем, ясно, с ребенком. Ребенок, похоже, маленький: он пару раз ответил ей, голос то-онкий...

— Заррагуль, сейчас вынесу тебя на айван, посмотришь, как братец работает! — говорила старуха.

«Заррагуль...» Значит, девочка. Больна, что ли? «Братец» подвязал разинутые рты чарыков веревкой и принялся за работу. Иней стаял, земля сырая, мягкая. До раскинувшихся во все стороны корней было еще далеко, но работа пошла. В обед старуха вынесла касу подогретой кукурузной каши. Мамат деловито вымыл руки, пошел на айван. В солнечном углу сидела Заррагуль, с завернутыми в одеяло ногами, у губ она держала медный чанковуз. Так вот кто выводил эту слабо доносившуюся до него грустную мелодию!.. Заррагуль оказалась вовсе не маленькой, ей, как и ему, лет тринадцать, только голос слабый, тонкий, наверное, от болезни. Старуха вышла на айван, встала чуть поодаль, опершись на столб. Пальцами подпирая щеку, она, казалось, с упоением наблюдала за Маматом, который с истинно мужским аппетитом уписывал кашу.

— И кому, богом данному, ты доводишься сыном? — спросила она, когда он доел и, осторожно отдуваясь, выскребывал касу. — Кого ищешь в этих краях?

Ласковая старуха, по голосу ясно. И Мамат, все время опасавшийся расспросов, на этот раз коротко рассказал ей обо всем, что с ним случилось в жизни, умолчав только историю ящичка в переметной суме. Он уже встал, чтоб идти работать, но старуха все не унималась:

— А этот приют... куда ты собрался... годится он для тебя, сынок?

Мамат пожал плечами.

— Ну ладно, сынок, да пошлет тебе бог удачу...

До вечера Мамат заметно углубился в землю. Если завтра удастся найти и перерубить главные корни — бог даст, можно будет уже перевернуть пень! Но все

тело так ломило и ныло, что он не мог вспомнить потом, где и как лег спать. Проснулся под навесом, где была привязана коза, на сене, обнимая руками свою переметную суму, а над ним, улыбаясь, стояла старуха с ведром в руке.

— Хотела постелить тебе, а ты уже уснул. Ну и не стала будить. Видно, здорово устал, сынок, а? Спал-то хорошо?

— Очень хорошо. Спасибо, тетя!

Мамат удивился, что переметная сума оказалась с ним: как ни старался, он не мог вспомнить, чтобы тащил ее сюда и положил в головах. Видно, это вошло у него в привычку. Ну да ладно, ведь здесь-то опасаться нечего. Да и старухе, кажется, большее удовольствие потолковать с ним, чем увидеть пень выкорчеванным. Вот и сейчас: работы — край непочатый, а она зовет его завтракать козьим молоком...

Заррагуль грелась на солнышке — на том же месте, что и вчера.

— Я испугалась, что вы ушли, — сказала она своим тоненьким, как у малолетних, голоском.

Мамат быстро глянул на нее. Испугалась? Чего? Девочка, словно услышав немой вопрос, улыбнулась, приподняв черные брови.

— Пока не выкорчую пень, не уйду, Заррагуль, — сказал он.

— А потом? — В голосе ее прозвучала жалобная мольба. Ну, что ей ответить!..

— И потом... и потом, Заррагуль, буду с тобой разговаривать!..

Стыдно будет, если и сегодня не выкорчую пень, думал Мамат, орудуя кетменем. Обедать он не пошел. Горки красноватой земли вокруг ямы доходили уже ему до пояса. В сумерках он отряхнул одежду и пошел на айван. Заррагуль сидела там и чуть не плакала: она ждала его с утра, измучилась вся...

— Чего ж ты спать не пошла?

— Вы же обещали поговорить со мной... — Тон у нее был разом и ласковый и обиженный.

Ему захотелось погладить ее по голове. «Была бы у меня такая сестренка...»

— Что у тебя болит, Заррагуль?

— Нога. Весной поправится, дядюшка лекарь говорил. Весной на холмах растет такая трава... я забыла,

как-то чудно называется... ну, лечебная трава. Бабушка нарвет ее — и потом...

Обиды в ее голосе как не бывало, она зачастила, затараторила. Оказывается, она такая же болтушка, как все девчонки. Мамат поглядел на ее красиво сведенные брови и улыбнулся.

— А потом... потом, когда я выздоровею... вы не уйдете?

— Весной, когда ты выздоровеешь, я вернусь, Заррагуль...

— Нет, правда? Правда, вернетесь?.. Обманщик вы...

Тут вышла старуха.

— Эй, девчонка, не разговаривай так с братом! — сказала она строго. — Пади я за тебя жертвой... Идем, идем, я уж постелила тебе... — И она унесла Заррагуль вместе с одеяльцем. Видно, легка как перышко, бедняжка.

Эх, будь это возможно, Мамат носил бы ее на руках и, глядишь, вылечил бы ее. В ушах звучал ее сладкий голосок, в глазах стоял ее болезненный, невинный, милый облик.

Старуха снова вышла:

— А тебе, сынок, я постелила здесь, на айване.. Ты заставил меня вчера устыдиться — заснул в хлеву, вместе с козой. Что ж, у меня в доме места нет? — Она взгляделась в его лицо и присела рядом. Лампа на столбе горела с треском, отбрасывая круги тусклого света. — Если у тебя какие неприятности, сынок, ты скажи... Мы тебя полюбили, веришь? А какая-то заноза есть у тебя в сердце, я же чувствую...

— Да нет, тетя...

— Сдается мне, не тянет тебя в этот приют...

— Почему?

— Да уж не знаю... Ты сирота, мы тоже. Оставайся. Буду тебе вместо матери, наш дом и твой будет. Прокормимся, сынок... И Заррагуль поправится, бог даст... Ей уж недалеко — скоро взрослой станет. Будет лежать сердце — поженю вас... Она хорошая девушка, Заррагуль, умница...

— Да, — сказал Мамат невольно, но тут же опомнился, даже отодвинулся чуть. — Что вы, тетя, о чем говорите...

— Ну-ну, хороший ты паренек.

— Вы же меня не знаете!

Старуха глянула на него пристально, помолчала мгновение.

— Значит, мы тебе не понравились,— сказала она и снова умолкла.

Молчал и Мамат, хотя слова внутри у него теснились и рвались наружу. Не понравились!.. Понравились, тетушка... И он бы счастлив тут остаться... Но не может. Не может! Он — раб шкатулки, той самой, что прячется в его трепаной переметной суме... И он тут же начинает корить себя, что расслабился, как не подобает мужчине. Ишь, издевается он над собой, поработал за еду — и привлек к себе беду!..

Старуха собрала бедный дастархан и пошла было, потом остановилась.

— Судьба, сынок,— сказала она.— Плов за нами...— В голосе у нее были слезы.

Она задула лампу и исчезла. Вот, думал Мамат, обидел женщину, которая тебе, сироте, готова была стать матерью! Можно сказать, оттолкнул мать ради этих чертовых сокровищ!.. Да ведь не мне эти сокровища, не мне, сказал он себе с отчаянием. Он бросился на постель, закрыл глаза. Где-то далеко возникла грустная мелодия. Это Заррагуль играет на чанковузе, и тонкий звук смешивается с отдаленным блеянием овец...

Уснув, он оказался участником какого-то удивительного обряда с карняями и сурняями. Все бы ничего, но болела поясница. Это — от того ящичка, понял он и махнул на все рукой, продал и ящичек с содержимым, и все остальное, что у него было, починил старухе карнизы, возле старого дома выстроил новый, тоже с айваном, на месте вырытого пня посадил цветы. В конце концов, это не чья-нибудь, а его свадьба: он женится на Заррагуль. И старуха так рада, так рада...

Ведь это его бабушка!

— Бабушка, где ваш камзол?— спрашивает ее Мамат. В ответ бабушка начинает плакать, и Мамат понимает, что с камзолом дело плохо.— Не плачьте, бабушка, я ваш сын, я остаюсь здесь, не плачьте! Я истрачу все золото, но осчастливлю вас с Заррагуль! — говорит Мамат, но старуха все плачет, не может остановиться.

И когда на рассвете Мамат открывает глаза — и в самом деле, немного поодаль от него сидит на айване и плачет старуха. Странно, наверное, он и во сне слышал, как она сидела тут и плакала. Тут другая часть



недавнего сна всплывает у него в памяти — как он продал ящичек, и он встревоженно шупает суму под головой. Слава богу, ящичек на месте, никому он его не продал! Вставай же, вставай, раб божий, не знающий, что будет с тобой завтра! Идти надо...

Заметив, что он проснулся и возится, старуха подошла.

— Что тебе дать, сынок, чтоб ты был доволен?

— Мне?.. Две лепешки, тетя, больше ничего. Две лепешки на дорогу и ваше благословение...

— Только-то?..

— Да-а... Я у вас ел-пил, слушал ваши добрые слова. Дай бог вам силы, а внучке вашей здоровья и счастья...

Старуха пошла в дом — на цыпочках, чтобы не разбудить Заррагуль. И вышла с четырьмя лепешками и бязевым халатом («От сына умершего остался, отца Заррагуль»), поясным платком, старыми сапогами...

— Хоть и старые, но от души, сынок! Обуйся, осень холодная наступает...

У Мамата душа переполнилась благодарностью, нежностью... может, и слезами... Но он постарался не показать вида — просто поклонился низко. Халат был длинноват, но если затянуть платком, ничего, сойдет. Сапоги... для мужчин не бывает маленьких и больших сапог! А вот лепешки — сказал «две», значит — две! Все! Конец!

Старуха его благословила.

— Будем живы, тетя... увидимся! Приду повидать Заррагуль, обязательно приду! Не плачьте...

И он — груз на плече, лепешки в поясе — шагнул за калитку, не оглядываясь, пошел по улице. Калитка не стукнула ему вслед. Значит, старуха стоит, смотрит.

## 10. МАСТРАПЫ

Мамат легко одолел холмы и вышел на проселок. Горизонт впереди побледнел; холодный, медный, лишенный сияния диск осеннего солнца уже показал краешек, но в утреннем холоде земля затвердела, тянуло пронизывающим ветерком. Когда солнце поднимется выше, потеплеет, конечно, — недаром воздух так чист, а на ветках тутовника поблескивает серебристая патуина.

Сегодня надо пройти как можно больше: он сыт, обут, отдохнул, день хороший. А главное — он доволен собой. Лишь бы удача не отвернулась. Еда пока что есть, надо обходить кишлаки, сторониться больших дорог. Ясно, людей больше хороших, чем плохих, но рисковать глупо. Придет время — и Мамат обзаведется кучей друзей, не будет шарахаться от встречных, досыта поговорит и повеселится, а пока что — в Симе ждут его триста сирот! Он несет им избавление, они же оставят его, отплатят верной дружбой...

Весь день он шагал в одиночестве, выбирал полевые тропки, где пахло клевером; на пастбищах ласкал жеребят за холки; жевал куски лепешки, намочив в холодной родниковой воде; в пожелтевшей тутовой роще перемотал портянки, передохнул, даже подремал немного в безлюдных зарослях. Но без людей тоскливо — тяжко, если не с кем перекинуться хоть словом!.. Когда в сумерках у подножия дальнего холма замигал огонек, Мамат обрадовался. Это костер подпасков! Точно, точно... Осенью, когда стадо возвращается, ребята, оказавшись в ночном, разводят большой костер, закапывают в угли овощи, чтоб испеклись, пьют кобылье молоко, ведут рассказы о девушках, вспоминают байки о волках...

Так и оказалось — подпаски. Когда Мамат подошел, он услышал треск огня, хруст сухой травы под копытами стреноженных лошадей; но подпасков было всего двое: один сидел на пятках, опершись на колени, другой лежал на боку, на темных лицах играли отблески пламени: кобыльим молоком и не пахло, и разговоры были не о девушках... Один из подростков, чуть старше Мамата, тот, что лежал на боку, сбегал на ближний, осенний, перекопанный огород, принес свеклу, закопал в золу. С виду невзрачный, уши торчат, лицо все в угрях, зато умное и серьезное. Второй — помоложе — был худ до невозможности, вспылчив и зол. Узнав, куда Мамат держит путь, он сказал злорадно, с усмешечкой:

— Гляди-ка, на поезд захотел... Умора! Ты разве не слышал, что поезд сожгли?.. Так что возвращайся домой, малый!

— Не поезд, а станция сгорела,— возражал старший.— Поезд из железа, разве железо горит?

— Гори-ит!.. Три дня и три ночи горело, дым, говорят, до Оша дошел!

— Это вагоны сгорели, дома на станции, понял? А железо не горит. И путь для поезда — тоже из железа, сам видел. Что ему огонь?.. Иди, браток, иди, если доля твоя — там, уж как-нибудь доберешься. Только ночами, смотри, по улицам не расхаживай! Кто бродит по Джелалабаду ночью, тех всех хватают...

— Там что, басмачи есть?

— Не басмачи, а маstrapы.

— А это кто такие?

— Да все они одно, хрен редьки не слаще!

Но старший объяснил терпеливо:

— Это казаки-солдаты. Одеты хорошо, на конях, говорят тебе «здрaсти-пожалиска», а детишек, оказывается, на пики сажают. Тете Халдар отрезали груди как матери красноармейца... так и померла, бедняжка...

— Сам видел?— спросил Мамат.

— Правда это! Хотя сам не видел. Когда они в нашем кишлаке появились, их красные прогнали, но, говорят, они опять вернулись.

— Что ж будете делать?

— Ну, бабушка будет дома сидеть, старая она, я с конем за холмами... как-нибудь пробуду, пока не уберутся... А вот Эргашу худо. Отец его ушел, в Красную гвардию записался. Теперь Эргаша с матерью прятать надо, вот мы о чем думаем. А откуда ты пришел — там спокойно?

Мамат подумал.

— Спокойно,— сказал он наконец.— Вот что... я там в одном доме пень корчевал...— И он стал подробно рассказывать, как найти дорогу к дому старухи.— Скажете, от Мамата... он, мол просил...— Он искоса глянул на Эргаша: не будет ли заглядываться на Заррагуль?

Тут и свекла испеклась. Эргаш достал нож, счистил кожуру, нарезал свеклу ломтиками, положил на циновку; потом облизал покрасневшие пальцы, вытер нож о мешок и сунул в ножны. Мамат наблюдал за ним с интересом, во всем, что тот делал, чувствовалась сноровка. Мамат достал лепешку и щедро ее разломал. Ребятам это понравилось. Они ему тоже понравились. Молча поели. Костер догорал, кони ржали. Ребята растянулись у костра, а Мамат, узнавший для себя столько важного, стал прикидывать, что да как — и вдруг ему стало страшно. Так страшно, что даже во рту кисло сделалось и пропал сладкий вкус свеклы. Но что ему

делать? Возвратиться не может, выбора нет. Остается только дальше идти да быть поосторожней. Он посмотрел на заснувших подпасков: они по крайней мере знают, что им делать, могут все обдумать заранее. А он...

Он еще немного посушил над затухающим костром снятые портянки, обулся. На востоке светлело. Переметная сума отяжелела от инея, он встряхнул ее, надел на плечо и тихонько пустился в дорогу.

Тропинка для скота, которой он шел, петляла по-над оврагами, по кукурузным полям, наконец вывела к проселку. Арбы истолкли пыль в тончайший порошок, она доходила до щиколоток, летела в ноздри. Даже ночная сырость не могла ее усмирить.

Вскоре вдали показали купы деревьев, одинокие шалаши и усадьбы. Когда встало солнце, вдаль, по соседней большой дороге, проскакали какие-то всадники, и Мамат с тревогой глядел на оставляемое ими пыльное облако. Несло запахом гари: так пахнет, когда загорится кошма или хлеб. Наверняка впереди городок или большой кишлак. Неизвестно, правда, в чьих он руках!.. Но как найти обходную дорогу?.. Только подойдя ближе.

И впрямь, когда солнце уже клонилось к западу, Мамат увидел с холма городок. Он раскинулся широко и упирался в горизонт. Чтобы его обойти, надо было сначала вернуться обратно, до ночи не успеешь. Городок был какой-то голый, почти без деревьев, низенькие домики стояли редко и беспорядочно, безлюдные улицы и площади пылились на солнце. Мамат пошел огородами и вскоре вышел на окраинную улицу. Тихий пустой перекресток, в тени двух акаций разбитые сури с небурными листьями внизу, у сломанной мельницы журчит арык. Мамату хотелось пить, но к арыку он спускаться не стал — лучше побыстрее миновать открытое место: было слышно, как по дальней улице проскакал всадник. Топот, казалось, разносился по всему городку. Когда он смолк, Мамат в тени дувала перешел на другую улицу. Снова стояла тишина, но какая-то особенная, наводившая панику: казалось, в самой сердцеvine ее таится источник страха. Мамат пошел было по улице вперед, потом вернулся, снова пошел в прежнем направлении, скользнул в первый попавшийся переулок... Он попытался сказать себе, что так нельзя, если кто-нибудь его увидит — что подумает?.. Но взять себя в руки не мог, паника была сильнее его.

Он опять шел вдоль дувала узкой улочки, когда впереди, за углом, ему послышались голоса. Каждый звук доносился четко, как выстрел, и заставлял тело вздрагивать. Вдруг он увидел: через перекресток впереди движется конник (не тот ли, что скакал недавно?), а за ним пятеро солдат гонят толпу ребятишек в лохмотьях. Мамат прижался к дувалу. Шапки с зелеными полосами... кавалерийские сапоги... казаки! Это они и есть, мастрасы, о которых говорил Эргаш! Но дети-то, дети что могли натворить? Неужели все это воришки?.. Во всяком случае, отсюда надо убираться подальше.

Он пустился назад по пыльному лабиринту, уже окончательно потеряв представление, где находится и куда можно выйти. Пройдя десятка два шагов по какой-то очередной улочке, свернул и очутился на голой площади. Мамат даже не успел сообразить, что именно ее видел с холма; одновременно с ним из другого переулка вывалилась погоняемая казаками толпа ребятишек. Из третьей улочки в нее влилась еще одна. Дети сбивались в тесную кучу перед деревянным заграждением — большие и меньшие, босые, грязные, чесоточные. Наверняка их собрали отовсюду — с улиц и базара, из развалин, бань, хумданов... Может, собираются отправить в приют? Или... Додумать ему не дали, за спиной неожиданно раздался топот, он обернулся — красивый офицер с усами цвета латуни на огромной лошади нависал над ним. Миг — и, схватив Мамата за ухо, дернул так, что солнце померкло, мир погрузился во тьму — и рассыпался каскадом искр...

## 11. БАНЯ

Совсем близко от себя он видит офицера: прядь волос выбивается из-под фуражки, усы отливают латуню, белые зубы сверкают, когда он приоткрывает рот в усмешке, пахнет потом и табаком. Нет, Мамат не теряет сознания, вот сейчас даже посветлело перед глазами, только ноги как-то заплетаются, это оттого, что он не видит, куда их ставит. Как ухо болит! — нет, это уже не ухо — вся левая половина головы, вся голова горит, распухает, как огромный нарыв. Куда еговедут? Не все ли равно, лишь бы скорей... Он пробовал вырваться, но этот мастрас шутки не шутит, он может ухо с корнем вырвать. «Детей сажают на пики... груди у тети Халдар...» Кто это говорил?.. А-а, Эргаш...

Мамата мутит от запаха седла, что скрипит рядом. Похоже, сейчас он все-таки потеряет сознание... что ж тогда будет? Надо сделать что-нибудь, но что?.. Собрав последние усилия, он вцепляется обеими руками в обшлаг офицерской гимнастерки, на мгновение повисает в воздухе, как бы для того, чтобы облегчить боль в ухе — и, как-то изловчившись, кусает волосатую веснушчатую руку! Вскрик, сильный удар, он летит на землю, мокрую от конской мочи, ударяется боком... Первая мысль: ухо осталось в руке усатого! Нет, вот оно, горящее, распухшее. А сума? Где переметная сума?!.. Да и она здесь, рядом с ним, он на нее и свалился.

Рот у него полон пыли, он и сам весь в пыли, один сапог почти слетел с ноги. Он поднимает глаза: толпа ребят, которую он видел издали, окружила его и хихикает. Значит, это офицер так пнул его, что Мамат отлетел к загнанной в загородку толпе! Удивительно, как это сума уцелела... За деревянной загородкой прохаживаются несколько солдат с винтовками, всадников нет, усатого тоже не видно. Но Мамат его вовек не забудет. «И он меня тоже, — с удовлетворением думает Мамат. — Здорово я его укусил...»

Ребята, поглядев на него и посмеявшись, расходятся, а он исподтишка разглядывает их: рваная одежда, ноги, обмотанные расползающимся тряпьем, обутые в старые калоши, непарные чарыки; лица сопливые, грязные (сейчас и у него не лучше!), рябые, с кривыми выступающими зубами... Непонятно только, почему они так равнодушно воспринимают все это? Они — ровесники Мамата или моложе, их набралось уже человек сто, вон даже строятся в очередь вдоль дувала, толкаются, препираются, обмениваются тумаками, галдят, меняются какой-то мелочью, тут же, у дувала, мочатся...

Перед Маматом останавливается подросток с болячками на голове, смотрит на Мамата не то с интересом, не то с недоумением и спрашивает наконец:

— Чего ж ты его укусил?.. Для твоей же пользы... Подумаешь, искупаешься в бане...

— В бане?! — говорит Мамат, не веря свои ушам. Впрочем, не верить левому своему уху он никак не может: горит, мучит, проклятое. Но то, что сказал этот, с болячками, прямо-таки откровение. Значит, всего-навсего баня... — Что ж, вы в баню в очереди стоите?

Кто-то из стоявших поблизости засмеялся. Мамат не понял почему. Подросток с болячками пожал плечами и отошел. Перед Маматом остановился длинный парнишка с крючковатым носом, в какой-то необычайно засаленной тубетейке — такой грязной Мамат и не видел никогда. Длинный оглядел Мамата спокойно, по-хозяйски, оценивающим взглядом.

— Елки-палки! — сказал он. — Да у тебя ухо — как подстилка!

Сбоку снова засмеялись. Длинный прекратил смех одним взглядом. Мамат пощупал ухо: оно опухло, стало как маленькая сдобная лепешка и на каждое прикосновение отзывалось острой болью. Он скривился.

— Что, правда... нас в баню?.. — спросил он Длинного. Похоже, на его слова можно положиться.

— А как же — правда, — Длинный усмехнулся. — Что, в бане никогда не был?

Подбежал маленький пацан в огромных калошах.

— Смотри! — закричал он. — Ухо уже как свекла стало!

В толпе подхватили:

— Скоро будет как головешка!

— Как арбуз!..

— А в бане — лопнет! Ха-ха!

Длинный опять глянул — выкрики разом смолкли. Главный он тут у них, что ли?

— А зачем тогда... солдаты... насильно? — спросил Мамат.

Длинный презрительно глянул на толпу мальчишек:

— Ха! Если их насильно не заставить, в жизни не помоются!

Тут подал голос подросток с болячками:

— Это не простая баня! Вши, гниды, зараза — все сгорит...

— Зараза?

— Да ты что, не знаешь — в городе мор? Откуда ты свалился?

— Разве болезни в бане лечат?

— Э, темный какой!.. Это такая баня, что сперва, тебе волосы наголо снимут. Всю одежду в огонь побросают...

— Всю одежду? В огонь? А как же потом?..

— Слушай его больше, — лениво сказал Длинный. — Одежду не в огонь бросают, а только жарят... на жару или на пару...

- Это как?
- Внутри железного сундука.
- А потом?
- Все.

Мамат все еще не понимал. Зачем солдатам чистота этого рванья?

— А потом,— сказал он,— наденем свое тряпье и можно уходить?

— Елки-палки!— Длинный потерял терпение.— Да можешь катиться на все четыре стороны!.. Дез-ин-фек-са называется. Карантин! Не слыхал никогда?.. Тиф в городе, понял? Что, из-за твоего вонючего халата да рваного мешка казаки помирать должны? Елки-палки, тупой какой! Или ты раньше только с козами разговаривал?

В толпе прозвучали осторожные смешки.

Дело-то паршивое, думал Мамат. Неужели так и кончится моя дорога?.. Он пытался придумать какой-нибудь выход и не мог. Мысли его путались, дрожь начала бить. Никогда он еще так не боялся.

— Э!— сказал подросток с болячками и снова подошел.— Да ты ж весь мокрый...— Он присел перед Маматом на корточки и зашептал:— Если у тебя тиф, не показывай, что дрожишь, понял?.. А то солдаты уведут. А кого уводят, не возвращаются...

Мамат кивнул. Никакого тифа нет, думал он, просто мне страшно. И выхода не видать. Он глянул на солдат. С этой стороны не пройти, много их. Позади дувал — высокий, без дыр. Был бы еще вечер... Одна дорога отсюда — в баню, но войти туда — значит отдать ящичек собственными руками. Да работай же, голова! Не хочет, болит. Проклятый офицер... Ну-ка, ну-ка! Та-ак, пускают в баню только по шесть человек. Время, значит, еще есть... Одному, конечно, здесь ничего не сделать. Надо напарника найти. Но кому из этих можно раскрыть тайну? Одни наверняка воришки, другие — сопляки, третьи струсят... Даже начинать разговор опасно...

— Послушай,— сказал Мамат подростку с болячками,— а мы... мы сами будем сбрасывать одежду в этот... железный сундук?

Длинный вмешался:

— Не сундук, а камера! Из дивизиона привезли. Тебя к ней даже близко не подпустят... У тебя еда ка-



кая-нибудь есть? Обнимаешься со своей сумой, небось жратвы полна, а?

У Мамата оставалось два сбереженных куска лепешки — он их тотчас отдал, чтобы замять разговор о содержимом сумы.

— Эй,— сказал он Длинному, уплетавшему его лепешку,— откуда русские слова знаешь?

Длинный самодовольно ощерился:

— У казаков выучился!.. Они уж тут один раз были — ну, когда город горел... А, ты не отсюда. Ну, я тогда с одним фельдфебелем подружился. Каждый день к нему приходил — он мне коня доверял, а я садился верхом и купал конягу в Узгенсае. У, весь круп блестел как лаковый!.. А через четыре месяца красные пришли, казаки и убрались восвояси.

— А где сейчас тот?..

— Кто?

— Ну... фибил!

— «Фельдфебель» надо говорить! Теперь тут другие какие-то. Иначе я б тут разве с вами сидел, елки-палки!— И Длинный смачно плюнул сквозь зубы.

Нет, этот не подойдет, думал Мамат, этот продаст. Коня его купал, «елка-палка». Он твой город поджег, а ты ему коня купал. Может, и плевать сквозь зубы у него выучился?.. А не он — так кто?.. Этот, с болячками? Парень вроде добрый, да уж больно хилый. И робок. Остальные — у них всех вид такой жалкий, больной, а тут надо напарника крепкого, жилистого, а главное, понятливого, попройдошистей... Один тут такой — Длинный. И главное — роста он подходящего. Время-то бежит, группы по шесть человек одна за другой входят в баню, глядишь, и ему, Мамату, срок выйдет. Вечер уже на носу.

— Слушай-ка,— сказал Мамат Длинному, дремавшему рядом.— Ты, часом, не трус?

Длинный сразу проснулся.

— Что-о?— спросил он грозно. Но по выражению Маматова лица понял, видно, что за вопросом кроется какое-то дело.— Чего надо-то?

— Тайну умеешь хранить?— Мамат понизил голос.

— Могила!— с готовностью сказал Длинный.— Хочешь, землю съем?

— Да нет, не надо. Я не насчет воровства, не думай. Тут другое дело. Эту вот переметную суму надо отсюда вынести. Чтоб в баню не вносить...

Длинный даже рот разинул от удивления. Вытягивая тонкую шею, он огляделся вокруг.

— Ка-ак?— спросил он наконец.

— Сперва в баню я пойду, а суму тебе оставлю. Отойдешь в сторонку, удержишься. А я, как выйду из бани, заквакаю за дувалом по-лягушачьи. Понял?.. Уже темнеть будет! Как услышишь кваканье, переброшишь через дувал. Ну, идет?

Длинный насупил брови и уставился сперва на Мамата, а после на суму. Взгляд у него был такой, что Мамат понял: не надо было доверяться! Его даже дрожь пробила.

— Елки-палки!— сказал Длинный.— А в ней что такое?— И он ухватился за суму.

Мамат резко отвел руку. Длинный почувствовал, что Мамат сильнее, и ослабил напор.

— А мне-то что отломится?— спросил он.

— Тише ты... Сапоги отдам. Вот, видишь? Хорошие еще сапоги, не старые! Вытрешь пыль — и заблестят.

При виде сапог взор Длинного умаслился. Но тайна переметной сумы покоя ему не давала. Он боялся прогадать. Потом, должно быть, сообразил: суму-то ему доверят, если он согласится! Он же с ней наедине останется. Мамат так и прочел эту мысль в его заблестевших глазах. Ну и промах!

— Эй, Длинный, согласен, что ли?— спросил он как можно равнодушнее.

Но и Длинный решил продолжить игру:

— Не скажешь, что там — не стану рисковать!

Отступать было некуда.

— Ясно что — золото!— сказал Мамат спокойно.

Длинный ухмыльнулся.

— Ври больше!— сказал он, толкнув Мамата в плечо. Поднялся и отошел шага на три. Потом остановился, обернулся.

Мамат, собрав все силы, чтобы унять дрожь, глядел на него так же спокойно и равнодушно. Длинный не выдержал, вернулся, снова присел на корточки.

— Давай правду говори! Чего у тебя там?..

Мамат поманил его пальцем, сунул руку в суму, нащупал застежку ящика, покопался в нем и, не вытаскивая руки, показал Длинному какую-то вещицу, зацепившуюся за пальцы. Цыганские серьги блеснули — и пропали... Мальчики воровато оглянулись по сторонам, стараясь сделать безразличный вид. Вроде никто

ничего не заметил, очередь в лохмотьях стерегла мух, играла в ашички; скучающие солдаты курили самокрутки.

— Ну?— спросил Мамат тихонько, глядя по сторонам.

Длинный, тоже не глядя, ответил хриплым шепотом:

— Чего — ну? Тебе — золото, а мне — старые сапоги?..

Они замолчали, выжидая оба. Длинный не уходит, думал Мамат. И куда ему уходить? Сидит. На крючке.

— Так что скажешь?

— Отдашь т о!— сказал Длинный.

Хитрый, гадина. А я ведь тоже на крючке, думал Мамат. Мне от него не отцепиться теперь. Да и цыганские серьги эти проклятые на базаре чуть было уже не уплыли. Такая, видно, судьба у них воровская. Если бог даст уйти отсюда целым и ящик спасти, этой своей глупости до смерти не забуду.

— Ладно,— сказал Мамат. Он думал, в глазах Длинного вспыхнет торжество,— ничего подобного. Видно, аппетит разыгрался: мало ему уже этих серег.

Длинный вдруг поднялся, бросил шепотом: «Сиди и не шевелись!»— и ушел. Куда это он? И что задумал? Лишь бы беду за собой не привел... Чаша терпения Мамата переполнилась, он уже готов был кинуться сквозь строй солдат. Ясно ведь, это верная гибель, но что делать?..

Длинный возвратился через полчаса, усталый. Мамат поглядел ему в глаза: в них читалось чувство явно-го превосходства. У, пройдоха!

— Порядок!— сказал Длинный.— Пошли...— И, ухватив Мамата за рукав, повел его вдоль дувала. Старый дувал, сложенный, из пахсы, кирпича, камней, глины, был высокий и ветхий, от нижней части несло вонюю. Длинный довел Мамата до конца дувала и потащил обратно, к прежнему месту:

— Ну? Пробоину под дувалом видел?

— Пробоину?..— Там была не пробоина, а русло старого арыка, проходившее под дувалом и теперь почти доверху забитое глиной. В него не пролезла бы и крыса. Если он считает это пробоиной...— Ну видел,— сказал Мамат, помедлив.

— Я буду около нее сидеть, положив под себя суму. А ты, как выберешься из бани, начнешь с той стороны

вынимать глину, пока не доберешься до сумы. И вытащишь ее на ту сторону. Ясно?

— А ты?..

— Обо мне не беспокойся. Только вытащи суму — я тут же рядом окажусь.

Мамату все представлялось куда сложнее, он обрадовался простоте освобождения.

— Ну, подходит?— нетерпеливо спросил Длинный.

Мамат кивнул.

— Только одно условие...— Длинный положил руку на суму.— Что в ней есть, все делим пополам! Уразумел?

Мамат побледнел и замер, глядя в лицо Длинному. Цепкие глаза и крючковатый нос сделали его теперь похожим на хищную птицу. На стервятника.

— Ну и подлюга ты!— сказал Мамат, сплюнув. Он сперва не мог даже слов найти. Потом сказал:— Если я отдам половину вон тому усатому, он меня и так выпустит, и копать не придется!

Длинный захохотал.

— Ну, дурак!— сказал он.— Равных нет!.. Что ж, мастрап половиной будет доволен? Да он у тебя все заберет, да тебя ж и прикончит! Скажет — ты вор!

— Я не вор!

— Ну да, тебе это с неба свалилось...

Грубый голос рявкнул за спиной Мамата:

— Эй, вы-ы!— Солдат прикладом расталкивал задремавших ребят, которым подошла очередь идти в баню. Мамат оказывался в этой группе последним, шестым.

— Ладно, договорились...— сказал он Длинному с отчаянием в душе и побежал.

## 12. ХАЗРАТ ХЫЗР

Были уже густые сумерки, когда он вышел через задние двери бани — с наголо выбритой головой, в теплой, влажной, мерзко пахнувшей одежде. Убедившись, что кругом — никого, Мамат двинулся вдоль дувала, отыскал старое русло, присел на корточки и, опасливо озираясь, запустил пятерню в глину. Не обращая внимания на вонь, пот, снова, как в парилке, обливший его с ног до головы, ломая ногти, сдирая кожу, он выскреб окровавленной рукой почти весь этот годами собиравшийся вонючий затор. Но когда пальцы задели за пере-

метную суму, Мамат разом обмяк. Почти теряя сознание, напрягаясь из последних сил, он вытащил намокший мешок наружу и свалился рядом. Надо пощупать, на месте ли ящичек, тяжел ли, говорил он себе. Сейчас, отвечало обессиленное тело, потерпи малость, передохну...

Но тут послышался за стеной грубый окрик — похоже, того самого солдата, что расталкивал очередь:

— Сто-ой, долговязый!

— Елки-палки, пусти...— Это Длинный крикнул. Потом что-то упало с глухим тяжким стуком.

Мамат не успел даже осознать, что случилось, — страх подстегнул его, как кнут выдохшуюся кобылу: он встрепенулся, обхватил суму, вскочил и метнулся в темный кустарник, несколько секунд постоял там, затаившись и прислушиваясь, потом побежал дальше, не разбирая пути; его дыхание и хруст веток под ногами были, казалось Мамату, слышны на всю округу. Скоро он сбежал в какой-то овраг, а может, русло высохшей реки, из-под ног вывертывались и летели камни, он падал, поднимался, снова бежал: бегом, шагом, ползком — лишь бы уйти подальше.

Он решил, что будет бежать без остановки до самого рассвета! — но вскоре ноги увязли в болотной жиже, он упал и встать уже не смог. Видно, все вокруг, потревоженное звуками его шагов, затаилось: стояла мертвая тишина. Где он? Выбрался ли из города? Наверное, выбрался, а вокруг поля, не бывает в городе таких оврагов... Он стал думать о Длинном: поторопился, полез прямо через дувал — вот и попался. Побоялся упустить его, Мамата, — долю свою упустить. Ненасытная душа!.. А может, его убили?.. При мысли об этом отвратная холодная слабость поползла у Мамата по низу живота. А ведь сам он виноват, жадюга. Говорят же — коль бог даст верблюжий рост, так дал бы еще и ума на вершок!

Передохнув, Мамат еле-еле выбрался из вязкой грязи, сапоги, перемазанные красной глиной, снял и повесил через плечо, поверх переметной сумы. Рассвет забрезжил — и только тут Мамат понял, что идет вдоль тихой речушки. Спустя недолгое время она вывела его к сильному, мерно шумящему потоку. На влажной береговой террасе и теперь, поздней осенью, оставалась зеленая трава, она сладко холодила горящие

ступни, а вид прозрачных струй пробудил в Мамате за- таенную жажду.

Ох, до чего ж сладкая была вода! Слаще роднико- вой на пастбище... Мамат лежал на берегу, припав гу- бами к краешку потока, и все никак не мог напиться досыта. Заломило зубы. Мамат приподнялся на руках. На торчащий у берега красноватый камень села сини- ца. Не пугаясь его взгляда, она передвинулась на то- нюсеньких ножках к самой воде, зачерпнула клювиком, подняла головку, проглотила, снова зачерпнула... «Вкусно, а?» — сказал ей Мамат, улыбаясь. Она пока- чалась, издала тоненький утвердительный звук и улетела.

Мамат вдруг остро ощутил все это — пронзительно- ласковую свежесть утра, небо над собой, чистое, голу- бое, как вода в речке, вспорхнувшую синицу; усталость ночного бегства сменилась мгновенной и удивительной легкостью: захоти — и сам взлетишь, как эта птичка- невеличка! Тишина казалась звенящей. Он наставил уши, словно собака: что это звенит — жаворонок? Пчела? Или просто в ушах звон стоит?.. В мозгу у него вдруг возникла такая же тонкая, нескончаемо печаль- ная и милая мелодия Заррагуль. Бровки — как лепест- ки камыша... глаза сияют, как... нет, и не скажешь, как...

Тут слух Мамата уловил новый звук: словно кто на каблучках мелко-мелко ступал по камешкам. Тем бере- гом речки ехал человек на ишаке. Мамат сперва увидел фигуру всадника: старик — белая чалма, белый халат, белая борода. Мамат почему-то ничуть не испугался, не стал прятаться, а устоял как замороженный. На пастбище частенько рассказывали о святом Хызре — покровителе путников и пастухов: он-де в белой одежде и бороде, а кому встретится, у того исполнятся все меч- ты. А вдруг... вдруг это и есть хазрат Хызр?!.. У Мама- та даже сердце захолонуло. Старик и впрямь был весь призрачно-белый, как рассвет. «Помоги, хазрат-бо- бо», — взмолился Мамат мысленно и тут же вообразил, как вручает золото в приюте и, освободившись от не- сносного груза, отправляется навестить Заррагуль. По- гладит косички и скажет ей... Нет, сперва надо ее луч- шему лекарю показать, как обещал! А для этого деньги нужны... одежда городская... Это ж еще заработать надо. Тут он почему-то вспомнил учителя-ногайца: тот

поможет! Обязательно поможет, ведь ради них Мамат и терпит все эти мучения...

Старик тем временем приблизился. Увы, это был никакой не Хызр, Мамат понял сразу: ишак у старика не белый, как полагалось, а серый, обычный старый усталый ишак. Да и старик не парил над ним, а поторапливал, упираясь голыми пятками в стремяна и держа в руках поношенные кавуши. Но радостное возбуждение Мамата не угасло. И пусть он не Хызр — даже лучше: живой человек!

— Ассалам алейкум, ота! — крикнул он через речку.

— Ваалейкум ассалам, о сын своего отца! — певуче и ласково отозвался старик, погоняя ишака.

— Далеко ли до огненной арбы, ота?

— А-а... — сказал старик. — Тут уже близко. Во-он там — пройдешь мост Кугарт, потом сверни налево — к полудню, бог даст, дойдешь!..

— Спасибо, бобо!

Он чуть было не сказал «хазрат-бобо». Самому смешно стало. А ведь и впрямь желанье Маматова почти исполнилось: огненная арба — рядом! Он не только спасся от беды, но и путь выбрал правильный... Так что старик ничуть не хуже самого Хызра... Мамат вымыл в реке сапоги, сам вымылся, намотал портянки, обулся и двинулся в путь. И действительно: едва перешел мост — за холмами, изрезанными путаницей желто-серых дорог и застывшими, как волны огромного моря, показалась вдаль «истанса». Ее голубой домик под красной крышей стоял как на ладони — ни с чем его не спутаешь.

Мамат шел, то держа его в виду, то теряя из виду — пока наконец не вышел прямо к железному пути. Он сперва и сам себе не поверил — чтобы убедиться, потрогал рукой толстенный блестящий рельс и, прыгая по темным шпалам, побежал к станции. В нос ему ударил запах гари, но теперь в этом запахе была не опасность, а сладость надежды и обретения. Он вдруг ощутил, что голоден донельзя: со вчерашнего дня во рту — ни крошки!

Но на подходе к станции, на путях и около, валялись разбитые красные вагоны, никого вокруг, только черные осенние мухи гудели над мусором. Мамат замер, растерянно осматриваясь, и тут на него наткнулся человек в промасленной одежде и шапке с блестящим козырь-

ком. Человек нес ведро мазута; он опустил ведро на землю и устоялся на Мамата.

— Ты кто такой?— спросил он.

— Я... я на огненную арбу пришел...

— А, на поезд... нету поезда. Опоздал ты, сынок, малость опоздал. Сожгли. Все сожгли мастрасы... Во-он...

Он показал рукой. Вблизи аккуратное голубое здание станции оказалось все в пятнах копоти, стекла окон выбиты, дверные проемы зияют, как разинутые рты. Значит, правду говорили подпаски, вспомнил Мамат. Что же теперь? Разве хватит у него сил идти и дальше с этим грузом?.. Он опустил голову и повернул было назад.

— Эй!— сказал человек. Мамат оглянулся с безнадёжным видом.— Тебе куда ехать-то?

— Мне?.. В Сим...

— В Си-им... Ну так потерпи, сынок, потерпи немного. Дня через три... или четыре... поезд, может, и будет...

Показалось это Мамату или нет — в словах человека помимо их прямого смысла прозвучало еще какое-то неясное, таинственное обещание...

— Дядя,— сказал Мамат.— А вы кто?

— Я-то?— Человек усмехнулся.— Я-то стрелочник... А ты подожди, прикутись где-нибудь. Придешь дня через три...

Итак, надо сперва припрятать свой груз где-нибудь понадежней, а там и впрямь побродить по округе до поезда, может, у кого работа найдется, а глядишь, кто и так накормит. Обойдя полусожженную станцию, Мамат оказался в поселке. Редкие домишки, утопавшие в кустарниках, перемежались поросшими колючкой пустырями. Небо между тем заволокло; разом и потемнело и похолодало, хотя до вечера было долго еще. На пустырьке Мамат неожиданно споткнулся о черный холмик. Могила... Спаси аллах, не на кладбище ли он забрел?.. Нет, вроде других могил не видно. Он почувствовал: ноги больше не держат. Опустив наземь суму, он и сам, как мешок, повалился на землю. Что теперь делать? Куда идти? Уснешь тут у могилы — нечистые тобой завладеют... Он коснулся ногой холмика — рыхлая земля подалась. Тут ему мысль в голову пришла. Он осмотрелся. Место легко было запомнить. Он быстро отрыл руками ямку в могильной насыпи, уложил туда



суму с ящиком, присыпал сверху и завалил хворостом. Потом встал, снова оглянулся, старательно вбирая памятью приметы. И вдруг ему стало легко и свободно, точно тяжкое бремя сбросил. Его драгоценный груз отлично пролежит тут три или четыре дня — на эту заброшенную могилу и ворона не сядет!.. Мамат двинулся назад, в сторону железной дороги. Ого, оттуда потянуло аппетитным дымком!

Дымили не то перевернутые вагоны, не то горки какие-то возле них. Где-то у вагона копошились человеческие фигуры. Что ж, людей теперь можно не опасаться!.. Пахло хлебом. Он встал на одну из горок — тепло. Наклонился, разрыл поверхность, взял в руку горячую горсть — так и есть, пшеница! Горящая пшеница! Она жгла пальцы и ладони, но Мамат поднес ее ко рту, попробовал. Вот повезло! Он стал жадно жевать, запихивая в рот горсточки и выплевывая совсем сгоревшие зерна. Ну, теперь голодным он не останется... Он так жадно насыщался, что почувствовал в животе тяжесть с непривычки. Слез с горки — и вдруг, неожиданно для самого себя, заплакал. Хлеб горит! Хлеб! Надо же...

— Эй, чего плачешь?

Мамат обернулся и едва разглядел в тени вагона подростка в лохмотьях. Подросток был примерно его роста и возраста.

— Иди-ка сюда, — позвал подросток, — сейчас дождь будет!..

Мамат пошел — и тут увидел лицо парня: оно было все черное.

— Эй, ты что, шайтан?

— Сам ты шайтан!

— Ты весь в саже.

— А ты не в саже?

Мамат взглянул на свои руки: они были черные от горелой пшеницы. Значит, и лицо все измазал, когда слезы вытирал!.. Он засмеялся, подросток тоже. Они стали хохотать, хватаясь за животы и показывая друг на друга пальцем. Отсмеявшись, Мамат почувствовал, что и на душе стало легче и в животе как бы свободней.

— Не будет дождя — пошли собирать пшеницу! — предложил он.

— Э, — сказал подросток, — чего там собирать! В вагонах негорелое зерно есть, только еще загорается! Печеное, вкусное! Все ребята там сегодня!

— Какие это ребята?

— Да наши! Все свои. Ты с какой станции? Сейчас сюда отовсюду пришлепывают. И на следующей станции вагоны с зерном есть, да керосином пахнут. Облили, когда поджигали! А наше и так горит, само...

— Да кто поджигал?!...

— Кто? Ты с луны свалился, что ли? Мастрасы! Чтобы большевики в Сим не увезли...

— Г-гады!— сказал Мамат. Кюмок у него снова подступил к горлу. Он вытер пот.

— Пошли!— сказал подросток.— Я тебе вагон покажу...

Они зашагали. Дождь собирался, но все не шел, и пока они добрались до последнего вагона, край неба чуть посветлел.

— Нам бы,— сказал подросток,— и одного вагона хватило — зачем все поджигать!— Он был тощий, с тонкой шеей, только живот у него странно выпирал. Мамат, видно, ему понравился: он стал подражать его походке.

— Ну да,— буркнул Мамат.— Можно подумать, они нарочно для вас старались, зерно жарили...— Он вгляделся в то, что чернело впереди.— У-у-у, гады!..— повторил он.

Пшеница, высыпавшаяся из последнего вагона, только начала гореть с краю. Еще можно запросто потушить, отметил Мамат про себя. На куче копошились шестеро мальчишек в лохмотьях и тоже с черными, в саже, лицами. Они обернулись на шаги. В Мамате что-то вдруг раскалилось, как железка на огне.

— Ну!— сказал он.— Жрете? Жрать жрете, а пшеница пускай горит?.. Это же хлеб! Его люди растили.. для людей!

Один из мальчишек сказал равнодушно:

— А что мы сделаем? Все равно сгорит...

— Значит, налопаются — и сбежите?— Он замахнулся, ответивший мальчишка отскочил. Они все были, пожалуй, младше Мамата и сложеньем явно пожиже.— А ну! Давай откидывай ту, что горит! Живо! Давай, давай, руками, ногами! Доски берите! Слышали?! Давай!!!

И Мамат кинулся отбрасывать в сторону горящую пшеницу. Сперва руками: горсть, еще горсть. Еще горсть. Потом — сапогами. Потом он доску ухватил — кто-то подал. Краешками глаз он видел: остальные де-

лали то же. Даже, кажется, во вкус вошли — переговаривались оживленно:

— А рябой-то, оказывается, силач!..

— У-у... У него, наверно, поле свое — посеять хочет!

— Ха-ха... пока дождь не пошел!

— Вот бы пошел — сразу б сам все и потушил...

— А что толку тушить: зерно-то уже — ни для сева, ни для мельницы...

— Ладно, туши давай — хоть для еды сгодится!

— Сейчас бы водички...

Мамат выпрямился, хотел вытереть пот рукавом. Но кто-то его схватил за руку. Он дернул — держали сильно. Взрослый кто-то!.. Знакомый запах пота и табака ударил в нос. Мамат полуобернулся, увидел грубую руку, в пятнышках и со светлыми волосками... Поднял глаза: над ним, усмехаясь, стоял усатый красивый офицер.

### 13. НЕОЖИДААННЫЕ ВСТРЕЧИ

— Хороший баланчук... молодчик... Садись, садись! — говорил усатый, показывая на скамейку.

Сам он уселся на расшатанный стол в глубине помещения. Наверное, здесь раньше начальник станции сидел. На стене, справа от стола, висел большой пожелтевший лист с мелкими буквами. Скамейка, на которой уселся Мамат, поблескивала от пролитого мазута.

— Ну? — говорил офицер с выражением явного удовольствия на лице, которое и не думал скрывать. Он замешивал в свою речь узбекские и киргизские слова, а русские коверкал, очевидно, полагая, что так они станут понятней Мамату.

— Зачем твоя здесь гуляет, а?

Чего он так радуется, лихорадочно думал Мамат, неужели он меня узнал? Видел же только раз, и то больше со спины...

— Ну? — все так же доброжелательно говорил офицер. — Чего молчишь, баланчук, а? Такой хороши малшик — а молчишь! И где твой... как это... — он щелкнул пальцами, помогая себе вспомнить слово, — твой... хурджин? — И он взмахнул рукой, словно перебрасывая суму через плечо.

У Мамата екнуло сердце. Вот так!.. Выходит, не только запомнил, а и знает что-то! Знает, что в ящичке!.. Но откуда?! От Длинного!.. Откуда бы ни узнал, дрянь дело. Хотя... сумы с Маматом нет! Какой он молодец, что зарыл ее!

— Дядя, какой хурджин?— спросил Мамат самым невинным тоном, на какой был способен.

Офицер улыбнулся, и улыбка у него тоже была такая безобидная, ласковая.

— Хитрый Митрий!— сказал он и ткнул в сторону Мамата пальцем.— А ухо свое забыл? Балшой ухо — как у ишака. Забыл?..

— Я не Митрий,— сказал Мамат тем же тоном.— Я Мамат...

Офицер снова улыбнулся.

— Мамат, Мамат... Это хорошо, что ты Мамат... И в бане, значит, не был, да? В бане, в Благовещенске?..

Значит, этот городок называется «благовечес»... Запомнил-таки меня, мастрап проклятый...

— Не знаю, дядя...

— Не знаешь! Ну-с...— Офицер встал из-за стола, подошел к Мамату, закатал рукав. На его волосатой руке багровел след укуса.— И это не знаешь?

— Н-не зна-аю...

Мамат моргнуть не успел, как на него обрушилась страшнейшая затрещина. Он слетел на пол, и голова наполнилась гремящей болью. Офицер встал над ним.

— Поднимайся, поднимайся,— сказал он прежним ласковым голосом, точно затрещина исходила от кого угодно, только не от него.— Что ж попусту валяться... та-ак... садись на скамеечку... молодец баланчук... Ну, прояснилось в голове? Нет? Ничего не вспомнил?

Мамат отрицательно замотал головой.

— Ай-яй-яй! Упрямый какой! В точности как ишак. Видно, надо тебе и второе ухо подправить...

Он протянул было руку, но Мамат успел отдернуть голову.

— Не хо-очешь?!.. Удивительно: упрямство ишачье, а уши хочешь оставить человеческие... Или, может, ты все-таки вспомнил? Ухо... баня... хурджин... и как ты меня укусил...

Как же я забыл, что тяпнул его за руку, думал Мамат. То-то он меня запомнил... У-у-у, гад! Волосатый

гад!.. Все равно, нужно прикидываться простачком... У-у, гад! А хурджина век тебе не видать!

— Так где ж хурджин, а, баланчук? Оставил где-нибудь? Или продал? Или, не дай бог, подарил кому?.. Молчишь-таки?! Ну ладно, мы тебя еще разговорим.

Он пошел куда-то мимо Мамата, не глядя на него, — и вдруг, так же неожиданно, развернулся и залепил ему вторую затрещину, уже с другой стороны, но, пожалуй, еще потяжелей первой. Мамат опять полетел на пол и еле поднялся, плача от боли...

— Значит, не помнишь, не знаешь?

— Не зна-аю...

— Так, так...— Офицер подошел к разбитому окну и рывкнул:— Рядовой Юхнов, ко мне!

Мамату было видно, как зашевелились солдаты, сгрудившиеся под станционным колоколом, что висел на полусасохшей акации. Из группки выделился неуклюжий, сгорбленный под тяжестью винтовки мастрап и двинулся к дому. Несколько мгновений спустя он появился в комнате — немый, усталый, с безразличием в глазах.

— Поди-ка сюда, голубчик!— сказал офицер.— Вот этого упрямого барана запрешь... знаешь где?! И смотри в оба — а то он шустрая бестия!

Солдат медлительно отдал честь и кивнул Мамату: шагай, мол.

— Посидишь и все вспомнишь!— сказал офицер вдогонку.— А нет, у меня на тебя другая управа найдется!..

Мамата заперли в каменном здании с железными дверьми. Это был, понял Мамат, станционный склад — мастрапы приспособили его для чего-то вроде тюрьмы. Едва открыли выкрашенные красным двери, оттуда пахло затхлостью и высветились фанерные ящики вдоль стен да сено, которым был устлан цементный пол. Двери захлопнулись, и наступила полная темнота; хотя нет — слабый свет все же пробивался через зарешеченный люк под самым потолком. Прочная клетка...

Снаружи хлопнула задвижка, шелкнул замок. От ящиков пахло клеем, сургучом, вощеными шнурами. Что делать? Удрать отсюда, кажется, невозможно. Остается держаться прежнего: «Не знаю... не помню... не было...» То ли от сырости, то ли от страха Мамата вскоре дрожь пробрала. А что, если они так и уйдут, заперев склад?.. Ничего себе судьба — стать кормом

для крыс в этом каменном гробу!.. Он попытался отогнать такие мысли и стал осматриваться в темноте — блага глаза понемногу привыкали. О! Что-то звякнуло! Крыса?.. Нет... похоже, кто-то дышит... Человек?!

— Кто... кто там?— спросил Мамат приглушенно. И в то же мгновение увидел пошевелившуюся человеческую фигуру. Человек, кажется, сидел в темном углу, куда не доставал слабый свет их люка. Может, прикован? Мамата вдруг обьял ужас. Человек ли это? Или нечистый?.. Одолевая страх, мальчик пристально всматривался. Да он же на коленях стоит, лицом к восходу — ясно, молитву читает! И Мамату показалось, что он слышит шепот, слабый, как вздохи. Подумать только: или вера его столь велика, или сердце у него орлиное: в эдаком пропащем месте, один, во тьме — и не оторвался от молитвы, не отозвался на появление человека. Но как он попал сюда, в маstrapовскую тюрьму? Что им нужно от старика?.. Мамат готов был поклясться: молящийся — старик...

И тут темная фигура, как показалось Мамату, коснулась подбородком правого плеча, и тишайший, как слабый ветерок, но знакомый голос произнес: «Вораматулло!» Аллах спаси и помилуй... Этого не может быть... ему чудится, или он спит, или с ума сошел... Ну, пусть с ума сошел, но фигура в углу — его хозяин, бай-бобо, Салим-чорва!..

Мысли Мамата перепутались. Он пытался успокоить себя, понять, что это может значить. Ищут его хурджин, то есть шкатулку с драгоценностями... Это мог искать и Салим-бай, но он — в той же тюрьме, что и Мамат... Да нет, думать попусту, этот узел не распутаешь, его шайтан затянул!.. Ведь бай понятия не имел, что ящичек у него... А маstrapы понятия не имели о бае, и никто понятия не имеет, где спрятана сума... никто, кроме Мамата!

Он снова, напрягая глаза, стал вглядываться в фигуру молившегося. Кажется, бай-бобо в одежде паломника: на голове остроконечная шапка, на плечах — халат. Что бы там ни было, надо с ним поговорить, узнать, что тут происходит... Шелестя сеном, Мамат двинулся было в его сторону, но тут как раз звякнул замок, загремела задвижка, дверь распахнулась — и показался неуклюжий давешний конвоир Мамата.

— Эй, щенок, — позвал он лениво, — подь сюда! На выход!

Мамат удивился: снаружи — день! Конвоир шел сзади, слегка подталкивая.

— Ну,— спросил он вдруг,— с муллой познакомился?

— С муллой?

— Ну, с этим лазутчиком!..

Какой мулла, какой лазутчик? Это же он о Салимбае говорит! Выходит, то, что старый хозяин здесь оказался, с ящичком не связано?.. Но он не успел еще придумать, что ответить конвоиру, как его потрясла новая неожиданная встреча: у дверей комнаты, где его допрашивал усатый, стоял — кто бы вы думали? — Длинный, собственной персоной!

— Елки-палки,— сказал Длинный, по обыкновению ощерясь,— ты и вправду здесь?

— Здесь...— пробормотал Мамат. Он не знал, как теперь себя вести.

Но Длинный сказал, как само собою разумеющееся:

— Ясно, куда мы с тобой убежать могли!.. Я вот ногу сломал...— И он показал на свою перевязанную левую ногу.

Усатый ждал в комнате. Солдат, что стоял на часах у дверей, втолкнул их, одного за другим, внутрь. Усатый спросил, глянув на Длинного:

— Этот?

— Он самый, елки-палки,— сказал Длинный,— вы ж его знаете, он вас за руку цапнул.

Значит, действительно Длинный продал! Ну да, иначе и быть не могло. Ах, подлец, тебе б не ногу — шею сломать!.. Усатый, прищурясь, глядел на Мамата.

— Ну,— произнес он наконец,— что теперь скажешь?

— Не знаю,— сказал Мамат.— Ничего не знаю... и этого,— он кивнул на Длинного,— тоже не знаю...

— Меня не знаешь?— Длинный захохотал. Это усатому почему-то не понравилось. Наверно, сам привык вести разговор.

— Убрать!— крикнул он, указав на Длинного.

Часовой торопливо вошел и потащил за собой Длинного за рубашку. Нога у Длинного, видно, и впрямь не гнулась или вообще не работала. Он споткнулся о порог — и упал на часового, тот тоже повалился, и его винтовка неожиданно выстрелила. От грохота выстрела воронье сорвалось со старой акации, стационарный колокол тоже легонько твякнул, и весь

этот неожиданный концерт окончательно взбесил уса- того офицера.

— Во-он, болваны! — крикнул он неизвестно кому, не то часовому с Длинным, не то воронам с колоко- лом — и тут же заорал на Мамата: — Не знаешь, сучья твоя кровь, никого, ничего не знаешь, а?! Ну, я тебе всыплю горячих, так всыплю, что все узнаешь разом — и маму, и папу, и бабушку! А не то — бабах — и отпра- вишься в свой ад мусульманский! Да, за свое наглое вранье! Сучье отродье!

Тут он вскочил, подбежал к Мамату, мальчик за- жмурился — и кулак ударил его по зубам, так что он еле на ногах устоял, но тут же последовал удар по уху, по другому, и Мамат, чувствуя, что голова раскололась, как дыня, рухнул наземь...

Он лежал на полу, упираясь головой в стену, изо рта и ушей шла кровь. «Юхнов! — орал над ним офицер. — Сюда! В сознание приводи!» — и на Мамата водопадом лилась вода, его снова били, теперь шомполом, кажется, — так, во всяком случае, вопил офицер: «Шомполом его, шомполом!» — но он уже чувствовал боль едва ли вполовину: даже и захоти он — говорить бы не смог. Полуживого, без сознания, его снова бросили в камен- ный склад — маstrapскую тюрьму.

#### 14. САЛИМ-ЧОРВА

Когда Мамат очнулся, кругом было темно. Тело, ка- залось, разбито на тысячу кусков, и каждый болит от- дельно и по-особому, но и все вместе — тоже, и выно- сить это — немыслимо... Мамат пожалел, что очнулся. Постепенно он осознал, что сильнее всего болит правый бок, и если чуть пошевелиться, боль отдается в мозгу. Ребра, что ли, сломаны? Или печень отбита?.. Он по- трогал рукой легонько — сухо вроде, крови нет... или засохла?.. Непонятно почему, но отсутствие крови его успокоило. Где он, Мамат сообразил по уже знакомому мышинному запаху. Сколько ж я лежу так, подумал он, час, два, сутки?.. Нет, вряд ли сутки, есть бы захоте- лось. При мысли о еде его затошнило. Он замер, поле- жал так — отошло. Тут он вспомнил бая-бобо: инте- ресно, здесь он еще? Или маstrapы увели?.. Почему он вчера с ним не заговорил? Ах да, не успел просто...



а то можно б его жареной пшеницей угостить... пшеницей...

Мамат почувствовал, что мысли у него путаются, и усилием воли расставил их по местам. Пшеница — это вчера... или когда? Ну, до того, как его схватил усатый... Впрочем, в карманах зерна наверняка еще остались...

Тут послышался шорох. Мамат собрал силы и, не смотря на боль, приподнялся. Шорох доносился из давешнего темного угла, за люком. Наконец в столбике слабого света показался человек... Да, это был, конечно, Салим-чорва, но сильно изменившийся. Волосы на голове у него стали совсем редкие — так, белый пушок, зато длинная белая борода отросла; и что-то появилось в облике призрачное, сквозящее: казалось, напряги зрение — и сквозь старика можно будет видеть. Другой он был теперь... другой — но не чужой! И Мамат потянулся к нему всем сердцем.

— Бай-бобо... бай-бобо... слышите? Это я, Мамат...

Салим-бай вздрогнул и замер, как человек, ожидающий, что ему вот-вот что-нибудь свалится на голову. Потом стал напряженно вглядываться в темноту. Он очень похудел, голова подрагивала — это отозвалось в Мамате острой жалостью, хотя ему впору было себя пожалеть сначала. Бай, должно быть, Мамата так и не разглядел; он снял халат, расстелил его и принялся за утреннюю молитву...

Теперь долго ждать, думал Мамат. А времени... кто знает, сколько времени у них осталось? Мамату так о многом надо рассказать!.. И он совершил явный грех, попробовал прервать молитву:

— Бай-бобо, почему вы не ответили? Это же я — Мамат... Мамат! Не обижайтесь на мой уход, не мог я по-другому!

Салим-бай окончил молитву после первой же суры, посмотрел в сторону Мамата и прилег. Мгновение спустя зазвучал его тихий голос:

— Я не обижаюсь. Что бы ты ни делал — для себя делаешь, сынок. А я с рабами всевышнего рассчитался.

Мамат не понял смысла этих слов, только их грустный тон до него дошел. И все же он обрадовался, что Салим-бай наконец-то заговорил.

— Как же вы сюда попали?..

— Собрался в хадж, сынок, а эти беспокойные души сочли меня чьим-то лазутчиком...

— Маstrapы?..

— Кто б они ни были, они только заблудшие грешники, которые желают властвовать. Однако и рожденный под счастливой звездой Або Муслим не стал столпом мира, сынок... А ты что делаешь в здешних местах?

— Шел куда глаза глядят, бай-ота... за своей долей...

— Да-а... голова божьего раба — камень судьбы, так-то. Человек человеку причина, так аллах содеял...

— Меня схватили ни за что, бай-ота!

— Себе хуже делают, сынок! Молись аллаху. Добавь и ты к тысяче имен всевышнего...

Бай старается его, Мамата, утешить, а Мамату самому жалко старика. Господи, какой он стал: дунь — и улетит.

— И вы на них не обижайтесь, бай-ота! Какой вы лазутчик! Подержат — и отпустят! Но ведь, говорят, хадж — дальняя дорога.

— Зато ясная, сынок... Отсюда до Оша — два шага. Потом через перевал Эргаштанга до Яркента, а там — на дорогу Кара-Кульджо... В начале рамазана отправляется караван Аман-ахуна, туда мне и надо поспеть...

— Ох... а вы... у вас ни хлеба, ни сил, как говорится...

— На этом пути, сынок, нет заботы ни о хлебе, ни о жизни. Смерть на путях хаджа — милость божья!

Полноте, думает Мамат, тот ли это Салим-бай, которого он знал еще какой-нибудь месяц назад?.. У того были богатство, двор, семья, дети. Он беспокоился о них, страдал от потерь, старался спасти и сыновей, и достояние... А этот — приготовился к смерти, от всего отрешился! Что ж за последняя беда настигла его, заставила нацепить колпак, нищую торбу и погнала в путь? Или, может, он спянул от несчастий? Нет, не похоже... Речь ровная, говорит хоть страшновато, но спокойно.

— Бай-ота, а дома-то — что? Цело все?.. Алим-ака приезжал? И Халим-ака?

У Салим-бая задрожали плечи. Как это он сказал — «рассчитался с рабами всевышнего»? Нет, не легко, видно, с ними рассчитаться до конца!..

Мамат решил подползти к старику поближе, но боль заставила его вскрикнуть и остаться на месте. Старик этого, казалось, и не заметил.

— Прошу, сынок,— сказал он слабым голосом,— не поминнай при мне имени этого ирода... Я его проклял!

— Бай-ота,— Мамат снова попытался привстать,— ...ой, больно!.. Бай-ота, расскажите, что там, облегчите душу!

Салим-бай приподнялся в своем углу, сел. Помолчал, раскачиваясь

— Раньше...— сказал он наконец тихонько, но голос у него осип. Он откашлялся.— Раньше этот ирод... каждый вечер, бывало, как волк, через хлев пробирается...— Бай говорил почти шепотом. Кто такой «этот ирод» — ясно: Халим-байвачча.— Брата подстерегал. Схватит меня за грудки и орет: «Не найду его сегодня — меня завтра прикончат! Каждый день упрашиваю бека подождать...» Где он?— кричит. Если бы я знал, где тот второй сукин сын... А и знал бы... Я ведь отец обоим... был отцом!

Он остановился, помолчал. Потом продолжал так же, полушепотом:

— Каждый раз, уходя, что-нибудь уносил: «Хоть этим гнев бека смягчу». Одежду, ковер, овец... В последний раз, как он перевернул дом вверх дном — искал, что взять, бедняжка мать после его отъезда упала на пороге и дух испустила. Избавилась от муки да греха... Все на меня одного свалилось... После поминок остался я в пустом разоренном доме. Один, как в могиле. Из-за подлеца сына никто ко мне и глаз не казал. Осенью ночи длинные, сна нету, лежу да мечтаю, чтоб Алим пришел, соскучился по нему — сил нет, а тут подумаю о его брате — и сам себя ненавижу. Не знаю, где был ты во время рамазана, а у нас ночью буран начался, ветром навес унесло, разметало хлеб на току, сено и гузапаю на заднем дворе. А я сижу в доме, словно предчувствую еще что-то. Сижу, молюсь и жду. А чего жду? Надеюсь — Алимджан придет. И знаю: придет — беда будет, а с собой совладать не могу. Лишь бы увидеть, а там — будь что будет. Грех это мой, страшный грех, прости, аллах, недостойного, жалкого раба твоего...

И словно я колдовством каким его вызвал — гляжу, Алимджан из бурана выныривает!.. Я сначала и глазам не поверил — мерещится, думаю. Нет, Алимджан! «Папа!»— кричит так радостно, а я стою, язык во рту замерз. Уж как обнял его — малость оттаял, рассказал ему про мать, про брата... Алимджан только хмыкнул.

Брата, говорит, боитесь! Не бойтесь, не придет он в такой буран! Ты же пришел, говорю. Так то, говорит, я... А и придет — не зверь он, чтобы узнать про мать, да еще и братнину кровь в родном доме пролить... И вообще, говорит, они уже малость присмирели...

И только он это сказал — окно распахивается, и в середину комнаты вместе с битым стеклом ирод этот впрыгивает. Я и увидеть не успел, понять не мог, когда он братишку арканом спутал. В ноги ему упал, молю, прошу, чтоб меня взял вместо брата — куда там! «Всех их, кричит, перережем, всех извергов!» Сынок, плачу, да какой же он изверг, ты же сам беку кровавому служишь, сколько он людей загубил! Брось,— кричу,— этого сифилитика, что сгнил до самого носа, плюнь на его помои да посулы, это ж брат твой, пощади да вернись домой, будем землю пахать! А то — уедем все отсюда, уедем... Не-ет,— бай всхлипнул.— Нет, нет, нет! Изрубил! Изрубил... изрубил...— И старик заплакал, негромко, но отчаянно.

— Бай-ота... бай-ота...— растерянно твердил Мамат, безуспешно пытаясь его успокоить, но и сам чуть не плача от сочувствия, горя (он любил Алима) и боли, корчившей его тело. Горло у него горело, он вдруг понял, что умирает от жажды. Воды вокруг не было. Шурша сеном, он кое-как дополз до плачущего старика, взял его кувшин — но вместо того, чтоб смочить себе губы, приложил мокрую руку ко лбу старика. Лоб у старика был и без того холоден.

Старик понемногу стих и наконец впал в прежнее безучастное молчание. В полдень, когда на решетки окна упали тени, он вроде бы несколько оживился и расстелил молитвенный коврик. Губы его задвигались, но Мамату показалось: они твердят не молитву, а давешний рассказ.

...Мамат лежал и смотрел на него, и ему казалось, он видит, как человек медленно умирает, сам себе назначив срок смерти. И Мамат сам чувствовал леденящий озноб. Но тут опять замок подал голос, потом — задвижка; железная дверь распахнулась, в сырую темноту шагнуло солнце, а за ним уже известный Мамату неуклюжий Юхнов:

— Эй, малый, вставай, подь сюда!

Видя, что Мамат корячится на полу, не в силах встать, он подошел, подхватил мальчика под мышки и потащил к выходу.

На этот раз Мамата притащили в тюрьму чуть не в полночь. Он был вроде туши козленка после улака: окровавленный кусок мяса. Впрочем, время от времени он приходил в себя, только глаз открыть не мог. Одно было хорошо: бить перестали. Но боль не проходила, напротив: малость отступив, она снова набрала силу, все тело горело, саднило, ныло. Очнувшись в очередной раз, он заплакал от муки и унижения. Потом снова потерял сознание, а может, в сон провалился: потух, как угли в очаге. Но боль опять его разбудила, и он начал бредить. Ему казалось, он тонет в воде, сам же внутри горит и никак не может потушить этот огонь. «Вода... вода... вода...» — твердил он в бреду — и очнулся от звука собственного голоса. Перед ним, в белом, как марля, столбе утреннего света из люка, сидел Салим-бай.

— Бай... бобо... — простонал Мамат, и Салим-бай тотчас наклонился, кончиком мокрого платка вытер ему пересохшие губы. Старик, видно, тоже слаб до крайности, руки у него дрожали. Похоже, о нем из-за Мамата вообще забыли. Что им старик, когда речь идет о золоте!.. Может, благодаря Мамату бедняга бай через день-другой выберется живым из этой каменной могилы?.. Чувство вины перед ним, вновь возникшее в Мамате, странным образом соединялось с физической болью: казалось, прости его Салим-бай — и меньше будут одолевать раны, ссадины, ушибы... Мысли в Мамате, как мыльные пузыри, рождались и тотчас летели куда-то, наливаясь радужным блеском, а потом исчезали в невидимом пространстве. Но одна показалась ему плотной, осязаемой, важной, и он постарался остановить ее, задержать:

— Бай... бобо... — снова простонал Мамат, мучительно справляясь с непослушными губами, — ...если меня опять поведут... я уж не выживу... они не знают еще — я... знаю... А тайна... тайна тогда... со мной умрет... Скажу вам, бай-бобо... повинюсь... Бог справедлив... вас навстречу... навстречу мне послал... велел мне грех... грех смыть...

Мамат уставал мгновенно, проваливался в пустоту, обливался потом, так что от него пар шел.

— Помните... у вас ящичек... ящичек нашли? Со-кровища... золото... камешки... У меня он... Я взял.

Даже в своем полусознательном состоянии Мамат понимал, что должно последовать за этими словами: удивление, негодование, отвращение... и готовился это перетерпеть, пережить. Но Салим-бай, казалось, никак не отозвался, взгляд у него оставался такой же потухший.

— Бай... бобо... Слышали? Я говорю... ваше золото у меня...

Старик и теперь ответил не сразу:

— Богатство мира — миру остается, сынок... Рабы божьи уносят с собой только грехи свои...

Какая-то в Мамате волна протеста поднялась против этих слов — даже сил вроде прибавилось. Если старик так равнодушен, что ж, выходит... выходит, зря он все претерпел ради проклятого ящичка? Нет, неправда... и, наверно, не в том мысль старика... Грехи? А какой за ним грех?.. Разве он себе... себе хотел взять проклятую шкатулку?.. И Мамат, обливаясь потом, то и дело проваливаясь в глухую темноту и снова выныривая, стал рассказывать Салим-баю всю историю своих тяжелых приключений с сокровищами, начиная с той ночи на чердаке «людской». Он рассказывал мучительно долго, в умоляющем тоне, а старик слушал молча, по виду безучастно.

— Бай-бобо... знаете же — никого... никого у меня нет... только триста сирот в Симе... да вы... Ящичек я туда нес... чтоб поели досыта... не вышло...

И тут только Салим-бай разомкнул губы:

— Ты не мне, сынок, говори... бог всему свидетель...

И он, впервые, может быть, за все время в тюрьме, пристально взгляделся в Мамата. Мальчик, весь в холодном поту, такой вымученный, что даже рябины на его лице казались зелеными, едва дышал: вдохи и выдохи у него были короткие, как взмах крыльев мотылька. Старик коснулся его лба — ледяной лоб!.. Но Мамат, отчаянным усилием то и дело выбираясь из обморока, еще продолжал говорить:

— Бай-бобо... прошу у вас прощенья... Вы один здесь... Они там... отдохнули уже... придут сейчас... я уж не вернусь... Слышите?.. Так запомните... за большой курганчой... пустырь... там еще... три чинара... больших... и мазар на том пустыре... просевший... двадцать два шага от самого... самого высокого чинара... под хворостом... хурджун... прямо в мазаре... там и ваш труд... и мои муки... пусть не останется... без пользы...

Он договорил, что хотел, и снова провалился в забытьё, и в тот же миг, словно нарочно дождавшись конца этой сцены, запор лязгнул, распахнулась дверь и вошел знакомый неуклюжий солдат с напарником. Они взяли потерявшего сознание Мамата под мышки и поволокли наружу. На старика они, как обычно, и не поглядели; только уже у самой двери неуклюжий оглянулся. Должно быть, дошло, что старик находится не на обычном своем месте, в углу...

А Салим-бай глядел им вслед, и померещилось ему, что в дверях Мамат вдруг ожил, выпрямился, сделался выше волочащих его конвоиров... наверно, глаза, отвыкшие от света, заслезились, обманули — откуда у мальчика силы? Умирает ведь... И чтобы так прямо, упрямо пойти навстречу смерти!.. Он, Салим-бай, к своей смерти и сам приготовился, согласился с нею, постарался отрешиться ото всей земной суеты, забот и желаний... и все же внутри себя таил страх; лишь бы не умереть в этой каменной тюрьме, говорил он себе. А потом? Будет новое «лишь бы»?..

Снаружи донесся треск винтовочных выстрелов; старик вздрогнул: неужели это — мальчика?.. Но стрельба не смолкла, слышно было, как, зверски лязгая, сталкиваются вагоны, где-то совсем близко ударил одиночный выстрел. На станции застучали копыта. Испуганные крысы зашуршали за ящиками, порохом запахло.. Салим-бай стал молиться. Такого страшного шума не бывало, и когда басмачи нападали на кишлак!.. Мысли у него смешались. Наваждение!.. А если — и впрямь наваждение?.. Если и Мамат ему прирешился?..

Послышался топот многих сапог, дверь тюрьмы дернули, ударили чем-то тяжелым. Может, прикладом.

— На замке! — крикнул один голос.

— Ломай! — отвечал другой.

Дверь долго не поддавалась, наконец замок не выдержал, в проем хлынуло солнце, вошел, подслеповато, со света, озираясь, человек с винтовкой и начал пинать ящики, те с грохотом летели на пол. В пронизанных лучами тучах поднявшейся пыли замелькали людские фигуры. Салим-бая, замершего в углу, вошедшие даже не заметили — и стали один за другим выходить из склада. Это были не солдаты, хотя и с винтовками. Вдруг последний выходявший обернулся — может, взгляд почувствовал — и увидел бая. «Эй, вы кто?» — сказал он.

Салим-бай не ответил. Человек подошел к нему, взял под мышки и вывел наружу: «Идите домой, бабай... домой!» — и побежал вслед за своими.

Салим-бай, прислонясь к стене, остался стоять, ослепленный этим светлым, солнечным миром. Болели глаза, веки. Никто не спросил его, ввергая во тьму, никто не спросил, выводя на свет, — чего он сам желает?.. Но ведь и вся доля человеческая такова, ни на что нет нашей воли: ни на жизнь, ни на смерть... Тут он вспомнил о Мамате — и в груди неожиданно стало жарко и больно. Он пошел, держась за стену, — куда-то ведь надо идти. Хотя почему куда-то?.. Одно важное дело у него есть: мальчика отыскать. Кто были те, первые люди, что его заперли? Кто были другие, что его освободили?.. Неважно. Грешники. И те, и другие. Но мальчик... О, мальчик! Он претерпел. Воистину — искупил грехи. И только ли свои! Ведь не ради себя!.. Бай вспомнил его долгий, мучительный рассказ — и понял, что сохранил этот рассказ в себе до последнего словца и вздоха... Вот, значит, как бывает в жизни. А казалось, хадж — самое важное, самое главное... Но Мамат совершал с в о й хадж — в Сим, к сиротам, которым нес пропитание. Не урок ли это для него, Салим-бая, заодно со всеми грехами своими отрешившегося от мирской суеты?..

Он дошел до угла — стена поворачивала. За поворотом часть ее обрушилась. На груди кирпичей, на солнце, лежал мальчик. Бай мгновенно узнал его — даже не глазами сперва, а остановившимся, захолоднувшим сердцем. Подбежав — откуда сила в ногах взялась! — он увидел: мальчик мертв. Несомненно, безвозвратно, непоправимо мертв. О том говорила и немислимая для живого поза, и опустевшее, навсегда застывшее лицо. Перед смертью у него шла горлом кровь. Баю показалось: и у него сейчас хлынет кровь — рвавшая, распиравшая сердце. Он упал рядом с мальчиком. Ничего не было сейчас на свете дороже этого чуть не уклюжего, вытянутого, исковерканного пытками и смертью мальчишеского тела. И это уходит, и это!.. Бай приподнялся, погладил лицо Мамата. Нет, не совсем оно опустело; оно было тихое, отдыхающее от мук, и казалось — вот-вот появится на нем застенчивая улыбка: «Ну, довольны мной, бай-ота?»...

Подбежали люди с винтовками, попробовали поставить Салим-бая на ноги, но он снова упал на колени,



подполз к Маматкулу, дрожащими руками погладил и закрыл ему веки.

— Это что, бабай,— ваш сын?..

Раза три повторили, прежде чем он услышал. Он пытался приподнять голову Мамата, положить к себе на колени — не получилось, и он заплакал.

— Сы-ын...— сказал Салим-бай.— Подпасок... пастушок...

Подошел человек в бурке — ему что-то стали объяснять вполголоса. Он внимательно посмотрел на старика, на мальчика.

— Что ж...— сказал он.— Похороните и овчара в братской могиле!

Люди с винтовками поспешно, хотя и уважительно оттеснили старика, легко подняли мальчика, завернули в белое полотнище — откуда оно появилось, Салим-бай не заметил. Он стал читать зауспокойную молитву, и люди с винтовками ждали, нетерпеливо переминаясь с ноги на ногу. Потом взяли тело и понесли. Салим-бай побрел следом.

Перед обгорелым, разоренным зданием вокзала уже стояли другие люди с винтовками — целый отряд. Шесть покойников в саванах, за ними — и мальчика пронесли куда-то вперед. Люди подняли винтовки — залп грянул. В небо стреляют, думал старик; но разве небо убило этих мертвых?.. Люди убили... В них и надо стрелять!— сказал он себе — и сам удивился. Мгновение, а может, час спустя Салим-бай стоял у большого, свеженасыпанного могильного холма. «Значит, это и есть братская могила», — вспомнил он. Люди расходились. «Маматкул... сынок...»

Подошел молодой парень с винтовкой наперевес, спросил осторожно:

— Не нужна помощь, ота?.. Ну, посидите немного, молитву вознесите... Только Кыбла<sup>1</sup> теперь в той стороне!— Он едва заметно усмехнулся, показал рукой туда, куда уже склонялось солнце, закинул винтовку за плечо — и убежал. «Кыбла...— думал старик.— Моя Кааба — в той стороне, куда держал путь мальчик... Ах, Мамат, Мамат! Маматкул...»

На рассвете воздух прохладен, пыль пририта росой.

---

<sup>1</sup> Кыбла — направление в сторону Каабы, главной мусульманской святыни в Мекке. В сторону Кыблы должен обращаться молящийся.

В руинах станции, пустовавшей несколько недель, снова оживление, появились спешащие люди, вороны на голых тополиных ветках орут ожесточенно. Люди большей частью, кажется, вооружены... нет, вот и другие, с лопатами, вдоль путей. Да здесь, наверно, весь город собрался — сгребают зерно, убирают и уносят на носилках кирпичи и глину. Пути уже свободны — вот и состав подают. На одних платформах пушки, переговаривающиеся военные; на других — скот...

Люди, все как один, оглядываются на старика с хурджином, в шапке паломника, в драном халате, старых чарыках:

— Эй, гляди... Бобо, в хадж собрались?

— Ха, самое время!

— А что — рамазан кончается, теперь они, как журавли, потянутся на Кашгар!

— Хоть крови проливать не будет, не то что мы с тобой...

— Ну, уж он пожил на белом свете, отвоевался...

— Да, а нам еще воевать за свою долю!

— Повоюем...

С Салим-баем поравнялся человек, ведший коня в поводу:

— Салам алейкум!

Да это вчерашний парень с кладбища.

— Ваалейкум ассалом...

— Куда путь держите, бобо? На поезд хотите?..

— Да, сынок... До Сима довезет?

— Довезе-ет! Вон туда садитесь! — И он показал на красный вагон с распахнутой широкой дверью посередине; вагон уже был полон людьми. — Хурджун отряхните, ота... Так, на кладбище, и ночевали?.. — И он поспешил дальше.

С золотом своим за плечами, Салим-бай оглядел округу потускневшим взором. Длинно погудел паровоз, и сникший дух Салим-бая словно встрепенулся, как боевой конь, услышавший звук трубы. Он уцепился за скобу двери и полез в вагон. Несколько рук его подхватили.

## ПОСЛЕСЛОВИЕ

...Теперь я вспоминаю: досыта в приюте мы стали есть, когда появился у нас заведующий хозяйством Салим Ахмедов. Помню мешки белой муки и сахара, до-

ставленные из «Торгсина», фабричное печенье с рисунком, которое я тогда попробовал впервые. Но к хорошему привыкаешь быстро, и мы скоро перестали вспоминать о первых днях сытости. И Ахмедова — нашего «Ахмедова-ака» — мы не очень-то связывали с обновлением нашего рациона. Он был нам дорог другим — своей заботой о нас и нашей к нему любовью.

Меня он даже отличал несколько — уж очень внимательным я был слушателем его рассказов и разговоров, а может, открытее других откликнулся на ласку. И не знаю, как другие, а я чуть не с самого начала почувял что-то затаенно-печальное — горькое или горестное, что стояло за его словами, взглядами, жестами. Что-то угнетало его, давило — какая-то невидимая тяжесть иной раз явственно пригибала его плечи к земле. Порой же он просто от нас отдалялся, стараясь остаться в одиночестве, — и удивительно: это чувствовали и самые толстокожие из ребят, которых, бывало, ничем иным не проймешь; чувствовали — и в такие минуты, часы, дни старались ему не навязываться. Но стоило Ахмедову-ака чуть прийти в себя — и он снова оказывался окружен нашей толпой и в разговорах с нами, кажется, обретал настоящий покой. Может быть, в минуты одиночества он взвешивал свое прошлое на весах совести?.. Во всяком случае, возвращаясь к общению с нами, он пересказывал разные события своей жизни — и посреди рассказа иногда останавливался, словно задумавшись над собственным воспоминанием; должно быть, он рассказывал свою жизнь не только нам, но и себе самому. А однажды принялся за «главную историю» — так он сам выразился; это была длинная, растянувшаяся на несколько вечеров повесть оключениях Мамата...

Кончив рассказывать о Мамате, он вновь — ненадолго — замкнулся в себе; мы к нему не приставали, но между собой обсуждали Маматово путешествие и трагическую судьбу весьма оживленно — и даже спорили о подробностях: так ли рассказывал Ахмедов-ака, или иначе... Но скоро он к нам сам присоединился.

— Я, знаете ли, ребята, тоже не всегда богатым был, — говорил он, — а в детстве пас овец, как Мамат. Нас у отца — пятеро, так он всех сыновей в подпаски определил: дескать, не будешь сам за овцами ходить — век не разбогатеешь! Стадо-то, правда, прибавлялось — да отец прикупал понемногу. Старшие братья,

как подросли, к бузе приучились, лентяйничать стали, по юртам все сидеть... за овцами я один ходил! Ну, братья и впрямь не разбогатели, а вот я, видишь, Салим-баем заделался... Но не о том я хотел. Про другое. Однажды ночью на пастбище вдруг сильная буря поднялась — стога сена да шалаши в воздух подняло, унесло, а потом такой ливень хлынул — точь-в-точь море на нас опрокинулось! Ну, овца-то — она дура, побежала от ливня, как от палки, — овца за овцой, отара за отарой — куда глаза глядят... С ними так: непустишь коня да не повернешь голову отары — пиши пропало, хоть в преисподнюю пойдут!.. Братьев мне искать некогда было, вскочил на коня неоседланного — и пошел! Конь подо мной тоже беспокоится, грозы боится, темнота — хоть глаз выколи, разве что молния иной раз сверкнет. Но огрел я буланого плетью — стрелой полетел. А дождь меня самого хлещет плетками, пастбищу — конца-краю нет, и темноте — тоже, и тут вдруг так сверкнуло, так засветилось... И при этом-то свете увидел я перед собой обрыв бездонный, прямо у ног коня — пропасть! Я за гриву цеплялся, а тут как дернул изо всех сил! Но конь и сам пропасть увидел, заржал дико, встал на дыбы — и как-то исхитрился боком на задних ногах повернуться. Как — и сам не пойму... Только уцелели мы с ним, с конем-то, и это молния нас спасла. Убить могла — ан нет, спасла...

Так и смерть Мамата моего, как та молния, над пропастью меня удержала. Он погиб — а меня спас... Он ведь еще ни про время наше толком не понимал, ни про советскую власть; только слышал про вас, голодных сирот, и загорелся в нем огонь благой — помочь людям, спасти, накормить... Нес сокровище, голодный, холодный, а нес, ни малостью не воспользовался. Вот какой пример нам всем! И мне первому. Я ведь старого времени человек был, всю жизнь положил, чтоб богатство скопить, мне просто так отдать его кому-то — невозможно было, а он хоть и читать не умел, хоть и мало что знал — а время новое нутром, душой, чистой своей детской и бедняцкой душой понял. Понял — и меня научил. Вот какое дело, ребятки... Вот какое дело. Ведь и революция — она как молния над обрывом: осветила — и народ от пропасти спасла, на правый путь повернула. Поняли, а?.. По-оняли, вижу...

1981—1982

## СОДЕРЖАНИЕ

АМУ РОМАН . . . . . 5

### ПОВЕСТИ

УЗКИ УЛОЧКИ БУХАРЫ . . . . . 277  
МОЛНИЯ НАД ОБРЫВОМ . . . . . 425

**Мухтар А.**  
М92 Узки улочки Бухары: Роман, повести. Пер. с  
узбек. — М.: Советский писатель, 1988.—504 с.  
ISBN 5—265—00238—3

В новую книгу известного узбекского прозаика Аскада Мухтара включены роман «Аму», повести «Узки улочки Бухары» и «Молния над обрывом». В романе «Аму» рассказывается о событиях афганской апрельской революции, о стремлении афганцев отстоять свободу. Повесть «Узки улочки Бухары» посвящена юношеским годам Файзуллы Ходжаева (1896—1938) — сына узбекского народа, видного советского государственного деятеля. Показаны два года его жизни (1912—1914), которые сыграли решающую роль в становлении будущего революционера. «Молния над обрывом» — трагическая и одновременно светлая история жизни и смерти узбекского подростка.

М  $\frac{4702620201-031}{083(02)-88}$  348—88

ББК 84 Уз67

АСКАД МУХТАР

## УЗКИ УЛОЧКИ БУХАРЫ

Редактор *Л. Л. Медведева*  
Худож. редактор *А. С. Томилин*  
Техн. редактор *Г. В. Мисюль*  
Корректоры *Т. Н. Гуляева, Н. Г. Худякова*

ИБ № 6469

Сдано в набор 12.08.87. Подписано к печати 13.01.88. Формат 84×108<sup>1</sup>/<sub>32</sub>.  
Бумага тип. № 2. Литературная гарнитура. Высокая печать. Усл. печ. л.  
26,46. Уч.-изд. л. 28,03. Тираж 30 000 экз. Заказ № 1111. Цена 2 р.  
Ордена Дружбы народов издательство «Советский писатель», 121069,  
Москва, ул. Воровского, 11.

Ордена Октябрьской Революции, ордена Трудового Красного Знамени Ленинградское производственно-техническое объединение «Печатный Двор» имени А. М. Горького Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 197136, Ленинград, П-136, Чкаловский пр., 15.